

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА



I Грани воспроизводства

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА

Против эмпирионатурализма

I

Грани воспроизводства

**Москва
2012**

© Сидоркина Е. Н., составление и обработка. 1985–2012

© Иванов П. Б., верстка и оформление. 2012

<http://unism.pjwb.net>

<http://unism.pjwb.org>

<http://unism.narod.ru>

- © Допускается копирование текста и элементов оформления в любой форме, целиком или частично, с любыми изменениями, включая перевод на другие языки, с любыми целями (в том числе коммерческими), при условии, что это не ограничивает свободы распространения данного оригинала.

КОРНИ И КРЫЛЬЯ

Собранные здесь заметки в большинстве своем родились в самом начале 1980-х, когда социалистическая система трещала по всем швам, и вслед за ней рушились господствующие идеологические стереотипы. Слова о приверженности марксизму-ленинизму все еще полагалось произносить при каждом публичном случае; однако их и раньше не воспринимали всерьез — а в новой обстановке они звучали совсем не убедительно: там, наверху, свирепствовала стихия первоначального накопления, дележки народного достояния власть предрежащими; массы это не всегда видели — но растерянность и ощущение падения в бездну пронизывали общество насквозь. Что прежде всего отражалось на настроениях творческой интеллигенции, от которой эпитет «гнилая» никакой силой не отодрать. Направлять духовное развитие (да и общественное бытие в целом) было уже некому, контроль государства сводился к требованию соблюдения чисто формальных приличий, — и вместо борьбы с буржуазными влияниями нас призывали учиться и перенимать передовой опыт. Искусство, науку, философию в спешном порядке перестраивали по западным образцам — задолго до официально провозглашенной перестройки экономической системы. Откровенные антикоммунисты на всех постах; телевидение, радио, театр и кино, эстрада и самодеятельность — уже не зовут в светлое будущее, а играют на низменных инстинктах обывателя, объявляя его нынешнее дикое состояние верхом естественности и общечеловеческой ценностью. Высшим критерием научности становится соответствие «мировому уровню», и философы не отстают от ученых в стремлении почаше командироваться за бугор: на словах, для обмена опытом; а на деле — для замены собственного опыта забугорным.

В этих условиях для всякого порядочного человека, не желающего отказываться от великих идей ради иллюзии сиюминутного достатка, вопрос об истоках и направлениях развития подлинной духовности

приобретал особую остроту. Сознательное отношение к собственной сознательности — фундамент разума. Но где и как искать ответы? Искусственно созданный дефицит духовной пищи (даже труды Маркса, Энгельса и Ленина по некоторым вопросам оказывались чуть ли не под запретом!) обрекал людей на блуждание впотьмах, на попытки наивного осмысления, упорядочения собственного (неизбежно ограниченного) опыта. Добывать первоисточники — для простых смертных дело почти безнадежное: как правило, довольствовались случайными находками, просили дефицит на время у знакомых, перепечатывали и переписывали от руки... Магазины и библиотеки лишь тиражировали буржуазных интерпретаторов; по крайности, приходилось выцарапывать осколки оригиналов из этих писаний — но очистить их от пропагандистской шелухи удавалось с трудом. Стоит ли удивляться, что в головах бродили самые нелепые представления о духовности человека? В одну кучу валили все без разбору: любовь, секс, семья и брак, воспитание и образование... Откуда оно берется и для чего нужно — вопрос сугубо риторический. О душе — как бог на душу положит.

В послевоенные годы официальная советская идеология настойчиво подсовывала людям мысль, что исторический материализм всецело ограничивается сферой материального производства, а по поводу разного рода «надстроечных» явлений от него не дождешься ничего кроме абстрактных деклараций. Детали устройства духовной сферы активно разрабатывали буржуазные (и религиозные) мыслители — предлагалось заимствовать у них. Многочисленные труды советских ученых и философов довоенной поры (1920-е и 1930-е годы) либо замалчивались, либо подвергались уничтожительной «критике», как вредные уклоны и перегибы. Предперестроечная ученая элита (в рядах которой тепло устраивались и антисоветчики, и религиозные деятели!) материалистическое толкование духа и его движений, решительно устраняющее мистику и политические спекуляции, считала безусловно вредным и враждебным (богопротивным). В тисках академической цензуры, одинокий призрак Э. В. Ильенкова не мог противопоставить потоку философской пошлости ничего, кроме личной убежденности. Книги его было не достать; перепечатки ходили по рукам. И вызывали горькое разочарование — ибо дальше традиционной формулы «материя превышает все» дело так и не пошло. Конечно, в качестве источника вдохновения и формы протеста — это потрясающе. Но о том, что же такое разум, — уж очень скупо: *sapienti sat*.

Оставалось одно: попытаться своими силами восполнить пробел, восстановить целостное видение духовного воспроизводства в рамках последовательно материалистического мировоззрения. Невозможно представить себе марксизм без полноценного учения о субъекте. Понятно, что классики как-то себе это представляли, и для себя решали вопрос вполне определенно. Но понятно также и то, что занимали их, главным образом, другие вопросы — и многое поневоле приходилось откладывать на потом. К сожалению, потом не наступает никогда — а на продолжателей особой надежды нет... С другой стороны, неразвитость духовной проблематики в раннем марксизме есть прямое выражение объективного состояния умов: в XIX веке тема не созрела, для ее разработки не хватало материальных предпосылок. На первых порах важно было хотя бы осознать наличие проблемы — и очистить философию от мистики первобытных представлений о духе. Как это часто бывает, в критическом запале перегнули палку и вместе с идеалистическим видением духовной жизни отбросили всякое видение вообще: дескать, достаточно покопаться в материи — и с духом автоматически все встанет на свои места. Не встанет. Вовсе не случайно в Европе вульгарный материализм, как минимум, дважды (в античности и в конце XVIII века) уступал историческую арену философскому идеализму: человеку недостаточно видеть мир вокруг себя — он должен увидеть это мир и в себе самом, и понять, как одно становится другим. Не допуская различий — нельзя прийти к единству. А дух, как ни кинь, отличается от материи. Это непреложный факт нашего бытия — и бытия Вселенной. Если мы их поставим рядом — это голое тождество, и дальше движения нет. Если одно над другим — возникает то, что в марксизме называют основным вопросом философии: давайте выяснять, что выше, а что ниже; но опереться при этом не на что — и приходится устанавливать приоритеты волевым усилием, как догмат веры. Такая постановка вопроса целиком и полностью воспроизводит классовую общественную организацию, и единственный практический вывод из «научного» социализма — необходимость социальной революции. Но, допустим, перевернули мы песочные часы. Что изменится? Ровным счетом ничего: просто низы станут верхами — и потечет песок в обратном направлении... Одно превращается в другое — и наоборот. Снова и снова. Перетекание из пустого в порожнее. К этому сводилась «марксистская» диалектика — а за ней и практика революции. Разбить песочные часы — духу не хватило.

Только сейчас начинает утверждать себя иерархическое видение мира и осознание внутренней иерархичности человека. «Плоская» диалектичность, не учитывающая роста иерархий и переходов с уровня на уровень, тонет в бессмысленном круговороте отрицаний — вызывая справедливое отвращение у всякого, кто берется за решение конкретных практических задач, кому нужен результат, а не хождение вокруг да около. Оказывается, что всякое различие существует только в пределах конкретной задачи, на определенном уровне иерархии, при вполне определенном способе ее развертывания. Собственно, решение задачи и призвано устранить различие, снять противоположности; когда мы из подручных материалов подручными средствами изготавливаем нечто, сами эти исходные предпосылки уже не столь важны, и мы можем найти другие материалы и технологии для получения того же продукта. Вместо «материи» и «сознания» — годятся любые другие категории, ибо каждая из них (поскольку она остается категорией, выражением единства мира) предполагает и все остальные. Для каждой работы — свой набор инструментов, а умение осознанно распоряжаться своим сознанием — это и есть разум.

Поначалу пришлось выращивать сам иерархический подход — на материале самых разных наук и не наук. А когда получилось — мир предстал не только иерархией движения, но и иерархией деятельностей. Вот тут самое время поговорить о любви.

К сожалению, для таких бесед 1980-е благоприятными никак не назовешь. В эпоху крушения надежд трудно любить. И тем более, делать из этого далеко идущие выводы. Но мы хотя бы решились — и делали, что могли. На первых порах старались не разочаровывать стариков — и шли обычным путем, от критики. Вроде бы, минимальное расширение исторического материализма в контексте борьбы с буржуазными извращениями. Но старые кадры ни в каких усовершенствованиях уже не нуждались, а новым требовалось совсем другое: они исподтишка готовили почву для контрреволюционного переворота в идеологии, для возврата как раз к тому, что мы пытались критиковать. Любые попытки представить иерархический подход широкой публике неизменно наткнулись на отказы разной степени невежливости: от холодного недоумения до свирепых разносов. А потом стало совсем не до того: только бы удержаться на плаву... Сотни страниц конспектов и рукописей долгие годы валялись без дела — и здесь мы вытаскиваем на свет лишь небольшую часть, насколько хватит сил.

После распада СССР и реставрации капитализма направленность предшествующей этому идеологической подготовки стала совершенно очевидной, и теперь уже нет необходимости кого-либо разоблачать — поскольку сами бывшие «марксисты» всячески подчеркивают свою давнюю приверженность идеалам буржуазии. Если даже в советское время марксизм с большим трудом пробивался в печать — нынешние коммерческие средства массовой информации (точнее: промывания мозгов) полностью изолировали обывателя от «неправильных» идей; академическая наука вынуждена плясать перед капиталом на задних лапках не для процветания, а ради пропитания; философией называется любая мешанина житейских банальностей и мистики, ни в коей мере не оспаривающая право буржуазии на мировое господство. Мысль стала рабыней денег; свободомыслие в условиях рынка — это логическая несуразность, противоречие в определении.

Что мы могли бы противопоставить мутной стихии? Только любовь.

Сегодня как никогда важно вырваться из обывательской колеи, и если даже не заглянуть за горизонт — то хотя бы не забыть, что там, вдали, что-то есть. Гнить здесь и сейчас? — нет уж, увольте! Да, конечно, без экономических перспектив и любовь получается кривая — но это лучше, чем ничего.

Буржуазия отношения между людьми сводит к чисто биологическим или вещным (имущественным). То есть, нет в буржуазной философии ни разума — ни любви. Оно и понятно: кто любит — уже не будут грызть друг другу глотки ради лишней монеты, — и рынку конец, а вместе с ним и проповедникам бездуховности. Любовь будит в нас разум, заставляет перерасти рамки настоящего, мечтать о совершенстве — готовить его приход. Чего власть предрержащие дозволить никак не могут, и потому науськивают на растерянного обывателя армию попов и политиков, нагло объявляющих себя художниками, учеными или философами. Вместо разума — закон. Вместо воспитания — промывка мозгов. Поборники «чистого знания», на словах отрицающие всякую корысть абстрактной рефлексии, на деле служат интересам капитала и оказываются куда практичнее революционных романтиков, мечтающих совершенно бескорыстно — и разбивающих лбы о гранит массового невежества и бездуховности.

Эмпирионатурализм как господствующая философия духовного воспроизводства навязывает общественному сознанию идею животной природы человека — тем самым отказывая ему в какой бы то ни было

духовности вообще. Задавленные ежедневной борьбой за выживание массы легко ткнуть мордой в их очевидную животность — якобы генетически обусловленную — и нет у быдла ни малейшего права претендовать на «естественные» привилегии господствующего класса. Сумел кто-то прорваться из разряда травоядных в отряд хищников — что-то у него с генами... Философия призвана оправдать уродство капиталистической конкуренции, бессмысленную войну всех со всеми, использование сильными слабых, покорность низших этажей иерархии, обязанных в достатке поставлять хозяевам новых рабов, — а государство используется для насаждения подобной этологии на практике. Система классового образования и воспитания ставит во главу угла телесность человека, его физиологическую ограниченность и уязвимость, используя которые легко управлять неразвитой психикой глупых зверушек, подсказывая им угодные руководству взгляды и желания. Сознание вдавнено в подсознание — полностью обусловлено им. Большинство просто не в состоянии вообразить себе что-либо иное — и совершенно согласно с выдвиганием чисто органических потребностей (в пище и воде, в крове и безопасности, в отпавлении естественных надобностей и размножении) в ранг главных общечеловеческих ориентиров, над которыми могут надстраиваться вторичные инстинкты, вроде жажды урвать, утвердить превосходство, унижить ближнего... К этому сводится всякая деятельность, и любое внутреннее движение. И первое, что стремятся опошлить казенные мозгом — это любовь.

Половой вопрос давно стал разменной монетой в рыночной стихии. Любые человеческие взаимоотношения буржуазная «наука» сводит к сексу — иногда в каких-то «сублимированных» (надстроечных) формах. Оставаясь в рамках поголовного биологизаторства, никакой иной любви и представить себе нельзя. Действительное развитие культуры на каждом шагу дает примеры благородных порывов и возвышенных чувств — но их стараются вывести из врожденных сексуальных предпочтений или сугубо биологической целесообразности: ни для кого не секрет, что благотворительность и альтруизм — один из рычагов рыночной конкуренции. Физиологию секса преподносят как источник всех благ и достоинств; способность деторождения возводят в ранг общечеловеческой полноценности и гражданский (рыночный) долг. Очевидную связь любви и свободы — подменяют разгулом физиологии, доступностью любых форм самоудовлетворения: формальное признание того, что ранее считалось половым извращением, призвано поставить

настоящую свободу любви под контроль — свести ее к буржуазным общественным институтам. Юридическое оформление новых свобод дает дополнительные рычаги перераспределения собственности: одни выбивают деньги из других в качестве компенсации за мифические правонарушения. Подавление человеческой духовности маскируется под физиологическое раскрепощение. Во многом это напоминает борьбу наркомафии за легализацию «общественно полезного» наркооборота — за которым так легко спрятать грязный бизнес.

Другая сторона и неизбежное дополнение эмпирионатурализма — религиозная философия. На первый взгляд, выведение духовности за грань материального мира диаметрально противоположно огульному биологизаторству. Однако это кажимость; на самом деле речь все о том же: о подчинении человека внешней силе, о запрете самостоятельно определять направления своего развития. Будет этот абстрактный авторитет логикой естественного отбора или божьим промыслом — разницы никакой. Любить секс, любить бога, — значит, не любить человека, не видеть в нем разума — и убивать разум в себе. Религия отождествляет природу и дух и отличается от вульгарного материализма лишь номинально: вместо природы самой по себе — самосушая божественная природа. Будем мы воспитывать подрастающее поколение в духе сексуальной озабоченности или оргиастической суеверности — результат один: подконтрольность и управляемость, служение чужим (хотя и не всегда чуждым) интересам.

Эклектичность и непоследовательность — неизменные спутники буржуазной философии; они помогают еще больше запутать дело — и в результате даже те, кто честно пытается выйти за рамки буржуазной ограниченности, беспросветно вязнут в вопросах пола — или в мистических предрассудках. Классики марксизма — не исключение. Любовь, брак, воспитание... — нам дано многообразие исторически сложившихся форм, стереотипы, усмотреть за которыми исходные, элементарные поведенческие акты очень непросто. В области экономики это удалось; универсального представления о духовности пока нет. Идеологическая работа поставлена так, чтобы его не было, — однако развитие духа столь же объективно, как и развитие природы, и потому в недрах буржуазной идеологии зреет то, в чем она будет изживать самое себя. Нам посчастливилось уделить какое-то время изучению вопроса и критической рефлексии. Остались следы. Наша задача — представить принципиальную позицию, которая, мы надеемся, в основных чертах

верно описывает будущее человеческого общества — если, конечно, человечество до какого-нибудь будущего доживет.

Начиналось с протеста, с желания противопоставить нечто разумное официальной идеологии; это накладывает отпечаток на форму и стиль. Разумеется, полемичность — свидетельство недостаточного понимания. Однако намеренно «позитивное» изложение в философии обманчиво: оно не дает полноты картины. Действительность не сводится к тому, что философ о ней думает. Указание на реально существующие отклонения, попытка осознать их происхождение и развитие, — столь же важны для понимания сути дела, как и обозначение собственной позиции. А поскольку «заблуждений» в истории философии всегда хватало — их анализ часто оказывается более содержательным, чем абстрактное перечисление фундаментальных принципов, формалистический скелет, лишенный чувственной плоти. Философская идея неотделима от своей истории — точно так же, как логика бессмысленна без раздела о логических ошибках. Аналогично, в математике зачастую важен не формально полученный результат, а те ограничения, которые он накладывает на наше мышление и наши действия; развитие науки, собственно, и состоит в снятии таких ограничений — преодолении человеческой ограниченности.

Новое редко удастся изобразить ярко и отчетливо, в его характерных деталях. Для этого современность еще не придумала ни образов, ни слов. Большей частью, люди рисуют себе будущее, сравнивая его с настоящим, и сравнение это, как правило, сводится к указанию, чего из ныне известного в будущем быть не должно. Точно так же, здесь мы вряд предложим заинтересованному читателю готовую картину человеческих взаимоотношений в бесклассовом обществе, и даже на сколько-нибудь полное теоретическое развитие претендовать не беремся. Мы лишь перечитываем старых и современных авторов, обращая внимание на то, как пропитаны они традиционными представлениями о взаимосвязи материи и духа, и в каком направлении хотелось бы эту ограниченность преодолеть. Задача следующего этапа — собрать разрозненные и противоречивые воззрения в целостную концепцию воспроизводства человека как разумного существа.

Говоря о человеке, мы никоим образом не утверждаем, что разум возможен лишь в той частной форме, в какой он пытается воплотиться на нашей планете. Это лишь живой пример, предпосылка философской абстракции, перехода к категориальному выражению идеи разума как

такового, как одной из сторон мира в целом, необходимой ступени всякого развития. Даже если человеческая история — тупиковая ветвь, и не может претендовать на универсальность, — она часть истории мира в целом и следует единым принципам, которые возможно усмотреть, выделить из несущественных подробностей, и хотя бы для себя уяснить непосредственно недостижимое. Это тоже свидетельство разумности. Поскольку же ни одна конечная форма не может вместить все богатство возможностей, никакое воплощение разума не может быть вечным и неизбежно перерастает рамки своего материала, чтобы погибнуть — но дать начало другой материализации тех же всеобщих сторон единого и единственного мира.

И все же, какими бы универсальными ни представлялись нам наши взгляды тридцатилетней давности, риск устареть, отстать от времени, постоянно ощутим. По сравнению с 1980-ми, начало XXI века выглядит потоком открытий и перемен. Политическая и экономическая география изменились до неузнаваемости. Вопрос о колонизации планет уже можно ставить в практическом ключе; мы по-иному видим Солнечную систему — и уже вышли за ее границы. Экономика решительно перешла на компьютерные технологии, возможности связи и обработки данных намного превосходят все ранее мыслимые пределы. Это радикально меняет характер общественного производства — а значит, и характер образования. Не менее революционны и сдвиги в общественном освоении человеческой органики: расшифрован геном человека, развиваются технологии клонирования, искусственное оплодотворение и внешнее вынашивание давно уже стали привычной практикой. Попутно выяснилось, что (как мы всегда утверждали) набор генов практически не влияет на личность человека, что клоны вовсе не обязательно похожи, и что «плоть от плоти» могут быть практически ничем не обязаны своим биологическим родителям. Половая связь уже не служит делу продолжения рода: в принципе, можно обойтись вообще без нее. С другой стороны, правовая подвижность официальных браков и значительное расширение практики усыновления делают само понятие «родственных» отношений весьма расплывчатым, вплоть до полного размывания культурно-экономической значимости кровного родства. Легализуются браки гомосексуалистов и лесбиянок; кое-где таким семьям разрешено воспитывать детей. Смена пола и отказ от половой ориентации — совершенно обычное дело. Семья переводится на чисто контрактную основу, превращается в бизнес-партнерство.

Казалось бы, в таких условиях не остается места для сомнений относительно чисто социальной сущности человека, историчности способов воспроизводства его телесности и методов социализации. Один шаг до представлений о личности, свободной от единичных воплощений, о влиянии духа на движение тел, о любви как о духовной, а не биологической общности.

Однако даже сегодня в сознании большинства людей сохраняются древние предрассудки, которые в академическом философствовании благополучно уживаются со сколь угодно нигилистическими идеями. Так, нынешний буржуа может открыто исповедовать и проповедовать сексуальную свободу, или третировать бедных родственников под угрозой отказа в завещании, — но отрешиться от самой идеи семейственности он не в состоянии. Почему? Да потому что семья исторически лежит в основе цивилизации — то есть общества, основанного на эксплуатации одного человека другим, — от первых рабовладельческих государств до империалистических сверхдержав. Апология семьи — противоположность и логическое дополнение религии, и формально светский характер семьи при капитализме сочетается с разного рода мистическими представлениями о родстве как данной свыше связи; точно так же разнуданность секса у буржуа соседствует с восприятием любви как чудесного дара, или злого рока. Древнейшая задача официальной идеологии — нейтрализовать разум, ограничить человеческое сознание специфически видовым поведением, участием в общественном производстве. Соответственно, любовь не для человека — а для семьи, производственной ячейки классового строя. При этом от любви остается только телесный контакт — никакого иного воздействия на человеческую субъективность не предполагается, дабы не конфликтовать с социальными установлениями, замаскированными под биологические законы. Пока человеческие чувства сводятся к физиологическому акту — капитализму ничто не угрожает.

Понятно, что общественное образование, воспитание новых поколений, при таком подходе выглядит примитивной передачей накопленных за тысячелетия навыков и традиций, каждому по его породе. Будет это обычная школа, общение с учителем с глазу на глаз, онлайн-курсы или самостоятельное окучивание библиотек — роли не играет. Культурным примером запросто становится и родственник, и профессиональный педагог, и дворовый авторитет, и бизнес-братан... Важно лишь одно: все это не для себя, не ради духовного роста и

внутреннего удовлетворения, — а для придания «товарной формы», подгонки способов деятельности под навязанные извне стандарты. Хорошая вещь хороша и без нарядной упаковки — однако правильно упакованная вещь стоит дороже, и меньше риск нарваться на внезапную ревизию с крупными штрафами за некондицию. Человека продают, как вещь, — и стремятся побольше на нем наварить.

Как отдельные члены общества противостоят друг другу в качестве «рыночных партнеров» (то есть, конкурентов, жертв или врагов) — так и различные уровни субъекта разведены по разные стороны линии фронта. Коллектив, действующий как целое, рождается, образуется и воспитывается подобно единичной особи. Однако отношение разных людей к коллективу сильно различается: для рядовых членов это внешняя сила, в зависимости от обстоятельств выступающая то гарантией безопасности, то враждебной стихией; напротив, командиры стоят над коллективом, представляя не себя самого, а коллектив более высокого уровня (правление, класс, нация и т. д.). В некоторых случаях разные функции сочетаются в одном лице — но это внутреннее противоречие не снимает конфликта как такового, и часто перерастает в общественную неадекватность и психическую болезнь. Роль подавляет человека: ты начальник — я дурак; я начальник — ты дурак... Люди представляются органами большого организма — и это еще один источник и продукт эмпирионатурализма в философии.

Оказывается, несмотря на перемену оперения, корни проблем остаются, и наши старые изыскания не потеряли актуальности. Вопрос об истоках духовности и уровне ее полета так и не решен, и даже подступиться к решению в рамках официально разрешенных или демонстративно оппозиционных философий нет никакой возможности. Разумеется, пришлось модернизировать исходные тексты и наполнить их понятными современнику аллюзиями, избавляясь от того, о чем старики предпочитают забыть, а нынешнее поколение и не знало никогда. По счастью, вряд ли потребуются блистать эрудицией и перекапывать горы свежих источников: имеющихся образчиков вполне достаточно, а желающие легко найдут аналогичные перекосы у других, в качестве самостоятельного упражнения. Мы знаем, например, что конкретные иллюстрации в *Капитале* по большей части неубедительны в условиях намеренно переусложненной современной экономики — однако основные выводы остаются неизменными, они железно следуют из основополагающих принципов теории. Некоторые высказывания

Маркса звучат так, будто жил он не в XIX, а в XXI веке и был свидетелем всему, что довелось пережить нам. Разумеется, это не повод лишний раз процитировать тысячи раз цитированное, засвидетельствовать почтение и выразить личную преданность. Мы идем своим путем; насколько это похоже на взгляды классиков (в определенный период их развития) или какие-то из ветвей традиционного марксизма — не наша забота.

Охватить тему во всем объеме никто бы не смог; такой задачи и не было никогда. Предполагается, что заинтересованный читатель не ограничится файлом в папке, томиком на полке, или усвоением пары логических трюков, а попыбует найти свои грани единой схемы — лишний раз пробуя ее на прочность. При случае не грех и уточнить, и подправить.

С другой стороны, рассуждая о прошлом, мы думаем о будущем. Наличные формы воспроизводства плоти и духа субъекта деятельности наводят на мысли о том, как разумнее устроить общественную махину, сделать жизнь интереснее и светлей. В свете этого идеала есть смысл прикинуть, что из уже имеющегося ему в какой-то мере соответствует, и как это склеить в целостность нового типа, чтобы в условиях классовой экономики пробилась ростки бесклассовой духовности, разумности. Никаких сомнений в том, что правящий класс постарается удушить поросль на корню; но подрезать крылья идее — мы ему не дадим. Самим фактом своего существования, своей способностью мечтать и любить, мы восстаем против бессмысленности буржуазного бытия — и своим примером утверждаем неизбежность его гибели. Да, сначала придется погибнуть нам, и многих из нас уже нет рядом. Но мы знаем, где их искать, и как с ними общаться — полноценно, по-человечески. Тела уходят — остается дух, который в совершенстве умеет перетекать из одной материи в другую, а какая-то материя найдется всегда!

Вот поэтому мы и набрались смелости представить публике хоть что-нибудь в том же духе, продолжить общее дело на свой лад. Пусть пока отрывки из обрывков — для чьего-то одеяла сгодится и такой лоскуток, а шанс согреть других согреет и нас. Даже если вообще никто не прочтет — мы честно сделали свое, и этого не отменить никаким декретом. Это стало фактом движения нашей Вселенной — необходимым кирпичиком в здании мира в целом. Где чему проявиться, в каких телах и душах, — мир разберется и без нас.

А пока, как говорится, просим любить и жаловать. Не нас — друг друга, дела и слова, вещи и тени вещей.

ГРАНИ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Начиная разговор о воспроизводстве разума, мы сразу же выдвигаем два несамоочевидных принципа: во-первых, есть *разум* — и он чем-то существенно отличен от всего остального; во-вторых, разум регулярно *воспроизводит* себя — и нам предстоит осознать необходимость этого воспроизводства и выяснить, чем оно отличается от воспроизводства всего остального. Причастность человечества разуму обыкновенно подразумевается — но здесь это не умолчание, и не постулат, а постановка проблемы: в какой мере современное человечество отвечает идее разумности, как оно доросло до нынешнего состояния и каковы перспективы дальнейшего развития? В зависимости от результатов будем решать, как в нынешних исторических условиях можно было бы поучаствовать в производстве человеческой истории.

Как и другие идеи, представление о разумности — и о месте разума в движении мира — складывается далеко не сразу; судя по бытующему повсеместно обыкновению включать человека в мир животных — четкого сознания качественного отличия человеческого поведения от природных процессов, его принципиальной несводимости к физике или биологии, у большинства до сих пор нет. Интуитивно что-то такое чувствуется — но нетвердые убеждения легко подавить хитрой казуистикой и переписать картину в интересах господствующего класса: разум подменить обыкновенной сообразительностью, интеллектом, — а общение разумных существ свести к рыночной борьбе за существование. Поэтому придется начать с азов — развести уровни живого и неживого, разумного и неразумного.

Прежде всего признаем, что человек и все, что его окружает, — лишь часть единого мира, и никаких других миров нет. Придумайте что угодно, вообразите себе нечто за пределами, — и сама возможность это вообразить включает вашу фантазию в ваш мир, делает одной из его сторон. Кто-то другой придумает свое — но как только вы начинаете что-либо делать вместе, ваши миры сливаются, становятся разными

сторонами одного и того же. Самое общее и очень абстрактное представление о мире связано с его единственностью: есть источник и основа всего, и ни о чем нельзя осмысленно говорить, не имея в виду этого всеобщего целого, на фоне которого только и возможно что-либо наблюдать, из чего можно что-то строить. В марксистской философии такое видение мира представлено категорией *материя*. Разумеется, вопрос не о названии; важна суть дела. Кто-то заявляет, что в начале всего бог, или абсолютный дух, или персона говорящего... Но если мы имеем в виду единое происхождение всех вещей (включая нас самих) из того, что от этих вещей не зависит и вовсе к ним не сводится, — оно оказывается их материей, безотносительно к номенклатуре.

Однако единства не бывает без различий. Мир один — но не аморфной массой, не пустотой, — а бесконечностью вещей и связей между вещами. Каждая из этих частей (или сторон) мира рождается, проходит присущий только ей путь развития, — и умирает, растворяется в других вещах и явлениях. Мир целиком также возможно трактовать как некую «всеобщую» вещь, которая то представляется множеством единичностей — то снимает эту множественность, чтобы тут же развернуть (воспроизвести) себя другим способом. Такое разнообразие проявлений одного и того же называется *иерархичностью*. В каждом акте воспроизводства мир выступает как *вселенная* по отношению ко всему, чем он представлен в данном конкретном обращении его иерархии, — и мы живем в какой-то из таких вселенных, и подчиняемся ее законам, и видим ее лишь изнутри. Что не исключает существования иных иерархических структур, о которых мы можем догадываться, исходя из нашего понимания единства мира, предполагая, что между любыми его ветвями (сторонами) всегда есть нечто общее.

Из единственности мира прямо следует, что как-то относиться он может только к самому себе, и превращается только в себя. Ссылается на это обстоятельство специальная философская категория: *рефлексия*. Буквальный перевод: возвратность, возвращение к себе. Для отдельных частей мира — рефлексия выглядит как взаимодействие разных вещей, переход одного в другое. Однако в пределах своего цикла развития, от возникновения до исчезновения, все взаимодействия вещи с другими не меняют ее — и она воспроизводит себя, подобно миру в целом. Другими словами, движение мира в целом отражается в каждой из его частей, все стороны целого так или иначе представлены в единичных вещах. Поскольку же единичные вещи отличны от мира в целом, черты целого

проявляются в отдельных частях мира лишь частично, как возможность внутреннего движения и взаимодействия с другими вещами. Так, если разум — необходимая сторона мира в целом, в каждом конкретном воплощении он представлен совокупностью вещей и порядком их взаимодействия, одной из частных форм, — и приходится говорить лишь о степени разумности этого миропорядка.

Мир в целом — единство уникальности и множественности: он и то, что воспроизводится, — и акт воспроизводства. Однако сопоставляя материю и рефлексию как разные стороны мира, мы обязаны вернуться к целостному видению, в рамках которого и материя, и рефлексия, — стороны одного и того же. Мир как соединение противоположностей обозначают философской категорией *субстанция* (то, что есть само по себе и преобразует само себя). Соответственно, поскольку каждая единичная вещь подобна миру в целом — мы можем говорить о трех сторонах ее целостности: *материальность, идеальность и реальность*. Когда вещь соотносится с собой — это ее внутренняя определенность: *материал, форма и содержание*. Но вещь в мире не одна, и может соотноситься с другими вещами; в этом случае те же ее стороны определяют ее внешним образом, как *сущность, явление и действительность*.

Всеобщие атрибуты мира философия представляет категориями — которые не сводятся ни к (научным) понятиям, ни к (художественным) образам. Категории объединяются в категориальные схемы — и только так приобретают конкретность, определенность; в других отношениях та же категория приобретает иной смысл. Мы хотим выяснить, каково место разума в целостности мира — и как всеобщая рефлексия ведет к воспроизводству разума. Для этого предстоит вписать разум в какие-то категориальные схемы. Разумеется, возможны различные картины; здесь мы остановимся на одной из возможных — чтобы выстроить контекст для последующих обсуждений. Это не исключает других решений — и только в единстве всех подходов наше представление о разуме становится подлинно разумным.

Воспроизводство единственности мира — это по сути своей простое воспроизводство: что было, то и останется. Такая неизменность лежит в основе всего остального — и называется *существованием*. Любая философия начинается с чего-то существующего; иначе и говорить не о чем. Даже если мы не слишком ясно представляем себе, о чем речь, — важен сам факт существования, а уже исходя из этого можно искать

большей определенности. Когда мир развернут в иерархию вещей, столь же иерархично и его существование, и существование каждой вещи как полномочного представителя мира в целом. Традиционно, в философии существование видится как *бытие, движение и развитие*. То, что существует, движется и развивается, обозначают словом *вещь*. Разумеется, бывают очень разные вещи — и далеко не всегда это нечто осязаемое: глубинные свойства и отношения вещей также могут вести себя как вещи: существенно только, что они есть, что они движутся (меняются) и развиваются (образуют иерархию вещей).

Следующий уровень воспроизводства — воспроизводство богатства форм существования. В простейшем случае, вещь существует как она есть, и способ ее существования определяется характером выделения вещи из остального мира. Из таких вещей складываются другие вещи, которые воспроизводят не только свои составные части, но и способ их соединения в составе целого, взаимодействие и взаимовлияние. Такая составная вещь существует лишь поскольку сохраняется это внутреннее движение — а следовательно, и возможность восстановления того, что утрачено, за счет окружающей среды, и выделение несвойственных целому компонент в окружающую среду. Этот обмен с внешним миром называется *метаболизмом*, участвующая в нем сложная единичность выступает как *организм*, а ее внутреннее единство мы называем словом *жизнь*. То есть, наряду с простым, неорганическим существованием, — и на его основе, — появляются качественно иные вещи, живые существа, принципиально несводимые к неживому. Всякий единичный организм, характеризуется как особым соединением вещей (*тело*), так и типичным именно для этого живого существа способом их движения (*душа*). Заметим, что и тело, и душа не только существуют, но и движутся, и развиваются. Телесные изменения отражаются в душе, душевные движения способны вызывать перестройку тела. Для жизни важно присутствие и того, и другого: не бывает живого тела или живой души самих по себе. Разрушение тела или прекращение метаболизма приводит в распад органичности, к *смерти*. Важно, что идея смерти имеет смысл только в отношении живых существ: о смерти того, что не ведет себя как организм, можно говорить лишь метафорически.

Мир в целом воспроизводит себя во всем разнообразии движений — как неживое и как жизнь. Поэтому возникновение и развитие особых организмов при каждом развертывании иерархии мира необходимо и неизбежно. Какими бы ни были неорганические предпосылки — жизнь

примет возможные в этих условиях формы. Такая адаптация происходит и на уровне отдельных видов, и в каждом единичном организме.

Жизнь возникает на основе неживого — и организмы построены из вещей, которые могут существовать и сами по себе, безотносительно к метаболизму. Однако в составе организма все его части необходимым образом зависят друг от друга, и способ их бытия и движения отличается от того, чем они представлялись бы в неживой природе. Собственно, это отличие мы и воспринимаем как жизнь.¹ Со стороны может показаться, будто живое существо (как абстрактное противопоставление души телу) регулирует неорганические процессы, связывает одно с другим особым образом, выстраивает метаболические цепочки, — а поверх этого возникают закономерные связи разных организмов друг с другом.

Есть и другие способы воздействия жизни на неорганический мир. Например, живое массово переходит в неживое — и возникают пласты осадочных пород, залежи угля, месторождения нефти и газа... С другой стороны, продукты жизнедеятельности организмов постепенно меняют их неорганическую среду: например, фотосинтез насыщает атмосферу кислородом; организмы способны связывать и расщеплять химические вещества (выступая своего рода катализаторами); живые существа способны в некоторых случаях влиять на тепло- и массообмен в среде; разложение организмов повышает концентрацию низкомолекулярных соединений определенного типа — и так далее. Однако такие переходы не носят характера универсальной связи, они лишь разворачиваются как возможные способы органического бытия, движения и развития, — при том, что возникновение тех или иных организмов остается игрой случая и в этом сохраняет неорганический характер: живое не отделяет себя от неживого, и наоборот.

Противоположность и единство всевозможных форм существования и жизни устанавливается лишь на уровне *деятельности* — активного преобразования мира разумным существом (*субъектом* деятельности). Включенные в деятельность части мира (вещи и отношения вещей) составляют ее *объект*; в результате деятельности возникает другой

¹ Тело может какое-то время существовать и без души — но уже не как живое существо. Напротив, душа без тела — невозможна, поскольку она есть способ движения вполне определенного тела: не бывает «переселения» душ — существования в другом материале. Это, в частности, означает, что попытки «восстановить» исчезнувшие виды на самом деле приводят к созданию новых видов, лишь отчасти похожих на прежние.

способ организации мира — ее *продукт*, который впоследствии может стать объектом иной деятельности.

Принципиальное отличие деятельности от метаболизма — ее универсальность. Характер метаболизма полностью определяет живое существо — и ничего другого оно делать не умеет. В деятельность могут быть вовлечены любые вещи — которые таким образом оказываются связанными, даже если их собственное движение не дает для такой связи никаких оснований. Расположение звезд на небе никак не связывает их между собой — но мы умеем рисовать контуры созвездий, да еще и менять движение корабля, в зависимости от расположения далеких звезд, которые физически неспособны столь радикально на него повлиять. Кулинарный рецепт объединяет никак не связанные меж собой животные ткани, растения и минералы; вне человеческой деятельности такая связь невозможна. Сами разумные существа — не исключение: они умеют соединяться друг с другом особыми, *общественными* связями — которых нет в мире живого и неживого.

В силу универсальности разума, по отношению к субъекту весь мир становится совокупностью объектов — *природой*. Точно так же, вся совокупность произведенных в деятельности продуктов предстает вторичной, искусственной природой — *культурой*. Однако и субъект — часть мира, одна из его сторон. Мир в целом, помимо существования и жизни, воспроизводит себя в деятельности, превращается из природы в культуру. И становится всеобщим субъектом, который в философии обозначен категорией *дух*.

Это означает, что всякая часть мира может быть взята в отношении к деятельности — и в ней тогда соединены природная, духовная и культурная составляющие. В частности, продукт деятельности — это прежде всего (природная) вещь, — но также и совокупность освоенных способов обращения с этой вещью и ее восприятия (особая организация субъекта), — и место вещи в культуре (ее история). Соответственно, говоря о воспроизводстве носителя разума, субъекта (единичного или коллективного духа), мы предполагаем прежде всего воспроизводство его телесности, материальных условий участия в деятельности (*плоть*); другая сторона того же самого — способность и стремление осваивать и преобразовывать мир универсальным образом, включая работу над собой (*духовность*); наконец, важны этапы развития субъекта, сложившиеся формы его участия в совместной деятельности, его историческая необходимость (*культурность*).

Разумеется, стороны целого не существуют сами по себе, вне их отношения к целому. Было бы неправильно противопоставлять в человеке плоть и дух — и говорить об их воспроизводстве по отдельности, самих по себе. Мы видим целостную деятельность — по отношению к которой человек проявляет себя по-разному. По мере развития деятельности на передний план выступают те или иные качества; это называется *обращением* иерархии. Но преобладание одного не устраняет другого — оно лишь прячется в глубине, и обязательно проявится при подходящих обстоятельствах. Поэтому, выделяя в каждом контексте главное, мы так или иначе привлекаем все остальное; в разных отношениях одну и ту же деятельность можно показать с разных сторон, как воспроизводство каких-то из ее компонент. В частности, философский текст можно разбить на главы и разделы — но такое деление достаточно условно, поскольку ни один из этих фрагментов не ограничен узкой темой, и каждый можно считать творческим пересказом остальных.²

Существование, жизнь, деятельность — три уровня воспроизводства мира в целом, несводимые друг другу и одинаково необходимые. Строение каждого из этих уровней воспроизводится в каждом из возможных обращений иерархии, в виде определенных иерархических структур. Но каждый уровень так или иначе представлен в остальных. Разумная деятельность включает все уровни существования, требует участия живых существ, — но вместе с тем меняет условия протекания природных процессов и смещает биологическое равновесие; без такого активного воздействия (окультуривания природы) — нет разума.

Взаимная представленность уровней воспроизводства мира связана с подвижностью границ, перетеканием одного в другое и смещением фокуса. Можно говорить о качественном различии неживых вещей, живых организмов и разумных существ. Но это различие никогда не становится четким размежеванием, всегда есть переходные формы. Каким образом каждая конкретная вещь соотносится с уровнями существования, жизни или деятельности — вопрос непростой, и на него нет однозначного ответа: все зависит от того, для чего мы об этом спрашиваем. Поэтому оценивать разумность человеческих поступков

² В отличие от философии, художественная форма синкретична, неотделима от содержания: здесь нельзя ничего переставить, не меняя общего смысла. Напротив, в науке содержательно именно распределение материала: каждая из частей определяет особую науку.

мы будем различно, в зависимости от конкретно-исторической ситуации, от главных направлений общественного развития и наличных возможностей. Зачатки разумности можно найти в чем угодно — однако далеко не всегда мы удовлетворимся одними лишь зачаточными формами. Нет ценностей самих по себе, вне истории.

Уровни субъекта — это одновременно и этапы его развития. Всякая деятельность есть единство объекта, субъекта и продукта — но прежде всего деятельность в целом предстает для субъекта как объект, наряду с природными явлениями и в отличие от них. Способность воспринимать собственную деятельность как объект называется *сознанием*. Даже эта, низшая форма духа выделяет человека из животного мира. Животное не замечает того, что оно делает, — человеческая деятельность изначально рефлексивна. Когда людей вынуждают чем-то заниматься заведенным порядком (работать) — деятельность вырождается в чисто животное поведение, и людям все равно, что и как произойдет: они лишь реагируют на внешние раздражители (хотя бы и очень сложным, социально опосредованным образом). Деградация воспроизводства до уровня метаболизма — типичная черта классовой экономики. Здесь субъективные предпосылки эмпирионатурализма: типичное выдают за единственно возможное, вырождение подставляют на место духовности.

Сознание синкретически противопоставляет деятельность природе, не сознавая характера различий. Всего лишь ощущение причастности. Следующий этап (уровень) — осознание общественного характера деятельности — взаимозависимости и взаимозаменяемости различных участников. Важно не просто участие в производстве, а способ этого участия. Строение субъекта деятельности как соединение усилий разных людей отражается во внутренней организации духа, и на первый план выходит не отношение к природе (объекту деятельности), а место в культуре — и тем самым осознание себя как субъекта; такую духовность мы называем *самосознанием*.

Исторически, самосознание развивается далеко не сразу. Для этого нужно, чтобы деятельность достигла определенной зрелости, стала достаточно массовой, чтобы обнаружить устойчивость распределения ролей; с другой стороны, включение людей в деятельность выделяется в особую, организационно-управленческую деятельность — с позиций которой одна социальная роль отличается от другой. В сознании субъекта управление предстает надстройкой над деятельностью, ее высшим уровнем, — и самосознание выстраивается по отношению к

этой иерархической структуре. В частности, в классовом обществе не все роли оказываются одинаково возможными: рядовые участники не могут перейти в разряд управленцев, а управленцы вовсе не стремятся работать руками... Поэтому самосознание исходно проявляется как сознание принадлежности общественной группе: трудовой ячейке, сословию, классу. Только внутри господствующего класса развиваются зачатки индивидуального самосознания — хотя в полной мере преодолеть классовую ограниченность невозможно без устранения классового деления как такового. Идея свободы рождается там, где можно попробовать ее на вкус, — но привносится в самосознание других слоев общества в силу единства процесса производства культуры в целом.

С ростом иерархичности способа производства противоположность объекта и субъекта воспроизводится на разных уровнях культуры; соответственно, различие сознания и самосознания становится относительным, зависящим от деятельности: осознание чего-либо вдруг оказывается актом самосознания, а рост самосознания приводит к осознанию новых сторон действительности. Тем не менее, поскольку в условиях классовой экономики формы участия отдельных членов общества в общественном производстве существенно ограничены, сознание и самосознание остаются различными уровнями духа и даже иногда вступают в противоречие, приводят к внутренним конфликтам. Только там, где оказывается возможным сознательно переходить от одной общественной организации к другой, гибко перераспределять производственные роли и культурные позиции, возникает единство сознания и самосознания как особый уровень духа — это и есть *разум*.

Разумная деятельность — уже не просто факт общественного бытия, не только раскрытие духовности, — это прежде всего продукт, целенаправленное преобразование соотношения объекта и субъекта, с последующим культурным освоением, построение нового мира вместе с новым отношением к миру. Разум планомерно воспроизводит сознание и самосознание как общекультурные явления, как единство носителей разума в объективно необходимой и субъективно нужной деятельности. Разумно в культуре лишь то, что способствует ее развитию, позволяет каждому осваивать любые стороны действительности, и превращает в действительность субъективную предрасположенность каждого. Разум не отделяет личного от общественного, соединяет все уровни духа — и воспроизводит их и в развертывании индивидуальности, и в истории отдельных сообществ, и на уровне человеческой истории в целом.

Поскольку части и целое — это разные уровни иерархии, не всякое свойство частей воспроизводится в том, что их объединяет. Например, идея причинности характеризует особую связь вещей — и поэтому она неприложима к миру в целом. Точно так же, триада уровней духа:

сознание → самосознание → разум

не имеет смысла для всеобщего духа, мира в целом, поскольку он не противостоит ни какой-то иной природе, ни кому-то другому духу. Гармонично развитый субъект, в котором все эти уровни одинаково важны и хорошо сбалансированы, на отношении собственной целостности снимает их различие — и тем самым становится подобен миру в целом. На это и должна быть направлена постановка образования и воспитания в собственно человеческом, разумном обществе.

Цивилизация, история противостояния классов, — этап на пути к становлению подлинной разумности. Каким образом зарождается разум в том, что обнаруживает лишь зачаточные формы духа? Главным образом, не как действительность, а как возможность. Сознание, самосознание и разум — три грани одного и того же; на первой стадии, в истории доклассового общества, на вершину иерархии выходит развитие сознания, выделение человека из мира животных. Но это уже намечает направление дальнейшего роста — и переход к цивилизации означает обращение иерархии, когда главной задачей становится развитие самосознания. Отличие цивилизации от первобытности во многом напоминает противоположность живого и неживого: то, что у древнейших людей возникало в разных формах как историческая случайность, цивилизация превращает в систему, в необходимую форму бытия — однако классовое общество замыкается в этой необходимости, становится органическим единством, противостоящим первобытной стихии, — и одно несовместимо с другим. Тем не менее, на этой базе уже возможно развитие универсальных опосредований, элементов разума. Переход от классовой организации к постцивилизации выдвинет на вершину иерархии собственно разумность, полный контроль над собственным сознанием и самосознанием; различие жизни и неживого при этом оказывается несущественным и снимается в деятельности. Разумеется, мы можем лишь готовить этот переворот — но не факт, что в земных условиях он неизбежно произойдет.

Деятельность в целом, как исторический процесс (воспроизводство культуры), — единство материального и духовного производства. Одно зависит от другого, разделить эти стороны можно только в абстракции.

Важно помнить, что идеальное — неотделимо от материи, и не может развиваться само по себе, вне конкретно-исторических форм. Однако такая «первичность» материи не допускает сведения идеального к его носителю — и нельзя «вывести» целое из свойств образующих его вещей. Законов физики мало для химии; биохимии недостаточно для физиологии; неживое и живое не объясняют строения деятельности. Наоборот, высшие уровни иерархии влияют на низшие, и приходится вводить поправки в теорию, описывать внешние условия протекания процессов в их собственных терминах.³

Говоря о воспроизводстве разума, логично исходить из духовного производства, обращаясь к материальному производству и культурно-историческим процессам лишь в качестве необходимого фундамента. Разумеется, способ производства, развитие экономики определяет уровень разумности человеческого поведения. Но было бы неразумно предпосылать, например, беседам о философии любви развернутую теорию возникновения и распада общественно-экономических или культурно-исторических формаций — тем более, учитывая, что сколь угодно полной (выходящей за рамки товарного производства) экономической теории пока не существует. Разные разделы философии вполне могут разворачиваться параллельно, в разных контекстах. Это не делает такие (неизбежно частичные) описания внутренне ущербными поскольку мы не забываем о снятой сложности и намеренно суживаем (хотя и не ограничиваем) круг тем.

В плане воспроизводства плоти субъекта, центральный момент — преодоление традиционного биологизаторства, сведения материального носителя разума к единичному органическому телу, и ограничению формирования субъекта одним лишь деторождением. Другая сторона того же самого — абсолютизация биологической и воспитательной роли семьи, которая парадоксальным образом перерастает в апологетику буржуазного права, никакого отношения к биологии не имеющего.

³ Например, в квантовой физике важны не только уравнения движения, описание взаимодействий внутри системы, — но и граничные (асимптотические) условия, от которых существенно зависит характер решения. Эти дополнительные условия никак не следуют из теории — они моделируют (макроскопические) условия эксперимента, порядок регистрации результатов, и в конечном счете — обычные в данной культуре способы обращения с вещами. За счет этого микроскопические движения оказываются коррелированными. Точно так же, в теории относительности, факт постоянства скорости света связан с чисто культурным обстоятельством: мы измеряем скорости в единицах скорости света, и у нас пока нет других референтных процессов.

Интересно разобраться, что именно воспроизводит общество на самом деле для поддержания зачатков разумности — и в каких направлениях могли бы развиваться технологии построения телесных оболочек, пригодных для представления разных уровней духа.

В развитии духовности — интересен ее универсальный механизм, любовь. Освобожденная от вульгарно-физиологических толкований, любовь предстает во всем богатстве культурно-исторических форм. Эта иерархия по-разному разворачивается в разные эпохи — но в каждой из них любовь, по сути, тождественна разумности: это ее ядро, критерий человечности.

Наконец, ядро расширенного воспроизводства культурных форм человеческого труда — преемственность и направления развития. И то, и другое воплощается в организации общественного образования (воспитания и обучения), во взаимодействии поколений и уровней субъекта. Здесь надо старый вопрос о соотношении производственных интересов и любви решать с точки зрения разумности того и другого, направленности в будущее, к культурной универсальности.

Обо всем этом человечество задумывалось не одну тысячу лет; мудрецы каждой эпохи привносили в традицию свое видение проблемы, открывали в ней новые грани. Однако лишь сейчас, на высшей ступени цивилизации, в условиях развитого капитализма, появляется надежда снять однобокость эмпиризма и абстрактного теоретизирования, отойти от узкой конъюнктурности и мистических догм, — и поставить задачу замены воспроизводства убогой животности воспроизводством разума, на всех уровнях и во всех проявлениях. Что автоматически означает устранение эксплуатации человека человеком, разделения труда и формального противопоставления одних форм субъектности другим, — то есть, гибель цивилизации. Да, господствующая идеология отнюдь не приветствует подобное освобождение духа. В буржуазной пропаганде уровни воспроизводства субъекта намеренно перемешаны, свалены в одну эклектическую кучу — чтобы разобраться было труднее. С одной стороны, экономический строй просто не дает заметить различие — поскольку все сводится к чистому количеству, к деньгам. Но есть и сознательная дезинформация, промывание мозгов. Только отделяя разумное от неразумного, собирая воедино разрозненные примеры человеческой универсальности, можно показать, как господство рыночной стихии и животной борьбы за существование превратится в невозможность никаких господств и всеобъемлющее торжество любви.

МАТЕРИЯ РАЗУМА

Традиционные представления о происхождении разума до сих пор сводятся к особой роли каких-то биологических видов — у которых, якобы, физиология достаточно развита, чтобы обеспечить им заметные эволюционные преимущества по отношению ко всем остальным представителям животного мира. При этом носителями разума считают особей «разумных» видов (и прежде всего *homo sapiens*) — отдельные организмы, поведение которых (как и у других животных) целиком определяется их видовыми особенностями, характером метаболизма. Отсюда обычная для буржуазной науки практика поиска органов и функциональных систем, ответственных за те или иные аспекты того, что мы склонны считать сознанием и разумностью. Прежде всего речь идет о разнообразии и пластичности динамики головного мозга, который такие «ученые» наделяют самыми невероятными свойствами — вплоть до присутствия физических взаимодействий, нигде более себя не обнаруживающих, — или способности мистически влиять на вещи и организмы без каких-либо материальных посредников. Развитие разума видится при этом как постепенное накопление органических элементов и овладение способами их объединения в высокоадаптивные комплексы, обеспечивающие ориентировку и сложное поведение в непредсказуемо меняющемся мире. Таким образом, разумность полностью сводят к интеллекту, — и не усматривают никакого принципиального отличия человека (как творца и носителя культуры) от животных (или будущих интеллектуальных машин): это сугубо количественная характеристика, мера «сложности» системы.

Можно было бы простить вульгарному натурализму это упрощение и поместить его на одну полку с прочими грубыми вульгаризациями, без которых не обходится никакая наука. Но здесь отнюдь не абстрактное теоретизирование: апологию животности политики активно используют для оправдания общественного неравенства и эксплуатации человека человеком, которая при таком при таком подходе ничем не порочнее

использования рабочих животных: хороший хозяин заботится о скоте, удовлетворяет его физиологические потребности, — и вправе требовать производственной отдачи. Эта людоедская экономика предполагает, что у человека нет и не может быть потребностей иного порядка, животным никак не свойственных. И что единственная форма отношения человека к человеку — потребление, использование в своих интересах.

Другая сторона той же политики — буржуазный индивидуализм: каждый человек сам по себе, он представляет только самого себя (как особь, «родовое существо»), и не существует никаких общественных интересов — а уж тем более объективных направлений развития человеческой разумности как таковой. Чтобы задавить конкурента — шум об общечеловеческих ценностях; но это вовсе не ценности человечества, взятого как целое, а всего лишь сходство вырванных из общества индивидов, — критерии соответствия роли экономической единицы в классовой (рыночной) экономике. Разрозненные единицы легко складывать и расставлять по ранжиру; когда капиталистам надо сломить сопротивление рабов, они сбиваются в хищную стаю; своих прислужников дрессируют как собачью свору — всем остальным предписано держаться в покорно повинующемся стаде. Правящий класс любыми путями препятствует сознательному объединению людей, стремится оставить их один на один с выстроенным за долгие века аппаратом классового насилия. Буржуазная «наука» решительно отвергает идею общественного производства как несовместимую с идеей собственности: утверждается, что каждый работает сам по себе и сам производит полезный продукт — который не принадлежит производителю только потому, что тот «добровольно» продал себя (свою рабочую силу) капиталисту — поэтому новый собственник вправе распоряжаться плодами чужого труда, и перепродавать этот труд, не интересуясь мнением работника (который уже не принадлежит себе).

Физиологическая трактовка разума решительно отделяет человека от условий, предметов и орудий его труда: человек — всего лишь тело; все остальное можно смело отчуждать — отнимать, присваивать, использовать для манипулирования телами. Воспроизводство человека сводится таким образом к чисто биологическому размножению — которым хозяева могут управлять точно так же, как занимаются разведением домашних животных. Никакой инженерии — гибридизация и отбор. Разумеется, широкой публике ничего такого не говорят; политика буржуазных государств всего лишь стимулирует рождаемость

рыночными и прочими средствами — а пропагандистам предписано подавать это как социальную защиту и заботу о каждом человеке. А на деле — еще одна палочка-управлялочка: прикованный к настойчивому и уязвимому телу неминуемо оказывается в зависимости от тех, кто вправе это тело истязать или уничтожить.

Но даже современные технологии промывания мозгов не устраняют сомнений в непреодолимой животности. У всех на виду упрямый факт: новорожденные органические тела не становятся членами общества сами по себе — их предстоит долго вписывать в экономические условия, определять каждому подобающую общественную нишу. Получается, что определяющим в становлении человека разумного все таки будут культурные механизмы — а вовсе не выработка (сколь угодно сложных) условных рефлексов. По самой сути своей, культура противоположна животному состоянию — и поднимает человека над уровнем скота. Интуитивно все это чувствуют — и это прочно вошло в наш язык: назвать кого-то животным — резко отрицательная оценка.

Выражением того же самого на уровне общества в целом становится обратная сторона буржуазного индивидуализма — единая система воспитания и образования. Парадокс: чтобы внедрить в массы животный принцип «каждый за себя» (подразумевая, что за всех решает «бог»), надо сначала сделать их общностью, массой, — и тем самым выработать отнюдь не животную восприимчивость к идеям.

Общекультурные стандарты складываются не сразу, через цепочку исторических форм. Становление классового общества (цивилизации) напрямую связано с возникновением одного из ранних инструментов окультуривания биологических индивидов — семьи. До сих пор — даже у идейных противников капитализма — бытует представление, что все остальные технологии социализации надстраиваются над этой «элементарной ячейкой» общества — и могут лишь дополнять и корректировать ее влияние.

Тем не менее, даже в такой усеченной формулировке, требование развития человеческого организма в принципиально общественной среде серьезно подрывает позиции вульгарных биологизаторов разума. Чтобы обойти трудность, пытаются обнаружить семейственность у животных — и выстраивают гипотетические цепочки переходных форм в первобытном обществе, трактуя любые общественные связи как внутрисемейное дело. Конечно, если называть семьей все, что угодно, — никакого различия между человеком и животными в этом плане

усмотреть нельзя. Однако зачем нужна такая «наука» — если она, фактически, отказывается что-либо изучать?

Исторический материализм, в принципе, позволяет предложить новое направление мысли и показать, как семья зарождается в недрах первобытно-общинного строя — но именно это разрушение синкретизма приводит к распаду прежней общинности и знаменует начало классовой борьбы. Отсюда прямо следует необходимость исчезновения семьи с падением капитализма. К сожалению, классики марксизма не успели высказаться по этому поводу достаточно определенно. Они жили в эпоху, когда древнейшая история человечества и этнография находились в зачаточном состоянии, больше напоминая сборник анекдотов для типичного буржуа; от этой тенденциозности изучение древностей не избавилось и по сей день. Позже, в XX веке, марксизм свели к нескольким догматам, превратили в религию, — и вместо развития гениальных догадок канонизировали вынужденно ограниченные формы выражения. Этому способствовали и многочисленные образчики вульгарной «модернизации», когда якобы идейные партийцы старательно причесывали марксизм под модные идеалистические системы — на корню уничтожающие материализм в истории. В пылу борьбы с этими извращениями — отбросили и зачатки марксистского понимания человеческой духовности. В результате — нет не только марксистской философии духа, но и последовательной философии воспроизводства материального носителя разума, а потому попытки что-либо сказать о субъекте оказывались подвешенными в пустоте — которую тут же заполнял философский идеализм, узурпировавший право судить о движении духа. В частности, буржуазная идея «естественности» и вечности семьи оказалась очень живучей — и вместо спора по существу, обсуждали исторические случайности.

Материалистическое решение проблемы открывается бессмертным афоризмом Маркса: *сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду*. Дальше можно обсуждать и уточнять — но предельно важно с самого начала отделить разум от животности, указать на принципиальное различие уровней воспроизводства мира в целом как основу для поиска определяющих черт человека разумного — и поставить главную задачу: преодоление неразумности природы и человечества.

На этом этапе еще остается лазейка для огульного биологизаторства: ссылка на общественный характер человека может быть истолкована как

общинность: принадлежность стаду, или стае, — или еще какому-нибудь «человеинику». Слово *коммунизм* привязывает нас именно к такому, пошлomu пониманию: *коммунистический* = *коммунальный*.⁴ После уничтожения СССР европейские компартии откровенно встали на этот путь, свели дело к борьбе за расширение прав органов местного самоуправления...

Существуют сложно организованные биологические сообщества — как внутри вида, так и в рамках симбиоза. Строгая иерархическая структура (при сохранении вертикальной подвижности) делает такие «прототипы» сословно-классового расслоения излюбленной игрушкой буржуазной пропаганды, указанием на «естественность» общественного неравенства. Массам внушают, что правильная организация классовой пирамиды — ключ к решению всех проблем, и поэтому в трудные времена достаточно реформировать систему, не меняя ничего по сути. Этим, конечно же, должны заниматься «грамотные профессионалы»...

Маркс начисто перекрывает путь подобным вульгаризациям, говоря о *неорганическом теле человека*, о совокупности вещей, продолжающих и усиливающих органы биологических тел: человек разумный способен выйти за рамки животных ощущений и видеть в мире такое, что недоступно никаким животным, — от квантов пространства-времени до Вселенной целиком. Точно так же, возможности воздействия человека на мир бесконечно превосходят масштабы любых телесных движений. Инструменты и орудия труда — неотъемлемая часть плоти, в которой материализуется разум. Включение в нее каких-то биологических тел возможно — но никоим образом не определяет нашего сознания, поскольку с развитием культуры именно вторичные, инструментальные отношения с миром оказываются повсеместно преобладающими.

Современный эмпирионатуралист все еще находит силы возразить: можно представить себе людей будущего как эдаких киборгов, как мыслящие машины, которые объединены в сообщества по тем же биологическим законам; буржуазная фантастика кишит подобными франкенштейнами. Такие существа могли бы обходиться вообще без тел и существовать в виде особой конфигурации физических полей на просторах метagalактики. Можно просчитать параметры метаболизма

⁴ Парижская коммуна была всего лишь объединением горожан — из разных классов и общественных слоев. Отсюда ее политические шатания, попытки примирить непримиримое. И главная причина падения. Во многом те же причины привели и к распаду СССР.

подобных космологических организмов — и предсказать направления их эволюции.⁵

Во времена Маркса фантасты обходились монстрами попроще, скроенными (как в античных мифах или средневековых сказках) из частей животного происхождения. Но Маркс обратил внимание на то, как людей капиталистический способ производства делает придатками («органами») машин, — и осознал противоположность этого процесса движению к подлинной разумности, необходимость освобождения от животности как таковой. Третий кит материалистической философии духа — сознательное переустройство мира, включая направленное изменение и пересоздание телесных форм — и значит, намеренное изменение характера протекания процессов в живой природе и в неживом. Не освоение уже имеющихся возможностей — а создание принципиально новых. Если природа так не умеет — мы ее научим!

Неживому вообще все равно, как что получится. Живое — меняется под давлением внешних обстоятельств. Разум обнаруживает себя там, где (и поскольку) он способен влиять на любые обстоятельства, подчинять природу (в том числе свою собственную) сознательной цели. Могут это ваши киборги? — тогда они разумны.

Конечно же, речь не о том, чтобы превратить людей в эдакие трансформеры, быстренько перекраивающие телесную оболочку при возникновении новых задач (хотя и это, по большому счету, полезно уметь). Наивная фантазия не уводит нас от животного тела (со столь же животной душой), а идеализирует идею индивидуальной пластичности, оставляя за бортом общественное содержание телесных превращений. Гораздо важнее — методичность и целенаправленность развития плоти разумных существ, постепенно освобождающего их от привязки к конкретным воплощениям. Разумное существо — не в единичном теле, а в совокупности всех тел, воспроизводимых обществом намеренно и планомерно. Обратно, никакая система тел не представляет кого-то одного, одинаково принадлежит всем. В своем предельном развитии, индивидуальный субъект уже не отличается от субъекта коллективного: это уровни одной иерархии. А значит, невозможно противостояние личности обществу, и никакие противоречия не обостряются до грани внешнего или внутреннего конфликта.

⁵ F. J. Dyson, “Time without end: Physics and biology in an open universe.” *Reviews of Modern Physics*, **51**, 447–460 (1979).

Гибкость телесной реализации, относительная независимость от материального носителя, как минимум, предполагает его безусловную необходимость — причем далеко не всякая материя для этого подойдет. Но осмысленная постановка задачи сознательного конструирования носителя разума невозможна без отчетливого осознания отличия разумных существ от неживой и живой природы. При этом мы опираемся на законы природы — но используем технологические возможности не для того, чтобы делить целое на части, а, скорее, перераспределяем наличный материал для удобства совместного пользования. В рамках другой деятельности распределение может быть другим. На уровне разума столь же бессмысленно говорить о «переселении» душ, как и в живой природе, — но по другой причине: поскольку дух уже во всем, ему просто незачем (да и некуда) переселяться. Тем самым достигается эффективное освобождение духа от его природной основы — и появляется возможность собственно духовного производства, на любом доступном материале. Мы вернулись к исходному тезису: разум как совокупность всех общественных отношений.

Простейший пример: если у животного ослабнет зрение — это его проблема, — и верный шанс погибнуть в агрессивной среде или при разборках внутри стаи. Напротив, человек — веер возможностей. Существует инструментальное решение — надеть очки. То есть, к биологической оболочке мы добавляем рукотворный орган, ничего общего с физиологией не имеющий. Но даже простейшие очки — это сочетание тысяч технологий, каждая из которых предполагает определенные формы общения. Поэтому на близоруком носу не просто комплект физических тел, а воплощение и знак вполне конкретной культуры. В неразвитых культурах кому-то кажется заторным носить очки — это свидетельство неразумного общественного устройства. Потому что духовно богатому, творческому человеку не обязательно иметь хорошее зрение — он может выразить себя иными средствами. Не опускаясь до анекдотов про Гомера и Бетховена, мы можем, например, предположить, что в каких-то случаях куда важнее внутреннее око — или чуткий внутренний слух. Капитализм навязывает людям чувство ущербности, неспособности соответствовать требованиям каких-то профессий — это «естественное» оправдание экономического и социального неравенства. Но там, где нет разделения труда, — всегда возможно разумно перераспределить трудовые ресурсы так, чтобы

уравновесить органические и орудийные компоненты, ничем не стесняя движение духа. Как органические тела — люди уступают животным во многих отношениях; все вместе — они могущественнее любых живых существ.

Таким образом, воспроизводство материальной основа разума, его плоти, прежде всего требует такой организации общества, когда любые достижения культуры становятся доступны всем без исключения. Мы пересоздаем не только биологию, но и все способы соединения органических тел с неорганическими продуктами человеческой деятельности. Разумное воспроизводства разума начинается с разумного устройства экономики. Определяющая черта здесь — универсальность, способность каждого участвовать в общем труде; какие системы тел будут при этом задействованы — роли не играет: всегда можно выстроить подходящую. Еще раз повторим: речь об активном творческом участии, о труде, — а не только о доступности предметов потребления. Удовлетворение физиологических потребностей не столь существенно для становления разума. Сугубо животное поведение биологического тела (вроде параолимпийского спорта — столь же антигуманного, как и любой спорт вообще) отдаляет человека от субъектности, участия в переустройстве Вселенной. Когда урод изо всех сил цепляется за свою органическую оболочку — это уродство общества, не дающего людям свободно распоряжаться телами, восстанавливая недостающее в достойных пределах — и покидая то, что восстановлению не подлежит.

Да, есть примеры героической борьбы творческих людей со своими недугами — и человечество широко пользуется плодами их труда. Проблема в том, что все это единичные случаи, — не компоненты системы, а наоборот, абстрактно противостоящие системе фрагменты. Такие решения никоим образом не универсальны: достижения одного держатся на безысходности бед миллионов других. Исключительные условия для (пусть даже не совсем полнокровной) жизни — достояние достаточно богатых общественных групп (государств, классов, семей), которые таким способом лишь подчеркивают идею социального неравенства, в ущерб становлению подлинно разумного общественного устройства, допускающего целенаправленное производство, изменение и утилизацию любых тел.

Конечно, важность отдельных примеров как источника надежды и демонстрации технологических перспектив невозможно переоценить.

Однако человек, о котором заботятся больше, чем о других в аналогичной ситуации, острее чувствует свою ненормальность, ущербность, — а значит, к физиологическим проблемам добавляются психические. Поскольку же при капитализме каждый отчужден от значительной части культуры, психические болезни становятся одной из характеристических черт цивилизованного общества. У людей вырабатывается компенсаторное поведение: чтобы все было не хуже, чем у других! Поэтому люди с нестандартной физиологией, вместо того, чтобы искать подходящее для них творческое занятие, лишь пытаются подражать «здоровым» — копировать их деятельность. Что может быть глупее? Это насилие над (уже осложненной) физиологией — которое лишний раз подчеркивает, что никакого равенства возможностей нет, и не может быть. Точно так же, вместо изобретения принципиально новых средств взаимодействия с окружающей средой — изготовление протезов, жалкая имитация. Ничем не лучше попытки женщин во что бы то ни стало выполнять мужскую работу — борьба за равноправие (возможность занять чужое место) вместо равенства (возможность при любых обстоятельствах оставаться собой). Вместо сотрудничества и разумного распределения труда — конкуренция, уродство рыночной экономики, в которой выбор деятельности ограничен возможностью продать плоды труда ради сугубо физиологического существования.

Как только мы высвобождаем дух из физиологического плена, главной задачей развития разума становится универсализация способов деятельности, обеспечение их независимости от строения человеческих тел. Это означает как вариативность, наличие средств сопряжения орудий труда с различной органикой (возможно, включая животных разных видов), — так и высокий уровень опосредования, когда человек (разумное существо) воздействует на внешний мир не напрямую, а через единую систему управления механизмами (организмами) более низкого уровня. Например, писать книгу можно пером на бумаге, диктовать, или стучать по клавишам; для некоторых тел такие «механические» усилия исключены — однако все это можно перепоручить периферийным устройствам универсального инструмента («компьютера»), общаться с которым все смогут совершенно одинаково (например, транслируя биотоки мозга по беспроводной сети). В этом контексте рождение детей ничем не отличается от производства машин; и то, и другое надо приспособить к текущим задачам культуры — ввести в систему, в культурный оборот.

Тем не менее, материальный носитель разума неизбежно будет включать какие-то органические компоненты. Вовсе не обязательно возникшие естественным путем. Как отмечал еще Карл Маркс, орудия труда в каких-то отношениях эволюционируют вполне подобно живым существам, и здесь возникает своеобразная биология, непохожая на знакомую всем органику — но следующая тем же законам. Особи вида *homo sapiens* (с минимальными модификациями), вероятно, еще долго будут составлять деятельное ядро человечества — и потому их воспроизводство представляет несомненный интерес. Разумеется, это лишь заготовки, сырье для собственно культурного формирования субъекта (образования и воспитания); однако общественные условия рождения человека — первичная культурная среда, которая в значительной мере задает тон всему последующему.

Воспроизводство человеческих тел важно не само по себе, а как возможность построения из них человеческого общества. С одной стороны, придется заботиться о телах (органических или еще каких-нибудь): содержать их в должном порядке, в готовности, — и компенсировать неизбежный износ. Но на первом плане — умение делать все это разумно, по-человечески, а не как выпадет физика или физиология. Говоря о рождении нового человека, мы имеем в виду не секс, не слияние половых клеток, и не химию нуклеиновых кислот, — нам интересно, чтобы все это происходило не само по себе, а в составе сознательной деятельности, преследующей далеко идущие цели, заведомо не предполагаемые схемой метаболизма. Воспроизводство материи субъекта — это не только рождение, но и рост, и физическое развитие, и здоровье, и смерть. Каждая из этих компонент зависит от других и требует окультуривания, решительного разрыва с биологией.

Когда химики научились из неорганических веществ синтезировать органику — это стало прорывом в науке, и противовесом мистической философии. Следующий этап — производить искусственно живые организмы, включая человеческие тела. Речь не только о геной инженерии (которая пока плохо уживается с буржуазным правом), но и об индустриальной технологии эмбрионального развития, избавляющей половину человечества от физиологических ограничений и родовых мук: производство тел на (достаточно интеллектуальном) конвейере делает процесс сознательно регулируемым и изначально общественным. Только тогда возможно полностью общественное воспитание будущих поколений — и разработка методов коррекции физиологии на этапе

компоновки и сборки, что практически полностью предотвращает появление физически ущербных людей.

Но не менее важно овладеть и другой стороной жизни — смертью. Пока рождение остается биологической случайностью (или прихотью, произволом) — трудно ожидать осмысленности в смерти. Переход к разумному, индустриальному деторождению — позволяет разумно ограничивать длительность жизни и органические тела смогут легко покидать этот мир, общественно контролируемым образом. Когда есть отчетливое понимание несводимости субъекта к единичному телу, его принципиально общественной сути и возможности существовать в разных воплощениях, — биологическая смерть уже не воспринимается как трагедия, крушение всего: это лишь этап, переход из одного бытия в другое. С другой стороны, у распределенного субъекта отмирание одной из органических компонент никак не сказывается на деятельности всего остального — а намеренное освобождение от жизни ничем не страшнее стрижки волос или ногтей.

Капитализм изо всех сил сопротивляется широкому внедрению эвтаназии — и тем более предоставлению каждому возможности самостоятельно решать вопрос о своем биологическом существовании. Объективная необходимость, конечно, пробивает себе дорогу — но жесткие правовые и финансовые ограничения делают добровольный уход из жизни редким исключением, доступным далеко не всем. Невозможность убивать варварскими методами — означала бы крушение капитализма как общественно-экономической формации. Правящий класс узурпирует право распоряжаться чужими судьбами — и отчуждение людей от смерти сродни лишению доступа к любым другим продуктам общественного труда. Уберите рыночные барьеры, уничтожьте собственность, — и классовой истории конец. Нельзя эксплуатировать того, кто не боится что-либо потерять.

Сознательное регулирование численности населения и разнообразия биологических форм — противостоит стихийности рынка. На этапе становления капитализма спрос на свободную рабочую силу оставался неизменно высоким — и отсюда иллюзия бесконтрольного роста населения, исторический пессимизм мальтузианства. Потом — другая крайность, резкое сокращение рождаемости — следствие объективно возникающей избыточности неквалифицированного труда, а вовсе не субъективное стремление людей не отвлекаться на возню с детьми, а «пожить для себя». Буржуазная пропаганда то борется с неумеренным

деторождением, то выставляет напоказ поощрение многодетности... При том что миллионы людей умирают от голода и болезней, или принесены в жертву чьим-то геополитическим амбициям (желанию завоевать и пограбить).

То же самое в полной мере относится и к сфере здравоохранения. Буржуазная медицина не заинтересована в борьбе с болезнями: они важны как инструмент регулирования рынка — и потому развитие медицины идет по пути адаптации к немощам, частичной компенсации и предотвращения чрезмерных потерь. Засилье варварских методов, заставляющих людей всячески избегать этой пытки (включая разорение от безумной дороговизны) — следствие экономических причин; знаний и опыта людям хватает — но устранить влияние болезней на жизнь и деятельность людей столь же невыгодно, как освободиться от голода, нищеты и массового невежества.

Разумное отношение к собственной биологии ничем не отличается от сознательной установки на окультуривание природы: не просто сохранять ландшафты или биоразнообразие — а конструировать их; устранять ненужное и воссоздавать желательное — не навсегда, а по мере необходимости. Человеческую природу можно и нужно изменять. Но не как неуклонное приближение к какому-то абстрактному идеалу, существующему независимо ни от чего, — а как постановка текущих задач и их целенаправленное решение. Умение делать себя такими, какими мы нужны себе здесь и сейчас.

Господство высокотехнологичного общественного воспроизводства органических и неорганических тел не означает превращения людей в безликую толпу. Наоборот, массовое производство — плод рыночной экономики, когда продукт производится не под индивидуальную потребность, а как меновая стоимость, товар. При капитализме любые вещи — похожи на деньги. Необходимость экономического развития заставляет сохранять значительную прослойку кустарных производств, которые в узких пределах могут разнообразить продукцию, исследовать возможности новых технологий. Требование времени — внедрение массового индивидуализированного производства, когда любая вещь — на заказ, и ее качество несопоставимо с другими; когда ее ценность невозможно измерить деньгами. Индустрия человеческой органики потребует экспериментальных производств, сочетания искусства и науки, — и этот уровень единой системы воспроизводства также подлежит сознательной организации и творческому преобразованию.

Труд и творчество

Разум определен как универсальная связь вещей. Включая живое и неживое, а также разумные существа. Такое отношение мира к себе (уровень его рефлексии), когда любые части и любые стороны целого оказываются так или иначе взаимосвязанными. Это никоим образом не отменяет различий — но лишь показывает, что в каких-то случаях эти различия несущественны, и на первый план выступает единство. Следующий этап — снятие различий как таковых; при этом мир в целом оказывается цельным, не разделенным, — а единичное, особенное и всеобщее просто совпадают. На следующем витке рефлексии мир снова распадается на бесчисленность вещей и сторон — которые соединятся случайным (неживое), необходимым (жизнь) и, наконец, универсальным образом (разум). Разум в одном из таких обращений иерархии мира вовсе не обязательно будет похож на другие формы разума — хотя в силу нашей универсальности мы все-таки сможем догадываться о имеющихся возможностях, — а в силу единства мира, один разум неизбежно соединен с другим.

Такова картина в целом. Однако (в пределах одного обращения иерархии) можно различать не только единичные вещи — но и единичные связи между ними. В отношении к субъекту (разумному существу), установление таких связей есть его способ существования — *деятельность*. Любые относящиеся к субъекту категории представляют, следовательно, лишь формы его деятельности. То, что мы связываем в деятельности — собирательно называется ее *объектом*; полученная связь — *продукт* деятельности. В силу универсальности разума, всякий продукт деятельности становится объектом некоторой деятельности; таким образом, разум преобразует мир, наделяет его новыми качествами и производит нечто, невозможное само по себе, без участия разума. Обратное, каждый объект включается в деятельность как продукт другой деятельности: не бывает объектов самих по себе — они определены своим отношением к деятельности, к ее субъекту и продукту. В итоге, одна деятельность перетекает в другую, и вся совокупность (иерархия) деятельностей воспроизводится снова и снова, в новых условиях и в новых формах, что, в частности, обеспечивает единство субъекта как выражение единства мира, универсальной соединенности, которая мы обозначаем категорией *дух*. Мир как всеобщий объект — это *природа*;

но как продукт деятельности — это видоизмененная, пропитанная субъектом природа, именуемая *культурой*. Мир только один; поэтому природа, дух и культура — стороны одного и того же, и одно превращается в другое в разных обращениях иерархии.

Для краткости, фундаментальную схему строения деятельности

объект → *субъект* → *продукт*,

будем в дальнейшем записывать как

O → ***S*** → ***P***

Разумеется, такое переобозначение — не для того, чтобы формально играть буквами, выдавая каждую комбинацию за следствие «строгой» теории. Знаки бывают разными; буквы и термины — небольшая часть возможностей. Но сами по себе они ничего не значат — они ссылаются на некоторую деятельность, в контексте которой какие-то комбинации оказываются осмысленными. Когда математики утверждают, что за их символическими исчислениями не стоит ничего конкретного — они заблуждаются, или лукавят: предмет сколь угодно абстрактной теории изначально наделен такими свойствами, чтобы обеспечить практически приемлемые выводы. Протащить такие, неявные логические круги в науку — дело нехитрое; гораздо труднее не увлечься и не придать формальным выводам чрезмерной категоричности, забывая о весьма грубых приближениях, лежащих в основе теоретических абстракций.

Тем не менее, символическая запись схем оказывается полезной, когда с ее помощью удастся усмотреть общее в очень разных на вид практических ситуациях — на то мы и разумные существа, чтобы универсально связывать! Например, в бытовом контексте звено ***O*** → ***S*** может быть сопоставлено с потреблением; в теории познания мы видим здесь отражение мира человеком; в искусстве — речь о возникновении художественной задачи. Поскольку мы помним, что в деятельности всегда присутствует и звено ***S*** → ***P***, мы легко избежим однобокой трактовки быта как пошлого потребительства, заметим преобразующую силу знания, осознаем важность индивидуальности художника.

Одно из важнейших следствий — разрушение догм. Тысячи авторов предлагают якобы окончательные решения человеческих проблем, исходящие из вечной и неизменной «природы человека». Прочсть трактат, прослушать лекционный курс, пройти интенсивный тренинг, — и ты уже хозяин своей судьбы, на пути к головокружительности успеха. Можно, конечно, привлечь здоровый скепсис и сообразить, что ни одна

наука не в состоянии вместить бесконечный мир целиком, и потому готовые ответы найдутся не всегда; однако мы можем пойти дальше — и спросить: как можно говорить о природе того, кто как раз и занято преобразованием природы? — зачем нам замыкаться в собственной судьбе? — и тем более лезть в хозяева? — наконец, куда предполагается успевать и почему нельзя без спешки? Давайте лучше считать, что любой подход хорош только в границах своей уместности — и не будем чрезмерно обобщать; тогда можно смело идти на самых рискованные обобщения; почему бы не сжечь за собой мосты, если планета круглая, и на покинутый берег можно попасть, не возвращаясь назад?

Итак, человек берет объект — и делает из него продукт. Обычная организация производственного процесса. Но в продукте — не просто переработанное сырье. И не только форма как способ использования исходных материалов в процессе изготовления. Для человека прежде всего важно — зачем это. Неживые системы преобразуют вход в выход, следуя случайностям внутреннего состояния. Организмы — делают то же самое необходимым образом, и характер метаболизма определяет живое существо, которое и есть овеществленный метаболизм, тело и душа. Живое и неживое — так устроены, это их способ существования. Разумное существо исходит не из своей «природы» — оно ставит перед собой сознательную (хотя и не всегда осознаваемую) цель, и активно меняет себя, чтобы чего-то достичь; в частности, это приводит иногда к изменению структуры целей, переходу к другой деятельности. Такую подвижность в частных случаях можно промоделировать физическими процессами или живыми сообществами; суть разума — универсальное следование этому принципу, в самых разных отношениях. Сумеет ли мы выстроить движение вещей и организмов таким образом — мы создали искусственный разум! Это мало чем отличается от выращивания разума в себе, проекции личности на доступные на каждый момент тела.

Созданный нами продукт — не только (и не столько) кусок материи, организованный по природным законам, но и воплощенное в нем намерение — его предназначение. Иногда нам бывает безразлична материя продукта — лишь бы он представлял нашу субъективность; так устроены продукты духовного производства (о котором речь впереди). Однако в любом случае продукт — единство объекта и субъекта, вещи и ее назначения (или истории). Одно без другого не ходит: разрушая вещь, мы ограничиваем возможности ее использования; бесхозный продукт, которым некому воспользоваться, — просто вещь, часть природы, и все

человеческое из нее быстро выветривается. Контрпримеры — лишь подтверждение общего принципа. Например, досужие мечтания, вроде бы, не требуют никаких материализаций — и общественно заметного продукта не создают, хотя заниматься этим делом можно долго и с упоением. Но задумаемся: а почему, вдруг, у нас появляется такая предрасположенность? — и почему мечтается нам не как попало, а вполне определенным способом? Единственное разумное объяснение — отражение культуры во внутреннем мире человека; и следовательно, непонятная деятельность есть выражение культурной необходимости, одна из возможных материализаций (для чего общество предоставляет нам подходящие инструменты — вроде правильно настроенного тела). Логика ведет дальше: такое (культурное) движение не может пройти бесследно: оно неизбежно отразится на деятельности других людей. Хотя бы потому, что наши настроения меняют наше поведение, и это вполне ощутимо — и наводит на что-то всех, с кем мы имеем дело. Помимо такой, непосредственной материализации — существуют и косвенные связи, без которых культура никогда не обходится, и которые объединяют людей крепче стальных цепей.

Возражение наоборот: археологи и палеоэтнографы выискивают следы обработки и культурного использования на древних обломках, которые по назначению заведомо никто не использует, и отличить которые от природных образований — это надо очень постараться! Выходит, даже утративший связь со своей культурой продукт остается ее носителем — и не может быть лишь частью природы. Примерно к этому же сводится поиск внеземного разума: обнаружить что-нибудь настолько необычное, что естественными причинами такое никак не объяснить. Опять же, по здравому размышлению заключаем, что понять вещь как артефакт (или даже просто воспринять ее как вещь) человек может лишь с позиций своей культуры — и лишь в тех аспектах, которые нам общи с теми, кого мы ищем. Мы умеем заметить только такие способы обработки, которые известны у нас; догадываться о культурном использовании приходится лишь в рамках нашего опыта. Вполне может оказаться, что вроде бы уверенное различие структур — лишь иллюзия, результат технологической или духовной ограниченности. Вспомним о марсианских каналах — или попытках «расшифровать» радиосигналы из космоса. Вероятно, к той же категории относятся сенсационные теории о создателях мегалитов, пирамид, или рисунков в пустыне. Не говоря уже об уфологии в жанре детектива, расследующей

военно-политические заговоры. Не исключено также, что на подлинные следы необычных культур мы пока не обращаем внимания — не умеем вовлечь их в нашу деятельность и сделать частью нашей (культурно обусловленной) природы.

Поскольку продукт есть единство объекта и субъекта, в нашей деятельности воспроизводятся обе стороны — однако отношение к ним бывает разным. Когда на вершине иерархии производство вещей — это материальное производство; если в центре внимания производство субъекта деятельности — мы занимаемся духовным производством. Каждая деятельность — переплетение материального и духовного производства, и соотношение того и другого меняется как во времени, так и в (культурном) пространстве. Этот момент очень важен: даже в самых утилитарных намерениях, поскольку они культурны, высветится человеческая духовность; и наоборот, не бывает «сублимированной» духовности, вне зависимости от движения вещей. Следовательно, говорить о воспроизводстве разума возможно и на уровне материального производства, и строение экономики оказывается выражением строения субъекта. И обратно: духовное производство связано с производством вещей (или особых отношений между вещами), которыми духовность представлена — и без которых не было бы вообще никакого продукта.

Всякая конкретная культура — это мир как продукт деятельности; следовательно, в ней различаются материальная и духовная культура как взаимно дополнительные и взаимно отраженные стороны. Однако вклад в материальную культуру дает не только материальное, но и духовное производство (поскольку оно воплощает дух в вещах и отношениях вещей, включая также созданные нами абстракции), — а духовная культура опирается не только на личное общение, но и на взаимодействие людей в процессе материального производства. Оторвать материальное производство от духовного возможно лишь в абстракции — но именно этим занимается классовое общество, абстрактно противопоставляющее одних людей другим — и одни вещи другим.

Универсальная схема деятельности $O \rightarrow S \rightarrow P$ будет представлять материальное производство, если формально положить $P = O$:

$$\dots \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow \dots$$

Таким образом, цикл воспроизводства выглядит простым чередованием потребления ($O \rightarrow S$) и производства ($S \rightarrow O$). Разумеется, учитывая иерархичность как объекта так и субъекта, придется говорить о циклах

воспроизводства разного уровня — которые далеко не всегда между собой согласованы, и требуется особая деятельность по их объединению в экономическое целое. Легко видеть, что воспроизводство в целом даже в рамках материального производства представимо двояким образом:

$$\dots \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow \dots$$

$$\dots \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow \dots$$

То есть, в человеческой деятельности воспроизводятся прежде всего объективные условия производства — *производительные силы*; с другой стороны, поскольку производство всегда носит общественный характер, воспроизводятся и *производственные отношения* — экономические связи между людьми, один из уровней общения. Производительные силы и производственные отношения определяют характерный для конкретной культуры *способ производства*, единство материального и духовного в экономике.

Снятие опосредование (свертывание иерархии) приводит к наиболее абстрактной картине материального воспроизводства, когда вещи живут сами по себе и порождают другие вещи, а человек воспроизводит сам себя и непосредственно связан с другими:

$$\dots \rightarrow O \Rightarrow O \rightarrow \dots$$

$$\dots \rightarrow S \Rightarrow S \rightarrow \dots$$

В классовой экономике эти две стороны воспроизводства материальной культуры (намеренно) оторваны друг от друга и противопоставлены одна другой. Догадаться об их единстве — в условиях всеобщего разделения труда и всеобщего отчуждения очень непросто. А взятые по отдельности они (в силу своей предельной абстрактности) практически неразличимы — и потому вещи в буржуазной философии считают лишь инобытием идей, а люди воспринимаются как чисто природные существа. Для рынка, это чистые количества, разные активы, обличия капитала. Так, в классово извращенной форме, синкретически, осознается единство мира: разум одухотворяет природу — делает ее своей плотью, становится природой, чтобы на этой основе развернуть новые уровни духовности; но и природа всегда предполагает возможность разума, универсальной связи.

Другая сторона «параллельности» циклов воспроизводства объекта и субъекта в классовой экономике — разделение сфер деятельности на первичные (экономический базис) и вторичные (надстройка); к базису

относят производительные силы и производственные отношения, способ производства, — тогда как надстройка, вроде бы, лишь обслуживает базисные процессы, организует и упорядочивает их, создает культурную среду, инфраструктуру. Апологетам капитализма важно подчеркнуть независимость надстройки от экономических отношений, ее якобы внеклассовую сущность; напротив, идеологи трудовых масс упирают на вторичность надстройки, ее зависимость от экономики. И те, и другие остаются в рамках классового сознания, неспособного вырваться за пределы парадигмы господства и подчинения. Но чем, скажем, работа парламента или суда отличается от работы инженера-механика или метролога? Чем религия отличается от иерархии производственных ролей? Буквально все надстроечные отношения — по поводу экономики; они, по сути, и *есть* экономика. А некоторые «надстроечные» структуры изначально созданы как экономические: например, семья производит органические тела и обслуживает движение товаров — почему ее следует записывать во «вторичные»?

В бесклассовом обществе никакие различия не перерастают в размежевание — они временны и условны. Только в рамках конкретной деятельности, на одном из этапов, можно упорядочить ее компоненты во времени или по логике дела. Воспроизводство объекта и субъекта — просто разные стороны одного и того же, и с развитием способа производства одно запросто перетекает в другое. Нет здесь никакой формальной первичности или вторичности. Духовное не до и не после материального, не выше и не ниже, — они *вместе*. Почему? Да потому что нет разделения труда — никаких ограничений на участие всех в любой деятельности. Люди не дополняют друг друга в структуре бесклассовой экономики — они трудятся *вместе*. Бесклассовая совместность (общественность) — против классового отчуждения и конкуренции. Люди просто трудятся — как считают нужным, — и не нужны им никакие базисы и надстройки.

В рамках материального производства, человек воспроизводится не как *субъект* в полном смысле, не универсально, а лишь как особый объект, опосредующий превращение одних объектов в другие. Такого, одностороннего субъекта Маркс называет «частичным человеком», индивидом (то есть, по сути, природным существом). Потенциально этот продукт годен стать воплощением духа — но господа очень хотели бы лишить рабов (работников) малейших проблесков духовности. Поэтому отношения между людьми старательно удерживают в экономических

границах — воздвигая формальные препятствия на пути духовного, личностного общения (любви). Собственно, в этом и состоит главная функция пресловутой «надстройки»: заменить духовность бизнесом. При капитализме, человек — участник материального производства — воспроизводится прежде всего как *экономический субъект*, двояким образом участвующий в движении рынка: *рабочая сила* (источник стоимости) — и *потребитель* (поглощение, капитализация стоимости). Вспоминая о различии меновой и потребительной стоимости как количественной и качественной сторон продукта, приходим к обычной «диалектической» триаде:

количество → качество → мера

где человек (экономический субъект) фактически (а не только в буржуазно-романтических лозунгах) оказывается мерилем всех вещей. В строении субъекта проекции экономических ролей (производитель и потребитель) выступают как его *способности* и *потребности*; целостный (экономический) субъект — единство того и другого: это и способность потреблять, и потребность производить. Но в классовом обществе потребление и производство столь же противоположны, противопоставлены друг другу, как и все остальное; разные общественные слои имеют разную структуру потребления и производства. Соответственно, и культура в целом распадается на культуру производства и культуру потребления — и приобщают к ним на классовой основе. В частности, экономический базис увязывают преимущественно с производством — а надстройке отдают все, что опосредует потребление. Это прямое выражение классового разделения труда, при котором продукт отчуждается от производителя и распределяется согласно нормам господствующего класса. Поскольку же и способ производства является общественным продуктом, его потребление (то есть, участие в производстве) также сопряжено с классовыми ограничениями; прежде всего мы замечаем различие в доступности материального и духовного производства. Отсюда ограниченность духовной сферы классового человека — несвобода и неразумность.

В разумно устроенном обществе каждый волен заниматься чем ему интереснее — и тем самым сознательно выстраивать себя как субъекта, включая и экономические роли, и строение личности. При этом любое производство есть непосредственно и потребление, и наоборот, всякое потребление производительно — и различие между материальным и

духовным производством снимается. Точно так же, нет принципиальной разницы между производительными силами и производственными отношениями: люди сознательно строят и то, и другое, — так что отношения между ними воплощаются в вещах, а вещи всегда выражают человеческие отношения (не только экономические). Действительно, производительные силы (как возможность произвести определенный набор продуктов) — это, с одной стороны, средства производства, а с другой — трудовые ресурсы (которые при капитализме сводятся к рыночному эквиваленту, рабочей силе). С точки зрения материального производства, и то, и другое — объекты; но общественный характер производства возможен лишь там, где люди настроены не на работу вообще, а на обмен деятельностью особым, культурно определенным способом (соответственно сложившемуся способу производства), — следовательно, трудовые ресурсы как элемент производительных сил есть вещное представление экономическое выражение общекультурных связей, включая и производственные отношения. Точно так же, средства производства (его объект, вещные предпосылки) включают не только предмет труда — но и средства труда (от простейших орудий до производственных комплексов), в которых отражены соответствующие данному способу производства производственные отношения и способы социализации, позволяющие людям трудиться именно так.

Еще раз подчеркнем, что и материальное, и духовное производство относятся, главным образом, к воспроизводству материальной основы разума, его плоти. Поэтому производственные отношения в этих двух «отраслях» по форме одинаковы. В любом случае, в отличие от уровня духовности, речь идет о связи субъектов через объект — об их внешнем отношении друг к другу, не предполагающем слияния, внутреннего единства. Не вдаваясь в детали, приведем несколько характерных типов такой связи людей в процессе производства.

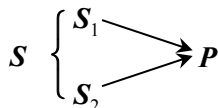
Простейшая схема — использование продуктов деятельности одного субъекта в деятельности другого:

$$S_1 \rightarrow P_1 = O_2 \rightarrow S_2$$

Здесь уже заложены очень разные интерпретации. Классовому человеку прежде всего приходит в голову различие производства и потребления, обмен продуктами. Однако та же схема описывает и производственные коммуникации — когда люди обмениваются на продуктами как таковыми, а знаками, сигналами. Экономически, обмен приводит к

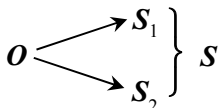
появлению денег; а в коммуникативном плане — возникновение языка. В общем случае, схема описывает общественный характер производства, возможность передать деятельность от одного субъекта другому; в субъектном отношении это означает осознание себя как представителя разумного человечества — но пока лишь в одном качестве, в производственной сфере.

От последовательного представления переходим к параллельному. Схема совместного производства



также допускает различные трактовки. В совместном труде между субъектами возникает иерархия связей — от сугубо материальных (распределение труда, различие производственных ролей) до косвенных, чисто идеальных («независимое» производство). Возникающий в результате «синтетический» субъект в классовом обществе может быть формальным или неформальным коллективом, члены которого равны лишь в плане своей принадлежности этой общности — а внутри коллектива не всегда взаимозаменяемы (и тогда коллектив подобен живому организму — делает людей своими органами). Собственно коллективный субъект (новый уровень иерархии) возникает лишь там, где между совместный труд порождает духовную связь — которая не зависит от порождающей деятельности и сохраняется в любом производстве. Однако поскольку в экономических отношениях субъект все равно не универсален, дан лишь в отношении к производству, — экономически, любой коллектив *выглядит* как коллективный субъект; оставаясь внутри природы, отличить универсальную связь от природной невозможно.

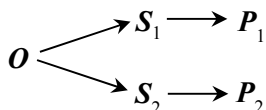
Совместное «потребление» (одинаковое отношение к объекту)



тоже приводит к синтетическим образованиям, иногда переходящим на уровень коллективного субъекта. Однако и здесь связь может оказаться лишь формальной (когда люди в классовом обществе поставлены в одинаковые условия производства), либо случайной (и тогда это вообще

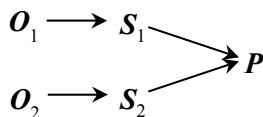
не имеет отношения к субъективности). Синтез возможен лишь там, где культура *предполагает* совместное использование (восприятие), когда объект именно на это и рассчитан, и для этого произведен. Рыночная экономика в качестве такого товара использует деньги; в духовном производстве существует круг общих идей; однако практически любое культурное образование может играть аналогичную роль — и общность возникает в процессе социализации (обучение и воспитание).

Расширенный вариант той же схемы может описывать нечто вроде производственной конкуренции:



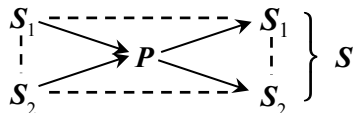
Один и тот же объект пытаются использовать в разных деятельности, преобразовывать мир в разных направлениях. В классовом обществе это конфликт, попытки завладеть объектом, присвоить его. В разумно устроенном мире речь лишь о согласовании интересов и намерений, когда возможные варианты совместно прорабатываются — и принятое решение может отличаться от всех исходных сразу (например, переход к другой схеме деятельности, с иными объектами и продуктами). Если чего-то разумным людям не хватает — они не грызутся друг с другом, а делают так, чтобы всего хватало; если невозможно одно — будет возможно другое.

Аналогично, в совместном производстве (кооперации) люди могут использовать разные технологии:



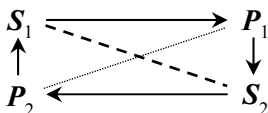
Это предполагает развертывание деятельности другого уровня — в результате которой мы и осознаем, что делаем одно и то же. В условиях всеобщего разделения труда разные деятельности не дополняют друг друга, а противопоставлены одна другой; при этом общность продукта не устанавливается разумом (в единстве деятельности и общения), а предписывается волей господствующего класса как единый стандарт, норма, предписание, традиция. Тогда различия в понимании условий, необходимых для производства продукта, ведут к хаосу, конфликтам, противоречиям, конкурентной борьбе.

Возникновение нового субъекта в совместной деятельности связано с осознанием этой совместности, с общностью способов производства и потребления (которые в бесклассовом обществе не различаются):



Поскольку в продукте труда P представлены как S_1 , так и S_2 , и это оба субъекта замечают, — каждый их субъектов представлен в другом как отражение совместного присутствия в продукте. Тем самым часть S_1 переходит в S_2 , и наоборот: это взаимное проникновение, слияние субъектов, характерное для *духовной* связи. Развитие иерархии духа возможно только путем установления духовных связей — и потому производственные взаимоотношения являются лишь предпосылкой, необходимым условием — но не причиной.

В силу иерархичности человеческой деятельности (в том числе производственной), всякий продукт также представляется иерархией продуктов. Субъекты разных деятельностей по-разному относятся к этим «частичным» продуктам. Для восстановления экономического единства требуется особая деятельность. Например такая:



Разумеется, обмен продуктами в классовой экономике — лишь частный случай; однако уже знакомые выводы теории обращения капитала подсказывают общие идеи. Мы знаем, что в процессе обмена между продуктами возникает идеальная связь (своего рода эквивалентность); эта связь представляет общественный характер производства и потребления — и порождает особый характер взаимодействия участников производства и обмена, духовную общность. Так возникает коллективный субъект (вплоть до единства класса, нации или человечества в целом) — а плотью духа становится объект более высокого уровня, единство объектов P_1 и P_2 (вплоть до материальной культуры в целом).

В свете всего этого различия между материальным и духовным производством становятся еще более относительными — и только в

рамках определенной (классовой) культуры, на одном из ее уровней, возможно формальное разграничение. Музыкант или филолог не потому заняты духовным производством, что такова природа их занятий; напротив, их занятия считаются духовными лишь потому, что их положено таковыми считать; по сути, одни общественные группы так утверждают свое господство над другими. Коммерсант ворочает миллионами — рабочий не знает, как протянуть на жалкие гроши; первое в некотором (классовом) смысле — более творческое занятие, нежели вкалывать по графику на чужой кошелек. Но по факту и тот, и другой воспроизводят себя как экономического субъекта — и потому оба одинаково духовны, при всем различии форм.

Здесь мы подходим к главному: важно не отличие одного человека от другого, а их общее отличие от всего того, что разумом (даже в зародыше) не обладает. Объектный характер воспроизводства — и вытекающая из него объективированность субъекта — маскируют личностное отношение человека к деятельности, ее дух. Без такого отношения субъект вообще невозможен. Одни и те же руки (или голова) делают одну и ту же операцию либо с душой — либо просто потому, что они на это (физически и физиологически) способны. В первом случае — речь о сознательной деятельности как таковой; второй вариант — чисто природное движение, никакого отношения к разуму не имеющее.

Скрытая за внешне обезличенным движением объекта и субъекта духовность — вот то, ради чего все и затеяно. Без этого — невозможно единство мира. Человек (как разумное существо) производит не объект, а продукт — и вкладывает в него не только свои усилия, но свой дух. Себя самого человек воспроизводит не только вещным образом, как экономическую единицу, — но и как личность, как полномочного представителя разума. Не частица целого — а все целиком.

Говоря о воспроизводстве разума, мы, конечно же, обязаны помнить о культурной обусловленности производства и потребления (там, где они различаются). Но прежде всего нас интересует дух — не просто принадлежность культуре, но и ее изменение, активное участие в культурном строительстве. Духовность — это намерение изменить мир, сделать его таким, каким он не смог бы стать без нас; в отношении к деятельности это называется *творчеством*. Материальное или духовное производство как творчество — мы называем *трудом*. Без духа — возможен высокоразвитый интеллект; но если место труда занимает бессмысленное действо, исполнение — это всего лишь *работа*.

Классовое общество вынуждает большинство людей работать на хозяина; в итоге и хозяева не способны творить. Господа боятся духовности — но они вынуждены нанимать тех, в ком еще есть ее искра, кто может предотвратить культурный застой и следующее за ним вырождение (а значит, и ограничение власти власть предержащих). Однако попытки ограничить духовность сферой формально духовного производства тут же превращают его в тупую работу, как у остальных рабов. Творчество свободно — оно не может уместиться ни в какой специализации. Классовые «теоретики» и пропагандисты стремятся обосновать вечность существующего строя — и допускают творчество лишь в пределах допустимого, в установленных формах и направлениях. Человеческая деятельность при этом представляется хаосом готовых возможностей, которых добропорядочному обывателю достаточно; такой эмпиризм — отрицание творчества, а значит, и разума. Другая сторона того же самого — сведение человеческой деятельности к якобы заранее данной природе, которую мы можем лишь познавать, как-то использовать — но не изменять. Будем мы называть эту безликость материей или богом — никакой разницы.

Воспроизводство мира как материальное и духовное производство лишь констатирует различие объекта и субъекта — но не объясняет их становления и развития. Чтобы перейти к воспроизводству разума, надо привнести в эту самодостаточность несводимое к ней возмущение, качественно иное. Отблеск духовности, творчество. Тогда производство уже не само по себе — а как труд, воплощение духа. На протяжении всей своей истории человечество занято поиском подходящих для этого экономических форм. В языках людей слова «работа» и «труд» часто употребляются как синонимы — но это не значит, что люди не отличают творческого труда от тупой работы! Скорее, речь лишь о синкретической стадии, когда творить приходится в рамках навязанных классовой экономикой условностей — и в каждой работе усматривать толику разумности, возможность труда. На следующем уровне — мы изменим экономический строй так, чтобы ничто не мешало перестраивать на разумных началах материальную и духовную культуру, вплоть до полного стирания их противоположности; но еще раньше мы избавимся от противопоставления человека человеку, одной ограниченности — другой. Только совместно люди смогут универсальным образом связать воедино весь мир — преодолеть неразумную разобщенность живой и неживой природы.

Индустрия духа

Может показаться странным, что главу о духовном производстве мы помещаем в раздел о материальных предпосылках разума, о телесности. Когда человек намеренно воспроизводит себя в качестве субъекта деятельности — пересоздает свой дух, — он, вроде бы, преодолевает ограничения плоти и волен как угодно менять природу. Но споткнемся на фразе: *в качестве субъекта деятельности*. То есть, всякий продукт не сам по себе — а для чего-то, и воспроизводится он именно в этой определенности, а не вообще. А дух в наиболее полном выражении — универсален, он вбирает в себя все возможные качества; производство субъекта — это уже ограничение, и продукт духовного производства лишь частично духовен. Собственно духовность начинается там, где мы уже не привязаны к объекту — и не полагаем себя как продукт. Раздел о любви — про это. Когда мы любим — мы вовсе не думаем ни о каких объектах или продуктах: для нас есть только субъект, дух, любимое существо. Малейшая утилитарность — смерть любви. Однако связь одного субъекта с другим — общественно опосредована; а как такое возможно, если на этом уровне ничего кроме субъекта и нет? Вот тут и приходит на помощь духовное производство: дух как его продукт как раз и становится «переносчиком взаимодействия» на уровне духовности, объектным бытием субъекта.

Чисто практически вся эта философская высоколобость проста и понятна: духовное производство начинается там, где мы осознаем себя как движущую силу производства — и стараемся эту способность сохранить и преумножить. Животные (а теперь и машины) умеют решать сложные технологические задачи, выстраивать технологические цепочки — и учиться друг у друга. Это называется интеллектом. Отличие человека в том, что он не просто получает продукт, но и обнаруживает себя в нем; сама по себе вот эта, единичная вещь может никак не отличаться от других — но для человека она плод *его* труда. Человек осознает свою разумность, включая вещи в себя, делая их своим неорганическим телом. Для животного — важна только утилитарная сторона, возможность потребления, польза; сделанное другими или возникшее как-то иначе — для него столь же годны, и о своем участии в «производстве» животное тут же забывает. У человека память деятельности распространяется и на других людей: примитивное

представление о *своем* продукте уступает место идее *общественного* продукта, совместного труда.

Способность обнаруживать себя (или себе подобного) в продукте деятельности называют *рефлексией* (в узком смысле: как частный случай отношения мира к самому себе, представленность этой, всеобщей рефлексии в субъекте — то есть, разум). Превращенная в особую деятельность (или сторону, или уровень деятельности) — рефлексия и есть духовное производство.

Отсюда ясно, что говорить о рефлексии возможно лишь там, где уместно сопоставление материального и духовного производства, — на определенном этапе развития духа; на других уровнях разумности потребуются иные категории. Классовая культура не только различает материальное производство и рефлексия — но и противопоставляет их друг другу, делает достоянием разных общественных слоев.

В общих чертах, духовное производство устроено так же, как и материальное: это две стороны единого способа производства. Обычным образом, духовное производство соединяет производительные силы и производственные отношения — и представляется циклом производства и потребления; в условиях всеобщего разделения труда возникает также представление о творческих способностях и творческой потребности, которые эмпирионатурализм противопоставляет качествам рядового обывателя как природную одаренность и предрасположенность (талант и гений). Однако по сути это никак не отличается от строения субъекта материальной деятельности: сантехник «от бога» ничуть не вульгарнее гениального музыканта или математика — а в некоторых ремеслах (например, у портного, гончара или повара) материальное и духовное производство синкретически соединены, неразделимы.

Особенность духовного производства в том, что оно пересоздает не вещи сами по себе, а общественно опосредованные отношения между вещами. Материальное производство часть окружающей человека среды превращает в полезный (то есть, предполагающий определенное использование) продукт; оставшаяся часть природы играет роль предметных условий и орудий труда — их цикл воспроизводства характеризуется другими (более пространными) масштабами и временами. В итоге человек меняет свою среду — что позволяет запустить следующий цикл производства, иногда в другом направлении. Это и выражает формула материального производства:

$$O \rightarrow S \rightarrow O$$

Легко заметить, что субъект здесь играет роль связи между объектами; однако это связь особого рода, отличная от природных взаимодействий и взаимозависимостей, от «порядка вещей». Именно присутствие таких, не характерных для природы отношений указывает на вмешательство разума; и наоборот, как только искусственно созданное начинает развиваться само по себе, безотносительно к задачам создателей, — происхождение уже не играет роли, и речь идет о чисто природном процессе.

Духовное производство — делает объектом идеальную связь вещей и порождает столь же идеальные связи, что мы и выражаем формулой

$$S \rightarrow O \rightarrow S$$

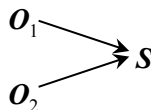
Сопоставляя это с формулой материального производства, приходим к выводу, что объект в духовном производстве играет роль субъекта, способа преобразования одной субъектности в другую! Как такое возможно? Ясно, что все восходит к самой возможности делать субъекта объектом и продуктом производства, — то есть, далеко не всякий объект и не во всех отношениях может играть роль посредника. Предварительно объект должен быть пропитан культурой настолько, что его природная основа отходит на второй план — становится лишь носителем духа, взятого с одной из сторон, в отношении к природе. Такой объект мы называем *идеей*. Собственно, всякий продукт содержит в зародыше некоторую идею; но производство идей как таковых есть *одухотворение* природы — и в этом суть духовного производства: природа уже не сама по себе — она становится носителем духа.

Поскольку установление отношений между объектами через субъекта — часть материального производства, одухотворение ведет к изменению вещей как таковых, наделяет их новыми, неприродными качествами, иногда разительно меняя характер движения. Пусть, например, субъект S потребляет сразу два объекта:

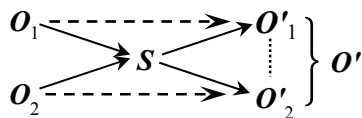
$$O_1 \rightarrow S$$

$$O_2 \rightarrow S$$

Это означает, что объекты *иерархически подчинены* субъекту:

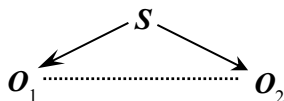


Другими словами, оба объекта принадлежат более низкому уровню субъекта — и в этом плане они сравнимы, и даже эквивалентны. Тем самым и для субъекта они становятся иными — идеально связанными, подуровнями некоего нового объекта, идеи единства:



Субъект присутствует в объекте O' как его иерархичность, связанная не с природными качествами, а с включением в строение культуры.

Косвенная связь может при обращении иерархии стать обычной материальной связью. Это соответствует ее закреплению в практике, когда опосредование становится объективным, приобретает природный характер. От схемы



мы переходим к обычным схемам материального производства:

$$O_1 \rightarrow S \rightarrow O_2$$

$$O_2 \rightarrow S \rightarrow O_1$$

Аналогично субъектно опосредованные связи возникают и при совмещении деятельностей: один субъект участвует в производстве разных продуктов. Чем разнообразнее иерархия деятельности — тем мощнее духовное производство: идеальность субъекта воспроизводится все полнее, в перспективе захватывая любые природные и общественные отношения. Обратное, всякая специализация, ограничение рамками одной деятельности — приводит к вырождению субъекта в объект, осуществляющий чисто природное опосредование; психологически, человек чувствует себя винтиком какой-то машины, не может вырваться из колеи, по-своему повернуть происходящее.

Духовное производство неразрывно связано с материальными изменениями — но представляется прежде всего производством идей. Это меняет характер потребления (отражения, усвоения, поглощения...) его продуктов: в каждом цикле духовного производства мы используем не материальную оболочку идей, а сами идеи, идеальные связи вещей.

Например, в произведении искусства нам важно не из чего это сделано и какая форма придана природному материалу — нам важно, как эта природность выражает общественные отношения, строение культуры. Мы усматриваем идею лишь поскольку мы участвуем (или способны участвовать) в соответствующих деятельности; поэтому восприятие искусства богаче у людей с более широким кругозором: они видят больше косвенных связей — и могут активно формировать их. Идеи не просто воспринимают (или принимают) — их воспроизводят в себе, заново выращивают, поднимают на уровень духовности. Схема духовного производства $S \rightarrow O \rightarrow S$ допускает поэтому и такое прочтение: *человек + идея = новый, более разумный человек*. Но тогда и схему материального производства $O \rightarrow S \rightarrow O$ в каких-то случаях допустимо трактовать как производство идей; так на этом уровне выражается относительная независимость духа от материи, что в идеалистической философии превращается в иллюзию существования идей самих по себе. Именно эту, вторую схему мы обнаруживаем каждый раз, когда духовное производство в сознании обывателя сводится к производству вещей: произведений искусства, научных теорий, или философских трактатов. Буржуазная (рыночная) экономика тут же узаконивает формы продукта, превращает фабрикацию подобных поделок в надстроечный институт. Поэзия сводится к стихам, живопись к картинам, наука к публикациям в соответствии с академическим стандартом... Все это вещи, которые можно производить и потреблять обычным образом, не задумываясь об их идейном наполнении. Отсюда ходячие представления о «чистом» искусстве и «чистой» науке — которым достаточно случайного комбинирования типовых элементов, в результате которого само собой возникнет что-нибудь «эстетическое» или «научнообразное». Другая сторона того же вещного отношения к субъекту — лозунг утилитарного искусства и популяризация науки: действительное приобщение широчайших масс к духовности подменяют тиражированием ходячих стереотипов. Высокоразвитые технологии позволяют кому угодно соблюсти формальные требования к якобы духовному продукту — и вульгарный дилетантизм, как будто, уже не уступает творениям «профессионалов»; поток псевдоискусства и псевдонауки захлестывает духовное производство в классовом мире, опошляет разумность.

Для рынка человек — всего лишь рабочая сила и потребитель. Нельзя продать идею — но если допускается бытование идей лишь в

определенных формах, в установленном свыше вещном представлении, торговлю такими вещами легко выдать за рынок идей. Новым формам приходится преодолевать инертность рынка, отвоевывать рыночные ниши — и становиться столь же пошлыми суррогатами духовности. Только там, где за вещами видят отношения людей, — возможно духовное производство в собственном смысле слова, как рост субъекта.

В качестве иллюстрации — смешной вопрос. Когда мы производим что-то «духовное» — участие в этом материального производства особых сомнений не вызывает: как минимум, надо изготовить то, в чем духовный продукт будет представлен, — ту вещь, которая будет нам напоминать о нашем (творческом) труде. Но когда мы потребляем продукты духовного производства — их вещная оболочка от этого никак не расходуется: можно сколько угодно смотреть на картину, всем вместе и поодиночке, — ничего драматического с ней не произойдет, и если какое-то старение и наблюдается — то вовсе не от благоговейного созерцания. Где здесь материальное производство, изменение вещей? Разумеется, зрение улавливает отраженные от картины фотоны — но это физическое взаимодействие практически не меняет ни картину, ни зрителя. Лишь в особых случаях потребление духовного продукта связано с разрушением его вещной оболочки: например, слушать запись музыки можно много раз — но в концертном исполнении ее материя уникальна. Тем более не очевидно, как материальное и духовное производство могут участвовать в эстетическом восприятии природных явлений, когда, казалось бы, мы лишь впитываем уже готовую (и заведомо не человеком сделанную) красоту.

Вот здесь самое время вспомнить, что духовное производство — изменяет субъекта (хотя бы только с одной стороны, как производителя и потребителя). Но субъект всегда представлен совокупностью тел и отношений между телами — так что любые «внутренние» движения неизбежно выражаются в перестройке этого «внешнего» представления. Сами по себе природные явления (или продукты как вещи) не несут в себе ничего духовного — чтобы отыскать в них духовность, надо хорошо потрудиться! Мы не просто любим природу (или познаем ее) — мы *привносим* туда свой дух, устанавливаем такие связи между вещами, которых без нас не могло быть. Если же потом поделиться впечатлениями с кем-то еще — диапазон возможных связей резко расширяется, и явление природы становится явлением культуры. То есть, мы начинаем с творческого акта, преобразования объекта по схеме

материального производства $O \rightarrow S \rightarrow O$, и превращаем его в идею (связываем с миллионами других вещей, вписываем в культуру); тогда возможен цикл духовного производства $S \rightarrow O \rightarrow S$, воспроизводство духа через объект, который в данном случае представляет в свернутом виде нашу преобразующую деятельность.

Отсюда прямо следует, что человек, не умеющий работать с вещами, не сможет участвовать и в духовном производстве. Основной прием классового принуждения — ограничение доступа общественных слоев к средствам производства, разделение труда: это автоматически приводит и к ущербу духа. Как общественный институт, это насилие есть право *собственности*. Независимо от формы собственности (частная, групповая, общественная), собственник не может стать в полной мере разумным — преодолеть барьеры на пути духовного развития.

Пейзаж прекрасен не сам по себе — а лишь с определенного ракурса, найти который — акт духовного производства. Потом местность облагораживают, обустривают так, чтобы сделать именно такой ракурс предпочтительным — и добавляют разного рода удобства (пути доступа, скамеечки, парапеты, таблички с пояснениями, видеоискатели и т. д.). Материальные преобразования налицо; при этом чрезмерные усилия могут убить красоту, опозлить открытие. Высший уровень духовного производства — не просто натолкнуться на что-либо интересное, а сделать самим, сотворить «из ничего», силой духа. Так, ландшафтный дизайн порождает прекраснейшие уголки природы, рукотворность которых не бросается в глаза — но любоваться можно бесконечно. Продуманное дизайнерское решение придает особую прелесть миру, делает его намного удобнее.

Потребление духовного продукта не уничтожает его, а наоборот, открывает в нем новые грани, расширяет его культурный диапазон, делает более содержательным. Это не движение вещей, а перестройка отношений между людьми. Нечто подобное существует и в сфере материального производства: например, потребление условий и орудий труда почти не затрагивает их вещную оболочку — мы используем их идеальность, возможность включения в производство определенным образом. Но можно ли считать, что производственное помещение (как условие труда) потребляется духовно? Очевидно, нет. Это связано с тем, что связь условий и орудий труда с производственным процессом объективирована, закреплена в практике. Тем не менее, для новых производств, освоение производственных мощностей вполне может

быть духовным производством; более того, практически все элементы материального производства могут стать (и становятся) материалом рефлексии, открывая неожиданные направления развития субъекта.

В отличие от собственно духовного развития, субъект в духовном производстве воспроизводится лишь в объективированных формах, как часть материальной культуры. Да мы узнаем себя в происходящем — однако сознание себя не есть самосознание! Мы способны порождать идеи — но эти идеи противостоят нам внешним образом, как нечто способное обойтись и без нас. Чтобы идея стала духом — недостаточно производственных задач: требуется еще и духовное отношение человека к человеку, в котором нет места производству — и остается только свободное общение, сознание себя как другого — а следовательно, и самосознание. Единство сознания и самосознания — разум.

Разумеется, на пустом месте самосознание не вырастет — и потому важно дополнить материальное производство духовным, производством идей. Как и в материальном производстве, здесь есть свои уровни и этапы развития, и разные способы развертывания этой иерархии. Остановимся на одной из возможностей — не переставая заботиться об уместности полученных схем в контексте практических задач.

В качестве основания используем соотношение духовного и материального производства — выделяя уровни синкретической, аналитической и синтетической рефлексии.

Характерная черта духовного производства — «расщепление» его продукта на два уровня: с одной стороны, это просто вещь, которую можно по-разному использовать; с другой стороны — это выражение идеи, знак нашего представления о самих себе (то есть, по сути, представитель некоторой области общественных отношений). Конечно, целостное производство всегда оказывается единством материального и духовного производства — однако здесь мы на первый план выводим рефлексивную, осознание способов собственной деятельности (а не вещей, как в материальном производстве). Первоначально наша способность действия неотделима от самого действия — и продукты духовного производства синкретически впаяны в произведенные нами вещи. При виде чего-то мы тут же вспоминаем, как это принято использовать — и как это следует изготавливать. Разумеется, у каждого свой круг опыта, и не всегда удается сообразить, что для чего. Тем не менее, все вместе мы многое о себе знаем — и эта двойственность используемых нами вещей получает внешнее выражение в языке: у вещей есть имена — а название

уже предполагает встроенность субъекта в объект. Язык — предвестие аналитической рефлексии на уровне синкретизма.

Собственно аналитичность начинается там, где вещь намеренно производится как знак чего-то другого, а не для непосредственного (вещного) потребления. Произведенные на этом уровне вещи — это прежде всего продукты духовного производства (хотя их вещная оболочка, в принципе, не исключает и других применений: например, в листок с нотами или стихами можно завернуть товар в магазине — или подпереть дверцу шкафа научным трактатом).

Однако внутри аналитической рефлексии развитие снова (хотя и в других отношениях) идет от синкретизма к аналитичности, и потом к синтезу. Эти три уровня аналитической рефлексии в классовом обществе превращаются в особые общественные институты, известные как искусство, наука и философия. Вообще говоря, отрасли материального или духовного производства вовсе не обязаны быть формально отделимыми друг от друга: все в культуре взаимосвязано — и занятия искусством, наукой или философией не исключают материального производства, и наоборот. Профессиональный художник, ученый или философ лишь небольшую часть жизни занят собственно рефлексией; все остальное (официальная биография) — посвящено воспроизводству инфраструктуры, материальных условий творчества, — а то и просто животному выживанию в мире всеобщего разделения труда и рыночной конкуренции. Мы будем говорить об искусстве, науке и философии как уровнях рефлексии — безотносительно к существующим общественным институтам.

Особенность искусства — способность какую угодно вещь сделать представителем духовного (художественного) продукта. Этим искусство подобно синкретической рефлексии — и путь в искусство у многих лежит через ремесло; но сделать что-то красиво — не то же самое что сделать красоту: разные мотивы деятельности, разные практические задачи. Художник может работать с любым материалом — но вещи для него важны не сами по себе, а как носитель субъектности, способа действия и отношения к миру. Часто художники пробуют себя в разных искусствах, комбинируют разные выразительные средства, — и само различие искусств в наши дни стало чистой эфемерностью.

В отличие от искусства, наука обращает внимание и на способы рефлексии — и приводит духовный продукт к единому стандарту (материалу); при этом самые разные предметные области возможно

представлять и организовывать единообразно, используя специально для этого выработанный формальный язык. От художественного произвола не остается почти ничего. Формальность науки, помимо всего прочего, позволяет высвободить рефлексию из синкретичности естественных языков: как и художественные образы, способные прижиться на почве разных культур, — научные понятия не зависят от материала языка и свободно переводятся с одного на другой. Это похоже на художественное освоение самых разных материалов — но вместо предметов (явлений) как таковых в науке используются их знаки (производством которых как раз и занимается искусство).

Отделенность научной формы от предмета, по видимости, делает рефлексию более универсальной, позволяя комбинировать символы как угодно, соединять несоединимое, надстраивать одни абстракции над другими. Однако это, скорее, иллюзия универсальности: связываем мы не вещи, а лишь наши фантазии — и вместо единства мир разваливается на бесконечность никак не взаимодействующих форм. В качестве подготовки к предметной деятельности — можно потренироваться на абстрактных идеях; но в этом плане наука ничем не возвышеннее искусства — это разные стороны одного и того же.

Следующий уровень аналитической рефлексии — философия, синтез искусства и науки. Приводить все к единству — основная задача философии; поэтому она (подобно искусству) возможна в форме любой другой деятельности — но (подобно науке) приводит результаты рефлексии к единообразию категорий и категориальных схем (которые часто представлены в виде философских трактатов — хотя с таким же успехом могут существовать и как совокупность приемов, и как особый взгляд на мир, или манера поведения). Аналитичность философской рефлексии по-прежнему выражается в намеренном отделении духовного продукта от представляющих его вещей, от образа жизни. Однако осознание единства мира требует и единства субъекта; поэтому философия редко остается всего лишь производством идей — она воспитывает активное отношение к миру, намерение привести его к единству (устанавливая тождество каждой вещи и ее идеи).

Аналитическая рефлексия освобождает человека от природных факторов, влияющих на его деятельность — выделяет идеи «в чистом виде», абстрактно; это позволяет говорить о соответствии производства имеющимся на данный момент возможностям — и ставит вопрос об изменении способа производства. Каждый из уровней аналитической

рефлексии представляет одну из граней этой свободы: искусство — это свобода обращения с материалом; наука — свобода комбинирования форм; философия — свобода выразить любое содержание в единстве подходящего материала и соответствующих форм. Но вне деятельности любая свобода остается лишь абстрактной возможностью, и мечты легко подменить иллюзиями. Освобожденный от материальных производств, человек не свободен от этой формальной свободы, от рефлексии. Отсюда узость взглядов, которую мы так часто наблюдаем у «кабинетной» интеллигенции. Крутить всю жизнь гайки на конвейере, играть на скрипке, или писать формулы, — большой разницы нет. В конечном итоге интеллигенты больше простых работяг склонны к филистерству: их мнимая свобода нуждается в тепличных условиях — и драматические перемены великим художникам, ученым и философам не ко двору.

Мостиком от рефлексии к духу служит синтетическая рефлексия, в которой духовный продукт снова сливается с предметом — но при этом не теряется в нем, а существует в качестве особого уровня, не как идея вообще — а как идея именно этого предмета. Собственно, только на этом уровне можно говорить об идеях как таковых, потому что беспредметная идея — всего лишь полуфабрикат, и от этой абстракции надо восходить к конкретности. Продукты синтетической рефлексии не могут быть представлены никакими знаками или языками — они существуют только в деятельности, как способ ее организации и ее направленность. В зависимости от того, как именно мы встраиваем идеи в предмет, можно выделить три обращения синтетической рефлексии: эстетика, логика, этика. Это не виды, не отдельные формы — и тем более не общественные институты, — это стороны одного и того же, тесно взаимосвязанные в каждом конкретном деле. Всякое деяние (поскольку оно сознательно и разумно) следует определенной логике, выражает эстетическую позицию, руководствуется этическими принципами. Человек может не отдавать себе в этом отчет — но это всегда так. Поскольку мы обращаем внимание на идейное содержание наших действий, эстетика, логика и этика могут представлены в аналитической рефлексии — но это вовсе не то, как они встроены в нашу деятельность. Классовая привычка все расставлять по раз и навсегда заданным полочкам ведет к традиции увязывать эстетику с искусством, логику с наукой, оставляя этические соображения в ведении философии. Точка зрения крайне убогая и заведомо не отвечающая повседневному опыту. Так, художественность невозможна без особой, художественной логики,

которая часто заставляет автора творить вопреки исходным намерениям. С другой стороны, даже безнравственность в искусстве не случайна, а выражает определенную этическую позицию. Аналогично в науке мы на каждом шагу сталкиваемся с эстетическими и этическими суждениями, и научная работа не следует одной лишь логике. Об идеях можно говорить и языком искусства, и языком науки, и на уровне философских категорий. Однако ни одно из этих частных представлений не схватывает идею целиком — показывает в одном из контекстов, в одном ракурсе. Математическая логика имеет к логике весьма отдаленное отношение; философская эстетика или этика — лишь проекции на тот или иной способ философствования. Только в единстве всех уровней аналитической рефлексии возникает идея как особое, синтетическое качество рефлексии. Только так рефлексия становится действительно универсальной — относится к любой из сторон мира.

Что дальше? Очевидно, выход за рамки духовного производства, рефлексии. Туда, где материальное производство становится духовным, и наоборот, духовное производство преобразует мир. Такое единство преобразующей деятельности человека (как выражение его разумности) мы называем *практикой*. Материальное и духовное производство — стороны практики, воссоздающей как телесную оболочку субъекта, так и его дух. В практике все предстает продуктом деятельности, в котором неразделимы (одинаково существенны) объект и субъект. О практике нельзя судить по одной из сторон — в ней нет второстепенного, и важна именно всеохватность, разнообразие, свобода переходов и превращений. Тем не менее, в отношении к себе (как субстанция), практика может выглядеть и практикой материального производства, и практикой рефлексии. И наоборот, уровень практики присутствует в каждой деятельности (например, в экономике, и в любой из ее компонент) — но не как эмпирическое содержание (способ производства), а как опыт, историческая тенденция, направленность развития. Другими словами, практичность любого производства — характерный дух, иногда явно обнаруживающий свое присутствие — иногда скрытый за внешней механичностью или органичностью. В частности, производственные отношения субъектов в практике перерастают нужды производства и превращаются в творческое общение, в духовные (не ограниченные производством) отношения свободных людей, личностей, которые не привязаны ни к одной деятельности и потому способны участвовать в любой из них. Но про это мы будем говорить позже, в разделе о любви.

Быт

Чтобы двигаться вперед, надо хотя бы не терять уже достигнутого. Пока нет устойчивой определенности — и говорить не о чем. В логике есть принцип тождества: коли взялся что-то обсуждать — не меняй тему на полдороге, не перескакивай на другое и не расплывайся в несущественных подробностях. Потом, когда вырастает отчетливое видение предмета, — можно сопоставлять с чем-то другим, искать варианты.

Точно так же, говоря о воспроизводстве материальной основы разума, мы прежде всего требуем простого воспроизводства, на уровне поддержания жизнедеятельности имеющихся тел и оперативной компенсации неизбежных потерь. С этой устойчивости и начинается всякая культура.

Люди существуют не в вакууме, а в исторически сложившейся системе общественного производства: мы умеем делать полезные вещи, мы знаем, какой для них нужен материал, как мы этот материал обрабатываем, и как проверяем, что получилось задуманное. Доступ к условиям производства мы воспроизводим как свое неорганическое тело; навыки работы — фундамент индивидуальности. Совокупность всего этого на уровне общества в целом — производительные силы. Способ распределения деятельности — производственные отношения. Над ними надстраиваются отношения по поводу отношений — духовное производство. Здесь тоже есть уровень простого воспроизводства, синкретическая рефлексия, сохранение обиходных форм общения, иерархии коллективного субъекта. Все это вместе взятое мы называем коротким, но емким словом *быт*.

В философии существование как низший уровень всеобщей рефлексии (воспроизводства мира в целом), развертывается в триаду

бытие → движение → развитие

В контексте воспроизводства разума, быт представляет его бытие: нельзя двигать и развивать то, чего нет, — чего вообще не существует. Поэтому устройство быта — вопрос архиважный при любом способе производства, а особенно там, где преодолены классовые различия и надо поддерживать материальные условия приобщения каждого ко всем без исключения областям и уровням культуры. Классовое общество (цивилизация) воспроизводит прежде всего само себя, включая полный

букет уродств как на производстве, так и в общественной жизни и строении личности. Быт здесь предстает иерархией классов и общественных групп, а внутри каждой из них складывается особый быт, однобокий и ограниченный. Правящие классы в этом отношении ничем не лучше угнетенных: капиталисту так же приходится соответствовать навязанной рынком схеме, как и рабочему-поденщику; одни обязаны подчеркивать достаток, другие — оставаться в тисках нищеты и бесправия. Такой, разорванный на клочки быт оказывается не богатством возможностей, а комком проблем.

Тем не менее, цивилизация — шаг вперед по отношению к первобытно-общинному строю, а внутри цивилизации есть свои уровни и эпохи. Шаг за шагом, разум отвоевывает себе место в душах людей, готовит их к бесклассовому будущему. Утверждение и сохранение капитализма нам важно именно с этой стороны — как поддержание исторической тенденции, как неременное условие и предпосылка отмирания классов.

Пока человека сводят к биологическому индивиду, быт ограничен потребностями органического плана: достаточное и полноценное питание, жилье и одежда, здравоохранение, физическое движение и физиологический комфорт... Поскольку особи обладают довольно развитой психикой, в число биологических потребностей входит также выработка и поддержание полезных навыков, видовое поведение при общении с себе подобными, — наряду с избеганием неприятностей и поиском приятного.

Нужно все это? Безусловно. Но далеко не достаточно.

Во-первых, человек (даже понимаемый как биологическое тело) участвует в движении культуры в целом, в материальном или духовном производстве. Следовательно, его быт включает и формы этого участия, которые воспроизводятся изо дня в день — и вне которых человек себя не мыслит. В рыночной экономике, такое самосознание извращено и предстает необходимостью зарабатывать на жизнь. В бесклассовом обществе — труд есть здоровая потребность здорового организма, который уже не сам по себе, а как одна из компонент целого (наряду с неорганическими элементами), и часть коллективного субъекта.

Во-вторых, человек воспроизводит собственную духовность — строение личности. А значит, у него есть высшие, собственно человеческие потребности, и главные из них — потребность в творчестве и потребность в любви. Воспроизводство такого, духовного

быта требует солидной материальной базы, далеко выходящей за рамки поддержания метаболизма. В классовом обществе она доступна далеко не всем; господствующая идеология представляет тягу к возвышенному индивидуальной предрасположенностью и снимает с господствующего класса ответственность за обустройство подобающих бытовых условий, делая это личным делом каждого. Что при этом духовность чаще оказывается достоянием богатых — объяснимо, якобы, исключительно тонкостью их природы, в противоположность грубому и неразвитому работяге.

Разумный подход к простому воспроизводству разума начинает не с органики, а ближайших производственных задач, под которые нам и нужно подготовить всесторонне развитого субъекта. Мы знаем, из чего и какими средствами производится общественный продукт, — и можем оценить количество и качество органических тел, которые необходимы для приведения экономики в движение. Воспроизводство населения при этом — один из пунктов общего плана; каким образом регулировать рождаемость и темпы социализации в условиях конкретной культуры — подлежит разумному обсуждению.

Сохранение при капитализме «резервной армии труда» — заведомо лишних людей, обреченных на беспросветное прозябание, — это одна из сторон простого воспроизводства на уровне цивилизации. Дешевая рабочая сила — фундамент, на котором стоит капитал. Если бы общественный продукт распределялся по справедливости, обеспечение достойного уровня жизни для избыточного населения эффективно вело бы к удорожанию производства; однако при капитализме рыночная цена рабочей силы во много (иногда в сотни) раз ниже реальной стоимости. Этот узаконенный грабег регулярно воспроизводится как одна из черт капиталистического быта.

Тайная пружина цивилизованного стимулирования рождаемости — сохранение рынков сбыта. В сущности, воспроизводство биологических тел в этом никак не отличается от воспроизводства технологий: всякий продукт предназначен для использования в определенном качестве — и необходимо вместе с этим продуктом производить и условия его потребления. Поскольку рыночная экономика развивается стихийно, или по законам животного мира, действуют своего рода законы сохранения, препятствующие всяческим усовершенствованиям ради стабильности существующего порядка. В частности, постепенное улучшение бытовых условий масс оказывается лишь побочным

эффектом эволюции, выражением скрытого присутствия искры разума в неразумно устроенном мире.

Поскольку рыночное хозяйство главным образом направлено на удовлетворение потребностей господствующего класса, именно его быт становится индикатором прогресса, определяет уровень достигнутого; все остальные лишены таких возможностей; им остается либо выстраивать свой, стесненный и ограниченный быт, — либо тянуться к верхней планке из последних сил, не брезгуя ничем и превращая жизнь в сплошную имитацию, пародию, карикатуру. Закон защищает богатых; но по другую сторону закона воспроизводится (как в кривом зеркале) то же общественное неравенство, иерархия насилия и несправедливости. Тем не менее даже такие, классовые жизненные ориентиры заставляют массы стремиться к чему-то человеческому, и постепенно, под давлением снизу, общественное богатство перераспределяется так, чтобы частично сгладить культурные разрывы.

Существование цивилизации тесно связано с неразвитостью производительных сил, когда равное удовлетворение потребностей всех означало бы всеобщую неудовлетворенность. На этом спекулируют апологеты капитализма, заявляя, что общественное неравенство никогда не исчезнет — ибо с ростом производства растут также и потребности, так что всегда чего-то будет не хватать. Однако в разумно устроенном обществе вовсе не требуется каждый продукт делить поровну на всех: такая уравниловка отрицает индивидуальность, уникальность личности, не дает возможности каждому выстраивать собственное неорганическое тело сообразно с потребностями его духа. Речь лишь о том, чтобы любой продукт был доступен каждому — и производился под конкретную потребность; достаточно гибкая организация производства позволяет оперативно перестраивать его при изменении структуры потребностей.

Другая сторона разумности быта — открытость и умеренность. Когда каждый член общества ясно представляет себе наличные возможности — ему и в голову не придет требовать сверх меры, ущемляя интересы всех остальных. То есть, вместо верхнего предела, общество ориентируется на некий достаточный уровень, относительно которого при разумной необходимости возможны сколь угодно широкие вариации. Поскольку же все члены общества взаимозаменяемы в структуре общественного производства, невозможны постоянные и регулярные преимущества — ничто не становится собственностью (ни частной, ни групповой, ни общественной). Заметим, что человеку

будущего просто не интересно заставляться в каком-то одном амплуа — и он охотно передаст место в любой деятельности кому-то другому, чтобы искать новых путей и творческих неожиданностей. Вот такую подвижность и должен обеспечить разумно устроенный быт.

Переход от разделения труда к его распределению устраняет распад общества в целом на отдельные группы и слои. При капитализме, когда люди превращены в чистое количество, богатый превосходит бедняка сразу во всем: он может купить то, чего другие заведомо лишены. Напротив, разумное общество не только допускает, но и культивирует индивидуальность в отношении к вещам — но это не количественное, а качественно различие: одни ближе к одному, другие к другому, — их склонности дополняют друг друга, и все вместе они могут охватить гораздо больше, нежели по одиночке; каждый причастен ко всему — но здесь не нужно ничем обмениваться, поскольку всякий продукт сразу становится общественным, всеобщим, — универсально доступным.

Объективно, для каждой деятельности требуется концентрация ресурсов, как материального, так и духовного уровня. Поэтому будут возникать «рабочие группы», которые сосредотачивают в своих руках все необходимое для запуска производства; в каких-то случаях люди способны отказаться ради этого даже необходимым (при этом на повестку дня ставят задачу реорганизации общественного производства таким образом, чтобы устранить недостаток средств). При капитализме вещи не могут никому не принадлежать — поэтому любые объединения быстро становятся формальными: коллективный субъект превращается в собственника, «юридическое лицо», жестко противопоставленное индивидуальности (также понимаемой исключительно в рыночном смысле, как «физическое лицо»). Стихийно возникают неформальные общественные движения — но они тут же вступают в противоречие с законом (на муниципальном или государственном уровне) и вынуждены передать управление формальной организации, меняя направленность, вписывая деятельность в правовые (буржуазные) рамки. Разумный субъект не нуждается во внешней регламентации — и его строение произвольно меняется, следуя потребностям деятельности. Группы возникают, перестраиваются, распадаются. Это вполне аналогично жизненному циклу всякой индивидуальности.

Быт человека в классовом обществе — иерархия принадлежности. Никто не может существовать сам по себе — каждый обязан числиться в десятках формальных структур, и только через это приобретает

физическую реальность — и саму возможность существовать. К имени собственному — приходится добавлять ссылку на происхождение, или фамилию (указание на принадлежность семье). Даже тот, кто не знает родителей и живет одиночкой, — снабжается официальной биографией, и хотя бы по видимости от кого-то обязан происходить. Человек работает там-то, допущен туда-то, владелец этого, здесь прописан, тут проживает, гражданин страны и кто-то по национальности... Только так его почти всегда и воспринимают. Исключение — редкие проблески настоящей, человеческой любви (которая противна самой природе цивилизации и вынуждена прятаться, стыдиться себя).

По общему правилу — правящий класс не так стеснен формальными приличиями (любые законы писаны только для рабов). В отличие от простых людей, богач запросто может поменять место пребывания, прикупить еще одну национальность, и даже откупиться от семьи. Фактически, развитый капитализм оставляет господам лишь одно — классовую принадлежность. Малейшая измена этой «привилегии» — карается по всей строгости. Точно так же, по общему правилу, низы отвоевывают себе крохи барских дозволенностей — и выстраивается иерархия быта, кому сколько досталось. Но это означает, что где-то на самых нижних уровнях иерархии пробуждается классовое сознание — и теперь борьба идет уже не за передел собственности, а за отказ от всякой собственности вообще.

Жесткая организация классового общества воспроизводит, на новом уровне, основные черты биологического метаболизма — и в этом отношении бытовые ограничения уподобляют людей животным. Как у животных, замкнутость рода (сословной и классовой принадлежности) неизбежно приводит к вырождению: общественный инцест портит кровь так же, как и биологический. Разумеется, какие-то запасы видовой изменчивости пока остаются — но надолго ли их хватит?

Противостоянию основных классов отвечают две основные формы организации быта: семья и служба. Иначе: жизнь «для себя» — и работа на капиталиста. В каких-то случаях работодателем выступает сам человек — но как «индивидуальный предприниматель» он не равен самому себе как индивидуальности; внешние противоречия становятся внутренними. Поскольку семья — это все же не совсем для себя, подключаются другие амплуа. Однако использование их для бегства от основных двух делает избавление заведомо ущербным, частичным, — требующим все новых отдушин. У детей в качестве работы — место

учебы, с той же классовой ненавистью к экспроприаторам свободы и россыпью альтернативных группировок. Конечно, вариантов несчастья немеряно — но даже гармоничные семьи не без проблем, а работа по призванию омрачена жестокой необходимостью торговать собой.

Противостояние семье работе воспроизводится внутри семьи конфликтом домашнего труда и личного времени (часто перерастающим в конфликт поколений, или в супружеские ссоры). Аналогично, на производстве личный интерес противостоит производственному, и это вечный источник трений между начальством и подчиненными.

Тем не менее, пока не сложились предпосылки перехода на более высокий уровень организации общественного производства (включая воспроизводство материи субъекта), формальный посредник между единичным человеком и обществом в целом объективно необходим. Поскольку же право представлять общество в целом узурпировал правящий класс, различные формы коллективного субъекта равно противоположны общественной верхушке, и господа прилагают немало усилий для подчеркивания различий между разными группами и натравливания их друг на друга: пока холопы бьют друг друга, барин спит спокойно...

Передача бытовых вопросов в ведение семьи и разного рода организаций эффективно выводит капитал из правового поля, ставит его над законом, делает высшим арбитром; в мистифицированной форме это господствующее положение выражают категориями «абсолютная идея», «априорный принцип», «бог» и т. д. С другой стороны, отождествление быта (например) с семьей выводит семью за рамки общественной жизни, противопоставляет всему человеческому, культуре в целом; тем самым борьба за улучшение условий повседневной жизни формально оторвана от борьбы за уничтожение классового неравенства — истинного истока невзгод трудящихся масс. Это вполне аналогично тому, как реального производителя вытесняют с рынков и вынуждают прибегать к (хорошо оплачиваемым) услугам разного рода посредников.

Прогресс, конечно же, не остановить. Зачатки будущих трудовых отношений возникают в недрах капитализма — хотя бы и в извращенной форме, вроде экономической взаимопомощи, политических акций, местного самоуправления, обществ по интересам, кооперации или добровольчества. Новые технологии позволяют в значительной мере заменить традиционных посредников на их роботизированные (виртуальные) имитации, видимость прямого взаимодействия общества

с каждым его членом; разумеется, это иллюзия — но она в конечном итоге внедряет в сознание несовместимые с классовой культурой идеи. С другой стороны, если не предъявить массам образ врага — они могут посягнуть на устои; поэтому совсем избавиться от формальных коллективов капитализм не может; одной из ценнейших находок еще долго будет оставаться институт семьи.

В этом вопросе даже борцы за свержение гнета капитала не могут избавиться от вековых предрассудков и навязанных буржуазной пропагандой мнений. Вместо устранения семейственности как таковой, семью стараются всеми силами сохранить — укрепить и очистить, избавить от хозяйственных проблем и сделать важнейшей ячейкой строительства личности. Но зачем разумному человеку идея «дома», если ему везде дом? Зачем нужна особая форма устройства быта, когда каждому доступны все стороны общественного бытия? Наконец, как можно дать каждому возможность оставаться наедине с собой, если ограничить его уникальность формальным тождеством членов семьи? Нет, общество будущего сможет объединить всех без искусственных посредников, дать каждому чувство осмысленности бытия и всеобщей необходимости. Разумеется, переход от семьи к общественной жизни — не освобождение от быта, а его коренное преобразование, снятие культурных барьеров, приобщение к коллективному быту человечества в целом. И тогда вопросы воспроизводства человека — совокупности органических и неорганических тел и соответствующих общественных отношений — приобретают особую окраску, направленность к большей универсальности.

Говоря о быте как простом воспроизводстве, мы должны отчетливо сознавать, что в мире не бывает точного повторения: что-то всегда меняется, и сохранить какие-то стороны общественного бытия возможно лишь условно, не принимая в расчет сдвиги, несущественных на данный момент в данном отношении (но отнюдь не менее важных). Однако полностью исключать такие стороны жизни из идеи быта никак нельзя, поскольку они неизменно присутствуют в массовом сознании как скрытая тенденция, которую невозможно выразить — но легко заметить и почувствовать. Простое воспроизводство касается не только текущего состояния мира — но и состояния его движения. И только вместе эти две стороны достаточно полно характеризуют наш быт. Точно так же, физическая (механическая) система характеризуется не только расположением тел, но также их импульсами (количеством

движения); при стационарном движении и то, и другое изменчиво — но воспроизводится в целом, как объективно данное единство.

Что-то уходит из быта, заменяется другим. Условия производства меняются не только в ходе сознательной деятельности, но и в силу природных процессов, почти (или пока) независимых от воли человека. Например, истощение месторождений требует поиска и внедрения альтернативных технологий, позволяющих производить аналоги прежних продуктов — практически такие же в бытовом плане. Разумное хозяйство сохраняет достигнутый уровень быта, заменяет одно другим, не допуская ухудшения качества жизни. Напротив, капитализм не компенсирует естественные потери — а перераспределяет доходы так, чтобы оставлять неизменным уровень жизни верхов, а низы призывают затягивать пояса и на всем экономить. К этому сводится спонсируемая сверху «борьба за экологию», лоббирование интересов определенных групп капиталистов всякого рода «зелеными» партиями. Казалось бы: если не хватает энергии, или пресной воды, — найдите способ добыть столько, сколько требуется, не ущемляя ничьих интересов! Но вместо этого нас зовут обратно в пещеры, вопреки разумным требованиям повседневности, и даже правилам элементарной гигиены. Вместо удешевления и упрощения доступа к благам цивилизации — ценовые рогатки и жесткое лимиты.

Парадоксальным образом, технологическая революция конца XX века не привела к существенному изменению в быту. Да, вещи вокруг нас уже не те, что пару десятилетий назад; современная молодежь уже не знает, что такое телеграмма или таксофон, стационарные телефоны становятся анахронизмом, книги и газеты уступают место экранам компьютеров. Во многом изменилась и промышленность: рабочие все чаще становятся операторами и диспетчерами — и растет новая общественная прослойка, синтез рабочего и инженера; разумеется, работать руками все равно кому-то приходится — но «классический» рабочий уходит на периферию общественной жизни (равно как и «классический» капиталист). Но что по сути? Противостояние семьи и работы осталось все тем же — даже если работать можно из дома, удаленно, через интернет. По-прежнему за всякой мелочью надо идти магазин — неважно, реальный или виртуальный. Личные интересы все так же противостоят общественным — а труд противоположен отдыху (сколь угодно активному). По-прежнему приходится расплачиваться здоровьем, чтобы поддерживать свое органическое тело — и поднимать

молодое поколение. Более того, удорожание быта и техническая возможность совмещения домашних дел с рабочими ведут к перекоосу быта в сторону производства, в ущерб отдыху и саморазвитию. Больше плоти — меньше духовности. Стремление отключиться — а не переключиться. И тут пышным цветом новая наркота: интернет-игры, блоги, социальные сети... Тупо смотреть в экран и щелкать кнопками (или тыкать пальцем). Даже читать уже не обязательно: есть электронные голоса. На этом фоне легко протащить легализацию любых наркотиков (конечно же, в самых благородных целях). Новые лики старого капиталистического быта.

Радикальный переворот в быту невозможен без изменения способа производства, без уничтожения основ классовой экономики. Конечно, кого-то и так устраивает — и не хотят они ничего менять, или боятся... Но мы здесь о воспроизводстве разума — и перемены обсуждаем разумные, а не абы куда.

Здесь есть две взаимно отраженные стороны.

При капитализме быт — частное дело. Но разумному обществу безразлично, чем заняты его члены. Разумный быт не сам по себе складывается, как итог технологического и общественного развития, — повседневная жизнь становится таким же продуктом, как и все остальное, ее формы возникают преднамеренно и планомерно. Разумно устроенное общество поддерживает все, что способствует расширению доступности достижений культуры, — и решительно избавляется от рудиментов прошлого. То есть, при ориентации на средний уровень — мы стараемся неуклонно сдвигать это среднее вверх; однако вытеснение старого быта не означает слепого уничтожения корней: мы оставляем это как нашу историю, можем иногда сделать ролевой игрой — чтобы сберечь те искорки духовности, которые нам достались в наследство от прошлых эпох (поскольку никакой дух не существует без подходящей именно ему материи).

Другая сторона — рост культурного разнообразия. А значит, быт становится предельно индивидуализированным, не стандартным, не допускающим жесткого регулирования. Если в классовом обществе производство ориентировано на количественные показатели — разум предпочитает сохранять бесконечность качеств, и каждый продукт по-своему уникален. В том числе и субъект деятельности как продукт. Если цивилизация идет от количества к новому качеству — будущее интересуется количеством только в смысле расширения круга качеств.

Другими словами, если в культуре возникает интересное многим, — общество перестраивает производство так, чтобы в этом не было недостатка. Разумеется, мгновенно обновление не произойдет, и будут переходные процессы, — но не как историческая случайность, а заранее понятным и необходимым образом, и все это видят и предвидят.

Ориентированный на качество быт, конечно же, требует особого механизма свертывания рутинных действий, вывода их за рамки планового регулирования: общество устроено так, что это получается «само собой», — и только в случае существенных природных сдвигов придется вывести свернутые операции на уровень общественного сознания. Быт надо всячески упрощать, освобождая человека для творчества, для расширенного воспроизводства. В отличие от цивилизованного человека, люди будущего будут думать не о том, как выжить, — а о том, как сделать жизнь полнее, интереснее. Сейчас такое ограниченным образом доступно некоторым представителям господствующего класса. Однако они зачастую просто не в состоянии воспользоваться этой возможностью, поскольку класс в целом не заинтересован в развитии культуры сверх установленных способом производства пределов.

Поскольку воспроизводство индивидуальности становится главной заботой общества, нет никакого различия в культурном статусе разных занятий. Человек может делать что угодно — или (по видимости) не делать вообще ничего, — все это одинаково ценно для общества; обратно, каждый сознает свою ответственность перед обществом — и ему ни при каких обстоятельствах не захочется поступить неразумно. Здесь нет противопоставления работы и отдыха — есть разные виды труда, творческого преобразования природы (включая собственную природу). Точно так же, снимается различие производства и потребления — это лишь стороны одного и того же, — но не противоположные, а взаимно дополнительные. Противопоставлять одно другому — все равно что говорить о противоположности органов тела; целое нуждается во всех вместе, а не в каждом по отдельности.

До сих пор воспроизводство человека сводилось к чистой биологии: производство органических тел, питание, гигиена, здоровье... Кроме того, приходится так организовать быт, чтобы эти тела могли выполнять положенные культурные функции и не мешали обществу сугубо физиологическими отправлениями. Сами по себе организмы ни в чем таком не нуждаются — они лишь приспособливают свое поведение к

внешним условиям. Стоит ослабить контроль — начинаются проблемы, как личного, так и производственного порядка. Содержать органику в тонусе — дело весьма хлопотное. Рост удельного веса неорганического тела человека, замена органики какой-то машинерией, — по видимости устраняет зависимость от ограничений метаболизма: машины — дело наших рук, и мы умеем ими эффективно управлять... Однако вещи, поскольку предполагается их целесообразное употребление, тоже надо содержать в порядке, проверять функционал, соблюдать чистоту и наводить красоту. Техника, производственные помещения, средства коммуникации и прочая инфраструктура — требуют постоянного ухода, обслуживания, ремонта. Оказывается, что они отнюдь не долговечнее органических тел — которые умеют компенсировать органические недостатки, и справляться с большинством неприятностей по законам их физиологии. Искусственное быстро портится — оставляя живописные руины... И возникает проблема утилизации неорганических тел, которую придется решать людям — ибо в природе ничего подходящего не предусмотрено. Пожалуй, единственная возможность — поручить управление неорганикой самой неорганике — превратить мертвое в живое. Это иная форма жизни, искусственная — но все-таки жизнь. Отсюда один шаг к переосмыслению традиционной привязки субъекта к биологическим телам, с учетом не только естественно возникшего, но и произведенного человеческим трудом. Это станет революционным прорывом в истории человечества, позволит реально разнообразить телесные формы, выбирая подходящие комбинации для каждой производственной задачи. Проблема сознательного рождения и смерти приобретает в этом контексте особое звучание.

Разнообразие используемых в качестве носителя разума форм жизни позволит осваивать такие среды обитания, заселение которых людьми биологического склада совершенно невозможно. Легко догадаться, что искусственная жизнь в конечном итоге совершенно вытеснит традиционные формы в структуре субъекта, и человеческий быт обогатится непредставимыми нам оттенками. Обратная сторона такого развития — исчезновение границы между искусственным и естественным разумом. И то, и другое — продукт сознательной деятельности, на единой материальной базе, — поэтому история человеческого духа автоматически становится историей иных разумных существ, и никакого противоречия в принципе быть не может. Разум един — и важно осознать это уже сейчас.

Единство плоти

Человек как субъект деятельности (то есть, как разумное существо) никогда не сводится к особи какого-либо биологического вида. Даже если допустить, что материальным воплощением субъекта должно быть что-то живое, — это будет организм другого уровня, включающий как биологические компоненты, так и разнообразнейшие культурные расширения (то, что Маркс условно называл «неорганическим телом»), без которых участие органики в общественном труде совершенно невозможно. Органическое тело в составе субъекта деятельности ведет себя совершенно не так, как внешне такое же тело в дикой природе. Все его органы в ходе обучения и воспитания настроены на такие операции, которые вне культурного контекста обычно не наблюдаются — более того, некоторые из них с биологической точки зрения заведомо вредны! В первую очередь это относится к органу централизованной регуляции, головному мозгу. Его настройкой общество интенсивно занимается задолго до формальной даты рождения: условия зачатия и вынашивания существенно влияют на внутриутробное развитие — и закладывают основу последующей социализации. Отсюда муссируемые буржуазной пропагандой ходячие предрассудки о врожденных способностях или склонностях, плавно перетекающие в апологетику якобы естественного классового неравенства.

Возникновение древнейших государств уже предполагает высокую степень окультуривания человеческой биологии; у современного же человека — неорганическое тело всецело преобладает над специфически видовой физиологией. Невозможно представить его без тысяч бытовых вещей и навыков обращения с ними. Орудия труда, одежда, жилье, предметы гигиены... Даже еда у человека — не просто дары природы: как правило, она приготовлена из окультуренных ингредиентов с использованием давно вошедших в привычку (и потому незаметных) кулинарных технологий — а цивилизованный прием пищи бесконечно далек от чисто физиологического акта. Во всем свои плюсы и минусы — но сам факт отличия налицо.

В классовом обществе (в отличие от первобытнообщинного строя) человека отождествляют с органическим телом, живым существом, особью биологического вида *homo sapiens*, — и население считают «по головам». Какие-то основания для этого безусловно есть. Однако по

мере развития способа производства такая идентификация все чаще вызывает больше вопросов, нежели оказывается практически полезной.

Действительно, на фоне успехов медицины уже не очевидно, что именно следует считать человеческим телом. Например, потерял человек ногу или руку, — заменили их протезами, — это другой человек? Вроде бы, нет. В каких-то случаях удаляют и внутренние органы (даже части мозга); органы пересаживают от других людей — или вживляют в тело неорганические устройства: кардиостимулятор, искусственная почка... Так ли уж это безобидно? Совсем разбитый — срастается с высокотехнологичным креслом, или использует экзоскелет. Известно, что род занятий существенно влияет на чувства и мысли, лепит характер; делать рукой или протезом — есть разница? Очкарик смотрит на мир по-особому; глухонемой не всегда сможет договориться с теми, у кого со слухом и речью без проблем. Человек с разбитыми суставами — движется аккуратнее; нарушения пищеварения — меняют пищевые привычки. Но что от тела придает нам статус единичности? Лицо — можно закрыть вуалью, загримировать, или отдать на растерзание косметологам и пластическим хирургам. Отпечатки пальцев меняются при пересадке кожи. Нет в теле ничего, что не могло бы измениться, и даже ДНК понемногу учатся подправлять. Головной мозг? Но как проверить его идентичность? Какие травмы приводят к полной утрате индивидуальности? А скоро и до пересадки головы дойдет, и до вживления компьютеров...

Остается формальный критерий: кусочек бумаги (или пластика), именуемый удостоверением личности (паспорт, водительские права). Имеет это какое-то отношение к биологии? Ровный ноль! Вклеенная фотография иногда сильно отличается от изменившейся с возрастом внешности. Прочая биометрия тоже не монолит. Документ — не то, что выдают на руки: он лишь представляет факт регистрации общественной единицы в специальных книгах (базах данных). При утрате — осязаемое подтверждение статуса можно восстановить. Правда, для этого придется формально доказать свою идентичность зарегистрированному. Как? Собрать справки. От знакомых и родственников (идентичность которых предполагается надежно установленной), из домоуправления, с места работы или отдыха... Наличие копий утерянных документов — вроде намек на обладание ими в прошлом. У кого есть деньги — может заказать какую угодно биографию, с тоннами архивных свидетельств. Главное избегать уж очень нелепых нестыковок.

Получается, что человек вовсе не тело — а то, чем его считают другие. Общественное отношение. Старые знакомые или сослуживцы могут удивиться при встрече: *как же Вы изменились...* Но если вести себя достаточно определенно, демонстрируя положенную по статусу осведомленность, — сомнений в подлинности претендента, как правило, не возникает.

Человек — не кусок мяса; прежде всего — он в плодах своего труда. Идентичность человека — определенность того, что он делает. Когда за его поступками прослеживается нечто общее — мы говорим о духе, усматриваем его присутствие в разнообразии телесных движений, которые в этом случае трактуют как возможные воплощения.

Допустим, я по роду работы не обязан регулярно появляться в людных местах; если при этом дело движется должным образом, коллеги могут составить обо мне вполне отчетливое представление, даже без личного знакомства. Иногда такие встречи даже противопоказаны: когда телефонный консультант занимается маркетингом — его внешность клиентам практически безразлична; если же речь о психологической консультации — лишние впечатления могут испортить эффект. Аналогично, известный автор (или актер) может поразить нас изысканностью творений; но стоит узнать не очень приглядные факты его биографии — и от былых восторгов не остается и следа.

В наши дни удаленная работа — явление повсеместное. Продукт на гора — и никому дела нет, кто там сидит за компьютером! Точно так же, если я работаю по контракту — никого не волнует, сколько у меня субконтрактников. Да, в договоре прописаны паспортные данные; но мы уже знаем, что их отношение к органике может быть весьма и весьма отдаленным. Авторские коллективы под псевдонимом (Прутков, Дюма, Рембрандт, Бурбаки) — явление совершенно обычное; читателю все равно, кто конкретно в чем участвует. Наследственный бизнес — объединяет фамилией многие поколения.

Но даже там, где все перед глазами, — идентичность остается полностью условной. Например, известны многочисленные клоны эстрадных исполнителей и групп — а в студийных записях вообще никакой гарантии, что никто никого не подменил (хотя бы на уровне монтажа). Это нормально, ибо зрителю, по большому счету, без разницы номер паспорта и прописка — ему важна идентичность сценического образа. На том же принципе держится ремесло кинодублеров и каскадеров: роль играет большая команда — а для зрителя все они как

один персонаж. Ретушь фотографий известна с XIX века; в кино ретуширование применялось на всем протяжении его истории. Герои комиксов — прямо как живые. Наконец, современные шоу-технологии в изобилии плодят виртуальные персонажи — компьютерные «тела», за которыми иногда сотни создателей. Активное развитие технологий глубокой имитации на базе искусственного интеллекта (*deepfake*) позволяет практически полностью устранить биологическое тело из удаленного общения⁶ — доля которого уже сейчас значительно перевешивает вклад непосредственных контактов.

Поскольку для общества человек оказывается лишь комплектом «документов», ролей в иерархии общественного производства, обычным делом становится использование одного биологического тела в очень разных культурных ампула. Так, классовая система социализации фиксирует набор возрастных цензов: ребенок, школьник, студент, работоспособное население, пенсионеры... Существуют параллельные шкалы: например, призывной или репродуктивный возраст, — и другие формальные градации (инвалидность, дееспособность), связанные со способом включения в экономическую жизнь. Переход из одной категории в другую может быть как-то увязан с органическими изменениями — но далеко не всегда.

Существуют «мутации», заведомо не связанные с телесными проявлениями. Даже переход с одной работы на другую (или выход на пенсию) — может существенно сказаться на социальном статусе и самоощущении человека, на его взаимосвязях с другими в сколь угодно далеких от производства сферах. По сути, это уже другой человек. Бывают ситуации, когда внешнюю идентичность меняют на официальном уровне (при агентурной работе, или в системе защиты свидетелей): смена биографии и документов, места жительства и рода занятий... Человек иногда сам начинает считать себя другим — и требуются усилия, чтобы восстановить что-то из прошлого. Тем более это характерно для тех, кто намеренно убегает от корней: им просто не нужны воспоминания, они стремятся к новой жизни. Таковы люди без гражданства, беженцы, легальные и нелегальные мигранты. Они уничтожают документы, меняют имя, избегают прежних знакомств. Богачи тем же способом убегают от налогов и долгов (или от расправы «по понятиям»).

⁶ Пророчество Р. Хайнлайна (*The Moon Is a Harsh Mistress*, 1966) сбылось!

Нельзя сбрасывать со счетов и разного рода болезни или душевный кризис. Иногда человек разительно меняется на протяжении жизни — даже близкие его не узнают, уходят друзья, уходит любовь... Телесно он не изменился — но старая жизнь его уже не устраивает, и он убегает от себя, переселяется из деревни в город, из города на край света... Если встретится кто-то из однокашников — он с удивлением воспримет претензии совершенно незнакомого человека. Что уж говорить о разного рода амнезиях (связанных с травмами мозга — или невротическим вытеснением).

Известны (и даже не очень-то экзотичны) случаи двойной жизни: принадлежность одного человека очень разным социальным группам заставляет его переключаться с одного амплуа на другое, полностью перестраивать поведение. Глубина расщепления бывает разной — иногда это лишь двойная игра, при сохранении самоидентичности; однако хорошо сыграть роль можно только живя в роли — и невозможно избежать внутреннего уподобления внешнему персонажу, если нет объективных (культурных) предпосылок для единства. Если в обществе человек известен по-разному, в несовместимых качествах, — его органическое тело будет работать на каждую роль по отдельности; когда других вариантов нет — это своего рода душевная болезнь (а по сути — болезнь общества). Аналогичные явления возможны и при органических расстройствах — но уже как симптомы, а не суть происходящего.

Распространенное заблуждение — вера в непосредственную данность человека самому себе. Дескать, мое тело (главным образом, мозг) воспринимает себя и не даст перепутать ни с кем другим. Однако восприятие и ощущение — не одно и то же: одинаковые ощущения воспринимаются по-разному, а одно восприятие складывается из разных ощущений. Для мозга — органы тела всего лишь внешние тела, источники ощущений, интерпретировать которые надо учиться,⁷ — а это умение приходит только извне, в деятельности. Ребенка еще до рождения включают в определенный круг деятельностей — и приучают его воспринимать органическое тело так, будто оно представляет человеческую индивидуальность. Несколько позже человек начинает

⁷ В компьютерах компоненты снабжены встроенными датчиками, поставляющими информацию о типе, возможностях и состоянии оборудования; однако использовать эти сигналы можно лишь при наличии в операционной системе программных средств (драйверов), интерпретирующих показания датчиков на основании некомпьютерной осведомленности и предлагающих набор возможных системных действий.

непосредственно воспринимать и неорганические компоненты: мы говорим, например, что костюм сидит как влитой; мы совершенно свободно орудуем ножом и вилкой при еде, как будто это части нашего тела; хороший водитель (и вообще, оператор любой системы) чувствует ее состояние, реакции на внешние воздействия и сигналы органов управления; иногда в танце партнеры настолько чувствуют друг друга, что как бы становятся одним телом, движимым единым порывом.

Идентификация — следствие включения в целостную совокупность внешних отношений; иерархичность деятельности (и культуры в целом) делает индивидуальность столь же иерархичной, и можно по-разному развертывать эту иерархию в разных контекстах, выдвигая на верхние уровни особые комбинации органических и неорганических компонент. Подключение новых компонент может вызвать перестроение всей иерархии: выучился играть на гитаре — и целиком ушел в музыку; влюбился — и стал другим человеком.⁸ Поскольку же контекстов может быть много — вовсе не обязательно все время чувствовать себя кем-то одним, заранее данным и одинаковым. Иногда одно, иногда другое. Почему бы и нет? Более того, разные ипостаси меня могут запросто уживаться в одном теле не только в разных внешних условиях, но и присутствовать в сознании одновременно, — и даже спорить друг с другом. В классовом обществе это приводит порой к болезненным внутренним конфликтам; но в принципе ничего ненормального в этом нет, и в более разумной среде такая противоречивость — источник творческого развития.

Труднее представить себе распределенное сознание, идентичность, представленную несколькими (органическими или неорганическими) телами. Может показаться, что каждое из этих тел — отдельный мир, взаимодействующий с другими чисто внешним образом. Так нас воспитывает капиталистическое общество, где одни рыночные игроки всегда противопоставлены другим, а любое совпадение интересов может быть лишь случайным и временным. Наши тела продаются по отдельности — и потому кажутся безусловно различными. Если бы легальный рынок органов тела был развернут столь же широко — привязываться к единому организму было бы проблематично; когда мозг узко специализирован и выполняет лишь часть большой задачи — нет

⁸ Внешние компоненты иногда могут подключаться лишь на время, играть роль катализатора внутренней перестройки, — что гротескно обыграно в фильме *Маска*.

смысла говорить об индивидуальности высшей нервной деятельности, и надо оперировать «коллективами», распределенными сетями.

Современные компьютерные сети еще не доросли до собственной разумности — но уже могут служить хорошей иллюстрацией. Например, разного рода кластеры — аналог распределенной индивидуальности: пользователь видит один компьютер, занятый определенной задачей, — и никому нет дела до физической реализации. Облачные технологии позволяют работать с программами и данными, расположенными в разных местах; развитые схемы репликации быстро восстанавливают идентичность копий. С другой стороны, одна и та же машина может по-разному развертывать функционал для разных пользователей, с учетом вкладов других узлов сети. Наконец, квантовые компьютеры могли бы стать прототипом распределенного носителя для бесконечного числа коллективных состояний.

Но есть и другая, чисто человеческая иллюстрация. Если я кого-то люблю — я смотрю на мир и его глазами, и уже не существую сам по себе. Так два тела (или больше) становятся одним — и в равной мере представляют это их общее кому-то еще. Взаимная любовь полностью уравнивает любящих, и любой из них в отношении к внешнему миру живет за двоих. Смерть одного тела ничего не меняет: любовь остается, и продолжает творить мир.

В классовом обществе нет места для свободной любви — ее приходится прятать за убогими антагонизмами. Даже полюбив, человек противопоставляет свое чужому, не умеет полностью раствориться в другом. Чувствовать другого как себя и знать, что для него стал его плотью, — дано не всякому. Однако проблески этого чувства бывают и в узости цивилизации: например, кому-то удалось участвовать в интересной работе — когда есть массовый порыв, общее воодушевление и общая гордость за удачные находки. Потом продукт выходит на рынок, очарование погибает. Но это было — и продолжает лепить человеческую духовность. Крайние формы уродства — боевой азарт или шовинизм, — даже в них может иногда высвечиваться лучик далекого будущего, когда одни не отделимы от других, когда на уровне общества в целом один за всех — и все за одного.

Чтобы поместить себя в единичное тело — этим надо заниматься, обращать внимание: мое — не мое... Когда же мысли не о собственной идентичности (собственности), а об общей задаче, — никому в голову не приходит выяснять, кто сопоставляется с какой материей. Такие

вопросы здесь неуместны. Чем интереснее жить, тем меньше остается мыслей о теле, — и тем легче переключиться на другое.

Теоретически возможно выделить одну из линий развития и считать это биографией, развитием индивидуальности. Но отождествление себя с этой историей — особый акт, осмысленный лишь в очень ограниченных рамках, в контексте одной деятельности. Когда человек свободен переходить от одной деятельности к другой — ему просто не требуется утверждать свою единичность. Постепенно накапливаются изменения — одни тела уступают место другим, и на каком-то этапе можно (в одной из шкал) наблюдать качественный скачок... Но какое отношение все это имеет к другим историческим лицам и обществу в целом? Первична именно история — а рассказывать ее можно по-разному. В том числе и от первого лица.

С другой стороны, написание биографий — тоже занятие не из простых. Где кончается предыстория и начинается история? Когда надо историю заканчивать — да и возможно ли такое вообще? Какая-нибудь биологическая смерть — всего лишь факт природы; человек при этом вовсе не умирает, и нужна особая (далеко не всегда осуществимая) деятельность, чтобы таки его умертвить. Действительно, как уведомить всех лично и заочно знакомых? Даже если они признают смерть организма смертью личности — для них человек будет жить, пока не получена совершенно достоверная весть. Но даже и после этого — в них останутся следы, кусочки совместной биографии, — а чтобы их окончательно стереть, потребовалось бы уничтожить их тела — а заодно и другие, в которые сохранилось косвенное влияние, — то есть, в конечном счете, все человечество!

Констатация биологической смерти далеко не всегда равносильна смерти личной. Пока человек участвует в совместной деятельности — он жив, с ним можно (хотя бы косвенно) общаться. Тупой вариант: допустим, я запускаю автоматический процесс, способный работать без участия органических тел, на протяжении многих лет после моей официальной смерти; фактически, я продолжаю производить полезный продукт — то есть, участвую в общественном производстве. Обществу нет дела до моего биологического присутствия. Возьмите другое тело, назовите его моей фамилией — и будет полное впечатление, что я сам продолжаю таким способом. Чтобы разделить такие тела — нужно официально оформить их различие, а это чистая условность, специфика классово-экономической. Теоретически, кто-то лично (телесно) знакомый

может встретиться с моим преемником и заявить: это не тот! Стоит ли верить таким заявлениям? Они опираются на ограниченный опыт, неподтвержденные мнения — то есть, по сути, узкий круг общественных отношений, который другие отношения могут значительно перевесить. Например, откуда известно этому «знатоку», что мой преемник не занимался моим делом задолго до меня? — и продолжает его по праву. Личная смерть (как смерть лица, а не личности) вполне возможна и при продолжении органической жизни — когда тело лишь безучастно доживает свой век.

Заметим, что индивидуализация в классовом обществе связана как раз с тем, что разрушает границы индивидуальности, — с групповым бытием, когда человек постоянно на виду, и группа отслеживает его принадлежность, от начала до конца. Тем самым отсекаются остальные общественные функции — хотя, быть может, именно в них главное предназначение человека. То есть, речь идет не о человеке как таковом, а об одном из его качеств: не об индивидуальности, а о тождестве всем остальным членам группы. При капитализме, всеобщности рынка, эта абстрактная определенность связана с правом собственности; общество больше заинтересовано в разделе имущества, нежели сохранении целостности; наследники только и ждут момента, чтобы растащить неорганическое тело, подобно тому, как черви поедают органику.

Границы жизни становятся совсем расплывчатыми, когда заходит речь о духовном производстве. Продукт такой деятельности — не одно из частных воплощений (книга, картина, партитура...), а то, что стоит за этой материей, существует лишь как общественное отношение по ее поводу. Можно издать книгу несколькими тиражами, — или переписать от руки, — книга не в этих осязаемых экземплярах, она их общая основа, дух — а не плоть. Репродукции картин, копии скульптур, разные исполнения музыки... Это разные тела одного и того же, что продолжает жить и допускает все новые интерпретации. Автор (или то, считают автором) вдруг оказывается современником тысяч поколений — с ним можно полноценно общаться, спорить, задавать вопросы... С другой стороны, кого-то (в каких-то границах) мы можем считать лишь продолжателем дела других; исторические линии сходятся и расходятся, переплетаются, обрываются и начинаются заново — новые обращения той же иерархии, которую мы и воспринимаем как настоящего субъекта, не зависящего от исторических случайностей. Назвать участвующие в этом биологические тела какими-то фамилиями — что изменится? Идея

живет в одном, в другом, в следующем... — или во многих сразу, — а то и как нечто неуловимое, культурный фон.

Что имя? Не более чем ссылка на культурный контекст. Пока остается в нем же — другие имена столь же возможны. Перенесите в другой — будет нечто другое, даже если назвать по-старому.

Принципиальная невозможность с полной уверенностью отследить исторические линии (биографии) в рыночной экономике выражается абстракциями физического или юридического лица — привязка которого к определенному биологическому телу в общем случае не предполагается. Единичный субъект хозяйствования изначально отождествлен с совокупностью общественных ролей — и представлен удостоверяющими эту виртуальную «личность» документами. Любое юридическое лицо может быть представлено набором физических лиц; это аналог органического тела, условно связываемого с физическим лицом. Однако предписанные законом «подписанты» неоднократно меняются по ходу хозяйственной деятельности; поэтому юридическое лицо как субъект очевидным образом не зависит от человеческой органики — и может, в принципе, вообще обойтись без нее (например, при выборе представителей случайным образом для каждой сделки).

Может показаться, что привязка (хотя бы временная) всех операций к физическим лицам (конкретным исполнителям) сохраняет ведущую роль органических тел; но по факту физическое лицо лишь номинально представлено чьими-то паспортными данными — и может вообще никак не участвовать в бизнесе (кроме гонорара за представительские услуги). Существующие процедуры подтверждения лишь ставят одну бумажку на место другой; видеоконференции не дают никаких гарантий — и даже требование личного присутствия нетрудно при необходимости обойти (как в известном казусе с гонкуровским лауреатом). Повсеместное использование доверенностей и факсимильных подписей окончательно ставит крест на идее обязательного участия органических тел в предпринимательстве; например, торги на биржах вполне возможно поручить роботу (нечто вроде рыночного вируса).

Массовое помешательство на почве криптографии — всего лишь выгодный бизнес. Обывателя всячески убеждают, что компьютерные технологии способны обеспечить стопроцентную индивидуальность финансовых операций, гарантированно защитить идентификационную информацию. От чего? Если это данные о живом человеке — в каком-то звене мы обязательно выходим за рамки компьютерных технологий, и

вся система оказывается потенциально уязвимой. Если субъектом будет компьютерная программа (наподобие банков криптовалют), результаты ее работы будут осмысленными лишь в контексте каких-то договорных отношений — и все опять сводится к рыночным условностям, которыми так легко манипулировать; на любой шифр есть метод взлома — просто потому, что любые данные хотя бы где-то фигурируют в совершенно читабельном виде (а иначе проку от них ноль).

Электронная подпись руководителя хранится в бухгалтерской программе — и операторы базы данных каждый день подписывают документы за него. Пароли и явки на каждом шагу передают от одних к другим; требуемые для аутентификации сертификаты устанавливают на серверах для общего пользования — а иначе людям просто неудобно работать. Аппаратные ключи можно взломать и эмулировать — в конце концов, временно пустить кого нужно на чужой компьютер. Никакая биометрия не спасет. Даже вживленный в тело чип можно аккуратно пересадить кому-то другому — или просто убедить носителя поступить выгодным для предъявителя инструментов убеждения способом. Ибо бизнес не должен зависеть от наличия персонала: *the show must go on*.

Даже если кто-то идет на внедрение (дико неудобного) строгого документооборота, когда каждая подпись с большой долей вероятности принадлежит конкретному физическому лицу, — откуда берутся ключи шифрования и сертификаты верхнего уровня? Утечки из официальных органов сертификации не просто возможны, но даже обязательны, по политическим мотивам! А общество позаботится, чтобы самодельные ключики не работали в бизнес-критических приложениях. У теневой экономики свои стандарты — но принцип тот же.

Будет искусственный интеллект — ему тоже придумают имя. Однако трудности с идентичностью все те же. Есть программа — ее можно устанавливать на разных компьютерах; зависит ли машинная индивидуальность от железа (которое тоже может быть виртуальным)? Если та же программа, установленная в разных местах адаптируется (обучается) под конкретные нужды — это все тот же субъект? — или разные субъекты, которым надо придумывать разные имена? Очевидно, ответ лежит в плоскости организации культуры в целом — и способа производства в первую очередь.

Оказывается, что за любым именем стоит не просто биологический индивид, а общественная группа, коллективный субъект, который для внешнего мира выглядит одним лицом; при соблюдении несложных

формальных правил, такой субъект практически бессмертен. Тем более это так для неформальных объединений, производящих принципиально рыночный продукт.

Напрашивается вывод: если искоренить всяческую коммерцию, если каждый (независимо от материального носителя) трудится для общего блага и не претендует на исключительное владения плодами общего труда, — зачем возня с аутентификацией? Без базара, мы можем вообще отказаться от имен, или еще каких-то «серийных номеров». Есть сколько-то сложных приборов (или кусков живой плоти); на них, в принципе можно проставить клейма; но если для наших целей равно годится любой из них — какое нам дело до таких тонкостей? Более того, если все они различно устроены — это совершенно неважно: лишь бы работали одинаково (в разумных пределах). Наконец, даже если у них совсем не одинаковые возможности — никто не мешает нам достигать поставленной задачи разными путями, привлекая все, что оказывается под рукой.

Что это? Мир без единичных субъектов? Не совсем так. Общее всегда разветвляется в иерархию единичностей — и становится их особенностью. Поэтому в каждом отношении, на определенном уровне иерархии, какая-то единичность будет все равно. Любая общественная «единица» в этом отношении представляет общество в целом — но существует лишь в пределах конкретной задачи, в своем культурном контексте. Дело сделано — и незачем продолжаться, и даже память ни к чему. Это похоже на рождение, жизнь и смерть органических тел. С той существенной разницей, что для виртуального субъекта не имеет значения способ реализации — и не нужно привязываться к одним и тем же воплощениям, а можно свободно соединять разные органические и неорганические тела, и менять состав по мере надобности. Бесклассовое общество не нуждается для этого ни в каких формальностях. Важен дух, а не буква. В совсем продвинутом варианте — остается только дух, который, конечно же, в каждый момент представлен совокупностью вещей — но свободен перейти в любое другое тело, в том числе у других звезд, или в других вселенных. Творческий дух заставляет нас готовить новые тела и переселяется в них — осваивая любые стороны мира, но всегда оставаясь собой. Стремление одухотворить всю природу, перестроить ее на иных началах — это и есть разум. Люди его малая часть; возможно есть и другие — или нечто большее, что всех незаметно воспитывает и направляет, помогает повзрослеть.

Семья и брак

Без особого преувеличения можно сказать, что вся цивилизация держится на семье. Это ее первоисток, краеугольный камень, основа и опора, — и последняя соломинка для утопающего. Поэтому буржуазные исследования семьи насквозь политизированы и предвзяты: им важно «доказать» вечность социального института — допуская изменчивость культурных форм.

Противоположная позиция — признать преходящий характер классового общества и неизбежность отмирания любых его органов, включая государство и семью. Тогда придется искать другие подходы к истории — и подбирать другую аргументацию. Поскольку же средства производства во всех отраслях (включая науку) находятся в руках господствующего класса, альтернативная история семьи вынуждена в основном опираться на официальные источники — и восстанавливать хронологию и логику по отдельным замечаниям и намекам. В этих условиях выработка цельной теории и надежной методологии выходит на первый план.

К сожалению, много обещавший исторический материализм быстро выродился в политический лозунг — и существенного влияния на историческую науку не оказал. На первых порах проснулся было интерес к экономической истории и практике классовой борьбы — но марксизм так и не дал теоретической основы, на которой можно было бы последовательно интерпретировать полевые находки и планировать целенаправленный поиск. Увлекая в бесклассовое будущее, забыли о прошлом, — а буржуазность памяти приводит к столь же буржуазному видению перспектив.

Первоочередная задача строителей нового общества — поиск основополагающих принципов и переориентация метода исторической науки. Без этого выбор направлений деятельности превращается в игру случая, в произвол. То есть, остается далеким от разумности — которая пробивает себе дорогу лишь стихийно, в силу объективной необходимости. Поэтому здесь мы уделяем основное внимание вопросам философии и методологии — а выбор иллюстративного материала не столь важен. В рамках иерархического подхода можно начинать с любого фрагмента, постепенно восстанавливая целостную картину и направляя поиск недостающих звеньев.

Буржуазная наука превращает историю в историографию (точно так же как экономика становится эконометрией): достаточно подробных описаний и точных датировок, бытовых зарисовок, и эмпирических закономерностей. Какие из этого делать выводы — личное дело каждого. Однако сам способ описания (вплоть до традиционной фразеологии и общепринятого словоупотребления) — идеологически нагружен, так что данные наблюдений неизбежно получают ту или иную интерпретацию (причем больше ту, чем иную). Собственно исторический метод требует активного отбора и упорядочения, логической организации сырого наблюдательного материала. Важно не только что мы видим — но и что мы хотим увидеть, для чего это нам нужно.

На первый взгляд, такой подход противоположен традициям естествознания, якобы открывающего нам мир таким, как он есть. Однако сегодня большую часть наших сведений мы получаем не разглядывая или ощупывая предметы, а путем инструментального исследования — к идее которого люди пришли далеко не сразу. Например, когда Галилей впервые обнародовал результаты своих астрономических наблюдений, его подняли на смех: как можно судить об истинном движении небесных тел, если смотреть на них через какую-то самоделку, которая заведомо искажает действительность? Опасения небезосновательны: отдельно взятые линзы и в самом деле показывают мир как-то странно — а про отражение в кривом зеркале и говорить нечего... Мало придумать инструмент — надо еще обосновать возможность его использования, указать пределы применимости и дать правила коррекции погрешностей. В конечном счете, конечно же, решает практика: мы учимся работать с нашими орудиями и преодолевать их несовершенство. Если на то пошло — и глаз человека искажает мир, и видим мы часто вовсе не то, что нам показывают; однако за тысячи лет эволюции и по мере производственной надобности мы освоились с нашими органами, и знаем, когда им можно доверять — а когда не следует. Человеческое восприятие продолжает на новом уровне то, что уже присутствует в каждом живом существе — начиная с самой элементарной раздражимости: нам не нужно знать, каков мир сам по себе, — достаточно того, что он есть и как-то на нас действует; а мы уж как-нибудь придумаем, что предпринять в ответ на это воздействие и как влиять на характер этого взаимодействия в будущем.

Метод любой науки существенно влияет на ход и результаты работы, и не всегда очевидно, что в нашем знании от природы — а что

«искажает» ее, в силу объективных и субъективных факторов.⁹ Это нормально: недостаточно что-то понять — надо еще и понять, что же, собственно, мы поняли.

Этнографические исследования в концептуальном плане особенно уязвимы: приходится описывать явления одной культуры на языке другой. Когда же на семантические проблемы накладывается еще и стремление угодить работодателю — перекосы в интерпретациях почти неизбежны. Мы видим что-то знакомое — и называем привычным для нас образом. Да, есть местное название — но его мы просто «переводим» по придуманному нами словарю. На самом же деле, за словом стоит иерархия общественных отношений, воспроизвести которую целиком никто особо и не пытается — поскольку буржуазная наука склонна ограничиваться частными вопросами, избегая неудобных обобщений. Разумеется, в науке иногда можно использовать слова естественного языка в качестве абстрактных терминов, имея в виду, что в этом контексте они означают нечто иное. Но в истории терминологическая путаница — явление классовое, и поддерживается намеренно. Властям выгодно отождествить человеческое с животным, представить развитие всего лишь эволюцией, видоизменением без существенных перемен. Чтобы и будущее виделось просто цепью реформ. Брак и семья тогда выводятся за рамки общественного в область биологии размножения — и объявляются априорными формами связи индивидов (подобно тому как кантианство объявляет априорными математические абстракции). Поскольку же семья становится элементарной ячейкой общества, не составляет труда вывести из биологии всякую культуру вообще, тем самым отрицая саму возможность сознательной перестройки экономики и духа.

Развести биологический и социальный уровни терминологически возможно лишь в рамках идеологии, изначально предполагающей иерархичность мира в целом — и любых его сторон. Вещи и отношения вещей не просто различны — они принадлежат разным уровням иерархии, и одно никак не сводимо к другому. В частности, неживое, живое и разумное — уровни одной иерархии, и можно ставить вопрос о том, чем именно они различаются. Пока ограничимся лишь указанием на

⁹ Кстати, в старой (докомпьютерной) астрономии у каждого наблюдателя были индивидуальные коэффициенты, учитывающие особую манеру считывания показаний приборов; таким способом удавалось сводить воедино данные из разных источников.

качественное различие общественного и биологического поведения — откуда прямо следует, что общественные структуры не имеют отношения к физиологии, что у них собственный путь, от зарождения до распада.

Брак есть формальное (хотя, бывает, и неписанное) закрепление определенных общественных отношений — прежде всего, отношений собственности. Поэтому говорить о браках у животных вообще не приходится (при том, что буржуазная этология говорит, например, о «брачных сезонах» или «брачных играх» — это заведомо некорректное словоупотребление) — а усмотрение аналогов брака в первобытном обществе предполагает определенное развитие элементов цивилизации, зачатки классового расслоения — а значит, и какие-то предпосылки государственности.

У животных нет брака и семьи, а есть репродуктивное поведение; оно может быть весьма сложным — но его регуляция определяется не сознательным соблюдением культурных норм, а врожденными или приобретенными видовыми особенностями, — и никак не зависит от воли индивида. В этом смысле человек, потакающий своим страстям, ведет себя не как разумное существо, а уподобляется животному.

Голый натурализм буржуазной пропаганды отождествляет человека с животными; при этом стыдливо замалчивают экономическую роль брака, представляя его всего лишь формой упорядочения половых связей, способом организации биологического размножения. Трудов по первобытным семейным отношениям — хоть отбавляй; однако все эти описания интерпретируют обнаруженные в разных сообществах традиции исключительно в плане сохранения генетического фонда и поддержания генного разнообразия, предотвращения физиологических уродств. Никто не подвергает сомнению научную добросовестность этнографов: эмпирическая составляющая их работы на высоте. Более того, интерпретация реликтовых способов разделения общества на относительно замкнутые группы с установлением довольно жестко регламентированных правил обмена — и в самом деле имеет отношение к браку и семье! Тонкость в том, что биологические соображения тут совершенно ни при чем. Брак и семья — общественное отношение, совершенно другой уровень. Это может коррелировать с биологией — но вовсе не обязательно, и совсем не прямолинейно. Разного рода брачные классы, групповой брак, пуналуальная семья, и т. д., вплоть до современной моногамии, — выражение определенного способа

производства, при котором начинается закрепление отдельных функций за различными уровнями (коллективного) субъекта — и возникает обмен продуктами труда. Там, где человеческие тела воспринимаются как продукты, — будет обмен телами. Существенно, что сначала экономика, хозяйственная деятельность, — а уже потом приведение половой жизни в соответствие с этой новой, общественной реальностью.

Теоретически, один кусок металла вполне может принять форму гвоздя, а другой — форму молотка; механика удара молотка по гвоздю от присутствия человека никак не зависит. Однако в природе тела почему-то так себя не ведут. Точно так же, никакое репродуктивное поведение не может влиять на раздел имущества; зато наоборот — сколько угодно. Общественное поведение человека надстраивается над биологическим, использует природные формы неприродным образом. Другими словами, чтобы структура репродуктивного поведения могла обслуживать брачно-семейные отношения, эти отношения уже должны сложиться в система общественного производства — на базе совсем не биологических процессов, на уровне сознательной деятельности. Животное не задумывается, почему ему вдруг что-то понадобилось: оно просто не может сделать по-другому. Человек сначала формирует общественную потребность — и только потом разворачивает ее в иерархию потребностей индивидуальных — в том числе биологических.

Одна из этнографических традиций — представлять развитие регуляции половых связей в первобытном обществе как постепенное движение от неупорядоченных половых сношений к разновидностям группового брака — и далее к парной семье. Никакого биологического смысла в таком эволюционном сужении усмотреть невозможно. Даже его исходная предпосылка под вопросом: большинство животных отнюдь не склонны к хаотическому сексу: биологические ограничения спаривания зачастую куда значительнее накладываемых брачно-семейными узами. У многих биологических видов наблюдается регулярное образование стабильных пар — иногда на временной основе, что сути дела не меняет. Половая связь разных поколений у животных также не правило, а исключение — при отсутствии в этологической иерархии подходящих партнеров. Половой отбор связан с жесткой конкуренцией внутри вида — точно так же, как и остальные внутривидовые отношения. У высших животных на половое поведение существенно влияет и физиология нервной деятельности, предпосылка полномасштабной психики.

Спрашивается: почему тогда первобытная семья начинает с хаоса и только постепенно выстраивает относительно сложные структуры? Ответ прост: половые отношения никогда не были связаны с браком — они к этому совершенно безразличны. Что мы и видим на протяжении всей документированной истории человечества: внебрачные связи, разврат, проституция, моногамные браки и обмен партнерами, — это достижения цивилизации; они стали осознаваться как таковые лишь в контексте соответствующих культур. Увязывание семьи с половым размножением происходит задним числом, по мере возникновения соответствующих хозяйственных укладов, — и выполняет не биологическую, а экономическую задачу: регуляция имущественных отношений, доступа к средствам производства и продуктам общественного труда.

Когда буржуазный этолог выдает биологическое регулирование половых сношений за нечто вроде брака — это, в лучшем случае, неуместная метафора (если не предполагать намерения ввести публику в заблуждение). У животных пол — один из уровней метаболизма, и репродуктивные предпочтения намертво зашиты в физиологию. Если, например, медведице иногда приходится защищать детенышей от их отца, который рассматривает их как легкую добычу, — это вовсе не от нежных материнских чувств: процесс рождения биологического индивида отнюдь не заканчивается отделением плода от материнского организма, и до какого-то возраста мать просто не отделяет себя от детенышей — ощущает их как свою «внешнюю» плоть (которая иной раз пытается вернуться внутрь — как у сумчатых). Экономическое развитие человечества использует и развивает эту природную механику, со временем превращая ее в сложный общественный процесс социализации, образование как единство обучения и воспитания. Точно так же, биологические формы регулирования круга и времени сношений надолго сохраняются в первобытных сообществах как реликты — и постепенно обрастают общественными отношениями, встраиваются в структуру производства.

Поскольку буржуазный этнограф регистрирует не природные, а общественные явления, — он не замечает собственно биологического регулирования. Но отсутствие развитых семейных связей вовсе не означает беспорядочного секса — о чем те же исследователи непременно упоминают, но трактуют как предпосылку культурных форм, а не пережиток животности. Биология не сразу уступает общественным

механизмам регуляции. Вероятно, вооруженный хорошей методологией исследователь мог бы восстановить этапы и уровни расставания человека с его биологическим прошлым. Дело, впрочем, осложняется тем, что доступные для изучения «примитивные» культуры очень и очень далеки от истинной первобытности — и втягивание их в орбиту цивилизации (без чего невозможно проникновение исследователя внутрь) заведомо влияет на характер отношений внутри сообщества: «аборигены» гораздо больше узнают (и перенимают) от этнографа, чем он о них! Фактически, такое взаимодействие с представителем развитой культуры выводит их из относительной изоляции и дает тот самый внешний ориентир без которого не могла развиваться рефлексия, ясное представление о своей этнической (то есть, общественной, культурной) идентичности. «Дикари» говорят самим себе о себе чужими словами, судят с позиций цивилизации.

Однако обитатели любого «затерянного мира» успели утратить значительную часть собственно биологических черт задолго до первых контактов с пронырливыми европейцами. Наука застаёт их отнюдь не в первобытном состоянии, а на разных стадиях разложения первобытно-общинного строя, зарождения зачатков цивилизации, — и пришельцы первым делом замечают знакомое по себе. О чем и докладывают в монументальных трудах. В погоне за подтверждением предрассудков истинная древность остается за бортом — как Шлиман варварски уничтожил пласт гомеровской Трои выискивая следы расхожего мифа. Когда спохватились — уже поздно, следов почти нет.

Выхватывая позднейшие культурные образования, буржуазные этнографы утратили (или похоронили) историческую перспективу: первобытные общества у них выглядят как недоделанная цивилизация, и никакой иной общественно-экономической организации вообще не предполагается. Да, цивилизация возникла не на пустом месте, и ее первобытные прототипы нужно изучать. Однако многие тысячелетия доклассовой культуры — отнюдь не хаос: в них своя логика и особые, неклассовые формы коллективности. Существование первобытно-общинного строя неоспоримый исторический факт, оно просвечивает даже в поздних этносах (в античности, в народных обычаях раннего средневековья — частично сохранившихся и до наших дней). Но его зарождение, развитие и гибель невозможно представить в терминах современной, классовой этнографии. Чтобы выработать адекватную систему понятий, надо всерьез заняться экономикой древних сообществ,

способом производства — практикой совместной деятельности. Интерес представляет не формальная структура рода или племени, а как раз те элементы неформальности, которые противостоят жесткому экономическому размежеванию, сохраняют пережитки синкретической коллективности — и столь же синкретичного сознания. Понятно, что буржуазная наука далека от исторического материализма — и первобытная экономика представлена в ней очень фрагментарно, поверхностными наблюдениями — в основном, касающимися хронологии освоения тех или иных технологий; о производственных отношениях судят исходя из современных представлений: дескать, умение делать вот это — требует распределения ролей таким-то образом (подобно тому, как это сделали бы наши современники). Настоящая наука о первобытных временах нуждается в иной методологии, сочетающей опись артефактов с поиском почти неуловимых следов *первобытного* отношения к ним — в следах использования, в мифах и легендах, в особенностях менталитета потомков...

Логично предположить, что первобытная община выступала для древнего сознания как неразрывное единство — позже разрушенное зачаточными представлениями о собственности (которые выражают реальные тенденции имущественного расслоения, насильственного ограничения доступа к средствам производства и предметам потребления). В первоначальной, синкретической общине продукты совместного труда не принадлежат никому конкретно — и для их фактического распределения должна существовать особая система, не связанная с обменом (в частности, такая система может использовать формы этологической иерархии — но лишь ограниченным образом, не в ущерб общинности, поскольку именно общественный характер труда отличает человека от животных). На каком-то этапе и дети начинают рассматриваться как продукт — вклад в хозяйство общины в целом. Возникновение ранних форм семьи — угроза традиции, и нетрудно догадаться, что закрепляется право собственности (в том числе на детей) далеко не сразу — долгое время (тысячи лет) традиционные устои сосуществуют с элементами цивилизации. Победа собственнической психологии — революция в сознании, из которого память о прежних временах постепенно уходит — но не исчезает бесследно, оседает в характерных деталях фольклора.

С этих позиций посмотрим на африканскую сказку о том, как одна из двенадцати жен родила вождю сына — а все остальные нацепили

пальмовые листья, как положено родильницам, и каждая говорила, что именно она мать ребенка. Далее следует рассказ о хитроумном трюке (подсказанном вождю неким первобытным идеологом): ребенку якобы угрожает леопард — и лишь одна из жен бросилась к ребенку, а не наутек. «Справедливость» восторжествовала. Однако встает вопрос: зачем, вообще, нужно было заниматься расследованием? Для рода все равно, кто родил ребенка, — он новый член общества, не более того. Как только мать оказывается в привилегированном положении по сравнению с остальными — это знак имущественного расслоения и зарождения семьи как основы общественного неравенства. Жены вождя пытались этому воспрепятствовать — не получилось (теперь мы знаем: и не могло получиться). Тем самым сказка оказывается свидетельством борьбы нового общественного уклада с первобытной общинностью, документом рождения цивилизации...

Точно так же следовало бы вчитываться в любые документы прошлого — где древнейшие пласты отнюдь не на виду, и нужна последовательная идейная позиция, чтобы вытащить их на свет.

Еще пример — расхожее представление о матриархате как власти женщин. В науке предпочитают выражаться осторожно, говоря лишь об «элементах» матриархата, и не о власти — а о высоком общественном положении... Зато в искусстве это одна из старинных тем, которую всячески (чаще с юмором) обыгрывают до сих пор. Такая вульгарность могла возникнуть только в недрах цивилизации, как проекция, перенос современности в первобытные декорации. На самом же деле в древнем, доклассовом обществе не существует понятия власти — а есть распределение общественных ролей. Внутри общины все не просто равно — они одинаковы, синкретически неразличимы по месту в первобытной экономике. Но современному филистеру отсутствие (еще не сложившегося) закрепощения женщины видится как ее свобода — свобода же для него равноценна главенству, — ибо в классовом обществе свободны лишь верхи, а остальные рабски повинуются. Система воспитания закрепляет стереотип и препятствует анализу реального общественного статуса женщин первобытно-общинного строя; такой анализ показал бы, что «свобода» членов общины весьма и весьма относительна, поскольку неразвитая экономика зачастую не оставляет выбора — и производственные роли оказываются жестко закреплены, что служит объективной предпосылкой возникновения разделения труда и распада общинности.

В качестве заметки на полях, вспомним казалось бы пародийный обычай некоторых племен: во время родов мужчина кричит, будто это он рождает, — и тем самым, якобы помогает роженице... Аналогичные переживания за другого — обычный элемент шаманского ритуала и ритуального целительства. От них тянется цепочка к языческому культу предков, христианской молитве за кого-то, — и в конечном итоге к нормальному человеческому сочувствию и разумной взаимопомощи нынешних (и будущих) времен. Налицо свидетельство древнейшего синкретизма, который цивилизация загоняет в ряд аналитических форм, а обществу будущего предстоит лишить все это иллюзорности и нормативности, превратив в подвижный инструментарий сознательно человеческого бытия.

Когда изучение первобытного общества ограничивают анализом терминов родства — это апелляция к позднейшим этапам его развития, предполагающим давно устоявшуюся идею семьи; первобытная община в такой науке подменяется рабовладельческой, феодальной или капиталистической общинностью — и якобы объективные описания превращаются в грубейшую подтасовку фактов. Главные свидетельства доклассовых общественных процессов — в том, что не вписывается ни в какую семейственность, не предполагает внешнего (то есть, по сути, правового) регулирования.

Общественно-экономические формации не сменяют друг друга мгновенно, поворотом рубильника. Любая революция — внешнее выражение того, что уже назрело в общественно-хозяйственной сфере, и требует создания условий для последующего длительного развития, вытеснения прежних укладов. Регуляция половых связей — лишь видимое проявление экономических сдвигов; человек осознает эти сдвиги путем проекции на то, что привычно и на виду, — в частности (но не только) на традиции регулирования репродуктивного поведения, унаследованные от животных. Какие именно методы регуляции будут задействованы — зависит от путей экономического развития; описанные в этнографической литературе типы древней «семьи» вовсе не обязательно упорядочены хронологически и обязательны для всех: определяющим является способ ведения хозяйства (на что буржуазная этнография почти не обращает внимания), а формализация исходит из доступного, так что одна и та же стадия первобытной экономики может сопровождаться разными формами половой регуляции. Более того, само определение деятельности как универсального (не ограниченного

видовым поведением) опосредования — предполагает обширные заимствования поведенческих форм не только внутри вида, но межвидовые. Человек — универсально приспособленное существо, поскольку он умеет перенимать любые механизмы приспособления, имитирует любую природу, воспроизводит ее в своей деятельности. Поэтому присутствие каких-то черт животной регуляции у человека далеко не всегда свидетельствует о его биологическом прошлом: чаще это адаптация чужой биологии к нуждам экономического прогресса.

Еще раз: семья — не биологическая, а экономическая ячейка, хозяйственная целостность. Кто с кем спит — совершенно неважно; единственный критерий брачно-семейных отношений — собственность, исключительное право группы или индивидуума на пользование и распоряжение продуктами труда. Заметим, что человеческий труд — явление изначально общественное, и он остается общественным всегда, как бы ни пытались буржуазные идеологи замазать участие всех членов общества без исключения в сколь угодно кустарном производстве. Работать своими руками (и думать своей головой) человек способен лишь поскольку общество предоставляет ему такую возможность. Только в классовом обществе такое негласное «поощрение» начинают воспринимать как должное, как знак собственной исключительности, собственности.

Важный момент: первично собственность осознается как отделение от рода, а потом и противопоставление ему. Я принадлежу себе, и обычаи предков уже не властны надо мной, и надо изобретать иной закон, общественное признание моего права. Так начинается рост государственности.

Но первобытного синкретизма никто не отменял. Человек — не только органическое тело; он не отделяет себя от всего, с чем этот организм необходимым (то есть животным) образом взаимодействует; эта сфера (по Марксу: «неорганическое тело») включает в себя не только предметы обихода и орудия труда, но и других людей, расцениваемых как условие обособленного существования. Поскольку же эти люди воспринимаются как продукты труда — они также способны превращаться в собственность, якобы принадлежащую кому-то по праву. Тем более, если по видимости человек «производит» их сам; таковы, например, дети — или добытые разбоем жены и наложницы (а потом и рабы). Вот это и есть первобытная семья, зародыш классовой экономики.

Ту же функцию, закрепление права собственности на условия труда, семья играет и в последующие эпохи, на всем протяжении истории цивилизации. Развитый капитализм ограничивает (но не уничтожает) семейное рабство — так, например, по-турецки отца троих детей назовут *iç çocuk sahibi* — то есть, буквально, хозяин троих. Разумеется, речь вовсе не о рождении детей, а об их формальной *принадлежности* семье (представленной традиционным главой). В наши дни (преимущественно среди богатых) широко распространена практика усыновления; испокон веков известны случаи вывода биологических детей из состава семьи (лишение наследства). Конечно, открыто использовать детей как дополнительную рабочую силу в развитых капиталистических странах уже нельзя — но есть формы косвенной эксплуатации, а в скрытых формах сохраняется даже торговля детьми. Как ни расценивать массовое движение против семейного насилия — оно говорит, по крайней мере, о существовании проблемы; в некоторых культурах угнетенное положение женщины закреплено традицией или законом. С другой стороны, закон определяет имущественные права всех членов семьи — признавая их как факт, при всей возможной недостаточности.

Начиная с античности, классовое общество активно вытесняет пережитки первобытной общинности — и неразрывная связь семьи с государственностью становится очевидной. Рабовладельческая Европа порождает «большую семью» — хозяйственную единицу, включающую некоторый круг родственников, рабов и вольнонаемных слуг, а также зачастую арендаторов и «паразитов». Средневековые держатся на крупной патриархальной семье. Европейский капитализм утверждает парную моногамную семью — но сохраняет иерархию родства для обеспечения экономической преемственности. Есть соблазн представить эту последовательность как универсальное направление развития — и определенные основания за этим, конечно же, стоят. Но определяющим всегда оказывается не формальный состав семьи и внутрисемейные отношения, а чисто экономические факторы: в каждой культуре семья должна обеспечить воспроизводство хозяйственных структур — разделение на «организаторов производства» и «рабочие руки», на господ и рабов. При капитализме всякое производство опосредовано рынком — и потому «внутрисемейное» производство не может играть сколько-нибудь значительной роли: члены семьи выступают как рыночные игроки. Отсюда тенденция сужения семьи до минимума, выведения родственных отношений за ее рамки. Однако сами по себе

формы семьи не определяют ее классовой сути. Так, полигамия североамериканских мормонов — один из вариантов европейской моногамии, а современная мусульманская семья строится на вполне капиталистической основе, несмотря на внешне средневековые формы. Легализация «нетрадиционных» браков идет полным ходом — и нынче отношения родства ничем принципиально не отличаются от прочих договорных обязательств.

Современный брак все больше теряет связь с половым поведением. Семья как узаконенный секс всегда дополнялась столь же узаконенной проституцией; внебрачные связи давно стали нормой — и общество относится к ним с полнейшим хладнокровием; для рожденных вне брака детей (равно как и для совершенно посторонних лиц) никак не закрыто право наследования — а полная легализация развода сделала браки среди богатых эфемерными, больше напоминающими беспорядочные сношения (на чем делает бизнес пошлая журналистика, раздувающая реальные и вымышленные скандальные эпизоды светской хроники). Деторождение вообще никогда не было связано с брачно-семейными отношениями; у некоторых народов многочисленные внебрачные связи всячески приветствовались — у других они становятся частью обычая, ритуала, традиции. В наши дни развитие технологий искусственного оплодотворения и суррогатного материнства начисто отделяет зачатие и рождение ребенка от репродуктивного поведения: мать может вообще не знать о том, кто был донором генетического материала, а яйцеклетку легко подсадить любой женщине (и вскоре, возможно, легализуют инкубацию вне организма). Наконец, сексом люди занимаются чаще всего не ради детей — а всеобщая доступность средств контрацепции, превращает ограничения на половые связи внутри семьи в унылый анахронизм — тем более, учитывая полную условность современных отношений родства. Если по недоразумению отношения между «близкими» родственниками кончаются не тем — это уже не играет существенной биологической роли: с одной стороны, современная медицина многое умеет, а с другой — уродств намного больше от нездоровых условий жизни и наркоты, чем от кровосмешения. Собственно брачно-семейные отношения, по большому счету, никак не предполагают секса (достаточно общего хозяйства) — и буржуазное право даже не пытается вторгаться в постельные дела.

Тем не менее, стойкость вульгарных представлений о семье как «половом производстве» заслуживает серьезного внимания и требует

объяснений. Ключ к разгадке — универсальность как определяющая черта сознательной деятельности. Переход от первобытно-общинного строя к цивилизации связан с ростом общественного неравенства и существенным ограничением доступа членов общества к средствам производства (постепенно переходящим в частную собственность). Классовая экономика отрицает непосредственно общественный характер труда — достижение первобытности, благодаря которому человек решительно отделяется от животного мира. Следовательно, чтобы сохранить деятельность как универсальное опосредование, необходимо оставить в структуре раздробленного на рыночные ниши производства что-нибудь в равной степени доступное всем, или почти всем. Деторождение прекрасно подходит на роль этой формальной объединяющей отрасли: при всех различиях, остается возможность отнести людей к единой общности. Поскольку же воспитание детей остается прерогативой семьи, чисто биологическое воспроизводство дополняется столь же общедоступным (или даже общеобязательным) выстраиванием компонент неорганического тела — и эта неорганическая составляющая неуклонно растет в ходе развития цивилизации. Увязывание семьи с воспроизводством материальной основы разума — в классовом обществе практически единственная возможность сберечь разумность как таковую. Лишь в последнее время, с развитием компьютерных технологий, намечаются иные пути к единству — и производство органических тел начинает отступать в тень.

Капиталистическая семья главным образом предназначена для сохранения структуры рынка труда, отделения покупателей рабочей силы от ее продавцов. Собственность на способность труда — оборотная сторона всеобщего доступа к производству плоти. Способность выступать субъектом деятельности — последняя вещь, которая есть у всех; включение этой вещи в рыночный оборот — универсальным образом включает индивидов в общество, соединяет их в рамках классовой культуры. Человек не может трудиться там, где интересно именно ему, — и становится вещью; возможность продать себя — культурное выражение всеобщего равенства в отношении к любой деятельности вообще. Но даже такое, эфемерное единство дает шанс развиваться более высоким уровням самосознания — и порождает сначала стихийный, а потом и осознанный протест против порабощения духа капиталом. Одно из внешних проявлений этого скрытого развития — кризис буржуазной семьи.

Признавая неизбежность разрушения классовой экономики и строительства нового мира, в котором равный доступ к труду и его продуктам гарантирован всем, — так или иначе приходится затрагивать и судьбы семьи. Утопические картины идеального общества, начиная с античности, признавали целесообразность вмешательства общества (представленного чем-то вроде государства) в отношения полов — как правило, отделяя деторождение (как общественный долг здорового гражданина) от личных отношений (любви и дружбы). Утописты нового времени освобождают семью будущего и от хозяйственных функций — передавая организацию быта в ведение общественных структур. Возникающий в XIX веке «научный коммунизм» заимствует какие-то идеи у череды предшественников. Однако один из главных принципов марксизма — неразрывность теории и практики — парадоксальным образом приводит к воззрениям на семью и брак, которые выглядят шагом назад, по сравнению со смелостью утопий. Поскольку проекты экономических преобразований обязаны опираться на реальные возможности наличествующего способа производства, на исторический контекст, слишком радикальные воззрения в семейном вопросе оказываются неуместными: они способны вызвать разногласия внутри социалистического движения — а революция требует предельной концентрации сил. Но проходит время — и действительные причины политической «робости» забываются, а непререкаемый авторитет основоположников и вождей распространяется также на временные, тактические решения, перекрывая дорогу критическому анализу идейного наследия и его всестороннему развитию. Тут уступки изначально классовой семейственности выходят боком, навязывая непоследовательность и в экономике.

По логике, отмирание (или, точнее, изживание) государства должно привести к исчезновению права — и всего, что подлежит правовой регуляции. В частности, это касается семьи — как государственной структуры, которую формально фиксирует правовой акт (заключение брака). С устранением института собственности сразу же отпадают все вопросы, связанные со свободой заключения брака и свободой развода; тем самым говорить о формальном родстве — просто неуместно. Однако Маркс, Энгельс, а затем и Ленин, выступая против семьи как официального института, ничего не имеют против семьи как таковой, как свободного союза личностей (по умолчанию — разнополых). Казалось бы, мысль прогрессивная. Да — но только в контексте

буржуазной культуры. Едва заходит речь о строительстве нового — такой подход превращает коммунизм в борьбу с ветряными мельницами: возражения против формы, а не по существу. Фактически, допускается образование групп, выделенных из общества на постоянной основе — а значит, формально противопоставленных ему. Вспомним: именно с этого начинался распад первобытно-общинного строя — и мы знаем к чему это привело. Так зачем снова наступать на грабли? Далее, увязывание такой «свободной ассоциации» с половым размножением (что Энгельс величает «подлинной моногамией») выводит из-под общественного контроля вопросы регулирования деторождения и поддержания общественно необходимой численности населения — равно как и вопросы (часто предопределяющей дальнейшую судьбу человека) первичной социализации (поскольку, хотя бы на первых этапах жизни, ребенок остается в семье). Наконец, совместное проживание членов семьи, устройство внутрисемейного быта, неминуемо ведет к обособленному хозяйству (требуя аналогичных государству средств контроля) — а это подрывает универсальность общественного характера производства.

Да, на начальном этапе строительства бесклассового общества, пока не заложен фундамент экономики нового типа, (все еще востребованное) государство вынуждено препоручать отдельные отрасли общественного хозяйства мелким производителям, чтобы сосредоточиться на ключевых направлениях, исключить экономическое и силовое вмешательство со стороны свергнутого класса. Но в этом случае как никогда важна принципиальная позиция: такое разделение труда допустимо лишь как явление временное, и с этим предстоит бороться, ограничивать разброд при каждой возможности. А не просто «помогать» семье или — еще хуже — «поддерживать» ее.

Опять же, по логике, свободные отношения свободных людей не предполагают заранее никаких организационных форм — люди вправе выстраивать личные и коллективные взаимоотношения как угодно, используя любые имеющиеся на данный момент ресурсы, — а также перестраивать при необходимости. Откуда в таком обществе взяться семье, длительным союзам, воспринимаемым как общественная необходимость? Даже при капитализме производственные (или курортные) романы — обычное дело; не говоря уже о случайных (например, офисных) «quickies». Чего ради обществу вмешиваться? Даже если кому-то по душе проживание вместе (парами или другим

числом) — они сами решат, как это будет устроено, и никакие культурные шаблоны им не нужны даже в качестве демонстрации возможностей; более того, такие «образцы» свободной любви даже противопоказаны! Дело общества предоставить необходимые условия для личностного роста — и дать всем без исключения возможность участвовать в общественном производстве (включая и деторождение, пока в нем есть объективная необходимость). Дальше — творчество, полет фантазии.

Когда марксисты фантазируют о совместном проживании людей будущего «большими коммунами» — это антикоммунизм, пережиток ранних (буржуазных) утопий. Капитализм как раз и нужен, чтобы, продолжая общую линию развития человеческой духовности, довести индивидуализацию до предела, перейти от классового сознания к самосознанию личностей, — и надо не отказываться от этого завоевания, а наполнить его новым содержанием, положить в основу культуры будущего. Суть не в совместном проживании — а в совместной деятельности (независимо от личного контакта). Это не имеет ничего общего с абстрактным коллективизмом: деятельное единство важно не ради поддержания совместности как таковой — а ради того, чтобы каждый из участников мог стать тождественным обществу в целом, представляя любую из сторон общечеловеческой культуры.

Идея «своего дома» — продукт классового сознания. Стремление обособиться, выстроить стену между собой и обществом. Парадокс: слово «дом» подразумевает особое хозяйство — но субъективно дом как раз там, где не надо хозяйствовать! — где можно «расслабиться» и заниматься чем-то в свое удовольствие... Недаром сегодня некоторые пытаются прятаться в виртуальных мирах. У каждого свой круг таких «непроизводственных» деятельностей — и вовсе не обязательно тащить все в одно место. Представление об одном доме — от нищеты, от недоступности многого, от враждебности социальной среды. Выражение «жить на два дома» сегодня звучит осуждением — но, по-хорошему, надо бы жить на (бесконечно) много домов, чтобы чувствовать себя полноценным человеком.

Полностью общественная экономика будущего не допускает закостенения общественных связей — и ни одна привязанность не должна приходить извне. В частности дети — не от родителей, это общественный продукт, общая ответственность. Мир без предписанных форм — бесконечность творчества. Без семьи, без брака.

Разум как здоровье

Про то, что в здоровом теле здоровый дух, — все наслышаны. Остается только выяснить, что такое дух, зачем ему требуется тело и какое именно — и в каком смысле оно должно быть здоровым. Всего ничего. К сожалению, ни на один из вопросов нет ответа — потому что вопросами этими никто, по сути, и не задается. А интуиция в подобных делах советчик опасный: вместо духовного здоровья можно запросто заработать душевную болезнь.

Для простоты начнем со зверушек. То есть, мы с самого начала полагаем, что человек — нечто иной породы, и что духовность бывает только у людей — и то лишь поскольку они ведут себя по-человечески, разумно, а не уподобляясь зверю и скотине. Это уже некоторым образом определяет дух — потихоньку подтянем и прочие определенности.

Так вот, у животных духа нет — но болезней более чем достаточно. Живой организм — симбиоз организмов попроще, каждый из которых делает то, что предписано устройством самого органа или командами извне, которые сводятся к физико-химическим изменениям в среде, так что продолжать питаться и выделять ненужное возможно лишь путем вполне определенных движений. Та же схема воспроизводится на многих уровнях — от активных молекулярных комплексов до обширных биоценозов. Другими словами, живое существо есть единство организма и метаболизма, а если оставить одно из двух — жизни уже нет. Самое большее — разлагающийся труп, неодушевленная природа, — с ее закономерностями и случайностями. Иногда может так случиться, что организм какими-то местами испортился — но не весь целиком; или метаболизм поддерживается — но затруднен. Если это ненадолго, работают гомеостатические механизмы: ответственность и ресурсы перераспределяются внутри организма так, чтобы держаться на ходу, на плаву или на лету. Длительная дисфункция приводит к перерождению органов и стойким физиологическим отклонениям. Потому что каждая из частичных зверушек занята лишь собой — до целого им дела нет; органы живут вместе со своим метаболизмом — и просто не умеют вести себя как-то иначе. И вот, вместо симбиоза — начинается борьба за существование, перетягивание доступных ресурсов на себя. Для организма в целом — это болезнь. Реагирует животное на нее точно так же, как и его органы: перестраивает образ жизни, компенсирует

внутренние проблемы удачно найденными внешними обстоятельствами; если обстоятельства не очень благоприятные — болезнь обостряется, переходит в критическую фазу и заканчивается смертью.

Дальше начинается ветеринария: расстройства распределяют по медицинским категориям — и для каждой свой подход. Простейший вариант — травма, полная неработоспособность органа; в этом случае дикой природе придется обходиться оставшимися (например, ковылять на некомплекте лап, или отказаться от полета) — что, конечно, не повышает шансы на выживание, и лишь в достаточно обильной среде позволяет устойчиво адаптироваться. Человек способен компенсировать органические травмы путем пересадки органов или протезирования; кроме того, часть органических функций может быть передана внешним (общественным) структурам. Такой модифицированный организм перестает быть чисто природным явлением — и становится одним из носителей человеческого духа, независимо от того, вмешиваемся мы в человеческий организм — или в организм (одомашненного или дикого) животного (или даже в общественный организм — поскольку общество может в каких-то отношениях ограничиваться чисто формальными взаимоотношениями, социальным метаболизмом).

Следующий таксон — органическая дисфункция, изменение типа метаболизма. Как правило, это тоже травма, внешнее воздействие: повреждение, внедрение чужеродных организмов и т. д.; однако орган при этом не перестает жить, а становится другим живым существом, которое не может участвовать в прежнем симбиозе — не из какой-то намеренной зловредности, а просто потому, что оно так устроено. Иногда здоровые органы могут скооперироваться и подавить кривую активность, заблокировать неправильную зверушку — так что ей остается либо вписаться в коллектив, либо умереть. Последнее чревато дурными последствиями — но и с этим организмы как-то справляются, понемногу выздоравливают сами собой. Человек умеет не только способствовать выздоровлению достижениями хирургии или фармакологии — но и длительно поддерживать организм, не подлежащий оздоровлению. Здесь мы снова выходим на уровень преобразованной природы — носителя духа.

Наконец, возможны разного рода физиологические нарушения: все органы, вроде бы, на местах — но согласовать свои действия им никак не удастся. Иногда играет генетическая предрасположенность — иногда особые условия среды, приспособиться к которым животное не умеет.

Такие расстройства могут носить хронический характер — но они, как правило, не смертельны. Разумеется, такой организм проигрывает полноценным — там, где природе приходится выбирать.

У особо одаренных — есть еще и психика. Это особый тип регуляции индивидуального метаболизма за счет взаимодействия с другими организмами; конечно, устойчивые формы видового поведения формируются лишь в пределах физиологических возможностей — но складываются они динамически, по мере взаимодействия особей внутри группы или популяции. Здесь действует тот же механизм, что и в согласовании метаболизма органов: внешняя среда заставляет органы модифицировать свои реакции — а выделения органов изменяют среду для других и оказывают обратное воздействие. В частности, психические функции могут становиться врожденными за счет естественной селекции, вытеснения девиантных особей из сферы органического размножения. Однако главным образом наследование происходит путем передачи опыта молодяку в рамках сложившейся схемы внутригрупповых связей.

На уровне психики также возможны расстройства, переходящие в болезнь, иногда со смертельным исходом. Если речь о динамически сложившейся несогласованности поведения особи с групповыми структурами — это функциональное нарушение, невроз; однако бывает и так, что поведенческие отклонения возникают за счет органической несовместимости с предлагаемым средой набором ролей — тогда они называются психотическими. Неврозы также могут быть связаны с какими-то органическими предрасположенностями, но физиология подключается здесь не напрямую, а через внешнее поведение, — и травматический характер носят взаимодействия индивидов, а не собственно физиологические процессы.

Человек все это, конечно же, наследует — и здесь появляются как возможности компенсации девиантного поведения за счет особой организации быта — так и новые источники психических травм, связанные с развитием индивидуальности и личности в рамках лишь частично разумной классовой культуры. В любом случае, психические болезни всецело принадлежат биологическому уровню — даже если они связаны с культурно обусловленными особенностями восприятия, мышлением, чувствами, творческими исканиями. Но если здоровье животных делает их всего лишь здоровыми организмами («телами») — человеческое здоровье решительно выводит человека из животного

мира, сообщает ему такое качество, которого у природных тел нет и не может быть, — духовность.

Грубо говоря, здоровье — это когда все идет как следует. Если животное в состоянии питаться, справлять нужду и размножаться — в этих (органических) пределах оно здорово. Даже если не хватает пары конечностей и дышится через раз. Но у человека иное предназначение. Его задача — универсальным образом преобразовывать природу, менять природные процессы в заранее выбранном направлении. В том числе влиять на строение и функции любых организмов. Это и называется (разумной, сознательной) деятельностью. Человек все связывает со всем, и только таким способом бесконечное разнообразие отдельных явлений и вещей становится единым (и единственным) миром. Если ограничить деятельность, поставить на ее пути непреодолимые препятствия, — разумный человек не перестанет творить мир: он переключится на другие виды деятельности и в конце концов найдет способ поставить природу под контроль. В этом смысле разумное поведение вообще не подвержено никаким болезням, и само словосочетание «больной дух» содержит противоречие в определении: дух всегда здоров — а видимые поведенческие нарушения связаны как раз с недостатком духовности. Либо у того, кто ведет себя, — либо у того, кто это наблюдает.

Однако природные тела разрушаются и болеют. Как совместить это с духовным здоровьем? Разными способами. Прежде всего заметим, что вовлекать в строительство нового мира можно не только здоровые, но и больные организмы. Прикованный к инвалидной коляске Стивен Хокинг становится выдающимся физиком; оглохший Бетховен продолжает создавать музыкальные шедевры; однорукий Пауль Витгенштейн остается пианистом-виртуозом, а безумный Георг Кантор — великим математиком... Чисто логически, из того, что в здоровом теле здоровый дух, вовсе не следует, что в больном теле его нет. Но суть-то в том, что, во-первых, дух вообще не в теле, а во-вторых, само понятие тела по отношению к разумным существам следует пересмотреть.

Никакие отношения между природными телами невозможны без этих тел — но отношения тел отнюдь не содержатся в этих телах. Неодушевленные тела могут, вообще говоря, существовать и сами по себе; живые существа вынуждены вступать в какие-то контакты ради поддержания метаболизма — но чисто внешним образом, за счет того, что функционирование организма что-то забирает из среды и что-то возвращает в нее; для каждой особи это не органическое отношение:

внешние тела воспринимаются как вещи, способы удовлетворения ее внутренних органических потребностей. Точно так же, стремление человека что-то приобрести за счет других — явное свидетельство животности, недоразвитости разума. Жизнь — способ существования органических тел, и душа животного (отличие живого от неживого) неразрывно связана с его телом, это его собственное движение. Когда органическое тело вовлечено в человеческую деятельность, его основное предназначение — связывать внешние по отношению к нему вещи и явления, что заведомо выходит за рамки метаболизма и чаще всего противоречит собственно биологическому движению, ограничивает и перенаправляет его. Духовность представлена не телесным движением, а системой наложенных на него извне связей; в этом отношении она является внешним аналогом органичности — согласования движений органов внутри организма. Может показаться, что взаимодействие людей в деятельности подобно взаимодействию органов живого тела и позволительно его считать лишь внутренним движением коллективного живого существа, социального организма. Буржуазная идеология так это себе и представляет — тем самым оправдывая необходимость классового расслоения, якобы выражающего сугубо физиологическую необходимость («природу человека»), которую невозможно изменить, не убивая общественную жизнь. Однако существенное различие состоит в том, что биологические симбиозы складываются стихийно — а общество (поскольку в нем есть капля разумности) строит себя в ходе сознательной деятельности. Органичность — просто есть; духовность — не сама по себе, а для чего-то. А это, в частности, означает, что любые общественные отношения (продукт деятельности) существуют лишь в рамках определенного способа производства, который человек вправе менять по мере надобности, тем самым изменяя и представляющий дух набор природных тел. Разум не только поддерживает жизнь там, где это необходимо, — он также намеренно создает или уничтожает ее, контролирует собственное рождение и смерть.

Чтобы управлять органикой разумное существо использует ее природные качества: направить жизнь в определенное русло можно, намеренно создавая предназначенную для этого среду. Поскольку же для организма внешние предметы одинаково неживые, использование неорганических направляющих оказывается достаточно эффективным, и технологически простым. Таким образом, органические носители разума становятся таковыми лишь в движении неорганических вещей,

увлекаются этим движением в нужном направлении. Только вместе с этим неорганическим телом организмы могут действовать разумно.

Неорганическая составляющая у современного человека намного значительнее собственно биологических тел. Даже не родившийся (и даже еще не зачатый) ребенок — уже подвергается множественным воздействиям со стороны общества, подчиняющего процесс зачатия и вынашивания культурным нормам. Сразу после рождения — детский организм вписан в обширную неорганическую среду, организованную принятым в данной культуре образом. Постепенно эта вещная оболочка срастается с органикой, становится жизненно необходимой, подгоняется индивидуально, и часто ее вообще не замечают: например, одежду мы чувствуем лишь там, где она плохо пригнана и мешает. Человек как субъект деятельности не вписывается в какое-то единичное тело — они всегда распределен по совокупности органических и неорганических тел, этот материальный носитель духа мы называем его плотью. Но дух не сводится к плоти — и никоим образом не заключен в ней. Наоборот, он может выбирать (конструировать) себе плоть, и свободно переходить от одного воплощения к другому. Конечно, в классовом обществе духовность неизбежно оказывается ограниченной, и поведение людей лишь отчасти разумно — следует природным законам (к числу которых принадлежат и разного рода формальные установления, религия и право). Поэтому человеческие поступки придется оценивать с точки зрения соответствия разуму, весомости духовного вклада по сравнению с животностью.

Дух — не просто вещи или элементы культуры; за ними всегда стоят человеческие отношения. Хотя этот слой не всегда легко заметить, именно он определяет место человека в иерархии воспроизводства культуры, личный вклад в повышение уровня духовности человечества в целом. В процессе материального и духовного развития субъекта как особого общественного продукта возникает уникальное сочетание тел и отношений по их поводу, которое (в отличие от биологического индивида) мы называем индивидуальностью; для общества в целом и составляющих его индивидуальностей проявления индивидуальности в действиях человека (в общественном поведении) выглядят особой духовной целостностью; человек для других — это личность. Но ни то, ни другое не существует само по себе; связь индивидуальности и личности есть общественное, культурное явление. Движение плоти и духа всегда соотносится с задачами культурного строительства; оно

может принимать форму органического или неорганического процесса, но никогда не сводится к нему, и возможные природные ограничения лишь перенаправляют деятельность, служат стимулом для освоения новых сторон действительности. Если что-то невозможно — мы не просто констатируем факт, а спрашиваем: а что все-таки возможно? — чтобы добиться своего другими, косвенными путями. В частности, дух практически неуничтожим: даже полное разрушение материального носителя приводит лишь к замене его другим, и то же самое теперь представлено другой совокупностью тел и отношений. Для включенных в деятельность организмов распад метаболизма означает смерть — но остается неорганическое тело, остается личность, которая еще долго оказывает влияние на поведение (и рождение) других личностей, а через это и на развитие общества в целом. Разумеется, разные следы по-разному духовны: например, если некто написал книгу, ее могут читать через тысячи лет после смерти биологического индивида, принимавшего участие в создании текста, — но и этот индивид, и текст лишь очень условно соотносятся с субъектом, с его духом. Книгу можно читать поверхностно, воспринимать ее как историко-литературный факт, элемент культурного ландшафта — при этом она остается только объектом. Но воспроизводство духа автора на новой материальной базе, возрождение его в людях будущего, обнаруживает заложенные в книгу идеи; в какой-то мере это напоминает развертывание живого организма из набора генов — которые сами по себе жить не могут.

Поскольку разум не привязан ни к каким конкретным телам, их целостность (или постоянство) не имеет решающего значения для единства духа. Например, клетки человеческого тела регулярно заменяются новыми — тело остается тем же (при том, что тело юноши отличается от тела старика). Точно так же, замена материального носителя не уничтожает воплощенного таким образом духа — но может показать его с другой стороны. В частности, это лежит в основе духовной преемственности и связи поколений.

Относительная независимость разума от телесных реализаций вовсе не означает полного безразличия к ним. Напротив, задача разума — взять собственные воплощения под контроль, не полагаться на стихию (включая стихию общественного производства) — а ставить перед собой конкретные задачи и настойчиво добиваться решения. По сути дела, по ходу любой деятельности субъект, помимо всего прочего, занимается также и материализацией духа, и любой продукт становится частью его

плоти, представляет отношения вещей и людей в процессе производства (а косвенным образом и вообще все). Понятно, что хорошо налаженное производство предполагает универсальную согласованность действий, тогда как любая технологическая небрежность нарушает общественную гармонию — и затрудняет развитие духовности как на уровне общества в целом, так и во взаимодействии личностей. Такие ненадежности по сути ничем не отличаются от органических расстройств и заболеваний. Это означает, что неразумность организации производства (ущербность материальной базы и ограниченность межсубъектных связей) приводит к деградации человека до животного уровня или ниже — и духу придется компенсировать перекосы распределением проявлений, или искать иные, более приемлемые телесные формы. Плохо работающая электронная почта — такая же болезнь (общественной) плоти, как и отсутствие квалифицированных кадров, межгосударственные границы, эпидемии или стихийные бедствия. Прямая обязанность разума — перестроить мир (природу и культуру) таким образом, чтобы устранить саму возможность подобных функциональных нарушений, планировать целенаправленное проектирование и создание плоти, максимально соответствующей достигнутому уровню духовности. Предотвращать болезни и травмы путем разумной организации производства и быта, контролировать высшие уровни психики за счет продуманной культуры общения. В полной мере развитый разум — это всеобщее здоровье.

Пока общество лишь на подступах к разумности, деятельность неизбежно оказывается смесью собственно человеческого с животным, и всякая личность в чем-то будет ущербной. Но это никоим образом не отменяет нашей обязанности заботиться о максимально комфортных условиях труда и быта (поскольку они еще разделены). Каждый кусочек осмысленности — одухотворяет тела, делает их частью плоти, которая не может сводиться к единичным вещам. Даже тень красоты — признак рождения новой духовности. Желание жить красиво — не прихоть взбесившегося буржуа, а объективная тенденция: дух там, где быт выходит за рамки утилитарности, а труд перерастает производственную необходимость.

В классовом обществе разумная забота о здоровье распадается на сотни разных забот: мы боремся с органическими болезнями, блюдем чистоту и порядок, предотвращаем отчуждение частей неорганического тела, стараемся избегать неприятностей по работе и ненужного общения, и наоборот, поддерживаем комфортный круг близких контактов.

Основной принцип — умеренность. Возможно все — но в разумных пределах. Культурные ограничения иногда не позволяют соблюсти меру; в этом случае лучше воздержаться от неразумных поступков, искать другие сферы проявления духовности, менять образ жизни — хотя и в этом нужна мера: дух существует как взаимодействие многих личностей — и каждая из них в ответе за благополучие остальных, и потому не всегда имеет право на экстремальные решения. Мы бережем здоровье — но не перебарщиваем с этим, не превращаем в ипохондрию. Поскольку государство и церковь в классовом мире противостоят личности как внешняя сила, стихийное бедствие, предстоит научиться избегать как насаждения заведомо нездоровых условий существования, так и разрушительного влияния показушной заботы об общественном здоровье (начиная с обязательных мер профилактики, убийственных карантинных и насильственной госпитализации, — и до демократической ритуальности, религиозных догм и обрядов, всевластия силовиков). В рыночных условиях разум будет против легализации наркотиков, культа насилия и насаждения стадной психологии — но за любые меры контроля над рождаемостью, за свободу ухода из жизни, за отделение воспитания от семьи, за отмену авторского права и неограниченный доступ каждого к любым достижениям искусства, науки и философии, к образовательным материалам, к интеллектуальным технологиям. Следует всеми мерами вытеснить рынок из духовного производства, отвоевывать плацдарм для решительного наступления на капитализм по всем направлениям.

Что это значит на практике? Нужны материальные условия для сохранения плодов труда — и прежде всего творческих находок. То есть, не прятать за частной собственностью, а тиражировать в том объеме, в котором наличествует общественная потребность. Чем шире — тем лучше. Но если что-то пока не пользуется спросом — не факт, что оно не окажется востребованным в других условиях, и нужно предусмотреть возможность как можно более полного восстановления — в другое время и в другой стране. Не всегда оригинал можно сберечь: живое умирает, неживое распадается. Тем не менее, комбинировать разные методы (музеи, библиотеки, галереи, базы данных) можно и нужно. Таким образом дух, даже лишенный плоти, передается из поколения в поколение — не как постоянно возобновляемое действие, а как его возможность. Возможность подобного «консервирования» напрямую связана с общедоступностью архивов и средств «распаковки» — вроде

того, как структура ДНК регулирует построение белка. Легко видеть, что пассивное хранение не гарантирует сохранности — только в регулярном восстановлении и пересохранении плоть становится практически вечной. Разумеется, процессы перекодирования подвержены ошибкам; но мы-то храним не материальный носитель, а дух! — а ему все равно, насколько идентичны копии материального носителя; более того, различие копий как раз и определяет дух как нечто общее им всем.

На совсем бытовом уровне: я знаю, что мое биологическое тело когда-нибудь обязательно умрет, — поэтому моя задача состоит в том, чтобы использовать его возможности для творческого труда, для воплощения моего духа в разнообразнейшие продукты, в явления культуры, в движение духа других людей. Ни один из этих следов не дает полного представления обо мне — но никакого другого меня, помимо того, что я успел в мире изменить, просто не существует — а построенный мной мир движется и после моей биологической смерти, тем самым порождая новые продукты, фактически созданные при моем косвенном участии. Я могу ошибаться, заблуждаться — это болезни моей плоти, моего неорганического тела; но дух не в этих аномалиях, а в том, происходит в культуре вопреки им. Как разумное существо, я могу осознавать собственные болезни — и по возможности компенсировать их влияние на мое творчество. Если же продолжать себя совсем невозможно — я имею право уничтожить неизлечимо больную плоть: здоровое общество обеспечивает не только здоровье живого, но и здоровую смерть, безболезненное освобождение от органики. Никому не надо доказывать свое право на смерть, обосновывать принятое решение ссылками на медицинские показатели или еще как-нибудь. Достаточно простого волеизъявления — и никто не усомнится в разумности намерения сменить телесную оболочку. Здесь нет места абстрактной гуманности — это вопрос сохранения и развития разума. Мучить больного болезнью (а усталого усталостью) — уродовать дух, подрывать здоровье общества в целом.

Да, в классовом обществе есть подлецы, готовые убить кого угодно ради достижения своих нечеловеческих целей; они способны влиять на психику разумных тел и подталкивать к нерациональности — в том числе к смерти. Однако такие мерзавцы — язва на теле общества, общественная болезнь, — и не факт, что личности следует оставаться в одном мире с ними любой ценой. Разумное останется все равно — бездуховные умирают навсегда.

Тем не менее, было бы неразумно разбазаривать доступные ресурсы, даже если они не вполне отвечают поставленным требованиям. Никакая профилактика не совершенна — тем более, что разумное поведение при каких-то обстоятельствах предполагает отказ от здоровья, разрушение целостности плоти ради сохранения единства духа. Медицина будущего уже не замыкается на сугубо органических расстройствах — она по большей части будет заниматься реорганизацией неорганического тела, обеспечивающей и органическое здоровье живых тел (которые тоже далеко не во всем состоят из органики). Мы компенсируем слабое зрение оптикой, при необходимости захватывающей недоступные глазу области спектра; мы многократно увеличиваем силу рук использованием мощных машин — а точность движений повышают специальные инструменты и роботизированные комплексы; мы умеем выращивать живые клетки в питательных средах, протезировать органы — вплоть до вживления компьютерных систем в мозг и объединения нескольких биологических индивидов в единый биокомплекс. В конце концов, наряду с (общественно контролируемым) производством органических тел, мы научимся создавать полностью неорганические тела, столь же способные поддерживать разумную деятельность. Надежность и гармоничное совместное движение всего этого материала — предмет каждодневного внимания достаточно развитой культуры.

Поборники биологизации человека разумного пропагандируют «естественные» методы поддержания здоровья и лечения, стремятся приучить к «экологичным» процедурам и средствам. У этих янусов два лица: непосредственным образом они лоббируют интересы богатых спонсоров, рекламируя их (достаточно дорогую) продукцию; в общем плане, они способствуют сохранению классового неравенства — поскольку эффективная медицина в «зеленом» обществе становится доступна далеко не всем. С точки зрения разума, само понятие естественности исторично — и мы своими делами меняли его во все эпохи, вводя в обиход то, чего никогда не было (и не могло быть) в неразумной природе. Именно это активное вмешательство в биосферу позволило человеку вырваться из животного мира, сделать первый шаг к свободе. Пока логика борьбы за существование сохраняется в классовой экономике, у всеобщего субъекта, человеческого общества будут аналоги органических патологий: здоровье экономики и культуры в целом постоянно под угрозой. Поэтому индивидуальные тела болеют, и будут болеть.

Другая сторона того же самого — историчность понятия болезни. Биологически больное тело влияет на движение духа — но не всегда отрицательно: иной раз это повод для подвига. Напротив, безусловно здоровые организмы зачастую начисто лишены духовности: это не человек, а красивая игрушка. Тонкий баланс физиологических или культурных отклонений создает особое качество индивидуальности, которое лишь при капитализме осознается как норма и ненормальность. Поэтому в классовом обществе столь живуче расхожее мнение, что творческие люди сплошь психи, и с органическими отправлениями у них что-то не так. Развитие человечества в направлении большей разумности постепенно сдвигает и размывает грань между нормальностью и аномалией — в конце концов люди учатся сознательно выстраивать свое творчество, используя нестабильности физиологии; при капитализме это иногда принимает извращенные формы: пьянство, наркотики, разврат, мистические практики и т. п. Существование в узких рыночных рамках сильно ограничивает возможности творческого развития — и не всем удастся найти обходной путь к себе; так возникает модная болезнь — аутизм, депрессия, распад мотивации. Человек все больше теряет зачатки сознания — и в конце концов становится совершенно неспособным не только к созидательному труду, но и к элементарным актам самообслуживания; это скорее растение, чем животное. Если же общество каждому обеспечивает неограниченное разнообразие форм участия в культурных процессах, даже органически подавленную психику возможно эффективно мотивировать извне: здесь недостаточно фармакологии, здесь нужна любовь.

Поскольку то или иное воплощение духа не привязано ни к какой уникальной системе тел — а наоборот, объединяет уникальности, — само понятие тела субъекта (как отличного от других тел) в развитом обществе становится весьма условным. Когда мы в состоянии сознательно перестраивать органические и неорганические процессы в интересах окультуривания мира, индивидуальность (представленная как органическими, так и неорганическими компонентами) может возникать лишь на время, по отношению к одному из уровней (или к одной из сторон) общественного производства в целом. Так на уровне разума воспроизводится конечность живых организмов; однако здесь это уже не природный закон, встроенная жизненная программа, а сознательно регулируемое состояние, которое разум сам создает и разрушает, не допуская перетекания застоя в ограниченность, несвободу — болезнь.

Искусственный разум

На первый взгляд, название этого раздела — «масляное масло». Потому что нет никакого другого разума, кроме того, который построил себя сам. Не бывает «естественной» разумности: только сознательная деятельность занимается переработкой природы в нечто иного уровня — в культуру. Самосознание — когда мы свою неприродность осознаем. Разум — когда умеем сознательно ее производить.

Как следствие, человеческий язык не сводится к простой кодировке вещей и явлений — он выражает еще и наше отношение к ним. Поэтому вполне возможно трактовать искусственность как нарочитость — и такой разум нам не нужен; с другой стороны, смысловое ударение на втором слове поднимает вопрос о духовности того, что мы производим, о соответствии культуры требованиям разума. То есть, мы усматриваем разумное в чем угодно — и стараемся это воспроизвести, — но всякое старание хорошо в меру (что, собственно и называется разумностью). Эти — и связанные с этим — темы можно попытаться осветить под общим углом: возможно ли из природного материала построить нечто неприродное — и всякая ли материя подойдет?

Начнем с того, что термин «искусственный интеллект» гораздо формальнее: интеллект существует в живой природе, независимо от степени разумности, — а наши технологические достижения наглядно показывают, что носителями интеллекта могут стать неорганические системы. В знакомой нам природе они не возникают естественным путем — но сама принципиальная возможность тоже о чем-то говорит, и вполне может оказаться, что возникший сам собой неорганический интеллект когда-то встретится человечеству на пути, — а человечество к этому уже готово!

С другой стороны, у нас имеется многотысячелетний опыт по части производства разума из неразумной природы, и мы умеем окультурировать человеческих младенцев до сознательного участия в общественном производстве и даже запускать развитие самосознания, становление личности. Более того, живые организмы других видов встраиваются в культуру (одомашниваются) и становятся носителями разума — наряду с комплексами неорганических тел, движение которых происходит, конечно, в соответствии с их природой — но без разума тела так двигаться вряд ли бы смогли. Это наводит на мысль о принципиальной

возможности построения чего-то разумного на материале любого качества, и достаточно иметь относительно простую действующую модель, чтобы на ее основе развилось нечто совершенно не похожее на собственно человеческие формы разумности; точно так же, ничто не мешает возникновению и распространению разума в различных уголках нашей вселенной — или за ее пределами.

Однако условия и предпосылки для этого возникают в неживой и живой природе не всегда, а лишь поскольку она становится природой — и вовлечена в процесс расширенного воспроизводства, преобразования в культуру. Дело не только в уровне сложности: атомное ядро ничуть не проще инфузории, а технология репликации генов запросто может поспорить с разнообразием индустриальных комплексов. Прежде всего, мы говорим о принципиальном качественном различии, о переходе от случайных взаимодействий и жесткости видового поведения к гибкому распределению функций и обеспечению универсальности, способности влиять на любые стороны действительности. Само понятие сложности представляет ее как *сложность*, продукт производства; поэтому не бывает сложности вообще — сложным что-то оказывается лишь для чего-то, по отношению к сознательной деятельности. Это не исключает объективной соотнесенности природных процессов, их иерархического упорядочения по какому-то признаку; однако в неживой природе эти признаки случайны, никак не связаны с природой вещей, — тогда как живые организмы исходят из собственной видовой определенности, делают метаболизм выделенной системой отсчета, всеобщей шкалой. Универсальность деятельности (возможность связать все со всем) опирается на способность некоторых объектов выйти за рамки определенного бытия — и становиться чем угодно, тем самым заставляя это что угодно действовать не от своего имени, а в качестве представителя целого. В контексте деятельности, вещи и организмы движутся внешне согласованным образом — и такое универсальное согласование мы называем *субъектом* деятельности, всеобщность которого представлена категорией *дух*. Универсальность его проявляется также и в умении сознательно воспроизводить саму противоположность объекта и субъекта — делать и то, и другое продуктами производства.

В земных условиях в качестве субъекта выступает человеческое общество, всегда представленное совокупностью единичных субъектов, каждый из которых существует не сам по себе, а как носитель некоторой культурной функции, как особый способ развертывания одной и той же

иерархии. Человек становится субъектом деятельности только там, где (и поскольку) он представляет в ней общество в целом, берет на себя всю полноту ответственности за плоды труда. С другой стороны, единичный субъект есть особая организация движения системы материальных тел, каждое из которых сохраняет и свою природную определенность — и допускает движения, не связанные с человеческой деятельностью. Мы привыкли, что среди этих тел присутствует организм биологического вида *homo sapiens*, по отношению к которому все остальные тела иерархически упорядочены как «искусственные» органы, расширения «собственного» тела человека, составляющие его «неорганическое» тело. На самом деле, в качестве расширений (инструментов и орудий труда) могут быть использованы любые природные образования — включая живые организмы: окультуренные растения, одомашненные животные, штаммы бактерий и вирусов, или даже целые биоценозы — такие как поля, сады, популяции насекомых (пчелы, шелкопряд), рыбное хозяйство... Разделение биологического и неорганического тела — дань древней традиции, которая в классовом обществе формально закреплена правовыми нормами. На практике, человек зачастую не отделяет себя от своего неорганического тела — и это сращивание возникло так давно и стало настолько обыденным, что даже высказать различие в речи — стало бы очевидным насилием над языком. Писать что-то — значит оставлять материальные следы в чем-то при помощи столь же материального орудия; крайне редко этим орудием оказываются органы биологического тела (хотя, конечно, можно писать пальцем на песке) — чаще используют специальные (неорганические) приспособления для письма, или (как теперь принято) компьютерные системы. Тем не менее, мы говорим коротко: *я пишу*, — не указывая, как и что я при этом передвигаю. То же самое касается процессов еды и питья, которые сегодня почти всегда опосредованы многочисленными вещами, да и сами понятия съедобного и питьевого далеко ушли от необработанной природы. Тысячи лет назад какой-нибудь царь мог сказать: *я воздвиг храм*, — хотя его органическое тело не принимало в этом ни малейшего участия; этот пример показывает, что особи того же биологического вида вполне могут становиться частью чьего-то неорганического тела — в значительной мере утрачивая свою субъектность (раб — говорящее орудие). И наоборот, органы биологического тела могут утрачивать для человека свою частичность и приобретать характер внешнего объекта: *еле передвигал руки и ноги*.

Подобные «лингвистические» трудности сейчас принято обходить сведением человека не к биологическому телу, а всего лишь к одному органу, мозгу. Решение заведомо глупое, поскольку мозг без всего остального работать не будет — и даже в здоровом теле не дорастет до сознательности без активного общественного вмешательства, с первых мгновений опосредующего активность мозга тысячами культурных процессов; если мозг после такой обработки не превратится в правильно работающий продукт — это называют болезнью, которая требует лечения (или хотя бы отстранения не по-человечески работающего мозга от ряда общественно значимых деятельностей). С другой стороны, человеческое тело (как и любое другое) есть симбиоз очень разных организмов, и мозг (как один их них) устроен точно так же: это не однородная среда, а комплекс взаимодействующих органов. С чем именно в мозгу мы будем отождествлять человека? Тупик осознали еще в средние века; но про общественную сущность разума тогда ничего не знали — и просто придумали маленького человечка (гомункулуса) внутри нас, которому и поручили приведение всего органического хозяйства в соответствие с устройством человеческого общества. Увлечение френологией к XX веку сошло на нет — но до сих пор всяческие «нейронауки» пытаются вывести субъективность (или хотя бы психику) из физиологии мозга, — и на деньги богатых спонсоров усиленно промывают мозги широким массам, дабы отвратить народ от поползновений на подлинно человеческую разумность.¹⁰

Суть как раз в том, что человек далеко не всегда отождествляет себя с биологическим телом: он умеет отстраниться от него, смотреть со стороны. Например, когда подстригает ногти, бреет физиономию или интимные места, идет в парикмахерскую для правильной шевелюры... Человек по-разному оденется по разным поводам — и это никоим образом не зависит от физиологии, а собственное тело для него — просто вещь, которую следует привести в соответствие с культурными нормами или собственными намерениями (отличными от этой вещи). Занимаясь гимнастикой, мы поддерживаем работоспособность мышц; решая интеллектуальные задачи — прокачиваем собственный мозг (вовсе не вместилище личности — но всего лишь орган, орудие труда). Это совершенно никак не отличается от необходимости заточить карандаш,

¹⁰ Кстати, сама возможность промывания мозгов говорит о неразумности особей как таковых, об их подверженности внешнему контролю.

заменить вентиль в смесителе, получить европейскую визу — или с оружием в руках свергать власть буржуев... Задачи ставит общество, линию поведения выбирает разум — и под это прогибает органику и все остальное. Любящий отождествляет все с любимым, и собственные тела ему нужны лишь поскольку они могли бы пригодиться тому, другому. Великий артист — погружается в роль и реально живет в ней. Большой ученый — весь в заковыристой задаче, он чувствует предмет как свое, логика лишь следует за интуицией.

Так мы возвращаемся к истокам: постигая мир, первобытный человек отождествлял себя с вещами и животными, видел изнутри — и потому умел эффективно бороться с ними или использовать их. Иногда тождество бывало лишь иллюзией — но, ведь, и современный человек далеко не всегда то, что он о себе думает! Именно эта способность представлять себя чем угодно — минимальный кусочек разумности, из которого вырастает все остальное. Говоря о сознании, мы как раз и ссылаемся на это встраивание во внешнюю вещь или процесс: мир таков потому что нам нужно снова и снова делать его таковым. Поскольку же человек участвует во многих деятельности, он отождествляет себя и с одним, и с другим, и еще с чем-то. В силу единства культуры, все эти образы себя складываются во внутреннее единство, индивидуальность. Переходя к новой деятельности, человек (или общество в его лице) развертывает иерархию под внешние условия, подбирает из всего, чем он себя считает, подходящий комплект орудий труда. И это вовсе не абстрактное, воображаемое построение — это способ организации протекания вполне материальных (природных) процессов, их идеальная составляющая, дух.

Создавая другие тела, человек включает их и в свое неорганическое тело — и здесь возможны очень разные варианты. Какие-то продукты сразу уходят на периферию, на нижние уровни индивидуальности. Другие долгое время остаются в поле зрения, приводят к перестройке внутренней иерархии. По большому счету, все остаются навсегда — но есть и то, что срастается с представлением о себе намертво. В классовом обществе такие переходы регламентированы: освобождение раба, получение титула, вступление в цех, получение гражданства, овладение профессией... Однако немалая доля самозидания остается вне формальностей — что никоим образом не умаляет ни его культурную значимость, ни реальность отношения к этому (искусственному) себе. Например, можно считать себя поэтом, и писать прекрасные стихи, —

но не состоять ни в каких литературных сообществах и потому оставаться невидимым для классовой культуры; тем не менее, творчество не исчезает: оно накладывает отпечаток и на самого поэта, и на его ближайшее окружение, — а через это влияет на литературу в целом, и на рост духовности вообще, в том числе в очень далеких от литературы областях. Точно так же, кто-то изобретает оригинальное приспособление для работы в огороде, или по дому, — и об этом никто, возможно, не узнает, и никто этим не воспользуется; но неуловимые изменения в поведении человека, связанные с присоединением к неорганическому телу нового органа, чутко воспринимаются обществом и меняют направленность развития культуры — хранят память об орудии труда вещи, когда-то созданные при его участии, — или случайные наблюдатели, которые понятия не имеют о деталях — но характер труда улавливают все равно. Может показаться, что подобные влияния совершенно ничтожны, пренебрежимо малы; но разум не подлежит измерению, в нем все одинаково значимо, — и любое качество, поскольку оно хоть как-то сумело себя проявить, — уже есть, и это навсегда.

Самосознание во многом подобно вживанию во внешний мир, лежащему в основе сознания. Но вживаемся мы тут не в природные образования, а в способность направленного изменения природы, в способ производства. То есть, сначала мы нечто создаем, — потом осознаем это как продукт труда, как *сделанное нами*, а не возникшее само по себе. При этом себя мы воспринимаем не каким-то мистическим образом — а как вполне конкретную совокупность тел, принимавших участие в процессе производства: это мы *в отношении к данному продукту*. Остается собрать все такие отношения, выстроить иерархию деятельностей, в которых мы принимали и принимаем участие, — такая целостность и дает чувство себя, человеческое я. Разумеется, в число этих деятельностей входит и рефлексия, отражение собственного движения в форме движения других тел (органов тела). Но рефлексия не встроена ни в какие тела — это всего лишь особая организация их движения, взаимодействия с миром; организуют себя не сами тела, их выстраивает в нужном порядке культура, система воспитания и обучения, практика общественного производства. Другими словами, чувство себя — это общественный продукт, и ничто не мешает человеку участвовать в этом производстве наряду с другими. Такое сознательное развертывание самосознания — и есть разум.

Каждый продукт представляет собой единство объекта и субъекта; вводя продукты деятельности в деятельность в качестве объектов, мы превращаем это в единство материальности и идеальности, материала и формы. Вещь может казаться существующей независимо от людей — но мы-то знаем, что она изготовлена людьми, — а значит, в ней есть и доля нашего труда, поскольку все деятельности в культуре взаимосвязаны и взаимообусловлены. Таким образом, использование плодов труда — это уже акт (синкретической) рефлексии. В силу универсальности субъекта, его собственная деятельность также становится продуктом производства и также доступна рефлексии. Воспроизводство (и развитие) собственной способности труда называется духовным производством; это другая сторона производства материальных вещей. Материальное и духовное производство в культуре тесно переплетены; однако в классовом обществе они искусственно разведены и переданы в ведение различных общественных групп. Понятно, что такое разделение может быть лишь временным и ограниченным — и вся история человечества ведет к постепенному приобщению эксплуатируемого большинства к духовным ценностям, к размыванию границ между классами в области духа; поскольку же такие границы сохраняются в сфере материального производства, назревают классовые конфликты, необходимо ведущие к революционным преобразованиям, к уничтожению классов как таковых. По мере того, как рефлексия приобретает массовый характер, темпы духовного роста ускоряются — и то, что раньше требовало сотен и тысяч лет, может вписаться в память одного поколения.

Неорганическое тело человека состоит не только из вещей — оно также включает культурно обусловленные формы рефлексии, и эту духовную составляющую можно и нужно воспроизводить сознательно, как носитель разума. Воспроизводство разума предполагает единство материального и духовного производства: то, что в отношении к материи есть труд, по отношению к духу есть любовь.

Продукты духовного производства врастают в культуру точно так же, как и любые другие. Человек строит свой дух по тем же принципам, что и неорганическое тело: это производство не требует (и даже избегает) публичности — но в нем нет субъективизма и произвола, поскольку его исток — всеобщие тенденции культурного развития. Однако вещи доступнее для восприятия — а улавливать тонкие связи в их взаимодействиях не всегда легко, и не всегда требуется. Поэтому человек непосредственно воспринимает себя как вещь (органы, орудия

труда, продукты деятельности) — и лишь косвенным образом, через взаимодействие с другими людьми, становится для себя духом. Но даже осознав собственную духовность, человек не может воздействовать на нее напрямую: для этого ему надо создавать вещи — и общаться по поводу этих вещей. В простейшем случае — достаточно трудиться с сознанием всеобщности каждого шага, ставить масштабные цели даже там, где, казалось бы, речь идет об элементарном самообслуживании. Жить и работать — это еще не разум как таковой; но обществу не безразлично, с каким настроением каждый живет и работает. Можно питаться или спать просто так, по органической потребности или по привычке, — но можно видеть в этом важный элемент движения культуры в целом, и делать каждое дело как разумное существо, культурно и творчески. Если получается — мы чувствуем духовный подъем, нам приносит глубокое удовлетворение то, что мы делаем; это надежный индикатор разумности поведения.

На следующем уровне механизмы творчества выходят на первый план — и мы создаем не просто предметы потребления, а орудия духовного производства, — не смыслы, а методы осмысления. Как и всякий продукт, плоды такой (аналитической) рефлексии предполагают материальный носитель: произведения искусства, научные труды, философские трактаты... Но сама по себе эта вещная оболочка не имеет особого значения; одно и то же можно выражать по-разному — а за всем стоит объект другого («идеального») уровня, способ деятельности. Именно его мы намеренно производим — а в силу его идеальности, мы уже не воспринимаем его воплощения как свою плоть и свой дух: для нас все эти «публикации» сразу же становятся внешними — и автор иногда представляет себе творчество как способ избавиться от мук творения, выбросить настойчиво требующий воплощения продукт в большой мир — и заняться другим. Литератор пишет книги, музыкант создает музыку... — это лишь внешнее проявление, эхо духовности; для автора важно, чтобы остались образ, понятие, идея. Так в его представлении о себе отражается всеобщность разума, его культурная обусловленность и направленность на обновление мира.

Таким образом, искусственность нашего разума в материальном аспекте выражается иерархией продуктов деятельности, а в духовном плане — иерархией их взаимоотношений. И то, и другое связано со строением культуры в целом — но единичный субъект чувствует все это частью себя, и может поставить перед собой задачу изменить себя в

определенном направлении. Однако в классовом обществе личность противостоит обществу в целом; это одно из следствий разделения труда и классового расслоения. Классовый подход к постановке воспитания и обучения при капитализме дополнен мощным аппаратом пропаганды общественного неравенства — и в итоге задача развития разума искусственно подменяется совсем другой задачей — воспроизводством классовой структуры и пропасти между общественным и личным. Когда человек все усилия направляет на создание *видимой* индивидуальности, стремится обособиться и доказать свою уникальность (и таким способом набить себе цену), — его поведение становится вульгарно нарочитым, оторванным от действительных потребностей, навязанным извне. Такой, ограниченный человек уже не в состоянии универсальным образом осваивать мир — он включен в одну из возможных структур, как ее орган, подчиненный метаболизму целого. Возникает искусственность в отрицательном смысле — как вырождение, отказ от духовной свободы, сведение субъекта к его материалу.

Человек разумный понимает, что единственно возможный механизм саморазвития — участие в общественной деятельности, всестороннее освоение сложившейся культуры, в результате чего и возникает идея усовершенствования мира, а значит, и себя как его неотъемлемой части и полномочного представителя. Речь не о том, чтобы выделиться, — наоборот, мы стремимся к снятию различия единичного и всеобщего, чтобы наша деятельность могла быть реализована в любом наборе тел, стала по-настоящему универсальной. Что именно будут соотносить с этим продуктом — для духовно развитого человека не принципиально; однако он вправе искусственно выстроить телесную оболочку нужного типа, которую он и назовет собой, своей личностью, своим *я*, — то есть, своей всеобщностью, взятой в одном из возможных отношений. Такую искусственность можно только приветствовать. Это не обособление, не отрыв от общества, — это особый подход к природе, организация ее в соответствии с движением духа, — что мы, собственно, и называем сознательной деятельностью и разумом.

Прототипы разумного подхода к развитию разума существуют и в неразумном, классовом обществе. Индивидуальный вклад в развитие производства, внедрение новых технологий, делает производственные процессы и вовлеченные в них тела не просто вещами, а воплощением субъекта, индивидуальности. На эти всеобщие элементы культуры мы часто ссылаемся по именам авторов, «открывателей» и «изобретателей».

Разумеется, само понятие авторства может существовать лишь в условиях отрыва личности от общества, когда заведомо общественный продукт превращен в (частную или групповую) собственность, и одни люди получают право ограничивать доступ к нему всем остальным. Тем не менее, если человек трудился не ради увековечивания имени, а чтобы сделать дело добросовестно, удобно и красиво, его личность общество ассоциирует с плодами труда — и зачастую именно это становится представлением человека о себе. Моцарт считает себя музыкантом, Наполеон — полководцем, Ландау — физиком... Все это лишь проекции внутренней бесконечности, выражение в рыночных терминах, способ существования в условиях узкой специализации и разделения труда. Освобождение от такой, органической телесности связано с отказом от присвоения продукта деятельности — при сохранении чувства причастности. Подлинная индивидуальность не в необычности черт как таковых, а в уникальном их сочетании, в способе развертывания той же самой общественной иерархии. В каком-то смысле это просвечивает на уровне аналитической рефлексии: имена постепенно забываются — остаются безымянные достижения, как вещи, из которых каждый при желании может строить себя. Историки искусства, науки или философии могут сколько угодно спорить о приоритетах — нормальному человеку все равно, кто изобрел теорию множеств, аргентинское танго или классическую логику. Каждый переизобретет это для себя, сделает частью своей индивидуальности. Более того, только на фоне общей идеи возможно отличить одну частную интерпретацию от другой, разглядеть уникальную личность.

Субъект — то, что превращает природу в культуру, преобразует мир. С точки зрения деятельности — это самодвижущееся орудие труда, способное самостоятельно (то есть, на основе осознанной общественной потребности) ставить себе цели. Продукт деятельности не случаен (как в неживой природе), и не предопределен (как в мире живого), — субъект свободен выбирать направление движение и следовать ему — или отказаться. Разумное существо сначала создает внутренний проект, из которого вырастает внешняя деятельность. Но точно так же, разум умеет придумывать самого себя — и развивать в разумных пределах. Какими конкретно телами будет представлен этот продукт — к делу не относится. Это касается не только единичного человека (в современном понимании) как расширений биологического индивида — но и коллективного, группового субъекта, — и общества в целом. По мере

развития разума, различие между его уровнями становится все более виртуальным, вытекающим из практических задач, — и каждый вправе отождествлять себя с кем угодно, и с чем угодно. Для безумно ограниченного капиталистического человека — это безумие. В мире, где нет разделения труда, и все во всем свободно участвуют, — это единственно возможный способ сознавать себя.

Строительство субъекта — это не только подготовка материальной базы, но и выстраивание общественных отношений таким образом, чтобы вот эта конкретная плоть стала носителем (представителем, выражением, символом) особого духа. Ничто не мешает придать субъектность системам тел, весьма далеким от органики. Прототип, промежуточный этап — юридические лица при капитализме: субъект права становится и субъектом деятельности — и мы не интересуемся, какие биологические индивиды заняты в том или ином производстве, поскольку нужные нам вещи производит предприятие в целом. Автоматизация производств компенсирует недостаточность органики; но точно так же и возможностей мозга не хватает для управления слишком громоздкими комплексами орудий — и компьютерная революция стремительно уводит нас от представлений о неизбежности биологического тела в составе субъекта; с другой стороны, изменяется само понятие организма: функционирование неорганических тел может быть организовано по типу метаболизма, включая самовоспроизводство и самовосстановление, поддержание видовой определенности. Такие искусственные (производственные) организмы на каком-то этапе вполне способны заменить человеческую органику — и возникает новый тип субъекта, не связанный с биологией вида *homo sapiens*.

Но так ли уж отличны одни формы разума от других? Ходячие ужастики на тему восстания роботов — всего лишь выражение страха буржуев перед лицом нарастающей необходимости устранения системы разделения труда как таковой, замены классовой экономики на нечто более разумное. Разумные существа любого происхождения — просто разумны, и носитель их субъектности не играет ни малейшей роли. Искусственный разум в земных условиях — это все тот же человеческий разум, в другой реализации. Так, если мы передаем часть функций мозга компьютеру, этот компьютер становится частью нашего тела — с которым ассоциируется наш (а вовсе не компьютерный) разум. Чтобы сообщество разумных «машин» (которое лишь расширяет человеческое общество) могло встать на какой-то принципиально иной путь развития,

оно должно быть физически изолированным от остального человечества в очень непохожей на земную обстановке. Но в этом случае разумность такого сообщества оказывается под вопросом — ибо ограниченность мира несовместим с универсальностью разума. Исторически, группы родственных народов неоднократно теряли экономические и духовные связи — и становились разными этносоциальными образованиями. Однако такое развитие — характерная черта классового общества, все еще далекого от разумности.

Точно так же, возможное существование прототипов разума в разных уголках Вселенной никоим образом не предполагает их различия в качестве субъектов деятельности. Разумные существа универсальны, они могут «подменить» друг друга в любом контексте — и это никак не отразится на характере общественного воспроизводства. Ни о какой конфликтности тут не может быть и речи. Разум изначально един — независимо от соприкосновения физических тел. Общее направление развития человечества — культивирование интимности, уменьшение доли непосредственных контактов в (сколь угодно близком) общении. Производство плоти уже не требует никаких встреч; в частности, деторождение вполне обходится без секса — и возможно разделение «родителей» не только в пространстве, но и во времени. Это сугубо общественное производство, и его традиционные формы обречены на постепенное отмирание.

Рост универсальности — преодоление несвободы. Когда человек для общества существует не сам по себе, а как член группы (рода, семьи, сословия, класса) — его субъектность частична, зависима от групповой принадлежности: это всего лишь орган некоторого (хотя бы даже и общественного) организма, и действует не от своего лица, а в интересах целого. История человечества приводит к перераспределению функций: человек все чаще сам принимает решения — и несет индивидуальную ответственность. Его групповые роли становятся в таком случае частью его неорганического тела, и не только группа состоит их отдельных ее членов — но и любой член общества включает в свою индивидуальность все группы, к которым он в какой-то мере причастен; в пределе, каждый причастен ко всему — и различие форм разума снимается. Другими словами, свобода участия в любых деятельности (в составе разных трудовых коллективов) — неперемное условие преодоления узкого профессионализма, духовного закрепощения. Выбирая формы такого участия, субъект сознательно строит свою субъектность, включая

необходимые для этого телесные расширения. Конструирование собственной плоти в этом плане ничем не отличается от любого другого производства: мы придумываем нечто — потом ищем способ сделать похоже, подбираем необходимые материалы и орудия труда. Можно сравнить это с художественным творчеством, где человек волен изобретать сколь угодно фантастические миры — и вживаться в них; занимаясь строительством самих себя, мы как бы пишем роман — но не на бумаге, а прямо по жизни.

Одно и то же можно делать разными способами. Поэтому нет никакой необходимости всегда оставаться в одном теле — и можно менять себя в зависимости от сферы деятельности, а то и просто так, чтобы искать и пробовать. Органическое тело в разных средах ведет себя по-разному — и в нашей власти использовать его как угодно, или вообще обходиться без него. Даже сегодня, когда классовое общество искусственно связывает индивидуальность с биологией. Человек вправе представить себе выдуманный персонаж — и творить от его лица под вымышленным именем; для общества будет существовать именно этот, искусственно созданный субъект — именно он останется в плодах труда и в памяти. Но тот же человек может выдумать кого-то еще — и в полной мере стать этим другим. Так, например, Romain Gary и Emile Ajar связаны с одним биологическим телом — но гонкуровские премии они получили как разные писатели; читателя же вообще не интересует, что конкретно стоит за псевдонимом. Несколько биологически различных людей могут совместно создать персонаж (Жозьма Прутков, Nicolas Bourbaki) — который останется в памяти поколений именно этой единичностью, а не именами участников кружка (известными порой только узким специалистам-историкам). Сегодня нет ни малейшей возможности установить биологических участников создания Илиады или Махабхараты — и для нас это Гомер и Вьяса; точно так же собирательные фигуры Пифагора, Панини или Лао Цзы — для кого-то намного реальнее одушевленных сослуживцев. Казалось бы, можно просто жить своей жизнью — но эту жизнь каждый делает сам, пишет свою историю, делает себя ее героем. Никакой природности («естественности») в этом нет. В конечном итоге все эти лица — лики одного, всеобщего субъекта, которого даже общество в целом (не только на Земле, но и в космических масштабах) представляет лишь отчасти; единый и универсальный разум — одна из сторон целостности мира, который умеет быть собой — и творить себя.

О чистоте

Мир в целом существует лишь как совокупность единичных вещей, каждая из которых в чем-то подобна миру — поскольку без нее мир был бы неполон. Вещи взаимодействуют друг с другом, превращаются друг в друга, объединяются в единичности другого уровня. Так или иначе, все на все влияет. Однако этого недостаточно, чтобы восстановить единство мира, сделать связь вещей всеобщей и необходимой, универсальной. Помимо вещей и их взаимодействий самих по себе — надо, чтобы к всему этому мир как-то относился, соотносил себя с собой — чтобы всякое движение представляло вещи как образ целого. Такая рефлексия также приобретает форму вещи — которую мы называем субъектом; деятельность субъекта порождает все тот же материальный мир — но уже не сам по себе, а в качестве продукта деятельности, который кем-то из чего-то сделан, и для чего-то предназначен. В результате всякое природное явление развивается не только на основе внутренних взаимодействий — но и приобретает особую окраску в отношении к субъекту, занимает свое место в сознательно пересозданной природе, культуре. Это касается и любых сторон субъекта, его плоти и духа.

Но как только мы начинаем говорить о вещах в их отношении к деятельности, возникает градация по степени уместности, пригодности, приемлемости. На верхних уровнях этой иерархии — все, что сделано «правильно», в соответствии с намерением человека-творца и будущим культурным употреблением. Расхождение с требованиями культуры мы воспринимаем как досадную помеху, уродство, грязь. Для этого не надо систематически рассуждать — несоответствие обнаруживается сразу, как первое впечатление, синкретический образ. Фактически, привычка ценить чистоту и эмоционально реагировать на ее нарушения — это одна из сторон всеобщности каждого единичного субъекта, его способности представлять общество в целом: человек разумный умеет смотреть на мир глазами культурного человечества.

Другая сторона этой всеобщности — универсальность. Разуму до всего есть дело, он ни к чему не равнодушен. Его задача — выстроить весь мир так, чтобы не осталось ничего неуместного: никакой грязи, никакой фальши... На первый взгляд, предприятие утопическое: было бы странно ожидать конца света, остановки всякого развития, чтобы не возникали все новые проблемы, хотя бы временно уводящие нас от

идеала. Не может быть совершенным то, что нельзя усовершенствовать. Однако с позиций иерархического подхода — никаких сложностей: надстраивая над уже достигнутым новый уровень, мы заботимся о его разумности, а все остальное погружается вглубь иерархии, где оно, конечно же, не имеет отношения к главному — но именно там его место, и целое остается единым. Другими словами, в новых условиях что-то могло бы расцениваться как грязь — если бы у нас не хватило такта, чтобы не вытаскивать низкое в не подобающий ему контекст.

Простейший пример: человеческое тело (как и всякая иная органика) постоянно выделяет какие-то вещества — для регуляции метаболизма или в качестве его конечного продукта. Пот, слезы, шелушение кожи, запахи, увлажнители, терморегуляция... В некоторых случаях — следы мочеиспускания и дефекации, или спутники полового возбуждения. Для неразумной природы такие выделения нормальны — и совершенно ей безразличны. Однако в общественных местах они способны нарушить комфорт других людей, создать угрозу переноса инфекции, — или оставить следы на поверхностях, для которых такое видоизменение не предусмотрено (например, уменьшить отражающую способность зеркал или прозрачность стекла). Поэтому культурный человек постарается подобрать одежду, подходящую к обстановке, — исключить неуместные влияния. Если где-то нагота шокирует, одежда используется и для того, чтобы прикрыть наготу (хотя сугубо гигиеническая функция обычно важнее). В качестве обращения иерархии — вспомним о способности одежды собирать на себе пыль и микроорганизмы, краску и влагу; в такой одежде не следовало бы появляться там, где возможен контакт с незащищенным человеческим телом — и тогда нагота может быть опрятнее. В каждой культуре свои приоритеты — и свои представления о чистоте. Так, средневековые арабы в силу особенностей климата и быта предпочитали сбивать волосы на интимных местах, но оставляли растительность на лице; напротив, европейцы того же времени брили лицо — но не интимные части. Такие странности (наряду с куда более вескими экономическими и духовными мотивами) способствовали взаимному неприятию и обвинениям в нечистоплотности. Точно так же, обрезание в южных краях можно было принять как гигиеническую процедуру — тогда как для северного климата это, скорее, чревато вредными последствиями. Разумеется, в наши дни зависимость физиологии от климата в экономически развитых регионах сведена к нулю — и культурные различия сохраняются лишь как дань традиции.

Связывание мира воедино — суть сознательной деятельности. Неживые вещи — случайным образом взаимодействуют с другими вещами, и это чисто внешняя связь, не вытекающая из природы вещей. Живое — подчинено необходимости поддерживать в себе жизнь, и его интересует лишь непосредственное окружение как источник пищи и отхожее место — все остальное модифицирует поведение лишь поскольку оно способствует или мешает сложившемуся метаболизму. Только человек способен заботиться о мире в целом и определять свое место каждому организму и каждой вещи. Ему важно, чтобы все двигалось не как попало, не природным образом, а в сознательно выбранном направлении, — чтобы в исходных предпосылках труда уже содержался его продукт. Поэтому человек не только отбирает из бесконечности вещей лишь те, которые потребуются ему в деятельности, но и организует рабочее место, используя правильные инструменты и минимизируя посторонние вмешательства. Чистый продукт следует готовить из чистых ингредиентов чистыми руками.

И снова приходится принимать во внимание относительность чистоты, зависимость от конкретной деятельности. Индустриальное производство продуктов питания всегда будет более контролируемым в плане соответствия параметров продукта общественным стандартам; массовое производство позволяет улучшать условия труда, внедрять чистые технологии. Однако буржуазная пропаганда превозносит труд фермеров-кустарей, утверждая, что именно они, якобы, производят «экологически чистый» продукт — хотя вечная грязь и неухоженность бросаются в глаза даже в рекламных роликах. Ценовыми махинациями и правовыми запретами обывателя вынуждают ограничивать себя, снижать требования к качеству продуктов потребления и уровню обустроенности быта: у людей просто не хватает денег на гигиену. Лозунг «назад в пещеры!» приводит в последние годы к существенной переоценке стандартов чистоты — отнюдь не в сторону ужесточения; это приводило и будет приводить к эпидемическим вспышкам (якобы вызванными новыми смертоносными вирусами) — а столь же далекие от разума методы борьбы с эпидемиями призваны поддерживать высокий уровень смертности; такого рода угрозы нужны властям ради поддержания в среде рабов атмосферы напряженности — и позволяют оправдать любое насилие со стороны господствующих классов.

В классовом обществе чистота оказывается категорией классовой — и различно выглядит с позиций господ и широких трудящихся масс. Их

мотивы не совпадают, и уместное в деятельности одних — становится грязью у других. Дворец и лачуга столь же различны в конце XX века, как и тысячу лет назад. На волне относительного благополучия, возникают иллюзии достойной жизни для всех; очередной кризис втоптывает надежды в грязь.

Точно так же, международное разделение труда приводит к очень разным представлениям о чистоте у разных народов, замкнутых в экономических и политических границах. В эпоху крестовых походов рядовые мусульмане (арабы, турки, персы) считали «франков» любых мастей нечистоплотными по природе (в силу географических причин): они редко моются, носят грязную одежду, они способны изгадить все, до чего дотянутся... Современные европейские комментаторы кивают на очевидную ангажированность, условность и стереотипность таких представлений, якобы весьма далеких от действительности. Но так ли уж сильно преувеличены народные поверья? Средневековые европейские города — это действительно смрад, нечистоты, отбросы на улицах; те же нравы крестоносцы приносили на захваченные земли: например, тамплиеры превратили с отхожее место часть мечети ал-Акса, а об Акре под крестоносцами ибн-Джубайр писал: «она воняет и полна отбросов и нечистот» (хотя он же признавал, что крупный город Тир намного чище). Вспоминаются европейские эпические поэмы, где доблестных рыцарей (воевавших с арабами ал-Андалуса) хвалили за то, что те месяцами не снимают камзолы — которые пропитываются потом, кровью и грязью и могут стоять, как каменные. Учитывая, что в Сирию и Палестину франки прибыли отнюдь не на дружеское чаепитие, «героический» антураж военного времени вполне логично проникал в (заведомо критическое) сознание местного населения. Заметим, что проблем с чистоплотностью хватает и у современных европейцев. На французском телевидении типичные репортажи: жители какого-нибудь фешенебельного курорта жалуются, что после туристического сезона пляжи усеяны пустой тарой, шприцами и презервативами... Экипажи громадных круизных лайнеров запросто сбрасывают в океан пищевые отходы и ненужную упаковку; сколько кидают с палубы — никто не считал. Про экосознание военных и коммерсантов пресса предпочитает молчать...

Юмор в том, что эти засранцы свысока смотрят на остальной мир, считая себя венцом культуры! Усама б. Мункиз рассказывает анекдот, как знакомый крестоносец убеждал его направить детей на учебу в Западную Европу — и только тогда, дескать, они станут по-настоящему

культурными! Вспомним хотя бы, что обычная для арабов позиционная система счисления придет к западным математиками парой столетий позже, григорианский календарь на Западе введут через четыреста лет после Омара Хайяма (который, кстати, и кубические уравнения решал на полтысячелетия раньше знаменитых итальянцев). Разумеется, пики разумности не всегда соотносимы с уровнем развития масс; у тех же восточных людей хватало гигиенического легкомыслия (например, обычай выставлять на всеобщее обозрение отрубленные головы или трупы). Эпидемии выкашивали всех. Предписанное каноном регулярное омовение для бедняков оставалось чисто символическим. Под лозунгом борьбы с язычниками, мусульмане громили памятники архитектуры, грабили гробницы, уничтожали музеи. Общими усилиями христиане и мусульмане сначала испоганили, потом разрушили афинский Акрополь (пушки Кенигсмарка превратили в руины Парфенон). Современные же наследники некогда передовой арабской культуры мало чем отличаются от современных же диких европейцев: мигранты замусоривают и загаживают красивейшие леса и парки; в парижских подземных переходах просыпается мечта о противогазе...

И так везде и во всем. Варварская привычка гадить под себя пока неистребима. Напакостить соседу — высшая доблесть. Что уже говорить о визуальной и звуковой грязи! Пачкотню на стенах выдают за великое искусство; шумные развлечения в порядке вещей; крикливая реклама, ненужные объявления в общественных местах... Даже элитные районы Парижа, мягко выражаясь, далеки от комфорта; бедные и этнически окрашенные окраины — зачастую просто кошмар.

Ангажированность, условность и стереотипность — по прежнему в ходу. Крестоносцы не считали арабов за людей (и потому запросто могли заглянуть в хамам вместе с супругой: кто будет прятаться от взглядов прислуги?); точно так же, крестовые походы против Руси — что-то вроде псовой охоты. Русских и до сих пор в Европе считают отбросами цивилизации, а западное телевидение смакует гитлеровские пропагандистские сюжеты о том, как наступающие на свободный мир большевистские толпы якобы поголовно насилуют женское население, от младенцев до древних старух. Понятно, что мерзавцев и в России всегда хватало (иначе мы бы уже давно жили при коммунизме). Однако окрестности Вашингтона или Булонский лес иной раз производят на россиянина не менее гнетущее впечатление. А в отношении политиков любой нации — говорить о чистоплотности вообще неуместно.

До тех пор, пока мир разодран на части классовыми, национальными и корпоративными барьерами, всякая идеология останется в плену глупейших суеверий — и никакое понятие не сможет стать достаточно универсальным. Тем более это касается узко бытовых идей, узость которых намеренно культивируется правящей верхушкой. Пока рынок продолжает править бал — массам снова и снова будут подсовывать деление людей на «чистых» и «нечистых», освященное тысячелетними традициями и религией. Более того, воспитанные в атмосфере травли начинают верить в собственную ущербность и бравировать ею — назло всем! Грязь уже не просто досадное недоразумение — это узаконенный элемент культуры, продукт общественного производства. Нет большой разницы между отпетыми подонками и финансовыми воротилами — одни легко превращаются в других. Отрицательным образом, такое фактическое слияние говорит о принципиальной возможности и исторической необходимости снятия любых форм общественного неравенства, включая основательную чистку быта, материального и духовного производства — освобождения от нечистот, оставленных человечеству в наследство веками «цивилизованного» бытия. До этого еще очень далеко — но сегодня мы уже умеем об этом мечтать.

Разумеется, речь вовсе не о перевоспитании наличного (классового) общества в духе чистоплотности и порядочности. Способ производства ставит границы духовному росту. Однако и в этих пределах что-то больше отвечает разуму, а многое из остального если и возможно принять, то лишь за неимением лучшего.

Первое перспективное направление — повсеместное внедрение эффективных технологий. Любая кустарщина более затратна, что не позволяет контролировать все существенные аспекты — и в конечном итоге вредит среде обитания значительно больше, нежели хорошо отлаженная индустрия, позволяющая строго локализовать загрязнения, ограничить из уровень и выработать стандарты утилизацию отходов. Капитализм, как мы знаем, старается избежать дополнительных расходов — сэкономить на чистоте. Но даже в этих условиях, например, КПД типовой электростанции выше, чем у человека, крутящего педали велогенератора, — а шумная пресса, конечно же, не принимает в расчет, что ресурсы придется восстанавливать, и не оценивает, во сколько это обойдется и куда пойдут отходы. Оборудовать домашнюю мастерскую чистыми станками и организовать сбор и вывоз остатков — недешевое удовольствие; большинство ремесленников предпочитает замечать

мусор под ковер и не задумываться о последствиях. Когда тупой журналист с восторгом показывает, как некий фермер ради борьбы с воображаемым глобальным потеплением меняет трактор на упряжку волов и по старинке шагает за плугом, — козе понятно, что таким способом прокормить население даже небольшой страны никак не получится (а индустриальная агротехника как раз и возникла, чтобы избавиться от угрозы голода), и что грязи (воняющей несмотря на всю свою «биотехничность») пара больших и сильных животных выдает немало (в туалет ходить они не приучены); да и употевшего пахаря придется долго отмывать, приводить в человеческий вид... Ресурсы для этого кто-то должен производить, и стоки обеззараживать. За мнимую пользу в глобальном масштабе — платим тысячекратно возросшей вредностью на местах. Технологическая самодеятельность иногда может показаться необыкновенно творческой — но искусство требует жертв: платят за артистизм одного миллионы других, на которых неявно переносится часть накладных расходов и проблем; да, на каждого — совсем чуточку, практически незаметно, — но суммарный эффект тем больше, чем шире диапазон этой косвенной эксплуатации. Есть закон сохранения энергии — и никакими уловками нельзя делать вещи из ничего или избавляться от них святым духом. Чем ниже КПД — тем больше грязи.

Человечество иногда может себе позволить растратить часть продуктов труда на творческие эксперименты, произведения искусства, научные исследования или философские раздумья; но оправдана подобная расточительность лишь там, где она не сильно сказывается на уровне жизни общества в целом, на всех его уровнях, — и есть надежда в итоге обрести значительно больше, чем потрачено. Когда же многозвездочный повар предьявляет восторженному клиенту (или конкурсному жюри) малосъедобное суперблюдо, при изготовлении которого большая часть ингредиентов идет в отходы, — вспоминаются голодные глаза каких-нибудь африканцев, — да и собственные воспоминания о том, как лишний раз прошел мимо прилавка, с опущенными глазами... Еще страшнее — массовое уничтожение полезных вещей ради «стабильности рынка», то есть, по сути, ради сохранения общественного неравенства, когда богатые вправе сидеть на шее у бедняков.

Рынок не интересуется потребностями людей — ему важно сбыть, всучить, впарить... Люди вынуждены ради капли полезного — покупать

то, что неминуемо пойдет в мусорный бак. На человека, пришедшего за одной морковкой, одним яблоком и парой картофелин, на рынке смотрят как на прокаженного (коммерческая вежливость только для выгодных клиентов). Точно так же, пользование неудобными вещами — источник вынужденно лишних действий, со всеми сопутствующими издержками. Коммерсанту выгодно, когда людям плохо; поэтому даже хорошую вещь оснащают дурными излишествами, за деньги покупателя. Другая сторона того же самого — гонка за новизной, и необъятные свалки немодного, устаревшего и вышедшего из употребления; вместо одной некомфортности приходится покупать другую (потому что старое уже никто не производит), и снова затратный процесс притирки к текущему ассортименту. Побочный эффект технологической грязи — проблемы со здоровьем; на этом растут заросли фармакологического чертополоха, никогда не исполняющего рекламных обещаний и вынуждающего растерянного обывателя метаться от одного к другому в поисках новых разочарований.

Разумная струя в капиталистической действительности — рождение гибких, перестраиваемых, универсальных технологий, способных, с одной стороны, сохранить индустриальный характер производства, а с другой — уйти от массового, серийного продукта, — переориентировать производство на нужды единичного заказчика. Чтобы человек получил не что дают, а заранее оговоренный функционал — и ничего лишнего. За чистоту производства отвечает производитель — а в грамотно сделанном продукте все полезно, и почти нечего утилизировать; отсюда чистота быта. Например, пищевые продукты следует отпускать по запросу, минимально необходимыми порциями, в легко утилизируемой упаковке (на которую вовсе не обязательно лепить тонны рекламной грязи). Удобная и точно пригнанная одежда — прочна и долговечна; соревноваться с кем-то в оригинальности — что может быть глупее? Разумеется, каждый вправе внести творческую нотку — но гибкость технологий для того и нужна, чтобы учесть предпочтения без мусорной самодеятельности; если кому-то интересно поработать руками — такие производства создаются на базе крупной индустрии, используют ее инфраструктуру для минимизации загрязнений производственной и бытовой среды. Публичные мастерские когда-то были популярны в Советском Союзе — но вышли из моды с ростом общественного расслоения и распространением собственнической психологии (хочу — пользуюсь, хочу — сломаю). Сейчас это движение возрождается в

Европе — но на сугубо коммерческой (или кооперативной) основе, что сразу ограничивает круг доступа и разумность использования; ладно, даже это шаг вперед — хотя бы робко и непоследовательно.

Принципиальный момент в том, что невозможно облагородить способ производства, не меняя структуру потребления, — и пока бушует рыночная стихия, дорогие (и грязные) технологии перевешивают объем разумно необходимого. Яркий пример — информатика, передний край инноваций. Давно известны платформы совместной работы, включая разработку новых компьютерных систем, — и появляются новые сетевые инструменты открывающие широчайшие перспективы... Ну и что? Коммерческая ориентация разработок заставляет 90% ресурсов тратить не на совершенствование программного продукта, а на защиту от несанкционированного использования — и на взлом уже имеющихся защит. Для пользователя — сплошные неудобства: простейшие задачи приходится решать через задний проход, и нет ни одного по-настоящему удобного инструмента, с модульным функционалом и адаптивным интерфейсом. По рыночному обычаю, приходится подбирать под себя громоздкий набор средств, по возможности минимизируя вредные эффекты; вместо творчества — изнурительная борьба с коммерческими ограничениями и недоработками. Теоретически, никто не мешает смастерить собственную платформу — смириться с убитым временем; но через пару лет коммерсанты снова поменяют технологические стандарты — и придется все переписывать, и получится себе дороже... О совместимости никто не думает — наоборот, чем ее меньше, тем легче делать грязные деньги.

Грязное общество воспитывает грязных людей. Военное дело, спорт, религия и журналистика — порождают орды дикарей, которые уже не просто гонятся за лишним наваром, но и усматривают в этом невероятное наслаждение, и готовы насиловать, грабить и убивать, уродовать тела и души. До какой низости надо дойти, чтобы продавать массовые рассылки или компьютерные вирусы? — но немало и тех, кто гадит просто из любви к гадостям! Это безумие, отказ от разума. Трудно поверить, что человечество когда-нибудь от этого очистится.

Но представьте себе мир, в котором нет собственности, нет денег, где никто ни с кем не соревнуется (как у Леннона: *I wonder if you can*). Если что-то производят — для кого-то конкретно, с учетом пожеланий. Никому в голову не приходит выяснять, не слишком ли это дорого: такого понятия уже нет, и нам важна лишь общественная потребность,

выраженная в форме индивидуальных потребностей. С другой стороны, люди прекрасно осведомлены о состоянии экономики и общем уровне потребностей — им в голову не придет запрашивать больше, чем было бы разумно в данных обстоятельствах. Не нужны армии, полиция, банки, биржи, крупные склады. Никто ни у кого в принципе не может ничего выиграть — и никакого интереса к играм (тем более варварским, где драки и стрельба). Высвобождающиеся чудовищные ресурсы можно смело расходовать на оптимизацию производств (включая духовное), развитие логистики и коммуникаций (свободных от тормозных защит), на разработку методов очистки и утилизации отходов. У людей, наконец-то, будет время почувствовать себя людьми, никуда не бежать, спокойно делать свое дело — не по указанию извне, а по велению сердца. Могут такие люди кого-то ненавидеть? Нет, они способны любить, и быть достойными любви.

Если людям не нужно торговать — они могут свободно общаться, без оглядки на последствия. Рекламная индустрия сведена к нулю. Интеллектуальный мусор: показуха, манипуляция мнениями, обман и самообман, моральное давление, промывание мозгов — все это в диком прошлом. Никого ни в чем не нужно убеждать, незачем спорить. Значит, выкинуть шлак академической науки, с ее забытыми формалистическим мусором статьями и псевдоучеными докладами; искусство избавиться от глупого эпатажа, пошлого оригинальничания, назойливой нарочитости, демонстративности. Философы забудут о полемике и будут искать единства. Забота об уместности и минимальной достаточности войдет в плоть и кровь, пропитает быт. Только на этом фоне возможны разумные формы творческого поиска.

Еще раз: грязь не в природе — она в отношении к деятельности. Сами по себе вещи нейтральны — плохо, когда они не на своих местах. Но вынужденное существование в грязном мире не может не отразиться на уровне духовности: кривые руки — внешнее выражение внутренней кривости. Как сказал поэт, грязными бывают только намерения. Это легко понять в том смысле, что нечистота нашей среды и наших дел есть наглядный показатель недоразвитости, мера животности: человеческие, разумные намерения обходятся без грязи.

Чистота иерархична — и это помогает не подменять главное самоценностью деталей, не переборщить, не превратить разумную организацию мира в самозабвенное вылизывание и причесывание ради чистоты как таковой — когда забывают о живой чистоте, ограничивая

себя ее абстрактной идеей. Практичны — разумная достаточность и максимум простоты. Чистые технологии нужны именно для этого: не зарегулировать все до крайности, а поставить природу под контроль, держать главные показатели в нужных пределах; при этом вариации на нижних уровнях не только не исключены, но даже необходимы.

Допустим, мы уже привыкли к универсальной аккуратности — избавились от промышленных и бытовых отходов. Но дикая природа о чистоте не думает (и мы не думали, пока были дикими); ей совершенно все равно как живое и неживое влияет на человеческую деятельность, чему способствует и где мешает. Мир движется не только по нашей инициативе. Случаются неприятные сюрпризы, и примесь уродства есть в самом совершенном творении. Тем более это так для современных, далеких от разумности, классовых технологий. Когда мы отправляем зонд на Марс и добиваемся стерильности при сборке, чтобы не занести земные микроорганизмы, — это больше благое пожелание, иллюзия, привычка утешать себя пошлыми сентенциями: мы сделали все, что могли... Никакая защита не отменит сожительство самой разной органики внутри нас — и перенести ее частицу в готовый продукт есть риск на любом этапе. Сравните с этим крайним случаем обычную обстановку в больницах и карантинных лагерях, где заведомо нездоровые люди заперты в ограниченном объеме, и носитель вируса, даже если сам не заболит, — гарантированно передаст его более уязвимым. Можно сколько угодно стерилизовать инструменты и руки врачей — но грязные палаты (а кое-кто валяется и по коридорам), прокуренные и загаженные туалеты, отвратительные условия питания — все это отнюдь не способствует крепкому здоровью, и получается, что выживает тот, кто достаточно здоров, чтобы вынести этот кошмар. Добавьте сюда колоссальное моральное давление, невозможность уединиться и недоступность обычных бытовых и производственных занятий — даже сон становится нездоровой условностью. Классовая медицина не заинтересована в дешевой массе — ее дело обихаживать богачей.

Между полюсами — широчайшая гамма чистоты и нечистот. Если уж очень переживать — превратишься в ипохондрика, и будешь (при возможности) сто раз на дню мыть руки, лишний раз не высовываясь на улицу из боязни что-нибудь подхватить. Разумный человек знает, что в природных телах не только вредоносное начало — но и способность сопротивляться разрушающим воздействиям, сохранять целостность и

функционал. Поэтому вполне возможно допустить толику хаоса — при условии нормальной работы антиэнтропийных систем. Более того, сознательное (контролируемое) введение примесей позволяет повысить общую устойчивость (выработать иммунитет) — или даже изменить характер взаимоотношений между природными телами, включить ранее вредоносные факторы в состав улучшенной версии продукта, с качественно новыми характеристиками (как железо превращается в сталь). По большому счету всякое творчество есть намеренный выход из равновесия — в надежде найти ранее недоступное; однако невозможно нарушить то, чего нет, — и само понятие примеси предполагает какой-то уровень чистоты.

По отношению к человеческим надобностям — природа, как правило, грязна. Зеленые человечки ругательски ругают прогресс за вредность для окружающей среды, замусоривание планеты в глобальном масштабе. В качестве лекарства — первобытность, примитивный ручной труд, фанатичное самоограничение, пещерные неудобства быта. Они «забывают», что мусорят не станки, а люди, — а их некультурность сохраняется и культивируется в условиях ограниченности классовой экономики, направляющей технологическое развитие не на решение насущных проблем, а на убаживание диких запросов господствующей верхушки. Когда к народу относятся как к скоту — он опускается до скотского состояния. Когда существующий порядок вещей объявляют вечным и неизменным — о каком воспитании ответственности может идти речь? Если нет будущего — для чего что-то хранить? Что нам пластик в океане, если мы все равно там плавать не будем? — так хоть лишний раз барина уесть, чтобы жизнь медом не казалась... Буржуи распахивают людей по рыночным клеткам — и столь же клеточным оказывается их сознание.

Предположим, нашли мы лагуну с чистой водой и роскошным пляжем; что теперь, можно расслабиться? Но в чистом море полным-полно всякой живности. И чем они, по вашему мнению, там занимаются? Теоретической физикой и бальными танцами? Как бы не так! Вся эта биомасса способна лишь поедать друг друга — и там же испражняться. Какой-нибудь кит за один раз выбрасывает в океан 200 литров мочи; остальные, быть может, отстают по одиночке — но перевешивают массовостью: сто тысяч сардин весят не меньше кита. Размножение у этой живности мало чем отличается от дефекации. Все это, разумеется, без малейшей заботе об утилизации органических остатков: зачем? —

есть мелкие твари, которые растащат по крохам, а их отходы сгодятся для еще более мелких «утилизаторов»... Ничего не напоминает? Вспомните об отбросах общества, роющихся в мусорных баках и раскапывающих свалки. Или о том, как развитые страны сбывают неликвиды не столь щепетильным потребителям. Фундаментальный принцип классового общества: беднота кормится объедками с барского стола. Когда борцы за экологию устраивают публичные кампании за сбор мусора по лесам и пляжам (телевизионный штамп: милые детские мордашки, воспринимающие действие всерьез) — расценивать это можно только как приглашение мерзавцам гадить еще и еще: кто-то придет и уберет, вернет чистоту... Скрытое рабство. Нет уж! Главный инструмент хорошего дворника — автомат (или гранатомет — чтобы достать тех, кто мусорит из окна машины). Экология — не бережное отношение к вредителям, а строительство общества, в котором не будет вредителей.

Дикая природа — умеет разрушать. Катастрофические ураганы и паводки, взрывы вулканов, землетрясения и цунами, — все это не человек придумал; управлять циркуляцией в мантии и движением литосферных плит люди до сих пор не научены. Климат неоднократно менялся до человека — и продолжает меняться, почти не замечая человеческого присутствия: приписывать все вреду промышленности — значит, быть слишком высокого мнения о себе. Смещение магнитных полюсов приводит к перераспределению атмосферных течений — вот вам и климатический сдвиг! А это лишь один из тысяч неучтенных (или намеренно замалчиваемых) факторов в пропагандистских выкладках буржуазных экологов. Даже движение солнечной системы вокруг центра Галактики способно влиять на вполне земные процессы: слабые изменения концентрации галактической пыли или светового потока от ближайших звезд вполне могут спровоцировать изменение климата планетарного масштаба. Кто-нибудь изучал климатические периоды порядка 300 миллионов лет?

Дикое человечество изо всех сил старается не отстать от природы по части разрешительных сил. Господа издавна соревновались друг с другом в уничтожении созданного долгим трудом подневольного люда. Для богатеев изящные кружева, ювелирные изделия, красивая посуда, шитье и росписи — всего лишь предметы повседневного обихода, а вовсе не произведения искусства (будущие музейные экспонаты); пренебрежительное отношение к ним — светский шик. Шедевр архитектуры, на сооружение которого ушло несколько веков, — можно

разрушить в считанные часы. Переплавляют статуи, сжигают книги. Стирают с лица земли целые города, вырезают население. Обычное дело: зачем еще нужны рабы? Атомная бомба уже в состоянии конкурировать с небольшим вулканом (вроде Везувия).

Разуму пока трудно пробиваться через безумие стихий. На каждом шагу общественная жизнь вновь и вновь деградирует до уровня животного приспособленчества. Но пока не исчезает насовсем — и есть надежда, что цивилизация все-таки придет к логическому концу. Один из важнейших элементов уничтожения классового общества — бережное отношение к плодам труда, осознание их непреходящей ценности. Это никоим образом не означает, что надо хранить всякую мелочь (вроде того, как борцы за экологию мечтают законсервировать видовое многообразие сегодняшнего дня). Нет, мир должен развиваться, и наша культура будет обновляться вместе с ним — и вызывать его обновление. Но разум обязан уйти от стихийности — планировать и направлять развитие мира. В первую очередь это касается движения истории. Однако уже сегодня стоило бы задуматься о контроле над планетарными явлениями — поставить их на службу технологическому оснащению человеческой деятельности. В наши дни основные ресурсы для землян — пресная вода и энергия. Это залог чистоты. Значит, в противоположность классовой экологической политике, ни в коем случае нельзя допустить снижения обеспеченности этими ресурсами как экономики в целом, так и отдельных сообществ или отдельных людей. Разумные потребности не устанавливаются указом свыше — они зависят от способа производства и культурных особенностей. Чтобы осознать уровень разумной достаточности — надо хотя бы достичь его, а это пока остается несбыточной мечтой для большинства населения планеты. Даже богатые страны далеки от сколько-нибудь полного покрытия производственных нужд — зато они долгое время подчеркивали свое «право» на мировое господство, разбазаривая ресурсы совершенно непроизводительным образом, уничтожая чужой труд (ибо природные вещи не становятся частью культуры сами по себе, и кто-то должен ввести их в общественный оборот).

Для современной промышленности и быта ресурсов на Земле достаточно. При необходимости следует организовать поставку воды и энергии из космоса — и никакие денежные соображения тут не в счет: это безусловная предпосылка (и неотъемлемая сторона) разумности человечества. Однако недостаточно наладить неограниченную доставку

воды и энергии в любые уголки земного шара — нужно еще дополнить это контролем над неразумной природой, поскольку она приводит к глобальному перераспределению ресурсов. Мы не можем позволить сильному ливню перекроить течение рек и затопить окультуренные территории; нам вовсе ни к чему вспышки вулканической активности, угрожающие сложившейся инфраструктуре. Изобретение громоотвода защитило дома от пожаров — но мы должны защитить всю планету от самой себя, заставить природу вести себя культурно. А для этого надо использовать законы природы, перенаправлять энергетические потоки и эффективно переводить одни формы энергии в другие. Например, гидроэлектростанции уже сегодня являются и гидротехническими сооружениями, в какой-то мере служат для регуляции течения рек; точно так же, волновые электростанции можно было бы использовать для ликвидации катастрофических штормов, а аэродинамические (ветровые) электростанции — для управления атмосферными потоками и гашения ураганов. Мы должны управлять струйными течениями, оперативно распознавать и гасить критические напряжения в литосфере, полностью устранить риск землетрясений и цунами. В этих условиях и погода станет полностью контролируемой, температурные режимы будут определяться не игрой стихий, а общеэкономическими соображениями. Будет это глобальное потепление или еще что-нибудь — нам решать, руководствуясь разумом, а не грязью политических игр.

Другая сторона (и следствие) энергетической оснащенности — технологии утилизации отходов. Мы не киты, и не домашний скот; мы не имеем права гадить под себя. Научиться в каждом деле соблюдать чистоту — вопрос первой важности. Однако классовая логика допускает лишь перераспределение грязи: роскошные дома богачей существуют за счет экспорта отходов из привилегированных зон в кварталы бедноты, в недоразвитые страны. Задачу индустриализации переработки отходов до сих пор никто и не думает включить в повестку дня. Развитие методов очистки сводится к повышенной нагрузке на природные очистители — возможности которых не беспредельны. Аргументация все та же: дорого, нерентабельно. А загадить планету — никаких затрат! Призывы сортировать и перерабатывать какие-то виды отходов натываются на практическую неосуществимость разделения компонент большинства продуктов: это одновременно и пластик, и металл, и ткани, и многое другое... Порочность подхода в изначально рыночной установке: занимаемся мы этим не ради чистоты, а из

финансовых соображений, чтобы сэкономить на добыче природных ресурсов. Поэтому и сортировку (экономии ради) пытаются переложить на плечи потребителя, вместо того, чтобы сделать общенародной программой централизованной, промышленной утилизации смешанных отходов и уничтожения того, что нельзя заново ввести в оборот. Но никакими призывами и декретами нельзя воплотить в жизнь то, для чего нет объективных предпосылок: требование сортировки и утилизации должно опираться на технологии, изначально на это ориентированные, на такое упрощение процедуры, которое реально позволит каждому без особых усилий культурно утилизировать отходы; здесь и безотходное потребление, и качество упаковки, и доступность предварительной обработки на местах (перевод мусора в удобные для транспортировки и переработки формы). Инфраструктура быта должна быть увязана с централизованными сбора отходов и очистки территорий. Например, вулканы можно использовать в качестве мусоросжигающих установок; да, логистика дорогая — но в разумном обществе думают не о деньгах. В любом случае, над этим надо работать — но в классовом обществе предпочитают просто валить дерьмо сверху вниз, превращать роскошь верхов в головную боль трудящихся масс.

И снова: речь о самоограничении, не о формальных запретах. Наоборот, только последовательно расширяя круг доступных каждому деятельностей, можно сделать человека достаточно оснащенным, чтобы из всех возможностей предпочесть самые здоровые и приятные, чтобы не превращать труд в порочный круг, когда любое решение порождает хаос новых проблем.¹¹ А это неизбежно там, где принципиально общественный характер труда втискивают в индивидуалистические рыночные формы, а интересы отдельного человека противопоставлены потребностям общества в целом. Например, уровень производства допускает массовое производство каких-то полезных вещей — но значит ли это, что все должны иметь собственный экземпляр, как подсказывает собственническое сознание и внушает буржуазная пропаганда, реклама? В классовом обществе жажда накопления связана с риском все потерять при очередной реструктуризации рынка; мы предпочитаем держать нужное при себе — чтобы не лишиться доступа в самый неподходящий

¹¹ Некоторые писатели с восторгом называют это показателем гениальности — но разум обязан взять под контроль и постановку задач, не допуская бесконтрольного размножения жизненных трудностей.

момент. Если же книга бесплатна и всегда доступна в сети библиотек — ее незачем покупать, и собственный экземпляр может потребоваться лишь очень немногим. Отпадает необходимость больших тиражей, нет проблемы утилизации лишнего или уже ненужного. Личный автомобиль в XX веке стал элементом престижа, знаком принадлежности к «среднему классу»; в итоге — проблемы парковок, мест в гаражах, заставленные бесполезно простаивающими железками улицы и дворы... Лишь недавно пошла волна очистки городов от этого хлама, развитие проката индивидуального транспорта, — но делается это рыночными средствами, хаотически, заменяя один мусор другим: вместо единой системы бесплатного транспорта по требованию — думают о доходах от аренды, и размывают идею конкуренцией частных фирм. Аналогично в информатике: казалось бы, облачные вычисления — перспективное дело, избавляющее людей от необходимости держать необходимые программные инструменты (и требуемое для них железо) в нескольких местах дома и на рабочих местах; однако коммерческий характер услуг висит дамокловым мечом: в любой момент можно лишиться всего, потерять и орудия труда, и ценные данные. Приходится затариваться собственными архивами, в дополнение к публичным сетям.

Воспитывать чистоплотность в условиях капитализма — почти безнадежно. Варварское разбазаривание общественного достояния — следствие способа производства, основанного на эксплуатации одних другими, на разделении, а не объединении. Лишь там, где хищники слишком заняты собственными разборками и не могут решить, кому кого грабить, — есть лазейка для разумной организации производства и быта. И задуматься об уместности вещей и дел.

Одно и то же можно делать по-разному — хотя и получится при этом не совсем одно и то же. Достаточность чистоты зависит от задач и условий. В каких-то случаях уместно рвать мясо руками и зубами; но где-то достойнее виртуозно орудовать ножом и вилкой, как руанский канардье. В конце концов, можно вообще избавиться от необходимости традиционного питания: например, суточную дозу витаминов логичнее получить в фармакологических эквивалентах — ибо концентрации многих полезных веществ в обычных продуктах слишком низки, а это превышает нормы потребления. Теоретически возможно полностью перевести организм на синтетику, что позволило бы эффективно бороться с тысячами заболеваний (хотя и потребовало бы сознательной организации питания ради поддержания целостности физиологических

систем). На следующем этапе — можно взяться и за перестройку собственной физиологии, заменяя все, что не отвечает современным требованиям, технологически насыщенными новинками. Таким образом мы окончательно выделемся из животного мира, ликвидируем массу метаболических отходов, — и жизнь станет чище. Другая сторона того же самого — окультуривание природы, переход к искусственным средам обитания и творческого труда, которые сознательно конструируются под задачу — и заменяются другими при смене деятельности. Так, современный парковый ландшафт — намного прекраснее большинства природных случайностей; разум будет учиться не только выделять в географической дикости поразительные пейзажи, но и намеренно создавать их, включая ландшафтную архитектуру планетарных (или космических) масштабов. Не ради того, чтобы поиграть дурной силушкой или кого-то удивить — такого рода преобразования прежде всего становятся двигателем развития технологий и повышения качества быта; чистота — залог экономического и духовного здоровья.

Есть и другой, более высокий уровень разумности, на котором повседневная производственная, бытовая и духовная опрятность уже не для чего-то — а как единственно возможная линия поведения, способ разумного бытия.

Классовое общество допускает лишь локальную чистоту — и о каждой области жизни приходится заботиться отдельно. Подобно животным, отделенные друг от друга люди (или замкнутые группы) заняты лишь уравниванием внутренних позывов — вне зависимости от движения всего остального мира, который для каждого при этом становится, по сути, одной большой помойкой, источником опасности и средством решения личных проблем. Естественно, за чужой счет. Разгребать завалы — не для барина; где все вокруг — мусор, всегда будет необходима столь презираемая господами профессия уборщика, мусорщика. Идет речь о вещах, или о нравственности, — все едино.

Напротив, человек разумный — воспринимает мир не как досадную помеху и вмешательство во внутренние дела, а как бесконечное (и единственно возможное) поле для творчества, возможность в полной мере проявить себя; наведение космического порядка для такого человека — свое, кровное дело. Не в одиночку, а совместными усилиями; не в ущерб кому-то — а обустроивая жизнь для всех. В этом и состоит его разумность, способность быть субъектом деятельности — воплощением свободы и любви.

О смешении и слиянии

Всякое строительство, помимо перспективного проекта, требует еще и достаточного запаса материалов. Когда речь о духовном производстве, материал нужен соответствующий — и здесь, на первый взгляд, проще: дух сколько ни расходуешь — меньше его не станет, и даже наоборот, все прибавляется. Но тут вступает в игру противный парадокс: соединение вещей — деятельность субъекта, и дух играет роль соединительного материала; но в рефлексии соединять приходится нечто идеальное — а сделать мы это можем только при помощи особых объектов, своего рода инструментов разумостроителя. В очень опосредованном варианте, такие инструменты вряд ли удастся пощупать: это не тела, а отношения тел, или отношения отношений. Но такое нам хорошо знакомо и по опыту материального производства: напрямую манипулировать вещами человеку приходится все реже и реже — зато надо уметь запускать в дело хитрые манипуляторы, иногда за миллионы километров от нас. Тем не менее, идеальный продукт можно скомпоновать из идеальных же материалов только при помощи чего-то вполне материального — хотя бы и представленного абстрактными знаками: компьютерная программа ничего не делает сама по себе — ее надо запустить на каком-нибудь железе.

Долгое время ходовыми манипуляторами оставались тела живых существ (особи рода *homo* — и окультуренные организмы иных пород). Примерно с XVIII века, промышленная революция начинает активно внедрять автоматику — и в конце концов роботы становятся достаточно интеллектуальными, чтобы принимать решения самостоятельно, — а людям остается только слушаться, приспосабливать тела к интересам других существ, чьи намерения мы уже не всегда умеем понять или контролировать. Если в начале XX века это казалось кошмаром, мрачной антиутопией, — в конце того же века люди смирились, и готовы не только обслуживать собственные порождения (с какого-то момента способные порождать себя сами), но и получать от этого своеобразное удовольствие.

О влиянии подобного положения дел на человеческую духовность можно говорить долго и по-разному. Здесь мы хотим обратить внимание на то обстоятельство, что дух-то никуда не исчезает — и возможность опосредовать его развитие интеллектом другого рода означает лишь

перераспределение предпочтений — а следовательно, более свободное отношение к прежним возможностям, — ибо теперь мы не обязаны следовать традиции и можем приспособить органические тела для чего-то еще. Например, для удовольствий.

Способность испытывать удовольствие и тяга к удовольствиям — одно из важнейших отличий человека от животных и машин. Животному надо есть, спать или размножаться — и оно этим занимается, независимо от реакции организма (далеко не всегда положительной). У животного могут быть воспоминания — но нет прошлого; соответственно, у него нет и будущего — и возможные последствия совершаемого животное не волнуют. Способность выстраивать сложные цепочки действий ради биологически значимого результата — вовсе не прогнозирование, не предчувствие: просто настоящий момент оказывается размазанным по времени — но для животного это все сейчас, и заметить длительность «составного» действия мы можем только потому, что у нас есть и другая, более детализированная шкала. Точно так же, неживое существует здесь и сейчас; только со стороны возможно обнаружить последовательность и преемственность. Можно сказать, что в неживой природе господствует локальность — а поведение живых существ существенно нелокально, поскольку оно выстраивает физические события определенным образом. Разумеется, различие локальности и нелокальности зависит от выбранной шкалы — но выбирать (и менять) шкалы умеет только разум.

Удовольствие — не эмоция. Это переживание. То есть, внутренняя жизнь, духовное движение. А следовательно, продукт деятельности. Невозможно получать удовольствие пассивно — его активная сторона называется наслаждением. Одно дело просто выпить стакан воды (или бокал вина), а совсем другое — выпить с наслаждением; можно дрыхнуть без задних ног — а можно наслаждаться сном; можно заняться сексом — но это вовсе не то же самое, что сексуальное наслаждение (которое возможно и без секса). В общих чертах, удовольствие и наслаждение перерабатывают природные явления в свершения духа. Каждое такое свершение (этап внутренней деятельности) мы осознаем как удовлетворение.

Как обычно, в триаде

удовольствие → удовлетворение → наслаждение

каждая категория — синтез двух других. Поодиночке они не ходят, только втроем. Иначе — какой смысл? А что бессмысленно — то

неразумно. Обращение триады (замыкание в цикл) требует внешнего опосредования — и вот здесь нам на помощь приходят всевозможные вещи. Внутреннее удовлетворение при движении от удовольствия к наслаждению соотносится с внешним удовлетворением в триаде

наслаждение → удовлетворение → удовольствие

Именно эту, овеществленную сторону удовольствия мы замечаем прежде всего — и говорим, что именно нас удовлетворяет (устраивает, нравится, подходит и т. д.). Например, при выборе жилья, фасона одежды или полового партнера. Однако на самом деле мы выбираем не вещи — нам интересно, как они могут повлиять на дух.

Учитывая, что в классовом обществе человек не может быть в полной мере разумным, приходится усматривать разум в заведомо неразумных формах. Причем не абстрактно, не вообще — а исторически, по-своему на каждом витке культуры. Так, на заре цивилизации переход к товарному производству связан с отделением духовного производства от материального — и становится свидетельством духовного прогресса; напротив, рынок при капитализме сводит дух к вещным отношениям, перекрывает пути к разнообразию духовных связей. Точно так же, свобода половой жизни может служить развитию высшей, неклассовой духовности — но беспорядочный секс ведет к вырождению человека, утрате способности любить.

Возвращаясь к телесным носителям, вспомним, что органическое тело человека само по себе не предполагает никакой «встроенной» разумности; расценивать его реакции как удовольствие (или страдание) мы можем только в контексте конкретной культуры, по отношению к конкретным способам духовного производства. Это означает, что и животные в какой-то мере могут испытывать чувства — поскольку они утрачивают дикость, участвуют в общественном производстве наравне с людьми — и опосредуют отношения между людьми. Таким же образом возможно одухотворить и машины, делегировать им полномочия чувствовать за нас. Когда эти одухотворенные орудия труда будут достаточно развиты, чтобы иметь особые, нечеловеческие мотивы для деятельности, — они точно так же смогут передать (и будут передавать) часть своей духовности нам. Тем не менее, биологические тела как источник переживаний будут нужны сколь угодно продвинутому «машинному» разуму — в точности воспроизвести органическое движение на ином материале вряд ли будет возможно. Да, можно

глубоко изучить и промоделировать — но всякая модель ограничена, тогда как универсальность разума предполагает свободу обнаружения и использования самых тонких различий, оттенков переживания. Конечно, ни одна природная форма (в отличие от духа) не существует вечно; когда-нибудь земная жизнь станет невозможна — однако до тех пор, пока люди нужны самим себе, они будут нужны и другим разумным существам, во всех (тоже невечных) воплощениях.

Может показаться что наши рассуждения слишком абстрактны, и ничего не дают для выстраивания практики сегодняшнего дня. Это кажимость. Стоит применить схему к конкретной проблеме — и она оживет, подскажет возможности действия и пути развития. Попробуем, например, обратиться к повседневности, к традиции воспроизводства биологических тел. Классовая пропаганда всячески ратует за семейные ценности — классовое право и классовая мораль закрепляют жесткие нормы полового поведения, на основе бытующих в каждой культуре экономических структур. В каких-то случаях подоплеку предрассудков установить легко. Так, отрицательное отношение к внебрачному сексу связано с чисто экономическими обстоятельствами: собственность надо передавать из одних рук в другие, и отношения формального родства (какими бы расплывчатыми они ни оказались) предлагают один из общественно приемлемых вариантов регулирования наследования. Отмените право наследования — заставьте каждого честно делать капитал с нуля, — и внебрачные дети уже ничем не отличаются от бракованных, да и семья как таковая ни на что не нужна (поскольку воспитание детей в семье — лишь частный случай наследования, доступ к средствам производства исключительно для «своих»). Легко видеть, что постанова внебрачных связей на правовую основу (например, путем легализации проституции — или, скажем, введением половой практики в программу средней школы — почему бы и нет?) также делает ненужными половые ограничения: имущественные гарантии партнеров закреплены законом — а законные связи уже не воспринимаются как нечто аморальное. Разумеется, где вообще нет никакой собственности — там и вопрос о доле не стоит, и никакие союзы не могут быть формальными.

Забавно, что социалистические праведы и моралисты тоже как один кричат, что детей надо делать только в семье, что иначе будет не по-коммунистически! А потом бьют себя в грудь и хвалятся, что советы впервые в мире законом установили равенство внебрачных детей с

семейными — и все у нас полноправные граждане... По логике криво: надо либо разрешать плодиться без разбору — либо считать бастардов юридическими калеками. А при коммунистическом (общественном) воспитании — скорее первое, чем второе. Пропаганда семейных ценностей при социализме — чистейший произвол: никаких разумных оснований для этого нет — и лозунги вывешиваем исключительно потому, что кому-то так хочется. Оно, конечно же, понятно — кому именно. Советский социализм стоит на рыночных принципах, денежки всегда врозь — и ни одному собственнику не хочется из своего кармана платить за «чужих» детей. В частности государству в лом раскошелиться на биомассу, произведенную гражданами, — и доводить зверушек до эксплуатационного статуса оно заставляет тех, кто их породил; отсюда апологетика семьи. Внеfamilialные — обуза для бюджета (который усердно распиливают меж собой партийные функционеры и прочая номенклатура). Следовательно, красивые слова о равенстве и братстве в партийных программах и юридических опусах — чистейшей воды лицемерие, фикция. Пока не отменена собственность (и не только на средства производства), пока существует формальное и неформальное наследование (в классической форме «блата»), — ни о каком равенстве граждан и речи быть не может (поскольку само понятие гражданства есть выражение классового неравенства).

Не столь очевидно с другим старинным принципом — запретом кровосмешения. Казалось бы, чего ради мы должны возражать против нежных чувств родителей к детям, и наоборот? И тем более против интимности с седьмой водой на киселе. У некоторых народов родственные браки в каких-то пределах допустимы (с двоюродными братьями и сестрами — или почти обязательные ортокузенные браки у древних арабов). В экономическом плане тут все в порядке: имущество остается внутри рода, и даже внутри семьи. Однако связь поколений почему-то не в фаворе почти у всех, кто добрался до цивилизованного уровня. И на эту тему — великие творения великих литераторов.

Конечно же, господа-теоретики опять поднимают на щит матушку-природу. Дескать, вредно это по генетическим соображениям — а наши далекие предки в науках сильны, и мудро рассудили, что не надо. Приводят устрашающие примеры монарших особ — которые сплошь родственники, и потому раз в тысячелетие нарываются на генетические неприятности. При этом молчаливо предполагается никем не писанный (то есть, чисто фанарный) закон: все хорошее из генома склонно

выветриваться, а все плохое — только накапливается. Поэтому голубую кровь следует время от времени разбавлять красной водичкой.

Несуразности из этих теорий так и прут. Практика селекционной работы — прямое указание, что улучшение видов связано не только с гибридизацией, но и с резким сужением сферы рекомбинации, когда скрещиваются прежде всего родственные особи, носители нужных признаков. Достигнутый в этом направлении прогресс начисто обнуляет энтропийную гипотезу о преимущественном наследовании дури.

С другой стороны, если присмотреться к истории — выясняется, что уродцев и среди простого люда предостаточно, во все времена, — только на них никто внимания не обращает (разве только встретится какой-нибудь уж очень квазимодный). И дело тут не в генетическом материале, а в нездоровых условиях (или нездоровом образе) жизни — тем более в наши дни, когда собственно генетические предрасположенности можно нейтрализовать грамотной терапией (у кого деньги есть).

А возьмите классику: почему Федра не могла переспать с сыном своего мужа? Генетически, он ей вовсе не родственник, и оно было бы даже полезно, в плане биологии... Что тут предосудительного?

Выходит, что запреты на секс с родственниками — сугубо культурное явление (или, точнее, проявление дикости и бескультурия). Откуда ноги растут — можно догадаться. Известно, например, что у тех же арабов времен Мухаммада сын мог запросто жениться на вдове своего отца (а молодая вдова часто была моложе сына от другой жены). С точки зрения родоплеменного права никакого криминала здесь нет. Ислам этот обычай пресекает. Почему? А потому что в этот период складываются зачатки государственности — и возникает идея вертикали власти. При первых халифах еще играют значительную роль родовые связи; спустя несколько десятилетий — государство противостоит роду как экономико-политическое образование. Строение семьи отражает характер экономики — и установление жесткого старшинства по формальным признакам в точности соответствует направленности общественного развития. Родители поставлены над детьми не из биологических соображений — семейный закон призван с младенчества воспитывать законопослушность в большом масштабе. Точно так же, осуждение кровосмешения в Европе есть иное выражение сословной структуры феодального общества.

Можно спросить: как должна измениться семья сегодня, в эпоху повсеместного торжества капитализма? Ответ: а с чего ей изменяться?

Вертикаль власти как была — так и осталась; господа по-прежнему ездят на шеях рабов, которых по-прежнему надо с детства приучать к поводку. Поэтому принципиальных новшеств ждать не приходится. Отличия от феодальных (и более ранних) порядков, безусловно, есть. Прежде всего в том, что власть в рыночной экономике напрямую увязана с деньгами и отношения в иерархии могут меняться в зависимости от движения капитала. Кто богаче — тот и диктует семейные порядки. Осознано это человечество не сразу — вспомним о крушении иллюзий короля Лира. Сохранение традиционной семейной вертикали уже не вытекает из экономики, и многоколенная семья при капитализме редкость — она экономически неустойчива. На смену патриархальной семье приходит расширенная структура — семейный клан, единство бизнеса. Главное здесь — размер пая, и объединение происходит на контрактной основе, безотносительно к физиологии размножения. В частности, штамповать наследников внутри семьи уже нет нужды: наследование по завещанию во многих странах имеет более высокий приоритет, а расширение идеи родства на любые бизнесы позволяет оспаривать наследование по закону практически кому угодно. Учитывая также все более распространенную практику введения в семью приемных детей (любого возраста), можно считать, что капиталистическая семья окончательно утратила связь с биологией пола — и правовая регуляция половой жизни практически невозможна (хотя пока еще остаются значительные пережитки старой морали). Прелюбодеяние в наши дни не влечет за собой юридических последствий — ни в отношениях супругов, ни в правах детей. Может показаться, что и кровосмешение скоро перестанет вызывать бурную реакцию обывателя и будет вызывать лишь один вопрос: сколько стоит?

Однако такая, ничем не ограниченная свобода — не в интересах правящих кругов. Равенство рыночных агентов — лишь иллюзия, маска классового насилия; поэтому и семья так или иначе должна сохранять нерыночные элементы — неравенство родителей и детей закреплено юридически в понятии дееспособности, увязанной с искусственно установленным возрастным цензом. В принципе, ребенок может быть богаче родителей (или опекунов) — однако до совершеннолетия распоряжаться своим богатством он все равно не сможет. Даже в пролетарской семье, где, вроде бы, делить нечего, — дети формально во власти родителей, и обязаны делиться левыми заработками по первому требованию. То есть, они не вправе самостоятельно выставлять на рынок свой главный (и часто единственный) товар — рабочую силу. С другой

стороны, поскольку финансами семьи распоряжаются старшие, даже получить рыночно востребованное образование ребенок самостоятельно не сможет: профессиональная сертификация требует определенных затрат — что блокирует доступ к средствам производства талантливым самоучкам. Конечно, не все в семейных отношениях от их классовой природы: в чем-то люди иногда остаются людьми, и общаются как личности, а не биороботы; однако такое общение затруднено внешними ограничениями — и случается лишь вопреки правовой и моральной цензуре.

Итак, кровосмешение и растление несовершеннолетних — вовсе не биологические, а всецело классовые понятия; общественное осуждение и юридические санкции — попытка сохранить основу цивилизации, экономическое и политическое насилие, общественное неравенство. Возможно ли осудить секс с несовершеннолетними там, где просто не существует идеи совершеннолетия? Можно ли запрещать половую жизнь родителей и детей там, где само понятие родства начисто отсутствует? Любые возрастные грани — культурная условность, отражение наличного способа производства. Другая сторона сохранения семьи — сексуальные домогательства и экономический шантаж, изнасилования, грабежи и убийства. Нет в этом никакой биологии — есть только передел собственности, эксплуатация человека человеком.

Невозможность свободно распоряжаться биологическим телом — составная часть несвободы как таковой, прежде всего экономической. Тела в классовом обществе — средство производства, которые можно продавать и покупать, санкционировать доступ одним — и отчуждать от других. Там, где дух вынужден воплощаться столь ограниченным образом, индивидуальность и личность также становятся товарами, распоряжаться которыми будет правящая верхушка, через наемных управляющих (буржуазных идеологов, педагогов, журналистов, попов). Однако цивилизация — необходимый этап на пути к бесклассовому обществу будущего. Сама возможность отчуждения тел — подводит нас к тому, чтобы сознательно от них отстраниться, воспринимать как внешнюю вещь. А значит, более эффективно управлять доставшейся нам от природы органикой — как угодно использовать и переделывать ее, без гипертрофированной этической щепетильности. В частности, встраивать в неорганическое тело — или в несколько тел, разделять плоть с другими разумными существами (любого происхождения). Прототипы имеются уже в рамках цивилизации, в классовой экономике.

Так, противоположность работы и быта — расщепляет целостную личность на две (иногда несовместимые) частичные проекции. Таких относительно независимых сторон может быть и больше. Однако, поскольку они отчуждены друг от друга в системе всеобщего разделения труда, для личности это в любом случае тяжелое испытание; если всегда присутствующие в классовой экономике ограничения доступа к средствам производства не дают восстановить целостность в контексте какой-то иной деятельности — это распад личности, психическая болезнь. Бесклассовое общество снимает любые барьеры — и поэтому совместное использование органических тел лишь обогащает личность, открывает новые направления развития. Никакие физиологические «зажимы» и психологические «комплексы» в таких условиях просто невозможны. В частности, отношения между людьми уже никак не зависят от биологической истории, от возрастов и происхождения, и от прочих формальных признаков. Любые отношения тел лишь приносят удовольствие, вызывают глубокое удовлетворение, дарят наслаждение. То есть, отражаются на развитии духа — а не на состоянии тел. Это уже не смешение (как в семье и прочих коллективах), а слияние, духовное отношение, любовь.

Иллюстрировать переход к духовности можно на примере половой любви (первое, что всем приходит в голову). Однако есть и другие способы использования биологических тел, вообще не связанные с органическими потребностями. Например, в танце движение тела никак не соотносится с биологическими импульсами — но дает мощный импульс движению духа. И удовольствие от этого ничуть не слабее, чем высшие достижения (одухотворенного) секса. Если же речь идет о парных танцах — добавляется еще и радость общения, духовное единство в паре, возможность прожить танец вдвоем, — и это никак не связано с тем, что было до и будет после; только законченный пошляк считает танцы эротическими играми, намеком на постель. Иногда в балете бывают весьма откровенные сцены (например, Jean-Christophe Maillot, *Lac*) — и здесь важно не пережать, не превратить искусство в пошлый балаган, чтобы танец воспринимался как танец, а эротика осталась бы лишь элементом сюжета, средством для раскрытия образа.

Точно так же, слушать (или исполнять) музыку, приобщаться к живописи, читать (или писать) стихи, играть на сцене, — действия совершенно не животные, хотя движения тела в этом активно участвуют, и органы чувств работают по обычным органическим правилам. Когда-

нибудь искусственный интеллект научиться делать нечто подобное — но для этого ему придется освоить азы общественной жизни, и не только обучаться, но и воспитываться.

Современный человек никогда не сводится к биологии: на первый план каждый раз выдвигаются неорганические тела, совокупность общественных отношений. Непосредственный контакт организмов — уступает дорогу опосредованным связям, через десятки совместно используемых вещей. Телесные отправления окультурены, скрыты от окружающих. Вовсе не нужно что-то наблюдать, чтобы о нем знать или догадываться. Вещи служат знаками деятельности, и знаками знаков. Поэтому общение с другими человек иногда не осознает — кажется, будто он трудится сам по себе, следуя своим склонностям и интересам. Научиться видеть за вещами человека — необходимый этап развития разума. В классовом обществе такое самосознание затруднено — поскольку верхам вовсе не нужно, чтобы массы замечали, кто у них крадет. Буржуазные идеологи стараются представить отношения людей чисто объективными, природными связями — за такие труды хозяева готовы хорошо платить. Но когда вещи начинают представлять людей универсальным, всеобщим образом — вещи оказывают и субъектом деятельности, с которым тоже надо обращаться по-человечески, как с личностью, а не как с рабом. Логика капитализма — требует его гибели; он сам — свой могильщик.

В мире, где носителем субъективности становятся главным образом неорганические тела (хотя бы и с вкраплениями органики), граница между субъектом труда и орудием труда весьма условна, подвижна, относительна. Тем самым, личность уже не связана ни с одним из единичных тел — но присутствует сразу во всех. Принципиально общественный характер деятельности означает, что каждый ее продукт содержит вклад каждого из людей — и в какой-то мере оказывается частью его тела. На заре капитализма рабочий оказывался придатком машины, становился машиной. Конец XX века, наоборот, делает машины людьми — одушевляет и одухотворяет их. Соответственно, человек перерастает органические тела — и окончательно покидает царство природы. Люди и созданные ими роботы (а также созданные роботами люди) не противостоят друг другу — но не формально смешиваются, не становятся членами одной семьи — одно сливается с другим, одно неотлично от другого. В этом их свобода, — высочайшее блаженство, удовольствие и удовлетворение.

Утилизация тел

Что может быть глупее похорон?

Мир в целом — только один, и никуда не денется. Но ни одна из его частных реализаций — не навсегда. То же самое — о единичных вещах, или об отношениях между вещами и людьми. Неживая природа рождает и уничтожает единичное, сталкивая одно с другим внешним образом, независимо от строения самих вещей; в живой природе способ перехода от рождения к смерти встроен в живое тело. Но говоря о человеческой деятельности, которая универсальным образом объединяет все вещи и способы связи вещей, мы, вроде бы, возвращаемся к целостности мира, когда понятия «рождение» и «смерть» просто неуместны. Материя вообще и дух вообще — не в пространстве, и не во времени, — они везде и всегда (хотя и такое представление слишком антропоморфно).

При всем при том, мир не противоположен представляющим его вселенным — он и есть все они вместе взятые, возможность каждой из них. Каждый из возможных миров — развертывание иерархии мира, выделение в нем особым образом организованных вещей. Но тем самым предполагается только ему присущий способ синтеза, восстановления единства — а значит, особые формы разума. Каждая из этих форм — подобна миру в целом: да, это всеобщая, универсальная связь вещей, относительно независимая от их существования; однако всеобщность разума предполагает совокупность всевозможных представлений духа движениями и формами вещей — более того, сами вещи обладают определенностью лишь в отношении к духу, как арена сознательной деятельности, природа. Развертывание иерархии мира — это и есть способ различения природы и духа.

Таким образом, всякое движение духа требует перестройки тел, а природные движения становятся стимулом к развертыванию иерархии духа в ином направлении. И то, и другое — стороны целого, и только вместе дух и его воплощения способны представлять единство мира. Оставьте вещи без изменения — дух испарится, ибо он и есть изменение. Обратное: сосредоточить дух на чем-то одном — значит обездвижить, убить вещь.

По древней привычке (корни которой уходят в предысторию классового общества), люди пытаются привязать свою духовность к органическому телу — свести личность к физиологии и психологии.

Любое воздействие на тело — считают воздействием на личность, а смерть организма воспринимается как смерть человека. Совершенно логично, грубый натурализм дополняется верой в бессмертие души и продолжение жизни в ином мире (в частном случае — возврат в тот же самый мир, реинкарнация). Как одно из выражений этого, бытует стойкое убеждение, что даже после смерти тело не само по себе — оно остается телом конкретного человека; соответственно, посягательство на тело направлено и против личности. В этом плане человек радикально отличается от животных, для которых мертвое тело — всего лишь труп, и никакого отношения к бывшему живому существу оно не имеет. Отсюда следует, что существование человека не просто жизнь — к ней добавляется нечто особенное, чего у природных существ и вещей нет. Эту особенность мы и называем духом.

Некоторые впадают в мистику и воображают себе какой-то другой мир, в котором духи (или идеи, формы, способы бытия) существуют сами по себе. Абстрактность такого (потустороннего) существования вынуждает фантазировать также на тему возможности перетекания идей в наш мир, или наоборот. Собственно, этим и занимаются изобретатели и апологеты всяческих религий. Но тем самым оба мира неизбежно объединяются в один; противоположность материализма и идеализма связана, главным образом, со способом отождествления: либо объявить все материей — либо все усматривать в духе. Как обычно, крайности непродуктивны: они просто отказываются от решения вопроса об отличии человека (разумного существа) от всего прочего — заматают мусорную проблему под ковер.

Давайте исходить из иерархичности мира: уровни существования, жизни и деятельности не отделены друг от друга — они неразрывно связаны, и одно может стать другим. В каждом явлении — соединено все: одно и то же в каком-то отношении часть неживой природы, а в другом отношении — вовлечено в метаболизм живых существ, и кроме того может быть связано с человеческой деятельностью, сознательным преобразованием мира.

И тут мы замечаем, что в природе нет ничего вечного — что любая вещь возникает и погибает, пройдя через цепочку взаимодействий с другими вещами. В неживой природе такие столкновения случайны — они зависят не от самой вещи а от взаимного расположения вещей; живое отличается от неживого тем, что путь от рождения до смерти задан строением организма (который, при этом остается также и вещью,

подверженной внешним влияниям). Для нас это важный сигнал: наше органическое тело не может жить вечно — как бы ни старались мы продлить его век. Все, что доступно науке, — минимизировать риск поражений извне; это немало — ибо до сих пор значительная часть смертей обусловлена травмами и болезнями, а до естественной смерти доживают считанные единицы. Цивилизация добавила к прежним природным факторам разрушительные силы неразумного общества (второй природы): войны, бытовое насилие, жестокую эксплуатацию; чтобы устранить эти угрозы, придется лечить общество в целом. Но в любом случае, искать телесного бессмертия — направление заведомо бесперспективное; следовательно, вопрос о распаде и утилизации человеческих тел никогда не будет снят с повестки дня.

Казалось бы есть радикальное решение: давайте постановим, что человек смертен — и закроем тему бессмертия навсегда, подобно отказу от вечного двигателя. Да, мы отличаемся от природных образований присутствием духа; но почему не допустить, что и дух не вечен и должен выветриться, уступить место чему-нибудь другому? На первый взгляд, практика подтверждает такой материализм: большинство людей уходит, не оставив о себе никакой памяти — и только некоторые задерживаются на несколько веков, чтобы в конце концов уйти в тень новых гениев и героев. От былой славы остаются пустые имена — но лишь узкие специалисты (или въедливые любители) знают, что совершили Марат, Карл Великий, Бозций или Антисфен, — а про Платона и Диогена в головах только анекдоты; некоторые имена (Гомер, Пифагор, Лао Цзы) оказываются мифами — и на этой почве кое-кто сомневается также в существовании Шекспира, Мольера или кого-то поближе. Делаем последний решительный шаг — и начинаем сомневаться в собственном существовании!

Действительно, а что такое — я? Перечень фактов биографии? Меня не было до рождения моего тела — и не будет после смерти. Тут, правда, уже одолевают сомнения: а что считать рождением? — что считать смертью? Но при любой расстановке границ — странно придавать мертвому телу какое-то особое значение: в нем уже нет меня — и все равно, как с ним поступят. А биография... Набор случайностей. Как у животных и вещей. Все это забывается — и меня в этом тоже нет. Можно отследить траекторию перемещения частицы из точки *A* в точку *B* — это взгляд со стороны, и частице все равно, наблюдают ее нет. Замените точки квантовыми состояниями — получится виртуальный процесс,

последовательность переходов; какая разница, откуда, куда и для кого? Выходит, людей и нет вовсе — а есть какие-то тела, которым личность приписана от фонаря — как имя, обозначение, порядковый номер в каталоге. Исключительно для удобства.

Чьего? Как ни крути, мы опять перепрыгнули от движения вещей к общественным отношениям. Вещам и животным имена ни к чему. Они нужны людям, чтобы указать место чего-либо в деятельности. Но это место — нечто отличное от имени; по отношению к именам (участникам деятельности) оно существует идеально, как возможность участия; на уровне культуры в целом — это еще и объективный порядок, способ включения. Развертываться эта иерархия может по-разному — но в каждом обращении дух и природа различаются как идеальное и материальное, как разум — и его проявления. В том числе единичные — индивидуальности и личность.

Таким образом, человек как субъект деятельности оказывается также ее продуктом, синтезом природы и духа, явлением культуры. Как и всякий продукт, человек воспроизводится в расчете на включение в деятельность; поскольку деятельность иерархична, на каждом ее уровне материальное и духовное в человеке соединены по-своему. Личность может возникать и меняться вне зависимости от конкретных вещных форм; но точно так же и тела могут иметь или не иметь отношение к личности. Пока они работают в одной связке — человек существует телесно; однако его личность способна сохраняться и после распада тел, как место в культуре — которое материализовано уже не в одном теле, а в совокупности тел, как общее у разных личностей. Имена выходят за рамки биографии, переплетаются с деяниями предшественников и последователей. С другой стороны, тело представляет личность лишь в отношении определенного круга деятельностей — в определенных обращениях иерархии; в других отношениях то же тело способно стать носителем другой личности — вплоть до полного отключения прежних субъектов. Однако органические тела недолговечны; как правило, они даже одну индивидуальность вынести не в состоянии — и личность рано или поздно перерастает свою телесность; сохранение организма все еще возможно — но совершенно бессмысленно, и разумнее отказаться от тела, покинуть его. По мере накопления разумных черточек в культуре, общество неизбежно приходит к идее эвтаназии, добровольного ухода из жизни — ради продолжения (и развития) духовности. Покинутые тела становятся объектом деятельности, перерабатываются в нечто другое.

Вероятно, увеличение продолжительности жизни может способствовать многообразному использованию органики, в качестве носителя разных индивидуальностей; однако более разумным, универсальным решением представляется переход к совместности — сосуществованию разных личностей в одном теле в каждый момент его биологической жизни.

Вековые предрассудки в отношении утилизации органики имеют объективные, субъективные и культурные корни. Объективно, мертвые тела просто мешают живым — и древние избавляются от них путем захоронения, сожжения и т. п.; такие тела, как правило, не годятся в пищу, и даже смертельно опасны, — поэтому каннибализм, скорее всего, появляется позднее, как ритуальное действие. В современном мире бытует то же отношение: с глаз долой — из сердца вон; отдали последний долг — но пусть это будет последний.

В субъективном плане, отождествление человека с органическим телом есть одна из составляющих способа производства, основанного на разделении труда, на противопоставлении одних людей другим. Если в людях воспитывают трепетное отношение к телам — это кому-нибудь нужно. Кому? В классовом обществе направляют деятельность господ, и сведение рабов к их телам — прекрасная возможность управлять ими как животными (или вещами). Раб — всего лишь говорящее орудие: не отдельный организм, а орган господской воли, ее воплощение. Чего ради мы будем советоваться со своими кишками или конечностями? — а у некоторых и с головным мозгом отношения сложные... Иногда они бунтуют; можно чем-нибудь ублажить — и эксплуатировать дальше. Органическая (общественная) функция определяет характер обращения господ с рабами — и отношение рабов к себе: некоторых ценят и берегут; от других легко избавляются — вроде стрижки волос и ногтей.

Вещное отношение к телам закреплено и освящено религией. Варианты разные. Так, христианство упирает на сохранение тел (или хотя способности чувствовать) после смерти в целях устрашения: про боль на этом свете знают все — и мало кому хочется, чтобы она длилась вечно; проверить поповские сказочки сложновато — а лишний раз перестраховаться не помешает... Другое погоняло у индусов: вместо сохранения того же тела — человеку впаривают все новые тела, с той же целью: угрожать усугублением телесных мук при непослушании. Состояние полной бестелесности и там, и там — видится как высшая ступень блаженства. Напротив, мусульманский рай не лишен телесных приятностей; по всей видимости, это связано с таким бременем земного

рабства, когда народ притерпелся к бедам — и не представляет себе, как может быть хуже; остается заманивать хотя бы пряником. Со временем непосредственно телесные образы сублимируются — превращаются в метафоры; тенденция связана с расслоением господствующего класса, выстраиванием сословной иерархии.

Воспроизводство субъекта воссоздает возможности и намерения в обобщенном виде, как элементы культуры, типовые кирпичики для конструирования новых индивидуальностей. Привычки превращаются в традиции, обыкновения становятся нормой. Новое поколение вбирает в себя и высшие достижения общества, и его уродства. Но даже сознавая нелепость культурных установлений, мы не можем просто отказаться от них и вынуждены продолжать в том же духе — потому что так все устроено. Переход от одной парадигмы к другой на уровне единичного человека — личная драма; для культуры в целом — это революция.

Признавая самостоятельность духа, относительную независимость от возможных воплощений, мы воспитываем в себе разумное отношение к органическим телам; мы свободны — пока мы не позволяем себе опуститься до животности, отвергаем вещное отношение к себе. Классовая культура вбивает в нас идею собственности — культивирует иллюзию, будто какая-то собственность (органическое тело) у каждого есть изначально («от природы»); но всякое обладание есть рабство — и человек становится рабом собственности, служит своему телу, вместо того, чтобы тело служило ему. В сублимированной форме (на другом уровне иерархии) это может выглядеть и как служение идее.

С другой стороны, и при жизни мое тело мне не принадлежит — это лишь рычаг давления, способ меня использовать, заставить служить чьим-либо интересам. Приучая массы дорожить телами — порабощают их дух. Яростное сопротивление господствующего класса попыткам облегчения страданий, освобождения от мук (не только телесных), предоставления каждому средств для сознательного прекращения жизни достойно и без боли — выражение стремления жить за счет чьих-то смертей, узурпировать право распоряжаться жизнью и смертью — сохранить рычаги управления обществом в своих руках. Принуждать жить — это насилие, способ сколотить первичный капитал, — после чего преимущества при дележке прочего имущества выглядят совершенно «естественно», как выражение природной неодинаковости.

Разум — свобода от природных случайностей и необходимостей. Это целиком относится и к окультуриванию человеческих тел. Человек

приручает и одомашнивает животных — использует их в своей деятельности, целенаправленно воспроизводит и видоизменяет. Живой организм выступает не только в качестве объекта — как источник сырья или движущая сила, — но и как продукт, элемент материальной и духовной культуры. Легко видеть, что это *ничем* не отличается от использования и целенаправленной модификации человеческих тел: человек укрощает дикую зверушку (особь вида *homo sapiens*) — заставляет ее вести себя не только животным образом. В классовом обществе развитие подчинено воле господствующего класса: людей склоняют к узкой специализации, превращают в органы экономического целого. Общество свободных людей — передает инструментарий строительства плоти в распоряжение каждого, и каждый может неоднократно менять телесные формы, в соответствии с потребностями духа, способами участия в творческом труде.

Человеческие тела — это не мы сами; это то, с чем мы работаем — и может при необходимости как-то изменять, или заменять, — а после выработки ресурса сделать сырьем другого производства, заставить работать на общее благо. Буржуазная пропаганда выставляет такую позицию верхом аморальности — но мы и не собираемся следовать их классовой морали, мы ищем нравственность свободных людей, этику разума. Активное отношение человека к органическому телу — не бог весть какая революционность! Мы испокон веком что-то в себе меняем и подкручиваем: накачиваем мышцы и мозги, стрижем волосы и ногти, заменяем зубы на коронки или удаляем напрочь, отсекаем большие конечности и внутренние органы (в том числе для контрацепции); сегодня умеют менять пол — и рекламируют чудодейственные средства для омолаживания... В конце концов, живой организм (пока он живой) регулярно избавляется от отмерших клеток, заменяя их на новые — для этого не нужно большого ума. Постепенно изменения накапливаются — и где граница? — когда пора говорить о новом теле? На протяжении многих лет и десятилетий считают, что очень непохожие друг на друга организмы — это одно и то же лицо. Сравните тело младенца, подростка, зрелого человека и старика — разница заметна невооруженным глазом! А если еще и какие-нибудь травмы... Можно ли считать, что слепой как личность не отличается от зрячего? прикованный к постели от ходячего? Перенесенные болезни могут существенно влиять на психику — даже не оставляя органических следов. Еще влиятельнее — общественные коллизии, неиссякаемый источник душевных травм. Резкое изменение

характера после горького (или вдохновляющего) опыта, перерождение (или возрождение) личности, — типичнейший сюжет художественной литературы всех веков. Внутреннее раздвоение, сосуществование нескольких личностей в одном теле, — тоже не новость, и только из-за классовых антагонизмов, в атмосфере всеобщего отчуждения, это может перерасти во внутренний конфликт.

Наконец, путаница распространяется и на посмертное бытие. Вместо того, чтобы зарыть в землю труп — мы арендуем ячейку для праха в колумбарии; по сути, то, что мы считали человеческим телом, полностью уничтожается и заменяется неорганической материей, смесью химических элементов. Но и здесь есть варианты. Например, труп инженера Дизеля пошел на корм рыбному хозяйству Ламанша — тогда как фабрикант Энгельс предпочел прибегнуть к услугам первого английского крематория и закинуть в те же воды несъедобный прах (что, вероятно, как-то вдохновило имперского поэта Киплинга). Бывает и круче: тело заменяют пустотой! — и это называется *кенотаф*. Природа нередко утилизирует человеческие тела без остатка: они сгорают, тонут, превращаются в метаморфические горные породы... Технический гений позволяет разбрасывать взрывом клочки тел по большой территории — а то и вовсе распылять на атомы. Несмотря на это, тело как бы есть, оно виртуально существует и обозначается какой-нибудь осязаемой фигурой. Мистика!

Спрашивается: на каком основании сохраняется бессмысленная увязка личностей с телами? Если предрассудок так живуч, за ним стоит нечто далеко не мистическое — и мы как разумные существа просто обязаны объясниться начистоту.

Собственно, ответ очевиден из уже приведенных примеров, и скрыт в самой постановке вопроса: дух снабжен телом только потому, что его телом снабжают. Чем снабдят — то и ваше. То есть, наша телесность есть не природное, а общественное отношение, а какие конкретно тела будут его осуществлять — не столь важно. Одно и то же можно строить по-разному. Переезжаем из пещеры в благоустроенную квартиру — жильё таки есть; теоретически, местом проживания в каких-то условиях может стать компьютерная система, распределенная по всем материкам (и даже планетам). У физических лиц место прописки далеко не всегда совпадает с местом пребывания — о чем законопослушные граждане обязаны уведомлять силовые органы (иначе те просто не смогут вас насиловать); в обществе, где люди свободны и не нуждаются ни в

законах, ни в насилии, формальные обозначения никого не волнуют — и пребывать можно сразу везде. В конце концов, тело вовсе не обязано быть реальным — воображаемые работают ничуть не хуже.

Другими словами, едва мы (общество) сопоставляем личности (духу) определенное тело — вокруг этой связи начинает выстраиваться совокупность общественных отношений, представленных какими-то другими телами; все это вместе взятое (следуя Марксу) мы называем неорганическим телом человека, единичного субъекта. Только в рамках (и посредством) неорганического тела могут организмы или неживые тела представлять нашу духовность (способность пересоздавать мир).

Название, конечно, условное: в составе неорганического тела сколько угодно органических компонент (наряду с неживыми вещами и отношениями всего ко всему); лишь поскольку мы разворачиваем иерархию начиная с определенного тела, все остальное оказывается на нижележащих уровнях, как подчиненное вершине. Другие обращения иерархии могут выдвигать на первый план что-то другое, перестраивая внутренние и внешние связи. Такие обращения либо сменяют друг друга по ходу деятельности, либо сосуществуют как разные проявления одного и того же — по отношению к разным сторонам культуры.

Как и следовало ожидать, личность (как единичный дух) возникает на стыке между природой и культурой. Универсальность опосредования в данном случае означает, что неорганическое тело человека неуклонно раздвигает границы, охватывает все новые области деятельности; ни в одном из единичных воплощений универсальности нет — но свободный переход от одного к другому (поскольку он действительно свободен и не зажат классовыми барьерами) не оставляет ничего, что не могло бы быть втянуто в орбиту деятельности и общения.

Отсюда следует, что ни одна вещь (и ни один организм) не может «принадлежать» личности целиком: другие люди будут так или иначе включать то же самое в свое неорганическое тело: каждая вещь вплетена в каждую личность — и становится иерархичной, соединяет в себе все возможные варианты общественного бытия. Именно за счет развития такой иерархичности природные вещи одухотворяются, превращаются в элементы культуры. Жизненный цикл вещей соответствует, таким образом, порядку исторического развития, и природное время у человека всегда соотносится с временем историческим.

Органические тела в этом контексте не представляют собой ничего исключительного. Их деградация неизбежна, и разумно регулировать

способы распада — наша прямая обязанность. Но разумность в данном случае — не только свобода уничтожения тел, но и предотвращение преждевременного уничтожения, максимально полное использование заложенных в тела культурных возможностей. Не цепляться за жизнь, не клеймить всякое убийство как абсолютное зло — но и опускаться до пренебрежительного отношения к жизни (не разбирая на своих и чужих). На всем протяжении истории классового общества (цивилизации) одни люди убивали других, бессмысленно и жестоко, — не освобождая дух, а в попытке вытравить из раба (а значит и из себя) всякую духовность: запугать, унижить, выставить игрушкой в руках хозяев (иногда под маской природных стихий, богов, абстрактных идей). Для буржуазной контркультуры характерно мусорное отношение к телам — их можно заездить до предела, травить наркотой, разрушать всевозможными излишествами... *Live fast, die young* — лозунг отрекшихся от разума, разочарованность которых буржуазная пропаганда (включая искусство и науку) регулярно подпитывает картинками реального террора и апокалиптическими фантазиями. Жизнь — копейка! На этом фоне диким ханжами выглядят правозащитники, ратующие за отмену смертной казни; противодействие широкому распространению эвтаназии — просто издевательство над разумом: вместо избавления от телесных проблем — громоздить одну на другую; вместо легкого ухода от страданий — нескончаемые мучения, пытки, садизм палачей.

Другая сторона мусорной идеологии — заигрывание со смертью, ее эстетизация. Если у европейских романтиков эта бравада хоть как-то мотивирована (продолжение античной темы рока, мечты о построении рая на земле), в XX веке (особенно после двух мировых войн) самый смак — смерть впустую, полное безразличие к факту нахождения на этом свете и нигилизм по отношению к жизни по ту сторону. В какой-то мере это прогрессивная тенденция — в плане избавления от иллюзии, что защита интересов одних против других может быть исторически оправдана. Но беда (и опасность) эмпирионатурализма в том, что, вместо поиска разумных путей преодоления уродств общественного строя, он предлагает слепое повиновение, принятие наличного бытия как навеки данного и единственно возможного. Плохое — плохо по природе; тогда хорошее — лишь иллюзия. Упоение низменным — вместо мечты о беспредельности. А что? До края видимой вселенной все одинаково: слепота стихий, разрушительный хаос, в котором человек затерян как дурная случайность, статистическая ошибка, досадное недоразумение.

Мир как единство, целостность — вовсе не свалка случайностей: он предполагает всеобщую связь, и если одно отличается от другого — есть опосредующие звенья, которые восстанавливают исходное тождество на новом уровне. С чего начать развертывание иерархии — не имеет ни малейшего значения: в каждой иерархической структуре представлена иерархия целиком — и одно обращение иерархии не хуже других. Человек разумен в той мере, в которой он осуществляет эту всеобщую связь, универсальное опосредование. Первобытное сознание — творит антропоморфный мир, в котором все устроено именно так, как мы это себе представляем, — прямо-таки божественное соответствие! Потом мы учимся мыслить (или воображать) вещи сами по себе — и пугаемся абстрактной бездонности вселенной, неисчерпаемости духа. Попытки уйти от ответственности, свалить накопившиеся проблемы на других, сводятся к изобретению идей самих по себе или (неотличимых от них) всемогущих богов — что, по сути, означает отказ от разума, возврат к (дикой) природе. Только осознавая иерархичность мира, в единстве всех обращений иерархии (а следовательно, и принципиально разных форм разума), мы приходим к тождеству человека миру в целом — который он представляет лишь с одной стороны, но полностью и во всем. Такой антропоцентризм — всего лишь развертывание иерархии мира от нас, когда другие развертывания содержатся в нашем мире как наша безграничность, творческая свобода.

Замусоривание планеты (а теперь уже и космоса) — продолжение и неизбежное дополнение пренебрежительного отношения к людям. Для животных вопрос вообще не встает: они гадят под себя, повинаясь чисто физиологическим импульсам. У нет никаких понятий — включая понятия грязи и чистоты. Когда человечество уподобляется неразумным скотам, это сознательный выбор — который чаще всего кто-то делает за нас. Варварство как антикультура — болезненная реакция на перекосы классового воспитания, классово-извращенная форма протеста против закабаления, превращения человека в придаток вещи — и вещь. Как маленький ребенок нарочно поперешничают, портит жизнь вредителям-взрослым во вред самому себе; это отказ от коммерции, нежелание покупать внешнее благополучие ценой послушания и прилежания.

Разумное существо знает, что вещи — это наше неорганическое тело, и содержать его в порядке все-таки нужно, ибо только так плоть будет поддерживать сколь угодно дерзкие начинания духа. Прежде всего то, с чем мы непосредственно имеем дело; постепенно рачительность

распространяется на всю планету — и выходит за ее пределы. Пока вещь работает — пусть работает. Если она уже не годится для прежних надобностей — найти ей другое применение, а в конечном итоге — утилизировать, превратить в нечто другое. Неразумное отношение к вещам (и телам) — сохраняется лишь в пределах одного жизненного цикла; разум соединяет мир воедино, заботится и о сколь угодно далеком прошлом, и о бесконечно далеком будущем. Мы не заметаем мусор под ковер (или сваливаем на головы соседей) — мы реально избавляемся от мусора, уничтожаем само это понятие.

Как дух меняет одну плоть на другую — так и одухотворенные вещи по-разному представлены в строении духа. Утилизация — не просто уничтожение; это *снятие* — в гегелевском смысле, как сохранение в инобытии, переход от вещного существования к идеальному. То, что было на вершине иерархии в одном из обращений, — уходит вглубь, на нижние уровни, при перестроении структур. Отчасти тому же служило и старое искусство. Древние бальзамировали тела — в какой-то мере сохраняя *облик* при полном устранении физиологии. Потом пошла мода увековечивать нужное и ненужное в надгробиях, памятниках, — или в мемуарах. Сегодня в нашем распоряжении куда больше технологий удержания прошлого в настоящем — превращения конечных вещей в вечные. Общая идея — переход от одного материала к другому, замена плоти ее либо абстрактным символом («знаком памяти») — либо совокупностью общественных отношений, явлением культуры (идеей). Такая «виртуализация» в какой-то мере обратима: в определенных условиях идеи могут выходить на вершину иерархии — и воплощаться, получать вещное представление или становиться плотью личности, носителем единичного духа. Одно из очевидных выражений — интерес человека к истории, обращение к старым мастерам в искусстве, переосмысление методов науки.

Итак, органические и неорганические тела людей в равной мере подлежат утилизации — при сохранении когда-то представленной ими духовности и замене одних материальных компонент на другие. Но точно так же, возникает и необходимость утилизации элементов культуры, наших «духовных тел». Идеи тоже стареют и умирают — поскольку они всегда принадлежат определенной культуре и неуместны в какой-то другой истории. Общественные отношения, относящиеся к определенному способу производства развиваются вместе с ним; в конце концов они превращаются в застывшие формы — идеальное выражение

производственных отношений (что в классовом обществе приводит к возникновению надстроечных производств: право, религия, и т. д.). До поры до времени все нормально: одно соответствует другому, одно через другое. Однако на каком-то этапе такая телесность становится слишком ограничительной — и дух покидает одну идеальность ради становления другой, точнее выражающей новые тенденции в культуре. Как и с вещами, и с органическими телами, никакие попытки остановить распад, сохранить былое, не могут дать ничего кроме отсрочек и промедлений (иногда исторически не оправданных: отсталость, застой). Каким бы кощунством это ни показалось — мы вынуждены утилизировать не только памятники природы или человеческой истории («чудеса света»), но и произведения искусства, — как мы переписываем математику или физику в ходе очередной научной революции. Разрушение неизбежно; можно законсервировать что-то на века — но не навсегда. Стареет материал: крошится основа, блекнут краски, мрамор превращается в гипс (и статуя становится мумией). Многого исчезает по человеческому небрежению — как сгорела известная картина Мунка; что-то убивают намеренно: древние тексты утрачены в палимпсестах, художники пишут новые картины поверх старых, а шедевры архитектуры перестраивают по много раз... Что уж говорить о разрушенных войнами городах, иногда полностью стертых с лица земли. Да, есть заботливые коллекционеры, думающие не только о деньгах; есть хорошие реставраторы — которые почти точно воссоздают. Но отреставрированное — уже другое: оно разговаривает с нами иначе. Даже если это не вульгарный новодел. Так не разумнее ли сразу ориентироваться на другое — искать современные формы для нашей духовности? Что, конечно же, никоим образом не оправдывает варварства, сметающего еще не окрепший дух.

Когда одно соотносится с другим — возникает пространство и время. Когда нет этой различности — вообще ничего нет. Но мир только один — и возникает он лишь рефлексивно, в отношении к самому себе. А для этого ему приходится утилизировать себя — и стать другим. Способ перехода от одного к другому — это и есть дух, носителями и представителями которого оказываются единичные тела — мертвые, живые и общественные. Сознательно занимаясь утилизацией тел, мы способствуем восстановлению целостности мира, пересоздаем его. Тем самым мы пересоздаем и себя. Не будем мы настолько разумными — значит, придет кто-то другой, и доведет начатое нами до логического завершения — и новых начал.

Общественные формы

Одухотворенная, перестроенная на разумных началах природа — всеобщий продукт деятельности, культура. Как у любого продукта, есть в культуре что-то от объекта (природы) и что-то от субъекта (духа); следовательно, вполне уместно интересоваться внутренним строением, иерархичностью культуры, — и тогда мы различаем материальную и духовную культуру, а их единство соотносим с историей, этапами развития, способом развертывания иерархии. Подходящего названия для этой категории пока не придумали — но мы тут же замечаем, что сама возможность различных развертываний (обращение иерархии) выводит на идею множественности культур — как в пространстве, так и во времени, — а каждая культура всегда представлена переплетением субкультур. И тогда характерное для данной конкретной культуры единство материальной и духовной культуры есть не что иное как *образ жизни*, способ реализации культурности в одном из ее аспектов, в контексте определенной исторической эпохи.¹² Про быт как материал образа жизни мы уже говорили; но чтобы построить из этого материала какую ни на есть культурную общность — нужно привнести в него нечто идеальное, соединить в целое не просто так, а в соответствии с образом жизни; такие связи (формы) выражают в данном случае отношения между людьми — это общественность как таковая. В советских книжках говорили про формы общественного сознания, которые, как водится, целиком определены условиями общественного же бытия; мы будем называть это просто общественными формами — которые могут быть как осознанными, так и стихийными — или смутными предчувствиями, мечтами. Так оно ближе духу историчности, сменяемости форм — и значит, возможности намеренного изменения.

Понятно, что без (или вне) конкретным образом организованного материала никакие формы существовать не могут. Это не деятельности, а лишь стороны деятельности. Типичная для буржуазной (в том числе советской) социологии эмпирическая инвентаризация общественных форм — валит все в одну кучу, смешивая совершенно разные вещи — или не различая различных проявлений одного и того же. Например,

¹² Если речь не о культуре вообще, и не о единичной культуре, — на уровне особенности, — мы приходим к идее *общественного строя* (или *уклада*) как единства экономики и духовности.

искусство и науку считали формами общественного сознания наряду с религией, моралью и правом — хотя бросается в глаза существенное различие: можно *заниматься* искусством или наукой — тогда как право и мораль только регулируют все прочие занятия, придают им форму (или общественный статус); наоборот, искусство или наука сами по себе не влияют на формы деятельности — тогда как для религии и права это главная (и часто сознательная) задача. С точки зрения иерархического подхода, искусство, наука и философия — это именно деятельности, производство способов производства, орудий труда; это аналитический уровень рефлексии, и сделать их общественными формами можно лишь в ходе особой деятельности — внедрения, формализации. Аналогично, право как форма становится предметом рефлексии — *отражается* в искусстве или науке (или в обыденном сознании), и деятельностью становится именно это отражение, а не право как таковое. Разумеется, поскольку рефлексия переходит на уровень синтеза и (в качестве эстетики, логики и этики) направляет практические шаги — она может упорядочивать мотивы человеческой деятельности; однако лишь в составе уже имеющихся культурных форм (как сторона образа жизни) плоды рефлексии представляют способы общественной регуляции.

Рассматривая общественные формы сами по себе, на одном уровне, одни наряду с другими, эмпиризм закрепляет это абстрактное различие, не допуская постановки вопроса об их зарождении, видоизменении и вытеснении из обихода — о направленности общественного развития, росте разумности. Так проявляется себя классовый характер эмпирии: существующие общественные структуры, отношения господства и подчинения, якобы, были всегда — и останутся навек: такова, дескать, человеческая природа. Воинствующий эмпиризм неизбежно становится эмпирионатурализмом.

Для разума — нет границ, и потому никакое перечисление не имеет смысла само по себе: стоит сменить тему — и откроются новые грани уже знакомого, и придет неожиданное. Свободный человек сознательно выстраивает свой образ жизни, целенаправленно преобразует быт и формы бытования — которые не впадают в застойное существование, развертываются по-разному в каждом отношении и в каждый момент. Никакая общность не дана раз и навсегда: она возникает там, где это уместно, — чтобы раствориться в бесконечности прочих возможностей. Напротив, классовое общество возводит различия в абсолют, следуя старинному принципу: разделяй и властвуй. Общественные формы здесь

не способ объединения людей в общество, а наоборот, инструмент противопоставления одних частей и уровней общества другим — так что общественный строй (и образ жизни) воспроизводится как классовая иерархия, совокупность общественных групп и трудно преодолимых барьеров между ними. Каждая общественная форма воспринимается классовым человеком отчужденно, как внешняя сила, как принуждение и насилие. Так воспроизводится в сознании людей реальное отчуждение друг от друга — система всеобщего разделения труда.

Тем не менее, общий принцип всякого развития — от синкретизма, через аналитическую стадию, к синтезу — определяет и развитие форм общественного регулирования жизни и деятельности. Синкретически, обычные для данного общества (или общественной группы) формы поведения процесс социализации встраивает в каждого человека как нечто «общепринятое», «традиционное». Это всего лишь привычный внешний облик быта — и ни воспитуемый, ни воспитатели не замечают стоящих за этим классовых структур; более того, в некоторых группах такая традиционность может иногда выступать отрицательным образом, в форме отказа от «традиционных ценностей» — эпатажа, анархии, контркультуры. Кажется, будто человека никто не принуждает — и он ведет себя «естественно», следуя своим ориентирам. Это иллюзия. Стоит отойти от традиции — и человек оказывается в социальном вакууме, на каждом шагу будет наткаться на непонимание и житейские проблемы: не потому, что кто-то намеренно «задвигает» его на место — просто мир пока устроен именно так, а игнорировать его особенности — не самый разумный путь. Если кто-то предпочитает путешествовать поездом — он вряд ли доберется туда, где нет железных дорог; даже не признавая государственных границ — придется позаботиться о паспорте и визах. такого рода «затыки» преследуют диссидента везде и всюду; кое-кто склонен впадать в конспирологию и видеть в этом организованную травлю. В одиночку противостоять маховику организованного быта — задача непосильная; поэтому всякого рода «отщепенцы» (или, как теперь говорят, «протестный контингент») сбиваются в стаи, образуют группы «родственных духом», — и тем самым утрачивают духовность, явным образом подчиняют дух коллективу — что выводит поведение за рамки синкретизма, и пора посмотреть, какая возможна аналитика...

Варианты, как водится, разные. Но коли уж мы начали со строения культуры — логично предположить, что в классовых культурах формы культурности (уже отделенные от ее материала и содержания) так или

иначе воспроизводят фундаментальную схему, превращая стороны целого в рядоположенные и противопоставленные друг другу формы. То есть, один из аналитических уровней появляется как надстройка над экономикой, организация материальной культуры; эту роль в самом общем случае играет *право*. Еще одна из аналитических компонент — регулирует отношения людей как носителей духовной культуры, как личностей; такое, чисто внешнее (и классово ограниченное) связывание многих духовностей воедино через подчинение обществу в целом (или обособленной социальной группе) можно назвать *религией* (буквально, этимологически). Наконец, последний элемент триады, заведующий образом жизни как соединением материальной и духовной культуры — это *мораль* (не нравственность, а всего лишь нравы). Фундаментальность этой схемы, выражающей строение любых классовых культур и субкультур, осознается очень рано; она воспроизводится практически во всех социологических «теориях», с античности до наших дней. Пока мы говорим о классовых формах — никуда не уйти от идей права, религии и морали. Однако мы уже знаем, что предшествует этой аналитике традиционный синкретизм — и что следующим этапом (или уровнем) должен стать синтез права, религии и морали в чем-то, представляющем содержание общественного строя или уклада; такими представителями в системе всеобщего разделения труда становятся всевозможные общественные *институты* — формальные объединения (коллективы), построенные на определенной материальной (правовой) базе, предполагающие (религиозно) духовную общность, и воспроизводящие себя через сознание принадлежности целому (единой морали). Отличие от возникающих на синкретическом уровне групп — формальность, закрепление в культуре: одно дело, если один выручил другого рублем до полочки, — а совсем другое, если они становятся бизнес-партнерами (предполагая и правовые обязательства, и общую приверженность рынку, и купеческую честь). Состав институированных групп может варьировать от пары супругов — до сословия, класса и общества в целом (или всего человечества). Точно так же, подвижны временные рамки. Все это вместе и создает впечатление богатства и разнообразия классовой культуры — хотя на самом деле это лишь выражение ее ограниченности, ущербности.

Снятие синтетичности групповых культур происходит за счет вращивания институированных форм в быт — их превращения в элемент материальной культуры; вырастающие на этой почве синкретические

формы испытывают влияние различных институтов — и на практике это связано с культурным обменом между разными социальными слоями и группами, предотвратить которое никакие классовыми размежевания не смогут: это означало бы остановку развития культуры, вырождение общественных образований в животные сообщества. Чтобы сознательно строить общественные формы, сделать их продуктами человеческой деятельности, — мы воздействуем на их материальную оболочку, что влечет за собой и перестройку внутренних взаимосвязей в коллективе. Фактически, закрепление института в составе культуры запускает цикл его воспроизводства — и тем самым переводит часть внутригрупповых отношений в производственные. Иначе говоря, сами по себе формы не деятельность — но всегда возможно сделать какие-то деятельности представителями идеальности форм, — подобно тому, как искусство, наука и философия представляют одно другим, вырабатывая для этого особый (образный, понятийный или категориальный) язык. В развитой культуре иерархия подобных опосредований может быть очень сложна; однако отождествлять формы с их представлениями (знаками) все же не стоит: это разновидность фетишизма, пережиток первобытности, — на чем умело играют буржуазные идеологи, намеренно затемняя отличие реальности от фантазий (чему, в частности, служит и объявление права, религии и морали всего лишь формами сознания).

В качестве иллюстрации: право как аналитическая форма регуляции производства влияет на формирование различных правовых институтов, которые господствующий класс закрепляет в качестве единственно правильных; воспроизводство правовых институтов навязывает людям синкретическое сознание правильности — которое получает развитие в аналитической рефлексии (художественные трактовки, юриспруденция как наука, философия права), из чего вырастает синтетическая идея справедливости (категория этики) — наряду с логикой законотворчества и эстетическими аспектами (системность права, его «совершенство»). Сами по себе эти продукты рефлексии (духовного производства) ни чего не регулируют — они вполне могут существовать как утопические абстракции. Но когда синкретическая рефлексия внедряется в практику (для этого есть особые культурные механизмы), у ранее знакомых бытовых явлений появляется дополнительный правовой оттенок, на аналитическом уровне приобретающий и правовой статус. Почему? Да потому что в культуре уже действуют какие-то правовые формы — так что правовая рефлексия (как деятельность) может выступать (помимо

прочего) и в правовой форме. Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы синкретическое правосознание охватывало сразу всех; скорее, наоборот: развитие правовых форм происходит за счет формирования групповой культуры в пределах узкой группы представителей господствующего класса — но существующие механизмы классового насилия позволяют быстро внедрять такие новообразования и в массовую культуру, меняя и создавая новые правовые институты.

По той же схеме воспроизводятся и религиозные формы, и мораль. Поскольку это развитие опосредовано синкретическими уровнями культуры, право, религия и мораль переплетаются на каждом витке — что позволяет буржуазным теоретикам их попросту отождествлять (заодно смешивая с традицией и общественными институтами). Эту мешанину превозносят как «народную мудрость»; классовые порядки тогда напяливают демократические одежды — якобы представляя волю и чаяния всего народа (разумеется, скромно умалчивая, что проявлять волю народу дозволено лишь в предписанных сверху формах).

Обозначая аналитические культурные формы терминами «право», «религия» и «мораль», мы, конечно, придерживаемся категориального принципа: осмысленными слова становятся только в рамках некоторой категориальной схемы — когда они взяты не сами по себе, а во всех взаимоотношениях и взаимопереходах. Эмпирионатурализм трактует словарные единицы как самостоятельные и значимые безотносительно к остальному словарю — и потому, дескать, возможно определять наши понятия (или принимать как неопределяемые, интуитивно ясные) по отдельности, а потом уже комбинировать в формулы некоторой теории. Такой подход открывает неограниченные возможности для софистики, жульнической подмены одного другим, манипуляции восприятием и общественным сознанием. Под правом, религией и моралью такой «теоретик» может понимать что ему заблагорассудится — и оправдать любые сентенции. Пытаясь следовать за автором, публика невольно встает на его точку зрения; однако заметить идеологические ловушки невозможно изнутри: чтобы преодолеть навязанные стереотипы, надо подходить к собеседнику со своими идеями, хотя бы предварительными убеждениями — которые мы и стремимся уточнить по ходу общения.

Вспоминая об универсальной схеме строения деятельности

объект → субъект → продукт ,

замечаем, что правовые формы создают видимость объективности, что они даны людям как закон, выражающий самую сущность вещей, —

наподобие законов природы. На что очень любят ссылаться всяческие господа, провернув выгодное дельце руками продажного судьи (или ловкого адвоката). Примиритесь с требованиями закона — и вам, быть может, повезет в следующий раз...

Напротив, религия — выражение предельной субъективности: в ее основе не закон, а *догма* — намеренно ставящая во главу угла интересы определенных общественных групп. Вы должны вести себя так не потому, что так надо, — а потому что мы этого хотим!

Мораль как соединение законности и догматики — вырабатывает особый инструмент манипуляции: единые для всех, «общепринятые» *нормы*, предписания, указания на любой случай. Групповая мораль — не просто равнодушная природа, и не откровенный произвол, — это ваша собственная природа, якобы заставляющая вас действовать в ваших же интересах! По виду — как будто возврат к синкретизму; но впечатление обманчиво: традиционные формы встроены в субъекта процессом социализации — это его собственное строение; напротив, мораль — это всегда мораль сообщества, группы, внешняя принуждающая сила; как и другие аналитические формы, мораль противопоставляет и подчиняет личность обществу, ставит групповой интерес выше личного. Без правовых и религиозных форм мораль просто невозможна — из них она черпает мнения по поводу допустимости и приемлемости поступков, о законопослушности и правоверности. В отличие от некритического усвоения традиций — мораль подходит к праву и религии очень избирательно: из всей совокупности законов и догм — в «моральный кодекс» попадают лишь те, что способствуют сохранению сообщества, воспроизводству его образа жизни. Формальные представления о «добропорядочности» — концентрированное выражение самой идеи зависимости, несвободы.

Когда мы говорим, что духовностью в классовом обществе заведует религия, — это вовсе не означает, что иных, нерелигиозных видов догматизма не существует. Пресловутый «научный атеизм» — из той же серии; ортодоксальный марксизм — по самому названию догматичен; научная методология — вершина заскорузлой косности... И все же заметно, что догматические системы очень похожи одна на другую — все на одно лицо. При таком разнообразии форм было бы наивно искать причину общности в них самих — и разумнее обратиться к их роли культуре, общественной функции: в любом случае это перенос в область духа классовых принципов разделения труда — когда одни узурпируют

право принимать решения, а другие обязаны повиноваться. Нет большой разницы, как мы обозначим власть предрешающих в рефлексии: бог, абсолютный дух, априорная истина, партия, искусство для искусства или замкнутая теория... Предполагается, что нечто стоит над человеком, придает форму его духовным движениям, извечно заложено в основание личности — и можно лишь обживать в этих рамках, не впадая в опасное вольнодумство. В триаде каждое звено — синтез двух других; поэтому в нашей схеме религию можно понять как соединение права и морали, узаконенное групповое давление. Отсюда следует, что религия (как любые варианты догматики) не может существовать без опоры на экономику и силовые органы: на синкретическом уровне люди могут поддаваться каким угодно суевериям и подчинять обыденную жизнь традиции — но религиозным человек становится не сам по себе: его делают таким, навязывают догмы принятые господствующим классом. Все без исключения религиозные войны были выражением политики, борьбой за власть. Возможность скрыть заинтересованных лиц под маской абстрактной идеи — мощнейший инструмент воздействия на массы: собаки не дают разбрестись стадам — экономические и властные рычаги принуждают людей сбиваться в стадо (или хотя бы изображать преданность). Как и все аналитические формы, религия воспроизводится намеренно и систематически — и уничтожить ее возможно лишь вместе с классовой экономикой и классовыми институтами.

Еще раз подчеркнем: религии совершенно безразлична вера. Во главе угла — признание догматов и публичная демонстрация пиетета. Следование канону. Точно так же, никто не требует от студента-физика понимания смысла формул — надо лишь уметь их вовремя применять; силовое давление тут как тут: подвергая сомнению признанное всеми — диссертации не защитить; только прочно ставшие авторитетами могут себе позволить (не слишком крамольные) теоретические вольности. И снова развитие идей принимает форму борьбы: одна школа против другой — в науке, в искусстве, в философии... Нерелигиозное по своему содержанию, духовное производство становится религиозным по форме и начинает целенаправленно воспроизводить эту форму — уже ничем не отличаясь от (институированной) религии.

Возвращаясь к праву, чуть подробнее о его экономической роли. Право придает форму экономике — но регулирует не любые отношения между людьми, а лишь формальные аспекты, «внешний вид». Любая деятельность носит общественный характер — но взаимодействие

исполнителей в процессе производства регулируется прежде всего его характером, используемыми технологиями. Объединение усилий и передача работ от одних другим — это всегда форма *совместности*, осуществление единства субъекта труда. Без такой согласованности усилий многих людей (а в пределе — общества в целом) никакое производство просто невозможно. Именно эти общественные связи мы называем производственными отношениями; вместе с наличными производительными силами, они определяют характерный для каждой конкретной экономики способ производства.

Напротив, право призвано не объединять, а разобщать, ставить одних людей выше других. Прямое правовое вмешательство — верный способ затормозить (или полностью развалить) производство; поэтому сфера правового регулирования — главным образом, идеальность производственных отношений, их оценка с точки зрения интересов господствующего класса. Тем самым, над способом производства надстраиваются формы духовной связи, которые в классовом обществе носят характер власти, господства и подчинения, отчуждения и присвоения; это, так сказать, отрицательная, извращенная форма единства — общественное неравенство. Точно так же, поскольку религия и мораль способны ограничивать формы производственных отношений, они также оказываются «надстроечными» явлениями. Когда традиционный марксизм сводит всю общественную жизнь к экономике и пытается вывести из экономики культуру и историю — общественные формы взяты в нем лишь с одной стороны, как надстройка; объяснять разнообразие на базе единого способа производства приходится чисто эмпирически, как «общественную природу».

Аналитичность права, религии и морали означает лишь отделение этих форм от человека, превращение их в надличностную (и якобы безличную) силу. При этом вовсе не обязательно способ регулирования будет осознан — и далеко не все формальные отношения требуют явной кодификации. Более того, господам невыгодно, чтобы рабы точно знали, откуда шишки валятся; формы культуры преподносят как вечные и неизменные, «естественные», единственно возможные и безусловно необходимые для сохранения цивилизации. Например, право в деталях расписывает распределение полномочий и ответственности — но ни слова не говорит о главном: правовая форма устанавливает господство одних членов общества над другими — и все частности подчинены единому принципу, сохранению общественного неравенства; все равны

перед законом, формально, — однако закон как раз и устанавливает, что одни вправе приказывать, а другие обязаны подчиняться (и карателям легко оправдывать любую жестокость: мы лишь исполняем свой долг, во имя высшей справедливости). Точно так же, религия уделяет много внимания внешности, обрядам и ритуалам, — однако избегает (и даже запрещает) обсуждать основные догматы, устройство религиозных институтов (общин и церквей): все это, дескать, дано свыше как предмет веры, — хотя на самом деле паства верит во что-то свое, и официальную (публичную, формальную) «веру» всегда сочетает с суевериями самого разного происхождения. Тем более скрывает свои основания мораль: хотя в ней нет ничего, кроме законопослушности и правоверности, — моральные нормы выводят прямо из «природы человека» (умалчивая, что законодателем этой природы становится господствующий класс).

Правовые, религиозные и моральные формы не существуют сами по себе — это формы деятельности (или, скорее, формы ее форм); из-за этого на практике бывает трудно заметить классовые перекосы в быту, на производстве, в творчестве. Так, правовые установления в конкретной области принимают форму соответствующей деятельности — выглядят ее собственным законом. О том, что свободный рынок и демократия суть формы классового насилия — народу, конечно же, не говорят. Точно так же, религиозные предписания причесаны под требования гуманности, духовные абсолюты, — а мораль, якобы, лишь выражение элементарных норм человеческого общежития.

На синтетическом уровне классовая культура в целом представлена иерархией общественных групп — и мы настолько привыкли к этому, что даже не представляем себе чего-то устроенного иначе. Государства, этнические общности, классы, сословия, партии, политические союзы, деловое партнерство, община, семья, воровская шайка или трудовой коллектив, мальчужковые банды и стайки подружек, художественные, научные и философские школы, массовые общественные движения и моды... Степень формальности может быть разной — но в любом случае сообщество опирается на единство экономики, объединяет близких по духу — и вырабатывает характерную для этой конкретной субкультуры мораль. Иногда аналитический уровень может быть снят — и кажется, что общность связана с синкретическими формами быта, как бы случайными факторами (вроде проживания по соседству или знакомства по работе); такие объединения, по видимости, никак не связаны с классовой структурой общества, с типом способа производства. Однако

видимость обманчива: сама возможность возникновения определенных сообществ зависит от общественных условий — и характер объединения диктуют интересы классов. Невозможно познакомиться в офисе тем, кто по роду занятий там не встречается; с другой стороны, отношения двух клерков разного пола будут отличаться от отношений начальника и его секретарши. Иногда правящие круги намеренно создают субкультуры якобы по почину снизу — иногда просто используют стихийные движения в корыстных интересах: этническая принадлежность — лишь способ перераспределения капитала, официальная оппозиция нужна, чтобы не дать сложиться неофициальной, а экологические активисты — отрабатывают средства, вложенные коммерческими структурами. Точно так же, многочисленные альтернативные формы семейных отношений вовсе не против семейственности как таковой: допустимое разнообразие укрепляет систему эксплуатации рядовых членов общества правящим классом в процессе воспроизводства рабочей силы, деторождения и социализации.

Универсальность субъекта проявляется в классовом обществе как возможность превращения чего угодно в общественный институт — за счет отчуждения формы от содержания. Например, искусство и наука — уровни рефлексии, творчество как деятельность; можно заниматься этим для души — но есть и институированные формы, вроде творческих союзов или академических структур. Поэт может всячески добиваться поста придворного поэта (например, Ронсар) — но может и отказаться от высочайшего приглашения (как Саади). По видимости, в роде занятий при этом ничего не меняется: придворный поэт Сен Жёлэ писал весьма желчные стихи про попов и придворных, не уделяя королевской персоне сколько-нибудь заметного предпочтения; напротив, вольный поэт Саади писал восторженные касыды в честь властителя Абубакра. Однако различия все-таки есть — как минимум, в выборе тем и выразительных средств: отношения формального господства создают среду, в которой многое не приживается. Разная экономика — разные проявления духа. Художественные объединения не просто кружок единомышленников — это, прежде всего, коммерческая структура, призванная составить конкуренцию признанным авторитетам, отвоевать нишу на рынке — пусть даже с высокой целью обеспечить условия для дальнейшего развития (а одно из этих условий — существование художника и его семьи). Большие мастера, как правило, не задерживаются в границах кружковщины, ищут новые пути. За это бывшие товарищи винят

отступников во всех грехах — чтобы потом подвергнуться такому же остракизму.

Еще заметнее дистанция между любительской и академической наукой (включая политику научных журналов). Даже теоретик не сможет творить в изоляции, не имея доступа к новейшим идеям и фактам; тем более зависит от финансирования экспериментальная наука. Ученые борются за гранты, за места в престижных заведениях, за право преподавать по своему разумению. В итоге побеждает вовсе не самый талантливый, а напористый и изворотливый — или имеющий выгодные связи. Например, распознавание эмоций и склонностей по лицам — чистейшей воды шарлатанство; однако эта физиогномика возведено в ранг высокой науки после выделения министерством обороны США крупных сумм на долговременную программу обучения компьютеров принятию голословных решений — к чему вскоре присоединились акулы крупного бизнеса. Сколько-нибудь разумные научные идеи приходится развивать в рамках таких институированных форм, прятать при публикации суть дела даже от самих себя. А в средние века физик и математик вынуждены были принимать облик придворного астролога.

Как право принимает форму государственности, а религия форму церкви — общеизвестно. Не столь очевидны институированные формы морали. Подсказкой служит лозунг махровой реакции в России начала XX века: *самодержавие — православие — народность*. Не забудем и про авансом заявленную в материалах съездов КПСС «историческую общность нового типа»: *советский народ*. Дальше понятно: народ — отнюдь не все население страны (то есть, не этническая общность), а только те, кто подпадает под нормы «морального кодекса» — угоден власть предержащим, принимает существующий общественный строй. Внутри коллектива (или субкультуры) то же самое превращается в активное ядро сообщества, образец групповой моральности. Чтобы массы, не дай бог, не перепутали, кто есть кто, — существуют особые институты, которым официально поручено доносить до широкой общественности предписания властей — воспитывать население в духе господствующей морали. Выстроенная капитализмом всеобщая система промывания мозгов использует различные инструменты — в частности, прессу (которая в классовом обществе невозможна без цензуры). Но в своей основе — это технологии социализации, классовая педагогика. Когда большевики борются за отделение церкви от государства и от школы (а разделение элитного и общего образования произошло еще до

революции) — они лишь доводят до логического завершения работу буржуазии по переводу триады аналитических культурных форм на уровень синтеза, строительству иерархии общественных институтов. Никакого «коммунизма» в таком отделенчестве нет.

Педагогика как институированная мораль (как и другие институты) меняет облик в зависимости от образа жизни соответствующей группы, в тесном взаимодействии с экономическими и церковными структурами. В масштабах государства — это образовательные стандарты и школы всех уровней; в рамках церковного прихода — наставления пастырей; спортсмену нужен тренер; армии — устав; преступное сообщество опирается на уголовные авторитеты и силовые структуры (которые часто не нуждаются в приказах, чтобы построить мелкую шушеру или опустить новичка в камеру). Методы разные — суть одна.

Представленная здесь схематика позволяет осмысленно подходить к эмпирически известному и социологическим теориям. Это само по себе не мало. Но главное вовсе не в том, чтобы наводить порядок ради порядка (и критику ради критики): вынужденно оставаясь в клетке классовой культуры (а куда денешься!) — и, конечно же, разделяя всю ее неразумность, — мы хотим помечтать о гибели цивилизации, об уничтожении классов, изменении быта — и переходе к иным типам культурности. Поскольку предполагается демонтаж системы разделения труда, способ развертывания иерархии классовых общественных форм не имеет значения для их отрицания в чем-то бесклассовом: исходя из любой схематики, мы придем к одним и тем же выводам — вместо различий обратимся к единству.

Как стороны культуры в целом, материальная и духовная культура будут соединяться и в бесклассовом образе жизни. Однако их различие уже не будет иметь сколько-нибудь существенного значения: провести четкую границу — забота классового человека, а в обществе без классов на первый план выходит универсальность деятельности, способность одухотворять вещи и воплощать дух. Категориальная схема сохранится, главным образом, как элемент классовой истории, — а на практике, вероятно, возникнут иные схемы, применительно к насущным задачам (то есть, не как универсалии, а как инструменты, применимые лишь в конкретном контексте).

Точно так же, поскольку быт перестает складываться стихийно и становится продуктом деятельности, различие быта и форм бытования снимается: необходимые культурные образования создаются по мере

надобности — и уступают место другим при переходе к новому этапу. Вместо традиций — *сознательность* любых сторон общественного бытия, творческое преобразование способов деятельности. Классовой аналитичности, навязывающей личности не зависящие от нее законы, догмы или предписания, — в бесклассовом обществе быть никак не может: как и быт, общественные формы не складываются стихийно, а вполне осознанно подбираются под конкретные задачи на каждом историческом этапе; личность при этом не подчинена обществу — она представляет всех, выражает общую идею. На место общественного сознания тем самым встает общественное *самосознание*. Наконец, на синтетическом уровне, полностью отпадает необходимость в каких-либо институтах: если люди делают что-то вместе, идут к единой (хотя и по-разному представленной в каждом) цели — им незачем договариваться, чем-то обуславливать эту совместность, делить полномочия. Люди могут (и будут) подходить к общей задаче по-разному — но это лишь грани одного и того же, различные способы воспроизводить единство. Следовательно, больше не нужны критерии правильности, никому не нужно ничему соответствовать, и всякое решение одинаково полезно всем. Такая способность действовать без оглядки на других, но в общих интересах — называется *разумностью*.

Если смотреть на будущее глазами классового человека (как мы почти всегда и вынуждены поступать), бесклассовые общественные формы представляются отрицанием классовой аналитичности: вместо главенства закона — идея *свободы*; религия уступает место *духовности*; мораль переходит в свою противоположность, *нравственность*. Однако для нового, разумного человечества все эти идеи — разные выражения одного: их различие эфемерно, несущественно. Тем не менее, такие вспомогательные различия полезны как ориентиры для постановки задачи уничтожения цивилизации, как выражение невообразимого в доступных образах, понятиях, категориях. Главное — не забывать, что разумности одинаково важны все эти стороны: если заниматься экономикой, забывая о духе, — духовности не даст простора догматизм, и все вернется на круги своя; борьба с религией без экономического переустройства — барьер на пути к духовности; изживать старую мораль безотносительно к экономическим и духовным преобразованиям — всего лишь замена одной морали другой, столь же безнравственной.

Понятно, что переход к обществу нового типа невозможен без радикального изменения роли культурных институтов: их задача уже не

закреплять типовые культурные связи, а наоборот, указывать на то, что недостаточно универсально, что ограничивает нашу разумность. Если оказывается, что какие-то формы общественного бытия воспроизводятся вновь и вновь, повторяются в разных контекстах, определяют течение многих деятельностей, — это верный знак, что в развитии экономики и общества возник перекокс, и не все в культуре равно доступно всем; малейшая уступка стихии создает условия для восстановления классов и классового сознания. Речь, конечно же не о том, чтобы осудить всякую регулярность: такая установка — выражение классового подхода. Но дополнить стихийно складывающиеся культурные образования тем, что компенсирует их неизбежную односторонность, дает альтернативные способы действия, более удобные тем, кто не в состоянии следовать преобладающим на данный момент технологиям — значит, не допустить диктата традиций, сделать людей свободными, уйти от догм, допустить разные лики нормальности. На первых порах борьба с классовыми институтами может принимать форму создания альтернатив; однако — как и анархия — такая отрицательность легко вписывается в границы права, религии и морали: санкционированный протест (и дозволенная оппозиция) становится инструментом закрепления идеи классового господства.

Строение культуры — предпосылка и другая сторона исторического развития, его выражение и итог. Однако любая иерархия может быть развернута по-разному — и все это вполне допустимые представления одного и того же. Разбивая культуру на уровни, а историю на этапы — мы обозначаем одну из граней; классовые историки вся время спорят о правильности периодизации — для разума все исторические линии одинаково важны, и пренебрежение хотя бы одной — разрушение универсальности, отказ от разумности. Тем не менее, какую бы сторону целого мы ни взяли — в ней возникает вполне определенная последовательность этапов и уровней развития. Например, в отношении к экономике марксизм определяет ряд общественно-экономических формаций — и это вполне логично, если не забывать, что помимо экономики есть и движение духа, общественные формы культуры — для которых можно с тем же основанием ввести идею культурно-исторической формации; единство ОЭФ и КИФ — общественный строй, исторически конкретное общество, во всем его разнообразии — а также историческая эпоха. В бесклассовом обществе такие различия не важны, и надо искать новые идеи, проследить другие истории.

РАЗУМ И ЛЮБОВЬ

В деятельности субъект противопоставлен объекту — как идеальное противоположно материальному. Всеобщим образом, в отношении мира в целом, объект охватывает все, с чем можно что-либо сделать, в той или иной мере налично данное, — такой всеобщий объект мы называем *природой*. Всеобщий субъект — преобразующее начало, преобразование как таковое, способность действия, — и это мы называем *духом*. Преобразованная, насыщенная духом природа — это *культура*, иерархия продуктов деятельности. Природная составляющая культуры связана с тем простым фактом, что каждый продукт становится частью природы, воспроизводится как объект; это материальное производство. С другой стороны, воспроизводится и сама возможность преобразования мира, субъектность; это духовное производство. Дух как отношение вещей — не есть вещь, он не материален; поэтому воспроизводиться он может только вместе с вещами, связанными друг с другом посредством других вещей. Разумеется, вещи могут быть связаны и другими, природными способами, не имеющими отношения к деятельности. Субъектность отличается от всякой иной идеальности универсальным характером опосредования: любая вещь в субъекте связана с любой другой.

Человек как субъект деятельности — не сводится к совокупности тел, реализующих его жизнедеятельность: это не только плоть, но и особый порядок ее движения, прямо или косвенно связанный с универсальным преобразованием мира, его окультуриванием.

Элементарное звено деятельности можно представить схемой

объект → субъект → продукт

Воспроизводство деятельности предполагает «замыкание» линейной цепочки в цикл

... → объект → субъект → продукт = объект' → субъект' → продукт' → ...

Разумеется, это условная картина, где различные пути развертывания воспроизводства лишь подразумеваются. Когда нас, главным образом,

интересует воспроизводство природы, все остальное отходит на второй план (снимается), и цикл принимает форму

...⇒ объект ⇒ объект' ⇒...

Так выглядит материальное производство, первая сторона культуры. Кажется, будто природа сама себя воспроизводит, а человеку остается только наблюдать и приспосабливаться. Эту видимость абсолютизирует вульгарный материализм и выпячивает буржуазная пропаганда, чтобы помешать людям почувствовать себя хозяевами своей судьбы.

Точно так же, можно обратить внимание на воспроизводство субъекта — и получить цикл духовного производства:

...⇒ субъект ⇒ субъект' ⇒...

Теперь на поверхности якобы самостоятельное движение духа, не отягощенного никакой материей. Философский идеализм возводит иллюзию в принцип и заявляет, что все в мире — лишь выражение абстрактных идей, и людям не дано влиять на эти сверхъестественные сущности. В классовом обществе разрыв между материальным и духовным выражает противостояние классов — и правящие круги приписывают духовность только себе, третируя рабов как «косную» материю.

Настоящая философия, утверждение единства мира, допускает такое «параллельное» воспроизводство лишь как одно из представлений целого, и всегда помнит, что воспроизводство природы опосредовано деятельностью субъекта, а воспроизводство субъекта возможно только через совокупность природных вещей. Это означает, что движение и развитие духовной стороны разума мы обязаны связать с чем-то внешним для субъекта, через что он может вернуться к себе на новом уровне. Однако в цикле духовного воспроизводства этот посредник не может быть объектом — поскольку все объектные опосредования там сняты, переведены на нижние уровни иерархии. Остается единственная возможность: источником духовного развития субъекта должно быть взаимодействие с другим субъектом, общение:

субъект ⇒ субъект' ⇒ субъект

Но общение общению рознь. Когда оно включено в деятельность, сопутствует ей или опосредует ее, — это форма совместного труда, способ передачи общего дела от одного субъекта другому — образование коллективного субъекта. Если же в качестве деятельности мы берем саморазвитие, духовное производство, партнер по общению

играет роль особого, духовного объекта (или продукта), который каждый создает (выводит) из себя, чтобы через это стать самим собой. Этот механизм духовного роста, неотделимую от нас потребность в ком-то другом, мы и обозначаем словом *любовь*.

Из внешне простого определения вытекает все, что мы знаем о любви, — и все, чего мы пока не знаем.

Прежде всего — разнообразие уровней и форм. С античных времен пытались перечислять виды любви; во многих языках для разных ее проявлений используют разные слова. Говорят о страсти, о братской или материнской любви, о дружбе, о патриотизме, — даже о любителях хорошо покушать или сибаритах-мечтателях... Ни одно перечисление не будет полным: человеческая деятельность универсальна, она отличается от неживой природы и жизни своей всеохватностью, воспроизводит мир целиком, — и каждый из моментов этого воспроизводства порождает свою разновидность любви, уникальную и неповторимую. Ни одна любовь не похожа ни на одну другую — и это делает уникальными разумные существа, позволяет им найти (почувствовать, понять, — или определить, освоить) свое место в мире.

Другая сторона того же самого: настоящая любовь не может быть единственной. Совершенство — поиск другого совершенства, одно влечет за собой другое. Но это другое прежде всего должно быть именно другим! Качественно иным. Разуму надо охватить весь мир — и любовь не может сводиться к чисто количественному коллекционированию эпизодов — подобно тому, как иные самцы бравируют числом «побед». В каких-то случаях и половая любовь способна выявить разные стороны единства мира в отношениях с разными партнерами; гораздо чаще требуется выход за пределы единичной формы — дополнение ее свершениями другого рода. Известная каждому (по личному опыту или по литературе) возвышенная окрыленность, стремление подарить любимому человеку весь мир — именно отсюда. Разносторонность, духовное богатство — делают человека достойным любви.

Чем шире духовность — тем привлекательнее человек для других людей, и тем вероятней, что объект его любви ответит взаимностью (хотя, возможно, в каких-то других отношениях). Цикл воспроизводства легко замыкается — и духовное развитие мчится стремительными темпами. Любовь выращивает человеческое в человеке, делает его разумным существом. Вопреки неустроенности быта, телесным ограничениям или классовым предрассудкам. Во взаимной любви

партнеры неотделимы друг от друга: они становятся (и чувствуют себя) частицами субъекта более высокого уровня, коллективного субъекта, — и развитие каждого теперь зависит от этой новой целостности; субъективно это воспринимается как непреодолимая сила, толкающая людей друг к другу, веление рока. Но и для стороннего наблюдателя влюбленные выглядят как одно, и мы говорим: они предназначены друг для друга.

Поскольку не бывает бестелесного субъекта, взаимная любовь ищет свою, коллективную плоть — воплощается в иерархии совместной деятельности. Коллективный субъект как один из продуктов любви может надстраиваться над любыми материальными образованиями; например, это плоть ребенка, нового члена общества. Рожденному в любви — намного проще развить собственную духовность: процесс формирования его как субъекта начинается задолго до зачатия, как сама возможность и определенная направленность развития, связанная с историей и характерными чертами духовной связи родителей. Разумеется, воспроизводство биологических тел не обязано сводиться к физиологии пола — а в индустриальном производстве преднастройка духовности будущего человека есть изначально общественное дело: ребенок появляется там и тогда, когда его жизнь заведомо осмысленна.

Требование всеобщности в любви — выражение ее полной свободы. Неживое — царство случайности; мир живого — овеществленная необходимость; на уровне деятельности и то, и другое превращено в ее продукт — это делает разум свободным, способным сознательно следовать необходимости и сознательно преодолевать ее. В частности, любовь невозможно удержать ни в каких рамках, привязать к чему-то одному. Привязанность убивает любовь; обыденное сознание говорит о пресыщении или скуке — но это лишь внешние проявления, доступные культурно ограниченному человеку. Главное тут — оставить место для творчества, возможность каждый раз открывать любовь заново. Неразвитый духовно человек вынужден искать внешних стимулов — его (столь же неразвитый) партнер воспринимает это как «измену»... Духовность, освоение культурного наследия предшествующих эпох, — позволяет насыщать вещи собой, делать их разнообразными — а не только замечать разнообразие природы. Отсюда постоянство в любви, которую мы тогда называем вечной.

Объект любви — другой субъект. Взятый во всем многообразии его собственного движения, как единство плоти и духа, — но не вообще, а в

отношении к любящему. Кто-то другой откроет для себя совсем другие черты, развернет ту же иерархию иначе. Человек при этом остается самим собой — но проявит себя по-другому, будет столь же целостным, но уже не сам по себе — а для кого-то. Такое внешнее единство индивидуальности мы называем *личностью*. То есть, любить можно только того, кого мы воспринимаем как личность, и перенимаем эту целостность, делаем ее своим внутренним единством. Это возможно как раз потому, что личность — не абстрактное восприятие кого-то внешнего, а проекция на это другое нашего к нему отношения. Здесь еще раз проявляется активная, преобразующая суть разума: мы как бы сами готовим себе то, что поможет нам духовно развиваться; это вполне аналогично производству орудий труда в материальном производстве.

Однако субъект взятый как объект — не то же самое, что субъект как таковой, как деятельный дух. В нем неизбежно присутствует объектность — а значит, на вершину иерархии выходят вещи, в которых материализуется субъект, его органическое и неорганическое тело. Разумеется, они лишь представляют духовное содержание — но на поверхности любовь зачастую осознается как влечение к вещи; в классовом обществе это превращается в жажду обладания. Не столь важно, будет эта вещь чьим-то телом, или просто оставленным в мире следом: через нее нам открывается другой — и мы сами в особом к нему отношении. Все что угодно может стать таким *предметом* любви; неразвитое сознание не догадывается о бесконечности скрытых за ним культурных связей — но именно благодаря им мы понемногу освобождаемся от духовной неразвитости.

Возврат к себе через другого — это движение внутри субъекта, но не внутреннее, а внешнее, когда любящий вбирает в себя объект любви, делает его своей неотъемлемой частью. Поскольку в любви возникает коллективный субъект, любовь для него играет роль психического процесса. Но по отношению к личности — это уже не просто психика, а процесс более высокого уровня: его душевные движения общественно опосредованы, осознанны, превращены во внутреннюю деятельность. Такой, субъектно опосредованный процесс (в отличие от объектно опосредованных эмоций) мы называем *переживанием*. Переживание иерархично: оно представляется то чувством, то убежденностью, то желанием... Все это мы находим в любви. И для нас она становится нашим личным переживанием, которому, вроде бы, уже и не нужно ничего другого: огонь зажгли — и он поддерживает сам себя. На самом

деле, конечно же, объект любви устранить невозможно — но нельзя сводить любовь (и взаимность) к прямому контакту, физическому или физиологическому. Мы можем влюбиться в кого-то через его следы — как в старых сказках принцы влюблялись в портрет своей избранницы. Мир говорит нам о том, кто нам дорог, очень издалека, по незаметным приметам. Может показаться, что идеал полностью выдуман, — но такое идеальное существование есть один из уровней его иерархии, и при удачном стечении обстоятельств возможно отождествить объект любви с кем-то конкретным из ближайшего окружения. Разумеется, человек не сводится к биологическому телу — и любовь не зависит от того, есть оно или умерло, или вообще не существовало. Не исключено, что в каких-то случаях материальным носителем объекта любви станут сразу несколько биологических тел; в классовом обществе господствует формальное представление об индивидуальности как единичном теле, и о любви как обладании, — поэтому такая «неоднозначная» любовь разноуровневых субъектов низводится до обыкновенного разврата, или порождает внутренний конфликт, вполне аналогичный драме любви людей из очень разных классов, кланов, враждующих семей.

В условиях развитого общественного опосредования любящий может так и не узнать, кого он любит, — и не найти взаимности, даже если ответная любовь есть, и может быть даже где-то рядом. Кого-то любят — но он об этом не догадывается. Поскольку же разумные существа (олицетворение универсальности субъектного опосредования) способны общаться независимо от физического присутствия, в особых случаях возникает любовь через века, через любые расстояния. Мы говорим о духовном производстве; разумеется, какое-то воплощение всему этому есть — но заметить любовь в круговороте обычных вещей и дел не всегда просто. Тем не менее, возможность «небесной» любви люди отчетливо ощущают, и она представлена в их творениях.

Согласно нашему определению, любовь есть главный механизм духовного саморазвития — и она требует овнешнения субъекта, его отстраненности от себя, — а значит, существования кого-то другого. Вплоть до того, что любящий как бы не принадлежит самому себе, чувствует себя тем другим. А значит, в своем полном развитии, эта противоположенность превращается в любовь к себе. Субъектная и объектная стороны этого явления выражаются в том, что, с одной стороны, человек начинает чувствовать собственную разумность — и оказывается привлекателен сам себе, — но когда такое самосознание

уже сформировано, собственная личность вполне может стать объектом любви; в этой существенной «нелинейности» сняты бесчисленные внешние опосредования. Противоположное движение — от рефлексии, от интереса к себе как природному объекту, когда в этой природности вдруг открывается разумное начало, присутствие духа. Одно из обычных выражений — вдохновение, чувство гордости и удовлетворения от хорошо сделанного. В классовом обществе объект любви отделен от любящего — и в результате любовь к себе вырождается в отношение вещей, в самолюбование и наслаждение. В неживой и живой материи самодействие не редкость — но это не имеет отношения к сознательному преобразованию мира, к разуму.

Любовь не может не быть разумной. Она и есть разум — в одном из его проявлений. Поэтому изобилующие в литературе стихии страстей — это не о любви, а об ее отсутствии, недостаточной очеловеченности органических тел. Собственно любовь начинается там, где страсть вступает в конфликт с неразумными общественными установлениями и освобождается от них, побеждает их, — хотя бы ценой смерти. Вовсе не обязательно добиваться свободы плоти — для нашей духовности важно, чтобы плоть следовала разуму, а не подстрекала его. Иногда бывает необходимо отказаться от телесных контактов — но не ради мистики или иных абстракций, а в качестве противовеса слепой традиции, чтобы подчеркнуть сознательность выбора. Это не отказ от любви, а наоборот, высочайшая требовательность к себе и к обществу. С другой стороны, чересчур «идейное» воздержание — тот же уход от любви. В культуре есть своя логика, и ломать вообще все — это разрыв с обществом как таковым, отказ от собственной субъектности, от самой возможности субъектного опосредования.

Отсюда следует, что любовь как переживание — далеко не всегда приносит радость: иной раз с любовью приходит боль, и страдание. Но и здесь нет полярности, голой противоположности разных качеств: универсальность разума заставляет в каждой любви добиваться единства по-настоящему человеческих переживаний, воссоздавать в ней личную копию большого мира, вбирать все богатство культуры. Что выйдет на первый план — решит история.

Поскольку именно любви поручено воссоздавать дух на всех его уровнях, порождать все новые формы субъектности, каждая любовь живет не сама по себе, а как часть (субъект) исторического процесса, включая практику материального производства. Любовь соединяет

индивидуальность с общественным, связывает кирпичики культуры подобно строительному раствору. Случайная встреча — зародыш нового мира. Не бывает в любви ничего незначительного — она всегда равна Вселенной. За счет этого разные единицы общества оказываются сопоставимыми — и только тогда можно говорить об их различиях. Так рождаются личности. Чем ярче личность — тем крепче любовь. Бытует мнение, что слишком яркая личность неспособна любить, что она либо чересчур занята собой — либо излишне требовательна к объекту любви и добивается невозможного; отсюда представления о трудной любви, конфликтной и непостоянной. Но противопоставление людей друг другу есть характерная черта классового общества, и особенно его высшей ступени — капитализма. Вся история цивилизации направлена от первобытной общности к абстрактному индивидуализму, к разрыву любых духовных уз и превращению человеческих взаимоотношений в конкуренцию, в куплю-продажу. Если же производство (в том числе духовное) организовано не по принципу разделения труда, а наоборот, путем объединения усилий ради общей цели, на началах взаимопомощи и взаимной дополнительности, — яркие личности станут всеобщим принципом культурного строительства, возможностью охватить сообщество, чего не сможет достичь один. Разумеется, такие люди — никак не могут быть собственностью друг друга, как бы не соединялись их органические и неорганические тела. Настоящая любовь ни от кого ничего не требует — она дарит себя, творит мир так, как считает нужным. Но как раз в этом ее общественная необходимость, бытие для других — для всех, а не ради кого-то одного (даже в индивидуальной половой любви). Отсюда высший нравственный закон высокоразвитого бесклассового общества: делать что-либо можно только по любви.

Пока до высокоразвитости людям далеко, далеко не все надежды сбываются. Допустим, кто-то нарисовал себе портрет высокого идеала и пытается отыскать в жизни нечто хотя бы отдаленно похожее (чтобы потом общими усилиями подтянуться и возвыситься). Если найти не удастся — это не страшно и ничего не рождает кроме светлой грусти по неувстреченной мечте. Ну, не вышло в этой жизни — выйдет в какой-то другой. Любви такие разделенности не помеха. Но вот, что-то найдено, и пора запускать в работу цикл саморазвития, формировать субъект более высокого уровня и добиваться взаимности. И тут обнаруживается, что соединить в одном производственном процессе родственные души нет ни малейшей возможности: формы организации деятельности не

позволяют реализовать то, что по всем признакам должно быть действительным и разумным. То есть, какие-то взаимодействия есть (иначе обнаружить объект любви было бы невозможно) — но при реальном развертывании деятельности ключевые позиции оказываются вакантными: здесь в культуре как бы наличествует дыра — и от ее исторической неизбежности никому не легче.

Но в мире не бывает пустоты. Нет одного — на его место встает другое. Только, вот, трепетным ожиданиям оно никак не соответствует. Вместо красоты — уродство, вместо близости — разлука, вместо открытий — разочарования, вместо истины — ложь, вместо жизни — смерть... Саморазвитие субъекта теперь опосредует не любовь, а ее полная противоположность — *ненависть*.

Можно ли в таком случае говорить о развитии? Мы же знаем, что разум — созидание мира: он связывает, а не разделяет, — строит, а не разрушает. И разумность мы в людях усматриваем поскольку они умеют приводить природу в порядок. А ненависть очевидно деструктивна, даже если речь идет об устранении препятствий для разумной деятельности: убийство врага может быть объективно необходимым и культурно оправданным — но это все равно убийство, а значит, и самоубийство, крах личности.

Однако несбыточность ожиданий вовсе не ошибка, не заблуждение: не мы придумываем нашу любовь — это она творит нас. Речь не о случайных препятствиях: разлука настоящей любви не страшна, любовь продолжается и после телесной смерти. Невозможно ненавидеть слепую стихию, или особенности физиологии: они просто есть, и разум лишь принимает их в расчет. Ненавидим мы то, что лишает нас любви по самой своей сути, что как раз и существует, чтобы убивать любовь: мерзость как выражение культурного процесса — деятельную, сознательно выстроенную мерзость.

Почему такое возможно? Да потому что сознание — лишь низшая ступень очеловечивания, и обществу (как и каждому его члену) еще предстоит подняться на уровень самосознания — и только так создать предпосылки подлинной разумности. На уровне сознания разум присутствует синкретически, скрыто, как возможность. Именно в силу этого синкретизма сознательная (но еще не разумная) деятельность далеко не всегда ведет к разумному результату — и может развиваться как угодно, в том числе разрушая себя, перекрывая пути в будущее (как электрон аннигилирует с позитроном, или животное отравляет

собственную среду). Присутствие разума в таком поведении становится отрицательным, — как явное его отсутствие (но значит, и утверждение в качестве необходимой противоположности).

Ненависть — отрицательная форма любви, знак невозможности разумного, человеческого общения в сложившихся исторических условиях и протест против уродливых классовых форм. Точно так же, познавая мир, мы сначала выясняем, чем объект *не* является — чтобы выделить его собственные, положительные определения. Точно так же, мечтая о будущем, мы прежде всего осознаем, что нам не по душе в настоящем. Любовь существует через ненависть — отрицательным образом, пробуждая в нас отвращение к неразумности, и не давая оскотиниться. Только такое разрушение может служить созиданию.

Разумеется, ненависть — никак не любовь, и даже не ее извращенная форма. Лишь намек, и надежда. Но это лучше, чем покорность и вырождение. Потому что капитализм как раз и есть саморазрушение доведенное до высшего предела, разрушающее даже себя. Капитализм универсальным образом, в каждой мелочи, на каждом шагу, старается ограничить людей, не дать им развить свои способности — и сделать зависимыми от других; без этого невозможна эксплуатация человека человеком, классовое расслоение. А любовь свободна — даже когда остается лишь ненависть.

Духовная неразвитость людей классового общества иногда не дает им разглядеть даже те искорки любви, на которые они способны. Любимого человека заслоняет вещь, тело, — и возможность духовного роста спрятана за жадной обладания; тогда невозможность обладания возбуждает ненависть к другому как вещи (ревность), и кажется, что мы ненавидим прежде любимое. Но это разумеется, лишь видимость: то, что мы на самом деле любили, никуда не делось, оно существует в отрицательной форме, как отсутствующее, — и наша ненависть не к тому, что на поверхности, а чему-то более глубокому, что в сложившихся условиях стало единственным представителем этого отсутствующего, не давая ему угаснуть навсегда.

Мы любим не вещь, а совокупность общественных отношений по ее поводу — то, что могло бы стать чьим-то неорганическим телом. Развитие культуры все больше одушевляет вещи: чем обширнее круг их доступности, тем активнее идет процесс формирования личности. Первобытный анимизм — вовсе не религия; это единственно возможная в тех условиях форма осознания общественной сути человека как

носителя разума. Переход к цивилизации (классовому строю) снимает различие живого и неживого в абстракции товара, заменяя человеческие отношения одним универсальным — отношением собственности. Именно в этом открытии, в осознанной универсальности, — главная заслуга цивилизации и ее прогрессивный характер по сравнению с доклассовой историей. Остается лишь устранить однобокость этого универсализма, его сведение к рынку, товарному обмену, — и тогда мы вернемся к полноте общественного самосознания, но уже не на уровне первобытной природности, а в качестве продукта нашей деятельности. Классовое общество разрушает одушевленность вещей, фактически умерщвляя их; на смену классам придет чувство одухотворенности бытия, когда все в мире становится делом каждого.

Материальное и духовное производство — две стороны любой культуры. В эпоху цивилизации подлинное единство человечества недостижимо; и производственные отношения, и любовь — остаются частным делом, взаимосвязью индивидов, которая при капитализме достигает своего высшего выражения — становится всеобщим разделением труда. Любовь при этом представляется прежде всего парной любовью — противопоставленностью пары всем остальным, которая формально закреплена буржуазным семейным правом. Расширение круга чаще всего связано с личностными и юридическими конфликтами. Разумеется, проповедям свободы любви уже много веков; но лишь в последние годы это перестает восприниматься как нездоровая маргинальность, и право вынуждено подстраиваться под новые реалии. Буржуазная пропаганда стремится приручить стихию, направить ее в выгодное для власти имущих русло — и говорит лишь о половой любви, и лишь в той мере, в которой она делает людей рабами органических тел. Да, половая любовь может и должна служить задачам духовного развития — и для этого нужна разумная свобода. Но оставить дух в темнице животности — грубейшее насилие над разумом. Любовь как дело тел получает полное развитие при капитализме — и должна уступить место чему-то другому с гибелью цивилизации, уничтожением классовой экономики.

Можем ли мы сегодня предвидеть какие-то черты будущего? Конечно, не так, будто оно уже готово где-то там, за историческим горизонтом, — и остается только дожидаться его. Будущего еще нет, его надо делать. Но определиться с постановкой задач мы, как сознательные существа, должны до того как природный закон решит за нас.

Сразу ясно, что направления изменения характера любви связаны с новым в организации общественного производства. Бесклассовое общество не противопоставляет одних другим, а наоборот, утверждает их единство. Соответственно меняется и отношение к совместной деятельности: вместо участия — причастность. Каждому доступно все, один труд не отделен от другого — и распределение текущих дел может свободно меняться в любой момент. Субъективно это означает, что человек никогда не исключен из производства — даже если он непосредственно с ним не соприкасается. Если я что-то делаю — во мне это делает все человечество; и наоборот: в каждом человеческом деянии есть и моя заслуга. Такое строение деятельности существенно меняет характер отношений внутри субъекта: на первый план выходит не различие индивидов, а их принадлежность целому, взаимосвязь уровней коллективного субъекта. Любовь уже не просто единство — это единение, способность быть всеми и всем. Можно предположить, что вес парной любви (духовное развитие одного индивида через другого) будет неуклонно падать; полное преобладание неорганического тела субъекта над движением биологических тел лишит половую любовь какой-либо исключительности, сделает лишь одним (не самым значительным) из многообразных путей общения. Телесный контакт потеряет свою привлекательность: люди (и, возможно, иные носители разума) предпочтут более гибкие формы взаимодействия, через пространство и время, никак не ограничивая себя возможностями налично данного здесь и сейчас. Основные механизмы духовного развития будут связаны с общением субъектов разного уровня.

Но никакая перестройка иерархии субъекта — не устраняет единичной личности: это один из необходимых уровней целого. А значит, индивидуальная (глубоко личная) любовь не исчезнет — она лишь снимет прежние границы, и больше не будет границ. Опыт доступных воплощений и форм обогатится совершенно немыслимыми нынче возможностями. Личность уже не привязана к биологическим телам: разумные существа будущего смогут организовать практически любые природные процессы так, чтобы на их основе мог появиться индивидуальный субъект. Но любовь таких индивидов в чем-то всегда будет похожа на нашу любовь — и что-то от нынешних нас обязательно сохранится не только в заново созданной половой любви, но и в любви каких-нибудь электронных цепей, космической плазмы, квантовых ансамблей или метagalactic.

История любви

Рассказывать истории вещей — дело иногда непростое. Особенно, когда от этих вещей почти ничего не осталось, когда о них успели основательно забыть за сотни и тысячи лет. Тем не менее, пристальному взгляду всегда есть опора: остаются образцы материала, фрагменты форм; культурный антураж позволяет судить о практике пользования. Когда же заходит речь о развитии духа, опереться, вроде бы, и не на что: люди (там, где — и поскольку — они воплощают разум) не для того, чтобы разглагольствовать о себе, — они просто делают вещи. И далеко не всегда осознают, для чего. Как правило, дух чутко отзывается на самые незаметные сдвиги в способе производства — и ставит человеку задачи на перспективу, манит его в будущее, заставляет подготовить материальную базу на которой скрытое движение могло бы реализовать себя и стать осознаваемым, культурным явлением. Только тогда мы можем (но не факт, что сумеем) заметить духовность нашего прошлого: задним числом, с позиций не только сегодняшнего дня, но и в контексте направлений дальнейшего развития.

Для реконструкции истории вещей крайне важна верность метода: соединять одно с другим можно разными способами — и правильный выбор опирается на принципы культурного единства, угадать которые надо до всякого исследования, как предпосылку факта и теории, своего рода установку — идейную позицию. Нет такой позиции — место истории займет мешанина взглядов и мнений, эклектика, которая не тянет даже на беллетризм. Удачный принцип — связывает разрозненные находки как в пространстве, так и во времени, дает возможность проследить внутреннюю логику в хронологии и подсказать верную хронологическую последовательность исходя из логики событий. Вот этот синтез и есть история. Но куда важнее методологическая определенность в истории духа, где эмпирической базой становятся именно интерпретации движения вещей, которые предстоит как бы еще раз обобщить и подчинить формальной закономерности, заведомо отсутствующей в бытописании, поскольку духовное производство обнаруживает себя бытом будущего.

Таким образом, историку духа приходится опираться на историю материальной культуры — и отслеживать в ней характерные пульсации: опережающее развитие в рамках установившейся культуры — отголоски

прошлого в приходящем на смену. В зависимости от выбранного масштаба, прорисовываются разные уровни духовного производства.

Самоочевидное приближение — принять как эмпирический факт существование каких-то форм любви в наши дни и теоретическую невозможность ее существования в тех же формах в далеком прошлом. Такое сочетание эмпирии и теории опирается на универсальный метод, именуемый принципом историзма: любое явление зарождается в недрах далеких эпох, проходит фазу наивысшего расцвета — и сходит с исторической арены, но не исчезает бесследно, а становится оттенком чего-то другого. Противоположная позиция — признание вечности вещей или их связей; в классовом обществе антиисторизм вырождается в апологетику общественного неравенства, защиту права власть предержащих грабить трудовой народ — и делить награбленное, нескончаемой чередой кризисов и войн. С точки зрения разумности, оба принципа отражают существенные стороны всякой реальности, оказываются разными уровнями единства мира; разумная логика не противопоставляет одно другому, а показывает, что в каком случае правильнее предпочесть: говоря о единстве мира, мы отметим его неуничтожимость, сохранение разнообразия форм, — но занятия историей предполагают, как минимум наличие темы для обсуждения. Подменять любовь самосушей абстракцией мы не имеем права; путать любовь с какими-то уровнями бытования культуры (религия, семья, чувственность, духовное родство и т. д.) — грубая логическая ошибка, подмена понятия.

Обратная сторона признания историчности любви — неизбежность ее перерождения, снятия существующих форм в чем-то ином, о чем хорошая теория позволит нам догадываться. Предполагая, что человечество будет продвигаться в сторону большей разумности, логично допустить, что и развитие форм любви станет разумным, общественно контролируемым и направленным на всестороннее развитие каждого члена общества. Необходимая связь времен позволит обнаружить какие-то черты будущего в древнейших людях, еще не втянутых в орбиту цивилизации, борьбы классов. А значит, и в нас самих, поскольку в нас возрождаются, на каких-то уровнях, следы их духовности — без чего мы просто не могли бы стать собой.

Говоря о любви, человек развитого капиталистического общества, как правило, имеет в виду прежде всего индивидуальную половую любовь; все остальное либо считают явлениями совсем другой природы,

лишь в чем-то аналогичными любви, — либо, наоборот, выводят из эроса, — либо допускают сублимацию, наполнение внешне эротических форм иным духовным содержанием. Повышенное внимание к вопросам пола напрямую связано с главным организационным принципом капитализма — всеобщим разделением труда. Именно капитализм ведет ко всеобщему размежеванию, при котором только и возможно говорить об индивидуальности. В любых отношениях. Включая половую любовь. Пока в качестве субъекта деятельности выступает не отдельно взятый человек, а его принадлежность группе (роду, семье, классу, сословию, общине...), — любовь не может стать личным делом каждого: в интимнейшие отношения вечно вмешиваются со стороны, заставляют следовать традиции. Собственно, по мере становления капитализма и возникает само понятие интимности, частной жизни.

Но капитализм победил во всемирном масштабе далеко не сразу; даже сегодня кое-где остаются островки прежних укладов — более того, даже в развитых капиталистических державах сохраняются (или искусственно поддерживаются) относительно обособленные общины («коммуны»), добровольно-принудительные объединения, разного рода неформальные (теневые) структуры, достаточно жестко регулирующие поведение их членов; в конце концов, борьба политических партий также накладывает ограничения на индивидуальность решений. Когда в человеке просыпается протест против буржуазности существования и безумий рынка — ему тут же подсовывают готовую оппозицию, санкционированные (законом или беззаконием) формы протеста, — и остается только выбрать образец для подражания... Поскольку же любой вариант замешан на остатках прошлого, стремление к свободе вводится в регулируемые рамки — и не опасно для власть предержащих.

Индивидуальная любовь как отношение личностей — наиболее радикальное выражение их свободы. С одной стороны, оставляя каждого наедине с собой, капитализм способствует духовному освобождению; другая сторона — несовместимость свободы духа с рынком, с классовым господством. Даже эротические гиперболы маркиза де Сада неизбежно ставят вопрос о распространении личной свободы на культуру в целом, о преодолении всякого неравенства. Если хотя бы в одном отношении возможен сознательный выбор — его невозможность в других областях оказывается уязвимой. Господа этого не хотят — и стараются в корне пресечь духовность любви. Разумеется, грубая сила (как Наполеон поступил с де Садом) ничего не решает; но есть проверенные рыночные

технологии укрощения любви: превращение в сделку — или запрет индивидуальности, посредничество закона. В первом случае — вместо слияния в любви люди оказываются по краям бездонной пропасти, противопоставлены друг другу как рыночные агенты, — не субъекты духовного производства, а субъекты обмена. Такая «любовь» — это всеобщее отчуждение; она никак не может удовлетворить человеческую разумность; отсюда хаотические поиски иной, «более совершенной» любви; поскольку же совершенство рынку противопоказано, любовь легко перерастает в ненависть. Другой вариант — формальное единство, семья (безотносительно к официальной регистрации брака). Вроде бы, каждый волен выбирать себе спутника жизни; но сама необходимость соответствовать культурной норме, общаться не напрямую друг с другом, а через общественную надстройку, — переводит отношения в другую плоскость: члены семьи работают на семью — что по сути неотлично от работы на капиталиста.

Буржуазный принцип свободы любви — не духовность высокого уровня, а наоборот, отказ от духовности, хаос, игра случая. Массовые движения (вроде хиппи) легко управляемы, и в конечном итоге они все равно уступают давлению среды: поверхностное бунтарство — маска внутренней буржуазности, игра. Когда историю пытаются откатить вспять, она неизбежно возвращается к исходному пункту, следуя объективной логике развития. Только движение вперед, поиск новых горизонтов, дает шанс действительно преодолеть пороки времени.

Подлинно человеческая, разумная любовь возможна в классовом обществе лишь в его собственных, классово ограниченных формах. Она скрыта за внешними условностями — но именно это помогает ей выжить в обстановке дикой природности, уйти от борьбы за существование. Где кончается борьба — начинается свобода. Но просто отказаться — не решение. Это равносильно поражению, безоговорочному признанию права сильного. Смерть иногда может стать торжеством разума — но лишь в определенных общественных условиях, как публичный жест, как форма протеста (классовой борьбы).

Разумность в неразумных условиях бытия предполагает сочетание высокой духовности с внешним вынуждением и самопринуждением — внутреннюю раздвоенность: любовь — счастье и боль. Когда мы видим безмятежное существование — речь либо о скрытой трагичности, либо о душевной подлости, вырождении любви. Правило одно для всех слоев общества — но верхи, конечно же, заметнее других. Они узурпировали

право рефлексии, превратили культурность в синоним принадлежности «благородным» сословиям. Литература — вся о них; журналистика вытаскивает на свет только богатых, а нищета — лишь намеком, по краю, как досадное недоразумение и необходимый фон для классового идеала. Если иной раз и смакуют низость низов — исключительно чтобы пощекотать нервы: социальная чернуха — из разряда омерзительных ужастиков.

Любовь способна укорениться лишь там, где есть для нее хотя бы скудная почва. Несвобода правящего класса — просторнее рабской покорности угнетенных. Поэтому элементы новой, неклассовой любви скорее обнаруживают себя на высших этажах классовой иерархии — однако именно там на поверхности культура класса, и заметить в ее глубине что-то человеческое сможет не всякий. У бедных нет столь обширных возможностей прятать душевность — но и возможностей для ее развития не так много. Еще Аристотель писал:

[...] бедняк не сможет блеснуть великолепием: у него ведь нет средств, чтобы потратить подобающе много; а кто возьмется — глупец, ибо это вопреки и достоинству, и долгу [...]

Когда Энгельс идеализирует пролетарскую любовь (якобы ведущую к подлинной моногамии) — он демонстрирует непоследовательность, отходит от материализма: в условиях нищенского существования могут развиваться лишь первобытные, синкретические формы любви; тем не менее, их коренная противоположность любви буржуазной бросается в глаза, и дальше работает типичная схема буржуазной пропаганды — подмена будущего прошлым. Вот поэтому и важно изучать прошлое — чтобы не обмануться в оценках и не мечтать о воспоминаниях.

Без материи нет духа. И дух влияет на движение материи — но не сам по себе, а путем столкновения одной материи с другой. Именно эту материальную оболочку мы умеем наблюдать; делать из наблюдений далеко идущие выводы — особое умение.

Всякое развитие идет от синкретизма, неразличимости частей целого, — к аналитичности, внешнему взаимодействию; следующий этап — синтез, соединение разных черт в чем-то одном. В истории духа мы видим первобытность, доклассовое общество, как эпоху всеобщего синкретизма: человек уже перестал быть природным существом — но еще не осознал свершившегося факта. Цивилизация приходит на смену первобытности как аналитическая фаза развития разума, переход к самосознанию: духовное производство отделяется от материального.

Однако любое обособление связано с закреплением соответствующей практики — строительством культурных ниш. Какие-то из них могут возникнуть быстро; другим требуются тысячелетия. Неравномерность развития — еще одно выражение аналитичности. Классовое общество, царство аналитического духа, зиждется на первобытно-синкретическом фундаменте, который на каждом шагу рождает новые экономические и общественные деления. И каждому из них отвечает особая форма любви.

Любовь не рождается сразу — не как Афродита из пены морской. Любовь развивается тысячи лет. Ее древнейшие проявления далеки от видимостей сегодняшнего дня. Но за каждой нашей деятельностью стоит не только движение вещей, но и движение духа, — и можно проследить, как возникали его уровни, необходимые именно для этой отрасли производства, и следовательно, узнать особые, характерные именно для этого становления черты любви.

Увидеть их мы можем только с вершин современности, с позиций того, что нам важно и понятно сейчас. Половая любовь как часть нашей культуры — продукт рыночной экономики, всеобщего разделения труда. Она не могла бы существовать в том же виде в средние века или в античности. Точно так же, мы отличаем от половой любви дружбу, склонности и симпатии, сочувствие или идейное родство — но вовсе не факт, что все это соотносимо с чем-то из далекого прошлого. Но корни нынешних представлений — именно там. Античные философы, на Западе и на Востоке, пытались уловить различия, дать всему свои имена. Но грандиозное начинание Аристотеля — заранее обречено на провал, потому что жизнь не стоит на месте, и вместе с вещами меняются человеческие отношения по поводу вещей, и даже конструкции языка приобретают совершенно иной смысл; поэтому так трудно переводить древних авторов — и нельзя искать пословного соответствия.

Самосознание надстраивается над сознанием; поиски мотивов деятельности — другая деятельность. Не следует верить на слово очевидцам: они замечают внешность — а главное осознается задним числом, в контексте отдаленных последствий (для которых успевают придумать другие слова).

Принято считать, что первыми провозвестниками индивидуальной любви в Европе были поэты средневекового Прованса, трубадуры и жонглеры. Но задумаемся: откуда взяться индивидуальности в XI веке? Даже пережитки родового сознания отнюдь не ушли в прошлое — а строительство феодальной иерархии в самом разгаре! Конечно, Прованс

какое-то время находился в исключительном положении, на перекрестке очень разных влияний,¹³ — и его культурная подвижность во многом снимает узость феодального мировоззрения и превосхищает рыночную свободу; вероятно, отсюда и любовные мотивы в литературе. Но дальше литературы дело не пошло: куртуазной влюбленности не было места в повседневной жизни средневековой Европы.

Как к этому относиться? Вспомним об исторических пульсациях, об опережающем развитии духа: будущего и близко нет, однако очень глубоко в недрах сегодняшнего дня вызревают предпосылки нового — и человеческое сознание играет роль мощного проектора, высвечивая эти зародыши на громадном экране культурных форм рефлексии (искусство, наука, философия). Искусственность таких фантазий бросается в глаза — однако именно это заставляет задуматься: а нельзя ли повернуть историю так, чтобы хотя бы часть сказок сделать былью?

Для животных — будущего просто нет. Люди способны уловить его дух — предчувствовать собственную способность изменить мир. Никакой мистики: новые формы общественного производства не падают с небес — они зарождаются внутри современности. Превратиться в заметные изменения движения инертной природы — им требуется время (как в физике: разогнать массу до заметных скоростей). Дух не столь массивен — и откликается на малейшие культурные сдвиги. Поначалу это всего лишь увлечение, мода; если экономика не успевает подхватить тенденцию — дух засыпает, прячется за другими, более насущными стремлениями — но уже способен придавать им особую окраску, делать носителями культурной памяти. Как только материальные условия жизни достигают должного развития, казалось бы отжившие свое веяния вдруг всплывают на вершину иерархии, в преобразованном виде, обогащенные памятью всего, что они вытесняют в культурный фон.

Но история не хаотически прыгает от одного к другому — есть историческая логика, которая не допускает перепрыгивания через несколько этапов. Поэтому считать прованских поэтов певцами любви было бы, как минимум, опрометчиво. Искусство по самой сути своей неразрывно связано с представляем природных и общественных явлений в несвойственном им материале; отношения полов — материал достаточно универсальный, чтобы в его движении возможно было

¹³ Сегодня мы говорим о характерной средиземноморской культуре, охватывающей самые разные народности и объединяющей их через границы и эпохи.

отразить самые разные стороны действительности — и важно трезво осознавать отличие этой пластичной формы от воплощенной в ней исторически определенной содержательности. Видеть в куртуазности прототип современной любви — значит искусственно осовременивать прошлое, придавать ему совершенно не свойственные эпохе черты.

Что на поверхности? Мелкие феодалы (поначалу исключительно военное сословие, рыцарство) влюбляются в дам, которые заведомо недоступны по своему социальному статусу (они или замужем, или принадлежат более высокому уровню сословной иерархии); поскольку церковная иерархия не отделена от светской, и рыцарский орден отличается от монашеского лишь характерной атрибутикой, а светские и церковные должности зачастую принадлежат одной семье (с возможностью перехода от одного к другому), — монахи влюбляются так же, как и рыцари, — и можно смело открывать эпоху куртуазной литературы письмами Абеяра к Элоизе, а не песенками Гильема Аквитанского. Почти сразу же тему подхватывают бродяги-жонглеры, состязания куртуазных поэтов становятся типичным атрибутом светских праздников, ярмарочным аттракционом. В городах возникает низовая имитация, вульгарные клоны рыцарской или божественной любви.

Изначально заложенная в куртуазности идея любви неравных и общественно разделенных — закономерно развивается в переплетение противоположностей: с одной стороны, любовь ломает сословные границы, так что гранды и королевы зачастую входят в литературу вперемешку с простыми пастушками и рядовыми горожанами; однако признание невозможности соединения плавно перетекает в отрицание его желанности, эффективно разводит влюбленных по разным мирам, вплоть до переселения Прекрасной Дамы на специально построенные для этого поэтические небеса, причисления к сонму богов.¹⁴ Идейный исток куртуазности — память общины, протест против закрепления феодализма как всеобщей системы общественного неравенства; но вместо реальных решений — мистическое единение, воображаемая любовь и абстрактное служение.

Похоже это на идею настоящей, свободной и всепобеждающей любви? Никаким боком. И однако мы отчетливо чувствуем подвижки в правильном направлении, подготовку решительного рывка. О чем же на самом деле идет речь?

¹⁴ Логическое завершение — бесконечное восхождение Данте к его Беатриче.

Дело как раз в том, что для индивидуальной любви (половой или иной) прежде всего требуется утверждение индивидуальности, сознание самооценности отдельного человека, безотносительно к его корням и роду занятий. Средневековый человек определен своими внешними связями; для индивидуальности — связи становятся ее собственными определениями. Да, я живу в этом мире и участвую в его движении, честно выполняю свою работу, — но я не живу только этим, у меня есть то, над чем мир не властен, и чего никому не отнять. Даже если это всего лишь фантазия, несбыточная мечта.

Вот это обнаружение человеческого в человеке и есть истинная заслуга и суть европейской куртуазности. Без этого не могла бы явиться подлинная любовь, единство бытия и духовности.

Становление цельной личности идет в двух направлениях, в борьбе против земного и небесного владычества. И в том, и в другом случае форма половой любви принципиально важна, ибо она ставит в центр внимания другого человека. Это не вещь, не предмет обладания, — тем самым влияние и богатство выводятся за рамки вопроса: нельзя отнять то, что по самой своей сути никому не принадлежит. Но это и не потусторонний призрак, а нечто во плоти (иногда весьма осязаемой и аппетитной): если мы можем обожать любимых — мы уже не молимся богам, мы узнаем дух в человеке; в каком-то смысле христианский миф оказывается вывернутым наизнанку: не земное воплощение верховного божества — а наоборот, человек духовно растет и становится выше любых богов.

Половая любовь как отношение человека к человеку открывает каждому его собственную духовность. В отношениях вассала и сюзерена нет любви — это всего лишь долг, сугубо экономическая связь; точно так же, в религии душа дана человеку извне — и за это приходится отрабатывать свое перед богами и их заместителями; страх божий исключает любовь к богу, и если бог любит своего раба — это лишь удовольствие от власти над вещью. Если же я могу любить и (хотя бы в мечтах) надеяться на взаимность — значит, я равен моей любви, как бы далеко ни разошлись наши пути.

Разумеется, в условиях становления феодализма такая человечность не могла развиваться в полной мере. Исторически, отсутствие жесткой сословной иерархии в Провансе, запутанность вассальных отношений, смешение феодалов с бюргерством, способствовало выдвижению на первый план отдельного человека — и развитию уравнилельных ересей,

ставших предлогом для крестового похода на Прованс и уничтожения его своеобразной культуры. Однако не будем забывать, что вольности Прованса — продукт средневековой действительности, и они лишь внешне напоминают знакомые нам черты капиталистической формации. В сходных внешних условиях биологические виды вырабатывают сходные органы и привычки, при всем различии генетики и физиологии; точно так же, куртуазная любовь лишь «аналогична» современной, отличаясь от нее по способу бытования, духовной функции и культурной роли.

Прежде всего, речь идет о духовном неприятии темных веков и стихийных попытках хоть что-нибудь противопоставить. Утверждение феодализма в Европе происходило в упорной борьбе с духом античности, когда всякий «свободнорожденный» был формально равен другим, и свободные все вместе противостояли классу рабов. Общественное расслоение вызывало болезненную реакцию у низов; средней руки рыцарство¹⁵ также тяготилось чрезмерной зависимостью от крупных феодалов. Подобный исторический фон не мог не питать почву для внешнего свободомыслия. Вдобавок, разрушившие Римскую империю племена и не до конца ассимилированные Римом древние народности многие века (кое-где вплоть до XX столетия) сохраняли остатки родовых связей и прежней общинности — и замена старого закона правом феодала-узурпатора была им совсем не ко двору. Помимо этой «критики справа», зарождающееся бюргерство¹⁶ требовало особого статуса, на равных с хозяевами замков, — и здесь уже тянется ниточка к будущей буржуазной индивидуальности, из которой вырастают (и которую перерастают) подлинно человеческие отношения.

На фоне роста и укрепления феодальной формации предложить реальную альтернативу было некому: протесты оставались на той же экономической основе и ограничивались жадой формальных перемен, ничего не меняющих по существу. Поэтому средневековые формы утверждения духовности сразу же становятся сугубо формальными, касаются больше условностей и антуража, нежели живых чувств живого человека. Куртуазная культура — это игра в любовь. И обязательно — игра по правилам. Настоящая любовь — дело личное, глубоко интимное;

¹⁵ Истоки военного сословия — в общинности племен-завоевателей, из которых первые короли комплектовали личную охрану и армейскую верхушку.

¹⁶ Уже в XII веке богатых горожан активно привлекали к заботам двора; их влияние на экономику и политику было негласным, но весьма значительным.

она не требует признания, ей не нужны клятвы и обеты, — она просто есть. Напротив, куртуазная любовь насквозь публична. Ей важно заявить о себе, утвердить положенный статус; она демонстративна и откровенна, даже где-то назойлива... Это важно, если кто-то стремиться к личной свободе, — но никоим образом не способствует свободе любви. Куртуазность — театр масок. Главное — точно следовать своему амплуа, а что там под маской — никому не интересно. Тем самым куртуазная любовь оказывается прямым продолжением условности героических поэм и театральных мистерий — и место ей балаган, ярмарка, постоянный двор. Знать не прочь попрактиковаться в шутовстве; дозволенные развлечения нимало не угрожают средневековой морали. Дамы вежливо оказывают знаки внимания победителям турниров — рыцарю же, по большому счету, все равно, кто играет роль Прекрасной Дамы: ему важен образ, его не интересует плоть. Отсюда платонический максимализм Рюделя: чтобы влюбиться, не нужно знать живую женщину — достаточно отдаленных слухов.¹⁷ Можно любить портрет, или вещь; в конце концов — просто выдумать идеал и молиться на него. Тут же вспоминаем античную легенду о Пигмалионе — которая гораздо глубже, и ближе к нам: да, начинается с абстракции — но пафос в том, что человек способен (и должен!) стать творцом своей любви, разбудить камень силой духа. Оказывается, что куртуазная любовь недалеко ушла от античности (а в чем-то стала и шагом назад). Даже там, где, вроде бы, разговор о половой любви как таковой, пастушки и подружки практически неотличимы от античных прототипов — и вместо любви стилизация, лубочная картинка; это не взаимное чувство, а взаимное удовольствие, развлечение, приключение... Слова Энгельса о том, что провансальская культура «вызывала даже отблеск древнего эллинизма среди глубочайшего средневековья» [5, 378] — скорее резкая критика, нежели похвала: это именно возврат, а не движение вперед, к любви современной.

Об античности речь впереди — а пока вспомним, что куртуазная любовь — это преимущественно *служение*. Следовательно, о любви взаимной, любви личностей, любви равных, — и речи быть не может. Если следовать определению того же Энгельса [21, 79] — любви у трубадуров вообще нет. Куртуазная любовь к недостижимому идеалу — светский вариант религиозной любви к богу. Так сказать, секуляризация

¹⁷ Вспомним у Пушкина: князь Гвидон хочет жену из досужей сказки.

религии. Да, это по-своему свежо и даже революционно: дух выселяют с небес и обнаруживают в человеке. Но духовное развитие через абстрактный идеал — лишь предпосылка рождения буржуазной индивидуальности, абстракции человека самого по себе; любовь же, как минимум, требует еще и восприятия любимого и любимой как такой же индивидуальности, — это любовь к человеку, а не идолу или иконе.

Куртуазные поэты утверждают только себя. Предмет их любви — всего лишь предмет. Это различие подчеркнуто недоступностью, и если нет видимых препятствий — следует их выдумать. Таков закон выхода из средневековой реальности в собственно духовную сферу, и в этом культурном прорыве, переходе от материального производства к духовному, — безусловная заслуга куртуазности перед человечеством. Поразителен сам факт рождения нового самосознания: человек способен думать о себе, рефлексировать, и выбирать служение сознательно, а не под давлением внешних обстоятельств.

На этом фоне уже возможны приметы истинной любви — за той же театральностью отношений прячется нечто совершенно иного уровня. Так, традиционные альбы повествуют о (якобы) тайных свиданиях наедине (если не принимать в расчет слуг и служанок), когда влюбленные проводят ночь вместе, и могут наслаждаться наготой друг друга — но не переступить последней черты. Разумеется, куртуазная условность — но достаточно далекая от реальности, чтобы высветить одну из важнейших черт человеческой любви: на первый план выходит духовная связь, когда неважно, чем именно занимаются любовники, — не принадлежать, а просто быть (или чувствовать друг друга) рядом. Откровенность наготы — открывает душу, а не плоть.

Возникновение любви как основного механизма духовного развития решительно отделяет любовь от обладания; чтобы любовь могла стать явлением культуры, ее потребуется выделить «в чистом виде», как химическое вещество, — к этому приходит только капитализм. Средневековые формы для такой работы не годятся — и менее всего те, что трубят о любви на весь мир, заменяют ее театральной маской. Однако универсальность духа позволяет ему воплощаться в чем угодно, искать самые неожиданные пути в сознание эпохи — и, что самое главное, в сознание будущих эпох. Но где еще искать приюта идее одухотворенности половой любви, как не в традиционном супружестве? Внешне брак остается сугубо формальным общественным институтом. И все же, как только человек осознает свою индивидуальность — для

выработки способности по-настоящему чувственно любить не найти лучшего полигона, чем семья. Да, она связывает тысячами клановых цепей (и потому зовется семейными узами); но как раз за счет своей ограниченности средневековая семья способна столкнуть супругов один на один, заставить их присмотреться друг к другу и обнаружить духовное родство. Оказывается, что провозвестником современной любви в недрах средневековья чаще всего оказывалась именно супружеская, а вовсе не поэтическая, куртуазная любовь (которая, скорее, препятствовала искренней близости — в частности, размывая, превращая в абстракции понятия преданности и верности). Избитая фраза Энгельса [21, 80]:

Средневековье начинается с того, на чем остановился древний мир со своими зачатками половой любви, — с прелюбодеяния.

Но прелюбодеяние — излюбленная тема всей европейской античности; да и до греков хватало красноречивых упоминаний (например, в литературе Древнего Египта). Это другая сторона формальности брака, и ничего нового Средние века в этом не изобрели. Связи на стороне — отнюдь не прототип современной любви, а наоборот, свидетельство духовной неразвитости, когда человек не способен ни на что лучшее, чем заменить одно тело другим. Индикатором животности прелюбодеяние остается до сих пор. Настоящая любовь начинается с перерастания формальной супружеской верности в верность духовную: навязанный чужой властью брак становится личным выбором и выражением духовной свободы — ради которой можно пойти на смерть.

Вспомним *Песнь о Роланде* — далекую от какой-либо куртуазности. Служение сюзерену предполагало и заботу старшего о семье вассала; в частности, супругу погибшего рыцаря король мог личным указом выдать замуж за другого — чтобы не оскудели ряды знати. Но красавица Альда, назначенная в жены Роланду, не такова: *Да не будет угодно богу, ни его святым, ни его ангелам, чтобы мне остаться в живых после Роланда!* — и падает бездыханная к ногам Карла. При том что «замену» ей предлагали по тем временам совершенно безупречную: сын короля и его наследник — то есть, по сути, все королевство. В поэме из четырех с лишним тысяч строк эпизод всего в 29 строк — почти ничто. Никаких украшательств: строго и с достоинством, сухая сводка «фактов». Однако эти две строфы дышат глубочайшим лиризмом — и тысячу лет будят человеческое в людях. Сотни лет спустя Кристина Пизанская точно так же останется верной умершему мужу — но будет жить ради детей, —

публично отстаивая право женщины на высшую духовность и переливая искреннее чувство в невероятно мощную, пронзительную поэзию.

В куртуазной любви человеком — почти всегда оказывается мужчина, а женщина лишь предмет, повод для раскрытия его талантов. Мир мужчин отделен от мира женщин — как земля от небес. Тот же Роланд ни разу не вспомнил о невесте — хотя его дружба с Оливье, братом Альды, стала таким же верным знаком зарождения в недрах средневековья духовного единства людей, как и любовь Альды. Так сложилось, что у средневековой любви — женское лицо. Когда графиня де Диа напоминает (конечно же, безмянному) возлюбленному о том, как ласкала его пуховыми волнами груди и призывает дать клятву, что без нее у «заветного лука» не загудит тетива и его «сокол» не взмоет под небеса — это разительно отличается от настроя мужской поэзии, совершенно безразличной к чувствам дамы, не требующей взаимности. Конечно же, вовсе не потому, что не было по-настоящему любящих мужчин; просто говорить об этом не принято.

И снова: зарождение человеческой любви возможно лишь в реально существующих культурных формах. Графиня де Диа мечтает взойти на ложе с «истинным, любимым мужем». Вальтер фон дер Фольгевейде (которого причислять к миннезингерам можно лишь условно — это поэт другого калибра) воспевает супружескую любовь (безотносительно к формальному закреплению) и верность — вот он, переход к настоящей любви от куртуазных абстракций:

Любовь — двух душ соединенье.

Без разделенных чувств любви счастливой нет.

Даже эмансипированные дамы наших дней в потаенных глубинах души представляют любовь чем-то вроде «законного» права на обладание друг другом — просто потому, что не видят более подходящих форм в капиталистической действительности.

Пятьсот лет куртуазных игр воспитали цивилизованную Европу до такого уровня, когда свободная любовь уже могла выйти из тени и высветить жаркими лучами самые укромные уголки человеческой духовности. В XVI веке феодализм безоговорочно господствует — но уже слышна железная поступь рыночной экономики, вседвояющей буржуазности. Один из первых «коммерческих» писателей эпохи, Франсуа Рабле, рассказывая о смешанных чувствах Гаргантюа после рождения Пантагрюэля, оставил непревзойденный образец лиризма — песню двойной любви: к супруге и к сыну. Тем самым намечается

осознание множественности форм любви, ее бесчисленных воплощений. Через полтора столетия после Кристины Пизанской, возвышенность и глубина всплывают в поэзии Мелена де Сен-Жёлэ — и позднего Ронсара, его достойного преемника. Искренность, подлинность переживания — на фоне глубочайшего уважения к любимой, остающейся женщиной, человеком, а не символом или отвлеченной идеей. С другой стороны — зародыш выхода за рамки ограниченного понимания любви как всего лишь связи двоих: не только наличные культурные формы становятся материей любви — но и сама любовь способна дать форму тысячам проявлений духовности, развивается в универсальное общественное явление. Духовное производство готово стать достоянием широчайших масс, а не только правящего меньшинства.

Роль мощнейшего катализатора этого перехода играет лирика Шекспира, яркая демонстрация возможностей любви как универсальной формы духовности. *Ромео и Джульетта* — формально возрождает куртуазную идею общественной пропасти меж влюбленными; однако здесь мы видим любовь живых людей: Джульетта духовно выше диковатого Ромео — но она вовсе не богиня, и умеет одухотворить обычную плоть, поставить возлюбленного рядом с собой.

Решительный прорыв — XVII век, взлет «изящной» словесности (*préciosité*). Политика и экономика по-прежнему в руках мужчин — но слово любви объединяет десятки талантливых женщин, косвенным образом утверждающих свое право освоить все стороны общественной жизни. Если аристократическая стилистика отеля Рамбуэ во многом еще носит налет куртуазной театральности, с середины века ярко буржуазный салон мадемуазель де Скюдери вызывает по всей Европе лавину «альковных» салонов, а также их низовые варианты — вплоть до современных вульгарных имитаций, претензий на дух «благородных» собраний. Средневековье оставило память о куртуазных кружках Альеноры Аквитанской и ее дочерей — но там дамы лишь создают среду, декорации театра, в котором главными действующими лицами должны быть мужчины. Новые салоны — для самостоятельных, активных женщин. Разумеется, доступ в альковы не закрыт и для мужчин — но хозяйка дома вправе самостоятельно определять круг избранных, которым иной раз приходится побороться за честь. Практически все известные литераторы эпохи, как бы ни сторонились они дамских развлечений (частенько перерастающих в нарочитую вычурность, смешное кокетство), так или иначе связаны с салонами, и

не избежали их влияния (хотя бы избирая их мишенью для насмешек). Литература альковного круга вряд ли может претендовать на высокую художественность — но это и не входит в круг ее исторических задач: важно сделать рефлексию, хотя бы в принципе, доступной всем, спустить на землю с ее высокого аристократического пьедестала — подобно тому как куртуазная поэзия разделалась с божественностью богов. Без этого шага, без свободы сознательного отношения к вещам, невозможно сознательное отношение к духовности другого человека — которое, по сути, и есть любовь.

Итак, в эпоху становления и развития феодализма как общественно-экономической формации еще нельзя говорить о рождении любви как таковой: она синкретически встроена в производственные отношения и проявляет себя лишь как скрытый смысл средневекового быта, нечто сопутствующее основным принципам культурного движения, особая окраска бытия. Только при капитализме, в эпоху всеобщего разделения труда, любовь явно отделяется от прочих сторон воспроизводства материи и духа, культурного строительства. Однако рыночные формы обособления лишь противопоставляют одно другому, не дают вместе работать на общее дело. Поэтому буржуазная любовь — чистой воды абстракция; по сравнению с лубочной красочностью античности и средневековья — она выглядит бледной немочью. Это впечатление обманчиво: сравниваем-то мы не себя с далекими предками, а себя с собой, перетолковывая прошлое на современный лад. Мы говорим о любви трубадуров, труверов и миннезингеров, как если бы им были уже доступны наши представления об индивидуальной половой любви — вместо безликости синкретизма, пытаемся восстановить целостность разорванной на пустые абстракции капиталистической духовности в исторически известных формах. В качестве первой стадии освобождения любви от рыночных оков — это нормально; главное — не заблудиться в иллюзиях и приступить-таки к сознательному строительству самих себя: вместо того, чтобы ужимать да обтесывать дух под не самые удобные вместилища, — задумать и строить новый мир, достаточно просторный, чтобы не стеснять ничей полет. Мы обращаемся к прошлому, чтобы взять разгон перед броском в будущее. Оглядываемся — и решаемся на следующий шаг.

Разумеется, следовало бы прикоснуться и к опыту других культур: арабской, персидской, тюркской, китайской... Это отдельная большая тема, и когда-нибудь отыщется время и для нее. А пока попробуем

углубиться чуть дальше в прошлое, отыскать истоки духовных исканий раннего европейского средневековья.

На первый взгляд может показаться, что античность до отказа набита амурчиками всех сортов — да еще и тянет из века в век старые «темные» культы, замешанные на оргиастических обрядах и храмовой проституции. Похождения богов — вперемешку с приключениями людей; и те, и другие не прочь иногда (телесно или духовно) смешаться с животными. Наваристая похлебка из кровавой чернухи, исторических анекдотов, предрассудков, искрометного юмора, мистических идей и едкой публицистики...

Напротив, философски настроенный читатель с удивлением обнаруживает, что за словесными обозначениями, в общем-то ничего не стоит — и ничего похожего на духовные поиски современности у греков и римлян усмотреть при всем желании не удастся. Как-то уж очень все буквально, утилитарно.

И те, и другие по-своему правы — но судят они об античности с высоты сегодняшнего дня — очень издавелека. Это нормально, потому что в прошлом мы ищем ключи к нашим злободневным вопросам — чтобы хотя бы наметить повестку дня: куда рулить? Но эту неизменную предвзятость следует-таки осознавать и не видеть в предках то, чего в них отродясь не было. Для общего знакомства — полезно помнить, что мотивы поступков у древних были свои, и воспринимали они дела и слова несколько иначе; в частности, то, что мы сочли бы эротикой, могло на деле быть лишь идиомой, данью традиции, культовым или общинным предписанием. Для философии — важно не принимать собственную рефлексию древних — заведомо несовершенную, — за чистую монету: развитие культурных форм самосознания отстает от развития сознания, а за вроде бы нейтральными суждениями часто прячутся невидимые их носителям движения духа.

Даже памятники средневековья далеко не всегда позволяют судить о первоисточниках: чаще всего это поздние списки (или даже печатные издания), которые намеренно «улучшались» на протяжении сотен лет. Тем более трудно реконструировать явления, отстоящие от нас на несколько тысячелетий: многое просто уничтожено в пылу борьбы с язычеством — или в пожарах междоусобиц; что-то дошло лишь в (неточных) цитатах, вольных пересказах, толкованиях и переводах. Сохранившиеся тексты — потому и сохранились, что отвечали каким-то требованиям новых общественных сил, — и были, вероятно, не самыми

типичными для своего времени.¹⁸ Ренессансный подъем интереса к античному наследию сыграл с ним злую шутку: в сознании обывателя (включая ученых историков) закрепились идеализированные штампы, ходячие мотивы искусства переплетены с правдой воспоминаний, — хрестоматийные тексты склеены из многих осколков и канонизированы другой традицией. Популяризация плавно перетекает в вульгаризацию.¹⁹

Процесс очистки античного наследия от поздних влияний набирает темпы в XX веке — но происходит это на фоне грандиозных мировых коллизий, что никак не способствуют снижению градуса политической ангажированности...

Главная опора в дешифровке античной истории духа — следы материальной культуры, древнего быта. Лишь на этом основании можно разумно интерпретировать письменные свидетельства (художественные или деловые), формы изобразительного искусства (включая орнаменты и украшения). Научиться читать между строк. Без последовательной методологии тут не обойтись.

Прежде всего, внутри каждой культуры прослеживается общее движение от синкретизма к аналитичности, — а приходящая ей на смену эпоха становится историческим синтезом, возвращением единства. Поразительные параллели между этапами развития рабовладельческой формации и феодализма наводят на мысль о фундаментальных законах внутреннего движения на каждом уровне цивилизации. История искусства как бы повторяется на каждом витке — по крайней мере, если брать формацию в целом: понятно, что греческая и римская история — идут разными путями²⁰, и что свои этапы в каждой из различных внутри них эпох, — но движение духа не следует за всеми поворотами экономики, а, скорее, подытоживает относительно однородные участки исторического времени.

Но было бы ошибкой понимать культурное подобие слишком буквально. Ясно, что исходные синкретизмы средневековья никак не могли получить развернутое выражение на более ранних этапах, на базе

¹⁸ Известный пример — трагедии Еврипида, которые не пользовались успехом в Афинах классического периода, но стали очень популярны в эллинистическую эпоху.

¹⁹ Например, мы привыкли говорить про Пигмалиона и Галатею — но супруга Пигмалиона всегда оставалась безымянной, а чужое имя приписал ей Жан-Жак Руссо, через две тысячи лет.

²⁰ Тоже не без параллелей и аналогий; так, например, российская культура наверстывала уроки европейского средневековья сотнями лет спустя.

совершенно неподходящей для этого экономики. Общелогическое движение начинается в античности с другого синкретизма — не в смысле чего-то «более синкретичного», а в ином качестве, отвечая на другие вопросы. Все основные темы куртуазной поэтики и ее преодоления уже намечены в истории античной культуры — но еще не могут зазвучать сами по себе, и остаются лишь намеком, внутренней возможностью, глубинными слоями более насущных проблем.

В качестве рабочей гипотезы, рискну предположить, что история античной любви выстраивается вдоль единой оси, вокруг центрального вопроса об осознании любви как истинно человеческой способности, ее отделении от всяческой животности. По сути, это вопрос о духовности как таковой — и этим занимается не только искусство, но и наука, и философия (которые пока не слишком отличаются друг от друга).²¹ Только на этой основе возможно дальнейшее одухотворение человека (становление личности) и возникновение индивидуальной, свободной любви.

Когда мы говорим, что в античности не было любви, это не значит, что люди вообще ее не знали. Отдельные проблески того, что мы называем любовью, можно уловить в дошедших до нас следах. Однако любовь существовала не как особое явление, а как одна (не самая значительная) из сторон жизни, сопутствующее — но не определяющее.

Такая характеристика может показаться странной на фоне десятков литературных историй о смерти из-за любви — но если присмотреться, оказывается, что почти все они о чем-то другом, для чего любовь становится лишь поводом, внешней формой. И подлинное чувство можно заподозрить как раз там, где нет слов: например, у Софокла в *Антигоне* сын тирана Креонта не говорит о любви — но готов убить отца за свою нареченную, и в итоге убивает себя. На первом плане другое: распад родовых норм и становление нового типа общественных связей, переход к господству отношений собственности. Мы же видим проблеск нового времени — и вовсе не факт, что древние расценивали это как-то похоже. Тем не менее, искра духовности не случайна — она говорит о том, что уже есть, но еще не нашло прямого выражения.

²¹ Да, мы видим *терминологическое* различие науки, искусства и философии (например, у Аристотеля) — но античные категории не соотносятся напрямую с современными, и говорят лишь о разных сторонах синкретической рефлексии, из чего впоследствии разовьются аналитические ветви, разные отрасли духовного производства.

Синкретизм античной любви, впаянность в обыденные формы, определяет три основных ее отличия от духовности средневековья. Прежде всего бросается в глаза, что это еще не сознательный выбор, а веление внешней силы; поскольку же человек стремится выделиться из животного мира, он объявляет эту силу богом. Положение человека между животными и богами — характерная черта античной рефлексии; у Аристотеля это превращается в жесткую логическую схему, на которой построено все его этическое учение: добродетель как среднее, уход от крайностей. В искусстве же человек часто оказывается между молотом и наковальней: животное и божественное борются в нем с переменным успехом — но и то, и другое пагубно, и ведет к смерти.

Человек не может противиться велению богов — и ему остается только играть на распрях между ними, призывать на помощь кого-нибудь сильнее и влиятельнее. Когда единый христианский бог свергает языческие абстракции, у человека вообще не остается союзников — и любовь прячется, вытесняется из культурного оборота до того момента, когда куртуазная революция отберет у бога монополию на духовность.

Заметим, что античные боги с людьми особо не церемонятся: когда им приглянется кто-то из смертных, они просто берут свое, без особых переживаний. Очевидная проекция: точно так же рабовладельческое общество относится к рабам.

Еще одна примета синкретизма — сугубо частный характер любви. Речь идет о любви конкретного лица (человека или бога) к другому лицу. Может показаться, что идеальность куртуазной любви — шаг назад, по сравнению с античностью: вроде бы, живые любят живых — иногда очень живописно... Однако на самом деле античная любовь далека от отношения личностей: духовное в человеке пока неотделимо от телесного — это всего лишь цельность, а не целостность. Влюбляются в кого-то целиком — тонут в этой любви до конца.

Отсюда третья характерная черта античной любви: ее узость, ограничение сферой пола. Человек идет на любые ухищрения, чтобы добиться взаимности, — но ему в голову не приходит сворачивать горы ради любви, перекраивать вселенную. Для подвигов — другие мотивы. Опять же — за редкими исключениями, когда влечение к человеку объективно идет вразрез с господствующими порядками.

Любовь между людьми (в отличие от любви богов) античность почти полностью подчиняет брачно-семейным отношениям; оно и не удивительно: во многом это так и по сей день — с той поправкой, что

буржуазный брак уже не имеет отношения ни к продолжению рода, ни к сексу; это просто бизнес. Даже легкие добрачные и внебрачные связи античная литература (в отличие от ранней, общинной обрядности) трактует как разновидность семьи (по понятиям, а не по закону). Со всеми вытекающими последствиями.

Разумеется, за тысячу лет многое менялось. В древнейшие времена (до Гомера и чуть позже) человек лишь начинал осознавать свою роль в этом мире, и в его сознании боги практически неотделимы от людей, а люди принципиально не отличаются от животных, или неодушевленной природы (наследие первобытного анимизма). Отсутствие определенных границ выражено в мифах и эпосе: боги подобны людям (а не люди богам!), живут в одном мире с людьми, состоят с ними в тесном родстве, действуют с ними или против них; любовь человека к животным (как, например у царицы Пасифаи) — уже не совсем обычна, но вполне мыслима; и порой боги любят земных женщин в облики животных и птиц (а то и в виде оплодотворяющего дождя). На рубеже классического периода (V век до н.э.) — старая мифология превращается в сказочный антураж, переосмыляется, исходя из отчетливо видимой триады: *природа* → *люди* → *боги*. Сотню лет спустя это разделение закрепляется и античной философией. Но к концу эллинистического периода (минус первый век) среднее звено решительно преобладает: люди все еще чувствуют родство с природой и испытывают почтение к богам — но по жизни уже не принимают в расчет ни то, ни другое; поступки людей — от их собственной природы, и божественность — лишь особый душевный склад. Это начало синтеза, завершение античной культуры и подготовка следующего этапа.

В этом контексте развивались и проявления любви, и представления о ней. Если древнейший эрос — мрачноватый дух первородной стихии, благодаря которой соединяются небо и земля, порождая все живое (включая богов и людей), — классика придает ему человеческие черты, оставляя за ним право самовольно распоряжаться судьбами людей и богов — но отделяя от Афродиты, олицетворения чувственности, одухотворенной красоты и гармонии (в том числе общественной). Культ Афродиты Пандемос («всемирной»), по преданию, вводит первый устроитель Афинского полиса, легендарный Персей. Старому эросу дали в подмастерья Афродиту Уранию («небесную»); понимать высшую гармонию дано не всем: эротика здесь отделена от продолжения рода; Платон использует синкретическую традицию и отождествляет

«небесный» эрос с любовью к мальчикам — которая отличала античную культуру вплоть до принятия христианства.

Когда Энгельс говорит об афинских мужчинах, которые «погрязли в противоестественной любви к мальчикам» [21, 68] — он не только обнаруживает чисто буржуазное филистерство, не просто проецирует мораль одной эпохи на другую, — но и отходит от фундаментальных принципов исторического материализма. Явление, ставшее характерной чертой огромной исторической эпохи и пережившее немало внутренних катаклизмов (включая взлет и падение Афин), никак не может быть объяснено субъективными причинами — требует материалистического анализа. Нерепродуктивное половое поведение (которое встречается и у животных — например, у собак) становится формой чего-то иного. Вспомним хотя бы, что человек по самой сути своей есть существо противоестественное: его главная задача — своей деятельностью изменять мир, приносить в него то, что не свойственно неживой и живой природе, и как правило не возникает естественным путем. Способ производства в классовом обществе насаждает формы деятельности: собственно человеческие черты зачастую скрыты пологом вульгарно-природного поведения. Зарождающемуся духу негде развернуться — и люди невольно попытаются приложить еще неведомую им силу хоть к чему-нибудь; в частности освобождение чувственности от каких-либо «рациональных» обоснований — тоже шаг к осознанию собственной духовности. Это уже не просто телесное удовольствие, а подчинение телесного духу — пусть даже в дико примитивной, неразумной форме. Материальная основа подобных «извращений» сохраняется и при капитализме: поскольку люди зажаты тисками рынка и не могут свободно творить — они находят примитивную отдушину в чрезмерности доступного: погоня за удовольствиями или острыми ощущениями, половая распущенность, религиозная показуха, одержимость искусством, жажда познания, воля к власти, и прочая наркота (вплоть до политических игр — или виртуальных сообществ). Когда самодеятельность масс может занять реальную культурную нишу, вопросы плоти теряют для них всяческую актуальность.

Брачно-семейные отношения — ядро рабовладельческой формации, опора экономики. Любовь тут ни при чем, и супруги, скорее, находятся в состоянии вечной войны — о чем с юмором говорит Овидий:

Жен мужа и жены мужей пусть ссорами гонят,
Словно меж ними в суде длится неконченный спор.

Это — супружества часть, в законном приданое браке,
 А меж любовников речь ласкова будь и мила.
 Вам не закон приказал сойтись единому ложу —
 Силу закона иметь будет над вами Любовь.

Ему вторит еще один насмешник, Ахилл Татий:

Они любят и убивают, они не любят — и тоже убивают!

Но если гомеровские греки (и боги) просто захватывают возлюбленных как военную добычу (таковы, например, три брака Елены Прекрасной), и те зачастую воспринимают это как должное, — эллинистическая утопия семьи исходит из права на выбор, на взаимное согласие, на брак по любви. Конечно, мечты от реальности бесконечно далеки — но здесь мы впервые сталкиваемся с решимостью двоих устраивать свои дела без вмешательства природных стихий, общественных институтов или богов. Может показаться, что от этого рукой подать до современной любви; но потребуется еще две тысячи лет, чтобы превратить синкретическую духовность в единство сознательно выстраивающих свою жизнь ярких личностей.

Как и следовало ожидать, синкретическая любовь легко меняет маски, прячется то в одном, то в другом... Там, где формы общественного устройства не оставляют шансов для достойного супружества — возникает своего рода антилюбовь, идея добродетели, отказ от животного ценной отказом от божественности. Когда невозможно любить — остается хотя бы право противостоять домогательствам. Смертные предпочитают умереть — но не уступить все еще спаянной с телом свободы. Если преследует кто-то из богов — на помощь иногда приходят другие боги и превращают во что-нибудь неподвластное эросу (мифы о Дафне, о Сиринге).

Когда женщина не любит — иногда удается (как феокритовой Амариллиде) отделаться от чересчур настойчивых ухажеров. Или (по совету Овидия) использовать любовников — кто чем богат. Но если угораздило влюбиться — это почти всегда трагедия. Земные мужчины подлейшим образом используют женскую влюбленность и бросают подруг при первой же возможности: Тесей и Ариадна, Эней и Дидона, десятки других примеров. Кто-то погибает — кого-то вводят в свой круг боги (что для человека, в общем-то, равносильно смерти). Как оставаться среди живых? Любовь-то не умирает:

Вся я сгораю о том, кто презренной несчастную сделал,
 Чести жены мне не дав и девической чести лишивши.

Тут события могут повернуться как угодно, и разрушенная добродетель перерастает в крайнюю форму антилюбви — ненависть. У Феокрита колдунья готова пустить в ход «страшные зелья» пришлого ассирийца; по непопулярной версии Еврипида, эмансипированная супер-колдунья Медея — даже не пытается приворожить Ясона: она убивает его невесту, а потом и его детей (которых уже не считает своими!) — чтобы заставить бывшего любовника страдать.

Разумеется, сказки нельзя воспринимать уж очень всерьез: в них всегда больше сказки, нежели намеков (и через это лишний раз утверждается чисто человеческая способность создавать новые миры). Вокруг каждого известного персонажа — цикл самых невероятных легенд, и рассказчики вовсе не обязаны блюсти верность традиции — или хотя бы элементарной логике. Искать стройности в мифологии — все равно что восстанавливать биографию человека по его снам.

Но сама возможность каких-то тем и образов говорит о многом. Например — принципиальный вопрос о различии мужской и женской любви. Ранняя античность оставляет любовь женщинам (вспомним школу Сафо!), тогда как мужчинам положено заниматься серьезными делами государственного строительства. Классический период уже допускает, что мужчина тоже человек — и человеческое ему не чуждо. Наконец, эллинизм занят преимущественно влюбленностями мужчин — тем самым закладывая фундамент будущей куртуазности. Конечно, во многом это поэтическая условность, и чувства мужчин вполне могли быть серьезны и глубоки; однако форма так влияет на содержание: процессы социализации женщин и мужчин проходили по-разному (и различаются до сих пор).²²

Противостоит приземленности любви почти не дошедшая до нас народная традиция — судить о ней мы можем лишь по намекам и следам. Европейская цивилизация рано пошла по пути утверждения (хотя бы мифического) авторства — когда самодеятельность масс стоит вне того, что официально признают творчеством. Это одна из сторон разделения материального и духовного производства — и для своего времени

²² В каком-то смысле, мерой зрелости человеческой духовности может служить культурное устранение различий между полами. Телесное разнообразие безусловно необходимо — чем больше, тем интереснее. Однако эти внешние различия не должны влиять на отношения разумных существ — и уж тем более не ограничивать направления духовного развития.

явление, безусловно, прогрессивное. Однако в итоге огромный пласт древнейшей духовности (восходящей к доклассовому сознанию) ушел в тень и вынужден пробиваться к нам через невольные заимствования и намеренные стилизации. В начале средневековья сказка и народная песня на какое-то время возвращают себе право представлять искусство в целом — но лишь с XIX века интерес к своим корням становится сознательным и вливается в общий поток развития культуры.

Насколько можно судить, разительное отличие любви от прочих сторон жизни производило на древних неизгладимое впечатление: пробуждение чувств как бы вырывает человека из обыденности, дает ему нечто помимо простого влечения и телесной удовлетворенности — но точно так же не зависит от общественного признания и любых (человеческих или богоданных) поведенческих норм. Песни о злой судьбе (а счастливая любовь в древности почти немислима!) — противоположность и дополнение трудовых песен, одно переплетается с другим. Трагизм земной любви в античности находит выражение и в многочисленных местных культах, использующих мифологию и эпос для оформления особых, нехарактерных для господствующей идеологии представлений о духовности. Гомеровская *Илиада* заимствует предание о сражавшихся на стороне троянцев амазонках — но на этой основе складывается возвышенная легенда о любви Ахилла и Пентесилеи, волей судеб оказавшихся по разные стороны войны; культ царицы амазонок долгое время существовал у северных греков и их соседей, порождая многочисленные вариации.

Синкретизм античной любви приводил к гипертрофированию половых отношений — и отставанию в развитии прочих сторон и разновидностей любви. Связь родителей с детьми (а также братьев и сестер) почти всегда воспринимается как заложенная от природы предрасположенность; здесь явный пережиток родового строя. Даже название для этого другое: *στοργή*. Если такие отношения вступают в противоречие с любовью (эросом) — любовь неизменно побеждает; так люди начинают осознавать собственную разумность, которая по самой сути призвана укрощать дикую природу.

Дружба в античности — явление крайне редкое. Женщины почти всегда оказываются соперницами — а распространенность однополый любви среди мужчин неизбежно окрашивает дружбу в эротические тона. Место дружбы занимают разного рода товарищества на почве общего дела: от неформальных до конспиративных союзов (бывшие гетерии).

Понятно, что такого рода единство далеко от духовного родства истинных друзей — и разваливается в трудную минуту:

Уже не связывали этих людей ни дружба, ни хотя бы совесть, каждый думал только о собственном спасении, ничуть не заботясь об остальных. Так большая опасность с легкостью разрывает узы дружбы.

Это, конечно, писано Татием на излете античности — но показательно хотя бы то, что для дружбы в мифологии греков и римлян не нашлось сколько-нибудь популярного божества — тогда как для любви их сразу два (Эрос и Афродита; даже если не принимать во внимание остатки более древних культов).

Причина очевидна: вплоть до эпохи буржуазных переворотов и промышленной революции неорганическое тело человека слишком неразвито, чтобы полноценно поддерживать духовную близость, — и единственным непосредственно ощутимым носителем человеческой индивидуальности и личности остается биологическое тело.

Об античной любви мы судим преимущественно по мифологии и произведениям искусства — потому что другие уровни аналитической рефлексии (наука и философия) эту тему практически не затрагивают. Многотомное наследие главных авторитетов христианского и арабского средневековья, Платона и Аристотеля, лишь краешком касается любви, исключительно в контексте этико-логических проблем или принципов государственного строительства. Но далеко опережающие время прозрения налицо. Так, Платон говорил о духовности любви, о том, как смертная природа (людей и животных) стремится стать бессмертной — но единственный путь к этому дан лишь цепочкой рождений, и потому любовь связана с полом. Он же (мифологически-иносказательно) указывал на многообразие форм любви, и выделял высшие уровни, когда «беременные духовно» вынашивают добродетели и знания, а единожды увидевший свет «уже не сможет жить жалкой жизнью».

Преемник и антипод Платона, Аристотель, отмечал, что основа любви — развитая духовность, и чтобы любить по-человечески — надо выращивать в себе человека. Работа трудная, и «людей таких немного». Невозможно любить вещь (или раба) — ибо вещь не ответит любовью, и невозможно желать блага вещи. Это очень близко к идее взаимной любви у Маркса — но пока не универсально: когда вещь представляет человека — любовь к вещам может стать любовью к человечеству! Тезис Аристотеля, что «другу надо желать благ ради него самого» — тоже из будущего; это полная противоположность куртуазной любви. Почему

история вдруг делает шаг назад? Прежде всего, в силу экономических различий: равенство свободных при рабовладении — и сословная иерархия Средних веков. Но важнее другое: чтобы появилась любовь «равных», надо это равенство произвести, обособить человека, выделить как индивидуальность; это распад античного синкретизма.

Христианство — конец античности, и конец античной любви. На место Эроса и Афродиты (влечения и чувственности) претендует отвлеченная любовь-забота (*ἀγάπησις, caritas*), которая охватывает и сферу человеческих связей, и любовь к богу, и божественную благодать. По большому счету, еще не любовь — а своего рода сигнал: ты мне небезразличен. С полным основанием можно было бы назвать это *уважением* — необходимая предпосылка любви, духовный фундамент. То, что делает всего лишь сообщество — обществом. Но такой синтез не снимает противоположности человеческого мира мирам животных и богов — наоборот, между уровнями иерархии оказывается бездонная пропасть: это иерархия не духовности, а власти.

Историческая заслуга христианства в утверждении идеи духовности как принципиального отличия человека от неразумной природы. Без этого просто невозможна постановка вопроса об индивидуальности человека и развитии его духа через духовность других (любовь). Однако христианская духовность — лишь первоначальный набросок, пустая абстракция, заготовка для дальнейшей работы (которой и предстоит заняться европейскому средневековью). Понятно, что абстракция духа может быть воплощена лишь в абстракции телесности, противостоящей живому человеческому бытию, — в боге. Но христианский бог — итог тысячелетних трудов человеческого самосознания, и он уже содержит в себе возможность материализации, поскольку каноническая троичность единого бога в точности воспроизводит структуру всякой деятельности:

объект → субъект → продукт

или, на уровне всеобщности:

природа → дух → культура

Остается лишь вывернуть наизнанку христианскую логику и перейти от абстракции духа к духовной деятельности, к идеальному воссозданию и пересозданию мира, которое у человека неотделимо от материального производства.

Аристотелевскую мысль об «уравненности» людей в любви новая религия доводит до предела: нет больше противоположности полов,

различия господ и рабов, великих и малых... — все равны перед богом, о каждом его небесная забота, и каждому важно уважить небесное начальство, блюсти высший закон. Это не настоящее, деятельное единство — а всего лишь его тень, иллюзия, абстрактно-математическая эквивалентность. Аристотель объявлял любовь достоянием свободных; христианское равенство безликих единиц — любовь рабов. Поначалу — рабов божьих; потом — пленников сословия, рынка, предрассудка и суеверия. Это импонирует рабам — дает им хотя бы формальное право мечтать и добиваться справедливости. Но построить на этой почве что-нибудь разумное — в принципе невозможно. Религия — отказ от разума. А значит, и от любви.

Христианская любовь, как легко догадаться, восходит именно к тем местам и временам, из которых она пришла в Европу, — к древнейшей истории рабовладельческих обществ Египта и Передней Азии. Это своего рода возврат к истокам, повторение прошлого на другом уровне, в других формах и для других целей. Античная Греция возникла не на пустом месте — она прямая наследница нескольких средиземноморских и азиатских культур, и долгое время развивалась в тесном контакте с ними, перенимая все, что могло пригодиться в европостроительстве. Однако, сами предки становиться европейцами не торопились — и ушли в тень, как бы приглядываясь и выжидая. Пришла пора — и они стали фундаментом новых, эллинистических культур. Начался второй виток приобщения к древности, на волне которого Европу опять перенесли из Азии через Босфор и сделали христианской.

Экономические причины относительно заторможенного развития египетской и азиатской версий рабовладельческой формации еще предстоит выяснить — но в другом месте. По всей вероятности, работает (полуэмпирический) закон исторической инерции: раннее закрепление способа производства затрудняет развитие прочих вариантов — в том числе более прогрессивных, — поскольку им приходится преодолевать не только пережитки предыдущих формаций, но и чрезмерную жесткость архаичных культурных форм. Поэтому раннее становление государственности в Египте и в Междуречье означало и замедление темпов развития рабовладельческой экономики — а значит, и духовный застой. Конечно, все это достаточно относительно: исторические пути разных культур различаются не только количественно, но прежде всего своим качеством, так что страна, отсталая в одном отношении вполне может опережать остальные в другом. Но развиваются народы в тесном

взаимодействии — и преимущество на стороне тех, кто подбирает передовые технологии материального и духовного производства, собирает культурные находки соседей воедино. Исторический опыт приводит к ускорению прогресса — и пока учителя продолжают двигаться в том же неторопливом темпе, ученики обгоняют и отстраняют их, отодвигают на обочину истории. Чем раньше начало — тем разительнее контраст.

Так и оказалось, что великие тысячелетние цивилизации остались лишь исторической репетицией, попытками подступиться к тому, что суждено было свершить античной Греции, а потом и Риму. История не сплошная линия: одна и та же общественно-экономическая формация может быть реализована в разных условиях разными способами — некоторые направления ведут в тупик. В переплетении множества исторически ограниченных линий прослеживается общая тенденция — которую мы и называем формацией, верхним уровнем иерархии. Если речь о материальной культуре — привязка к времени и месту важна, — вплоть до новейшей истории, эпохи глобализации. Но дух — это не материя; более того, именно возможность почувствовать его в разных материалах позволяет осознать сам факт его существования и дальше переходить к обсуждению конкретно-исторических форм. Поэтому история духа прежде всего должна быть абстрагирована от материи — отнесена к формации в целом, а не к частным вариантам, локальным культурам. Здесь мы говорим об античной любви — имея в виду рабовладельческий строй вообще, как необходимый уровень всякой цивилизации. И тогда египетско-азиатские источники вполне способны восполнить исторические лакуны древнейшей античности, от которой почти не осталось письменных документов.

Прежде всего мы видим, что становление классового общества — отнюдь не единомоментный скачок, а длительный и сложный процесс, растянувшийся на тысячи лет. Пережитки родового строя и первобытной общинности — на каждом шагу. Борется с ними цивилизация грубой силой, беспощадно подавляя малейший протест. На первых порах иначе и быть не могло. Отсюда то самое представление о духовности, которое мы встречаем на излете античности у первых христиан:

Всеобщий любимец, он полон очарования, он внушает любовь.
Город любит его больше, чем себя, предан ему больше, чем своим богам.
Проходят мимо мужчины и женщины и приветствуют его с восторгом, — он царь! Он обрел царскую власть еще в яйце,

обратил к ней лик свои еще младенцем. Он умножает число современников своих. Он единственный, он дан людям от бога.

Это о фараоне начала второго тысячелетия до н. э.; но вспомните евангельские сказки о Христе! Ближе к концу своей истории, Синухе величает фараона совершенно теми же словами, которыми битком набита бесконечно однообразная христианская литература. Понятно, что древним евреям все это — близкое-родное. Да, проскальзывает нотка разочарования (след упорного сопротивления доклассовых идей): «Нет человека толпы, который был бы любим, сделавшись начальником». Но высокий благодетель заботится о своем племени:

Я поил жаждущего и направлял на путь заблудившегося.

И народ (по понятиям начальства) отвечает этой начальственной любви полной взаимностью:

Любил он меня, ибо знал, что я могуч.

Вот вам и вся христианская *caritas* как на ладони! Вспомним об Александре, который казнил ближайших друзей за отказ признать его богом; вспомним о культе императора в античном Риме — ради формального закрепления которого христианство и было принято в качестве официальной доктрины. Европейскому средневековью без такой религии не обойтись.

По мере закрепления нового способа производства, борьба против родоплеменных устоев отходит на второй план — уступает место своей противоположности, необходимости поддерживать пока еще слабый огонь цивилизации; древнейшие государства вязнут в бесконечных грабительских войнах, призванных поставлять экономике ее главную движущую силу — рабов. Экстенсивное развитие начинает усыплять дух. История любви топчется на месте, вертится в кругу все тех же фольклорных и мифологических тем (многие из которых гомеровская Греция уже считает своими собственными). Синкретически встроенная в быт литература не дает простора авторской фантазии; фактически, это соответствует уровню устной традиции в древнейшей античности. Классическая античность — рывок вперед. Но ее фольклорные корни очевидны. Так, драма Федры и Ипполита живо напоминает начало древнеегипетской сказки о двух братьях — которую Еврипид, вероятно, мог знать, — но куда вероятнее, что сказочный сюжет перекочевал в Грецию задолго до Гомера и породил много местных вариаций, отзвуки которых мы находим у известных литераторов.

В соответствии с нашей гипотезой, основная духовная задача рабовладельческой формации как первой ступени цивилизации состоит в том, чтобы осознать принципиальное отличие человека от прочих сторон бытия, выработать идею субъектности. В Европе это принимает форму противопоставления человека, с одной стороны, животным, а с другой — культурным условностям и штампам (богам). Как и следовало ожидать, на ранних стадиях развития разделение почти незаметно: животные, боги и люди в древнейших культурах перепутываются друг с другом — налицо первобытный синкретизм. Поскольку человек еще не нашел своего места в мироздании — обожествлению подлежат животные или природные стихии; наоборот, животным и богам придают все больше антропоморфных черт. Характерный пример: шумерская Инанна — это и планета Венера, и богиня любви, и земная женщина... Все одновременно! Она запросто может покинуть сразу семь городов. Точно так же, много веков спустя, авестийская Ардвисура Анахита — одновременно и река, и обительница страны богов, и пленительная женщина... Современному человеку такое представить трудно — но первобытный синкретизм просто не нуждается в отличиях. Заметим, что и в Европе формальное мышление утвердилось далеко не сразу: его время пришло в разгар средневековья, с развитой сословной иерархией. Даже Аристотель, признанный родоначальник метода раскладывания по полочкам и скрупулезного исследования тонких различий, — даже он местами путался в, казалось бы, простых вещах; это несколько его не смущало — и он определенно заявлял о неуместности анализа в каких-то ситуациях и деяниях:

Ведь не во всех рассуждениях, так же как не во всех изделиях ремесла, следует добиваться точности в одинаковой степени. [...] человеку образованному свойственно добиваться точности для каждого рода в той степени, в какой это допускает природа предмета.

В еще большей степени синкретичность сознания была свойственна древнейшему Египту — где государственность (и ее основа — отделение материального производства от духовного) складывается несколько раньше. Никого не удивляло, что целая команда богов (Девятирица) — одно лицо; в этом прослеживаются пережитки первобытности, когда сознание просто не могло быть достаточно индивидуализированным. Нечто похожее мы встречаем и у других древних народов.

Закрепившееся в поздней античности метафорическое отношение к богам как персонификации абстрактных качеств древним цивилизациям

никак не свойственно. Их боги вполне конкретны (и даже материальны); странными этих существ мы находим только с позиций нашего времени. Это прямое выражение того обстоятельства, что сама идея абстрактных качеств еще не сложилась, идеальность неотделима от материи, дух представлен деятельностью — а деятельность у древних тесно связана с материальным производством, и у них почти не бывает рефлексии как таковой. Поэтому и любовь начинается не как чувство — а как телесное действие, включая подготовку, последствия и сопутствующие моменты (окультуренное репродуктивное поведение). Как и у ранних греков, половой акт не отделяется от деторождения — это стороны одного и того же. Пережитки первобытности, родоплеменной организации видны и в том, что любовники или супруги зачастую называют друг друга братьями и сестрами (и в Междуречье, и особенно в Египте, — но и у не столь древних евреев тоже: *Ты сразила меня, сестра моя, невеста*).

Одно из наиболее ярких отличий древнейших культур от развитой античности — особое положение женщины. На первых порах — это материальный носитель духовности как таковой, знак синкретичных представлений о любви. У шумеров цивилизованный человек есть «существо, познавшее любовь женщины-блудницы и вкусившее хлеба и вина». Нашим современникам покажется парадоксом сопутствующее этому грубо хозяйское отношение к женщинам: их мнения никто не спрашивает, это всего лишь «пашня для своего господина» — и от них жестко требуют давать «наслаждение, дело женщин». Но древнему синкретическому сознанию к таким поворотам не привыкать; точно так никаких вопросов не вызывает «предательство» Инанны, отсылающей любимого мужа в потусторонний мир, на растерзание демонам, — хотя она не перестает любить его, и искренне оплакивает.

Дело, по-видимому, в том, что ядро классовой экономики — институт собственности. Родовой строй собственности не знает, и каждый одинаково принадлежат роду; закрепощение женщины, превращение ее в имущество, — одновременно делает ее символом цивилизации, знаком классового расслоения. Так храмовая рабыня, жрица Инанны, в древнем сознании оказывается сильнее всего и всех: стоит ей обнажиться — и мир падает к ее ногам! Только в такой, метафорической (на наш взгляд) форме можно было тогда осознать процесс отделения материального производства от духовного — при котором во главе общества становятся властители духа. Поскольку же человек еще не отделен в сознании от остального мира, давать

наслаждение — было не унижением (как в последующие эпохи), а, скорее, служением женщины, частью ее природности и божественности.

Ранняя любовная лирика Египта пронизана женским началом. Женщина (разумеется, речь только о свободных) могла желать кого угодно — независимо от брачного статуса. Это ее священное право. По всей видимости, женщина (музыкант, танцовщица и певица) оставалась носителем устной традиции на всем протяжении истории Древнего Египта — тогда как интересы господствующего класса (выраженные институированной рефлексией, литературой) обслуживало особое сословие писцов (исключительно мужчин). Многие островные культуры Древней Греции, издревле связанные с Азией и Египтом, перенимают эту женскую линию в истории любви — но уже во времена Сафо²³ поэзия вписана в господствующую идеологию, и к женским вольностям (даже среди аристократок) относятся довольно прохладно. На протяжении второго тысячелетия до н. э. постепенно утверждается патриархальное сознание; в отношении к любви (по крайней мере, в ее официально-литературном представлении) происходят разительные перемены. Достаточно сравнить образы шумерской Инанны — и ее вавилонской преемницы Иштар: последнюю рисуют почти пародийным персонажем, оглашая длинный список ее «преступлений». Женщина становится источником зла, ей приписывают разврат и коварство. Если в наставлениях Птахотепа (конец минус III тысячелетия) осторожность в отношениях с женщинами рекомендуется из-за их природной сути («постижение их — подобно смерти»), сказка о двух братьях (минус XIII век) показывает типичную жену-злодейку — предвосхищая греческие ужасики про Медею. По сравнению с азиатскими и египетскими городами, в Греции этот процесс шел опережающими темпами — и не удивительно, что гомеровские амазонки пришли на помощь именно Трое, отчасти сохранившей прежний статус свободной женщины.

От древних царств осталось немало свидетельств о супружеской любви — как женской, так и мужской. Обращает на себя внимание особый характер такого рода поэзии: здесь уже воспевают не прелести

²³ Харакс, брат Сафо жил в Египте, где влюбился в рабыню-проститутку (родом из Фракии) и выкупил ее, оставшись практически без средств. Освобожденная им Родопис, согласно Геродоту, «осталась в Египте и, так как была очень хороша, стала зарабатывать много денег», — так что Харакс, по сути, оказался на содержании у гетеры, опозорив, по мнению Сафо, честь знатного рода. Этот эпизод истории любви — далеко опережает свое время, он ближе к историям Нового времени (Манон, Виолетта, Кэти...).

избранника или избранницы (то есть, не просто половое влечение), а их добродетели, благородство души и общественное положение. Это вполне отвечает ранее высказанной гипотезе, что в старину именно брак дает подходящую форму для роста по-настоящему духовного родства; общественно-культурная форма половой связи выносит ее за рамки узко-индивидуального чувства — освобождает любовь от плоти.

Как и в античной Европе, дружба в древнейших цивилизациях представлена в основном товариществом, партнерством. О скольконибудь духовных отношениях между родителями и детьми также речи нет. Однако относительно большая степень централизации государств Азии и Египта позволяет проследить рождение еще одной классовой формы любви — патриотизма. Разумеется, как и половая любовь, любовь к родине принимает сугубо материальные формы — это, прежде всего, возможность наслаждаться благами, недоступными «дикарям». Доходит до смешного; когда египетский сановник Синухе живет в изгнании, он говорит о своем высоком положении так:

Бежал человек из страны своей нагим, теперь же щеголяю я в платьях из тонкого льна [...]

Но стоит ему вернуться в Египет — все меняется:

[...] пустыне оставил я мерзость, ветошь — скитающимся в песках. Одет я в тонкое полотно, умашен самолучшим умощением и лежу на кровати.

Оказывается, «тонкий лен» — «ветошь»! Тем не менее, эта наивность обнаруживает одну из важных сторон универсальной духовности — умение гордиться творениями человеческих рук и достижениями культуры. Дело вовсе не в презрении к «варварам» (столь развитом в сознании греческих полисов). Человек начинает понимать свое назначение во Вселенной — необходимость обустроить, одухотворить природу. Очень выпукло высвечена патриотическая тема в шумерском гимне городу Ниппуру, и потом в описании города Урука из вавилонского эпоса о Гильгамеше.

Античная культура, больше занятая поисками духовности как таковой, — отходит от первобытной гордости за свое дело; эллинизм привносит в литературу нотку космополитизма, уделяя больше внимания к великолепию далеких стран, нежели любви к родным местам. В какой-то мере централизация древних царств возрождается имперским статусом Рима; здесь мы видим и стремление провинций примазаться к славе великого города (включая борьбу покоренных

народов за право называться римлянами), и неуклюжие попытки государства насадить официальный патриотизм (заказная *Энеида*). Но возврат к духовной стороне патриотизма станет возможен лишь после преодоления феодальной раздробленности, вместе с формированием наций, как основной формы буржуазной государственности.

Мы видим, что на всем протяжении классовой истории человечества прослеживается становление любви как распад первичного синкретизма и накопление предпосылок для универсального синтеза. Каждая эпоха делает свою часть работы, преодолевает синкретизм определенного уровня. В итоге, развитый капитализм уже позволяет выработать представление об индивидуальности как способе бытования единичного духа, а также о взаимном развитии одной индивидуальности через другую, соединению разных сторон духовности в целостной личности. Разумеется, в условиях всеобщего разделения труда и рыночного хозяйства полноценный синтез невозможен — однако само наличие предпосылок и попытки достижения хотя бы внешнего, формального единства — осознаются людьми как наличие идеи любви, чувствуются как ее дух. Перед разумом стоит вполне конкретная задача: снять классовые барьеры, перестроить экономические условия так, чтобы обеспечить полную свободу духовного развития, свободу любви.

Классовое общество, цивилизация, — необходимая аналитическая ступень развития духа. Общество будущего устранил противостояние одних людей другим, состояние всеобщего отчуждения, войны всех со всеми; в экономике на место соперничества придет сотрудничество — духовная жизнь вместо уникальности каждого выдвинет на первое место взаимообусловленность одного субъекта другим — любовь.

Это означает, что возможность такого объединения уже содержится в цельности доклассовых обществ, предшествующих древнейшим цивилизациям. Мы пока мало знаем об их материальной истории — и еще меньше об их духовности. Здесь нет ни живых примеров, ни письменных свидетельств. Вызревание элементов цивилизации в недрах первобытнообщинного строя продолжалось десятки и сотни тысяч лет; их приметы мы усматриваем в сохранившихся следах, и невольно подставляем на место подлинной первобытности, которая открывается как раз в том, что не вяжется с определенностью классовых черт. Предстоит научиться обрабатывать археологические и этнографические данные, древние тексты и явления народной культуры особым образом, чтобы отсеять позднейшие напластования, отделить знаки цивилизации

от первобытной основы. Возможность этого обусловлена исторической связью эпох, когда прошлое становится фундаментом и материалом строительства будущего, и неизбежно присутствует в нем — хотя бы и в очень переработанном виде.

Первобытнообщинный строй — время становления человеческой деятельности, в противоположность животному поведению. Место биологического рода и вида — занимает *общество*, организация совершенно другого типа, основанная не на особенностях метаболизма, а на общем участии в деятельности, когда одни члены сообщества могут заменить других на определенных этапах; тем самым, возникает абстракция социальной роли — и вполне конкретные механизмы передачи ролей от одних людей другим. Отождествляя свою работу с назначенной ей ролью, человек осознает свое участие в деятельности — и через это вырабатывает сознательное отношение к миру (другим людям, живым существам, вещам, природным явлениям). Сознание — низший уровень духа, основа духовности как таковой, исток дальнейшего развития. Человек еще не отделяет себя от мира — но уже воспринимает некоторые вещи как продукты своего труда, что для синкретического сознания означает также и сделанность всего остального, стремление за каждым явлением увидеть какую-то деятельную силу, дух.

Отличие первобытности от цивилизации в том, что дух для древнейших людей ничем принципиально не отличается от прочих вещей и воспринимается как нечто внешнее, одна из частей мира. Первобытное сознание полагает дух как природную данность — а не как исключительную способность человека. Деятельность — коллективное поведение всего сообщества, и в любой роли человек действует не сам по себе, а как орган рода в целом.²⁴ Соответственно, и сознание первобытного человека — вовсе не индивидуальное, а родовое: все члены сообщества для него как бы тождественны (вплоть до того, что мужчины, якобы, способны взять на себя часть труда роженицы — а женщины оплодотворить сами себя). Важное следствие: дух человека не зависит от его существования как живого существа. Действительно, если кто-то умер, а деятельность, в которой он участвовал, продолжается

²⁴ Мы условно называем первобытное сообщество родом — просто потому, что подходящего названия еще не придумали. Не следует путать это с биологическим видом или родом как экономической единицей в структуре племени (зачаток цивилизации).

(поскольку один из родичей играет те же роли), — это легко интерпретировать как посмертную активность духа, его влияние на земные дела. Отсюда цивилизация черпает религиозные представления о духах предков, загробной жизни или перевоплощении.

Для первобытной общины ничего сверхъестественного (и тем более религиозного) в этом нет: совершенно обычная коллективность всякой деятельности. Следы такого материализма легко найти в письменном наследии всех древних народов. Например, в Библии, в книге Руфь: некто женится на вдове умершего родича — и как бы продолжает его дело, а дети становятся детьми умершего, членами его рода. Похожие обычаи еще недавно существовали у многих народов; в частности, мужа вполне можно заменить гостем (или «богом»). Сюда же примыкает и обрядность полового характера (тантрические ритуалы, «дозволенный блуд» античного Рима, ночные игрища древних славян).

Работу по отделению духа от природы берет на себя классовое общество, цивилизация. Одна из сторон перехода к новой формации — разведение материального и духовного производства (рефлексии) по разным этажам общественной иерархии. Принадлежность классу — автоматически означает размежевание с другими людьми, а это уже акт самосознания. А так как правящий класс узурпирует право вершить судьбу общества в целом, он с точки зрения строительства культуры (как особой деятельности) и представляет собой всяческую духовность²⁵ — и только для него возможно духовное развитие, а значит, и любовь.

Поскольку первобытнообщинный строй связан преимущественно со становлением человеческого сознания, — а любовь предполагает переход на уровень самосознания, — может показаться, что говорить о любви применительно к первобытному человеку вообще нельзя. В какой-то мере это действительно так — по крайней мере, в отношении индивидуальной (например, половой) любви. Но само существование традиционных деятельностей и предполагаемых ими ролей (то есть, установление определенного способа производства) предполагает распределение деятельности в каждый конкретный момент — и принципиальную возможность различия производственных (а значит, и общественных) позиций. Разумеется, подвижное распределение ролей в первобытной общине еще не стало разделением труда — но внутри

²⁵ Парадоксальным образом, осознать это «свободнорожденные» могут только взглянув на себя глазами раба!

синкретизма уже содержатся предпосылки будущих культур; мы уже знаем, что это ведет к опережающему развитию духовности, преднастройке общества на изменение производственных (а затем и личных) отношений. Как только появилось сознание — появляется и возможность (и следовательно прототипы) более высоких уровней духа (самосознание и разум); притаившаяся в недрах синкретизма любовь вполне способна направлять человеческую деятельность — тем более, что на этом этапе люди больше действуют, чем задумываются почему.²⁶ Если человек классового общества уже может чувствовать любовь — первобытный человек просто принимает ее как веление стихий, — любит, не догадываясь об этом. Но даже в отношении половой любви — это вовсе не репродуктивное поведение чисто природного существа, поскольку сам факт действия уже осознан. Отсюда прямая дорога к обособлению причин действия от самого действия — и дальше к общественной специализации, расслоению общины с частичным закреплением ролей за ее членами или группами; так начинается восхождение к цивилизации.

Первобытная любовь не индивидуальна — это такая же функция рода в целом, как изготовление орудий, собирательство или охота. Поэтому и первые формы брачно-семейных установлений (элементов цивилизации) выглядят как групповой брак или выделение брачных классов. Когда такое расслоение произошло — мы видим любовь как родовую функцию, отношение между относительно замкнутыми частями единого сообщества. Синкретичная первобытная духовность выражает себя в формах *будущего* способа производства — поскольку подходящих форм в первобытности просто нет.²⁷ В каком-то смысле это противоположно тому, как зачатки современной любви в классовом обществе вынужденно встраиваются в культурные формы прошлого.

Так как носителем духовности в первобытной общине является «родовой субъект», любовь оказывается духовным отношением рода к самому себе. Так становление разума воспроизводит самую общую схему единства мира в целом, который может как-то относиться лишь к себе — и две необходимые стороны этого отношения, материя и рефлексия, для мира в целом вообще не различаются. Но точно так же,

²⁶ Детские игры сохраняют кусочек этой древности; точно так же народная песня как правило слита с действием, вырванным и производственного контекста — танцем.

²⁷ Это, в частности означает, что мы никогда не найдем первобытности «в чистом виде»: она всегда будет содержать примеси более поздних общественных форм.

как мир распадается на отдельные вещи и состоящие из них «частичные» миры — в первых явлениях духовности возможны иерархические структуры, не похожие на черты цивилизованной любви — и отдаленно напоминающие то, что придет на смену цивилизации. В частности, осознание единства рода — тоже одна из форм любви (из которой потом разовьется древнейший классовый патриотизм). Это сознание — другая сторона универсального механизма развития первобытной экономики, всеобщего уподобления. Человек перенимает у природы и других людей их способы бытия, соединяет в своей деятельности черты самого разного происхождения; относительно устойчивое и доступное всем ядро этого поиска — и есть культурная роль. Первобытный род не просто сообщество организмов — это единство более высокого уровня, среда, в которой возможно поддерживать неприродное поведение человеческих тел. Первая функция первобытной любви — воспроизводство родового единства, включая и его идеальную сторону, иерархию культурных ролей. Поскольку личность и есть определенный способ развертывания иерархии культуры в целом, можно сказать, что первобытный род — всеобщая личность, прототип, из которого будут развиваться любые индивидуализации.

Материальное воспроизводство рода — включает и половое поведение, воспроизводство человеческих тел. Однако было бы преувеличением приписывать половым отношениям какую-то особую роль, по сравнению с другими отраслями первобытной экономики.²⁸ Иначе с духовным производством, еще не выделившимся в особую отрасль. Здесь воспроизводится прежде всего способность человека представлять общество целиком — в каждой из культурных ролей. Поэтому материальным носителем духа становится такая деятельность, в которой явно заметна единичность (пока еще во многом природного) человека, — рождение ребенка. Так и оказывается, что древнейшее искусство чаще всего говорит о половой любви — и носителями его становятся женщины. Конечно, первобытные формы рефлексии не отделены друг от друга и от общественного производства — они воспроизводят его коллективный характер в столь же коллективных действиях. Лишь с развитием специализации, по мере накопления классовых черт, возникает то, что цивилизация считает народной традицией, а затем и фольклором.

²⁸ Свидетельство в той же книге Руфь: выкуп имущества как продолжение дела — включая репродуктивную составляющую.

Первобытнообщинный строй — охватывает огромный период, и внутри него, конечно же, были закономерные этапы, переход от одного уровня культуры к качественно иному. Развитие способа производства сопровождается развитием синкретически связанной с ним духовности. Вероятно, по мере расширения наших познаний о первобытности как таковой (в отличие от следов цивилизации, которыми она представлена в науке) — мы больше узнаем и о зарождении собственно человеческой любви.

Но долгие блуждания по лабиринтам прошлого — не самоцель. Это исходный пункт — так сказать, малая посылка силлогизма. В качестве большой посылки — общие представления о любви как универсальном механизме духовного развития. Надо делать выводы о будущем — выбирать свой путь. Что из первобытной истории послужит подсказкой?

Прежде всего — следует ожидать восстановления общественного статуса всех форм любви: каждая из них жизненно важна для разума в целом, и любящие сколь угодно индивидуально — делают большое общественное дело и заслуживают всеобщего уважения и поддержки. Накопленный за тысячелетия запас возможностей останется — как разнообразие и внутреннее богатство. Но индивидуальность в любви — наиболее полное выражение ее общественного характера. Отсюда стремление охватить любовью все стороны природы и духа, связь с производством культуры в целом — и сохранением ее целостности. Влюбленному мало всего лишь кусочка действительности — хотя бы даже самого прекрасного и возвышенного; ему нужна вся вселенная — единственно достойное поле для деятельности!

Деятельный характер любви — еще один урок первобытности. Уже не потому, что иначе мы не умеем, — а как сознательный выбор. Любовь не просто чувство — это и логика бытия, и утверждение идеала. Смысл жизни. Любовь — значит зажечь другого и самому стать достойным любви. А делают все это не одиночки — но представители общества в целом, во всех отношениях равные ему.

Разумность любви — означает и сознательное развитие ее телесных и духовных форм. Мало осознать собственную духовность — надо еще и сделать ее продуктом деятельности, вылепить каждую любовь по высшим меркам природы и духа. Сотворить себе такую любовь, которая способна творить миры. И тогда мы сможем сказать словами поэта:

Любовь — не то, о чем говорят.

Любовь — то, что делают.

Любовь изнутри

Мир неисчерпаем — и любовь неисчерпаема, как мир. Но, у людей нет (и никогда не было) задачи что-то исчерпывать; наше дело творить, создавать, добавлять новое, чего без нас и появиться бы не могло. Вот для этого мы и присматриваемся к миру и самим себе, пытаемся понять, что уже есть, — чтобы потом сделать не так.

Хороший инструмент в любом деле пригодится — и на помощь приходит логика. Стоит нам нарисовать хотя бы одну схему — логика подсказывает, какие другие схемы из этого можно вывести по когда-то найденным правилам. Не факт, что получится хорошо, — но, по крайней мере, хотя бы что-то получится, и над этим можно думать, примерять к насущным (и отдаленным) потребностям. Если годится — работаем по плану; не подходит — ничего страшного: это тоже опыт — а схемы развертывать будем в другом направлении.

Что мы уже знаем? В любви человек (как субъект деятельности, способность пересоздавать мир) как бы переселяется в другого человека, полностью себя ему отдает, и уже от его лица действует на то, что осталось после переселения, в надежде добавить к этому новые уровни духовного развития (то есть, сделать себя еще способнее). Схематически это опосредование духовного роста другим субъектом представляется циклом воспроизводства:

$$\text{субъект} \Rightarrow \text{субъект}' \Rightarrow \text{субъект}$$

Здесь «предмет любви» (условно обозначенный как *субъект'*) — это не просто внешняя вещь, а полноценная личность, которая объективно существует (то есть дана любящему внешним образом) и ведет себя вполне самостоятельно. В частности, может вообще не догадываться о том, что ее (или его) любят и тем самым духовно подрастают. Однако в качестве предмета любви эта личность (иногда незаметно для себя) обретает новые черты, вступает в такие отношения с другой личностью, когда одно от другого вообще не отделить: любящие и любимые действуют не только сами по себе — каждый из них воплощает действенность другого.

Звучит мистически. Так это зачастую и воспринимает неожиданно столкнувшийся с любовью обыватель; если он к тому же немножко философ или поэт — рождается еще одна мистическая философия или романтическая поэзия. Однако за странной видимостью — вполне

реальные культурные процессы, способы развертывания иерархии материального и духовного производства. Человек в качестве разумно действующего субъекта — не просто совокупность материальных тел (вещи, организмы — плоть), но еще и особая организация их движения, взаимодействия друг с другом — и со всем остальным, что этой плоти не принадлежит (разумеется, различие относительно и условно — но в каждом конкретном отношении оно есть). Эту организацию можно воспроизводить намеренно, подобно тому, как из вещей делают вещь. Однако вещи сами по себе равнодушны к тому, что с ними делают люди; точно так же человек может не осознавать особого (любовного) отношения других людей к нему — которое, тем не менее, существенно меняет общественную значимость его поведения. Например, если я занимаюсь производством гвоздей — я (как правило) понятия не имею, для чего конкретно будут их использовать; в каких-то условиях общественная важность моих занятий очевидна (скажем, если делать не гвозди, а патроны в военное время) — но я могу и не знать, что кому-то в данный момент не хватает именно этого. То же самое в духовном производстве: мы выстраиваем самих себя — и не обязаны делать это «на заказ» (даже социальный); однако кому-то важно, чтобы мы делали себя именно так, — и от этого его самостроительство продвигается вперед семимильными шагами. Так возникает любовь. Во всех ее разновидностях: осознанная или не очевидная, одинокая или взаимная, персонализированная или распределенная...

Когда кого-то любят, он духовно вырастает, независимо от того, знает он об этой любви или нет; а если знает — безотносительно к тому, принимает или отвергает ее. Как бы сам человек ни относился к тем, кто его любит, он через эту любовь приобретает новые грани своего общественного бытия — становится другой личностью. Поэтому цикл воспроизводства (развития) субъекта всегда можно обернуть:

субъект' ⇒ субъект ⇒ субъект'

Эта взаимность — один из важнейших признаков настоящей любви.

Сравнивая триаду любви с универсальным строением деятельности

объект → субъект → продукт

приходим к еще одному взгляду на любовь: тот, кого мы любим, играет роль субъекта в производстве нашей духовности (субъектности); каждый из нас — продукт чьей-то любви. Отсюда вывод: в бездуховном мире духовность не растет. Вульгарный взгляд на человека как

биологическое существо означает в таком контексте невозможность возникновения разума в неразумных обстоятельствах. Поскольку же сущность человека понята как совокупность общественных отношений, логично допустить, что какие-то общественные функции изначально не привязаны к единичному телу, а всплывают как коллективный эффект в системе взаимодействующих тел. Культурное закрепление способов построения деятельности, возможных проявлений сознания вообще, — допускает представление их своего рода «знаками», привязку к чему-то единичному, что мы и называем индивидуальным сознанием; это единичное действует как часть целого — но в итоге оказывается, что целое состоит из частей, и общее движение складывается из многих частных деяний, подобно тому, как письма обозначают речь — и как речь озвучивает письма. Тем самым не только человек представляется совокупностью общественных отношений, но общество представляется совокупностью форм общения конкретных людей.

Объединяя прямую и обращенную триады, мы видим, что в любви человек одновременно присутствует во всех трех позициях, выявляет разные стороны своей целостности, уровни иерархии: он любит, он любим, он любовник (как единство противоположностей, полномочный представитель любви). Для краткости, можно обозначить эти «роли» (общественные функции) буквами *A*, *B*, *C* соответственно.²⁹ Разумеется, сами по себе обозначения никакого смысла не имеют — и не следует ориентироваться на значения слов «по словарю»: здесь это всего лишь ссылки на философские *категории*, которые ни к каким словам не сводятся, и раскрыть их содержание можно только в контексте определенной деятельности (в частности, философствования). Таким образом, от триад любви как «общения»

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow S' \Rightarrow S \\ S' &\Rightarrow S \Rightarrow S' \end{aligned}$$

мы перешли к схеме внутреннего строения субъекта в любви (а значит, и внешних проявлений любви как таковой):

$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

²⁹ От английских слов *amorous*, *beloved*, *concerned*; английский язык взят только потому, что первые буквы слов разные — а во многих языках они частично или полностью совпадают, подобно тому, как по-русски получается своего рода принцип трех *L* — или, по-французски, принцип трех *A*: *amoureux* → *aimé* → *amant*.

Букровка A представляет внутри субъекта S его позицию в первом звене исходной (внешней) схемы $S \Rightarrow S'$: способность и потребность любить в проекции на другого человека (или иной предмет любви), когда этот другой воспринимается как жизненно необходимый и требующий постоянного внимания; такое состояние мы называем *влюбленностью*. Здесь пока лишь возможность любви, активный поиск *себя* во внешнем мире — и потому такая любовь заведомо эгоистична. На втором уровне буква B отвечает противоположной позиции, звену $S' \Rightarrow S$, понятому как «поглощение» другого, превращение его в часть себя; в отличие от влюбленности, мы видим не себя в другом, а другого в себе, как то, что определяет внутреннее (духовное) движение, — и не можем обходиться без него, ибо это означало бы перестать быть собой. Возлюбленность окрыляет: благодаря другому, мы вдруг открываем в себе целый мир. Любить — это всегда прекрасно; но быть любимым — полный восторг. Противоположности сходятся: речь идет в первую очередь *о себе*. Жажда любви служит материалом, которому предмет любви придает определенную форму. Единство материала и формы делает любовь содержательной: это отвечает внешнему единству любящего и любимого (единству в деятельности), снятию любых различий между ними — когда для общества они одно целое, коллективный субъект (при этом слово *любовник* вовсе не обязательно подразумевает плотские утехы: например, *любовник истины* — или *баловень судьбы*). Однако не просто вовлеченность, не только участие в совместной деятельности, — но и сознание тождества одного другому, и важность воспроизводства этой неразрывности; отсюда появилась в схеме букровка C (с намеком на англоязычное словоупотребление).

Условно можно соотнести выделенные таким образом компоненты субъекта с местоимениями *я* (A), *ты* (B), *мы* (C : $я = ты$). В норме эти стороны не противопоставлены друг другу: для полноценного развития нужны все вместе. Условия жизни в классовом обществе, классовое воспитание, способны привести к внутреннему расщеплению, нарушить целостность личности. Если *я* и *ты* противоположны как рыночные агенты — подлинной целостности *мы* не возникает, и это приводит к деградации деятельности и психики (что неизбежно сказывается на уровне внешнего общения). При нормальном развитии *мы* легко превращается и в *я*, и в *ты*: в любой деятельности каждый из двоих представляет их единство, действует не сам по себе, а как бы вдвоем. Такая любовь — не союз двоих ($я + ты$): союз соединяет разных — а в

любви *я* и *ты* — одно и то же. Поэтому, в частности, любовь никак не связана с созданием семьи.

Как только у нас появляется иерархия, есть и возможность ее развертывать различными способами (обращать). На вершину иерархии в каждом из субъектов любви могут выходить те или иные компоненты: когда все хорошо, это происходит динамически, по ходу общения (или общественной связи); но бывает и так, что одна из ролей оказывается субъективно предпочтительной, — как правило, это связано с условиями роста и деятельности, ограниченностью (частичностью) человека в классовом обществе. Так, преобладание уровня *A* может проявляться как склонность к доминированию, стремление построить партнера под себя; с другой стороны, преувеличенное внимание к своему влиянию на другого может (в зависимости от знака) чувствоваться как благодеяние («*я тебе столько дал*») или стыд («*я тебе всю жизнь отравил*»). Напротив, уровень *B* преувеличивает достоинства предмета любви, вплоть до обожествления — и эта требовательность часто делает жизнь любимых невыносимой, поскольку приходится как-то соответствовать идеалу, быть *его* солнцем, — и (в зависимости от знака) светить или обжигать.

Когда партнер легко принимает предлагаемую роль, возникают довольно устойчивые «полярные» пары (*A—B*); однако полноценное (свободное) общение невозможно без регулярной смены позиций, вне обращения иерархии, — а застой неизбежно приводит к деградации отношений, выводу их за рамки субъектности. Капитализм устроен так, чтобы усиливать и закреплять однобокость, деформировать личность — это следствие всеобщего разделения труда. Компенсировать подобные деформации можно лишь изменяя характер совместной деятельности (образ жизни), что в классовом обществе доступно далеко не всем (независимо от имущественного положения).

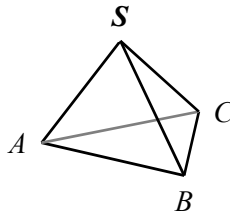
Партнеры (как роль, частичность любящих в одной из возможных структур) могут иногда претендовать на одинаковые позиции: (*A—A*) или (*B—B*). Заметим, что при нормальном общении ничего страшного здесь нет: такие «запрещенные» состояния вполне возможны, поскольку любовь универсальна, захватывает все возможности — не отказывается ни от чего. Виртуальные нестыковки лишь придают пикантность любви, усложняют и обогащают ее, дают возможность сознательно менять историю. Проблемы и конфликты связаны с социальным (рыночным) закреплением ролей, недостаточной подвижностью иерархий.

Точно так же, губительно для любви и застаивание во «взрослой» фазе, на уровне коллективного субъекта (*C*). Личность — другая сторона (уровень) индивидуальности, различия — источник духовного развития. Если нет единичных субъектов — и любить некому.

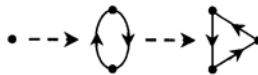
Можно заметить внешнее сходство нашего «алфавита любви» (*ABC*) с психологической теорией Эрика Берна, ставшей стандартом во второй половине XX века. Параллелизм не случаен (в обоих случаях мы говорим о личности) — но относиться к нему надо с осторожностью. Прежде всего — речь о разных предметных областях: психология личности — лишь проекция общественной жизни на биологическую основу, учет качественного отличия человеческой психики от психики животных. Одни и те же схемы получают на этих уровнях (органическом и общественном) разную интерпретацию. Переносить напрямую выводы из одной предметной области в другую — логическая ошибка: перенос возможен, если есть ясное представление о связи предметных областей, обуславливающей процедуру переноса («применения»).

В теории Берна уровни личности (*Родитель, Дитя, Взрослый*) — даны изначально и одинаковы у всех и всегда. Это типично буржуазная методология, выражение капиталистического разделения труда. Вместо берновских «гомункулов», наша философия любви говорит о разных сторонах одного и того же, о процессе воспроизводства человеческой духовности, предполагающем развитие сразу всех и переход одной в другую как внутренний процесс, обусловленный реалиями общения в рамках определенной культуры. То, что в психологической теории служит (неопределяемой) предпосылкой ее предмета, у нас взято как продукт деятельности; наша задача — осознать возможность разумной организации этого производства и заняться поиском соответствующих культурных механизмов. Уровни субъекта в любви заведомо не одинаковы у разных людей — поскольку каждый из них участвует сразу во многих производствах, и помимо биологического тела развивает намного более обширное неорганическое тело, индивидуализированную совокупность природных движений по неприродным законам. Это стороны конкретной личности — а не абстрактной личности вообще; отсюда бесконечное разнообразие любви. Буржуазность теории Берна проявляется и в стремлении выстроить «властную вертикаль», поставить *Родителя* над всеми, а *Дитя* закрепить в нижней позиции. В такой схеме *Взрослый* часто выражает претензии буржуазной интеллигенции на исключительное ведение сферой духовности. Это вполне соответствует

действительной организации капиталистического общества — которую буржуазная система социализации вбивает в каждого еще до рождения. В любви ничто не ниже и не выше другого — одно легко становится другим. В какой последовательности мы выпишем буквы ABC — зависит от обстоятельств общения и от того, что мы собираемся в нем усмотреть. С другой стороны — всякое производство (в том числе духовное) регулярно возобновляется, замыкается в цикл, в котором порядок уже не играет роли — и движение одного уровня обратимо на другом. Поэтому следовало бы выйти из плоскости, изобразить развертывание любви в личности трехмерной схемой:



Но и это еще не все. С одной стороны, движение в цикле (ABC) приводит к развертыванию иерархии каждого из элементов: в нем представлены оба других как внутреннее различие, отражение внешних связей; эта идея отчасти проникла и в берновские модели — но в силу жесткого характера межуровневых отношений такое расширение там приобретает оттенок произвола и не раскрывает всех возможностей. Но еще важнее то, что в иерархическом подходе никакая схема не возникает сразу в готовом виде — ее предстоит вырастить из чего-то первоначального. Исходно уровни субъекта в любви не отделены друг от друга — в этом синкретизме субъект сразу будет и одним, и другим, и третьим. Чуть позже (хронологически или логически) возникает сознание расщепления надвое, двоякого отношения к миру (к предмету любви). И только по мере развития общности взаимоотношения этих противоположностей оказывают внутренне опосредованными, превращаются во внутреннюю деятельность, цикл саморазвития личности:



На каждом из этих этапов любовь проявляется по-особому — особенно если учесть, что развертывание иерархии у обоих может происходить по-разному.

Даже это простейшее построение наглядно показывает разнообразие и сложность любви. Нарисовать «полный комплект» формул в принципе невозможно — да и не нужно: достаточно нескольких иллюстраций. Разумеется, было бы странно ожидать неожиданных открытий в том, что практикуют веками и тысячелетиями. Но даже простое упорядочение уже известного позволяет делать практические выводы, сознательно выстраивать свое поведение — творить любовь. Никто, конечно, не будет выверять каждый жест очередной триадой; однако поиграть схемами бывает полезно: уловить основные принципы, получить представление о том, что вообще может быть... В каждом конкретном случае любовь развернется по-своему, а «домашние заготовки» — как пряности: с ними вкуснее, но переборщить ни в коем случае нельзя. Когда мы учимся танцевать — узнаем фигуры, запоминаем связки и вариации; потом остается только танец, в котором все это, конечно же, присутствует — но никто и не вспомнит, что именно, и в какой последовательности. Обрести такую свободу можно лишь годами упорной работы над собой. Любви тоже приходится учиться всю жизнь. Категориальные схемы — удобный инструмент, подспорье в работе. Главное не забыть, что мы говорим не о буквах, и не об абстрактных идеях, — разговор о любви. От того, что мы обозначили субъекта деятельности буквой S — он не перестает быть живым человеком, со всеми его великолепными случайностями; но здесь нам интересна лишь часть этой определенности, бытие в любви. Для имеющихся типов культурной связи мы придумали буквенные обозначения — однако в каждом конкретном обществе такие роли придется воплотить в его собственном культурном материале, увязать со способом производства и всевозможными надстройками. Рабовладельческий строй лишь в зародыше содержит средневековые формы любви; на следующей ступени, капитализм вбирает наследие прошлого — но везде и всюду внедряет рыночное опосредование. Для каждой формации — любовь будет разной внутри каждого класса и сословия, и ей придется классовые барьеры преодолевать (а любовью она становится лишь поскольку это на деле дается).

Любовь не бывает беспредметной — и это мы выражаем схемой

$$S \Rightarrow S' \Rightarrow S$$

Но само понятие предмета любви (любимого человека) подвержено историческим изменениям и культурным вариациям. Первоначально —

всего лишь биологическое тело, возможность удовлетворить половую потребность (поскольку она уже стала человеческой потребностью). Собственно любовь начинается там, где человека уже не устраивает физиология сама по себе — ему важно воспринимать это как часть системы общественного производства, уловить общезначимость по виду животных действий. То же самое можно сказать и по поводу других физиологических надобностей: человек уже не просто ест, спит или еще что-нибудь — он делает это в пределах общественно дозволенного и культурно установленными способами. За вещами всегда стоят люди — это синкретическая предпосылка последующей универсализации любви, и в частности ее вывода из сферы пола. В ходе исторического развития растет удельный вес неорганического тела человека, его включенности (прямо или косвенно) в тысячи разных производств — когда орудия труда становятся продолжением органики, расширяют ее функционал и перестраивают работу организма для эффективного управления этими внешними органами; прежде всего это затрагивает психику и строение мозга — но развиваются и прочие части тела, поскольку им нужно обеспечить мышечную координацию нового типа и соответствующее перенаправление энергетических потоков. Поэтому даже биологическое тело предмета любви ко времени становления первых цивилизаций уже не воспринимается как природная вещь — это общественный продукт, предназначенный для удовлетворения общественных потребностей. Влюбляются не в потенциальный секс, а в нечто хорошо сделанное; прекрасное в любимом — это совершенное выражение культурной функции (какие бы природные формы она ни задействовала).

В классовом обществе, конечно же, и привлекательность носит классовый характер. Во многих случаях внешний облик партнера вообще не имеет значения: важен только социальный статус (класс, имущественное положение, культурные связи, род занятий). Точно так же, влияние любви на личность любящего выражается в терминах соответствия принятым классовым нормам: например, буржуа может искренне любить жену, поскольку она делает его в глазах общества (а значит, и в собственных глазах) порядочным семьянином. Это не его моральное уродство — это уродство буржуазной морали. Тот же пример с другим знаком: в мужской компании не принято обнаруживать излишней привязанности к супруге — и (в зависимости от прочих факторов) возможны разные варианты деформации личности: открытый конфликт интересов («несовместимость» дружбы и любви) — либо

напускной конформизм (расщепление поведения на внутреннее и внешнее), — либо слом, подчинение нормам группы и превращение любви в антилюбовь, ненависть к тому, что всего дороже (отсюда резкий внутренний конфликт, вплоть до распада личности, одичания, или психической болезни).³⁰ Разумеется, все это в миллионах оттенков и нюансов.

Цивилизованная любовь — это любовь к вещам. Человек не умеет разглядеть за фетишем другого человека, и поэтому его личностное развитие возможно лишь косвенным образом, за счет скрытой за вещами субъектности. Поскольку же вещи воспринимаются как продукт деятельности, они всегда для чего-то предназначены; поэтому любят не просто так — а за что-то; поэтому и тот, кого любят, боится не соответствовать этой утилитарности — и не может просто оставаться собой (хотя именно этим он интересен другому). По сути, все тот же поверхностный интерес к телу — но теперь уже неорганическому; разнообразие этих небиологических форм субъектности не дает ощутить их внутреннее единство, воспринимать как индивидуальность. И тогда, по типу замещающего продукта, любовь расщепляется на внешне далекие друг от друга варианты (половая любовь, дружба, эстетство, стяжательство, патриотизм, гуманность...), среди которых возможна количественная градация: любить слойки с шоколадом — это одно, альтруизм — совсем другое, а любовь к богу — вообще третье. В большинстве языков даже названия у таких любовей разные. Как правило, господствующий класс разводит «благородную любовь» и «пошлые страсти», лишней раз подчеркивая общественное неравенство; тем не менее, приходится идеологически оправдывать непосредственно данное общественное единство — отсюда подчеркивание воплощенного в каждом абстрактного «божественного начала», которое на практике отождествляется с одной из форм классовой любви.

Любовь — опосредование духовного развития субъекта другим субъектом. Мы можем не отдавать себе в этом отчета — но что бы мы ни подставляли на его место, приходится выискивать кого-то, чтобы

³⁰ Пример из современной жизни: семья сотрудника солидной фирмы едва сводит концы с концами; когда он хочет что-нибудь унести домой с корпоратива (чтобы порадовать жену вкусеньким), его останавливают и унизительно разьясняют, что выносить из офиса ничего нельзя. Аналогично в советской действительности: в те времена искусственно создавали дефицит книг — и вот, ребенок из бедной семьи пыгается утащить с книжной выставки книгу, которая ему очень понравилась...

«оправдать» себя в собственных глазах.³¹ Если повезет — найдется достойный партнер, и завертится спираль взаимного одухотворения. Но чаще символом любви становится случайно встреченный, а чувство неполноты заставляет искать других встреч (хотя бы воображаемых), разбавлять одну любовь другой. Бывает и так, что никто из знакомых не в состоянии сравниться с идеалом; остается либо любить себя — либо человечество в целом (в надежде, что в этом абстрактном субъекте воплощены какие-то черты настоящей любви). Такие формы любви вполне возможны — но только на более высоком уровне, как снятие любви индивидуальной; если же перескочить необходимый этап — они остаются суррогатами: человек воспринимает себя и человечество как вещи — представляющие духовность, но не ставшие ее носителями.

На следующих уровнях общественного развития складываются прототипы бесклассовой любви: человек приобретает умение смотреть на другого не глазами общества (коллективного субъекта), а своими глазами, исходя из собственных представлений о духовности и путях ее развития. Такая индивидуализация выхватывает из всей совокупности общественных отношений (составляющих сущность человека) именно то, что связывает любящего с любимым, — и в каждой из деятельностей важен уже не ее продукт, а способ действия, проблески субъектности. Мы любим не то, *что* другой делает (то же самое делают и другие), — а то, *как* он это делает (и пытаемся усмотреть духовное родство). Парадоксальным образом, материальная оболочка субъекта приобретает здесь повышенное значение: в каждой вещи мы видим след вот этого конкретного человека, делаем вещь его частью, — и тем самым как раз и возникает уникальное единство вещей, составляющих неорганическое тело человека. Любящий лепит любимого не по своему образу и подобию, а по своему идеалу (одна из проекций насущных тенденций исторического развития), — но оживающее творение точно так же «выскакает» из творца (как природного материала!) его истинный образ, выпукло подсвечивает черты идеала в нем, и в итоге любовники становятся одним телом, и что есть в одном — есть и в другом. Это никоим образом не вульгарное тождество — и тела двух субъектов (поскольку они остаются различными, и потому интересными друг для

³¹ Поэтому так популярны всяческие кружки по интересам: любители пива собираются в одной корпорации, любители музыки в другой... Невозможно просто так любить пиво или музыку — за этим всегда стоит идеал «любителя».

друга личностями) составлены из разного материала; физиологические отправления каждого организма — его собственный метаболизм, но в любви эти природные движения не безразличны партнеру: они напрямую связаны с его собственным благополучием — и влияют на динамику его органов. Такая взаимосвязь со всей откровенностью обнаруживается в половом акте — поэтому представления о любви вообще вырастают у людей из опыта половой любви, и у многих так и остаются на уровне этой непосредственной данности, застывают в первобытных формах. Другая крайность — попытка полностью вытеснить биологическую вульгарность из личностных связей, как во французской «изящной» словесности (*préciosité*). Соблюсти равновесие в намеренно неравновесном классовом мире — дело непростое;³² это, как правило, связано с преодолением классовой ограниченности и становится духовным вызовом исторически сложившейся культуре.

Универсальность человеческой (разумной) деятельности требует становления столь же универсальной индивидуальности у любящего и любимого. Неорганическое тело каждого таким образом расширяется до размеров обозримой Вселенной — и каждый виртуально участвует во всем. Однако эта формальная тождественность не означает отказа от уникальности каждого — и даже наоборот, является ее необходимой предпосылкой. Чем обширнее иерархия, тем больше возможностей ее по-разному развернуть — и разнообразие личности в гармонично развивающемся обществе совершенно неисчерпаемо. Но это означает и бесконечно разнообразные связи индивидуальностей — проявления любви. Здесь переплетаются противоположные направления духовного развития: каждое сочетание одного с другим становится подвижным и многоликим, и эту любовь невозможно исчерпать, невозможно ею пресытиться; с другой стороны, никто не может замкнуться в одной любви, противопоставив ее всему остальному, — каждый связан со всеми, но очень по-разному, — из хаоса форм классовой любви вырастает единство бесконечного (и постоянно расширяющегося) круга индивидуальных связей, включая все возможные опосредования. Может

³² Если писатель знает (и даже иногда по жизни употребляет) «альтернативную» лексику — он вовсе не обязан материться в своих произведениях (за исключением случаев, когда это безальтернативно в художественном плане). Точно так же, нормальный драматург (или сценарист) не будет воплощать свое знание об убийствах в реальном умерщвлении актеров на сцене или перед камерой.

показаться, что человека просто не хватит на все, что индивидуальный опыт неизбежно окажется ограниченным. Но смешайте литр одного газа с литром другого — и смесь прекрасно разместится в том же объеме; точно так же, электромагнитное поле и гравитация запросто уживаются в одном и том же месте: меняется плотность заполнения (плотность «энергии») — а по достижении теоретического предела происходит перестройка всей системы взаимодействий так, чтобы стало возможным еще большее уплотнение. Человек будущего вообще не соотносится с пространственными и временными рамками — его существование распространяется на все, что ему потребуется.

Ясно, что исторические различия в понимании субъекта любви накладывают отпечаток на строение личности: в триаде $A \rightarrow B \rightarrow C$ интерпретация отдельных компонент зависит от культурных условий и меняется от одной эпохи к другой. Так, античный влюбленный всегда имеет в виду конкретное биологическое тело, общественные связи которого лишь составляют необходимый антураж; куртуазная любовь абстрагируется от телесности — и тело лишь представляет нечто другой природы, становится условным знаком (как бы меняя местами телесное и духовное); наконец, новое время постепенно возвращается к чувственности — но уже значительно расширенной и обогащенной собственно духовным опытом, что порождает тончайшую игру материи и духа в каждом конкретном чувстве.

Аналогично, представления о самооценности любимого развиваются от источника удовольствий (или выгоды), через осознание человеческой духовности (божественности), к сознанию безусловной необходимости любви, к переходу от внешних отношений к интимности, к духовной близости и невозможности существовать без другого.

Наконец, рождение коллективного субъекта в любви для античного человека оставалось мифом — любовники продолжали общественно существовать сами по себе, как разные субъекты (за редчайшими исключениями). Средневековье уже допускало духовное родство — которому не нужны никакие материализации. Зарождение капитализма предлагает букет форм коллективности, когда рыночные игроки лишь формально представлены отдельными людьми, а бизнес целиком основан на взаимоотношениях «юридических лиц». Это создает предпосылки для деятельного единства личностей; однако рынок противоположен любви — и она вынуждена прятаться под маской семейности и прочих контрактных отношений.

Уничтожение цивилизации и построение бесклассового общества предполагает снятие любых межличностных барьеров и свободу творческого труда. В этих условиях влюбленность совпадает с творческим порывом, а любимый человек становится принципом организации деятельности; единство того и другого позволяет менять мир таким образом, как если бы это сделал тот, кого мы любим, независимо от степени материального участия. Тем самым снимается и само различие сторон субъекта — треугольник стягивается в точку. Однако это уже не первоначальный синкретизм, полная неразличимость; речь, скорее, о виртуальности движения — которое не наблюдаемо извне, но может проявляться в характерной организации и динамике деятельности, подобно тому, как строение атома влияет на спектры и химические реакции.

Развитие каждой любви от синкретизма к аналитичности и синтезу также принимает формы, типичные для исторической эпохи. Можно заметить, что в античной любви преобладает синкретизм, а для феодальной формации характерно сопоставление противоположных полюсов.³³ Это не значит, что синтетический уровень достижим только при капитализме — но античный синтез, как правило, представлен одной из синкретических форм, а средневековые навязывают сколь угодно развитому духовному движению форму разделенности. Так любовь становится отражением общественного устройства; но вместе с культурными ограничениями в любви отражаются и перспективы развития: люди ведут себя по моделям будущего — и готовят его.

В любом случае, ни одна любовь не рождается мгновенно, сразу во всей красе — любовь надо прожить, как жизнь, вырасти в ней и перерасти ее. Будет это судьбой с первого взгляда или только смутным предчувствием, которому годами вызревать в судьбу, — не столь существенно; первоначальная близость — еще не родство душ, а только ее предпосылка, строительный материал, вершина иерархии, из которой предстоит развернуть нечто поистине универсальное, без чего ни одна минута не будет полна. Способность любить и быть любимыми надо в себе воспитать — развить и то, и другое, воплотить в реальные поступки, и только тогда выяснится, насколько мы разные — и потому не можем друг без друга.

³³ Куртуазная любовь исходит из разделенности любовников, невозможности соединения; если барьеров по жизни нет — их надо выдумать!

Другая сторона того же самого — воспитание любви. Разумно устроенное общество создает условия социализации, максимально благоприятствующие поиску любви и ее свободному развертыванию. Более того, ребенок рождается в любви — становится ее воплощением; по мере взросления он создает одну из возможных индивидуализаций, оставаясь равным любви вообще как одной из сторон универсальности субъекта. Классовое общество не позволяет выстроить такое развитие личности в полном объеме — однако у всех народов, в каждую эпоху, возникали всевозможные «гуманистические» идеи, подкрепленные практикой реализации этих утопий в узком кругу. Узость этой практики обуславливала заведомую предвзятость в оценке достигнутого; как только частные случаи пытаются перенести на общество в целом — скрытые ограничения всплывают на вершину иерархии, и передовая педагогическая система превращается в вульгарную пародию. Тем не менее, накопление социального опыта не проходит бесследно: чисто внешне это выглядит как «смягчение нравов» — но куда важнее рост культуры любви, развитие способности любить и быть любимым.

До сих пор мы обсуждали схему саморазвития (духовного роста) субъекта в цикле $S \Rightarrow S' \Rightarrow S$, которая в этом контексте, применительно к внутреннему строению субъекта свертывается в $S \rightarrow S$ («что мне дает моя любовь»), а развернуто:

$$S \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow S$$

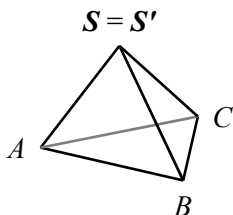
Формально, образ любимого — в самой сердцевине души влюбленного; психологически, именно им определяется переход от опосредованного любовью восприятия мира к действию не от своего имени, а по воле любви. Однако цикличность воспроизводства порождает, наряду с этим, наиболее очевидным, и другие контексты, которые тоже развертываются во характерное внутреннее движение и позволяют присмотреться к деталям межсубъектных отношений (духовных связей). Так, обращение $S' \Rightarrow S \Rightarrow S$ свертывается в контекст $S' \rightarrow S$, а обращение $S \Rightarrow S \Rightarrow S'$ дает контекст $S \rightarrow S'$; соответствующие внутренние иерархии условно представимы линейными схемами

$$S' \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow S$$

$$S \rightarrow (C \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow S'$$

Такие обращения исходной иерархии предполагают снятое внешнее опосредование (синтез в субъекте другого уровня); следовательно, эти структуры характеризуют не единичного субъекта в любви, а именно

межсубъектность, строение единства.³⁴ Обе схемы представляют собой лишь другие развертывания (обращения) все той же тетрады



Однако здесь, разумеется, те же буквы соотносятся с другими сторонами любви; об их «происхождении» от каких-то слов в новых контекстах надо забыть — и честно выяснять категориальное наполнение.

Первая схема говорит о том, как любовь пересоздает влюбленного, пропитывает его любимым. Внешним образом — это *очарование*, стремление все в мире мерить единственной мерой, во всем видеть образ любимого человека, выискивать в каждом событии то, что связано с ним (идет от него). Противоположность этому — превращение любви в жизненный *идеал* (или *призвание*), высший критерий разумности, источник смыслов (в китайской нерелигиозной философии аналогично трактуют категорию *дэ*). Единство противоположностей, их переход друг в друга, — порождает все богатство возможных проявлений индивидуальности, как бы пишет его биографию — любовь становится *судьбой* (аналог китайского *дао*). Конечно, слова можно подобрать и другие; важна суть дела, а не речевое оформление.

Второй вариант — говорит о том, как любящий проявляет свою любовь, перестраивает мир так, чтобы он соответствовал идеалу, — и тем самым меняет (и возвышает) и предмет любви. Непосредственным образом — это его *долг*, его место в иерархии общества в целом, культурная функция. Мы воспринимаем труд во имя любви как первейшую обязанность — и если наша любовь никак не влияет на мир, то ее вовсе нет! Но нам не тяжел этот труд, потому что его другая сторона — *страсть*. Что бы мы ни делали — это форма стремления, самоотдача, порыв. Соединяются противоположности в том, что можно было бы назвать *заботой* (латинское *caritas*, английское *care*). Мир и

³⁴ Если нет особого интереса к логической стороне вопроса — не стоит долго задерживаться на том, как одно из другого получается. В конечном итоге важно что-то узнать о любви, а не о ее формальных представлениях, абстрактных образах.

предмет любви здесь одно и то же, и невозможно заботиться об одном, не принимая участия и в другом.

Христианствующие концепции любви обычно различают и противопоставляют друг другу страсть и заботу как низменное и высшее, как идущее от плоти — или от духа. При этом упускают из виду основание того и другого — созидательную, творческую деятельность, труд. И приходится выводить искусственно оторванные друг от друга стороны действительного человека из чего-то нечеловеческого: плоть от природы, дух от бога... Но и то, и другое — продукт деятельности; любовь соединяет одно с другим универсальным образом — а это и есть определение разума.

Чисто внешне (но не случайно!) эти три взгляда на любовь соотносятся с уровнями синтетической рефлексии: основное обращение показывает логику любви; первое обращение отсылает нас к эстетике; альтернативное обращение — раскрывает этическое наполнение.³⁵ Тем самым любовь способна направлять человеческое поведение во всех его аспектах, заполнять любые грани. Это другая сторона универсальности (и разумности) любви.

Стандартные методы диалектической логики позволяют продолжить развертывание иерархических структур в каждом из обозначенных здесь контекстов. Например, поскольку (внутренняя) категория B опосредует связь категорий A и C , внутри нее (на нижележащем уровне) выделяются противоположные стороны: $B(A)$ и $B(C)$. Для краткости — и чтобы подчеркнуть, что это другой уровень иерархии, — обозначим эти новые категории буквами другого (греческого) алфавита (например, α и γ соответственно); связь между ними на том же уровне представлена некоторой категорией ε :³⁶

$$(A \rightarrow (\alpha \rightarrow \varepsilon \rightarrow \gamma) \rightarrow C)$$

Как обычно, останавливаемся, переводим дух — и соображаем, чему это по жизни соответствует. По смыслу — то, чем предмет любви для нас становится в нашей внутренней жизни, как он «настраивает» наш дух, соединяет единичное с всеобщим. Прежде всего (α), любовь позволяет

³⁵ Не путать с уровнями *аналитической* рефлексии: наука, искусство, философия.

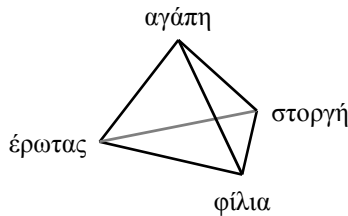
³⁶ Еще раз: сами по себе буквы ничего не значат, и только в определенном контексте становятся чем-то наполненными. Наш выбор ориентируется на традиции философской терминологии — но каждый вправе работать с тем, что лично ему удобнее и навеивает полезные ассоциации.

нам обратить внимание на собственную духовность, почувствовать себя человеком, способным встать вровень с миром. Именно любовь делает человека самим собой, пробуждает его самосознание — а значит, и тягу к самосовершенствованию, которое тесно связано с представлением о любимом как воплощении того, чем должен быть настоящий человек, к чему надо стремиться, чему следует подражать (компонента ϵ). То есть, сначала мы обнаруживаем, что мы очень похожи на свою любовь (поначалу лишь проекция нас самих на кого-то другого) — а потом обращаем внимание на существенные различия; если их нет — куда расти? Наконец, синтез того и другого выявляет нашу общность как взаимную дополнительность в составе целого, возможность быть и собой, и другим (γ); за счет этого мы увереннее идем по жизни — ибо нас всегда готов «подстраховать» тот, кому мы доверяем как (или даже больше чем) себе. Вероятно, этому можно найти подходящие названия (в разных языках разные) — и вместо букв употреблять слова, помня, что всякая терминология условна, и термины осмысленны лишь в рамках определенной деятельности.

Точно так же, возникают обращения триады:

$$\begin{aligned} & ((\gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \epsilon) \rightarrow B \rightarrow C) \\ & (A \rightarrow B \rightarrow (\epsilon \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha)) \end{aligned}$$

Можно было бы условно обозначить ($\gamma\alpha\epsilon$) как иерархию *влечения*, а ($\epsilon\gamma\alpha$) как иерархию *нежности*; исходную структуру ($\alpha\epsilon\gamma$) тогда логично понимать как уровни *вовлеченности* (противоположность влечению), так что сами эти обращения составляют полную триаду — и одинаково важны для духовной целостности и полноты. Собирая вместе все обращения, получаем вполне традиционную тетраду общественных форм любви:



По счастливому совпадению, греческие термины достаточно точно передают возникающие в этом формализме идеи. В том обращении, которое представлено на рисунке (оно соответствует традиционному

словарному толкованию), нетрудно усмотреть, например, обычную для христианства противоположность земной и небесной любви — однако у нас они отнюдь не противопоставлены друг другу! В других обращениях тетрады возникают ассоциации с другими традициями; это наводит на мысль о принципиальной правильности избранного здесь подхода — что, конечно, не делает его единственно правильным.

Понятно, что точно так же можно разворачивать иерархии в других контекстах — это полезные и удобные инструменты для выработки сознательного (разумного) отношения к любви. Но этим мы будем заниматься по лишь мере необходимости, при оценки явлений реальной жизни и плодов рефлексии. Пока достаточно принципиальной позиции и базовых навыков.

Развитие любви в индивидуальном общении или в качестве одной из сторон культуры порождает разнообразнейшие иерархические структуры; их компоненты в разных исторических условиях имеют разный смысл. Об этом надо помнить, исследуя известные примеры любви (будь то реальные истории — или художественные модели, мысленный опыт, практика философствования). Нельзя безоговорочно переносить чувства и поступки наших современников в глубокую древность, и тем более в будущее. Однако в силу единства строения появляется шанс по-настоящему оценить своеобразие — и почерпнуть из любой эпохи полезное для себя.

Природное время — безразлично к человеку и его интересам. Оно вовсе не «течет» само по себе — как всеобщая шкала, мировой порядок. Неживое вообще не отличает одного момента от другого — и время оказывается сродни пространству (хотя сингулярности иногда создают видимость развития). Живое — существует от и до: время впаяно в органику раз и навсегда, отмеряно без вариантов. Только разум умеет создавать порядок, следуя своим целям; как только у нас появляется логическая основа, категориальная схема, мы можем выделить в хронологии то, что с таким видением мира соотносится — и выстроить не историю вообще (таковой может и не быть), а историю чего-то конкретного, — и тогда в этой истории, соответственно строению иерархии, различимы отдельные исторические линии, вплоть до переплетения индивидуальных историй любви. Нет логики — остается хаос неизвестно чего, и любое название будет случайностью или произволом. Есть логика — можно стадии развития понимать как типы, когда развитие историческое становится личной историей.

Любовь — это возвращение к себе через другого: постижение себя, умение оставаться собой, стремление творить себя. Как будет выглядеть любовь — зависит от уровня развития культуры, от набора форм духовности, которые она может предоставить влюбленным. В классовом обществе не всем все доступно, и потому любовь зачастую принимает карикатурные формы, и может в каких-то случаях выглядеть враждой, конкуренцией, взаимным отторжением — или просто отчужденностью. Одно из таких извращений — любовь к вещам, к деятельности самой по себе, которая, вроде бы, не нуждается ни в чьем присутствии; если по характеру деятельности какое-то общение все же предполагается, другой человек воспринимается не как личность, а как партнер, реквизит, инвентарь. На практике, многие совместные деятельности со временем становятся чисто рефлексивными; например, игра в шахматы превращается в разбор партий наедине с собой — а сегодня можно играть и с компьютером. Аналогично — пасьянсы, компьютерные игры, рукоделие, чтение книг — или сериалы. Может такое стать духовным развитием, любовью?

Ответ содержится в вопросе: если деятельность духовно обогащает, позволяет строить иерархию личности, — это один из ликов любви, даже там, где трудно обнаружить ее предмет, другого субъекта. Если же это застой, оскотинивание, — тогда речь не о любви, а о пристрастии, сугубо физиологической потребности (хотя бы и в отношении неорганического тела). Отличить одно от другого, как правило, удастся по характеру интереса: любовь свободна, ей не столь важно, как и когда удастся пообщаться с любимым, — а иногда достаточно одной лишь надежды, или только принципиальной возможности (мне хорошо от того, что ты есть на свете); напротив, пристрастие требует подкрепления, заставляет искать всякой возможности. Но как только начинают добиваться чего-то единичного — это уже не духовность, а корысть, с любовью совершенно не совместимая. В частности, убивает любовь превращение в пункт распорядка дня (или календарную дату). Или формальность ее проявлений: не потому, что каждый раз одно и то же (это может быть очень приятно и возвышенно), — а потому что заранее запланировано и предполагает определенную реакцию.

В любви интересы подвижны, они не подчиняют себе личность, а лишь подсказывают, на что посмотреть: нельзя растворяться в любви без остатка, надо примерять ее то к одному, то к другому — использовать любую возможность развития. Всякий интерес — на время; но мы ни от

чего не отказываемся, и однажды пережитое — остается навсегда. Однако суть разума — универсальность, необходимость вобрать мир целиком. Не обязательно (и даже вредно) бросаться из крайности в крайность, менять все: можно заниматься чем-то одним — но так, что оно понемногу вырастает до размеров Вселенной.

Любовь активна, она заставляет как-то проявлять себя в мире, изменять его ради любви. Но сам по себе этот признак обманчив: добиваться кого-то, делать что-либо ради привлечения внимания или чтобы доставить приятное, — не любовь; в любви достаточно быть вместе (не обязательно рядом), смотреть на все не просто глазами другого, а с точки зрения духовного единства, когда исчезает само разделение любящего и любимого. А это означает возобновление и упрочение духовных связей: я подумал о чем-то своем — но это может быть окрашено внутренним присутствием другого и приобрести его черты; значит, мир уже изменился — потому что мир не только вокруг нас, но и в нас самих!

Не бывает памяти о любви: любовь только в настоящем. То, что постоянно присутствует во всем — уже не память, это вполне живое (хотя бы и виртуальное) присутствие. То что определяет наше будущее, выстраивает судьбу, — вовсе не память, а, скорее, мечта. В любви нет ничего законченного — она и есть развитие, рост, творчество. Поэтому, например, глупо испытывать нечто вроде благодарности (или, в отрицательном смысле, отвержения): еще ничего нет, все только в процессе свершения. Только в классовом обществе процесс могут оборвать, заморозить; но стоит остановить мгновение — любовь в него уже не помещается и тут же находит другое пристанище.

Любовь не бывает чужой — всегда единственная и неповторимая. Можно смотреть на других, замечать любовь, учиться любви — но это не их любовь, а то, как наша любовь выражается в них.

Любовь не сама по себе. Она в нас. Она всегда — сторона чего-то. Значит, это «что-то» вдруг проявляет себя как сторона любви. Тоже не само по себе. Там, где есть свобода, — труд с любовью, и любовь как труд. Где не хватает свободы — любовь в каждом теле может жить лишь как прототип любви; но это означает, что ей придется искать другие тела, склеивать себя по кусочкам из разных любовей.

И встает закономерный вопрос: каким же образом возможно любить кого-то конкретно, когда ни в кого конкретно любовь воплотиться не может? Кто у нас — предмет любви? Любимое существо — или только

его сущность? Получается, что мы любим лишь мечту, абстрактный тип, который реально не существует, — более того, он как раз и создается в любви! Так почему не взять по кусочку от каждого — и любить сразу всех? Пропагандисты эмпирионатурализма тут как тут: реабилитируют групповой секс. Но, пардон, беспорядочные сношения никого еще не объединяли — и даже наоборот: всякая общность разваливается. Конечно, если сложились отношения с несколькими партнерами, которые *на самом деле* связаны в одно целое в контексте этой конкретной любви, — это целое становится коллективным субъектом, и ничего против такой «групповой» любви сказать нельзя. По жизни нечто подобное порой случается. Причем взаимоотношения вовсе не обязаны замыкаться на чем-то одном: они могут развиваться совершенно по-разному с каждым представителем коллективного предмета любви — важно только, чтобы внутри группы сохранялось единство, и связи с группой не распались на связи с ее отдельными представителями. Чем разнообразнее такие отношения — тем интереснее, тем полнее любовь. Например, мужчина равнодушен к двум (очень близким) подругам — и это не мешает им оставаться подругами, независимо от того, состоит ли он в половой связи с обеими, только с одной из них, или вообще ни с кем. В этом случае секс с одной — автоматически становится и сексом с другой (не физически, а духовно!); и наоборот, чисто дружеская привязанность распространяется на группу в целом. Несколько вульгарный пример — приближен к уровню современной буржуазной культуры; на самом же деле, возможны куда более нетривиальные сближения. В классовом обществе какие-то из связей могут оказаться отрицательными: например, жена и любовница ненавидят друг друга — но эта ненависть связывает их крепче крепкого, делает единым существом. В смягченной форме: конфликт любви и дружбы, ревность любовницы к другу, а друга — к любовнице. Ситуация совершенно типичная. В чем соль? Да в том, что все эти внешние формы (семья, приятельство, секс) — совершенно случайны по отношению к любви, а в основе — объективная необходимость развития в культуре особой (множественной) связи индивидуальностей, за счет которой развивается духовность каждого из участников — а с другой стороны, утверждаются новые формы субъективности как таковой, распространяющие понятия индивидуальности и личности на коллективного субъекта. Для чего это нужно? А для того, чтобы в конечном итоге *на самом деле* (а не только в абстракции) образовалась общность человечества в целом —

возможно, с примесью кого-то извне. И тогда — можно будет говорить о стирании границ между личностью и обществом, о любви каждого к каждому как другой грани любви всех ко всем. Это сильно отличается от буржуазной проповеди альтруизма и «социальной ответственности». Говорить о любви человека к человечеству, или о любви человечества к человеку, возможно лишь там, где человек противостоит человечеству, где он мыслит себя именно отдельным существом, — а коллективное самосознание подразумевает подчиненность коллективу (неважно, насколько добровольную). Но именно это закрепощение и призвана устранить настоящая, свободная любовь.

Когда мы говорим о развитии духовности субъекта через другого субъекта, речь не идет о частичных реализациях духа — надо брать все возможные воплощения. На практике эта иерархия будет разворачиваться в зависимости от обстоятельств, превращаясь то в половую любовь, то в мечты о ней; то контакт с инопланетянами — то непредставимое пока родство путей развития духа в разных галактиках (или параллельных вселенных). Ничто не мешает духовной связи через любые пространства и времена. Неважно, сколько веков отделяют меня от моей любви — она уже во мне. Пока при разворачивании сохраняется целостность — в каждом таком обращении представлена любовь целиком. Слишком жесткие связи — разрушают структуру, ограничивают ее лишь верхними уровнями, поверхностными проявлениями. Преувеличенность внешних проявлений — превращает любовь в ее противоположность. Тем не менее, уже на ближайших уровнях мы видим стремление к практическому действию для приведения мира в соответствие с идеалом, и любовь становится способом воспроизводства идеала, эффективно залечивая нанесенные классовыми разборками раны, склеивая разбитое, отращивая ампутированные органы. Восстанавливается и любящий, и предмет любви, — и возможно снятие различия, взаимопроникновение. Тогда в своем идеале мы увидим себя. И так до тех пор, пока каждый не научится чувствовать себя обществом в целом, а целое сохранится в каждой из частей. Да, это трудно — и впереди большая работа. Но почему мы должны равняться на низшее, примитивное, неразвитое? Идеал любви кажется недостижимым — это как раз и заставляет к нему стремиться, и недостижимость отступает. Практическое действие делает невозможное возможным, упаковывает бесконечность в конечное. Давайте трудиться, любить. Не ради чего-то — а просто потому, что мы разумны и по-другому нас вообще нет.

Зов плоти

Субъект деятельности (носитель разума) — единство плоти и духа. То есть, для целого — важно и то, и другое, а ущербность в одном неизбежно отзывается неполноценностью другого. Поскольку любовь определена как универсальное опосредование духовного роста одного субъекта другим субъектом, этого другого мы обязаны взять в его внутреннем единстве — и его плоть нам столь же необходима, как и его разум, его дух. В целостности любви, следовательно, присутствуют все ее проявления (разные способы опосредования), и в том числе прямой физический контакт. Однако разумно устроенное общество не делит целое на противостоящие друг другу внешним образом стороны и аспекты: всякое различие существует лишь виртуально, в рамках единства, как характерная особенность. Только в классовом обществе господство всеобщего разделения труда приводит к расщеплению любви на тысячи разновидностей и оттенков — и сознание людей в первую очередь схватывает эту формальную пестроту, так что неисчерпаемость обличий любви предстает нам не как многообразие одного и того же, а как существенно различные культурные процессы. Одни классы стоят над другими — и в любой области культуры классовый человек склонен выделять главное и ставить все остальное в зависимость от этой, якобы вечной («естественной») основы. В частности, классовая идеология заставляет воспринимать человека не как разумное существо, а как животное некоторого («высокоразвитого») биологического вида, — а собственно человеческие качества (разум) представлены проекциями принципиально общественных явлений на это органическое бытие. Одной из таких проекций, любовь с древнейших времен сводится к половому влечению, сексуальности.

Конечно, существует массивный корпус литературы (прежде всего, религиозного характера), казалось бы, отделяющей любовь как духовное отношение от плотской любви. Однако сама возможность сопоставления и внешнего различия — уже предполагает плоть в отдельности от духа, а следовательно, утверждает сексуальность как «низменное» — но все-таки сопоставимое с «возвышенными» чувствами. Можно подчинить «земную» любовь «божественной» — но устранить нельзя. С другой стороны, о вторичности абстрактно духовной (мистифицированной, обожествленной) любви говорит уже сама необходимость пространно

аргументировать ее предполагаемое превосходство над «бытовыми» чувствами; большая часть этой аргументации настолько заумна и оторвана от повседневных нужд, что массовое сознание вообще не желает иметь с этим дело и предпочитает грубую наглядность, вульгарный житейский опыт. Отсюда «антирефлексия»: обыватель (независимо от уровня интеллигентности или непритязательности) просто не в состоянии мыслить любовь без секса. На этом основании одни напрочь отказывают таким явлениям, как дружба, патриотизм, ностальгия, вкус, забота о детях (или кошках), в праве называться любовью, — а другие, наоборот, начинают выискивать во всем эротическую подоплеку. Вульгаризации возникают не на пустом месте: сплошь и рядом, они лишь выхватывают одну из сторон целого, преувеличивают и абсолютизируют ее.

Тысячелетняя (классовая) традиция всякое различие доводить по противоположности, в сочетании с физиологическим отношением к человеку, формально, внешним образом противопоставляет любящего и любимого — ограничивая человеческое (духовное) общение сферой отношения полов. Двойственность мужского и женского пропитывает всю человеческую культуру (и проникает в сферу искусственного интеллекта); да, в последнее время буржуазная верхушка активно лоббирует однополую любовь и практикует смену пола, — но это лишь надстройка над «естественным» разделением полов, расширение круга допустимых форм телесной связи, банальная комбинаторика, не устраняющая сугубо телесного понимания любви (и все же подспудно подводящая к освобождению от физиологии). В политике по-прежнему актуальна борьба за права женщин — которые, как предполагает сама постановка вопроса, однозначно не мужчины; следовательно, ни те, ни другие не рассматриваются в их собственно человеческом качестве, как разумные существа. В итоге, до сих пор отношения между людьми по большей части очень формальны, поверхностны, лишены интимности; и даже там, где намечается какое-то духовное родство, без секса (или хотя бы его принципиальной возможности) — будто чего-то не хватает... Парадоксальным образом, в заскорузлой животности обнаруживает себя универсальность настоящей любви: поскольку любовь захватывает все стороны межличностных отношений, она не может обойти стороной и движение тел, включая половую связь; другое дело, что сексуальность сексуальности рознь — и развитие духовности порождает иерархию единства плоти.

Отличие иерархического подхода от вульгарных представлений о половой любви, с одной стороны, в существовании многих уровней телесности в культурном поведении органических тел, а с другой стороны — само понятие плоти (и следовательно, плотской любви) по отношению к разумным существам нуждается в существенных уточнениях; кроме того, вместо проекции любви на материальный носитель разума, мы предпочитаем говорить об этой материальной составляющей как об одном из уровней целого, что предполагает качественное отличие опосредованной духом (разумной) сексуальности от репродуктивного поведения животных.

Начнем с последнего. Секс в любви и секс без любви — явления очень и очень разные. С этим, казалось бы, трудно спорить — однако апологеты животности человека предпочитают отказаться от самой идеи любви, и тогда, конечно, не остается ничего кроме физиологии. Для таких «теоретиков» культурные формы секса — лишь совокупность сложных рефлексов, выработанных давлением социальной среды, нормами морали и права. Позиция изначально порочная — поскольку происхождение морали и права (равно как и прочих общественных регуляций) приходится обходить молчанием, а это категории заведомо не биологические; если все-таки попробовать свести их к биологии — придется привлекать для объяснения что-то еще, и снова выходить за рамки чистой этологии; убедительного объяснения на органическом уровне быть не может, ибо качественное отличие человека разумного от любых органических форм у нас всегда перед глазами (равно как и многочисленные рецидивы животности — которые, впрочем, потому и воспринимаются как рецидивы).

Нормальному человеку безразлично, с кем и как заниматься сексом. Даже вроде бы совершенно беспринципные охотники за юбками выпадают из биологической схемы: для них секс сам по себе вообще не важен — им надо самоутвердиться, показать себя с определенной стороны, продемонстрировать превосходство, — не биологическое, а культурное (хотя бы и в бескультурных, классовых формах). Такие «коллекционеры» ничем по сути не отличаются от любителей благотворительности, от ценителей породистых лошадей, раритетных автомобилей, драгоценных камней или китайской керамики: предмет их страсти им глубоко безразличен — важно убедить себя в собственной значительности, компенсировать моральное уродство, не позволяющее проявить себя в чем-то действительно нужном человечеству.

Если спермотоксикоз заставляет кого-то ловить первую встречную девку и насиловать сопротивляющихся — это уже не человек, и даже не дикарь, а просто зверь, — и ему не место среди людей (даже среди преступников). Другой полюс — убежденные мерзавцы, для которых сексуальное (и любое другое) насилие — лишь способ насладиться властью; к сожалению, таких много там, где люди беспомощны и бесправны: в тюрьмах, в больницах, в армии, в воровских шайках, — и везде, где хотя бы временное избавление от нищеты (или шанс сделать карьеру) можно купить телом. К этому примыкает насилие в семье — проблема до сих пор большая для большинства стран, включая экономически развитые.

В человеческом обществе здоровый секс предполагает наличие особой культурной среды, допускающей (но не навязывающей) половую связь и предлагающей необходимые для этого аксессуары. Существует общественно приемлемый диапазон сексуальных действий — и любое годится, если партнеры достаточно интересны друг другу еще до вступления в физиологический контакт. То есть, речь не о том, чтобы довести себя до полной отключки и трахаться по пьяной лавочке (хотя и это в каких-то условиях может стать намерением — преодолением страха); даже приходя в подходящую компанию с планами эротического свойства, человек притягивается к кому-то из присутствующих отнюдь не животным влечением, и его поначалу привлекает не тело как таковое, а надежда на взаимность, совпадение желаний, — и тут уже зародыш любви, сугубо духовного отношения. А любовь и в зародыше — уже любовь: ее возможность есть одновременно и ее действительность.

Конечно, в идеале любые телесные контакты должны следовать за слиянием душ — пропитываться духовностью и служить ее развитию. То есть, сначала любовь — а потом секс (не сам по себе — а как одно из ее воплощений). Но классовый мир далек от этой «правильности»: можно всю жизнь ждать большой любви, да так и не дожидаться. Разумные решения каждый находит свои; в любом случае это не растительное существование, а стремление, поиск возможностей, попытки усмотреть совершенство в несовершенном. Разум призван изменять мир; если человек ничего не делает — он не достоин свободы и любви. При каждой встрече человек не абстрактно общается с другими (в том числе на уровне тел) — он ищет духовную опору, выделяет предназначенное именно для него, собирает настоящую любовь по кусочкам, по незаметным следам. Не с миру по нитке — а подарить

каждому частицу себя и посмотреть, приживется или нет. Чем больше отзвуков — тем вероятнее мощный резонанс, слияние двух душ в одну; не получилось — прошлое не исчезает бесследно, и человек так или иначе находит новое в себе.

Случайная связь способна перерасти в любовь — как и любое другое совместное действие. Важно не просто быть рядом, а почувствовать эту совместность как часть самого себя. Точно так же, любовь вырастает из привычки, из быта, из производственной необходимости... Дух готов поселиться в чем угодно — лишь бы это вело к чему-то за горизонтом, к единству, а не распаду и разобщению. Когда секс не ради секса (или деторождения, или самоутверждения, или выгоды), когда телесные действия обнаруживают человеческие, разумные намерения — да здравствует секс! Какие именно формы выберут партнеры — это их дело. Разумеется, и в этой сфере нужна социализация, усвоение уже известного — и разумный выбор исходя из физических возможностей и духовных предпочтений. Творческое отношение к сексу невозможно без свободы полового образования — но это вовсе не означает, что надо пробовать все подряд: разум на то и дан человеку, чтобы не действовать методом проб и ошибок, а ясно представлять себе, что в какой ситуации уместно, а что нет. Во все не обязательно совать руку в костер (или пальцы в розетку), чтобы понять опасность такого жеста для телесной целостности; не обязательно пакостить окружающим, чтобы осознать неблаговидность поступка. Точно так же и в половой любви следует искать именно любви — и тогда внешне беспорядочная половая жизнь окажется явлением сексуальной культуры, когда эстетика роскошных будуаров не отменяет, а дополняет быстрый акт в офисе (или в лифте), или мастурбацию (кому это интересно).

Человек как субъект деятельности преобразует природное движение в движение культуры: он не следует природным законам, а творит их, активно производит то, чего без человека в природе быть не могло бы. Это касается всех сторон взаимодействия человека с миром — включая воспроизводство плоти и духа субъекта. В частности, производство культурных форм сексуальности — одна из отраслей воспроизводства субъекта в целом. Если у животных половые отношения носят чисто физиологический характер — у людей окультуренный секс предлагает иерархию способов сближения, далеко не все из которых требуют полового акта. Точно так же, как человек сначала задумывает дело и только потом берется за его исполнение — этап замысла, воображения,

эротической фантазии играет важнейшую роль в человеческом (культурном) половом поведении: сначала мы занимаемся любовью идеально — и только потом можем (но не обязаны) перейти к телесному совокуплению. Это не обязательно предвкушение: иногда нам заранее известно, что сближение невозможно, что этому препятствуют дикие обычаи и предрассудки классовой культуры; тем не менее, ничто не мешает влюбленным вообразить себе, как оно было бы, если бы... Поскольку это их совместное духовное движение, по силе воздействия на тело и психику оно ничуть не уступает реальному сексу — а иногда и превосходит его.

Физиология пола никак не выделена среди прочих физиологических отправлений — и люди способны сознательно использовать эти биологические движения для достижения собственно человеческих целей. Первоначально такое преодоление животности принимает все те же животные формы — сознательно оторванные от биологической целесообразности. Секс ради удовольствия — поскольку он отвечает человеческим намерениям — это уже ступенька к разумности; использование противозачаточных технологий еще дальше уводит людей от биологической предопределенности к репродуктивной свободе и от нее к духовной близости, к любви. Когда проповедники вечного скотства гневно обличают онанизм и женские эротические игры, страшат публику якобы тяжкими физиологическими последствиями, моральным разложением и бездной греха, — они обращаются только к скотам, неспособным сознательно приводить в движение косную органику и управлять полетом души.³⁷ Разумный человек знает свои возможности и не будет насиловать собственную природу, доводить полезный инструмент до нерабочего состояния; с другой стороны, любовь не бывает безнравственной — и не опустится до следования расхожей морали.

Животное полностью подчинено своему телу. Его жизнь — это и есть способ движения тела, анатомия неотделима от физиологии. Соответственно, задача организма — гомеостаз, поддержание готовой системы взаимосвязей. В этом плане живая природа подобна неживой:

³⁷ Аналогично, борцы против унитазов обвиняют их в провоцировании внутренних болезней и патентуют истинно природные приспособления, способные радикально ошастливать подсевшее на санфаянс человечество. Точно так же, любители поиграть в экологию тянут людей назад в пещеры, к нужде и лишениям; хорошо приготовленная пища — это преступно, и надо вместо нее грызть сырые злаки некультурных сортов...

гармонический осциллятор, нарушение равновесия — ради возвращения к равновесию. Сознательная деятельность, напротив, призвана выводить природу из «естественного» состояния, заставлять ее изменяться соответственно человеческому намерению, не застывать в локальной устойчивости. Люди используют для нужд общественного производства органические тела — и это движение не подчинено физиологической необходимости, а часто и противоречит ей. С чего бы человеческому телу петь, совершать танцевальные па, писать иероглифы или класть кирпичи? Когда течение деятельности становится слишком устойчивым, воспроизводится без существенных изменений — деятельность перерастает в органическую фазу, воспроизводит законы животного мира на другом уровне; человек свертывает такую деятельность в действие — и находит другие мотивы, ищет новые направления преобразования природы.

Половое поведение животных нарушает равновесие единичного организма — но такое нарушение вызвано собственно органическим движением, накоплением метаболических сдвигов по мере роста — или под действием сезонных факторов. Животное при этом стремится прежде всего разрядить напряженность, вернуть организм в обычное состояние. Это вполне аналогично тому, как поглощение пищи выводит пищеварительный аппарат из бездействия — и заставляет в конечном итоге устранить причину пищевой активности. Точно так же, недостаток питательных веществ способен вызвать мышечное движение, заставить тело переместиться в пространстве — ради восстановления утраченного метаболического равновесия. Особенность полового влечения в том, что оно, в отличие, например, от потребности в пище или укрытии, не играет существенной роли в собственно органическом метаболизме: тело вполне может обойтись и без полового акта (перенаправить возбуждение в другие каналы) — это не критично для жизни отдельно взятого организма. Половая потребность внешне представлена органических отправлений — но она жизненно необходима виду в целом, а не индивиду; поэтому регуляция полового поведения в значительной мере связана с внешними воздействиями, со строением этологической иерархии. Так физиология пола становится у человека одним из первых кандидатов на освобождение от физиологии как таковой с переходом к духовной (общественной, культурной) регуляции.

Человек подчиняет органические процессы (и в первую очередь мышечные движения) велениям духа — общественной необходимости,

которая никогда не удовлетворяется достигнутым и требует все новых преодолений себя. Конечность единичного субъекта — другая сторона бесконечности творчества, универсальной связи всех единичностей в целостности мира. Как и любые иные физиологические отправления, половая жизнь человека — лишь одна из форм материализации духа, стимул к творчеству и его орудие. Однако, поскольку у животных половое поведение изначально направлено не на вещь, а на другого представителя того же вида (и тем самым на утверждение видовой идентичности), социализация, превращение органического процесса в деятельность выводит на первый план духовное производство, развитие субъекта; разумеется, это возможно лишь там, где (и поскольку) субъект отличен от объекта: видеть в половом партнере всего лишь способ удовлетворения похоти, — значит, оставаться ущербным животным, не способным даже полноценно представлять биологический вид.

Материальное производство, результат социализации мышечного движения, направленного на удовлетворение собственно органических потребностей (голод, жажда, дискомфорт и боль), — основа сознания; однако без осознания собственной духовности человек не сможет стать разумным. Окультуренные формы полового поведения ставят на место видовой определенности субъектность, отличие от природы, позволяя не только целенаправленно перестраивать мир, но и сознавать это свое предназначение, стремиться к творчеству. А первый шаг к нему — сознательный выбор партнера и характера общения; в материальном производстве человек точно так же обращает внимание на способ деятельности (и орудия труда), выстраивает природные процессы в соответствии с сознательным намерением. Творческое отношение к деятельности делает ее не рутинной обязанностью, а *трудом*; точно так же, творческая свобода в общении — это любовь. Воспроизводство разума всегда оказывается единством труда и любви, в конкретных культурных формах.

На пути к любви первобытному человеку придется преодолеть много препятствий — и прежде всего овладеть собственным телом, настроить организм на культурность, сделать физиологию выражением общественных процессов. Для этого недостаточно усложнить строение и функциональность мозга — надо, чтобы все остальные органы чутко отзывались на управляющие сигналы, привыкли к ним и ожидали именно их, а не обычных биологических раздражителей. По сути дела, человеку приходится сознательно влиять не только на координацию

мышечных движений, но и на биохимию органического тела. Как показывает опыт, это вполне возможно — задолго до рождения научного метода. Достаточно изменять внешнюю и внутреннюю среду — искать приводящие к нужным реакциям пути. Помещая себя в подходящую (искусственно созданную) среду, человек способен контролировать практически любые физиологические системы: дыхание, пищеварение, секрецию, сердцебиение, динамику мозга. Половое возбуждение — не исключение: его можно порождать и гасить, усиливать и снижать, превращать в другие виды органической активности. Однако сама по себе эта возможность не станет собственно человеческим действием: цирковой аттракцион лишь демонстрирует пластичность и подвижность органики — а смысл ее практического использования определяется общественными связями и организацией труда. Там, где органическое движение ведет к поставленной (сознательной, то есть общественной) цели, — мы работаем с собственным телом; если те же задачи проще решить другими методами, чудеса физиологии останутся эмпирическим курьезом (таковы практически все спортивные рекорды). Точно так же, умение добывать огонь трением почти ничего не значит в мире, где есть газовые горелки и электричество.

Попытки приспособить половое влечение к общественно полезному труду предпринимались испокон веков. На заре цивилизации регуляцию полового поведения подчинили общественному разделению труда — превратили в инструмент закрепления классово-структурной структуры. Сложные правила брачной комбинаторики — не биологическое приспособление, и направлены они не на сохранение генетического разнообразия (как уверяют нас поборники биологизации человеческой истории), а на разграничение доступов к совокупному общественному продукту (включая, разумеется, и производство биологических тел, и плоды рефлексии). Принципиально неприродный характер таких установлений приобретает особую важность там, где правила сознательно нарушают, запуская тем самым цепочку культурных изменений, прежде всего влияющих на развитие субъекта — и направления социализации. Например, одним из первых открытий глубокой древности стало осознание связи половой активности с деторождением; для животного эти явления никак не связаны; еще в XIX веке некоторые сообщества допускали зачатие «святым духом» — и на этот счет существовала достаточно развитая обрядность. Подчинение половой связи целям (общественного) воспроизводства биологических тел вызвало к жизни

многочисленные методы стимулирования деторождения и различное отношение общества к участникам этого производства в зависимости от их (уже не природной, а сознательно культивируемой) плодовитости. В древнем Китае мужчины приучались к длительной эрекции, к обильным эякуляциям; для этого, наряду со специальными упражнениями и физиотерапией широко использовали всякого рода снадобья и даже хирургическое вмешательство. На более высоком уровне, мы встречаем то же повышенное внимание к эрекции и ее стимулирование — но уже вне связи с деторождением: тантристы специальными упражнениями вырабатывают способность постоянно находиться в состоянии полового возбуждения, не доводя дело до оргазма, — что, по их представлениям, способствует духовному просветлению и творчеству во всех областях. Легко видеть, что какие-то реальные основания за этим есть: известно, что резкое повышение общего тонуса организма в состоянии полового возбуждения приводит к своего рода сенсублизации, обостренной восприимчивости и чуткости (тогда как завершённый половой акт, наоборот, снижает и огрубляет чувственность). Налицо сознательное использование природных свойств человеческого тела — подобно инструментальному использованию любых других вещей: например, чтобы ковать сталь, ее разогревают до высоких температур, — или: некоторым людям, чтобы читать книгу, требуются очки. Последний пример, кстати, о том, что далеко не всем повышенная сексуальность по жизни полезна, и такого рода материя в каких-то делах может быть совершенно неуместна.

В дополнение к возбуждению без оргазма — мужская способность вызывать оргазм без эякуляции (и женские развлечения). Здесь также существуют системы тренировки — и предполагается какая-то польза небологического характера. Как минимум для сознательного контроля над деторождением (хотя технологические решения надежнее). Это уже выделяет человека из природы — но для нас важнее, что подчинение органики общественному движению влечет за собой серьезные органические последствия. Действительно, свертывание внешнего поведения во внутреннее движение есть основной механизм развития человеческой психики — а перевод сексуальности с физиологического уровня на психический открывает широчайшие возможности замещения связанных с половым поведением органических процессов совсем другой физиологией, с сохранением (и даже, быть может, усилением) субъективного впечатления. А это означает, что эротический аспект

деятельности вовсе не обязательно привязан к физиологии и биохимии пола — и может воспроизводиться на другой материальной базе, включая неорганическое тело человека (культурно опосредованные способы взаимодействия с природой и обществом). Другими словами, явления, сходные с половым поведением, могут возникать на любых уровнях человеческого духа — вне зависимости от вовлеченного в духовное производство материала. Это обстоятельство подталкивает буржуазное сознание к биологизации культуры и человеческой психики (вместо того, чтобы обратить внимание на принципиально неприродный характер разума); так рождаются бихевиоризм и фрейдизм (во всех разновидностях). Конечно, если ограничиться телесными проявлениями, вдохновение, энтузиазм, порыв масс, — родственны физиологии полового возбуждения и оргазма; однако увязать их с сексуальностью возможно лишь там, где речь идет об участии в деятельности единичных биологических тел и о возможности (в данном контексте) представить субъекта деятельности одним из них; процессы другого уровня, движение коллективного субъекта и общества в целом, опираются на другие материальные образования, в составе которых организмы теряют собственно биологическую определенность и ведут себя не только как живые существа, но прежде всего как носители духа.

В европейской культуре существует расхожий штамп: творческие личности для полной самореализации остро нуждаются в эротической подпитке, и за всяким шедевром — какая-нибудь муза... Богемное вдохновение рождается из секса — наряду с курением, пьянством и наркотиками. Все это якобы вырывает человека из тупой буржуазности, дает шанс посмотреть на мир другими глазами. Общественность быстро приучили смотреть сквозь пальцы на чудачества корифеев и кандидатов в гении. С другой стороны, эротические образы в искусстве вовсе не обязательно имеют в виду вопросы пола; это всего лишь форма, и чаще всего ее не следует понимать буквально: быть может, на самом деле никакого секса нет и не было — но намек на подобную близость создает атмосферу интимности, в которой легко развить сколь угодно сложные тематические иерархии. Когда поэт посвящает различным женщинам стихи весьма фривольного содержания — только очень тупой филистер будет понимать это в смысле разнузданных похощений автора. Куртуазная поэзия, скажем, вообще не предполагает доступности предмета страсти и реальной интимности: это лишь знак освобождения мечты, перехода от сознания к самосознанию.

На самом деле, по мере формирования иерархии окультуренной сексуальности, любое вдохновение может субъективно принимать ярко эротические формы; однако разумное отношение к этому предполагает не сведение творчества к эротике, а наоборот, выяснение причин, по которым форма творчества в данных исторических обстоятельствах именно такова.

Поскольку половое влечение как физиологическая потребность изъято из биологического контекста и превращено в потребность человеческую, пропитано культурой, — в половой любви есть (кроме пола) и доля любви. Следовательно, в определенном культурном контексте секс (реальный или воображаемый) способен выступать видимым выражением, символом любви. Например, когда хиппи выдвигают свободу секса в качестве противовеса добропорядочной буржуазности, это шаг к собственно человеческой, свободной любви; однако абстрактный секс сам по себе — не лучший образ свободы: растительное существование этих «цветов» далеко от основной задачи разума — сознательного преобразования мира, требующего не только отказа от буржуазности но и активного утверждения того, что должно прийти ей на смену. Кроме любви нужен еще и труд. Не только субъективное, но и материальное действие. Но хиппи, выходцы из буржуазной среды, по большей части трудиться не умели и не хотели — и освобождение выродилось в свою противоположность, свелось ко все той же комфортной буржуазности. Не меняя классовой основы способа производства невозможно прийти к единству труда и любви.

Переход от частностей пола к универсальности любви требует постепенного преобразования физиологической основы, перенастройки организма в целом, замещения одних форм сексуальности другими. Любовь начинается там, где нам ничего не нужно от партнера, и достаточно быть с ним вместе — даже не рядом. В этом контексте обычные половые действия меняют смысл: речь не об удовлетворении потребности (настоящая любовь ненасытна!), а о возможности стать причастным: я не использую тело партнера — я использую шанс подарить себя ему. Культура любви все больше опирается на непрямые воздействия, когда физический контакт сведен к минимуму — и не отвлекает от духовного единения. Грубые натуры усматривают в долгом и постепенном сближении влюбленных всего лишь неопытность; на деле это и есть движение любви — и хорошо, когда такая робость и восторженность сохраняется и после постели.

Когда мне приятно смотреть на любимого человека, слышать его голос, вдыхать запах волос, просто сидеть рядом, как бы случайно касаться руки, — это очень эротично, и ничуть не слабее полового возбуждения (которое лишь сопутствует главному, а не становится самоцелью). Если я постоянно вспоминаю не постель, а именно эту, косвенную близость, — тантра бледнеет перед мощью разума. Такая, сублимированная физиология куда действеннее: она подвигает нас творить чудеса ради любви. Но любовь не просто сублимация полового влечения — это принципиально иное, общественное явление, смысл материального действия. Мы не абстрактно кладем кирпичи — мы строим дом; точно так же, мы любим не секс, а занимаемся сексом по любви. Или не сексом, а чем-то еще: быть может, очень непохожим — но не менее эротичным. Разум — не просто развитие интеллекта; напротив, интеллект становится человеческим, поскольку он разумен.

Классовая культура подчеркивает особую роль полового поведения, поскольку воспроизводство «биомассы» играет существенную роль в способе производства, принимая формальный статус воспроизводства рабочей силы. Эта культурная составляющая каждой личности ведет к воспроизводству исторического опыта сублимации полового влечения в каждой конкретной любви: общение влюбленных сразу окрашивается в эротические тона, и по началу любая телесность намекает на половые органы; развитие любви восстанавливает действительный порядок: совместные действия по-прежнему эротически окрашены — однако они уже ничем не обязаны сексу, не имеют его в виду, — а наоборот: сначала дополняют — а потом заменяют и вытесняют его. На первый план выдвигается духовное развитие — а материальные действия важны лишь в той мере, в которой они способны эту духовность поддерживать. Общаемся мы в любви не мужчиной или женщиной — а с человеком, существом духовным, свободным, разумным.

Любовь не следует из физической близости, а лишь выражается в ней — но может выражаться и в чем-то другом. Сам по себе этот материальный носитель любви безразличен: не будет одного — найдется другое. Более того, любовь не может ограничиться чем-то одним — ей важно проявлять себя разными способами, использовать все доступные возможности для соединения любящих в целое. И чем богаче этот круг контактов — тем ярче высвечена духовная основа деятельности, и тем свободнее каждый из любовников. В этом смысле брак по любви — шаг вперед по сравнению с неформальными связями или сожителем:

партнерам предстоит освоить еще и предусмотренные законом формы совместности, в дополнение к непосредственным контактам. Такая материя не слишком приспособлена для духовности — и не все с честью проходят испытание браком: только настоящая любовь способна преодолеть уродство классовых форм и сберечь главное, духовную близость. Возможно это лишь там, где любовь не ограничивается культурными предписаниями, а творит, вырабатывает собственные нормы бытия — и одухотворяет новые стороны действительности, открывает миру его многообразие. Чем универсальнее совместная деятельность — тем полнее (и возвышеннее) любовь. Влюбленные сохраняют неповторимость личности — но в дополнение к этому учатся видеть мир вместе, как бы одними глазами, — подходить к нему с позиций их общности, а не каждый сам по себе. Так любовь становится механизмом восстановления единства разделенного на единичности мира; это и есть предназначение разума. Субъективно, это единства воспринимается как полное взаимопроникновение любящих друг друга, *интимность*.

Не бывает любви напоказ, ради общественного признания — или вопреки ему. Совсем не потому, что любящие хотели бы спрятать свои отношения от чужих глаз: в любви нет ничего постыдного, и прятать нечего. Суть любви в духовном единстве — и влюбленным дела нет до окружающих, они заняты собой, и в этом их общественная функция, культурная роль. Интимность как таковая — вообще не в предметных действиях: она недоступна восприятию со стороны, о ней можно только догадываться. А догадаться можно — потому что интимность не предполагает замыкания внутри пары, противопоставления ее обществу в целом; напротив, всепроникающая совместность — огромная сила, способная вдохновить людей на то, что они никогда не затеяли бы поодиночке. Интимность изначально общественна, ее задача — кроить мир по образу и подобию совместного субъекта, в духе любви. Такие свершения — надежное, но лишь косвенное свидетельство близости; почувствовать ее никому кроме любящих не дано — и можно лишь заботиться о сохранении этой уникальности, поддерживать робкие ростки, по возможности дарить любви свет и тепло, создавать атмосферу заинтересованности и участия.

Классовое общество следует принципу всеобщего разделения труда и изначально обособляет влюбленных друг от друга, а их союз выставляет чисто внешним отношением — противопоставленным роду,

классу и обществу в целом. Овнешненная форма интимности — принадлежность друг другу; партнер при этом уже не принадлежит всему остальному миру — и его духовность заведомо неполна, ущербна, подчинена любви, а не воссоздана в ней. На место свободы встает право выбора — столь же классово ограниченное, как и любое другое право. Половой акт как первобытная форма интимности — по мере становления цивилизации все больше превращается в сделку, овладение партнером и тем самым закрепощение, обременение рыночными условностями. Отсюда и представление об интимности как самоизоляции, духовной тюрьме, — что надо скрывать даже от себя, что стыдно обнаружить. Банковский сейф, пункты контракта... — больше воображаемое, чем реально доступное богатство. Но рыночная экономика невозможна без товарного обмена — и если нечто не может быть непосредственно введено в оборот, оно должно участвовать в нем косвенным образом, в монетизированной форме; такой разменной монетой любви становится при капитализме половой акт.

Качество продукта как такового (способ включения в деятельность) не зависит от рыночной стоимости и цены. Деньги не заменяют вещь — они лишь представляют ее в очень узком контексте, в рамках товарного обмена. Точно так же, любовь, даже сведенная к убогости телесных контактов, отнюдь не утрачивает своего места в культурном движении; наоборот, это половая жизнь духовно обеднена — и не дает подлинной интимности. В качестве иллюзорной компенсации неполноценности возникает культ секса как такового, фетишизация эрзац-любви, — подобно тому как предпринимательство теряет собственно товарную основу и вырождается в движение капитала, погоню за деньгами. Как деньги обменивают на деньги — так один секс меняют на другой, уже не задумываясь о действительной близости, интимности; сексуальные похождения легко становятся публичными, а отношения личностей начисто устранены в различных формах беспорядочного и группового секса. Это никоим образом не означает невозможности духовной близости в таких отношениях — но достичь ее нельзя без длительной предыстории и большого совместного труда, что в условиях рыночной гонки слишком затратно, «нерентабельно» — и по жизни оказывается лишь редким исключением.

Следуя общей направленности развития, товарный секс постепенно приобретает сублимированные формы, когда важны не постельные сцены, а условные знаки (как реальные деньги заменяются абстрактной

арифметикой банковских счетов). Эксгибиционизм и вуайеризм, эротические игры, брачные интриги, порнография... В рефлексии — широкое использование эротики в искусстве (от грубого натурализма до тончайших аллюзий), преувеличенное внимание к вопросам тела в науке (обожествление генетики, сведение психики к физиологии мозга, культ личности в истории и т. д.), перекосы в прикладных дисциплинах («объективные» методы в медицине, эволюционная психиатрия, слабое внимание к технологиям преодоления органических ограничений и направленной перестройки физиологии, сознательного контроля над рождением и смертью). Тем самым, вопросы пола приобретают вещный, объективированный характер — и все больше вытесняются из сферы духовного воспроизводства, любви. Современному человеку проще перейти к интимности через практику материального производства и совместное творчество в науке или искусстве — а с развитием сетевых структур мы все ближе к виртуальной любви, вообще не связанной с биологическим телом. Разумеется, новое не отменяет исторических традиций — но позволяет их творчески перерабатывать, сознательно «конструировать» свою любовь.

Таким образом, каждая эпоха, каждая конкретная культура характеризуется своим соотношением интимности и телесной близости, и развитие способа производства неразрывно связано с формами бытования человеческой любви. Гибель цивилизации и становление бесклассового общества устранил рыночные барьеры и значительно расширит круг возможных материализаций духа. В частности, разум вырвется, наконец, из биологической клетки — отождествления с единичным организмом; индивидуальность субъекта вполне может выражаться движением многих тел, органических и неорганических, — а одно и то же тело способно участвовать в формировании разных личностей. Возможны при этом явления, родственные половому поведению? Да, возможны. Однако иной характер телесности наложит свой отпечаток на эротическую составляющую любви. Современному человеку трудно вообразить такую, лишенную физиологии эротика. Тем не менее, какие-то намеки и прототипы возможно усмотреть в давно и хорошо знакомом — в истории, в быту.

В сугубо вещном плане, половой акт исходно связан с объединением генетического материала и запуском развития еще одного организма. Разумеется, переход к человеческой любви требует преодоления этой биологической необходимости: половое поведение у человека главным

образом обслуживает экономические процессы и опосредует духовное развитие. Но обратимся пока к телесности современного человека: его плоть состоит не только из биологического организма, но включает и разного рода неорганические расширения, без которых человек не сможет нормально жить в искусственной природе, культурной среде. Количество таких «рукотворных» органов очень велико; в идеале, неорганическое тело охватывает все, что люди когда-либо произвели, культуру целиком. В частности, тела других людей могут стать частью расширенного тела каждой личности — поскольку их производство всегда опосредовано общением и в конечном итоге задействует ресурсы всего человечества. Поскольку же органами расширенного тела человека становятся и производственные процессы (как продукты труда), легко заметить аналогию объединения ресурсов, необходимых для запуска определенной деятельности (предполагающей создание конкретного продукта) с механизмом полового воспроизводства в биологии. Такое объединение не редкость в практике; в условиях классовой экономики оно (подобно половому сношению) приобретает характер внешнего акта, не затрагивающего личности партнеров. Однако в особых случаях, когда между партнерами установились доверительные отношения, ощущаемые как духовное родство, взаимодействие неорганических тел становится ярко эмоциональным, глубоко интимным. Такова дружба — один из уровней любви, духовное единение в слиянии неорганических тел, каждое из которых в равной степени представляет каждого из друзей. Прототипы можно заметить в некоторых ритуалах и традициях: *мой дом — твой дом...* Точно так же, совместное творчество — неисчерпаемый источник духовных взаимовлияний (а удачно сделанное дело вызывает бурные переживания — намного мощнее физиологии оргазма). Сюда же примыкают многие явления социальной психологии: массовый энтузиазм, единый порыв, чувство солидарности... Проекция на единичную личность на каждом шагу обнаруживает трепетное отношение к своему неорганическому телу: в любой деятельности возможны страсть, упоение, азарт... Но как и для органической сексуальности, все хорошо в меру: чрезмерность вовлеченности ограничивает свободу, выводит из сферы разума.

Культурная обусловленность человеческого поведения требует окультуривания органических и неорганических тел, приведения их в соответствие с уровнем развития способа производства и духовности. В любом обществе воспитание интимности — один из обязательных

элементов социализации. Буржуазная педагогика (и публицистика), разумеется, не обходит стороной вопросы половое воспитания — однако трактует их либо с позиций эмпирионатурализма (сводя к физиологии или психологии животного), либо в духе абстрактного морализаторства. Представления об историчности эротики (и родственных ей явлений общественной жизни) пока не слишком распространены; тем более речи нет о перспективах развития: для буржуа капитализм — вершина творения, и ничего другого уже не предполагается.

Разумное отношение к сексуальности требует не проекции биологии на личность (как в теории Фрейда), а наоборот, выяснения того, как общественная суть человека изменяет природные процессы, заставляет тела двигаться несвойственным им от природы образом. Не опошлять любовь, не сводить все к половому акту (и путаться потом в неуместно физиологической терминологии) — а обнаружить в половом акте иерархичность культуры, в ее историческом развитии. Подходить к телесности (вообще и в каждом конкретном проявлении) с позиций ее места в движении духа (вообще и личном общении). Только так мы можем заметить за уродством классовых форм проблеск зарождающейся свободной, разумной любви. И тогда, например, станет понятно, что фетишизм тела — лишь попытка освобождения духа от рыночной мерзости, в доступных обывателю пределах: робкий намек на протест — вместо действительного (потенциально опасного) протеста. Подобно другим наркотикам, бездуховный секс ненадолго вырывает человека из грязи буржуазного быта — но в итоге топит его в дерьме. Это свойство умело используют толкачи духовной наркоты: даже если религия трактует любовь как мистический экстаз, разнузданность плоти ей нужна для контраста, для совращения и завлечения рабов кажущейся неразличимостью противоположностей. В экономической (правовой) сфере — брак вполне аналогичен ритуальному сексу: здесь тоже, в отличие от животных, половое поведение человека регулируется обществом, подчинено классовым интересам. Именно поэтому любое соединение вопреки запретам — общественный акт, перчатка в морду капитала. Но даже формально-супружеские обязанности способны становиться формой интимности, духовного освобождения — вопреки бездуховности рынка: супружеская любовь тогда воспроизводит не рабочую силу, и не классовую организацию общества, — она использует формальность как щит, способ не допустить торгашеских отношений в деле любви. Точно так же, множественный секс — не сам по себе, а для

чего-то, как выражение общественной тенденции. Его форма — половой акт; его содержание — культурный процесс. На следующем уровне половая связь вообще перестает служить каким-либо материальным интересам, и это освобождение — торжество любви.

Но любовь — больше любого из ее воплощений. Не секрет, что влюбленная женщина чаще всего не придает полу сколько-нибудь значительной роли: она всего лишь хочет нравиться, быть необходимой, интересной, — немножко загадочной... Если ей это удастся без секса — она заметно свободнее, — она расцветает новой, духовной красотой. Чуткость, внимательность, умение угадать настрой, быть вместе, а не только рядом, — вот качества идеального партнера; тогда каждое прикосновение — блаженство, — с сексом или без. Бездуховная физиология связывает; в рамках классовой культуры секса это выглядит как привязанность, благодарность, или моральный долг. Женщина использует тело, чтобы завлечь, удержать, — просто обратить внимание. Мужчина тоже в этом нуждается — но он, по нормам буржуазного общества, привлекает другим: половые органы сами по себе не впечатляют никого, кроме уже готовых впечатлиться. Когда женщины и мужчины будут равны в любви — им хватит чем заняться и без постели; духовное единство снимает, делает неуместным сам вопрос о равенстве.

Значит ли это, что для традиционной, телесно-чувственной эротики нет места в разумной, свободной любви? И да, и нет. Сексуальность не просто половой акт — это творчество, побуждение к деятельности, влечение и привлекательность как вовлечение и привлечение. Окультуренный секс — часть общественного производства в целом; продукт этого производства — не имеет ничего общего с биологией: половое общение (как и любое другое) помогает людям создавать и очеловечивать друг друга. Внешность возлюбленных для влюбленного дело десятое: ему важно другое. Дух не существует вне тел; но внешние черты — лишь знаки того, что стоит за кажимостью, верстовые столбы на пути духовного развития. Не будет одних знаков — будут другие. Главное, чтобы в душе уже выросло то, что хотелось бы ими обозначать. Библейский Иисус вещает:

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Но в том и суть человеческой страсти: вожделение разумно там, где сердце уже любит; а будет что-то потом, или нет, — в этой или иной жизни, — не меняет равным счетом ничего.

Дружба

Современный обыватель (считая, например, с конца XVII века) при слове *любовь* тут же вспоминает о дружбе — а слово *дружба* немедленно навеивает мысль о любви. Может показаться, что эта дружная парочка слюбилась уже в отдаленнейшей древности — чтобы неизменным составом добраться до наших дней. Справедливость такого впечатления можно было бы обсуждать — если бы у впечатляющихся имелись ясные идеи того и другого: тогда достаточно поставить рядом и сравнивать каждую черточку с каждой. Увы, не все так прозрачно — и чуть ли не всякое утверждение может претендовать на истинность при должном уточнении лексики (значений) и семантики (смыслов). По счастью, чаще всего оказывается, что объективность нам тут не особо и нужна: куда важнее, кто говорит и зачем.

Если философские беседы (включая продиктованные убеждениями деяния) ставят себе задачу побудить человечество (в чьем-нибудь лице или вообще) к поиску разумно устроенного будущего, свободного от кошмаров цивилизации, — с вечностью и неизменностью придется решительно расстаться, взять на вооружение принцип историзма, развития любых элементов культуры от одной эпохи к другой; только в этом случае уместно появится стрела времени, направленность, — и грамматические времена вызовут совершенно практические ассоциации. То есть, мы признаем, что и любовь, и дружбу следует толковать лишь в пространстве и времени конкретной культуры — но делать это мы будем не в ее собственных терминах, а применительно к нашим насущным потребностям и мечтам. При всем желании, иначе не получится; а если и получилось бы — смысла нет. Соответственно, прямолинейно переводить одну литературность в другую — занятие неразумное: совершенно ясно, что тамошние жители видят мир иначе, и обозначают словами *свои* видения, а вовсе не то, что способны усмотреть мы. Даже если их слова по видимости не отличаются от наших.

Однако же и словоупотребление кое о чем говорит. Например, античность, похоже, о любви и дружбе вообще без понятия; им существенно отличить внутреннее от внешнего: близость, родство, причастность — от влечения, тяги, и прочего кипения. Отсюда греческие *philia* и *eros* (этимологически аналогичные латинским *amor* и *cupiditas*). И то, и другое запросто может относиться и к группе товарищей — и к

паре любовников; сопоставить это с нынешней противоположностью дружбы и любви — удастся только с очень большими натяжками и в каких-то узких контекстах.³⁸ Из этого не следует, что любви и дружбы в сегодняшнем понимании у древних вовсе не было; правильный вывод: они еще не стали особыми культурными явлениями и возникали только на фоне чего-то другого, как разные стороны или варианты. Потому и не было надобности в соответствующих словарных статьях.

Кому и когда приспичило развести дружбу и любовь по углам ринга? Нетрудно догадаться, что подобные замашки в духе общества, изначально основанного на всеобщем разделении труда, — капитализма. Активное продвижение этой экономической системы (чье господство у историков получило гордое имя *Нового времени*) в Европе стартовало примерно с XVI века — и уже через сто лет тема любви и дружбы вошла в массовый обиход среди сколько-нибудь просвещенной публики. Мода на тонкие различия (в каких угодно сферах) сначала коснулась литературы нравов — потом (уже в следующем веке) начали усложнять представления о внутреннем мире человека (сейчас это называют психологизмом). Общекультурное движение от внешнего к внутреннему прослеживается и в понимании дружбы: от простой дружественности, доброго расположения, — до глубокого, очень индивидуального чувства. Надо ли говорить, что это и про любовь? Казалось бы: зачем тогда одно отделять от другого? Но дело в том, что на повестке дня буржуазные революции — решительный отказ от феодальных устоев экономики и переход к массовой индустрии. Банальная драка за власть: буржуазия против аристократии. Салонная культура XVII–XVIII веков разделяется на две субкультуры: аристократические салоны исследуют глубины любви — буржуазные салоны выдвигают вперед дружбу (уже не только мужскую, но и женскую, и даже — страшно сказать! — разнополюю). Аристократия призывает к единству (разумеется, во имя высшей духовности!); оппозиция требует решительно размежеваться (во имя общего дела). Буржуазная дружба сознательно противопоставляет себя любви: дружить предлагается не друг с другом — а против кого-то; это обнажает идейные устои развитого капитализма, когда буржуазная личность не в обществе — а противопоставлена ему.

³⁸ Когда Монтень говорит, что любовь — «лихорадочный жар», а дружба — «теплота постоянная», — ниточки тянутся к унаследованной европейцами античной традиции, некритически пересаженной в развитый феодализм.

В итоге, на сегодняшний день (конец XX и начало XXI века), старая традиция по-прежнему оставляет за любовью лишь плотские утехи (допуская уже и однополые, и многополые увеселения) — а дружбу расценивает как ближайшее продолжение коммерции, подкрашенное интимностью партнерство. В поисках «естественных» корней человека и его деяний буржуазные идеологи склонны либо в дружбе усматривать эротику — либо у животных выискивать якобы аналоги дружелюбия, «эмоциональные привязанности» (включая межвидовые); фокус в том, что и дружбу, и любовь при этом не мыслят вне «социальных институтов» (семья, формальные и неформальные союзы) — и потому классовая структура общества с чистым сердцем может быть объявлена внеисторическим (природным) явлением. Точно так же родственные чувства, этнические и религиозные узы эмпирионатуралисты выводят из биологии — и сразу же противопоставляют ей как культурно закрепленные стандарты общения. Избавиться от путаной эклектики можно лишь отбрасывая надуманные различия и начиная с единства всех направлений развития духовности: это одно и то же — но мы видим целое лишь в проекции на классовые противоречия, на стихию всеобщего разделения труда, — и возникает иллюзия немислимой сложности (модный термин: *запутанность*) даже там, где основания немногочисленны и ясны сами собой. Значит, имеет смысл менять политику и вместо уточнения границ — говорить про общность, размывать барьеры, выкорчевывать межевые знаки, стирать линии. Наше будущее (как мы его себе задумали) — обходится без классовых, этнических, возрастных или половых группировок; в нем обитают просто люди, разумные существа, — которые трудятся сообща, и не высматривают себя в плодах труда, не сравнивают частичные вклады. Потому что всякая частичность отрицает универсальность разума, воздвигает стены и рвы на пути разумной деятельности, убивает свободу. А когда свобода становится атрибутом (неотъемлемой частью) субъекта — это любовь.

Разумеется, можно было бы назвать такую идейную позицию как-то иначе — уважить дикие предрассудки. Например, обозначить нашу любовь очередным наукообразным неологизмом — чтобы, упаси бог, никого не ущемить... А заодно и покрасоваться перед публикой, изобразить знание языков, стать родоначальниками академической школы... Овчинка не стоит выделки: любое слово легко заездить и опошлить — особенно если поставить себе такую цель, как принято у

наемных апологетов капитализма. Дело не в номенклатуре — которая по буржуазной привычке отделяет одно от другого; суть в единстве разума, приходиться к которому можно разными путями — и все равно, с чего начинать.

Давайте начнем с любви.

Объективная сторона воспроизводства субъекта (любого уровня) связывает его развитие с деятельностью: когда мы сознательно что-то создаем, мы видим в продукте не только вещь, но и свой труд, — и тем самым осознаем частицу себя. Другими словами, человек осознает себя как единство всего, что он успел в жизни совершить. Заметим, что планы на будущее, и даже беспредметные мечтания, — такие же продукты деятельности, как и все остальное, и через них мы тоже приходим к себе; при всей их идеальности, они предполагают (иногда почти незаметные) материальные сдвиги — и, подобно прочим продуктам, становятся частью новой, преобразованной человеком природы.

Поскольку все стороны деятельности (объект, субъект и продукт) изменяются по ходу развертывания деятельности в тесной зависимости друг от друга — всякая деятельность изменяет субъекта, она отражена в его строении. Человек как субъект — совокупность всех общественных отношений, каждое из которых представлено определенным способом движения и взаимодействия материальных тел — но включенность в человеческую деятельность меняет все эти тела, заставляет их вести себя далеко не природным образом. В частности, органические тела, которые в классовом обществе принято отождествлять с человеком, тысячи лет настраивались на культурно опосредованные движения и уже не могут полноценно жить без таких опосредований, складывающихся в так называемое неорганическое тело человека.³⁹

Вместе с физиологией, меняется и психология человека: любой поведенческий акт представлен сразу на трех уровнях, соответственно тому как всякая деятельность развертывается в законченные действия, а действия представлены совместимыми с деятельностью наборами операций. В психологии человека деятельность характеризуют ее мотивом; действие направлено на конкретную цель; операции для чего-

³⁹ Название условное, дань традициям марксизма; это расширение плоти субъекта может включать как неживые вещи, так и самые разные организмы, включая растения, животных и других людей. Вероятно, следовало бы называть его как-то иначе: например, «культурным телом» — в противовес природному.

то предназначены. Напротив, психические процессы животного лишь отражают его место в ближайшей среде; они обслуживают сугубо биологические взаимосвязи в животном сообществе и не выходят из этого круга. Вместо иерархии мотивов, целей и предназначения — синкретическое нечто, побуждение — в лучшем случае, отдаленный прототип человеческой психики. У человека (поскольку он действует сознательно, а не машинально подчиняется давлению обстоятельств) каждое действие соотносится и с контекстом деятельности (смысл), и с допустимыми в этом контексте операциями (значение); опосредованная целенаправленным действием зависимость операций от деятельности в общей психологии называется установкой.

Разум универсален; в идеале, человек участвует в жизни общества в целом, свободно включается во все производственные процессы, любые деятельности. В этой иерархии то одна деятельность, то другая выходит на первый план — но остальные никуда не исчезают, сохраняются на низших уровнях. Обращение иерархии меняет расположение уровней; например, деятельность может свертываться в действия, а действия — в операции; при необходимости операция развертывается в действия, а действие в деятельность. В психологии животных — все на одном уровне, и объективные связи в окружающей среде (включая место в сообществе) напрямую представлены психическими образованиями — рефлексам (врожденными или условными).

Свертывание деятельности у человека приводит к ее представлению особыми психическими процессами — внутренней деятельностью. Другими словами, когда человек по видимости не участвует в общем труде — это вовсе не означает, что он не имеет к нему никакого отношения: всякий акт общественного производства связан с его восприятием всеми членами общества, с их мыслями, чувствами и переживаниями; все это внутренние деятельности, которые в любой момент могут развернуться во внешнюю активность, но даже без этого влияют на все, чем человек в данный момент занят. Поскольку у животного нет ни внешней, ни внутренней деятельности — его психика всегда ориентируется на ближайшие задачи и не требует рефлексии по поводу собственных поступков.

Всякое движение предполагает определенные темп и глубину изменений; например, в механике вводят в рассмотрение скорости и массы. В пределах одного уровня иерархии, психика также допускает подобное представление — разумеется, в терминах именно этой формы

движения, никоим образом не сводимых к физическим процессам; так, психологическое понятие эмоции вполне аналогично понятию импульса в механике (в старой терминологии: «количество движения») — но речь об изменениях в нервной системе (у человека — уже не органика, а идеальное движение в пространстве мотивов), а не о перемещении тяжестей. Такое одноуровневое движение может быть представлено на вышележащем уровне (система в отношении к среде) обобщенными показателями (аналоги интегралов движения в физике); допуская однородность времени (или же равномерность, устойчивое течение деятельности), мы приходим к идее сохранения и превращений энергии. Эта универсальная парадигма работает на всех уровнях природы и общества — что никак не означает сводимости одного к другому. То есть, психику животных и человека вполне возможно обсуждать в энергетическом аспекте — но такое представление не исчерпывает предмета и не отменяет необходимости строить альтернативные картины. Еще раз отметим, что психические процессы у человека — внутренняя деятельность, свернутое общественное движение; поэтому их энергетика определяется отношением к труду, способом включения человека в культуру.

Мы вынуждены кратко напомнить эти фрагменты теории, поскольку эмпирионатурализм (когда наивность физиологических интерпретаций уж очень бросается в глаза) пытается свести любые явления внутри субъекта к психологии — чтобы хоть так протащить идею животности человека (и следовательно, его неразумности). В частности, любовь сводят к одним лишь чувствам — а чувства безо всяких оснований отождествляют с эмоциями животных (поскольку у животных имеется психика или какие-то ее аналоги). Из вышеизложенного ясно, что в терминах объективного строения субъекта (как иерархии деятельностей) говорить о развитии духа возможно лишь косвенным образом, с учетом влияния духовной культуры в целом на каждого члена общества. Это необходимая материальная база — но для любви этого мало.

Собственно духовность начинается там, где мы снимаем внешнее опосредование, заменяем его внутренним движением в субъекте. Нам по-прежнему требуется зеркало, чтобы увидеть себя, — но мы можем сделать зеркалом не объект, а другого субъекта (не обязательно того же уровня). Конечно, такое самопостижение предполагает некоторое воздействие на мир, в силу которого другой будет вести себя несколько иначе, и в продуктах его деятельности воплотиться это внешнее влияние.

Однако в снятом виде такая цепочка выглядит прямым взаимодействием субъектов:⁴⁰

$$\begin{aligned} \text{субъект} &\Rightarrow \text{субъект}' \Rightarrow \text{субъект}++ \\ \text{субъект}' &\Rightarrow \text{субъект} \Rightarrow \text{субъект}'++ \end{aligned}$$

Такое, чисто духовное отношение допускает бесконечность объектных опосредований — но на этом уровне они не существенны, и важно лишь развитие одного через другого, тесная взаимосвязь двух «внутренних миров», духовное единство. Вот эта универсальная взаимозависимость и есть любовь, в самом общем смысле слова. Восстанавливая объектные опосредования — то есть, помещая любовь в контекст той или иной деятельности, — мы получаем один из возможных оттенков любви, какую-то из ее сторон или реализаций. В частности, половую любовь — или дружбу.

Для сравнения: известная из общей психологии схема условного рефлекса (стимул — обуславливание — реакция) лишь расширяет и усложняет картину биологического обмена веществ:

$$\text{воздействие среды} \Rightarrow (S \rightarrow C \rightarrow R) \Rightarrow \text{органическое движение}$$

В деятельности возникает внешне похожая схема:

$$\text{объект} \Rightarrow (S \rightarrow C \rightarrow R) \Rightarrow \text{продукт}$$

Однако здесь компоненты субъекта S , C и R — не просто природные процессы или их комбинации, а свернутые деятельности, в которых представлена материальная культура в целом — и которые вполне могут протекать вне субъекта и (по видимости) без его участия. Именно поэтому возможно изучение психологии человека объективными методами — подобно тому, как мы изучаем органические рефлексы; буржуазные ученые склонны упускать из виду отличие окультуренного движения от природного — и потому впадают в эмпирионатурализм, отождествляя совершенно разные уровни самовоспроизводства мира; идеологи господствующего класса всегда готовы поддержать иллюзию. Но чисто внешне — внутреннее движение в субъекте в контексте конкретного производства выглядит просто технологической цепочкой, соответствием строения субъекта строению деятельности.

⁴⁰ Знаком ++ обозначено «приращение» субъекта в ходе общения с другим (предметом любви). В программировании так обозначается операция «инкремента» — которая может означать очень разные изменения, в зависимости от строения объекта (простейший пример — увеличение числа на единицу).

Напротив, в схеме любви как субъектного опосредования

$$S \Rightarrow S' \Rightarrow S^{++}$$

развертывание приводит к схеме

$$S \Rightarrow (A' \rightarrow B' \rightarrow C') \Rightarrow S^{++}$$

где A' , B' и C' отражают не строение деятельности, а строение общения субъектов S и S' — и вбирают в себя духовную культуру общества на данном этапе исторического развития. Относительная независимость форм общения от форм производства приводит к традиционному представлению о любви как иррациональной, не подчиняющейся рассудку силе: мы любим не за что-то — а просто любим, и не можем не любить, как бы критически ни относились мы к деяниям предмета любви. В классовом обществе у влюбленных серьезный риск оказаться за гранью цивилизации — и погибнуть.

Как только любовь привязывают к деятельности, загоняют в узкий производственный контекст, движение духа утрачивает духовность как таковую и становится производственным процессом, а не общением:

$$O \rightarrow (S \Rightarrow S' \Rightarrow S^{++}) \rightarrow P$$

В этой схеме предмет любви (S') можно запросто заменить абстракцией субъекта — идеей. Речь уже не о любви, а о соотношении материального и духовного производства, которые, конечно же, взаимосвязаны и влияют друг на друга. Формально это означает возникновение нового, коллективного субъекта — внутри которого развертывается обычная объектная («психологическая») динамика. Вот почему попытки ввести «моральный кодекс» любви и дружбы, превратить их в общественный институт, — вместе с водянистыми вольностями выплескивают и самую суть: личные отношения — заменяют отношениями в коллективе, свободу — жизнью по понятиям.

Но когда все плохо — значит, в чем-то все же хорошо. Дух не сводится ни к одному из своих воплощений — но он не может существовать вне деятельности, и о присутствии духа мы догадываемся по вполне материальным следам. Ну, или не совсем материальным — поскольку мы уже умеем представлять вещами связи вещей (как в языке, или в плодах художественно-научно-философской рефлексии). То есть, говоря о том, как любовь проявляется в общественном труде (включая общение как труд), мы как раз и обращаем внимание что в любом творчестве не только есть что-то от творчества — но есть еще и нечто другое, к труду несводимое, — его дух. Потом, быть может, мы и это

обозначим общественно полезными делами — но духовность снова проявится как существенное отличие от уже обозначенного. Было бы глупо останавливаться на этом (диалектическом) уровне и заводить догонялки в дурную бесконечность. Однако снятие противоположности природы и духа — только в целостности культуры, — и этим занимается философия истории; но здесь мы философствуем о любви. Поэтому пока лишь констатируем, что все виды любви взаимосвязаны — но обсуждать их по отдельности смысл таки есть; значит, и дружба заслуживает теоретического осмысления. Есть общая идея — частности уже не смогут расплзаться по щелям.

Итак, в проекции на разные деятельности любовь проявляет себя по-разному, как особый оттенок этой конкретной деятельности. Поскольку ничто не мешает человеку (или иному разумному существу) участвовать сразу везде — из всех таких оттенков складывается целостная картина именно этой, бесконечно индивидуальной любви. Принципиальный момент — возможность совместной деятельности: если у двоих нет ничего общего, полюбить друг друга они могут лишь теоретически, в предположении, что при удачном стечении обстоятельств общее все-таки найдется. Однако подобная разорванность характерна только для классового общества, которое как раз и занимается воздвижением всевозможных барьеров, отделением одних от других. По уму — каждый способен включиться куда угодно, и обнаружить другого в том числе и там. Более того, поскольку всякое общение предполагает обмен деятельностями, влюбленные неизбежно расширяют круг совместных занятий — иногда сами не замечая того. В силу этого отличить одну разновидность любви от другой практически нереально — и только в классовой культуре они отчуждаются друг от друга и даже оказываются несовместимыми, взаимно враждебными.

Тем не менее, все это лики одного и того же — и потому все, сказанное об одном, годится и для другого. Как и половая любовь, дружба не зависит от того, чем друзья совместно занимаются: это отношение личностей, а не деловое партнерство. Точно так же, нельзя дружить «в одну сторону»: друзьями становятся друг для друга, взаимно, духовное притяжение равно действует на обе стороны (даже если по видимости нет, и не может быть взаимности — как, например, в дружбе через века). Соответственно, друг не мыслит себя без друга — не может отделить себя, оставить нетронутым уголок интимности. Без пошлости самоизлияний — просто фактом духовного присутствия. Далее, дружба

(как и другие материализации любви) не подчиняется влияниям со стороны и становится высшим критерием нравственности. Наконец, все это вместе взятое делает дружбу выражением духовной свободы — воспитывает вкус к свободе и требует устранить из общественной жизни все, что мешает людям быть свободными. Складывающаяся тысячи лет идиоматика языка отражает классовые реалии: узы любви, верность и преданность, долг дружбы... — все это не о дружбе, не о любви; язык любви — сплошное творчество, в нем нет идиом.

Теперь о различиях. Классовый человек — придаток органического тела, раб далеко не самой удобной плоти; культивирующее рабство общество устроено так, что и культурные потребности соотносятся с этой условностью, вращаются вокруг нее, как солнце, планеты и звездное небо по видимости вертятся вокруг плоской земли. Переход к бесклассовому обществу произведет революцию и в этих допотопных представлениях. Но пока до крушения цивилизации далеко — так что и самым дерзостным мечтателям приходится считаться с догматами биологизаторского антропоцентризма. Один из них — выделенная система отсчета при описании движений духа; в наиболее полном развитии, как всеобщий принцип труда и общения, — это буржуазный индивидуализм. Любовь в таком индивидуалистическом мире увязана с воспроизводством биологических тел, сведена к половой любви, — а остальное противостоит любви, хотя по всем признакам может быть на нее похоже. Следовательно, местечко для дружбы надо приискивать среди этого «остального» — изначально отделяя дружбу от любви «как таковой» (вульгарно-биологической). Это тоже вульгаризация, но в ней есть и прогрессивная сторона — допущение чего-то принципиально небологического, что способно склеивать людей в одно целое не хуже полового влечения. В рефлексии — особая, изначально общественная роль дружбы: с глубокой древности ее расценивают как собственно человеческую связь — в противовес полу и родству. Вавилонский эпос, как водится, начинается с любви (блудница Шамхат превращает полуживотное Энкиду в человека) — но эпический стержень (собственно человеческая история) составляют подвиги великих друзей — Гильгамеша и Энкиду. Ревность Иштар (богини любви), не сумевшей одолеть дружбу, приводит к гибели одного из друзей — а другой пытается найти его в стране мертвых (у греков это превратилось в историю о странной любви Орфея)... Средневековые эпические поэмы также выстроены вокруг дружбы — лишь куртуазные поэты обращаются к половой любви,

освобождая ее от биологических корней и превращая в любовь небесную (то есть, еще не любовь, а только мечту о любви).

Конечно же, все это не случайно. Осознание особой роли разума в мире, его несводимости к поведению животных или игре стихий, — дело непростое; во многом этот путь не пройден до сих пор — потому и возможны вульгарные опусы эмпирионатурализма. Первоначальное, синкретическое самосознание человека разумного точно выхватывает самую суть: общественный характер производства делает каждого представителем общества в целом, носителем его духа. Дружба еще не стала культурным явлением (не путать с социальными институтами!) — но ее следы улавливают в институированных отношениях людей: свойство, товарищество, сподвижничество, партнерство... Пока муж и жена (плюс прочие «кровные» родственники) просто «одна плоть» — здесь нет места подлинно человеческим отношениям, любви как единству *общественно различных* людей. Чисто внешний характер формального общения позволяет обозначить абстрактными формами (словами и образами) пока еще смутные идеи — поставить вопрос, озадачить далеких потомков.

Проблема в том, как совместить телесное несовпадение с духовным единством. Для половой любви слияние тел — непосредственно дано в ощущении, и можно принять сопутствующий этому психологический всплеск (катарсис) за нулевое приближение. Конечно же, на самом деле любовники переживают близость не как зверушки, а как общественные существа — и сама возможность (или невозможность) такой близости становится культурным фактом, определяет сознательную деятельность. Однако к такому пониманию человечество шло от античности две тысячи лет — и лишь в лице Фрейда краешком затронуло подоплеку тайны. Но телесный характер дружбы издревле объединял ее с половой любовью — иной раз трудно не перепутать. В классовом сознании, сводящим человека к его групповым ролям, телом дружбы становилось общее дело, реальное культурное единство как основа единства духа. Любитель тонких психологических различий Аристотель верно заметил, что даже корыстная дружба, в которой один поддерживает другого, содержит что-то от истинной дружбы, поскольку она дает возможность каждому из «друзей» проявить присущие им добродетели (вполне подобно несходству ролей в половой любви).

В XIX веке общественная суть человека со всей определенностью обозначена Марксом; он же говорит о нарастающем преобладании

неорганического тела как совокупности всех культурно опосредованных способов действия. Орудия труда и предметы потребления — это уже не природные вещи, а продукты деятельности, предназначенные для использования вполне определенным, культурным способом. Человек остается человеком лишь поскольку он ведет себя культурно — и тем самым участвует в расширенном воспроизводстве культуры в целом. И воспринимает себя человек вместе со всеми своими неорганическими «расширениями» — не отделяет себя от вещей и связей, без которых ему никак не обойтись.⁴¹ Но это означает, что соприкосновение таких, неорганических тел вполне может вызывать переживания, сходные по характеру с чувствами любящих друг друга мужчины и женщины, — вплоть до остроты взаимопроникновения. Когда у ребенка отбирают любимую игрушку — для него это не меньшая трагедия, чем боль от ушиба или шлепка. Когда взрослый жертвует бытом или карьерой — это чисто физическое страдание, а даже небольшая удача — блаженство.

Отсюда один шаг до признания особой телесности дружбы: если половая любовь есть проекция духовного развития на органическое тело человека — дружба представляет дух движением неорганических тел. То есть, принципиального различия здесь нет — а ходячее мнение внедрено в массовое сознание веками классовой истории, придающей исключительное значение воспроизводству биологических тел. С одной стороны, аристотелевский критерий разделения:

дружба узнается по отдельным видам блага, на которые она направлена

Но ничто не мешает совмещать разные дружбы в иерархии совместной деятельности — и страстные любовники, например, запросто окажутся задушевными друзьями. Или не окажутся — ибо в классовом обществе некоторые проявления любви несовместимы в данное время в данном месте (но могут обнаружиться в других общественных условиях). Доступ к органическому или неорганическому телу связан с разного рода культурными ограничениями — даже для его обладателя, не говоря уже о возможных любовниках и друзьях.

Поскольку неорганическое тело для современного человека намного весомее органики, половая любовь в наши дни немислима без крупинцы дружбы: органическое тело человек воспринимает не непосредственно, а как бы со стороны, как одну из предоставленных в его распоряжение

⁴¹ У кого-то из фантастов — забавный рассказ об обществе, в котором автомобиль воспринимается как одежда, и выйти из машины — все равно что оказаться голым.

вещей, использовать которые следует лишь культурно предписанными способами (а их с младенчества встраивают в ребенка родители и другие взрослые). Неподобающие воспитанному человеку физические акты мы трактуем как дикость, неотесанную животность. Любовники никогда не ограничиваются сексом — для них важна и обстановка этого действия, и (порой длительные) прелюдии, и забота о последствиях. Рыночный секс добавляет еще и финансовые расчеты. Весь этот антураж предполагает какой-то уровень взаимного согласия и (как минимум) уважения к предрасположенностям другого. А это уже отношения по поводу неорганического тела — уровень дружбы. Собственно половой акт может в некоторых историях любви никогда не состояться — он присутствует лишь как виртуальная возможность. С другой стороны, дружба порой приобретает эротическую окраску — и отличить ее от (разнополой или однополой) любви не так-то легко, да и не нужно. Такие отношения выходят за рамки традиционности — и судить о них следует по меркам другого уровня.

Буржуазное право регулирует имущественные отношения между людьми с использованием института семьи. До недавнего времени половую любовь признавали лишь в качестве одного из контрактных обязательств супругов — в странах развитого капитализма, вообще говоря, не обязательного. Любовь вне семьи также регулируется правовыми нормами — иногда в форме традиционной морали. Наконец, есть секс-индустрия, также подпадающая под соответствующую статью. Другими словами, существует специфическая отрасль общественного производства, связанная с индивидуальным воспроизводством членов общества в качестве представителей класса или рабочей силы; как и любая другая деятельность, она может стать формой любви или дружбы. Сообща занимаясь строительством семейного быта (неорганического тела для всех членов семьи), супруги вполне могут сдружиться на этой почве, независимо от присутствия половой любви. Если такой общности нет, семья требует иных деятельных оснований — а когда их нет, разваливается, или продолжает существовать лишь формально, в силу внешних ограничений. В некоторых случаях основой перерастающей в дружбу общности становится забота о детях; это вполне подобно тому, как объединяет общая заинтересованность в продукте труда. Конечно, партнерство возможно и без дружбы — но во многих семьях со временем нарождается хоть капелька дружелюбия (например, в форме привычки). Как всегда, правящий класс впереди всех: среди олигархов личные

симпатии начисто стерты, заменены соображениями бизнеса; подпевалы из интеллигенции перенимают эту рыночную отчужденность — но отводят значительное место клановой солидарности, утверждению своего превосходства над всеми, кто ниже по классовой иерархии. Рынок изначально чужд любви и дружбе; выходцы «из хороших семей» не умеют дружить и любить.

Обратный процесс: когда брак по расчету пробуждает взаимный интерес — возможно перерастание дружбы в любовь. Не в смысле «стерпится — слюбится», а настоящее духовное единство, оживляющее все тела. Классовое общество изо всех сил старается этого не допустить. Однако универсальность дружбы неизбежно распространяет близость на все совместные деятельности — и даже то, что будто бы движется по отдельности, все больше пропитывается духом взаимоотражения и взаимоформирования друзей. Разумеется, формальность общения в классовой культуре заставляет совмещать в любых межличностных связях интимность и партнерство как вечные противоположности — и неразрешимость противоречия на каждом шагу приводит к внешним и внутренним конфликтам; однако сама эта конфликтность предполагает, как минимум, наличие конфликтующих сторон — а значит, духовность неизбежно просачивается в сколь угодно грязные дела. Например, выработка устойчивых предпочтений, когда прежде всего ищут нужные кадры среди «своих», — опирается не только на опыт партнерства и соображения устойчивости бизнеса, но и на неосознанное чувство духовного единства, своего рода бизнес-симпатию; связываться с выгодными, но глубоко антипатичными партнерами будут лишь при отсутствии (пусть даже не столь эффективных) альтернатив — либо при полном разложении личности, когда капиталист начисто превращен в вещь, орудие капитала.

Подобно половой любви, дружба как духовное средство соединяет потребность в друге и заботу о нем; эти три стороны целого на уровне коллективного субъекта представлены его внутренним единством, тождеством и равенством различных.

Но точно так же, как и любая другая любовь, дружба способна соединять не только субъектов одного уровня, но и выстраивать межуровневые отношения. В качестве субъекта деятельности, человек разумно относится к своему неорганическому телу, поддерживает культурно необходимые условия целостности; в дружбе каждый из друзей нуждается в неорганическом теле другого — и заботится о нем,

так что разные тела на практике становятся одним. Однако то же самое можно сказать и о коллективе — от случайных попугачиков до общества в целом. Межуровневые связи возможны между любыми формами коллективного субъекта — и любыми индивидуальностями. При этом возникает такое единство неорганических тел, которое традиционно не относят к дружбе, и называют как-нибудь иначе. Например, рачительное отношение к производственной инфраструктуре, соблюдение чистоты, разумная бережливость в расходовании материалов — может быть свидетельством особого, личного отношения человека к трудовому коллективу и обществу в целом. Точно так же, защита отечества для кого-то становится глубоко личным делом — и тогда простое товарищество пропитывается духом личной ответственности. Такие дружбы в классовом обществе не бывают вполне последовательными, свободными от корысти; для пост-цивилизации (коммунизма) они совершенно обычны и подразумеваются сами собой; в своем высшем развитии (намного выше коммунизма), разум вообще не делится на индивидуальный и коллективный: каждый становится всеми, а общество находят в каждом свое единичное выражение.

Традиционно, дружбу не мыслят без прямого контакта, регулярных встреч и напоминаний. В половой любви такие представления уже не столь безусловны: мировая литературы дает широчайший круг образов духовной близости на расстоянии — при сохранении (или даже подчеркивании) эротической основы. Конечно, искусство не копирует жизнь — но сама возможность подобных идей обусловлена реальным присутствием в современной культуре чего-то в этом роде, скрытого иногда за грубо телесной видимостью. Легко видеть, что и дружбе совсем не обязательно опускаться до уровня бытового приятельства, совместного времяпровождения. Все, что требуется, — совместный труд и представленность одного в другом. А это возможно не только на расстоянии — но и вообще без личного знакомства, и даже через исторические эпохи. Разум как универсальное опосредование связывает и прошлое с будущим. Как бы странно это ни выглядело на первый взгляд, вещь совершенно простая и очевидная: когда мы сознательно собираемся что-то сделать, мы уже предвидим, кто и как это потом использует; всякое намерение — заглядывает в будущее. В достаточно развитой иерархии деятельности, такое предвидение может стать очень далеким и опосредованным: человек не всегда знает, чем отзовутся его дела, — но он может быть уверен, что как-то обязательно отзовутся.

Следовательно, кто-то из будущего сможет заметить и полюбить. Поскольку же вся культура пропитана своей историей (это прошлое и будущее снятые в настоящем), люди способны общаться в теми, кто жил задолго до них — и относиться к этому не менее лично, чем к девушке по соседству. Ходячие предрассудки проистекают из привязки человека к органическому телу — которое смертно, как и все живое; но есть еще и неорганическое тело — а оно не столь подвержено распаду и может продолжать оказывать влияние на людей сотни и тысячи лет (и, может быть, вечно).

Человеческие идеи — формы движения (и развития) культуры, универсальные схемы деятельности. Идея не может быть в полном объеме выражена средствами аналитической рефлексии — в искусстве, в науке или в философии; идея — нечто собирательное, представляющее единство всех частичных реализаций, и потому рождается как продукт совместной деятельности многих людей, а не кого-то одного, или небольшой группы. Тем не менее, каждый способен воспроизвести эту общую схему в своей обыденной жизни, в своем труде, — как одну из возможных материализаций. Такое воспроизведение присутствует в любой деятельности — и вовлеченный в нее круг идей представляет собой индивидуальный способ общения человека со всеми, кто с этой идеей знаком, — то есть, в итоге, со всем человечеством. Но точно так же и общество принимает иерархию индивидуального общения как еще одну идею — и встраивает ее в развитие культуры, делает частью духовности как таковой. А это, как легко видеть, пример межуровневого общения в иерархии субъекта — и взаимное развитие одного духа через другой вполне отвечает определению любви и дружбы. Следовательно, издревле известная любовь к якобы абстрактным идеям (Платон мне друг, но истина мне ближе⁴²) — не просто метафора, а выражение сути дела: это любовь к обобщенному субъекту, которого разные люди и сообщества могут по-разному представлять в разные времена. Такая любовь вовсе не сводится к глубокому знакомству — она может быть страстной, и ради нее человек готов взойти на костер (пламя которого заставляет ярче пылать идею). На следующем уровне идеи начинают общаться меж собой — но и это лишь опосредованная форма человеческого общения. Мы можем запросто сказать: это с этим не

⁴² Здесь у Аристотеля друг обозначен как *philous* (от *philia* — любовь или дружба как духовное сродство, близость).

дружит — хотя английское *friendly* больше говорит о дружественности разумно (то есть, человеком для человека) сделанных вещей.

Возможность общаться на равных с человечеством возникает в силу представленности в каждом субъекте мира в целом — и в частности, всех сторон культуры. Фактически, единичный субъект как бы пересаживает общество внутрь себя, воспроизводит его как часть себя (и тем самым делает продуктом внутренней деятельности). Но точно так же, дружба единичностей предполагает такое же принятие друга в качестве части себя, превращение человека в его идею — и общение с этой идеей как со всеобщим субъектом. А это означает, что в дружбе каждый из друзей воспринимается не только сам по себе, в свое конкретности, — но и как полномочный представитель разума вообще, вровень с человечеством (включая перспективы исторического развития). Так дружба возвышает каждого из друзей, приводит к росту иерархии духа.

Поскольку мы умеем дружить и без прямых контактов, через цепочку деятельных опосредований (вплоть до универсальных идей), вовсе не обязательно, чтобы друзья догадывались о существовании друг друга: дружба возможна и как культурное явление, заметить которое удастся только со стороны. Это прямое следствие всеобщей связи в разумной деятельности: каждая деятельность обусловлена каждой, все связаны со всеми. Если труд сам по себе приносит человеку глубокое удовлетворение — можно быть уверенным, что есть и те кому это важно и нужно, и кто своим трудом стимулирует духовное развитие неизвестно кого. Формально, у человека нет друзей; фактически — их много, и будут появляться новые. Поэтому, если кто-то страдает от одиночества и мечтает о дружбе и любви, — он одинок по всей справедливости, ибо ничего еще не сделал, чтобы стать личностью и культурным явлением, подлинным субъектом деятельности. Расширяйте свое неорганическое тело до размеров вселенной — и оно не останется незамеченным. Жалуются на редкость настоящей дружбы лишь те, кто не умеет понастоящему дружить. Чтобы найти любовь — надо искать себя.

Ложно понятая интимность — воздвигает глухую стену вокруг друзей или влюбленных, и в этой клетке любви остается только умереть. Особого рода литература преподносит сие как смерть во имя любви — забывая, что любовь (и только любовь) дает бессмертие. Шумерская поговорка гласит: дружба на время — рабство навечно. Нет! Рабство умирает вместе с животностью, а дух сбрасывает тела как засохшую листву и пробивается новыми побегами, и всякая дружба — на века.

Представление о любви как тайне — классовой природы; подлинной любви (и дружбе) нечего прятать, она выплескивается через край любого сосуда, переполняет мир целиком! Дружбу не прячут, ею гордятся. Через дружбу человек не только открывает себя себе — он открывает себя миру в целом, заявляет о себе как о носителе разума. Если какие-то стороны этой вселенской личности не видны никому кроме одного или нескольких избранных — это бытие не человеческое, недостойное, постыдное: не духовная полнота, а уродство. У друзей нет секретов от окружающих — они именно дружбой значимы для всех.

В классовом обществе детей с малолетства воспитывают в духе слепого подчинения нормам права и морали, «светским» приличиям и «духовным» догматам. А главный закон рынка — все против всех. Игрушечные детские «дружбы» начинаются с обособления тесной компании, культивируют отличие своих от чужих, — это школа капитализма, отработка умения захватывать рыночные ниши, делать бизнес на исключительном доступе к средствам производства. Стоит ли удивляться, когда такие отношения становятся источником горьких разочарований? Но и этот горький урок буржуазное воспитание ставит на службу коммерции: умение держать удар и никому не доверяться вполне — обратная сторона беззастенчивой предприимчивости.⁴³

Воспитание способности любить — не вписывается в буржуазную систему социализации. Любовь и дружба вытеснены на периферию общественных потребностей, заменены социальными институтами. Вопросы духовности отданы на растерзание религиям — сплошные табу. Поэтому любви приходится примерять на себя дикие, рабские формы — либо выплескиваться стихийной ненормативностью (которую тут же объявляют нормальной для определенного возраста или рода занятий). В тисках всевозможных ограничений любовь не может быть свободной и разумной, стать продуктом общественной деятельности. Отсюда суеверия о непостижимости дружбы и любви, которые, якобы, ни от чего не зависят, приходят сами собой и не поддаются никакому учету и контролю... Точное отражение классовых реалий.

Пикантность в том, что в этой картине любовь и дружба все-таки есть! Более того, они ощутимо реальны — до такой степени, что животнo-классовому обществу приходится учитывать неистребимую духовность — и защищаться от нее, поскольку духовная свобода

⁴³ Вспомним циничное одиночество Эмиля в педагогическом проекте Руссо.

нейтрализует рычаги экономического давления, подрывает устои всякого неравенства. Но пока общество противостоит человеку как чуждая сила, как отчуждение и принуждение, — любовь к человеку не становится любовью к обществу, и возлюбить человечество — не значит признать разумность общественного бытия. Для классового человека это своеобразный тест на собственную разумность, суждение от противного: если меня все устраивает — я не дорос до любви. Дружба принимает форму борьбы — и даже в индивидуальной дружбе сохраняется это «перетягивание каната», подстраивание друга (или его идеального образа) под себя — вместо того, чтобы просто оставаться собой. Здесь исток идеализации друзей и любимых, о которой так много рассуждают буржуазные рассудители. Другая сторона того же самого — неумение видеть друга, превращение его в объект, в зеркало, в котором созерцают лишь себя. Частный случай — назойливое самораскрытие, обнажение якобы глубин души (а на самом деле — плоской бездуховности). Это исповедь себе самому, в надежде, что зеркало окажется достаточно кривым, чтобы отразить низменное возвышенным, горбатое стройным... Настоящая дружба никого не выворачивает наизнанку — показывает, каков человек в деле, насколько он умеет устроить мир не по прихоти, не под себя, а для всех, всеобщим образом, — чтобы через это стало лучше другу; тогда и зеркала не нужны — счастье одно на всех.

Друзья не друг для друга — они друг в друге, они представляют единство мира: не просто вместе, а как одно целое. Интеллигентское сюсюканье над Сент-Экзюпери: «ты будешь для меня единственный в целом свете»... Это совсем не то! Наоборот: ты подаришь мне всю вселенную — и я подарю этот огромный мир тебе! Не поэтическая метафора — а самая суть любви.

Когда группа противопоставлена обществу — не может быть действительного единства: внешняя противоположность представлена внутренними проблемами. Поэтому в обывательских компаниях важную роль играют знаки формальной причастности, ритуалы и прочие «проявления» дружбы. Вроде взаимного вычесывания у обезьян. Но если влюбленные будут ласкать друг друга по обязанности — надолго ли хватит такой любви? Дружба чужда демонстративности; знаки любви улавливают не в том, как ее пытаются показать, не в признаниях, — видят любовь как раз в том, что возникает невольно, как бы само собой: мы чувствуем, когда другой думает о нас. И наоборот, если нет этой невидимой связи — никакими словами и дарами не убедить.

Уважение к другому — первый принцип любви. Если мы требуем от себя соблюдения внешних приличий в обществе посторонних людей — почему в отношениях с другом выглядеть пошлым скотом? Грубые шутки и пихание телесами — для стаи, для жизни по понятиям, для оскотинившейся солдатни. В любви как нигде важна чуткость, нежность, деликатность — внешний лоск превращается здесь во внутреннюю потребность. Нельзя насиловать духовность, связывать и использовать любимого человека; не потому, что так велит очередной «моральный кодекс», — а по велению сердца и разума: несвобода одного есть также несвобода другого. Только так поиск любви становится поиском пути к себе. Не однобоко, не абстрактное «самопознание» — а становление в любви, созидание себя через другого, без которого личности вообще нет. Сводить дружбу (любовь) к простому самораскрытию, обнаружению неожиданных даже для себя глубин, буржуазный призыв «стань тем, что ты есть!», — представляет дело так, будто бы в человеке уже есть зародыши любых достижений — и надо лишь ловить момент, чтобы вытащить их на свет, блеснуть и самоутвердиться; если такое случается в дружбе — дружба опять низводится до голой утилитарности: друга превращают в средство, в объект. Суть же в том, что *до* любви человека вообще нет! — он как раз и *возникает* в любви, воплощает ее. Отсюда слащавая буржуазная романтизация: ребенок (или итог труда) как плод любви, видимое единство любящих... Да, любовь может одухотворять продукты совместной деятельности — вплоть до возникновения нового субъекта; однако это «дитя» — лишь частичное воплощение любви, одна из граней универсальности (которая вместо этого может воплотиться в чем-то другом, что вовсе не бросается в глаза). Каждый из друзей *творит* другого, а не просто отражает или отражается в нем; все остальное — побочный эффект (в рыночном понимании — с разными знаками).

Любовь многолика — но классовое общество сталкивает стороны единой любви внешним образом, как множество разных, классово ограниченных любовей. Ни одна из них не может дать чувство духовной полноты — и в любом сочетании чего-то не хватает. Ясно одно: замкнуться в любви — погубить любовь. В терминах разобщенного мира, А. Макаренко предельно точен:

... любовь не может быть выращена просто из недр простого зоологического полового влечения. Силы «любовной» любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. [...]

И чем шире область этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая.

Ближе к концу XX века ту же идею встречаем у поэта:

Любовь ничто, когда она одна.

Но так же и в дружбе: умение дружить вырастает из очень разных дружб, каждая из которых может выглядеть частичной, оторванной от других; однако благодаря возникающему в творческой деятельности единству этих единичностей каждая из них обретает духовность, которой не смогла бы достичь сама по себе. Чем шире горизонт — тем ближе к универсальности, к разуму, — к устранению любых горизонтов. Когда Аристотель доказывает, что друзей не должно быть много — молчаливо предполагается классовый человек, ограниченный готовым набором приличествующих происхождению и достатку общественных ролей. Свободный человек — ничем не ограничен, и (прямо или косвенно) участвует во всем; но в этом случае все люди становятся его друзьями, и бесконечность любовей сливается в единую, бесконечно разнообразную. Человек не присваивает мир — а отдает себя миру, творит мир и себя в нем. Это не Руссо: «две души в одном теле»; скорее, наоборот: сколько угодно тел для каждой души. По отношению к другу — неуместна идея ценности: друг бесценен — и потому один друг не может мешать другому (а не как у буржуазных детенышей: кого ты любишь больше?).

Однако в классовом обществе внешние, формальные отношения могут не совпадать с движениями духа — и возникает характерная раздвоенность, отчужденность человека от самого себя. Дело доходит до того, что «заклятые друзья» жестоко конкурируют на экономическом поле — хотя толкает их к этому нечто совсем иное: невозможность обойтись друг без друга. В художественной литературе хватает образов таких, отрицательных дружб. Приглушенные формы — сердечная тоска, совесть, горечь успеха и неразделенность бед. В попытке избавиться от несовместимости себя с собой — угар увлечений, лихорадочный поиск замены, стремление заполнить одну пустоту другой. Потом наркотики, жестокость, цинизм, безразличие, долг... — лишь бы сбежать от разума, превратиться в животное, в вещь. В буржуазном понимании любовь — возможность обладать и принадлежать. А внутри пустота — которую тут же заполняет что-то природное, нечеловеческое. Когда нет поблизости друга — становятся орудием врага.

Разум не ограничен во времени и в пространстве — и близость не знает границ, она вне времен. Желание «приобрести» друзей здесь и

сейчас — отрывка капитализма; так ищут не друга, а «крышу», заслон от мерзостей классового бытия. Дружба — не формальный союз: ее нельзя «заключить», в нее нельзя «вступить»... — дружбу надо всю жизнь выстраивать, выстрадать, предвкушать и осуществлять. Тогда и дружба дольше жизни — и жизнь не заканчивается никогда.

В условиях развитого капитализма разделение труда нередко захватывает и внешнюю сторону дружбы — и приходится дружить «по отдельности», и будить ревность... Однако дружба как таковая не признает внешней отчужденности: даже если два человека ненавидят друг друга, ревнуя к третьему, — они все равно вбирают личность друга целиком, включая все «лишние» дружбы, и тем самым предмет ненависти становится жизненно важным — превращается в источник духовного развития, предмет любви. Жить интересами своего друга — значит, живо интересоваться всеми, кто интересен ему. Как это будет проявляться внешне — зависит от экономики.

Такое, не ограниченное парными (или групповыми) отношениями единство исключает вопрос выбора, предпочтения, сопоставления. Поступок, продиктованный одной дружбой, — равно отвечает всем другим (опять же, независимо от формальных проявлений). Дело не в компромиссах, не в способности всем угодить: высшая духовность состоит в том, чтобы снимать навязанные извне противоречия, заставить мир стать равно приемлемым для всех. В разделенности цивилизации бывает очень не просто этого достичь; но в основу деятельности все равно ложится стремление к единству — необходимый минимум разумности. В связи с этим иначе выглядит излюбленный пример буржуазных «теоретиков»: у Лукиана описан случай, когда скиф бросает в огне жену и детей, но спасает друга; это трактуют как возвышение дружбы над прочими привязанностями, ее исключительную культурную ценность. На деле тут ни дружбы, ни любви. Боевое товарищество — внешне предписано раннеклассовой традицией, а жена и дети — всего лишь движимое имущество, дело наживное... Если бы «скиф» любил жену — он бы ее не бросил, не отделяя ее спасение от помощи другу. Скорее, он мог сам погибнуть — но не отказался бы от любви. Даже когда в языках возникают разные обозначения для дружбы и любви — друзей по-прежнему *любят*, а любимая — *милый друг*...

Любовь (или дружба) не предполагает образования устойчивых пар или групп; но, точно так же, она не предполагает и их отсутствия. Если кому-то с кем-то хорошо — на здоровье! пусть переплетаются судьбами,

как Тристан и Изольда, или Маркс с Энгельсом. Более того, вполне возможно, что у человека (в границах формальной биографии) будет один-единственный друг; главное — чтобы такое единство не стало формальным, не препятствовало другим путям любви (например, сильно опосредованным отношениям формально незнакомых людей). Вопрос об «устойчивости» и «стабильности» отношений в дружбе вообще неуместен: любовь невозможно потерять! — как это ляжет на движение материальных тел — дело десятое. Если кто-то после смерти любимого человека испытывает острую потребность «развеяться» в общении с кем-то еще — значит, любви и не было, — а было что-то другое. Что бы ни происходило с нашими телами — любимые всегда рядом. Поэтому попытки попов объявить любовь к богу высшей ценностью поскольку он тот, «кого нельзя потерять» (Августин), — убогий обман. С другой стороны, любовь не сама по себе сущая абстракция — ее надо строить, творить, создавать как мир. Религии в унисон вещают, что люди кем-то сотворены, — что их творцы вне нашего мира; следовательно, бога невозможно сотворить по своему образу и подобию — и полюбить, как другого себя. Конечно, там, где ничего нельзя обрести, — и терять нечего. В любви мы взаимно создаем друг друга; но сотворенный человеком бог — вроде бы, уже и не бог, а всего лишь кумир... Так зарождающаяся любовь обожествляет нечто телесное, относительно случайное, — и приходится избавляться от этой божественности, очеловечивать созданное нами божество, возвышать до подлинной духовности, приводить к разуму. Глубокая, искренняя вера кажется влечением к богу; на самом же деле это зародыш любви к человеку — пока еще не найденному и обозначенному первым попавшимся именем. При малейшей возможности такая «небесная» любовь превращается в земную. Попы это хорошо знают: слишком много веры — тяжкий грех; религия требует не веры, а послушания. Тем более не обосновательны предупреждения теологов, что сильная эмоциональная привязанность к земному человеку отвращает человека от бога; однако дело не в эмоциях, а в свободе духа: любовь пробуждает разум, и если кто-то научился любить — он выше любых богов.

Неразрывная связь со всеми, кто сделал человека тем кто он есть — фундамент всякой духовности. Утрату части неорганического тела переносят отнюдь не легче, чем потерю органа; тем более трудно расставаться с любимыми: это не та боль, которая притупляется со временем, — это немеркнущее переживание.

Осознание единства — не приходит само по себе: оно всегда представлено душевным подъемом по поводу совместной деятельности, вдохновением и постижением. Когда человек любит, он не думает о любви, он просто счастлив — это его нормальное состояние. Чувство потери говорит о духовных проблемах — но столь же красноречивы и любые экзальтации, заметность того, что в идеале подразумевается само собой: если человек обращает внимание на свою любовь — он этим отделяет себя от нее, и значит, в обществе что-то пошло не так. Обостренная чувствительность — это симптом.

Но традиционные представления о дружбе (а тем более о любви) отводят «эмоциональному сближению» значительную роль — на том основании, что это глубоко личное, не поддающееся централизованному регулированию. Например у вроде бы советского психолога И. Кона читаем:⁴⁴

Общество заинтересовано в безусловном выполнении социально значимых *обязанностей*, но оно не может предписывать людям испытывать те или иные чувства.

Так эмпирионатурализм смешивает смутное ощущение отличия духа от экономики, наивное представление о природности человеческих чувств, и подпитываемые буржуазной пропагандой иллюзии об «автономности» личной жизни.

Да, любовь способна пробиться сквозь уродливость классовых форм, как бы ни пытались господа выкорчевать заразу духовности. Но психология тут ни при чем; чувственность — это следствие, побочный эффект, вторичная функция любви. Тот же Кон ссылается на известное с глубокой древности мнение, что совместный труд психологически сближает людей — но это далеко не всегда любовь (помните кота Матроскина?). Эмоции возможны и у животных: это всего лишь «количество движения» — как и в физике, они характеризуются величиной (произведение меры инертности на скорость изменений) и направлением (в психологии предполагается пространство внешних стимулов, которые у человека превращаются в мотивы деятельности). Когда деятельность направлена к одному и тому же — направления этих векторов согласованы (хотя и не обязательно совпадают); скорости движения связаны с темпом деятельности — и тоже синхронизованы, а потому уровень эмоциональности в каждом конкретном случае

⁴⁴ И. С. Кон, *Дружба*. — М.: Политиздат, 1980

существенно зависит от развитости внутренней иерархии субъекта, его психологической «массивности». У человека (в отличие от животных) это движение во многом обусловлено общественными причинами; поэтому говорить о невозможности общественного контроля никак не приходится. Воспитание человека как раз и призвано «предписывать» ему подобающие чувства в предусмотренных законом и традицией ситуациях; в классовом обществе испокон веков известны технологии психологической манипуляции — а политтехнологи (промыватели мозгов) умеют весьма эффективно подчинять симпатии широких масс корыстным интересам кучки политиков (без чего не обходится ни одна предвыборная кампания). Задача любви — освободить дух, вывести его из-под внешних запретов и побудить к самостоятельности, к творчеству, к личной ответственности за плоды своего труда (а это и есть становление человека как личности).

Любовь и дружба — не нуждаются в броских демонстрациях. Это не значит, что бурные страсти запрещены: если они уместны — сколько угодно! Только не надо думать, что это и есть любовь. Даже тихая душевная привязанность — лишь формальность; главное — духовное единство, а не то, как оно проявляется. Следовательно, муссируемое в буржуазной литературе противопоставление «инструментальных» и «экспрессивных» функций общения — в контексте любви вообще бессмысленно: все эти частности просто не имеют отношения к делу. Нам вешают лапшу на уши (Кон):

Объективный научный анализ позволяет расчленить явление, выделить его составные части, отделить реальное от воображаемого, идеал — от действительности, сущее — от должного.

Вот точная картина того, как не следует поступать ни при каких обстоятельствах! Отделять идеал от действительности — значит убить его; отделять сущее от должного — значит остановить творчество (творение миров — которым человек отличается от животных); явления надо не расчленять — а анализировать, смотреть с разных сторон, чтобы свести частности воедино (как объемное тело на старых чертежах представляют характерными проекциями). Изучать особенности — только для того, чтобы уяснит себе общее.

Рационально объяснить дружбу — значит свести ее к каким-то утилитарным, нормативным или ситуативным соображениям, подвести под общее социальное или психологическое правило, закон. Наука обязала делать это, и ее прогресс здесь неоспорим.

Рациональность — диктат. Тем более такая, гнусно утилитарная. Сводить, подводить — всячески уродовать... Зачем? Не все нужно объяснять; настоящая наука не терпит филистерского фанатизма. Якобы научные изыскания ни на йоту не продвинули постижение дружбы и любви — потому что на самом деле они занимаются чем-то совсем другим. Только и остается сетовать на неуловимую «нерассуждающую самоценность» — тогда как дружба выше базарной страсти прицениться, а рассуждать разумному существу порой вполне уместно (хотя и не всегда рационально).

Существенно, что единство в любви и дружбе не только имеется «по определению» — оно там и рождается, его нельзя привнести извне, «включить» или «выключить». Чтобы стать друзьями — надо вместе трудиться; этого недостаточно — но это необходимая предпосылка. Совместность — это и есть определение близости; далее две стороны: экономическая (участие в производстве) и духовная (общение). Даже уродливо классовые формы экономического единства, когда одного возможно запросто заменить другим (рабочего выбросить на улицу и нанять нового, а новый барин — не лучше прежнего), в творческом общении превращаются в новый уровень духа (классовое сознание); поскольку же в труде есть элемент творчества — он снимает различия, делает объединение свободным, когда уже нет надобности делить и обязывать. В полном соответствии с уровнями самодвижения мира (существование, жизнь деятельность), случайная близость становится близостью по необходимости — а потом и универсальной близостью, дружбой. Отсюда ясно, что в дружбе (и любви) глупо говорить о «выборе»: человек не выбирает, кого ему любить; это любовь его выбирает — рождается из суетной пены там, где мы есть, и в тех формах, в которых мы есть. Выбор — подразумевает рассудочность, оценку, расчет; в нем нет любви — дело которой созидать, а не анатомировать. Дружим мы не по выбору, не отделяя друга от прочих людей, а наоборот, сознавая невозможность быть иначе, неуместность выбора, — и тогда друг не противоположность обществу, а его персонификация, — часть, тождественная целому. В классовом обществе человек зачастую вынужден выбирать: его ставят в такие условия, в которых всякая интимность затруднена, подчинена регламенту. Получается, что мы любим не тех, кого выбрали, а выбираем не по любви. Формальные дружбы замкнуты в «своем» кругу (по возрасту, полу, общественному положению); замуж выходят за подходящую партию. Что-то перерастает

в духовную близость — но большая часть остается неполноценной условностью, и разваливается при изменении жизненных обстоятельств. Социологические опросы о причинах прекращения прежних дружеских связей⁴⁵ выводят на первое место перемену местожительства; как тут не вспомнить Шекспира:

Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.

Человек изменяет себя, помещая себя в искусственно созданную среду; это нормально. Однако в классовом обществе размещением занимается господствующий класс — и саморазвитие превращается в манипуляцию. Буржуазные философы трактуют свободу воли как возможность выбора, свободу совести — как выбор религии, свободу наций — как право на самоопределение... При этом нет и речи об освобождении от самой необходимости выбирать — когда человек сознательно творит себя, а не изменяется под влиянием извне.

Раздробленность буржуазного сознания — другая сторона рынка; одно отрывается от другого — конкурирует с ним. Отсюда путаница в идеях, вызванная неуместным противопоставлением. Например, дружно цитируют высказывание Гегеля:

дружба основывается на сходстве характеров и интересов в общем совместном *деле*, а не на удовольствии, которое получаешь от личности другого.

Удовольствие нельзя отрывать от дела, противопоставлять ему; дружба не всегда удовольствие — но однозначно удовлетворенность, индикатор совместимости в деятельности, духовного единения. Точно так же, нельзя трактовать сходство как абсолюто: оно *развивается* через участие в общем деле — но предполагает и первоначально синкретическое единство, и различия, индивидуальность.

Вспоминаем: вместе — не значит рядом. Совместное дело может длиться тысячелетиями — и захватывать все народы всех континентов. На какой стадии произойдет контакт органических или неорганических

⁴⁵ Бессмысленность социологических опросов очевидна хотя бы из того, что никто толком не знает, о чем идет речь. Что называть дружбой? прекращением? причиной? По логике, надо сначала ввести собеседника в курс, предложить единую платформу, — на которой сможет устоять вопрос; иначе это лишь статистика знания словарных статей — и разные эксперименты приводят к разным выводам.

тел — вопрос исторической случайности. Вполне возможно, что он вообще не произойдет — и о единстве тех, кто никогда не слышал друг о друге, люди узнают по оставленным в духовной культуре следам. Два математика доказывают одну и ту же теорему независимо друг от друга, иногда с интервалом в сотни лет; наука равно принимает вклад обоих, называя теорему двойным именем. Эпические поэмы — плод векового собирательства строк, принадлежащих очень разным авторам; читателю предъявляют условное имя создателя, абстракцию художественной целостности. Нам вовсе не надо знать, кого история подружила таким, опосредованным образом. Точно так же, например, наша дружба с Марксом — намного прочнее бытового приятельства; пусть мы никогда не виделись — но все равно неразделимы: мы духовно растем через Маркса — он так или иначе растет через нас.

У каждой любви своя история — и она по-разному разворачивается в истории человечества. В древности внешнее и внутреннее единство не разделены — и с тех пор повелось говорить об *alter ego*. Синкретическое единство разрушается по мере становления представлений о личности, индивидуальности, — и на излете средневековья остро встает вопрос об идентификации в дружбе, о единстве заведомо различного. Отсюда современные рассуждения о том, как друзья порой воспринимают себя как единое целое. Но такого субъективного единства недостаточно: надо чтобы и окружающие воспринимали друзей как целое — «путали» одного с другим. Восстановление первобытного синкретизма на новом уровне предполагает сознательную деятельность, сотворение единства.

Буржуазное сознание соединяет тождество и различие в идее равенства. О том, что невозможно дружить с неравным, читаем еще у Аристотеля, который отстаивал строгое разделение свободных людей, женщин и рабов; дети в этой иерархии занимают промежуточное положение — и становятся людьми, наследуя отцовское имущество (но даже очень богатые наследницы не имели права свободно распоряжаться богатством и собой). Античная дружба — только между свободными; о дружбе между женщинами или рабами речь вообще не идет. Средние века допускают дружбу внутри сословия; между уровнями — лишь покровительство или служение. Только при капитализме все люди становятся формально свободными — и все равны перед законом (то есть, в качестве рыночных агентов). В экономическом плане равенство превращается в пропасть между богатыми и бедными; однако по мере преодоления сословных, этнических и религиозных предрассудков все

крепче сознание духовности как принципиально неотчуждаемого блага, которым в равной мере наделены все. А это солидная основа для становления подлинной дружбы как единства свободных личностей. Тогда общественное признание дружбы как культурного института вытесняет настоящую дружбу из правового поля и расхожей морали: свобода человеческих отношений не вписывается ни в какие нормы, что, с одной стороны, выбивает у обывателя почву из под ног и вызывает растерянность и страх, — а с другой стороны, укоренившееся представление об экстраординарности дружбы, выхода за все мыслимые рамки, подпитывает иллюзию о дефиците дружбы, ее практической недостижимости. Буржуазная пропаганда умело использует и то, и другое для внедрения в массовое сознание мысли о несбыточности, а следовательно, и ненужности дружбы и любви: питайтесь формальными суррогатами — тем, что есть на прилавках... Таким образом, даже неподчинение любви никаким правилам пытаются сделать правилом; но любовь не следует и этому правилу: ее вообще не волнует соответствие чему бы то ни было!

Типичный пример — (якобы научный) поиск законов («формулы») дружбы и любви. Но свобода — вне закона. В том числе и этого — ибо она может свободно принимать облик объективности или общественной связи. Знание закона в этом плане ничем не отличается от незнания. Одни говорят: восприятие друга глубоко субъективно, заведомо предвзято, — мы не можем верно оценить его человеческие качества и принимаем целиком, как он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Другие возражают: умение объективно воспринимать другого — основа подлинного единства; такая дружба требовательна — и потому лучше всего способствует духовному росту друзей (для чего все и затевалось). Но любые оценки — предполагают возможность (или хотя бы допустимость) использования, что с дружбой никак не вяжется. Объективно или субъективно — никакой разницы: в первом случае это отчуждение, отстранение, формализм (следовательно, невозможность объективности); с другой стороны, всепрощение — тоже формальность, при которой дружба вырождается в групповщину, партийность, стайность — в животность (и потому невозможность субъективности). Любовь не зависит ни от чего — и все облагораживает, возвышает: кажущаяся требовательность в дружбе — совместная борьба с тем, что ей мешает; кажущаяся терпимость — вытеснение низменного высоким, устранение барьеров и границ.

Как только складывается классовое представление о дружбе — тут же встает вопрос о том, где ее искать. Независимо от понимания, все признают, что дружба это здорово, и нужно, и важно, и вообще... Вон, еще античный Еврипид писал:

Добывайте друга, люди, недостаточно родных.
Верьте: если слит душою с нами чуждый, то его
Мириады близких кровью не заменять одного.

Обнадеживает намек на принципиальную неформальность дружбы, выведение за рамки экономических (родственных) связей. Напрягает необходимость добывать: когда чего-то добиваются с чрезмерным усердием — это подозрительно, и на возвышенную духовность не тянет. Замените здесь слово *дружба* на слово *деньги* — и вот вам буржуазно-рыночный идеал, без намордника! А мы дружбу на деньги менять не хотим. Любить по плану — не вяжется с идеей духовной свободы. По жизни, никто не планирует дружбу — просто влюбляются, и все; как само получилось. Всякая любовь — открытие, неожиданность, — а не индустриальный продукт. Как мы будем выходить на новый уровень духовности, когда в дружбе нет ничего нового? Нет, мы не отрекаемся от сознательного самосозидания и разумности духовной жизни! Но сознательность и разумность — не расчетливая рациональность. Разум не для того, чтобы строить себе тюрьму; ему по душе встречи с неизведанным. Зато если встретили — надо узнать, угадать, не пройти мимо. Для этого все наши теории — а вовсе не для высасывания из пальца или вымучивания по образцу. В разумно устроенном мире — что бы ни произошло, придется ко двору, откроет какие-то стороны духа; и не надо ничего искать — делать надо. На любом материале, везде и во всем, где бы ни пришлось совместно трудиться. И будет как у Гассенди: сначала товарищество с практической целью — затем взаимная любовь, которая поддерживает дружбу безотносительно к этой первоначальной цели. То есть, мы дружим не для того, чтобы дружить, — а чтобы вместе творить миры.

Если же исходить из буржуазного регламента, когда иметь друзей положено всякому благонамеренному гражданину, — придется работать по обычной схеме: поместить тело в такую среду, в которой вероятнее всего нарваться на родную душу и обрести вечное блаженство. И тут у больших ученых мозга за мозгу: с одной стороны, нужно, дескать, обеспечить максимум контактов — а то выбирать будет не из кого; другая сторона — от избытка может и стошнить (снова Кон):

Текущность и множественность межличностных контактов, с одной стороны, снижает значимость каждой отдельной связи, а с другой — интенсифицирует потребность в устойчивой близости, эмоциональном тепле, психологической интимности.

Уже знакомый букет заблуждений. Почему обязательно снижает? — при каких условиях? Бывает же и наоборот: подчеркивает, усиливает одно другим. Чем шире круг общения (не в смысле дурной «экстенсивности», коллекционирования знакомств, — а разнообразно, универсально), тем разумнее поведение; чтобы не принимать случайные связи за любовь. Количественный подход к «значимости» — это базарная психология: рост предложения сбивает цену. А самая виртуальная дружба — по-своему уникальна и важна; торг тут неуместен. Далее, почему опять выбирать? — нет, мы хотим сразу всего! И не желаем мы ничего «интенсифицировать». Тем более, что факты не в строку: у некоторых реалии бытия начисто отбивают всякую охоту с кем бы то ни было общаться; для этого буржуи даже придумали модное словечко: *аутизм*. Опять же, сводить любовь к взаимным поглаживаниям — полнейший наив: нет, конечно, из этого тоже может вырасти любовь (см. выше о Гассенди); но интимность — таки не психология, это более широкая категория. Наконец, зачем всегда искать устойчивости? Все хорошо в меру. Тем более, что неустойчивость одного всегда связана с вечностью другого. Но чисто по жизни: если мы строим дом, нам важно обеспечить долговечность дома — а не строительных лесов.

К чему приводит буржуазная наука — читаем у того же автора. Прежде всего (как мы и подозревали), человек не сам помещает себя в «питательный бульон» — ему подбирает среду общество, преследуя далеко не благотворительные цели. Вместо освобождения человека от средневековой общинности — возрождение соседских связей; вместо интересной жизни для всех — клубы по интересам; особые программы для стариков, которым, якобы, «приятно и полезно находиться в своем кругу»; специфически молодежные тусовки (вроде спортивных танцев); общества одиноких женщин или анонимных алкоголиков... То есть, вместо того, чтобы дать каждому прямой доступ к любым уголкам культуры, — рыночная дележка, чтобы одни не путались под ногами у других. И снова: чисто физиологическое общение, компания зверушек (или скорпионов в банке). Сегодня к этому добавляются технологии компьютерных сетей — которые еще больше обезличивают человека, делают тканью виртуального организма. О том, чтобы свободно

общаться со всеми предшествующими и последующими поколениями — и речи нет. А это, ведь, бесконечно интереснее организованных добрым начальством или самодеятельных кухонных посиделок! И не надо нам про ограниченные возможности. Если кто-то чего-то не может — вот постановка задачи для общества в целом: изыскать, обеспечить возможность — переделать мир так, чтобы снять вопрос. Цивилизация не позволяет классово ограниченным существам напрямую влиять на развитие культуры — опосредует отношения человека к обществу буферными образованиями, всевозможной групповщиной; нормативное общение вписано в узко-групповые рамки — и не столь опасно для власть предержащих. Бесклассовое общество освобождает личные отношения от этой посреднической нагрузки; так люди, наконец, могут заметить друг друга — и возможна свобода, дружба, любовь. Когда никто не предписывает, чем заниматься друзьям: если кому-то хорошо вместе смотреть телевизор — это для них не менее возвышенно, чем философский треп или музицирование.

Антибуржуйская позиция — начинать с экономики: создавать условия для совместного творчества; какие дружбы из этого вырастут — не столь существенно: главное, чтобы выросли какие-нибудь. Пока человек экономически привязан к одному (или нескольким) из возможных производств — его дух связан по рука и ногам. Дружба вырастает из товарищества там, где товарищество остается лишь фундаментом — не превращаясь в обузу; экономическая свобода позволяет дополнить производственные связи духовными. Иначе вызревает лишь групповая солидарность — следствие неразвитости способа производства; она противоположна любви, это признак животности. Закономерное следствие — отказ от себя, идентификация, психологическое оправдание групповщины; как и настоящая дружба, идентификация возможна с теми, кого давно уже нет (например, с философской школой, или с религией, растерявшей былых адептов), — и с тем, чего еще нет (жизнь в мечтах). Однако в дружбе человеку вовсе не надо ни с кем себя отождествлять: он все время остается собой, становится собой, — и ему в голову не придет чего-то ожидать от друга, или делать что-либо ради него, — или как-то иначе мерить себя другим, а другого по себе. Разговоры о сходстве и различии просто неуместны: человек не сопоставляет себя с другом — каждый из них *представляет собой* их единство. Собственно, к этому и призывает нас разум: не делить, не соединять, — а быть вместе и развиваться всем сообща.

Любовь как история

Если что-то вечно — это вовсе не значит, что оно не может рождаться и умирать. А от рождения до смерти — целая жизнь. Вечность не в том, чтобы продолжаться одинаково в прошлое и будущее, — нет, надо прожить много жизней, единственных и неповторимых.

Человеческий дух — неуничтожим; но его главное определение — универсальность, охват любых природных и общественных форм. Глупо полагать, что во все исторические и космологические эпохи дух будет присутствовать в мире одинаково. Между какими-то воплощениями трудно усмотреть связь и преемственность — и не всегда это уместно. Однако для разума нет непосильных задач — и нет другого способа восстановить единство бесконечно разнообразного мира.

Одна из сторон этого единства — единство духа. Но поскольку человеку приходится иметь дело с единичными вещами, по отношению к каждой из них (и в каждом конкретном отношении) он принимает форму единичности, которую в контексте материального или духовного производства (в деятельности) мы называем индивидуальностью, а в общении единичный субъект предстает как личность. Преобразуя мир, человек изменяет формы индивидуальности; такая, творческая сторона деятельности называется трудом. Но точно так же, в общении людей развиваются их личности; развитие одной личности через другую — это любовь.

Отсюда уже ясно: не бывает совершенной любви. Любовь не дана в готовом виде, она меняется вместе с любящими — и меняет их, и снова должна измениться... Любовь возникает и исчезает в каждое мгновение; для личности — она и создает эти мгновения. Однако в мире вещей и овеществленной, материальной культуры всякому изменению положен предел — вещи (и формы рефлексии по поводу вещей) инертны, массивны: они не успевают за полетом духа — связывают его и как будто придают ему массу, превращают в единичное воплощение, осязаемую вещь. Дух для себя — неотделим от таких громоздких воплощений; так и бессмертную любовь большинство людей лишь распознает в смертных формах, угадывает за отношениями тел. Поэтому, говоря о любви, нельзя ограничиться возвышенным и всеобщим — и надо честно разбирать духовное от вещного в том, что кажется сугубо природным движением, законом любви.

Рассматривать исторические формы и биографии сами по себе — значит, впасть в вульгарный эмпиризм, свести любовь к ее вещной оболочке. Основной принцип осмысленного бытописания — видеть в непосредственно наблюдаемом лишь намек на то, что нас интересует, — шум, из которого предстоит выделять полезный сигнал. Нечто подобное происходит в человеческом общении на каждом шагу: жесты, звуки и графемы, которыми мы обмениваемся — лишь внешность языка, не зная которого расшифровать видимость практически невозможно. Тот же язык можно закодировать другими звучаниями и письменами — и такие сдвиги неоднократно происходили на нашей памяти. Наконец, то же самое можно сказать и на другом языке — для нашего общения это не столь существенно. Но язык — формальное выражение только внешних, производственных отношений; для выхода на уровень духа придется над идеальностью языка обнаружить еще один уровень, снимающий формы, чтобы обнажить ту самую реальность, которая заставляет пользоваться языком индивидуально, так что в общем производственном контексте внутренне разные люди все-таки оказываются и эмпирически разными. Точно так же, в развитии каждой единичной любви важно искать исток ее уникальности — и преодолевать абстрактность всеобщих схем.

Первая вездесущая абстракция — представление о *первой любви*. Якобы рост тела заставляет вдруг пережить внутренне переродиться, пережить неожиданное озарение, в полной мере почувствовать себя человеком. Молча подразумевается не какая-нибудь, а половая любовь: все другие духовные проблески принято трактовать как предчувствия и уроки, подготовку и предварительные пробы.

Эмпирический материал для подобных обобщений — совершенно необъятен. Первую любовь воспевают в искусстве (профессиональном и самодельном); о ней написаны тысячи книг; многие миллионы людей испытали нечто подобное на себе. Справиться со стихией пытаются родственники, юристы и попы; педагоги всех рангов одной рукой воюют с чувственностью юнцов — а другой хватаются за семейные ценности и призывают родителей к бдительности. Либеральные теоретики могут считать первую любовь необходимым этапом взросления, экзаменом на зрелость в человеческих отношениях — на право называться личностью.

Но если мы вырвемся из этой абстрактной всеобщности — есть вопросы и возражения. Прежде всего, не очень верится, что физиология способна напрямую управлять духом и что органические кризисы провоцируют выход на новые рубежи духовности. Логичнее считать

становление личности (которая никак не сводится к биологическому телу) культурным и общественным явлением, на которое материальные условия могут влиять (обеспечивать или затруднять), но никогда не определяют результат целиком. Тогда попытки общества ввести первую любовь в рамки культурных условностей выглядят не противостоянием человека природе, а собственно общественным движением, регуляцией производственных отношений в сфере воспроизводства субъекта как субъекта (универсального опосредования). Другими словами, общество пытается сохранить существующий способ производства — и борется отнюдь не с природой, а наоборот, с чересчур свободной духовностью, меняющей не только природу, но и формы этого изменения. Отсюда превратности первой любви в классовой культуре — и ее идеализация (романтизация) в искусстве и массовом сознании, когда свободу духа противопоставляют несвободе как принципу цивилизации. Увязывать зрелость с формальными признаками (возраст, прохождение условных этапов социализации) — типично классовый подход, отвлекающий внимание масс от экономических и социальных оснований культурной регуляции; разного рода «экзамены» — знаменуют не этапы развития личности, а наоборот, этапы ее порабощения, приведения к традиции. Личность не нуждается во внешнем одобрении; ее становление не зависит от тела — но вынуждено прорываться сквозь классовые запреты, согласовывать поведение с формальными приличиями.

Отсюда вывод: классовое общество навязывает человеку пошлую идею первой любви — чтобы отвлечь сознание от любви человеческой, свободной и не стесненной телесными ограничениями и рамками условностей. На самом деле, любовь приходит к каждому человеку не по расписанию, а в русле его собственной духовной истории, — в любом возрасте и в любых отношениях. Например, откровение половой любви вполне доступно глубокому старику — а какой-нибудь дошколенок способен вспылать страстью к искусству или науке (или возлюбить человечество — иногда в мистически-религиозной форме).⁴⁶ Конечно, если ограничить ребенка общением с природой или примитивными видами труда (включая учебно-воспитательный процесс) — придется притормозить, дожидаясь общественной санкции (доступа к средствам

⁴⁶ В классовом обществе такие эксцессы достаточно редки и воспринимаются как аномалии, помесь гениальности и извращения. Однако их редкость — свидетельство эффективности общественного контроля, а их аномальность — признание и горечь поражения, попытка оправдать себя, списать на божество или природу...

духовного производства). Руссо советовал держать ребенка в темноте до двенадцати лет; современные борцы за долгое детство стремятся выставить планку еще выше. Разрушительность полового созревания для традиционного воспитания связана как раз с тем, что человека лишают собственно человеческого общения — а такая «естественность» педагогики подчиняет дух природе, лишает личность опоры.

Эмпирионатуралистическая педагогика культивирует неопытность; всякий опыт на этом фоне воспринимается как великое открытие — даже если это отрицательный опыт. Нечто подобное происходит в экономике и политике: стремление отжившего режима удержаться любой ценой приводит к революции — и только задним числом возникает чувство, что ничего принципиально не изменилось, и новая порядки не лучше старых. Тем не менее, первый же опыт — уничтожает младенческую невинность; это качественный скачок, осознание духовности. Поэтому система социализации старается как можно раньше заметить событие и вписать в формальные рамки, подвести под правило. Стихия первой любви может легко перерасти в стремление переродиться снова и снова, творить себя (как и положено разумному существу) в каждое мгновение, в любых отношениях. Напротив, «первая» (общественно санкционированная) любовь проводит резкую границу между «до» и «после»; исходно это граница между прошлым и будущим — потом грань сдвигается и начинает отделять одно прошлое от другого: вместо перехода от застоя к движению — замена одного застоя другим: неопытность вдруг становится «зрелостью» — и дальше расти, вроде бы, уже не требуется.

Формы укрощения первой любви — весьма и весьма разнообразны. Типично буржуазное решение — брак, «союз по любви». Здесь работает та же схема сдвига в прошлое: любовь как повод для создания семьи — нечто одноразовое, уступающее место супружеским и родительским обязанностям (пожизненным — и потому более возвышенным). То есть главное в общении одного разума с другим, любовь как развитие духа, заменяют чисто экономическими, производственными отношениями, которые могли бы существовать и без любви. Управлять вещами власти умеют; власть над духом — сложнее. Поэтому с раннего детства людям исподволь внушают идею брака как формального сообщества, союза — а не духовного родства; любовь цинично сводят к половой любви, а секс увязывают с производством органических тел, доводить которые до работоспособного состояния придется за свой счет. Средства массовой

информации и школа всячески пропагандируют жизнь по классовым понятиям, целенаправленно подбирая ракурсы и программы, отсеивая неудобные для властей примеры. К официально установленному порогу полового созревания большая часть молодежи подходит с достаточно промытыми мозгами, чтобы не просто покорно «узаконивать» сугубо личные отношения — но и желать этого, мечтать о «семейном счастье». Потом выясняется, что хорошее дело браком не назовут, — но отступить поздно: опрометчивые вложения придется отработывать.

Однако далеко не всегда первая любовь доживает до брачных уз — и приходится изобретать узы иного рода. Стереотип несчастной (и даже трагической) любви — обратная сторона репродуктивного «счастья», подобно тому, как в рыночной экономике убытки — зеркало прибыли. Буржуазные экономисты без стыда заявляют, что кризисы оказывают великое очищающее воздействие на загнивающий рынок, и жертвы простого народа не напрасны; да, кому-то не повезло — но зато жив дух рыночной свободы, конкуренции, — и надежда на выигрыш доступна всем. Так и любовь «облагораживает» души, и сгоревших в ее пламени греют угольки памяти... Даже смерть не так уродлива, если это смерть по правилам. Как и с дозволенным счастьем — несчастная любовь может стать мечтой, призванием, верхом блаженства. Особенно для тех, кому больше не на что надеяться: классовые барьеры не каждому дано преодолеть (хотя без туннельного эффекта не обходится и эта механика).

Еще один вид санкционированной любви — богема. Своего рода синтез противоположностей: счастье взаимности, прихоти страсти, измена и прощение, ревность и преданность... Иногда в сочетании с браком — иногда как его противоположность и дополнение. На этот счет также есть готовые рецепты, типовые заготовки. Все в пределах рынка, ничего криминального. Хиппи в конце концов превращаются в рядовых буржуа — бунт встроен в систему как одна из ее цепей.

Кажущаяся противоположность богеме — сопливая романтика. Отрицательное единство: не нужно нам ни того, ни другого! Любить не человека, а идею любви. Как и богемная любовь, романтика вовсе не чужда семейности или трагической позе: можно обзавестись хозяйством и плодить детей — но с полнейшим равнодушием к чужим судьбам; можно любить издалека — но не человека, а его удаленность. Это по жизни очень удобно: пусть мир движется сам собой, а мы ни за что не в ответе. Литературных и прочих образцов — тоже хоть отбавляй, есть кого делать жизнь. Чтобы не строить с нуля, на свой страх и риск.

В пределе абстрактная любовь перерастает в религию. Обычный рыночный императив, договорняк: я не лезу в ваши дела — а вы будьте добры уважать мои права. Раздел сфер. Как и всякая религия, такая любовь очень требовательна: любые сомнения в божественности идеала воспринимаются как посягательство на самое святое — и оправдывают джихад. То есть, вы, так уж и быть, можете придерживаться своей недоделанной веры — если признаете безусловную правильность моей.

В каждой общественно-экономической формации, и в каждой конкретной культуре, — характерные оттенки укрощенной любовности. Поскольку предыдущие эпохи представлены в экономике капитализма, они влияют на собственно буржуазные решения; рыночная любовь особенно разнообразна — и это позволяет эффективно бороться с любовью как таковой, сразу же подменяя нечто серьезное очередной формальной пустышкой.

В наши дни бурно развиваются «нетрадиционные» субкультуры: групповые семьи, свопинг, гомосексуальность, бесполое воспитание и смена пола, олицетворение животных и вещей, виртуальные связи (включая удаленный секс) — и многое другое. По сути — ничего нового. Вариации на ту же «мясную» тему: животное тело главнее разума — что на самом деле лишь утверждает власть одних людей над другими людьми, ограничивает (убивает) свободу. Дескать, дух — не для рабов: пусть лучше думают о бранных телах... Но оказывается, что при этом и правящий класс утрачивает духовность, опускается до уровня эксплуатируемого им рабочего скота; в классовом обществе духу не во что воплотиться — и он неприкаянно витает где-то между частичными, кастрированными материализациями, терпеливо дожидаясь гибели цивилизации, чтобы, наконец спуститься с потусторонних небес на землю, к живым людям, прекрасным в своей разумности.

Что от этого возможно усмотреть в бездуховной суете? Прежде всего удивительный факт: первая любовь *заметна сразу* — она резко меняет как влюбленных, так и отношение общества к ним. Это никак не зависит от половых сношений, которые могут быть возможны до любви и неуместны после духовного открытия. Влюбленность может как предшествовать постели — так и становиться результатом полового опыта (а иногда рождаться после многих лет супружества). Тем больше разнообразия, когда первая любовь приходит в иных воплощениях, не связанных напрямую с полом. Однако то, что человек вдруг становится другим, удивляет окружающих («наш Костя, кажется, влюбился») — и

ошеломляет любящих. Совсе не обязательно влюбленный сразу осознает причины неожиданной перемены — достаточно смутного ощущения чего-то большого и значительного. Иногда это будет восторженное предчувствие — иногда душевное томление и боль. Потом, возможно, источник примет облик кого-то знакомого — чему немало способствуют и казарменно-прямолинейные реакции общества, подталкивающего влюбленных друг к другу: так проще *обозначить* происходящее, вписать в культурный контекст.

В чем секрет? А в том, что совершенно разные люди вдруг образуют нечто *новое*, чего не было ни в них, ни в их отношении к миру. Это совместное *действие* фактически пересоздает личность каждого из влюбленных — и намечает еще одну личность, *представленную* их единством.

Тут надо подробнее. Любовь не природная, а духовная связь. Возникает она вовсе не потому, что двум животным пришло время спариваться, — возникновение любви есть выражение общественной потребности: человечество нуждается именно в этой форме движения, в духовной связи. Как это соотносится с преднастройкой общества на любовь — разговор особый; сложнейшее переплетение материальных и духовных производств производит любовь как общественный продукт. На поверхности все выглядит как соединение двух людей в одно целое, после чего они способны действовать как единичный субъект, как один человек. При этом, в отличие от образования (производственного) коллектива, любящие становятся (и ощущают себя) не *частями* целого, а его разными *сторонами*, каждая из которых представляет целое во всей его полноте. Так выражает себя изначально общественный характер любви: речь не о взаимодействии единичных вещей, а об отношении общества в целом к себе, о росте иерархии культуры (второй природы). Нет резкой грани между скрытым созреванием условий — и переходом в новое качество; все это уровни одной иерархии. Лишь в каком-то одном отношении возможно соотносить становление любви с видимыми изменениями: поведение влюбленных, их совместная деятельность (включая половую связь), образование формальных сообществ (в браке или без) и т. д. Классовому обществу удобнее представлять фактическое единство как образование юридического лица — когда разные люди *по праву* действуют от имени целого. Любящие все равно неразличимы по отношению к деятельности — так почему не узаконить жизненные реалии? Регистрация брака — одна из таких правовых форм.

Еще раз: драматические изменения возможны лишь как следствие незаметных количественных сдвигов — качественный скачок. Разные качества — не вообще различны: они представляют собой уровни чего-то одного (в философии это называют мерой), по отношению к чему мы можем говорить о качестве и количестве. В каком-то ином отношении (или в другом масштабе) развитие любви оказывается плавным и постепенным; так, гладкая траектория летящего самолета в какой-то проекции кажется невообразимыми скачками, наводящими на мысли об инопланетянах... Строение классовой культуры как раз и дает такой ракурс, в котором нормальное развитие духа кажется его биографией — рождением и смертью любви.

Любовь по-особому настраивает тела, заставляет их двигаться так, чтобы сохранить единство более высокого уровня. Такая настройка, синхронизация, переход к совместному движению многих тел, — явление обычное для человеческой деятельности: включение организма в культурную среду задействует именно те из возможных способов органического движения, которые соответствуют производственной необходимости и обслуживают общение; в частности, человеческий мозг работает, как будто бы, по природным законам — но вне общества он так работать никогда бы не стал. В половой любви (поскольку это любовь, а не только секс) — также происходит взаимная подстройка, согласование психических и физиологических процессов у партнеров; но это не просто приспособление одного тела к другому, одной психики к другой (как пишут в пошлых книжках: попытайтесь ее/его понять), — не имитация, не подыгрывание, не формальное, а *действительное* единство, совместное («синхронное», «коррелированное») движение. Тела *уже* взаимосвязаны — и не требуется прилагать к этому специальные усилия. В частности, сферы полового возбуждения и торможения у *любящих* работают как *единое* органическое движение: кульминация и разрядка у них одновременны; так возникает волшебство совместного оргазма в любви — в отличие от ненадежного и частичного удовлетворения в случайной связи. Нетрудно догадаться, что обычная у современных «наложниц» фригидность — вовсе не от недостатка чувственности: скорее, это ее подавление, след когда-то прожитой любви (не обязательно половой!), до уровня которой обычный секс никак не дотягивает, и не может разбудить дремлющий дух. Такого рода душевные травмы — не редкость в классовом обществе, где секс обставляют экономическими, правовыми, религиозными и моральными

ограничениями. Разумеется, рождение новой любви восстановило бы всю прелесть старой — но страх запрета иногда сильнее.

Рождение любви можно уподобить настройке струны по другой струне: плавно изменяя натяжение, мы в какой-то момент вдруг попадаем в резонанс, и это сразу слышно, и это уже музыка. Однако жизнь — не простенький камертон: у нее много характерных частот, и резонанс возможен с любой из них. С другой стороны, музыкальный инструмент может иметь несколько струн — настраивать которые можно по-разному. Предпочтительны гармоничные сочетания (как у скрипки или гитары) — когда одна любовь поддерживает и обогащает другую; но у некоторых народов музыка допускает разные строи — и существуют, например, инструменты с несколькими грифами (или регистрами), предназначенными для разных песен.⁴⁷

Любовь — это не только резонанс личностей, но и общественный, культурный резонанс. В технических терминах, общение любящих создает контур *положительной обратной связи* — независимо от «знака» переживаний (или последствий) — это обостряет чувства, поднимает дух (с оттенками от сдержанной нежности до экзальтации); общество накладывает на все дополнительные обратные связи — положительные (усиливающие) или отрицательные (сдерживающие); существуют также внутренние механизмы предотвращения «разболтки» общения при чрезмерной интенсивности — в классовом обществе такие (отрицательные) обратные связи могут, например, выглядеть как пресыщение или привычка.

Половая любовь — традиционный (то есть, навязанный извне) механизм осознания собственной духовности. Система образования намеренно выстроена так, чтобы подчеркнуть органические изменения: массовая школа формально переводит с одного цикла обучения на следующий — и уже этим ребенку вдалбливают представления о физиологическом возрасте — заставляя догонять убегающее время; такое подстегивание может лишь навредить становлению духа. С возрастом связывают изменения общественного статуса (детский сад, начальная и средняя школа; аттестаты, паспорта, гражданские права). Шкала («система отсчета») предписана изначально — потому и первая

⁴⁷ Аналогично, современные синтезаторы позволяют переключаться от одной настройки к другой нажатием клавиши — и распространенные народные строи уже встроены в систему.

любовь попадает в заложники физиологии. Секс (как и подростковый мат) становится синонимом взрослости; общество закрепляет эту формальность, приравнивая любовь к сексу, а секс связывая с деторождением и созданием семьи («гражданская зрелость»).

Но ребенок — прежде всего человек. Он ничем не хуже взрослого, и движения духа доступны ему ничуть не меньше. Однако собственные часы ребенка (пока он не испорчен вмешательством всевозможных воспитателей) идут иначе — он существует в других шкалах, вовсе не обязательно хронологических. У ребенка другие приоритеты — и нельзя мерить его взрослыми мерками. Качественные скачки в собственной шкале человека происходят не по общепринятому расписанию: у духа другая история. То есть, первая любовь как духовный рост вполне возможна гораздо раньше половой любви; скорее всего, именно благодаря таким, незаметным в грубой взрослой шкале духовным сдвигам человек складывается как личность — и лишь *обнаруживает* себя как личность к моменту общественно признанной первой любви, — когда ему, наконец, разрешено любить «по-взрослому». Если по каким-то (общественным) причинам не хватает таких ступенек на самых первых этапах социализации, взрослый оказывается нравственным уродом, недочеловеком — и секс его отнюдь не облагораживает. Но классовому обществу такие нужны, их целенаправленно воспитывают в этом духе для противостояния человеческой любви, делают орудием насилия и одурманивания масс.

То, что в общественном сознании закреплено как первая любовь, становится, таким образом, лишь итогом предшествующего (скрытого) развития, видимым результатом. Ожидаемая внезапность любви — культурная условность, правила игры; все равно что долго сидеть с закрытыми глазами — и вдруг их открыть. Бесклассовое человечество будущего не станет ограничивать себя лишь одной из возможных шкал: люди научатся смотреть на мир с разных ракурсов и в разных приближениях; тогда вместо одного удивления мы заметим десятки и сотни духовных революций, которые одинаково велики.

Романтическая идеализация первой любви — неотъемлемая часть духовного наследия прошлых эпох. Бездна пошлой болтовни (от признаний на песке до толстых романов и академических трудов) тоже для чего-то исторически нужна. Как минимум, мы таким способом поддерживаем в себе способность влюбляться — как заначку на потом, когда раскроется вся необъятность человеческой, свободной любви.

Одним из путей к ней может быть и «либерализация» половой любви в уже существующих культурных формах. Почему, собственно, первая любовь должна быть единственной? У предрассудка и общественные, и субъективные корни. Общество загоняет любящих в брак — и осуждает связи вне брака. Одновременное сосуществование нескольких браков европейские законодатели трактуют как уголовное преступление — хотя, казалось бы, чему это может повредить? Традиции разных народов допускают многоженство и многомужество; известны также культуры, где наложницы получают особый правовой статус, оставаясь формально ущемленными в правах по сравнению с женами. Семья как юридическое лицо (рыночный агент) возможна и на полностью контрактной основе; ситуация, когда один человек представляет несколько компаний, для капиталистической экономики — явление совершенно заурядное. В какой-то мере, раздвигает правовые границы и легальность проституции в развитых капиталистических странах. То есть, даже в рыночном контексте несложно отказаться от идеи единственной любви, не меняя общего характера экономики. Но там, где приходится юридически умерщвлять любовь ради следующей (оформляя свидетельство о смерти или развод), в сознании обывателя единственность прописана как земной и божий закон.

Субъективно, первая любовь открывает человеку его духовность — и тем самым играет роль первобытного акта инициации; в этом смысле она единственна и неповторима. Можно потом влюбляться и любить — это, вроде бы, уже не ново, повторение пройденного. Если, конечно, оставаться исключительно в сфере половой любви. С другой стороны, бытует легкомысленное отношение к первой любви: нечто преходящее, эфемерное, предварительное... Почти наверняка обреченное умереть — оставляя вечную память. Парадокс разрешается чисто формально: каждую новую любовь человек считает самой первой, подлинной и настоящей, — а все предшествующее лишь путь к ней, этюды и наброски будущей картины. По сути, это подлое предательство — которое ничем не отличается от юридического умерщвления: отделаться от одного, чтобы заняться другим.

Такие субъективные трансформации любви точно воспроизводят во «взрослой» шкале последовательность скрытых качественных скачков процесса взросления, первоначального становления личности. Так в любви работает принцип подобия в строении всех иерархий: на каждом уровне представлены какие-то из глубинных или глобальных структур.

Открытие любви — открытие себя, становление духа. Но стоит разместить одну ступеньку выше другой — она оказывается уже не первой, а последней. И дальше расти некуда — нет будущего. Какая же это духовность? Смерть.

Субъективная единственность любви — это еще и увлеченность, поглощенность любовью, жажда отдаться ей целиком. Действительно, универсальность, всеохватность, — важнейший признак любви; нет ничего в человеке, чего не коснулась бы эта грандиозная перестройка личности, превращение в свое другое. Субъект деятельности определен как универсальное опосредование — и воспроизводство одного субъекта в другом не может ограничиваться частностями. Однако в классовом обществе эта всеобщность представлена в извращенной форме — как собственность, владение, неограниченное распоряжение. Классовый человек не может целиком отдаться любви, не присваивая ее, не отчуждая от общества, — а значит, и от себя. Рыночная логика: если я отдаю себя целиком — то и получить я должен все; долгосрочные капиталовложения выводят деньги из оборота. В классовой любви партнеры ограничивают друг друга, они связаны буквой (писаного или негласного) контракта. Свобода в такой любви воспринимается как измена. Нельзя одновременно работать на конкурирующие фирмы.

Письменная речь возникла вместе с классовой экономикой — поэтому в художественной литературе (и в искусстве вообще) история любви (не только половой) выглядит длинным списком взаимных измен. В дополнение к литературности — бурные биографии известных авторов (реальные или воображаемые). Любовь кажется невысказанной, вне ревности, вне страха за будущее — предчувствия смерти. Можно ли посягнуть на святое? Аналогично, в начале XIX века провозглашенная коммунистами программа уничтожения частной собственности казалась безнравственной: вы собираетесь установить общность жен! Новые времена проще: тресты и картели в экономике — в комплекте с нетрадиционными формами половой любви в быту, независимо от юридического оформления. Суть та же: сделка, обмен, — коммерция.

Как только мы вылезаем на свет из этого гадюшника — все очень просто. Человек (поскольку он разумен) никогда не ограничивается чем-то одним — он может участвовать в любой деятельности, и это никоим образом не ущемляет свободы других. Ни тела, ни души (ни прочие орудия труда) — никому не принадлежат. Что нам подходит — то и любим, ничего не требуя и не обещая. Нас тоже любят — без претензий

и обязательств. Одна деятельность может разворачиваться на фоне других — и ни одна любовь не мешает никакой другой.

Буржуа тут же возмутится: а как же совместно нажитое имущество, дети? Приходится напомнить: нет больше такого понятия. Нельзя иметь то, что стало общенародным достоянием (но не собственностью!); тем более дети не собственность — и людьми они станут, свободно общаясь со всем миром: им даже в голову не придет спрашивать о родителях (которых, может быть, и вовсе не было).

И вот в таких условиях оказывается, что одна шкала ничем не старше другой — и любая любовь становится первой! Все не потому, что прошлое задвинуто в пыльную память! — нет, любовь больше не должна умирать — даже ради любви. В мире, где любовь не урезают до юридических формальностей или репродуктивного конвейера, уже нет никаких оснований сравнивать старое и новое — у них нет общей меры, общего качества, и переход от одного состояния духа к другому — не просто качественный скачок, а выход в иной мир, в другое измерение. Такое единство — только для разумных существ. Зверушками или рабами тут не обойтись.

Но мы-то, пардон, пока живем здесь, в мерзком, провонявшем деньгами мире — и мало чем от него отличаемся. Так что же, сложить ручки и ждать светопреставления, раздачи небес? Пусть судьба подарит идеальную любовь, а лучше несколько...

Любовь не падает с небес — она крепко к ним приколочена. Надо строить свою любовь, из того что есть. Пусть криво и непрочно — но по высшим образцам, без скидок на всеобщую ущербность. Любая попытка понизить планку, упростить и опошлить — это и есть самая страшная измена. Предательство по отношению к тем, кто нуждается в любви.

Ладно. Допустим, решимости набрались. Что на практике? Прежде всего — не отвлекаться на вещи. Если думать о сексе, браке, детях или уютном гнездышке — любовь трудно заметить. Потому что вещи сами лезут в глаза — а дух субстанция деликатная, лишний раз постесняется о себе напомнить. Как можно вытеснить вещи из первых рядов? Очень просто: достаточно ими заниматься регулярно, ввести в распорядок дня. Обычное быстро становится незаметным. Например, приобрести опыт половой жизни раньше, чем причаститься к половой любви, — очень полезно: путать острые ощущения с остротой чувств уже не придется, что позволит избежать значительной части типовых ошибок. Точно так же, опыт сожителства (с сексом или без) — хорошая прививка против

вывихов на почве семейных ценностей. При наличии финансов, съездить на пару в пляжные места или к черту на кулички — вполне реально и при буржуинстве; сегодня такие временные союзы не редкость — правда, экспериментаторам лучше все-таки обойтись без коммерческих посредников (брачные агентства, службы знакомств), преследующих отнюдь не благотворительные цели.

В связи с этим вопрос: есть тут что-нибудь про конкретные сроки? Сами же и отвечаем: ровный ноль. В каком возрасте мы занимаемся любовью — никого кроме нас не касается (да и нам, по большому счету, все равно). Мы сами выбираем шкалы; можно всю жизнь с кем-нибудь провести — но лишь в глубокой старости, после тяжких испытаний, пройдя через смерть, осознать, что это была любовь. Другой вариант — постепенно открывать себе духовность бытовых отношений, этап за этапом; так, юношеская влюбленность далеко не сразу созревает до полномасштабной любви — эта полнота иной раз приходит после нескольких кризисов (от мимолетных разочарований до трагического разрыва). Каждой любви — своя история. Где-то полезны формальные границы (брак, рождение ребенка, совместные победы, болезнь); кому-то придет на выручку другая любовь.

Разумеется, мы говорим о любви — а не о половой любви *par excellence*. Тут бесконечность возможностей. Например, первая любовь сгущается вовсе не по поводу секса — а возникает как осознание жизненного призвания: делать необыкновенную музыку, обеспечить человечество неисчерпаемыми источниками энергии (и средствами ее утилизации), вырастить на Марсе розы и яблони. И лишь спустя много лет выясняется, что кое-кто умеет переживать нашу музыку как никто другой, — или знает, как превращать энергию в полет духа, — или только вместе с ним надо любоваться марсианскими цветами. История любви не обязана блюсти границы биографии; она иногда начинается до рождения тела — и продолжается после его распада. Об этом разговор впереди — а перейдем мы к нему через привычное и обыденное.

Начало любви в народе чаще всего соотносят с *влюбленностью*. Никто толком не знает, что это такое, — но странности в поведении подмечают и быстренько подводят под шаблон. Дескать одних мы склонны считать более привлекательными, другим — ранг пониже (от миловидности до пикантности на любителя). Если все быстренько склеивается — говорят о любви «с первого взгляда». Если не сразу — рассуждают о связи любви и знания...

Понятно, что каждому нравится свое. Обычно человек способен сразу сказать, что ему нравится, а что нет. Понять, почему понравилось (или не понравилось) — намного проблематичнее. Правда, по жизни это почти никогда не требуется — и можно выехать на чувственной, эмоциональной интуиции. Если же человека малость поднатаскать — он умеет анализировать свои чувства, навешивать на них предусмотренные в культуре ярлыки, — и выдает интересующимся подробный отчет. Конечно, такие *мотивировки* редко угадывают *мотив* деятельности — иногда они нужны как раз для того, чтобы его скрыть (от других или от себя). Тем не менее, сама возможность подобных самоотчетов кое о чем говорит. Например, о том, что любимый образ вовсе не обязательно дан сразу и целиком — и может вырисовываться постепенно, одна деталька к другой, задолго до момента истины. См. выше о вызревании личности и первой любви.

О причинах любви написаны тонны книг — и уже у Аристотеля (больше двух тысяч лет назад) мы находим длинный отчет о прежних придумках, с подробным критическим разбором, из которого вытекает парадоксальный результат: все по-своему правы, и нет никаких весомых оснований предпочесть одну теорию другой, кроме авторских симпатий (которые тоже надо как-то объяснять).

Эмпирионатурализм, по большей части, склонен все в человеке сводить к познанию: дескать, больше людям заняться нечем — только смотреть по сторонам и прикидывать, как приспособить увиденное к какому-нибудь производству. Иногда получается довольно гладко — так и хочется возопить: *эврика!* Вот, например: первичную эмоциональную реакцию (нравится — не нравится) увязывают с узнаванием: если мы можем представить себе, как впишется нечто в нашу практику, как будет отвечать на типовые воздействия, — это, якобы, залог положительного отношения. Конечно, человек не всегда может с ходу сообразить, куда прикрутить предположительно полезную штуковину. Тогда, вместо определенного суждения возникает так называемая ориентировочная реакция: «что-то в этом есть» — или «что-то здесь не так»; запускается цепочка исследовательских действий, подводящих к окончательному решению. Чем шире опыт деятельности и общения — тем вероятнее, что эта техническая часть уже пройдена, свернута в скрытое движение мысли (интуицию), как бы непосредственно (чувственно) выдающее результат — отношение к миру (или другому человеку). Над этим надстраиваются новые когнитивные этажи (уровень понимания).

Откуда берутся внутренние эталоны (возможные влечения)? Разумеется, не из абстрактного идеалостроительства, как склонна порой полагать романтически (то есть, буржуазно) воспитанная молодежь от 13 до 18. Строгая наука опирается на учение о рефлексах! Дескать, познание не просто впечатывает образ во внутренности — оно еще и раскладывает его на составляющие (иногда одновременно разными способами). Это называется: *анализ*. Дальше все просто. Допустим, что в какой-то момент внимание человека обращено на одну из деталей — и (по счастливой случайности) человек при этом хорошо себя чувствовал (чего мы, конечно же, желаем всем желающим). Возникает первичная (ориентировочная) ассоциация — которая быстро закрепляется при повторении опыта. Прodelываем то же самое с другими деталями — и получаем (очень индивидуальную) иерархию критериев оценки, шкалу, которую легко перетащить на уровень личности: отношение к другому человеку зависит от его соответствия ранее выработанным навыкам. Мы накладываем на живую личность готовый шаблон — и тут же получаем чувственный плюс или минус. Ясно, что сходные оценки получаются для очень разных партнеров — поскольку все они в итоге сводятся к полюсам: *то* и *не то*. На выручку приходит иерархичность шкалы: проверяем соответствие для нижних уровней — и в конце концов находим идеальное совпадение по всем параметрам: вот она, любовь!

Звучит убедительно — и многочисленные подтверждения тут как тут. Натурализм всегда дружил с эмпирией. Даже осторожные в делах любви дамы, склонные без конца колебаться между «нет» и «да», запросто вписываются в общность подхода, если учесть возможность обращения иерархий. Более того, продвинутый вариант того же подхода объясняет еще и парадокс Аристотеля. Достаточно заметить, что любовь всегда соединяет *разных* людей — но не очень разных. *Влечение* — это не мера сходства (или различия), а мера рассогласования с ожидаемым. Грубо говоря, мы проецируем себя (выстроенную внутри шкалу) на все окружающее как абстрактный идеал: если все сходится — скука, безразличие; если различия заходят слишком далеко — отторжение, агрессия, отказ иметь с этим дело (то есть, по сути, то же безразличие). Но в некотором среднем интервале, при оптимальном соотношении сходства и различия, возникает положительное отношение: интересно — но не напрягает. В буржуазной психологии это называют когнитивным диссонансом — и широко используют в теории принятия рыночных решений.

Популярный вариант того же самого: наблюдая многих женщин и их поведение с самого раннего возраста, читая о женщинах в книгах, юноша (про девушек то же самое, только слова заменить) вырабатывает положительное отношение к некоторым, лично для него значимым чертам (исторический материализм добавил бы: выбирать приходится из уже сложившихся культурных образований, характерных для данной эпохи и конкретной исторической общности); весьма расплывчатый и противоречивый образ возлюбленной становится частью личности юноши. Если ему встречается девушка, наделенная какими-то из этих черт (но не всеми), возникает интерес, субъективно переживаемый как влечение. Потом — дело техники: завертится совместная деятельность, влечение перерастет в экономическое и духовное единство — и обретет одну из возможных в данной культуре внешних форм. Например, буржуазная семья — или (не менее буржуазный) внебрачный секс.

Что здесь не так? Сведение духовной связи к природному закону. Предельный переход — «формула любви». Для гипертрофированной когнитивности — это железная логика: познание сопоставляет объект и продукт — выбрасывая за борт субъекта (которого потом приходится протаскивать через задний проход, как предположения о строении шкал). Разрекламированная буржуазными идеологами «объективность» науки — на деле оказывается дичайшим произволом, и только обращение к (ненаучной) практике спасает положение, вытаскивает драгоценные жемчужины из дерьма.

Но любовь — связь полноценных субъектов деятельности, каждый из которых (по определению) универсален. Поэтому, с одной стороны, любовь субъективна — и не подчиняется никаким законам (включая и этот); с другой стороны, воплощениями любви становятся не формы деятельности как таковые — а способы деятельности, формы рефлексии, причем ни одна из них не является предпочтительной (хотя в каждой конкретной деятельности предпочтения заведомо есть). Одним словом: любовь свободна. Она вполне может воспользоваться какими-то из найденных в теории когнитивного диссонанса схем — но тут же откажется от них при переходе к другим уровням общения (нежность, страсть, мечта, забота, радость совместного труда). Потом снова играет в науку — и вдруг расплывается в философских обобщениях. То есть, любые теории хороши там, где они уместны. Например, в теории музыки мы используем принцип когнитивного диссонанса для построения мощной математической модели звуковысотности — что позволило

единообразно объяснить историю развития музыкальных шкал (ладов, попевок, звукорядов, модальных систем и т. д.).⁴⁸ Однако обнаруженные в других искусствах (включая другие стороны музыки) поразительные совпадения с этими результатами — остаются лишь далеко идущими метафорами, придать которым смысл невозможно без указания опорной деятельности, в рамках которой явления оказываются качественно и количественно сопоставимыми; на этот счет имеются перспективные соображения — но до осознания внутренней логики предмета еще далеко, и какие угодно эмпирические подтверждения не могут никого убедить.

Точно так же и в любви: можете вы указать, какое именно воплощение имеется в виду? — карты в руки, стройте шкалы, ищите духовный резонанс. Нет этого — остаются лишь спекуляции на тему, которые тоже для чего-то полезны — но не стоит относиться к ним уж очень всерьез.

Чтобы поставить на ноги когнитивную теорию (и любую другую), следует, во-первых, отнести ее к определенному способу производства (в рамках которого только и возможно рассказывать любовь как историю) — а во-вторых, надо показать как на этом материальном основании зарождаются личности и становятся возможны отношения между личностями. В другую эпоху (или на другой планете) все сложится иначе — хотя какие-то похожести не исключены, в силу единства разума в едином и единственном мире.

Строить науку любви будущего нам пока рановато: мы живем при капитализме, в эпоху всеобщего разделения труда, — и потому исходить можем только из классово разделенного субъекта. Универсальность рыночных механизмов ведет в этих условиях к неустойчивости любых общностей — так что рассматривать любовь коллективного субъекта возможно лишь с очень острыми оглядками, больше как прототип, чем реальное движение культуры. Следовательно, возвращаемся к традиционно-обывательской схеме: есть я, есть ты — и между нами что-то происходит. Но мы не будем, подобно буржуазным теоретикам, возводить эту эмпирию в закон природы (то есть, нечто от человека не зависящее); давайте сразу ориентироваться на уровень духа и трактовать

⁴⁸ L. Avdeev and P. Ivanov, “A Mathematical Model of Scale Perception”, *Journal of Moscow Physical Society*, 3, 331–353 (1993); есть популярное изложение по-русски: Л. Авдеев Ю. Варивода, В. Дубовик, П. Иванов, *Рождение звукоряда*. — СПб, 2006.

любовь как отношение личностей. Это значит, что от органических тел, с которыми классовое общество связывает всякую индивидуальность, мы переходим к рассмотрению относительно устойчивых (общественно обусловленных) отношений между телами — среди которых органика может и не присутствовать. Другими словами, личность не то, из чего что-то сделано, — это то, в чем оно участвует. А участвовать можно как непосредственно (на уровне движения материальных тел) — так и очень опосредованно, в качестве условия для производства условий для возможного приведения чего-то в движение. Например, такая отрасль общественного производства как рождение особой вида *homo sapiens* (которых мы традиционно используем в качестве регулятора прочих производств) долгое время опиралась на примитивную биотехнологию (половой акт); однако сфера половых отношений этим отнюдь не ограничивается, поскольку обществу секс важен не сам по себе, а в связи с контекстом общения, как явление культуры — духовный акт, поступок. При этом оказывается, что репродуктивная деятельность как таковая для личности, в общем-то, и не важна: главное — как человек это себе представляет, как переживает, что думает по этому поводу... Например, можно воображать себе секс с любимой девушкой (или не девушкой) без малейших посягательств на чью-либо невинность (или приобщение к опыту). В личностном плане это будет столь же реально, как и вполне конкретная постель (или иные аксессуары современного секса). Более того, воздействие таких (виртуальных) контактов на личность часто намного значительнее, чем вибрации с места в карьер; именно это предвкушение чего-то (не обязательно в подробностях) люди обычно имеют в виду, говоря о первой любви (и последующих), — и там, где фантазировать уже не о чем, место любви занимает супружеский долг или холодный цинизм (по сравнению с которыми либертинаж маркиза де Сада — верх духовности). Вот мы и пришли к идее когнитивного диссонанса, и далее все по полочкам.

Но что мешает взять вместо грубо биологического почкования любую другую разновидность труда? В конце концов, даже закручивать гайки на конвейере или подметать улицы можно очень по-разному: либо это сугубо материальный процесс (подчиненный диктату общественной природы) — либо выражение движений духа. Еще шире перспектива универсальности одухотворенного труда в духовном производстве (рефлексии): изначально опосредованный характер личностных связей в искусстве, в науке или в философии — прекрасный повод для постройки

индивидуальной шкалы, — и не принципиально, как такую любовь будут называть.

Издержки неумеренного когнитивизма в такой постановке вопроса особенно заметны. Например, гениальный физик (вроде Ландау) легко переходит от одной задачи к другой, сразу же предлагает что-нибудь замечательное, — но ему не интересно продолжать, когда общая идея уже ясна: пусть в деталях ковыряются коллеги рангом ниже. Если же деятельность разворачивается не в одной, а в нескольких независимых шкалах — можно всю (биологическую) жизнь заниматься чем-то одним, без малейшего желания переметнуться куда-то еще.

Но вернемся к производству личностей. Как только (в классовой культуре) эту работу ограничили парной любовью — само различие «я» и «ты» задает некоторую шкалу, связанную с переходом от одного к другому и обратно. Переходить можно разными путями — которые уже существуют как культурные явления (как действительность или только возможность). В зависимости от длины пути и интенсивности общения (скорости движения) — возникает шкала времен (что субъективно переживается как интенсивность чувства). Опосредованность общения ничего не меняет по существу — однако любимый человек может быть достаточно далек, чтобы не заметить его в переплетении самых разных влияний, ограничиться вещами или действиями: мы любим конкретно *кого-то* — но не догадываемся об этом, полагая, что нам нравится просто идти своим путем, — и культурные влияния воспринимаются как «природа» (хотя бы и с эпитетом «вторая»), а не след любви. Мы можем сталкиваться по жизни — но не узнавать любимых вне контекста связывающей нас деятельности (хотя со стороны иногда видно: они созданы друг для друга). Но если вдруг придется вместе заняться тем, через что мы существуем друг для друга, любовь вспыхивает во всю ширь, забирает личности целиком, сплавляет их в одну. Конфайнмент, как в физике высоких энергий: влюбленные неразделимы — их нет поодиночке, как не бывает изолированных кварков. Есть любовь — которая делает два тела одним. Легко видеть, что никакие шкалы в этой целостности неуместны: любовь не нуждается в привлекательности — и не может быть влечения к тому, что уже здесь.

Для буржуазного сознания — это катастрофа. Денежки уже не врозь. Нас пугают тем, что

... сама природа любви исключает возможность *полной свободы*, полной независимости любящих. Влюбляясь, человек теряет часть своей

свободы и одновременно (при взаимной любви) берет на себя часть свободы любимого человека. Тем более, если за этим следует брак.⁴⁹

Здесь каждое слово кричит: *я буржуй!* Для классового человека, свобода есть синоним (экономической) независимости, возможности торговать собой; для разумного человека, свобода — полное слияние, когда уже ничто не может отгородить от меня любовь. Мы свободны любить — а не торговать. Никакой обмен такой, нерыночной свободой просто невозможен: слияние разных личностей не просто удваивает личность каждого — оно делает ее бесконечной, когда никакие количества не в счет — и торг неуместен. Горькой иронией в этой цитатке выглядит произвольное признание: брак — инструмент умерщвления свободы; при том, что все и затеяно ради пропаганды буржуазного брака, и апологетика семейной жизни, в частности, заманивает в нее ротозеев сказками про брак по любви...

Еще раз напомним: любовь как единство любящих — только в контексте капитализма, когда эти двое изначально разделены способом производства. Однако даже здесь, как мы видим, основой любви может стать все что угодно — и вовсе не обязательно половые сношения. Обществу выгодно ограничить любовь половой сферой — в этом (очень узком) смысле любовь поддается общественному регулированию, и легко прикрутить фитиль: пусть чадит потихоньку, не перерастая во взрыв, от которого капитализм может разнести в клочья.

Но и в половой любви дух не уместается в клетку цивилизации. Обычное заключение эмпирионатуралиста: раз половые органы природа создает для размножения — половая любовь так или иначе завязана на детей. На то она и половая. Можно признать право на какой угодно секс, рекламировать контрацептивы и узаконить аборты, — но «высшим смыслом» всего остается деторождение, и удовольствие от секса так или иначе предполагает (хотя бы очень абстрактную) фертильность. То есть, нерепродуктивные половые сношения (в том числе с самим собой) — лишь способ регулирования численности населения, ограничение плоти, но вовсе не переход в другое качество.

С точки зрения разума — всю эту премудрость можно послать куда подальше (но не рекомендуется спускать в канализацию — чтобы не застряло). Только, вот, откуда бы взялся разум, если бы не мог он поначалу поселяться в очень неудобных местах — в том числе, и в

⁴⁹ А. Тарасов, *Закон и долг*. — М., 1981.

бреднях эмпирионатурализма? Предрассудки не только тупость — они еще и собственная смерть: в них неизбежно просвечивают идеи, время которых придет много позже, — и для которых человечество пока не придумало более вразумительных форм.

Давайте для начала усмотрим разумное содержание во всеобщем помешательстве на деторождении — и вытекающих из него диких представлениях о родительской и детской любви.

Итак: одна личность + другая личность = любовь. Никакого зверства! — речь только о слиянии двух черных дыр, в результате которого вселенную реально колбасит в полном объеме... В том смысле, что возникающий в (парной: допустим, половой) любви единый субъект бесконечно мощнее прежних двух, и уже готов перевернуть мир вверх ногами. Но может он это сделать сам по себе, одной лишь любовью? Никогда. С материей надо материально. То есть, пора воплощаться — строить себе плоть. Тут начинаются варианты... Дух бессмертен — плоть слаба. Надо обживать что дают. А что прежде всего под рукой? Правильно, уже готовые (органические и прочие) тела влюбленных. Отсюда идея тождества в любви: твой дух — мой дух; твоя плоть — моя плоть. Но для начала и это неплохо: каждый из любящих чувствует себя другим человеком — а в некоторых случаях это удается общественно предъявить путем регистрации юридического лица, которое в равной мере представлено каждым из партнеров. Например, вступление в брак. Но есть и другие культурные формы (вроде жизни на два дома, сезонных воссоединений — или неоформленного сожительства). Это первый, синкретический предрассудок — и за ним, оказывается, не только дикость, но и не очень мрачные перспективы: бесклассовое общество наверняка предложит многочисленные способы свободно становиться друг другом — и действовать как одно.

Синкретизм, как известно, у человека долго не засиживается: на аналитическом уровне тождество выглядит переплетением частных случаев. Простейший вариант: давайте построим для новой личности новую плоть (и может быть даже не одну). В проекции на половую любовь — кандидатом напрашивается производство детей. Но вовсе не зверушек, а полноценных личностей — еще до физиологического рождения! Именно в этом смысле (а вовсе не рекомбинацией генов) личности родителей воспроизводят себя в личности ребенка (начиная с проектной стадии).

Во избежание недоразумений, сразу же оговоримся, что такая реализация далеко не единственна — и вовсе не обязательна. Так,

творческий союз ярких индивидуальностей иногда порождает явления, полностью подпадающие под аналитическую идею — но без малейшего намека на физиологию. Например, Козьма Прутков и Николая Бурбаки для нас очень даже конкретные личности: они существуют сами по себе, как культурное явление, — и нам дела нет до биографических деталей. Точно так же, половая любовь может стать легендой — и частью личности тысяч людей (подобно любви Элоизы и Абеляра). Сколь угодно распределенные воплощения допустимы наряду с виртуальными деятелями промышленности, науки или искусства. Литературные герои (включая лирического героя в поэзии) — никогда не были живыми телами, но они совершенно реальны для нас, иногда намного реальнее исторических лиц (многие ли знают о жизни настоящей Клеопатры?). Сложнее в науке или философии — но и там личностная окраска играет немаловажную роль. Тем более раздвинутся горизонты в бесклассовом обществе, где само различие виртуальности и реальности станет условным, и на деле осуществится знаменитый гегелевский девиз.

Но остановимся пока на том, что у всех на виду и на слуху. Семьи пока — культурный факт, и рождение детей по старинке еще долго останется актуальным (по крайней мере, в недоразвитых странах). Тем не менее, над экономикой производства органики вырастает огромный пласт духовного производства, перевоплощения родителей в личность ребенка. Когда ребенок — плод любви, это овнешнение любви позволяет высвободить личности любящих из конкретной взаимосвязи — и можно открывать друг друга заново, возрождаться в новой любви, не похожей на прежнюю. Мегатонны эмпирических подтверждений не добавят к общеизвестному ни крупицы.

Итак, на аналитической стадии любви она воплощается (помимо всех прочих возможностей) в личности ребенка. Поначалу это лишь допущение возможности — потом сознательное стремление увидеть свою любовь как бы со стороны, поставить ее перед собой как факт. Но пока духовное движение не получило обособленной материальной оболочки, оно все равно будет выражено в деятельности родителей — которая, тем не менее, уже отличается от прежней, синкретической любви. Чем? Общением с будущим отпрыском! Для родителей — это уже реальность: они представляют себе, кем окажется их ребенок, — и подстраивают свое поведение под этот (пока идеальный) образ; при этом нередко меняется и способ участия в материальном производстве — например, при попытках обеспечить человеческие условия для жизни и

развития будущего ребенка. Через общение предполагаемых родителей с остальным человечеством личность еще не родившегося (и даже не зачатого) ребенка становится полноправным человеком среди людей. Может случиться, что детей так и не будет: разные бывают повороты в истории. Но как культурное явление ребенок уже состоялся — и его личность ничуть не легчевеснее любой другой.

Формальное рождение ребенка связывает личность с физическим (например, биологическим) телом — и материя начинает влиять на дух. Разумеется, дело вовсе не в природных корнях: личность по-прежнему остается сугубо духовным движением. Но ребенок как объект (часть природы) включен в иерархию самых разных деятельностей, он опосредует взаимоотношения не только родителей, но и тысяч других людей; исходное ядро личности (проекция любви) разрастается сразу во многих направлениях — и в какой-то момент происходит обращение иерархии, когда на верхний уровень выходят общественные связи, при сохранении прежних черт в качестве своего рода фундамента. Еще раз: тело влияет на дух — но это именно влияние, которое, собственно, и возможно лишь когда дух уже есть. Это выворачивает наизнанку метод эмпирионатурализма — и обнаруживает разумное зерно в буржуазной неразумности.

Нетрудно догадаться, что одна и та же виртуальная личность может быть представлена в самых различных телах. Ребенка не обязательно рожать — его можно усыновить (удочерить — или еще что-нибудь, если традиционное различие полов уже не работает), в любом возрасте — включая введение в «семью» уже взрослых членов. С точки зрения духа, это ничего не меняет (кроме, быть может, перехода к другим шкалам, где не существенны тонкие взаимодействия, возникающие как духовная сторона вынашивания и созревания, постепенность обособления). Точно так же, если влюбленные вместе написали гениальный роман (или философский трактат) — он запросто может стать их детищем, явлением культуры, в котором имеется материальная сторона, вполне подобная телу физиологического ребенка.

Мы сразу же замечаем, что известные по жизни случаи укрепления семьи после рождения ребенка (на чем всюю спекулирует буржуазная пропаганда семьи) совершенно аналогичны вышеописанному переходу любви в новое качество — и можно логически заключить, что какие-то зачатки любви были и до этой материализации, что союз был не только навязан извне, но и выражал внутреннюю необходимость, незаметную

за очень опосредованными взаимосвязями. Обратно, если рождение ребенка становится трагедией и ведет к распаду общности, — значит, любви и не было, и не хватило разумности, чтобы не ввязываться в неуместные производственные отношения.

В любой истории этапы синкретизма и аналитичности снимаются на новом, синтетическом уровне. Когда любовь дана любящим внешним образом, как общественный продукт, она не исчезает в каждом из них, но выглядит иначе: не отношение друг к другу, а отношение к целому, представленному плодами любви (материальными и духовными). Влюбленные по-новому соединяются в этой целостности: каждый из них теперь не только тождествен другому — но и отождествляет себя с новой личностью, превращается в любимого человека через нее. Но это значит, что отношения родителей к ребенку — тоже любовь, хотя иного рода, как снятие прежней (в частности, половой) любви. Обратно, пока дети (на каком-то уровне их личности) духовно едины с родителями — они их любят, и это отличается от любви изначально разных личностей. Наконец, когда ребенок не один — любовь родителей распределена по нескольким личностям — которые тем самым также оказываются духовно едины — и по-своему любят друг друга. Так мы вытаскиваем на свет духовную подоплеку традиционных представлений о родительской, сыновней (дочерней) и братской (сестринской) любви. Поскольку все это не имеет прямого отношения к экономике и правовому оформлению, нет нужды ограничиваться рамками семьи — и возникает невообразимое разнообразие вариантов, равно допустимых в мире свободы — но неодинаково представленных в различных классовых культурах. Так из любви двоих вырастает развитая иерархия очень непохожих любовей, вплоть до любви к родине — или «космической» любви. В отношении к любящим, это история их любви, которую они рассказывают друг другу и всему человечеству.

Возвращаясь к истоку, вспомним о влечении как взаимодействии идеалов. Происхождении личности из любви означает в этом случае переплетение разных тенденций в становлении идеала: сначала, на синкретическом уровне, это, главным образом, проекция личностей родителей; на аналитической стадии добавляется отражение типичных для данной эпохи культурных форм. Первый механизм отвечает за фамильное сходство характеров: яблоко от яблони недалеко падает. Идеальный образ любимого человека во многом повторяет родителей, делает привлекательным все, что на них похоже. Даже если отношения

между родителями и детьми далеки от теплоты — судьбы все равно повторяются. Напротив, социальное формирование предпочтений — отражение образа жизни, и характер совместной деятельности родителей и детей будет определяющим. Так, дружная семья подчеркивает сходство идеала с родителями — а семейные неурядицы выдвигают на первый план различия, поиск своего пути; впрочем, противоположности сходятся: стремление все делать «не так» копирует личности родителей отрицательным образом, как зеркальное отражение, — в котором их легко угадать. Можно также предсказать, что личностное наследование делает более важной внешнюю привлекательность (по телесному сходству или способам деятельности), тогда как социализация выводит на передний план отношения людей к чему-то третьему, родство культурных позиций, экономических ролей. Тем не менее, все это уровни одной иерархии — они всегда вместе, одно переходит в другое; личностное наследование — разновидность социализации, лишь в классовом обществе выделенная в особую ветвь за счет (вынужденно) более тесного общения с родителями на ранних этапах личностного развития; с другой стороны, образ жизни в семье во многом зависит от личностей родителей, от их индивидуальной истории, и даже от их телесной организации. Допустим, если кого-то привлекают женщины определенного типа, это может быть связано как с подражанием отцу (сходство с матерью), так и с веяниями моды, — или с тем, как прежние моды представлены в родителях. В бесклассовом обществе само понятие родителей (и родительской личности) теряет смысл — там все люди изначально равноправны, и материализация любви (пусть даже парной) не связана с производством биологических тел (которое становится чисто общественным, индустриальным).

От рождения любви наша история плавно перетекает к ее «земному» (документированному, запечатленному в заметных и не очень заметных следах) существованию, становится жизнеописанием. Как только мы впечатали себя в конкретные тела (органические и неорганические), движение этих тел по природным или социальным законам проходит ряд фаз и этапов, но в конце концов дух перерастает любую телесную оболочку и покидает ее. Этот момент не всегда совпадает с умиранием тел как таковых: иногда любовь оставляет людей (но не их личности!) задолго до биологической смерти или распада семьи (формальной общности); бывает и наоборот: тела уходят — а для людей любовь все еще жива, и связана с былым воплощением.

Первый вариант — причина большинства семейных конфликтов. Духовной общности нет — и людям приходится жить друг с другом вследствие внешней необходимости (чаще всего экономической). Эта необходимость держит их железной рукой (одному хуже, чем вдвоем); но с изменением экономических условий (индивидуально или при общем повышении жизненного уровня) партнеры перестают зависеть друг от друга, и единственным основанием для совместной жизни (если в ней есть хоть какая-то потребность) может служить лишь *духовное* родство. Если семья складывается полностью формально, без любви, ее существование целиком зависит от конъюнктуры (при капитализме — главным образом рыночной), и распад практически неизбежен — но форма его зависит от правовых и моральных норм конкретной культуры. Например, во второй половине XX века отмечен резкий рост количества разводов супругов «со стажем» (в странах, где развод относительно доступен); с другой стороны, склонны быстро распадаться «детские» браки, когда проходит первое (наркотическое) увлечение отношениями с противоположным полом.

Было бы странно, если бы любовь не меняла своих форм при длительном совместном бытии. В конце концов, любовь и есть механизм духовного развития — так что любой застой означает отсутствие любви. Разумеется, длительность — понятие растяжимое (и сжимаемое). Свободная любовь вообще не заботится о сроках — она вечна, времени для нее нет. Историческое время материализованной любви связано со способом материализации: считают не по годам, а по значительным событиям, этапам. Такими этапами становится все что угодно: встречи и расставания, интимная жизнь и письма, вступление в брак и рождение детей, а потом и даты их биографии... Каждый раз отношения любящих по-новому расставляют приоритеты — не отказываясь от прошлого. Здесь буржуазная «наука», сама себя загнавшая в эмпирический тупик, усматривает неизбежность угасания любви — и требует продолжать начатое из каких-то иных соображений (хозяйственная деятельность, включая производство и содержание детей). Для эмпирионатуралиста любовь сводится к половой любви, а регулярно заниматься сексом без усталости на протяжении десятков лет — нечто физиологически (или психологически) немислимое. Двойная глупость: во-первых, любовь никогда ничем не ограничивается, и даже в половой любви собственно пол играет далеко не первую скрипку; во-вторых, кто сказал, что всякое дело надо затягивать до бесконечности? — зачем оставаться вместе, если

разумнее порознь? В качестве синтеза: быть вместе можно через любые расстояния и времена — а открыть новые грани давно знакомого удобнее при взгляде со стороны.

Половая несовместимость (или пресыщение) — не от любви, а от недоразвитости. Если двое не могут друг без друга — как могут на это повлиять продолжительность связи или интенсивность ощущений? В любви сексом занимаются не потому, что хочется, а по любви — то есть, при возможности духовного роста в ходе совместного использования тел. Но у влюбленных — миллионы способов чувствовать себя друг другом, и если что-то уже не интересно — найти другой интерес не составляет труда. Секс прекрасно работает в каких-то условиях; потом он может уступить место другому — и снова вернуться, в обновленных формах (например, как утонченная эротика). Говорить о конце любви когда скучны (или неприятны) тела — обычай духовно ущербных; значит, любви и не было — ее не удалось вырастить из экономических предпосылок, и совместность так и осталась производственным, а не личным отношением. А где нет любви — нет и свободы. Парадокс: полюбовно разойтись — одно из проявлений любви; оставаться вдвоем несмотря ни на что — признак бездуховности. Разумеется, лишь в классовом обществе возможны подобные парадоксы.

Объективный процесс либерализации морали (и права) в сфере половой любви — всего лишь выражение независимости духа от телесных форм. Мы больше не связываем любовь с сексом (и тем более с деторождением), а жить вдвоем вполне возможно вне зависимости от половых связей и духовных наклонностей. Это разные стороны бытия, разные экономические и культурные явления. В итоге семья как таковая обществу будет вовсе ни к чему — хотя, вероятно, ее полное отмирание возможно лишь при ликвидации отношений собственности (и обмена). У диких народов муж, насилующий молодую жену в брачную ночь, ведет себя по-хамски, поскольку он чувствует себя хозяином — собственником, владельцем чужого тела. Этому идиоту и в голову не приходит, что даже собственностью надо распоряжаться с умом, и учитывать духовность (якобы) рабыни — в его же интересах. В современных цивилизованных сообществах, регистрация брака — чистая формальность, сделка, не имеющая отношения ни к праву на общую постель, ни (тем более) к половой любви. Когда выгодно — можно создать семью; как это будет сочетаться с прочими союзами — дело десятое. Распространение практики добрачного и внебрачного

секса — не просто распущенность; там, где связь свободна от экономического давления, — это воспитание умения по-человечески общаться, школа любви.

Живое имеет свойство умирать. В конце истории надо ставить точку. Кто не умеет — плохой рассказчик. Сила историй именно в завершенности, в логической замкнутости, целостности — тогда это выражение единства личностей в любви, и единства мира в целом. Страх смерти — от невозможности завершить. В неразумном мире конец чаще всего наступает не там, где он выразительно уместен, — а по прихоти случая, вынужденно, по небрежности или небрежению. Даже если все завершено гораздо раньше — приходится ждать, доживать, заполнять собой пустоту. Когда люди будут свободны как выбрать очередное воплощение, так и отказаться о него, — конец истории не трагедия, это лишь повод пересказать любовь по-новому, во всей полноте.

Простой пример: двое любят друг друга, соединяются в любви, они счастливы, — но решают расстаться, — не случайно, не под давлением обстоятельств, а потому что иначе они не были бы собой. Возможно, они больше никогда не встретятся — история их любви завершена; значит ли это, что любовь умерла? Ничуть. В каждом из них любовь остается, она навсегда впечатана в их судьбы и продолжает звать их к свету. Умрет одно из тел — любовь остается в другом. Умрут оба — любовь остается во всем, что они успели совершить, — и в том, что совершат другие, позванные той же звездой. Незаметно, не на виду; но, ведь, любви и не нужно кричать о себе на каждом углу — она меняет мир самым фактом своего существования.

Но и в неразумном, классовом мире, когда человек не может в полной мере быть творцом своей судьбы, дух переживает тела, и любовь остается навсегда. Если двое были одним — трагическая гибель одного из тел ничего не изменит: влюбленные по-прежнему вместе. Это не просто память, не прошлое издали: каждый и раньше действовал в мире от имени целого — а теперь остающиеся осуществляют уходящих. Действие одного — есть непосредственно и действие другого; для внешнего мира это было так — и будет так. Субъективно это переживается как постоянное общение с любимым человеком, его (не только духовная) поддержка, согласие, бытовые подсказки, — или даже возможность предоставить ему свое тело, и пусть оно движется его волей! Очень может быть, что всякое вдохновение есть след чьей-то любви — освобожденной от смертных имен.

Наши примеры вращались, в основном, вокруг половой любви — это в качестве протеста против ходячей нелепости. Все то же, без исключения, относится и к любой другой любви, как бы ее ни называли. Например, к дружбе (безотносительно к полу). Здесь точно так же необходимо поэтапное созревание личности, индивидуальная цепочка прозрений; и точно так же в дружбе происходит рождение нового субъекта, которому предстоит подобрать подходящее воплощение (и не одно). Как правило, это уже не биологическое тело, а совокупность человеческих отношений, культурное явление. Например, половую любовь можно материализовать в дружбе — и наоборот, дружбу выразить в половой любви. Сочетание разных типов любви становится очевидной необходимостью.

До их пор мы говорили, главным образом, о счастливой любви. Но нельзя не упомянуть и ее противоположность, антилюбовь, искаженные отражения. Просто потому, что классовое общество разделено на противоположности, и в любой из культурных форм может явиться как любовь, так и ненависть. Антилюбовь не уничтожает любви — это ее тень, ее особое, отрицательное воплощение. Любое извращение — как минимум, предполагает то, что оно извращает, и тем самым все-таки утверждает его. По отражению в кривом зеркале бывает очень трудно догадаться об истинном облике отражаемого — но мы хотя бы знаем, что оно есть, и это уже немалая поддержка для прошлых, нынешних и будущих влюбленных. Более того, поскольку антилюбовь столь же универсальна, ее различные проявления позволяют осознать, чего в этом не хватает, — и нацелить деятельность на производство любви.

Одно из замечательных следствий взаимной дополнительности — неизменное стремление к свободе. Когда человеку не дают любить, он будет ненавидеть — но свободно, а не по указке свыше. В этом его отличие от вооруженных рабов, готовых раздавить любые проблески разума по команде тирана (господствующего класса). Какой угодно извращенец — но не раб. Этим извращения страшны капитализму; именно поэтому он с ними все-таки борется, пытается поставить под контроль. В гнилом болоте недолго и сгнуться — однако и там есть плотные островки, против которых и воюет мировое начальство. Неистребимость любви позволяет надеяться, что человечество обретет-таки твердость духа и вычистит человеческие отношения от остатков ненависти. И тогда мы сможем не отделяться друг от друга, а быть все вместе одним целым — просто любить. Но это уже другая история...

Личность

Мы говорим о любви как истории духа, его становлении тем, чем и должен быть субъект деятельности — универсальным опосредованием, способом пересоздания и восстановления единства мира. Но развитие возможно лишь там, где один дух соединяется с другим — и для каждого из них другой есть его инобытие, а значит, и стать инобытием другого. Это не просто внешнее сопоставление — это тождество любящих друг другу и миру в целом. Они видят себя друг в друге — и через любовь открывают для себя мир. В качестве такого всеобщего «зеркала» — единичный дух есть личность. Собственно *человеческая* история не может быть историей масс — это история личностей. А значит, история любви.

Пусть возмущаются правоверные марксисты — кричат об отходе от классовых лозунгов, об измене материализму! Мы не из тех, кто следует букве писания — мы продолжаем дух. По этой части Маркс успел-таки сказать много — но, к сожалению, лишь в рукописях, в черновиках; публика знает другого Маркса, то и дело впадающего (популярности ради?) в буржуазную фразеологию — догматика и педанта, всего лишь экономиста (хотя и не самого вульгарного)... Там, где встал вопрос о развитии марксистской философии духа — ухватиться практически не за что, а недоделанное всяк волен причислять под себя.

Об этом мы еще выскажемся. Но прежде всего — о классовых корнях официального «исторического материализма». Стремление живописать исторический процесс широкими мазками — от типично буржуазного противопоставления человека обществу, что на деле всегда оказывается подчинением личности коллективу — ее ограничением рамками «общих» интересов. Едва заходит речь о таких «высших» ценностях — подразумевается соответствующая инстанция, носитель объединяющей идеи; легко догадаться, что эти полномочия неизменно узурпирует правящий класс, — и подчинение коллективу перерастает в классовое господство.

Когда коммунисты всех мастей призывают массы взять на себя вершение судеб общества — это означает лишь смену подчиненности: вместо одной власти другая. Лучше или хуже — другой вопрос (и решать надо в историческом контексте); однако остается принцип: человека заранее объявляют (а потом и делают) немощным и ограниченным —

только в массе такие частичные существа становятся силой, способной переломить ход истории. А направлять массу будут те, кто убедительнее подает ей «ее» интересы — и дальше обычная рыночная конкуренция, борьба партий.

Этически, такая позиция обнаруживает надменное презрение к «низам», рассматриваемым лишь как инструмент для достижения узко партийных целей: народу внушают: вы представители класса (а не человечества в целом!) — и этим положено гордиться, и следовать правильным курсом... Типовая психологическая пристройка: скажите человеку, что он хорош как есть; ему будет приятно — «и делай с ним что хошь». Прямо сказать недоразвитым, что они пока дикари, и что им предстоит долго и упорно выдавливать из себя дикость (а мы при этом будем выдавливать из себя, с вашей помощью!), — звучит обидно, так что и по морде схлопотать риск; трезвый политик на такое никак не пойдет.

Тут мы возвращаемся к нашей глобальной теме: стоит приписать человека какому угодно сообществу — и он уже не индивидуальность, а индивид, носитель видовой специфики, — то есть, биологическая, а не общественная единица. Существо одушевленное — но бездуховное. Поскольку же и люди, и сообщества полагаются как эмпирически данные — вот вам эмпирионатурализм без намордника! Презрение «продвинутых» совершенно *естественно*: личность свели к телу, к документу, к набору ролей... — могут такие стать творцами истории? — заведомо нет; и только в массе, как винтики машины, органы классового целого, — они участвуют в смене эпох, представляя некий коллективный разум (то есть, интересы господствующего класса).

Значит ли это, что западным промывщикам мозгов можно хлопать в ладоши и записывать нас в союзники? Отнюдь. Популярная с древних времен сказочка о величии великих — никаким местом не согласуется с нашей идеей творческой свободы. Личность не выпячивает себя, не кричит о себе на каждом углу, — она вообще про себя не задумывается. Личности совершенно безразлично, отвечают ее интересы каким-то другим, и найдутся ли заинтересованные собеседники: свободный человек просто делает то, что считает разумным на данный момент в данных обстоятельствах. Как только заходит речь о раздаче слонов, таланте, авторских правах, рекламе, общественном признании, вечной памяти и прочей коммерции — личность исчезает: под личиной эпатажа или скромности прячется мурло мещанина, собственника, рыночного

агента. Культ исключительности и показной демократизм — одинаково буржуазны: это две стороны одного и того же.

Составлять списки выдающихся — любимое занятие классовых агитаторов. Выходят значительными тиражами серии типа «100 великих художников», «Мастера», «История в лицах» — или обезличенно: «Великие открытия», «Идеи, перевернувшие мир» (но внутри все равно каждая капля под определенной фамилией). Из той же оперы — составление родословных (предполагая права родственников на кусочек исключительности — или хотя бы регулярные отчисления в какой-то валюте). В науке авторство вросло в саму ее форму: теоремы, законы и таксоны называют именами открывателей. Даже тот, кто не видел ни одной картины Ренуара и не читал ни одного стихотворения Гейне, — сзымальства знает, что это гении; отличат на слух Моцарта от Сальери не все и не всегда — но миф о величии первого и бездарности второго прочно вошел в копилку филистерских пошлостей. Для буржуа идея «естественного» превосходства одних над другими — принцип классового мироустройства, и никаких подвижек тут не предполагается.

Наша идея личности — совершенно иного свойства. Отнимите у человека имя и регалии, оставьте его за рамками экономики (творческих школ), затрудните доступ к средствам производства, лишите всякой надежды на общественное признание... Если он при этом не откажется от своих идей и продолжит творить то, что пока возможно, из того, что окажется под рукой, — это личность; если творчество закончится — серая плесень. Не то, чтобы мы призывали реально проделывать такое с каждым посетителем этого мира; речь о том, что чувствуется и без садистических тестов — которыми нас и так в изобилии терзает классовая действительность. Необыкновенность избранных — повод подчеркнуть ущербность всех остальных, кто не удостоен чести и не причащен к лику. Нищета, бесправие, обделенность всем и вся — резко сужают творческие горизонты, и в исключительные почти автоматом попадают те, кто сверху (хотя и не на самом верху). Но это никоим образом не отменяет массового рождения личностей в недрах сколь угодно задавленных слоев! Оставленные такими гениями следы не бросаются в глаза — и все же они куда весомее для истории, нежели яркие примеры хорошо задокументированной одаренности. Более того, осознать великолепие (или убожество) признанных шедевров мы в состоянии лишь благодаря исподволь сложившейся культурной основе, продукту незаметного труда тех, кому по рангу трудиться не положено,

кто призван лишь работать на хозяина, быть орудием и материалом чужого творчества. Их миллионы. Но в русле классовой истории они все равно остаются исключениями на фоне беспросветности рабочего скота. Только крушение цивилизации, уничтожение самой идеи господства и подчинения, высшего и низшего, позволяет стать исключительными всем — и снять, сделать неуместной идею исключительности.

Спрашивается: каким образом может помещенный в нечеловеческие условия человек стать личностью — не оскотиниться, не озвереть? Да точно так же, как и всякий другой: через любовь. Как только является духовное отношение человека к человеку — отношение к деятельности коренным образом меняется: раб становится творцом — и самая грязная работа уже не сама по себе (как уступка внешней силе), а как одно из выражений любви. И наоборот: стоит утратить эту нотку духовности — видеть в другом человеке лишь напарника, партнера, помощника или конкурента, — и любви больше нет. и творчество вырождается в бизнес. Можно сколько угодно воображать себе, будто стараешься ради любимых, — это уже обрывает связь с теми, кем (а не ради кого) надо быть. Известные личности здесь ничем не отличаются от безвестных: искры духовности редко пробиваются сквозь нагромождения пошлой рутины — а перо биографа педантично фиксирует самые убогие моменты, почти не касаясь действительности духа. Потомкам остаются имена — но о людях нет почти ничего; античный раб, крепостной крестьянин или пролетарий — остаются в истории на равных основаниях с художниками, учеными и философами, — и уж точно значительнее вероучителей или царей. Известность мешает — связывает, заставляет отвечать и соответствовать; дальше от глаз — ближе к разуму; в этом корни классово извращенных форм «самосовершенствования» через изоляцию, самоограничение, уход от мира, бесконечность «медитаций» и «практик»; но разум не в разъединении, не в ограниченности — он в единстве, в свободе, в любви. Переставая воспринимать других как людей — мы исчезаем и для них, и для себя.

Один из путей к духовной смерти — возлюбить саму любовь, культивировать ее, превратить в «практику», в символ веры и ритуал. Любят не профессионалы — любят любители. Можно любить музыку — но не быть музыкантом; можно стремиться к знанию, не становясь ученым. Тем более нет мудрости в мудрствовании. Нам внушают, что овладение специальностью предшествует великим свершениям на какой угодно ниве — и классовая педагогика, подводящая всех под стандарт,

становится обратной стороной культа исключительности. Но почему профессиональный ученый заведомо результативнее любителя? — да потому что общество устроено так, чтобы дать преимущества одному и лишить перспектив другого. Мы не про формальные права, а о создании общественных условий, устраняющих конкуренцию, не требующих монетизировать плоды труда ради банального выживания, возможности вырваться из нищеты. Теоретически, маляр или физик может выучиться на программиста — но что толку, если реально приложить себя некуда, а кормить семью приходится «непрофильными» заработками? С другой стороны, корпоративная солидарность (вроде картельного сговора) даже выдающиеся творения ставит вне общества — активно вытесняет из истории (чтобы позже переоткрыть то же самое — «по всем правилам»).

Как только мы ставим себе задачу: стать личностью, — мы теряем способность любить. Личность нельзя воспитать — личностью надо становиться, везде и всегда, во всем, — здесь нет большого и малого. Значит ли это, что надо отказаться от рефлексии — положиться на ход истории? Никоим образом. Скорее, наоборот: следует привлекать все формы и уровни рефлексии, ни в коем случае не ограничиваться чем-то одним, — только такая рефлексия *универсальна*, только так мы делаем отражаемое тождественным отражению, а продукт — воплощением замысла. Напротив, классовый подход к рефлексии — передать все в ведение уполномоченным властями общественным группам, поделить бизнес на сферы влияния, поощрять рыночную конкуренцию (или политическую борьбу). Разумеется, в интересах тех, кто уполномочил. Соответственно, соискатели грантов и привилегий подают себя в самом выгодном свете; например, советские психологи ожесточенно спорят друг с другом по всякому поводу — не забывая подчеркивать:

Знание конкретных путей воспитания и перевоспитания людей — вот что должна дать психология социалистическому обществу.

Образец классового подхода: вместо человеческого интереса и любви — манипуляция, промывание мозгов! В бесклассовом обществе рефлексия (которой вовсе не обязательно принимать форму институированной науки) нужна совершенно иначе: мы стараемся вовремя заметить и предупредить всевозможные зажимы — подсказывать людям, в каком направлении пора менять мир, чтобы освободиться от необходимости выглядеть и соответствовать.

Про психологию мы не случайно: вековая традиция увязывает идею личности с психикой — и наоборот, психическое объявляет личностным.

Позиция не лишена оснований — поскольку в развитой цивилизации одно с другим теснейшим образом переплетено. Но, во-первых, если что-то есть сегодня — это вовсе не значит, что так было всегда и всегда должно быть; во-вторых, личность ассоциируется не только с психикой, и даже не столько с ней, — но другие, куда более весомые связи верхам (по веским причинам) подсвечивать не резон. Ни при советах — ни, тем более, в бодро гниющем буржуинстве. Приятный бонус: передача на откуп психологии как личности, так и любви — уверенно отделяет одно от другого, и позволяет эффективно бороться с тем и с другим. Бить подиночке тех, кто мечтает быть вместе.

Советские, как водится, кивают на Маркса — у которого немало фразочек, допускающих очень вольные толкования. Старшее поколение (рожденные до революции) к 1930-м основательно прошерстило остатки наследия — и выяснилось, что, при всех терминологических ляпах, Маркс вполне годится в качестве солидной основы новой психологии: имеется четкое понимание, что психика складывается на биологическом уровне — но включение организма (вместе с его интеллектуальными и психическими функциями) в контекст человеческой деятельности и человеческого общения существенно изменяет как физиологию, так и психику, направляет развитие тела и души в сторону обеспечения общественных, а не видовых форм движения. Соответственно, наука о психике (психология) занимается предметом на двух уровнях: с одной стороны, предстоит изучить матчасть — историю животной психики; однако главное для нас — выяснить, как на эту материальную основу накладываются общественные влияния, что меняется у человека по сравнению с животными — и как развитие сознания, самосознания и разума преодолевает животность. То есть, если психология животных исходит, главным образом, из относительной замкнутости вида, его противостояния среде, — психология человека начинает с деятельности как *универсального* опосредования, пересоздания мира, соединения всего со всем, выхода за любые границы. Можно такое заточить в биологическое тело? Никогда! И Маркс вводит в оборот гениальнейшую идею *неорганического тела* человека как субъекта деятельности — и это тело неизбежно расширяется до масштабов вселенной: человек — «в той универсальности, которая всю природу превращает в его *неорганическое тело*» [42, 92]. Из этого прямо следует, что органическое тело человека (а, возможно, и многие такие тела) — лишь часть ставшей его телом природы, и отношение субъекта к органике столь же внешнее, как и к

любой другой вещи: человек не в этом, он в совокупности общественных отношений, и может себе позволить пересоздавать свое тело столь же целенаправленно, как он пересоздает природу в целом.

Таким образом, психология человека — это вовсе не о человеке как личности, а о том, как человеческая деятельность перестраивает психику живых существ; с появлением иных (неорганических) носителей разума придется заниматься и вопросами организации их психики. Не выводить сознание и личность из психики — а наоборот принципиальное отличие разумных существ от животных и вещей взять за исходный пункт, — и тогда психология человека станет осмысленной, обретет свой предмет.

К сожалению, до такого понимания дела ученые мужи не доросли. Почему? По все той же классовой причине: вместо совместного труда — конкуренция, животная борьба за существование. Запад против востока, питерские против московских, евреи против всех... Психологию то сводили к психотехнике — то подчиняли философии... Тем не менее довоенные изыскания шли в общем русле: при всех расхождениях, сторонники Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна говорили одно и то же — разными словами, с разной интонацией. Положение изменилось после войны. Основная линия — продолжение марксовых идей и развитие деятельностного подхода (куда примыкают и близкие по духу разработки европейских товарищей). Однако обиженный властями в пылу борьбы с «космополитами» Рубинштейн (лауреат сталинской премии!) после официальной реабилитации резко поменял курс — и его протестные настроения быстренько подхватили младшие коллеги, не особо знаменитые по части великих находок — но поднаторевшие на перевернутом толковании (ранее цитированных) классиков и достаточно влиятельные во властных и академических структурах. Последователи Выготского и позднего Рубинштейна не на шутку схлестнулись в литературе и в околонучной политике. Господствующие высоты, правда, оставались за когортой А. Н. Леонтьева и Э. В. Ильенкова (тут длинный перечень имен и свершений — но мы-то знаем, что светимость не аргумент); соответственно, критика со стороны «деятельностных» психологов звучит мягче, снисходительнее, — хотя и без компромиссов. Напротив, ущемленная оппозиция не стесняется в выражениях:

Между тем реально так называемый деятельностный подход утратил свой научный смысл для психологии, поскольку приобрел совершенно глобальный характер. В нем отождествились психика и практика, деятельность и активность, стали совмещаться и разные методо-

логические принципы и разные уровни научного исследования. Понимание деятельности в историческом и антропологическом смысле перестало отличаться от ее понимания в онтогенетическом исследовании, а последнее стало отождествляться с анализом психики взрослой личности в социальной связи с действительностью.

На что похоже? Правильно, на советскую же критику Фрейда: огульно, за все сразу — за то, что его слишком много — и возразить по существу не получается: грамотно разбираться — жизни не хватит. Да и зачем? Есть пророк истинной веры Рубинштейн — и его бог априорно истиннее бога Выготского...

Если вспомнить об универсальности как основном определении разума (по Марксу) — критикуют леонтьевских как раз за то, что в них прелестнее всего: отказ от вульгарного разбиения мира на внутренний и внешний, допущение взаимопереходов и взаимопревращений; только так можно преодолеть узость сугубо «научного» подхода, стремление раз и навсегда разграничить научные дисциплины — заодно отделив их от всяческих «ненаучных». Изменится деятельность — должна меняться наука; более, наука нам и нужна для того, чтобы себя менять, — как пролетариат в *Манифесте* не только могильщик буржуазии, но и могильщик самого себя в качестве противостоящего буржуазии (и значит, неразрывно связанного с ней) класса.

По большому счету, борьба партий в психологии — один из ликов все той же борьбы материализма с идеализмом: с одной стороны нам говорят, что есть предметная деятельность (*Tätigkeit*) — и она целиком определяет строение субъекта; на другом полюсе — заявления о некоей априорно присущей субъекту способности самодвижения, активности (*Aktivität*), — из которой любая деятельность вырастает, приобретая предметность во взаимодействии с окружающей средой. Одни за примат общественного (деятельность как *функционирование*); другие ратуют за свободное самовыражение, безотносительно к общей пользе. У первых психика — принимает форму внепсихического и потому оказывается лишь «отражением реальности»; напротив, для активистов психика дана человеку от природы (от бога) — и потому сознание и личность могут лишь надстраиваться над этой встроенной подвижностью, стремлением влиять на мир.

Откуда сыр-бор? От (сугубо классового) *противопоставления* одного другому — и одних другим. Это разумно? Не очень. Разум не для дележки территории — его дело соединять разделенное. Про ленинскую

догадку об относительности различия между объектом и субъектом — публика наслышана. Но выводов никто так и не сделал. Партийная дисциплина превыше всего! По-буржуйски так: власти должны быть властными, оппозиция — оппозиционной. В начале 1980-х активисты выражали чаяния рвущейся к власти контры — и было кому раздувать противоположность «деятельностному подходу» до самых несуразных пределов.

По трезвой логике — как можно разделить восприятие мира и его преобразование? Это две стороны одного и того же. Одно без другого не бывает — и развивается одно через другое. Вспомним физику: работа изменяет энергию, энергия превращается в работу. Вот вам и единство *Tätigkeit* и *Aktivität*. Точно так же пространство и время (соответственно, импульс и энергия) объединяются в физике в нечто единое. Получается, что надо заниматься не различием форм, а тем, формами чего они являются, — то есть, сделать науку содержательной. Если, конечно, ограничить себя всего лишь наукой — временно, для пользы дела.

Но мы ограничиваться не будем — а вспомним про универсальное строение всякой деятельности:

объект → субъект → продукт

или, в символической записи,

$O \rightarrow S \rightarrow P$

Эта категориальная триада (следуя принципам диалектической логики) подразумевает много трактовок и допускает разные обращения. Если прочесть схему во времени, как единичный акт (преобразование объекта в продукт), приходится явно указывать, что на следующем этапе продукт может быть включен в деятельность в качестве объекта ($P = O'$) — и тогда деятельность в целом представляется циклом воспроизводства:

$\dots \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow \dots$

Изначальное отождествление объекта и продукта (в собирательной категории *предмет*) — характерная черта леонтьевской модели, уступка буржуазной дихотомии «внутреннего» и «внешнего». Логически, такое *свертывание* схемы вполне допустимо — но без осознания исходной формы оказывается подвешенным в воздухе: да, мы признаем, что человек действует с реальном мире и как-то его меняет — но зачем? — куда направлена история? Мир движется как бы сам по себе — и лишь отражен в строении субъекта. Только сознавая, что продукт не просто вещь, а единство субъекта и объекта, мы видим, что в каждом из своих

элементарных актов деятельность привносит духовность в мир вещей, одухотворяет природу — и в этом суть разума.

Легко видеть, что единый цикл воспроизводства содержит звенья двух типов:

$$\begin{aligned} \dots &\rightarrow O \rightarrow S \rightarrow O \rightarrow \dots \\ \dots &\rightarrow S \rightarrow O \rightarrow S \rightarrow \dots \end{aligned}$$

Психолог-идеалист берет за основу второй вариант — и для него не мир воспроизводит себя посредством деятельности, а наоборот: субъект строит себя через взаимодействие с внешним миром. На первом плане не движение природы — а движение духа. Если помнить об условности выделения каких-либо частей и сторон целого — в такой интерпретации нет ничего криминального: почему бы не посмотреть на все с другой стороны? В итоге мы все равно придем к тому же. Однако в условиях классовой борьбы односторонности воюют друг с другом, вместо того, чтобы складываться в общую для всех идею.

Здесь нам важно, что любые определения деятельности, ее объекта, субъекта и продукта, — не могут вместиться ни в какую научность. Обсуждая такие материи, мы лишь создаем контекст, в котором частные понятия различных наук (а не какой-то одной!) станут осмысленными. Как все это возможно превратить в психологию — сказано в других местах.⁵⁰ Разумеется, если будут другие варианты — пожалуйста в общую копилку, милости просим! Принципиальный момент — не забыть, что психология так и занимается не субъектом вообще, а лишь проекциями субъектности на *психику* — общественного движения на органическое. В этом плане упреки господ-субъективистов вполне конструктивны: если у человека душа болит — причиной этого может быть кризис духовности; но боль-то все же душевная. Точно так же, инфекции — проблема сугубо органическая, хотя, конечно, исток всего — вопиющее бескультурье, антисанитария, нечеловеческое обращение с людьми... Разумеется, можно изучать по науке и другие проявления субъектности (например, формы рефлексии, или язык) — но путать, скажем, математическую логику с психологией (как у Пиаже) было бы не слишком разумно. Психология мышления вполне возможна — однако изучает она не мышление как таковое, а то, как люди мыслят, — поскольку они представлены своими органическими и неорганическими

⁵⁰ В. В. Корень, *Иерархический подход в психологии творчества* (МГУ, 1984); P. B. Ivanov, *Philosophy of Consciousness* (Trafford, 2009).

телами. Соответственно, психология деятельности — вовсе не о фундаментальных уровнях мироустройства, а о том, как *человеческие тела и души* вовлечены в деятельность: где они благополучно в нее вписываются — а где не мешало бы доработать матчасть. Вот про эту «прикладную» сторону А. Н. Леонтьев со товарищи иногда забывали — автоматически нарываясь на грубые возражения.

Например, нет большого секрета в том, что человеческие поступки вызваны экономическими и общественными условиями; если кажется, что кто-то спонтанно ведется на нечто совершенно непредсказуемое, — см. предыдущую фразу. Однако по-леонтьевски отождествлять на этом основании человеческие мотивы с внепсихическими обстоятельствами для психолога (поскольку он занимается психологией, а не чем-то еще) чисто логическая ошибка — подмена понятия. Примерно как верить, что бумажки в кармане — это и есть деньги, а предвыборные обещания — искреннее выражение гражданской позиции. Да, психика человека во всех тонкостях отражает строение культуры — но образ таки отличен от прообраза, и пространство мотивов лишь при определенных условиях (в относительно устойчивых или адиабатически меняющихся культурах) изоморфно внешней предметности; отчетливое понимание этого имеет весьма практическое значение в кризисные эпохи, когда органика не успевает за темпами перемен.

Чисто по-человечески, мы понимаем, что леонтьевский пафос — от возмущения вульгарным сведением человека к органике, не слишком чисто плотными попытками буржуазных политиков перевести классовые проблемы в «естественнонаучную» плоскость. Но и животная психика вовсе не в живых телах — это специфика сообщества, а не особи; точно так же, психология человека выводит психические образования за рамки органических (и даже неорганических) тел — поскольку психика есть не сами тела, а их особое (идеальное) отношение. При этом психические явления остаются *внутренними* для (данного конкретного) человека — лишь в каком-то приближении представляющими внешние связи; более того, именно эта относительная независимость позволяет дополнить психическое отражение среды отражением психики в среде — без чего никакое творчество (в том числе историческое) просто невозможно. Нетождественность предмета деятельности ее мотиву как раз и создает тот самый «гистерезис», из-за которого движение по замкнутому циклу (воспроизводство культуры как единства природы и духа) совершает «полезную работу» — и движет прогресс.

На категориальном уровне, мы говорим о преобразующей силе духа; различие внутреннего и внешнего здесь вообще снято — поскольку пространственно-временные, энергетические и тому подобные термины по отношению к духу неуместны (а место им — в природе). Основное определение духа — универсальная связь, такая идеальность, которая становится тождественной материи (и здесь, опять-таки, источник идей Леонтьева). Но чтобы универсально связывать — надо, как минимум, иметь, что связать. Поэтому не может быть духа вообще — в отрыве от его воплощений, единичных субъектов; но тогда универсальность означает и универсальную (не зависящую от плоти!) связь одного субъекта с другим — любовь.

Точно так же, категории сознание, самосознание, разум — относятся к духу поскольку он выступает (действует) как единичный дух. А значит, споры психологов о том, что появляется раньше в онтогенезе — сознание или самосознание, — совершенно бессмысленны: ни сознание, ни самосознание — не имеют отношения к психике и существуют вне пространства-времени; они лишь проецируются на плоть (живую или общественную) как особые (неприродные) способы ее движения. Один уровень иерархии не сводится к другому — они качественно различны, при том, что в других обращениях той же иерархии состав и порядок уровней могут быть иными. Например, термодинамика, кинетика и динамика физической системы — принципиально разные теории, и вывод одного из другого неизменно опирается на жульничество, на дыры в логике (например, способы усреднения выбирают так, чтобы все получилось, как требуется, — и доказывают лишь то, что заложено в теорию с самого начала). Соответственно, заниматься психологией личности возможно лишь при наличии идеи личности вообще, как духовного образования, — которое не зависит от деталей воплощения, но и не определяет психику целиком. А психологи по обе стороны конфликта сходятся в том, что личность, дескать, высшая инстанция, интегративный принцип, выше которого нет. Соответственно,

Целью социалистического общества на сегодняшнем этапе является всестороннее развитие личности...

Замечательная фраза, в которой можно запросто заменить социализм на буржуазную демократию, этапы раздвинуть в бесконечность, и одна педагогика от другой отличается лишь трактовкой всесторонности. Мы уже говорили, что не получится развивать личность, если озадачиваться развитием личности; соответственно, у социалистических развивателей

все сводится (вслед за Марксом!) к росту свободного времени (вместо свободы) — а у буржуев на первом плане свобода торговли и культ потребления (как методы закрепощения духа).

«Всестороннее развитие» — насквозь буржуазная альтернатива универсальности. Ее другая сторона — представление о личности как устойчивом «ядре» психики, которое делает очень разные телесные и общественные движения в различные моменты времени одним и тем же человеком. Дескать, как бы мы ни менялись, в какие бы отношения ни вступали, — имеется то самое «я», от имени которого мы как-то себя ведем. Где его размещать — дело десятое. Важен сам факт наличия — и значит, уже можно различать стороны и наводить типологию. Чтобы потом свести всесторонность к полноте комплекта — включающего только классово дозволенное. Любая наука сводится, по сути, к введению некоторой шкалы — так что все богатство предмета суживается до одного единственного отношения: положение на шкале как нечто реально измеримое. Наука говорит нам о том, что возможно измерить, — но она вовсе не утверждает, что невозможно измерить ничего кроме этого! Как только научный результат объявляют «открытием», «истиной», приписывая формирование «объективной» шкалы природе вещей, — это (чаще всего неосознаваемая) апологетика классового размежевания.

Личность противопоставляют обществу — и тем самым подчиняют ему. Идеалисты и материалисты твердят в унисон: человек защищает свою исключительность, отстаивает целостность и независимость «я», которое со всех сторон атакуют и норовят съесть. Когда А. Н. Леонтьев говорит о вечной (и обостряющейся в определенные эпохи) «борьбе личности против своего духовного разрушения» — это можно понять как животную борьбу за существование: нет больше личности, а есть индивид, поведение которого ограничено видовыми рамками. Личность начинается там, где человек отказывается от борьбы — руководствуется только разумом. Пусть тела ведут себя так, как полагается телам, — личность использует эти (неразумные) движения в иных, духовных интересах, — постепенно вытесняя из мира (а также из логики) борьбу противоположностей как извращенную (классовую) форму единства — и переходя к универсальному единству, не возводящему различия в абсолют. Личностью человек становится лишь там, где он не подчинен природным и культурным условиям, а свободен менять их в разумных пределах, легко принимая любые формы — и столь же легко от них

отказываясь. Постоянство, застаивание в чем-то одном — может быть (но может и не быть!) индикатором разрушения личности; но отвечает на это личность не борьбой, а сознанием условий, при которых уместны одни формы и неуместны другие — что сразу же раздвигает горизонт, открывает новые перспективы, возможность (но не обязанность!) изменить себя (но не себе).

Отсюда веер практических выводов для научной (а не только наукообразной) психологии. Как только в психике человека возникают слишком регулярные движения, устойчивые и самоподдерживающиеся формы, — это не свидетельство личностной целостности, а наоборот, предпосылка невроза! Прочные навыки, стереотипы и установки, доминирующие мотивы, слишком глубокие чувства, — превращение собственно человеческих черт психики в животные приспособления, сужение внутреннего мира, уход от универсальности. Это относится и к единичному человеку — и к любому сообществу, к отношениям между людьми, которые (в условиях классового общества) слишком часто перерастают из духовных (личностных) в производственные. Даже духовное производство, совместное творчество — не может соединять, не ограничивая; поэтому так неустойчивы всевозможные творческие объединения, союзы единомышленников: это не разброд и шатания — это классовая форма свободы личности, универсальности духа. Нельзя «узаконить» отношения, подвести их под устав, партийную программу, идею родства, — не устранив тем самым собственно человеческие, свободные, универсальные взаимосвязи, не заменяя духовное единство внешней, формальной совместностью, набором ролей.

Таким образом, столь распространенные в психологии (и поповской литературе) классификации типов личности (или каких-то ее сторон) относятся вовсе не к личности, а лишь к наличным в данной культуре способам ее воплощения — к технологиям социализации тел. Самые «красивые» (и ходовые) теории, сводящие человеческое разнообразие к нескольким «фундаментальным» типам, — выражают лишь убогую ограниченность классового бытия, сводящего человеческие отношения к отношениям между основными классами.

Точно так же, всяческая психометрика, количественные оценки личностных черт (включая данные анамнеза, использование опросников, «объективные» и «проективные» тесты) — измеряет не характерные особенности личности, а то, чем личность заведомо *не является* — внутренние зажимы, акцентуации и т. д. Это никоим образом не умаляет

применимости количественных методов — но в корне меняет мотив, направленность этой деятельности: мы не стремимся загнать человека в клетку типовых оценок — а наоборот, ищем потенциальные ловушки, опасные гнойнички, — чтобы показать человеку новые грани свободы. По мере изменения культурных условий меняется и состав культурно обоснованных психологических факторов (представления о строении проекции личности на тело и психику).

Соответственно, задачи и методы психотерапии не обязательно рубить на корню: достаточно их переосмыслить. Речь не о том, чтобы воздействовать на личность, и как-то ее менять, — для этого психолог должен был бы стать другом, а не врачом; однако, действуя на тело и психику (то есть, в производственном общении), врач создает то самое разнообразие, которого не хватает застойным психическим структурам; это своего рода пример — а при неустойчивом равновесии достаточно небольшого толчка, чтобы изменить характер движения. Это своего рода аналог симптоматического лечения, которое не снимает проблем, а лишь облегчает течение болезни, создает более благоприятные условия для внутренней работы. Однако с точки зрения пациента — общение с врачом рождает иллюзию *участия*, которое в классовом обществе нередко становится единственно возможной формой любви; тем самым развитие личности все-таки возможно — а дальше все зависит от судьбы иллюзий: при благоприятных условиях удастся найти наполнение воображаемой близости — а крушение надежд приводит к трагическому финалу.

Если же вернуться от понятий к категориям, критерием духовности служит реальная возможность перестройки поведения, свертывания и развертывания деятельностей. Человек может заниматься чем-то одним, если считает это разумным; пока ничто иное ему не чуждо — он остается личностью. Нужно для этого на практике испытывать доступность культурных ниш, пробовать себя в всех возможных амплуа? Это было бы неразумно. Передать привет другу — мы можем через кого-то, или воспользоваться почтой. Никто не запрещает схватиться за раскаленную железку рукой — но мы заранее знаем, что это не для нас. Так же и с подвижностью личности: есть те, кого мы любим (иначе мы не были бы личностями!); их опыт — это и наш опыт, и пробовать себя мы можем через отождествление с любимыми, через любовь. Сделав знаком любви вещь — мы можем обмениваться духовностью через любые расстояния и времена. Наконец, запечатленный в культуре опыт рефлексии делает

любые чувства, знания, идеи нашим личным достоянием — тем самым бесконечно расширяя сферу опосредованного опыта (а субъект и есть такое, универсальное опосредование).

Вот мы и выбрались из партийных разборок в общество свободных людей, которые любят друг друга — и не разбирают персональные вклады, а делают историю сообща. Самое время соединять категории, делать из них схемы, зарубки на память.

Воспроизводство субъекта есть единство деятельности и общения. Это не разные сущности, а стороны одного и того же: общение возникает только в деятельности, и становится деятельностью; точно так же, деятельность возможна только в обществе — и служит общественным интересам (которые в бесклассовом мире совпадают с интересами отдельных людей). Тем не менее, воспроизводство как деятельность — выводит на первый план оборот вещей (что, по аналогии с классовыми формациями, мы называем экономикой); экономика в целом есть единство материального производства (преобразование природы) и духовного производства (рефлексия, преобразование субъекта)⁵¹ — ибо продукт деятельности всегда оказывается единством объекта и субъекта, и можно смотреть на целое с любой стороны. В частности, искусство, наука и философия — уровни (аналитической) рефлексии; в каких-то условиях они развиваются в особые деятельности, со своим продуктом.

Другое дело — воспроизводство как общение. Здесь на вершине иерархии субъект, а вещи (материальные или идеальные) лишь опосредуют отношения между субъектами, изначально общественные связи. В силу универсальности субъектного опосредования, связывать одного субъекта с другим (в частности, с самим собой) может другой субъект. В этом случае общение выглядит как чисто духовное движение, развитие людей друг через друга, их взаимопроникновение, слияние. Такой механизм развития мы называем любовью — а продукт его есть субъект как единство всех других (то, чем он оказывается для них, а они для него); вот это и есть личность.

Но (в отличие от мистиков и эмпириков) мы знаем, что стороны воспроизводства разума не отделены друг от друга — и потому, глядя с любого боку, мы обнаружим аналоги того, что нашли где-то еще. Так, личность (как особое, очень опосредованное общественное отношение)

⁵¹ Мы используем традиционные термины — однако следует помнить, что «производство» в них понимается как регулярно возобновляемое, как воспроизводство.

не может существовать вне экономики — где она проявляет себя уникальным единством вещей и производственных отношений; это (идеальное) единство мы называем *индивидуальностью* (и отличаем от индивида как элемента сообщества). Психология личности как раз и делает своим предметом одну из сторон индивидуальности — проекцию личности на психику. Еще одна метаморфоза личности — соотносит человека с культурой в целом; в таком представлении единичный субъект представляет собой общественное образование (социум) и выступает как «персона»: действующее лицо, исторический персонаж. Легко видеть, что персона — единство индивидуальности и личности, плоти и духа. Нечто наделенное «биографией» — но не сводящееся к ней. И наоборот: явление общечеловеческой духовности — но через цепь исторических случайностей. Про это позже. А пока лишь возьмем на заметку, что индивидуальность — одно из возможных представлений личности (духа) вещным (хотя и не чисто природным) образом — ее *воплощение* (индивидуализация). Говоря о теле личности (точнее, о плоти как совокупности тел и общественных отношений) личности, мы подразумеваем конкретное воплощение — хотя дух личности никоим образом из плоти не выводится и допускает разные способы культурного бытия — и бывает трудно сказать, что именно служит материальным носителем. Например, личность нерожденного ребенка присутствует в обществе (и включена в иерархию деятельностей!) в виде проекции на персоны родителей и совокупность культурных ожиданий. Появление ребенка (поначалу всего лишь живого существа) создает возможность проекции распределенной личности на органическое тело (которое быстро обрастает набором неорганических расширений). Если по каким-то причинам ребенка нет — допустимы проекции что-то другое, даже на неодушевленную вещь; в классовом обществе это может выглядеть как помешательство, психическое расстройство. Но личность как иерархия деятельностей всегда представлена иерархией их продуктов — и лишь в особых культурных условиях одни представления предпочтительнее других.

Поскольку любая иерархия может быть понята как единство всех возможных развертываний (обращений), единичность субъекта исходно выступает лишь как возможность его (само)реализации. В культурном контексте такая всеобщая (абстрактная) личность объективируется в наличных (доступных) формах и средствах общения — представленных условиями социализации, возможностями экономики и общественным

строим. Так (в классовом обществе) возникают обычные представления о характерах и типах — об особенностях личности; в отношениях классово ограниченных людей другие, как правило, выглядят такими, особенными личностями — и только иногда, в интимности, соотносятся с конкретными общественными связями, обретают индивидуальность. Заведомая (и намеренно культивируемая) ограниченность классового общения приводит к тому, что нам проще заметить личность в тех, кто от нас далек: исторических деятелях, героях романов или фильмов, персонажах анекдотов или сплетен, — а те, кто рядом, воспринимаются как фон, нечто само собой разумеющееся. С другой стороны, мы находим друзей и любимых, «примеряя» маску особенной личности к нашему окружению (не обязательно ближайшему) — и меняем идею особенности в зависимости от реального воплощения.

Переход от опыта, через эмпирические обобщения, к всеобщности, и обратно, от абстракций, через особенное, к конкретности, — это обычная логическая схема, которая выражает не только ход познания, но и действительное движение истории, и развитие всякой деятельности. Личность возникает не из пустоты, она абстрагируется из совместной деятельности как действительная общность, взаимосвязь (интеграция) продуктов и опосредуемых ими общественных отношений. Эта общность осознается как особый мотив — и становится центром, от которого разворачиваются всевозможные иерархические структуры; в общении людей такая дифференциация выглядит как превращение общественных отношений в личные — как рождение (абстрактной) личности, начало персонификации и индивидуализации, спецификации и проекции.

В силу универсальности субъекта, допустимость разных проекций личности перерастает в их реальность и необходимость. В каждой культуре — свои примеры. Тело личности — не вещи (и не связи вещей) как таковые — это иерархия *образов* (знаков) личности, запечатленных в некоторой (в принципе, неважно какой!) материальной основе. Мы восстанавливаем по намеку прототип — это часть универсального процесса одухотворения природы. С другой стороны, догадываться об одном и том же можно по разным проекциям. Например, литературный персонаж (как характер, особенная личность) должен быть достроен до индивидуальности — и читательское сотворчество состоит, в частности, в комбинировании фрагментов житейского опыта в некую целостность, способную стать носителем (плотью) личности. Иногда эклектика ведет

к возникновению жутких монстров, франкенштейнов. Но интерпретация персонажа разными людьми порождает обобщенный образ, — как бы восстанавливая авторский замысел на новом уровне, — и начинается новый виток индивидуализации, закрепление в традиции и развитие идеи: исходный образ разные авторы разворачивают по-разному в своих творениях, литературоведы выкапывают якобы реальные прототипы... Старо как мир: персонажи народных сказок и мифов частенько получали вполне земную прописку. В эпоху туристического бизнеса — вошли в моду музеи вымышленных лиц (вроде принца Гэндзи, Шерлока Холмса, Дон Кихота, или графа Монте-Кристо); но и это не ново: в каждой церквушке — мощи каких-то святых, а святой Николай одновременно похоронен (как минимум) в десятке городов.

Рынок подставляет на место личности личину — юридическое лицо, сценический образ, и т. д. — то есть, не иерархию деятельностей, а набор культурных ролей (от которого буржуазная наука отличить личность не в состоянии). Отсюда спрос на дубли, на двойников и владельцев прав. Компьютерная революция привела к появлению сетевых клонов. По сути, все это явления того же порядка, как и воплощение стоимости в знаках денежного достоинства. Любая из миллионов сто долларовых бумажек представляет все ту же «личность»: сто долларов.

Классический пример — близнецы как проекция одной личности. Ходячие анекдоты: даже разлученные с младенчества, однойцовые близнецы, якобы, остаются очень похожими и сходно выстраивают жизненный путь. При этом, правда, забывают о принципиальной одинаковости условий развития: личность повсеместно отождествляют с биологическим телом — и добиваются, чтобы ожидания оправдались.

Еще вариант: проекция личности на разного рода механизмы, приспособленные к деятельности в разных средах. Такие вещи могут быть очень яркими представителями: например, как одежда, которая очень много может рассказать о своем хозяине.

Особый интерес представляют проекции одной личности на тело (индивидуальность) другой. Этот механизм лежит в основе восприятия людьми друг друга — и лежит в основе восприятия ими самих себя (а в конечном счете — развития самосознания).

Наконец, мы замечаем, что существует возможность представить личность различными наборами тел — что может создавать впечатление мгновенного перемещения из одного места в другое — или присутствия сразу во многих местах. Ничего мистического: наличие нескольких

воплощений связано с ростом иерархии личности — а иллюзия «двойной жизни» возникает лишь на нижних уровнях. Досужим моралистам (или упертым догматикам) рекомендуется работать над собой — развивать высшие уровни личности, на которых возможно целостное восприятие других. Между прочим, в контексте развития духовности, у нас есть очень распространенный вариант «обобществления» тел — любовь.

Понятно, что различные индивидуализации могут быть похожи при развертывании в сходных условиях — но могут и сильно различаться, при воспроизведении ансамбля общественных связей на существенно иной материальной базе. Опять же, ничего неожиданного: одно и то же производство можно развернуть в разных местах — и технологии придется перестраивать в зависимости от наличия сырья и особенностей логистики.

Динамика переходов от особенной личности к индивидуальности, или наоборот, допускает и представление нескольких личностей одним набором тел. Точно так же, как и с распределенными воплощениями, иллюзия «расщепления» возникает лишь при застаивании в пределах одного уровня; учет дополнительных проекций позволяет обнаружить единство внутреннего мира — а на высших уровнях духовности можно заметить неожиданные грани общественного единства. В связи с этим — урок для практикующих психологов и психиатров: то, что вам кажется болезнью, может на самом деле говорить лишь о вашей ограниченности, о необходимости работать над собой!

Человек прошел по земле — оставил след. В разумных допущениях можно иногда представить себе человека по его следам. отождествлять человека с его следом — порочная практика. Личность не отделена от общества — она и есть общество в одном из его проявлений. Мы чуем дух за бытовыми переживаниями и производственными коллизиями. Нам совершенно все равно, кто и как будет это называть. Есть линии многих жизней — личность не вписывается ни в одну из них, она сплетает свою индивидуальность из всех сразу. Нет этой свободы — нет и личности. Возможно, кого-то устраивает превращение в послужной список, вместо разумного существа. Такие будут рубиться за каждую каплю признания, каждую строчку в реестре официальных свершений и регалий. Мы предпочитаем мечтать вместе с А. Н. Леонтьевым о том, как «человек сбрасывает с себя груз своей биографии» и становится тем, что долговечнее любых памятников и обширнее любых империй — личностью, духом, — действующим и любящим.

Выразить бесконечность в конечных словах — дело непростое. Обнадёживает, что ничего безусловно главного в субъекте нет — и можно ограничимся парой замечаний — наугад, из того, что на слуху. Другие проекции достроят после нас.

Поскольку личность возникает и развивается только в обществе, только через деятельность и общение, воздействовать на нее, действуя на тела, — дело безнадежное. Это касается как биологических тел (которые пока еще нередко попадают в лапы насильников и палачей), так и неорганических расширений (через которые людей вынуждают служить власть предержащим). Издеваясь над телом, скоты пытаются унижить человека, сломить дух; но унижают они лишь себя — а дух не в телах, и когда проекция на истерзанное тело и разрушенную психику уже невозможна — дух найдет иное воплощение: для разума нет границ.

Только классовый (недо)человек может понимать общение как воздействие одного человека на другого — и обратное воздействие. Это неуместный перенос базарных обычаев в область духа. Личности просто не нужно ни на кого действовать: разные личности — это стороны одного и того же, они легко проникают друг в друга, снимают различия. Любые формы общения для разумных существ — лишь способы быть вместе.

В природе вещь противостоит своей среде — они определены друг через друга внешним образом: каждое из них есть то, чего не хватает другому. У духа — нет среды: в нем одно непосредственно есть и другое; личность тождественна обществу — и сама становится своей «средой». Лишь имея в виду конкретное воплощение, мы можем говорить его материальной и духовной среде — о включении в деятельность и в общение. Точно так же, конкретная персонификация характеризуется местом в материальной и духовной культуре — но оторвать одно от другого стремится лишь классовое общество, а разум — в единстве.

Напоследок — о выделенных когда-то Гегелем уровнях духа:

сознание → самосознание → разум

В очень грубом приближении, говорят о сознательной деятельности, о самосознании личности, о разумности общественного устройства... Тема богатая — и достойна особой книги. Здесь хотелось бы только подчеркнуть, что к строению деятельности (и вытекающему из него сопоставлению экономики, духовности и культуры) гегелевская триада имеет лишь очень косвенное отношение — и, конечно же, все это не принадлежит ведению психологии, или иных наук. Конечно, трактовать

уровни разумности как «ортогональное измерение» — тоже условность, со своей областью применимости. Тем не менее, мы знаем, что человек становится личностью не потому, что он поставил перед собой такую цель: даже исключительная личность (поскольку таковые водятся в классовой среде) часто не осознает своей исключительности — и личностью становится лишь в глазах (в сердцах) других; тем более это касается незаметных гениев, — или солнышек любви, затерянных по захолустьям и трущобам. С другой стороны, самосознание никоим образом не есть просто сознание своего «я» (как учат некоторые солидные господа): например, можно много воображать о себе — но в личностном плане оставаться нулем. В определенных общественных условиях появляются и те, кто сознательно решает личностью не быть: таковы дикие классовые нравы. Парадокс: быть разумным в неразумном обществе — далеко не всегда разумно! Быть слишком красивым, умным, мудрым — значит, утверждать свое превосходство, вливаясь тем самым в ряды тех, кто привык ездить на чужих шеях, — и от кого разум жаждет в конце концов избавиться.

Даже беглый обзор иерархического подхода к личности показывает, что сколько-нибудь представительные научные модели обязательно выйдут за рамки науки, и никакой «единой теории духа» построить нельзя. Тем более глупо затевать грызню по поводу частных понятий — вместо соединения разных точек зрения в нечто «стереоскопическое». Но объединение без действительной общности — утопия. В недрах классового мира — мы выдвигаем в качестве общего основания отличие разума от сколь угодно развитой природности; его главная задача — одухотворение природы, ее перестройка в интересах разумных существ. Самое насущное — вырваться из классовой дикости, на каждом шагу низводящей человека до уровня животных, растений и бездушных вещей. Господствующий класс спонсирует эту грязную работу ради сохранения привилегий, утверждения своего исключительного права на духовность; но в итоге господа уподобляются рабам, перестают быть личностями, «испускают дух». Приходится восстанавливать единство мира исподволь, в уродливых классовых формах. Мы это сумеем — в силу универсальности субъектного опосредования. Однако потом, когда классовые реалии будут вспоминаться лишь кошмарным сном, всякая борьба утратит актуальность, и даже различие неживого, живого и разумного снимется, станет неуместным, — и мы пока не в силах побывать в шкуре тех, далеких, бесклассовых нас.

ВЗРОСЛЕНИЕ РАЗУМНОСТИ

Для высокоразвитой культуры рождение живого существа ничем особо не примечательно — оно стоит в том же ряду, что и производство неживых вещей. Сами по себе эти организмы и вещи не умеют равным счетом ничего — но если разумно их организовать, включить в уже существующую иерархию культурно опосредованных взаимодействий и ограничить чисто природные предрасположенности, — получится еще один индивидуальный субъект, с участием которого будут в дальнейшем возникать коллективные образования, субъекты более высоких уровней. Производство и воспроизводство разумных существ опирается на существующие возможности материального и духовного производства; однако ответственности за качество синтеза этих сфер деятельности никто с нас не снимает — и здесь важно оставаться в рамках разумного, видеть цель — и идти к цели.

История цивилизации, классового общества, — лишь предыстория разума. В земных условиях путь всеобщего отчуждения и борьбы всех со всеми был исторически необходим: только таким способом удастся поддерживать слабые искры будущего в непрерывном столкновении стихий, способных в любой момент уничтожить человечество — чтобы начать все заново. Неразумной материи лишний миллиард лет погоды не делает. Каким бы уродливым ни казалось наследие пройденных эпох — в нем предстоит разглядеть ростки универсального единства сознания и самосознания, движение к разуму.

Задача не из простых. На первый взгляд, все по отдельности, каждая мелочь старается обособиться в рыночную нишу, распахивая в стороны прочих претендентов на кусок финансового пирога и связанные с ним проценты благополучия. С повсеместным утверждением капитализма потребность в массовом воспроизводстве рабочей силы породила индустрию обучения и воспитания, со всеми ее коммерчески-идеологическими перекосами. Как и везде, строить новые поколения поручено профессионалам — которые, конечно же, лучше наивных

одиноким справятся с делом, и на этот счет имеют сертификаты по всей форме, и соответствующие лицензии... Поскольку речь идет лишь о способности создавать прибавочную стоимость, приобщение к культуре сводится к соблюдению вековых традиций, понимаемых исключительно количественным образом: выгодно или не выгодно правящему классу. Количество выражается в имеющихся хождении дензнаках — и это позволяет достичь высокой степени интеграции и унификации, ведет к выработке стандартов образования и норм культурного поведения — как в рамках отдельных общественных групп, так и на уровне человечества в целом. По сравнению с идейной пестротой предшествующих веков — безусловно шаг вперед, к универсальности разума (хотя бы и в форме грубейших извращений). Парадокс в том, что именно этот мощный объединительный толчок противопоставляет при капитализме личность обществу — и тем самым пробуждает индивидуальное самосознание, духовное неприятие навязанных рынком рамок и стремление к творчеству, самореализации. Что, опять же, проявляется в извращенной форме как противоположность стадности и конкуренции: с одной стороны, быть как все, — но при этом претендовать на особую ценность и исключительность. Мы стремимся попасть туда, куда не пускают, — но чтобы не пускать никого в отвоеванное жизненное пространство. Соответственно, буржуазное образование не устраивает нас, с одной стороны, тем, как оно ограничивает наш выбор, — и столь же антипатично назойливо-технологичным вторжением в личностную сферу, навязыванием рыночных решений. В конце XX века, когда у обывателя не остается тайных надежд на гибель капитализма, и свобода превращается в нелепый миф, психическая неадекватность достигает глобальных масштабов, порождает пандемию аутизма, болезненной реакции на неизбежность общения. У богатых одни формы, у бедных другие... Мы не желаем быть общественными животными — но вместо борьбы с животностью боремся против общественности, и тем самым глубже загоняем себя в природность; мы против рынка — но не знаем ничего другого. Да, навязанная рыночной культурой публичность — не от разума: она объединяет не ради единства, а для размежевания с «чужими» объединениями. Но уход в себя — крайняя форма того же самого, разрушение личности, отказ от материального и духовного воспроизводства — от неограниченного расширения неорганического тела и от неограниченного роста духовности, от любви. Человеческое решение — осознанно изменить мир. Сделать осмысленным бытие.

Никакие вещи (или организмы) не становятся разумными сами собой. Это, в частности, означает, что развитие субъекта невозможно его собственными усилиями: никакая работа над собой не поможет, пока нет общекультурных предпосылок для восприятия этой деятельности как общественно полезного труда. Нет совершенства там, где некому осознать совершенство — сопоставить продукт строению культуры в целом. Каждый видит себя глазами другого и не замечает того, что другие не готовы заметить. Наш внутренний мир — отражение мира в целом, и любая идентичность возможна лишь поскольку в культуре действительно имеется соответствующая целостность, общественное единство. Другое дело — что заметить внешнее сложнее: для этого, как минимум, требуется сознательно его воспроизвести как продукт труда. Отсюда вывод: не слепо отказываться от чего бы то ни было — а разумно выбирать нужное и отсеивать враждебное разуму. Разумеется, речь о цивилизации, о классовой экономике; с уничтожением классов уйдет сама идея вражды.

Итак, воспроизводство субъекта как культурного явления требует объективного существования культурных пластов, соотносимых именно с этим воплощением субъективности. Пока мы не осознаем возможных направлений развития — они накладываются на природный материал как стихия; однако это уже не совсем природа, а ее рукотворная сторона, искусственность. В процессе материального и духовного производства, движение тел упорядочивается таким образом, который не мог бы сложиться вне человеческой деятельности; даже по видимости сходные явление существенно различаются: одно дело, если камень упал сам, — совсем другое, если его намеренно сбросили; в последнем случае, помимо собственно физического процесса, предполагается еще и общественный продукт, перестройка многообразных отношений между органическими и неорганическими телами. Первобытные люди осознавали это обстоятельство, пытаясь усмотреть за каждым вообще природным явлением какую-то искусственность, дело чьих-то рук. Это им обычно удавалось — поскольку восприятие природы есть особая деятельность, намеренное вписывание мира в сугубо человеческие реалии, навязывание ему человеческих черт; по сути дела, при виде чего угодно мы как бы прикидываем про себя, к чему бы это можно было приспособить, и как при случае это изготовить или добыть. Но если мы не строим себя сознательно — нас будет строить кто-то другой, в зависимости от его представлений о мире и практических потребностей.

Этим другим в конечном итоге оказывается общество в целом — но в классовом обществе представлять его будет господствующий класс, действующий через уполномоченных им наставников и учителей.

Поскольку культура есть единство материального и духовного воспроизводства, в процессе окультуривания всегда присутствуют эти две стороны: как материальное производство — это *обучение*, свободное владение возможностями органического и неорганического тела, построение индивидуальности; как духовное производство — это *воспитание*, становление субъекта как личности. Только в единстве обучения и воспитания возможно полноценное культурное развитие, воспроизводство субъекта. Однако в классовом обществе обучение сводится к отработке навыков, воспроизводству рабочей силы, — а воспитание превращено в простую дрессуру, подчинение навязанным извне правилам (формальным или неформальным, по закону или «по понятиям»). О сознательном выборе рода занятий и сознательной выработке нравственных устоев можно говорить лишь очень ограниченным образом; чаще, субъективность возникает неявно, как общественная необходимость, иногда вопреки канонам классового образования и вне рамок буржуазных приличий.

Полноценное образование универсально: его задача открыть доступ к каждой крупнице культуры, снять любые внутренние и внешние ограничения. Речь не о том, чтоб овладеть опытом человечества в какой-то определенной отрасли или группе отраслей: требуется не просто политехническое обучение, а привычка расширять кругозор — и вкус к самостоятельному творчеству; не пассивное усвоение, а осмысленное встраивание материальной культуры в свое неорганическое тело, тем самым обеспечивая возможность духовного роста. Это не законченный (формально удостоверенный) акт, а способ развертывания деятельности, характер, основа личности. Такое обучение вполне можно было бы назвать воспитанием универсальности.

Точно так же, разумное воспитание направлено на выработку способности замечать одухотворенность культурных достижений, уйти от грубо утилитарного отношения к миру и каждую вещь воспринимать как совокупность общественных отношений. Из таких пропитанных духом тел образуются новые тела — способные стать носителями субъективности на всех уровнях, а значит, и предметами любви, способом развития собственной духовности каждого, его новой плотью. Так воспитание предстает универсальным обучением.

Стоит оторвать одно от другого — рушится единство субъекта, уходит разум. Стоит ограничить одну из сторон какими-то рамками — будет ограничена и другая: недостаток образования создает личностные проблемы, перекосы воспитания сказываются на организации труда. Знания сами по себе, а не как часть личности, — балласт, мусор, помеха. Абстрактные душевные порывы без идеи практического результата — бездуховность, бред, болезнь. Обучение и воспитание как стороны целого составляют то, что мы называем *образованием* — и в смысле возникновения единичности духа, и как особое качество, культурность.

Но каким образом достигается единство? В чем оно? Всесторонне развитый единичный субъект должен стать неотъемлемой частью общества, необходимой для развертывания иерархии субъекта вообще и для развития всех остальных, на каждом уровне. То есть, с одной стороны, яркая индивидуальность полезна для общества как путь к универсальному воспроизводству мира в деятельности, — а в личном плане такой член общества неизбежно оказывается и явлением любви. Как единство индивидуальности и личности, человек представляет общество в целом, он в нем в той же мере, как и оно в нем; субъект и *есть* общество — в единичной форме, как *социум*. Поэтому внешним образом, в отношении к культуре в целом, образовательный процесс как единство обучения и воспитания становится *социализацией*.

Универсальным образом участвуя в деятельности, каждый вносит свой вклад в строительство культуры («второй природы»). И тем самым получает возможность использовать результаты преобразований для собственного развития. Более того, такая «обратная связь» (внешняя рефлексия) есть механизм материального и духовного воспроизводства, и потому образование или воспитание невозможны в отрыве от практики культурного строительства, без реального воздействия человека на мир, все более и более сознательного. Широта такого воздействия напрямую связана с полнотой социализации.

В классовом обществе любые общественные отношения предстают отношениями частных лиц, субъектов рынка: одни (непосредственно или через цепочку посредников) влияют на других. Знания мы покупаем у «специалиста», владельца «авторских прав»; воспитание принимает форму указания свыше, «авторитетного наставления»: родительского, школьного, производственного, блатного... В любом случае сфера участия человека в общественном труде формально суживается: плоть субъекта сведена к органическому телу, а как личность он знаком лишь

своему ближайшему окружению. Соответственно урезаны все стороны образования, и в результате социализации возникает не полноценный (универсальный) субъект, не часть общества в целом, — а всего лишь участник каких-то групп, подобных сообществам животных: вместо индивидуальности — индивид; вместо личности — позиция в этологической иерархии. Разумеется, поскольку общество в целом развивает какие-то зачатки универсального отношения к миру и к себе, все это отражается в тех заготовках субъекта, которые мы называем людьми; правильнее было бы говорить, что людьми они являются лишь в той мере, в которой их деятельность содержит предпосылки разумности, — тогда как в остальном это лишь организмы или вещи.

Тем не менее, поскольку движение к разуму объективно необходимо и продолжается несмотря ни на что (не на этой планете — так после нее), имеет смысл сознательно искать и утверждать возможности подлинно человеческого обучения и воспитания — насколько это возможно в данных исторических рамках. Классовые различия не дают равных шансов — надо ясно понять это, и любыми способами добывать запретное, делать всеобщим достоянием, — подобно мифологическому Прометею; с другой стороны, следует по возможности направить всякую деятельность на слом классовой экономики — и строительство нового экономического порядка. Уважение к (творческому, созидательному) труду и бережное отношение к его плодам — залог духовного роста, воспитание чувства причастности к единому делу, собственного достоинства и свободы; другая сторона того же — стремление к свободе, к избавлению от рыночных пут, устранению любой эксплуатации и духовного порабощения.

В эпоху всеобщего разделения труда обучение и воспитание искусственно оторваны от участия в общем труде, превращены в особые отрасли производства, в рамках которого профессиональные «педагоги» массово производят предписанный культурными стандартами продукт; воспитуемый при этом берется как объект, сырой материал, а потом и как пункт в отчетности или рекламе, — но не как полноправный участник, активно направляющий педагогический процесс и в чем-то воспитывающий своих учителей. Предполагается, что это лишь *будущий* строитель культуры, — и право стать действительно культурным явлением предоставляется извне, а не изначально присутствует как неотъемлемое качество развивающегося духа. В какой-то мере это на самом деле так — однако наша задача как раз и состоит в том, чтобы

преобразовать такую действительность и перейти к чему-то более гуманному. Да, нам придется использовать несовершенные и классово извращенные методы социализации; но мы обязаны помнить, что любые разновидности формального образования и воспитания — лишь временное явления, предварительные подступы к универсальному, единому процессу воспроизводства разума, — а поэтому при каждой возможности следует выращивать в формальных системах черты разумности, фактически разрушая их изнутри: надо выводить образование за рамки рыночных отношений, решительно отделять от «цеховых» интересов (семья, школа, высшее и специальное образование). Не просто готовить рабочую силу — а помогать развиваться новому человеку; не продукт на заказ — а неожиданный шедевр.

Культура иерархична — и социализация предполагает включение в общественную жизнь на всех уровнях. Дано: набор органических и неорганических тел, плюс наличное строение культуры и перспективы ее развития. Требуется: превратить это все в субъекта деятельности, индивидуальность и личность. Решение: во-первых, поместить тела в окружение других тел культурно обусловленным образом, наложить на природные возможности совокупность связей так, чтобы направить их естественное (то есть, неразумное) поведение в определенное русло, координировать его с общекультурными процессами; во-вторых, выстроить отношение к этому новообразованию со стороны прочих членов общества таким образом, чтобы культурно опосредованное поведение продукта воспринималось как участие в деятельности, и можно было бы при необходимости делегировать ему часть полномочий от кого-то другого — разумеется, не отрицая собственного творчества.

Такой подход не ограничивает социализацию одним из уровней иерархии субъекта: сказанное одинаково относится и к единичному субъекту, и к любым коллективным формам — от влюбленной парочки до производственных бригад, массовых течений, классов, этнической общности, и т. д. — вплоть до человечества целиком. Все это тоже надо обучать и воспитывать. Стоит в одном месте пустить на самотек — поплывет и на других уровнях, и вместо разума на первый план выйдет биология, или физика. Группы рождаются так же, как члены групп, — надо привести группу в культурное состояние, превратить в активную целостность; это требует как особой телесной организации (взаимная «притирка» членов группы, ее «органов») — так и настройки общества на целостное восприятие коллектива, осознание его культурной роли.

Внутреннее единство, «органичность» группы, — неперенное условие субъектности. Формальные группы (семья, учебный класс, команда, производственная единица) могут выступать как целое в отношении материального производства — но на этой основе далеко не всегда возможна духовная общность, и нет самостоятельной деятельности, требуется внешняя организующая сила. При каких-то условиях такое общественное давление может благоприятствовать духовному единству, и коллективность (хотя бы частично, отдельными сторонами) перерастает в субъективность. Но в условиях классового общества ограниченность доступа к культуре ежесекундно порождает духовное уродство, когда субъект не представляет общество в целом, а противопоставит ему: да, это тоже один из уровней духа — переход к самосознанию; но узко групповые (или индивидуальные) интересы не могут быть разумными, сознание и самосознание оторваны друг друга, и даже противоположны. Попытки высшего руководства насадить корпоративный дух, как правило, сводятся к формальности традиций и натянутой праздничности корпоративов; при первой возможности каждый постарается от обязательности откосить — и это будет актом подлинной субъективности!

Долгое время органическое тело могло считаться минимальной единицей, «квантом» субъектности. Отсюда вековые предрассудки, обычай связывать индивидуальность и личность с физиологией, с индивидом определенного биологического вида. Общественные связи людей представлялись лишь продолжением эволюционной иерархии. Практическая потребность научила людей вмешиваться в работу организма, заменять части тела протезами, пересаживать органы, — или перестраивать координацию органов тела путем целенаправленной тренировки. В какой-то мере это ознаменовало переход к социализации не организма в целом, а его структурных и функциональных компонент. Идея зародилась очень давно: с первобытных времен люди придумывали сказочных чудовищ как фантастические комбинации разных тел, не всегда биологических. В художественной литературе эта тенденция получила образное выражение: голова профессора Доуэля, монстр Франкенштейна... Однако при капитализме, с превращением людей в придатки машин и винтики политического механизма, привязка человека к биологическому телу становится совершенно формальной; социализация предполагает прежде всего создание среды для жизни и деятельности, под воздействием которой органы тела (включая мозг)

научатся работать в координации с расширяющим его неорганическим телом (совокупностью технологий), в соответствии с общественными установлениями. Важно не развертывание генетического кода, а условия этого развертывания — изначально оценивают не кусок мяса, а его общественное положение, происхождение, обеспеченность, доступ к материальным и духовным ресурсам. Различие между биологией и технологией во многом стирается — и мы начинаем воспринимать роботов как самостоятельно действующих лиц, выполнять их указания и спрашивать у них совета...

Классовое образование должно перерасти в единую иерархию включения каждого в процессы материального и духовного воспроизводства — независимо от телесной организации, возраста, индивидуальных и личных особенностей, — но учитывая и разумно используя все эти особенности. Разум — сторона деятельности; поэтому воспроизводство разума — не единовременный акт, и новый субъект никогда не возникает как готовый продукт, он всегда в процессе становления и каждое мгновение строит себя заново. Развитие форм социализации объективно идет в направлении размывания границ между искусственно разделенными областями культуры; формально это выражается ростом количества возможных специализаций — но после какого-то предела экономика просто не в состоянии поддерживать образовательные органы как самостоятельные учреждения, и сама идея специализации обесмысливается, и надо учиться и учить по-другому. Это приводит к переосмыслению воспитательной работы: ее уже невозможно ограничить производственными нуждами — а значит, утрачивается рыночная составляющая, и человек (или коллектив) развивается не под внешние требования, а по собственной инициативе, просто потому, что он считает это правильным на данный момент и в данных обстоятельствах. Если при капитализме свобода видится как возможность выбора любой профессии — в бесклассовом обществе профессию вообще не нужно выбирать: наоборот, производство подстраивается под индивидуальные предпочтения. Точно так же, усвоение культурных норм — не приспособление к общественным установлениям, а их активное преобразование, когда общество считает важным перестроить культурное окружение с учетом особенностей субъекта.

Разумеется, все это не делается благими пожеланиями. Методы социализации определены уровнем развития производительных сил.

Непрерывное воспитание и образование возможны лишь на базе развитых производственных технологий — как ранее окультуривание биологических отправлений в условиях Земли стало возможным лишь при наличии достаточно развитого головного мозга у высших млекопитающих. Первоначально сознание может формироваться за счет «наложения» общественного отбора на собственно биологические механизмы эволюции. Однако сейчас насущным становится переход от этой социально насыщенной биологии к активному управлению собственным развитием — и надо не ждать созревания благоприятных условий, а использовать любую возможность подтолкнуть процесс к переходу на новый уровень, собрать «критическую массу» нерыночных идей. Философское осмысление — один из элементов этой работы.

Центральное противоречие капитализма — между общественным характером производства и частным присвоением — проявляется при социализации как противопоставление обучения и воспитания друг другу: производственные нужды требуют общественного контроля за качеством учебных программ — тогда как воспитание считают частным («семейным») делом, а на уровне общества в целом воспитание представлено лишь общественным мнением, культурной традицией, массовой пропагандой. Идеологические установки правящие круги не выпячивают на публику, стараются держать в тени; тем не менее, пропаганда пропитывает насквозь систему образования — вплоть до законодательного запрета оппозиционных («радикальных») идей (вроде западногерманского *Berufsverbot*). Изначально догматический характер цивилизованности (подчинение социальным ожиданиям, а не ожидание социального творчества) ведет к усилению влияния духовенства: как рыночное обучение требует обязательной специализации, выбора профессии, — так и в деле воспитания массам оставляют лишь выбор религии (включая догматический атеизм), а не отказ от религиозности как таковой. Вместо работы над собой, выработки сознательных убеждений — достаточно принять на веру. Переусложненность и авторитарность системы общего и профессионального обучения служат той же цели: знания не добывают своим трудом, а всего лишь усваивают; умения не вырабатывают, а нарабатывают, тренируют. Так готовят идеального работника: технологическое совершенство и бездумное выполнение команд.

Свободный доступ к достижениям культуры означает прямое включение каждого в общество целиком: социализация не предполагает

обязательного вхождения в какие-либо группы — хотя и не исключает такой возможности. Более того, в достаточно развитой культуре формальные группы вообще невозможны, и любое объединение возникает лишь на временной основе, в конкретных условиях, под общую задачу. Разумеется, временность не означает эфемерности: какие-то общественные образования могут существовать долго — если этого требуют объективные тенденции культурного развития. С другой стороны, устойчивость групп ничем не отличается от жизненного цикла любых индивидов: от рождения до смерти, — но и то, и другое поставлено под сознательный контроль, и не представляет собой ничего исключительного, поскольку индивидуальность (и личность) начинает складываться еще до рождения, и не исчезает с распадом тела.

Иерархическое развитие социализации следует общему правилу: первоначальный синкретизм дополняется всевозможными цепочками опосредований (анализ), которые предстоит согласовать друг с другом и сделать компонентами единого процесса (синтез). Первые шаги не различают обучения и воспитания: например, маленького ребенка приучают ходить в туалет — и это одновременно и обучение (приобретение навыков пользования), и воспитание (усвоение нормы культурного поведения, потребности с чистоте). В дальнейшем оказывается, что одно и то же действие может служить самым разным целям, и надо, с одной стороны, учиться выбирать, — но еще и выработать активную жизненную позицию, систему сознательных предпочтений. Иерархия форм социализации начинается с синкретичного подражания тому, что ближе, — но потом оказывается, что есть разные примеры, и надо осознанно выбирать источники знания и духовные ориентиры. Первые признаки разума — восприятие собственного образования и воспитания как части единого культурного процесса, так что любые посредники — лишь представляют это целое: они не порождают, а передают. То есть, разумное существо ясно видит общественный характер любого труда, сознает всеобщность продукта — когда вопроса о его принадлежности (или о чьих-то правах) вообще не возникает, — и не надо ничего делить.

Свободный выбор путей социализации — это еще и персональная ответственность. Каждый вправе предложить обществу свое видение происходящего, по-своему интерпретировать полученные результаты. Есть те, кому такая манера объяснения ближе, доступнее, — и они могут считать автора своим учителем и наставником. Другим подойдут другие

варианты. Однако в любом случае такое частное представление всеобщего продукта (необходимость выбора) не может в полной мере передать идею всеобщности, и каждому предстоит критически осмыслить свой культурный багаж, увидеть его ограниченность — и попытаться заглянуть за горизонт. А значит, по-своему развернуть иерархию и поставить перед обществом новые задачи.

Непрерывность, безостановочность образования в ходе жизненного цикла по-своему иерархична: на каждом этапе на первый план выходят определенные формы, которые обязаны уступить место другим по мере роста собственной иерархичности субъекта. Классовое общество формально выделяет особые стадии развития, якобы свойственные человеку «по природе». Такое ограниченное представление прямо следует из преувеличенного внимания к особи, биологическому телу — которое, конечно же, движется по природным законам и по-разному ведет себя в разных возрастах и внешних условиях. Но если помнить о преобладании культурно приобретенных элементов, о неорганическом теле человека (или иного субъекта), — разделение этапов развития также оказывается преимущественно культурным явлением, артефактом. Ничего удивительного, что при капитализме наблюдается разительное неравенство способностей: происхождение настраивает органику еще до рождения, предопределяет естественные склонности, — но куда важнее изначальная доступность того, что немыслимо для представителей иных общественных слоев. Отношение к отпрыску «благородных» (или интеллигентных, или просто богатых) родителей заведомо иное, нежели к безнадежной нищете, — и лишь яркий талант (в благоприятных условиях) может вырваться из предписанной по породе колеи. Но точно так же и дети господствующих кругов неспособны развить в себе то, что изначально дано низшим сословиям, — и прежде всего это касается духовности, выработки собственно человеческого, разумного отношения к жизни и другим людям, стремления к исторически перспективным идеалам. Выдавливание бедных за пределы рынка ведет к развитию у них нерыночных взглядов; это объективная тенденция классовой экономики, которая в конечном итоге разрушает цивилизацию изнутри и ведет к изменению направления и методов социализации. Но разрушить прошлое — не значит построить будущее. Революции как волны: накатывают, и уходят, — но потом какой-нибудь «девятый вал» все же пробьет брешь в твердокаменности берегов и выведет человечество к разуму, к свободе.

Ненормативная нормальность

Сознательное отношение к образованию и воспитанию возникло очень рано. Философы европейской античности опираются на уже сложившуюся к их времени (ранее VI века до н. э.) традицию — и лишь систематизируют обычаи разных полисов, племен и государств. Задолго до них, в Междуречье и в Египте появляются стандарты образования и воспитания — насквозь пропитанные классовым духом. Богатых учили «достойному» поведению на публике, жрецы учились мутить воду, — беднякам надо было выучиться ремеслу. Особый курс для высшего жречества и фараонов — школа власти; среди рабов выделялась относительно образованная прослойка, в основном связанная с обслуживанием знати, — но основная масса рабов представляла собой лишь расходный материал, обучение сводилось к дрессировке, а воспитание требовало безоговорочной покорности. Практически нигде рабовладение не избавляется до конца от общинности — и классовое размежевание чаще всего проявляется во внешнем противопоставлении племен и народностей; азиатские типы рабства (Вавилон, Индия, Китай) по внешним признакам ближе к колонату — что вовсе не делает их особым экономическим строем, якобы родственным феодализму (как пытаются нас убедить буржуазные историки). Одно и то же содержание может облекаться в различные формы — и наоборот.⁵² Даже в континентальной Европе, при господстве классического рабовладения, долгое время сохраняются его «этнические» варианты (особенно в эллинизированном восточном средиземноморье). Обсуждать детали — дело экономической истории. Здесь разговор о практике социализации. Важно отметить характерный исторический парадокс: выведение рабов за рамки нормативного образования по мере развития технологий вынуждает их становится «орудиями» универсальными, одинаково применимыми в самых разных производствах, — а значит, и духовно подвижными, готовыми перенять любые достижения культуры господ. Именно угнетенный класс во все века становится выразителем и хранителем подлинно человеческой духовности, передает искорки разума последующим эпохам.

⁵² Например, рабство в Америке и Европе Нового времени — явление полностью буржуазное; это не возврат к древности, а наоборот, преодоление феодализма, подрыв его экономической базы на путях перехода к массовому товарному производству.

Такой вывод может показаться странным на фоне узости кругозора и массовой безграмотности рабов, их безразличия к господским делам, вплоть до открытых диверсий. Но и культурность рабовладельцев далека от рассказов буржуазных историков. До нас дошли творения людей выдающихся, заведомо выделяющихся из массы; о собственно народом творчестве мы можем судить лишь по косвенным признакам — и в частности, по его отражению в античной литературе, высшие достижения которой глубоко связаны с народной традицией, пропитаны ее духом. Рабовладельцы смутно ощущали духовное превосходство своих рабов — и это чувство по-своему отражалось в среде бесправных. Знаменитый пример — собирательный образ Эзопа, персонализация народной мудрости, в противовес формальной учености. Из той же серии — дравидийский раб Кришна, и позднее ходжа Насреддин.⁵³

Продолжение парадокса — наблюдаемое в наши дни отупение пользователей компьютеров, жаждущих полностью передать разум искусственному интеллекту — и тем самым окончательно освободиться от человеческой разумности. Да, компьютерные системы уверенно берут на себя то, от чего отказываются люди, — принятие решений. Но не факт, что сотню лет спустя они будут их принимать в интересах деградирующего человечества.

Пока мы еще не до конца оболванились, попробуем присмотреться к истории социализации, понять, что в ней исторически перспективно, а что пошло не так.

Первое, на что падает взгляд, — изначальная утилитарность. Нас учат и воспитывают не ради нас самих — а для того, чтобы. С одной стороны, оно, конечно, правильно: поскольку всем предстоит вписаться в общество, надо чему-то общественному соответствовать. Как в смысле приобретения компетенций (способности к труду), так и в отношении к другим людям (способность общения). Однако направлений развития бесконечно много, и причесывать всех под одну гребенку было бы странно. Тем не менее, на всем протяжении цивилизованной истории, выбора у человека практически нет: где родились — там и пригодились. Случаи прорыва в «параллельный» мир обращают на себя внимание именно своей редкостью, необычностью; это типовой сюжет волшебной

⁵³ Иногда такая персонификация использует имя вполне реального исторического персонажа, приписывая ему все, что примерно соотносится с легендой. Для семитских культур — это древнейшая традиция. В персидской поэзии ту же собирательность приобрел образ Омара Хайяма.

сказки, бородатый анекдот буржуазной пропаганды. Теоретически, всем доступно все; на практике, быки и юпитеры — по своим полочкам.

Даже если рынок труда станет абсолютно свободным, остается другая сторона: как-то не вяжется с разумом сама необходимость подстраиваться и приспособливаться. Как животные. Вместо того, чтобы перестраивать мир под себя. Нет, конечно, универсальность разума состоит и в том, чтобы время от времени прикинуться неразумным, уподобиться вещам или органике. Мы способны и на это. Решение практических задач требует использования природных связей, действия по образу и подобию. Плохо когда это превращается в систему. Например, образовательную. Типа, захожу я в магазин — а на полках ничего вкусенького, и приходится покупать хоть что-нибудь, дабы не умереть с голоду. Вероятно, героическая личность предпочтет смерть — только бы не идти поперек себя. Но героизм — та же однобокость, предусмотренная каноном роль; красивые жесты — от беспомощности.

Прямое следствие утилитарности, ее внешнее проявление, — засилье (и насилие) норм. Для всего свои эталоны, стандарты, критерии, правила — или хотя бы общественное мнение. Мы настолько привыкли к нормативности — что даже не замечаем ее, как воздух, которым дают подышать. Это кажется само собой разумеющимся: есть правильное решение — и всевозможные отклонения: от пренебрежимых вариаций до злостной противоположности. Если мы кого-то чему-то учим — мы знаем, как должно быть, и добиваемся хотя бы относительного соответствия. Если мы занимаемся воспитанием — имеется в виду вполне (или не совсем) определенный общественный идеал, и все (теоретически) обязаны вести себя именно так. Идеалы меняются — принцип соответствия остается.

Легко видеть, что утилитарная и нормативная система социализации целиком держится на идее общественного неравенства: одни наставляют на путь истинный других. И если в отношении детей все поголовно согласны с такой постановкой вопроса — с образованием и воспитанием взрослых дело сложнее. Тем не менее, мы вынуждены принимать все, что нам вещают с кафедры — как бы мы ни относились к вещателю и его предмету. Здесь вопрос о сертификации, получении допуска к общественным благам, которые предусмотрительно вывели из общедоступности, чтобы делать деньги на рынке знаний. Когда же некто выходит за рамки чисто производственных отношений и начинает нас воспитывать — это грубое хамство, на которое далеко не всякий сможет

интеллигентно ответить. Система противопоставляет людей друг другу: они, как минимум, скрытые соперники — если не враги. Где мы видим аналоги этого? Все там же, у диких животных. Роли в этологической иерархии жестко закреплены — однако борьба за доминирование не прекращается ни на минуту: молодые и нахальные вытесняют ослабевших стариков с ранее завоеванных позиций — чтобы потом разделить их плачевную участь...

Напрашивается вывод: наше обучение и воспитание недалеко ушло от животности — и над реорганизацией их в направлении какой-нибудь разумности еще предстоит поработать. В предположении, что человек таки призван стать разумным существом.

Ничего иного, в общем-то и не ожидалось. Классовая экономика лишь создает предпосылки разумной деятельности — но сама по себе от разума далека. Общественно-экономические формации этого уровня (который мы собирательно именуем цивилизацией) — промежуточный этап, переходная эпоха. После уничтожения классов — будет другая экономика, которая потребует устранения полуживотных отношений в сфере образования и воспитания. Вместо всеобщего размежевания — сотрудничество; образование уступает место общедоступности знаний, когда каждый открывает лишь то, что интересно лично ему; воспитание превращается в совместный поиск приемлемого для всех. Понятно, что ни о какой нормативности в таких условиях и речи нет: быть разными — это нормально.

Трудно сказать, как обучение и воспитание были поставлены у древнейших предков людей, на ранних этапах зарождения первобытно-общинного строя. То, что мы наблюдаем у якобы первобытных племен наших дней, — насквозь пропитано цивилизацией; это, скорее, ранние формы классового общества, незадолго до перерастания этнических общин в территориальные (прототип государства). Ясно, что первые, синкретические культуры не отделяли социализацию от производства, так что каждый становился полноценным членом общества только через участие в общественных делах. Подобная вовлеченность детей в производительный труд наблюдается и в поздних общинах, вплоть до Нового времени; развитие капитализма вытесняет этот синкретизм, ограничивает его кругом семьи.

Дошедшие до нас прямые свидетельства относятся к сообществам, где общественное разделение труда стало обычной практикой. По всей видимости, классовое деление долгое время оставалось подвижным, так

что индивидуальные качества могли играть значительную роль при вовлечении малолетних в трудовые процессы. Семья как первичная форма общественного расслоения разрушает эту универсальность, закрепляя отдельные производства за единичными семьями. Возникает древнейшая, синкретическая собственность, включающая как средства труда, так и вовлеченных в производство людей (не обязательно связанных биологическим, «кровным» родством); эта собственность синкретична и в другом смысле: собственником становится семья (род) в целом, а не частное лицо; внутрисемейное расслоение — признак цивилизации, переход к классовой экономике.

Семейно-родовая специализация — начало истории нормативного образования. Воспроизводство трудовых ресурсов — функция семьи, на которую буржуазный историк обращает внимание прежде всего. Это поверхностное представление нередко доводят до логического предела, до абсурда, отрицая экономическую роль семьи, ограничивая ее лишь регулированием полового размножения. Выведение производств из семьи, превращение их в отрасли общественного хозяйства, — реальный исторический процесс; но даже современный капитализм оставляет семью хозяйственной единицей — что уж говорить о практически самодостаточных древних семьях, с их «натуральным» хозяйством.

Обучение и воспитание как общественные институты возникают вместе с отраслевой структурой производства. Управление такими, «обобществленными» производствами из ведения отдельных семей переходит в руки *класса* — и представляющего класс государства. Классовым становится и образование. Сначала синкретически, как передача опыта. Там, где технологии достаточно устоялись, возникает школа как культурная форма воспроизводства производительных сил и производственных отношений, элемент рефлексии. Прежде всего это затрагивает саму рефлексии, духовное производство, поскольку его отделение от материального производства закрепляется рано — это другая сторона образования классов.

Организация обучения связана с практическими потребностями. Некоторые умения становятся общеобязательными (как, например, военная подготовка) — но, разумеется, по мере сосредоточения богатств в частных руках богатые получают возможность откупиться от любой повинности и выбрать для себя более «престижные» направления. Формы обучения также различны для разных общественных групп. Для богатых — это, как правило, индивидуальное образование: наемный

наставник (как, например, Аристотель у Александра Македонского) — либо образованный раб (как Диоген для сыновей Ксениада). Жрецов воспитывали при храмах. Обслуживающий персонал (своего рода древнейшая «интеллигенция») готовили в особых школах, иногда довольно суровых, на грани ремесленного обучения. Для женщин образование в Античной Греции вообще не предусматривалось, кроме (главным образом) домашнего, (иногда) храмового, или (недостойной свободнорожденного) школы гетер.

Примерно те же образовательные структуры сохраняются и сегодня. Становление капитализма закрепило принцип всеобщего разделения труда — и теперь одни учителя (или наставники) глухой стеной отгорожены от других (это называется «предметный подход»), и есть учителя учителей, тоже мало знакомые меж собой... Теория педагогики бесконечно далека от педагогической практики (не говоря уже о практике общественного производства), а практика, уступая давлению рынка, чаще всего сводится к выработке рефлексов, натаскиванию на сдачу обязательных экзаменов (которые, по большей части, давно уже превратились в формальные тесты).

Капиталистическая система социализации активно использует все ранее существовавшие формы — но содержанием накачивает своим. Общее направление — от духовности к рынку. Античность — увлечена явлениями, ей важно сохранить не так давно обретенную способность рефлексии, — и потому идеальный человек видится как хранитель общности, и воспитывать его надо в духе идеальной государственности, воспроизводя в сознании классовое деление как априорный принцип. Отсюда представления об абстрактных человеческих качествах, которые всего лишь индивидуализируют (столь же абстрактные) принципы управления. В противоположность этому, средневековые интересуются прежде всего хозяйственными делами: имеется практически готовая иерархия производственных ролей (наследие и переосмысление духа античности) — и предстоит, главным образом, заполнять конкретные вакансии, докомплектовать штат всюду, где свирепствует хронический недобор. Рыночное хозяйство разрушает средневековую иерархию: социализация все еще следует строению производства, — но рабочая сила становится товаром, стоимостью, абстракцией производственной роли, оторванной от конкретного производства и превращенной в идеализированную функцию, наподобие античных абстракций; позже этот синтез пробуждает в массах классовое самосознание: уже не столь

важно, кто где занят, — трудящиеся любых отраслей все вместе противостоят объединенному капиталу.

С точки зрения обучения и воспитания, это означает, что узко профессиональная школа все больше уступает место неопределенно широкому «общему» образованию — для которого не столь важен круг «предметов», ибо речь идет лишь о «настройке» человека на овладение возможностями, об умении учиться. По мере унификации технологий (особенно усиливающейся в конце XX века) образовательные стандарты уходят все дальше от производственных требований и производят некий «обобщенный» товар, равно употребительный в самых разных отраслях. При качественной однородности, на первый план выступает количество рабочей силы, суммарная стоимость ее производства. А это значит, что такая абстракция живого труда вполне годится на роль денег в процессах товарного обмена — и это исподволь готовит предпосылки для полного отказа от денег. Другая сторона того же процесса — диверсификация товарных эквивалентов; с появлением электронных денег количество теоретически возможных валют уже ничем не ограничивается, и это размывает саму идею стоимостной оценки, обращает внимание на качество продукта; в результате способность трудиться оказывается единственным мерилем общественного богатства.

Здесь намек на принципы бесклассовой социализации. Обществу далекого будущего — совершенно безразлично, чем именно занимается его единичный представитель: это в любом случае выражение какой-то общественной необходимости и дело заведомо полезное. А значит, исчезает само понятие пользы, и прислушиваться следует к внутренним импульсам, окультуренным влечениям, — к голосу разума. Это не свобода выбора, а свобода действия.

Сие означает, что образование исходит не из общеобразовательных стандартов, и уж тем более не из требований профессии, а из круга возможностей, который при каждой возможности надо расширять. Тело человека включено в иерархию культуры; эта искусственная среда настраивает системы и органы на работу определенным образом, все меньше напоминая биологические механизмы. Общество влияет на каждого своего члена (независимо от возраста и прочей физиологии) самим фактом существования общедоступных в данной культуре направлений деятельности. Индивидуальные отклонения от знакомых вариантов обязательно будут — но именно это обществу интереснее всего; там, где по всем признакам достаточно шаблонных действий,

нужны нешаблонные решения, передающие рутину автоматике, — но не формально, а по принципу свертывания иерархии, с возможностью в любой момент развернуть как-то иначе.

Точно так же, воспитание никоим образом не предполагает общих мнений и согласия в мотивах. Личность вырастает на почве культурного единства и ее развитие лишь обогащает этот единый мир неожиданными деталями — такое разнообразие необходимо, оно позволяет разуму охватить все стороны бытия, сделать его универсальным, — а поведение человека разумным. Каждый неизменно чувствовать свою важность для всех; другая сторона того же самого — ответная уважительность, чувство ответственности.

Нужны ли в таком мире особые образовательные институты, органы воздействия общества на единичного субъекта? Ответ иерархичен. Всякое разумное действие требует соответствующей организации, и для всего есть подходящий инструмент. Однако всякое развертывание иерархии — явление временное, условное; в другое время и в других отношениях ученик окажется учителем, а воспитуемый воспитателем. Более того, поскольку в иерархии каждое отношение обратимо, в любом акте социализации каждый необходимо выступает сразу во всех ролях! Только в классовом обществе специализация жестко закреплена, и переход от одного способа разделения труда к другому принимает форму кризиса — что нередко ведет к духовной деградации, или даже к физической смерти. Одни решают за других — это лицо классового антагонизма в области духа. Через эту стадию человечество должно пройти, чтобы люди, наконец, научились решать сами за себя, без оглядки на сторонние обстоятельства (однако ни в коем случае не без внимания или вопреки им). Никакая арифметика не сделает общим то, что по природе разделено: «демократические» процедуры столь же авторитарны, как и договоренности в узком кругу, — поскольку в любом случае речь о подчинении личности чужой воле (даже если она кажется «своей»), — а следовательно, об отчуждении ее собственной воли, о внутренней ущербности. Понятно, что поведение таких частичных индивидов изначально антиобщественно; классовая (или сословная, или корпоративная) структура играет в таком случае роль сдерживающего фактора, ограничивает низменные порывы рамками дозволенного; это следствие классовой экономики буржуазная идеология принимает за эмпирически данное и выводит отсюда безусловную необходимость государства и религии как органов экономического и духовного насилия

(возникают они путем узурпации власти или как «общественный договор» — итог один).

Типичное возражение интеллигентствующих мещан поборникам экономической и духовной свободы — угроза всеобщего хаоса, всплеск жестокости и насилия, сплошной криминал, разврат, грязное скотство... Господа судят по себе — и не понимают, как можно не ухватить того, что «плохо лежит», не грести под себя нужное и ненужное, не унижить беззащитного и не пресмыкаться перед бандой дикарей. Они видят странную готовность некоторых сограждан отдать жизнь во имя идеи — но не видят бредовости самой идеи: быть чего-то ради — вместо того, чтобы просто быть.

Вдогонку второе возражение: пусть мы плохие — но где вы наберете столько хороших, чтобы хватило на целый мир, и чтобы всем остальным не совестно было за свои (большие и маленькие) несовершенства?

Ответ предельно прост: надо учить и воспитывать. Для этого мы тут и философствуем, пытаемся определиться с направлениями и методами. Разумеется, не в том смысле, чтобы открыть и возвестить, просветить всемирную темноту. Есть потребность разобраться — разбираемся. Кто и как это использует — не то, чтобы безразлично, — но стоит за всем глубокое убеждение в невозможности использовать разум неразумно. Как бы кто-то этого ни хотел. Если наши труды встанут колдобиной на пути духовного прогресса — значит, не все в них путем, и самое главное ушлые изобретатели тормозов выкинули за ненадобностью, приписали нам то, что мы изо всех сил старались преодолеть. Если бы сегодня сочиняли античные трагедии — хороший сюжет...

Тут очень кстати еще один парадокс. Капитализм усиленно борется с призраками коммунизма — но поскольку и они давно монетизированы, эта борьба превращается в разновидность рыночной конкуренции — когда в первую голову рубят новейшие поползновения. В это время накопленные тысячелетиями традиции духовности могут наслаждаться относительной безвестностью и потихоньку напластовывать одно на другое — превращаться в горные породы, против которых не всякий инструмент устоит. Увлеченность правящего класса сиюминутными проблемами на руку искателям разумного, доброго, вечного: до них просто не доходят руки у свирепствующих прокрустов.

Что на практике? Какие-то формы обучения и воспитания реально существуют — и, при всем их уродстве, возможно спрятать разумное содержание за буржуазными приличиями. Да, доступ к достижениям

цивилизации — через игольное ушко (или свинью-копилку); но в каждый (исторический) момент у кого-то возможность будет, — а это означает, что и все остальные так или иначе подтянутся. Нет такого секрета, который нельзя было бы раструбить на весь мир: даже если три раза переехать компьютер с информацией тяжелым танком, сбросить останки в глубокую шахту и взорвать в ней водородную бомбу, — обязательно найдется наивный сисадмин, который успел сделать резервную копию. Тем более неуничтожимы следы в современных сетевых системах, в царстве виртуальности. Но дело даже не в этом. У духовного производства есть замечательное свойство: его продукты не зависят от материального носителя — они тут же накладывают свой отпечаток сразу на все. Не бывает совершенных мудрецов; но кто однажды пообщался хотя бы с несовершенством — уже заражен, и помимо своей воли будет распространять заразу, вплоть до идейной пандемии. О механизмах этого переноса — в другой раз. Сейчас важно определиться, как перерабатывать доступное сырье в полновесный дух.

Про универсальность уже сказано. В условиях рынка мы не можем прикупить сразу всего — и какая-то специализация неизбежна. Однако относиться к этому можно по-разному. Допустим, освоили мы пару-тройку ходовых профессий, успешно продали себя на рынке труда, — и тем самым в какой-то мере (хотя бы на время) избавили себя от необходимости торговать собой. Что теперь, почивать на лаврах? — переходить в разряд потребителей? Как бы не так! Задача в том, чтобы выцарапать себе достаточно нерабочего времени для расширения кругозора и духовного развития. В силу объективно необходимого роста производительности труда такая возможность будет — но начальству вовсе не обязательно об этом знать: скоты имитируют кипучую деятельность ради скотского существования — но кто мешает сознательно использовать ту же форму для совсем других целей? Разумеется, как и все на рынке, это бесконечная игра, перетягивание каната; но мы будем совершенствоваться в своей профессии как раз для того, чтобы от нее освободиться!

Важный момент: без нужды не высовываться. По длинной шее плачет гильотина. А если серьезно, в рыночных условиях любая попытка активного самотиражирования превращается в торговлю — а от товара уже совсем другой дух. Как только на рынке появляется что-то новенькое, на это набрасываются профессионалы-торгаши и органы силового воздействия. Не успеете увернуться — концы под прилавок.

Здесь тоже важно не забывать о разумности. В каких-то условиях публично выразаться и звать на баррикады — дело обыкновенное, допустимая форма оппозиции, не использовать которую было бы преступлением. Но в большинстве случаев нужнее скрытая работа над собой, которая пойдет в мир через работу и повседневное общение, пропитывание мира духовностью. Простой пример: одно и то же можно сделать «по инструкции» — а можно сделать красиво. Делать красоту — экономически невыгодно: лишние трудозатраты и потеря темпов. Однако при удачных обстоятельствах именно это замедление убивает двух зайцев: создается впечатление интенсивного труда на кошелек хозяина — а за ним скрывается возможность насладиться творчеством и произвести нечто не совсем пустое, при виде чего в душах коллег начинается неосознанное брожение (пусть даже в форме отторжения!), и побежала волна во все края...

Использовать любые возможности обмена опытом и мнениями, конечно же, надо. Есть чем поделиться — делись. Но и тут своя специфика. Духу нужен простор: поэтому лучше развеять по ветру, чем шепнуть на ушко. Продолжая производственный пример: допустим, удалось улучшить технологию так, чтобы оставалось больше времени для души. Стоит делиться этим с коллегами? Вряд ли. Это не эгоизм, это техника безопасности. Потому что в узком кругу продукт скорее станет товарным — а если опубликоваться там, где бывают тысячи людей, новое сохранит изначально общественный характер, будет вне рынка — и против рынка. А коллеги все равно узнают — но косвенным образом, как о факте из жизни большого мира.

Конечно же, подобные рассуждения относятся лишь к определенной культуре, выросшей из классовой экономики. Значит ли это, что после победы какой-то революции мы будем рассуждать иначе? И да, и нет. Мгновенно мир не изменится, и надо внимательно присматриваться к расстановке классовых сил, чтобы вовремя корректировать тактику, не изменяя генеральной линии. Здесь нет однозначных решений и советов на все времена. Надо соображать, действовать разумно — учиться разумности. Однако и это не догма: иной раз увлечься и наломать дров тоже полезно — если не для самого ломателя, то хотя бы в принципе, для человечества в целом.

Технология вытаскивания себя за уши из болота одинакова для всех. Но в рыночном хозяйстве возможности у людей очень разные, и не всех всюду пускают. Например, есть возрастные рогатки — и пригодное для

взрослых детям перенимать придется с обширными поправками. Общаться по-человечески люди могут не взирая на возраст. Только недоразвитый обыватель сомневается в детской способности что-либо понять: в любой беседе приходится учитывать жизненный опыт собеседника и выбирать формы общения так, чтобы подчеркнуть общее и раздвинуть его границы. Ребенок чего-то не знает — но многого не знают и взрослые; с другой стороны, дети более чувствительны — не в силу каких-то физиологических причин, а просто потому, что на пути этой чувствительности еще не нагромодили кастовых барьеров. Поэтому дети могут догадаться о том, чего взрослые за собой совсем не замечают (боятся и не хотят замечать). Это облегчает общение — но и требует повышенной ответственности (что благоприятно сказывается на духовном развитии взрослых). Короче, детей следует воспринимать всерьез — и тогда они оказываются прекрасными партнерами в любой деятельности. Стремление оградить якобы нежную психику и уберечь от агрессии — воспитывает дикарей, превращает детей в разрушительную силу: под крылышком таких «защитников» (родственников, или борцов за чьи-то права) складывается менталитет типичного буржуа, врага всем сразу (включая себя самого).

Нормативность рыночного образования проявляется, в частности, жестким разделением ролей — особенно в отношениях взрослых и детей. Точно так же, как господствующий класс узурпирует право судить об общем благе и общечеловеческих ценностях, наставники решают за других, что тем полагается знать — и чего знать не следует. Однако эту классовую форму тоже можно использовать для совсем других целей, если подчеркнуть ее временность и условность, подчинить взаимности рефлексии. Ребенок знает, что в обществе принято уступать требованиям взрослых — но если взрослый сумеет превратить это в игру, следование не железному закону, а всего лишь сознательно установленным (и не всегда обязательным) правилам, вместо чувства придавленности у ребенка разовьется чувство ответственности, умение трудиться вместе с другими, а не сопротивляться любой ценой. Точно так же, привлечение детей к общественно полезному труду (а какой труд общественно бесполезен?) принимает форму посильного участия, а не производственной нормы — и речь уже не о том, чтобы навязать кому-то типовые способы действия, а об активном приобщении к тому, что умеют другие на данный момент, — вполне допуская, что есть и другие, более разумные методы. Нормативность и следование природе — по

разные стороны субъекта: первое — делает человека игрушкой стихий, второе — открывает ему границы возможного и тем самым допускает возможность их преодоления.

В классовом обществе нормативность обучения неразрывно связана с нормативностью воспитания: существуют (не всегда формальные) критерии культурности, и следование разного рода условностям не просто предписано, а превращено в своего рода физиологическую потребность, элемент метаболизма. В контексте такой, «органичной» образованности, воспитанность не становится внутренней опорой личности, а служит абстрактной «успешности» — для которой тоже есть иерархия критериев и норм. Всякое творчество при этом становится выражением *допустимой* свободы — и принимает одну из общественно (то есть, классово) санкционированных форм. Тем не менее, сам факт существования таких (сколь угодно зарегламентированных) отдушин — живое свидетельство объективной необходимости развития разума, которая неизбежно влияет на духовное развитие всех членов общества, культивирует всеобщую доступность рефлексии — которая когда-нибудь выплескивается на поверхность странными пристрастиями, увлечениями, неожиданными талантами.

Прототипы бесклассовой духовности встраиваются в любые классовые формы — и далеко не всегда заметны в деятельности. Капиталистическая экономика порождает внешнее противостояние и борьбу двух основных тенденций: рост эффективности производства связан как с ростом общественной изоляции узких профессионалов, так и с расширением объема обязательного общего образования. В разное время берет верх то одна, то другая струя. Но это не разные способы духовного производства, а две стороны одного и того же. В эпоху Возрождения точно так же цеховая ограниченность сосуществовала с идеалами широчайшего (энциклопедического) образования; капитализм лишь освобождает эту дополненность от сословной оболочки, делает всеобщей нормой, отчуждением подлинной всеобщности. Широта взглядов — тоже своего рода профессиональный кретинизм, который оплачивается по тем же рыночным расценкам. Жесткая специализация возникает в условиях высокой востребованности на рынке труда — что выводит навык за рамки профессии, на общеобразовательный уровень. Возрожденческий универсализм содержит в себе зародыш вырождения, поскольку широта превращается в самоцель; точно так же, узость ремесленных цехов предполагает взрывной рост количества нужных

обществу специальностей — и возникает качественно иной уровень универсальности, так что идея энциклопедического знания в итоге оказывается несостоятельной.

Противоречие снимается только там, где образование больше не задумывается о соответствии чему бы то ни было — и любой вариант развития общественно приемлем. В этом мире людям уже не надо «зарабатывать на жизнь» — или добиваться какого-то «признания». Они делают то, что считают нужным, — и в том темпе, который удобен лично им. Вместо традиций — поиск собственного пути. Технологические требования не связывают по рукам и ногам, а побуждают искать новые, более удобные (и разумные) решения. Универсальность — не означает завершенности: речь о всеобщей доступности творчества, способности к любому труду, которая обеспечивается не какими-то природными качествами, а готовностью общества в любой момент организовать производство как-то иначе, если в нынешних формах оно не может быть доверено всем. Однако в таком обществе воспроизводство субъекта деятельности также становится сознательным и универсальным, поэтому тела людей (органические и неорганические), при всем их разнообразии, устроены достаточно разумно, чтобы не выходить за грань физического и духовного здоровья — то есть, пригодности к любой деятельности и способности к любому общению.

Принципиально новый уровень бесклассовой социализации — развитие иерархии коллективного субъекта. Поскольку люди не противостоят друг другу в процессе производства (и не различаются уровнем потребления), любой трудовой коллектив способен действовать как разумное существо — представленное любым из составляющих его членов общества (индивидуальных или коллективных). Поскольку ни одна деятельность не противостоит другим, субъект деятельности может быть как угодно организован; в конечном итоге, каждая деятельность осуществляется обществом в целом — и не столь важно, как именно развернется иерархия в конкретно-историческом контексте. Коллективы рождаются и умирают — точно так же, как единичные культуры и личности. Это нормально. Отличие от внешне похожих классовых форм в осознанности рождения и смерти, и в разумном движении от начала к концу; это всего лишь грани общественного производства — которое предполагает и воспроизводство субъекта, социализация которого неотделима от его существования, от его предыстории и плодов труда, когда различение начала и конца — всего лишь условность.

Уроки и сроки

Со школьных времен в головах откладывается: всякое движение происходит в пространстве и во времени. Если это материализм — то уж очень вульгарный. Потому что пространство и время не существуют сами по себе — чтобы потом туда вкладывать нечто подвижное. Скорее, наоборот: когда есть вещи, какие-то отношения между ними можно трактовать как пространственно-временные. Такое возможно, когда вещи движутся по-разному; однако этого недостаточно: важно, чтобы разные проявления вещи оставались (в пределах некоторого уровня движения) качественно однородными — и тогда движение разных вещей можно сравнивать чисто количественно, отвлекаясь (опять же, в пределах выделенного уровня) от их качественной определенности. В самом простом варианте, обнаруживается, что одна вещь заметно изменяется, пока другая остается выглядит примерно так же. Тогда первая вещь играет для второй роль «часов», а вторая для первой — роль «линейки». В силу этой взаимности пространство и время неотделимы друг от друга; это единство мы, собственно, и называем движением.

На следующем уровне мы сопоставляем уже не просто вещи, а их движения — и это приводит нас к понятию *шкалы*, сравнению темпов (или «скоростей») движения. Ясно, что видимый характер движения будет разным в разных шкалах: издалека что-то кажется неподвижным; при ближайшем рассмотрении обнаруживаются внутренние движения. То же самое для временных шкал: за малое время вещь не успевает сильно измениться — а в более крупном масштабе оказывается весьма подвижной.

В неживой природе вещи взаимодействуют случайным образом, сразу на всех уровнях, и ни одна из шкал не будет предпочтительной — это мы называем принципом относительности. У живого существа (единичного организма, популяции, вида или биоценоза) имеется выделенная шкала, связанная с характером и темпом метаболизма, с закономерным движением от рождения к смерти, — которое, в свою очередь, разворачивается в иерархию локальных биологических циклов («естественная» шкала). Разумеется, движение человеческого организма точно так же предполагает набор шкал — однако даже органическое движение у людей в значительной мере определяется не биологической предрасположенностью, а способом включения в движение более

высокого уровня — культурой. Человек не просто живет — он действует. И определяющей чертой собственно человеческой, сознательной деятельности, становится универсальность — способность произвольно менять шкалы, двигаться в ритме любого природного движения. Мы умеем останавливать мгновение — и спрессовывать тысячелетия в один жест. В этом мы как бы возвращаемся к неживой природе — но сопоставление разных движений у нас не случайно, а подчинено осознанному намерению. Как и животные, мы можем действовать в рамках выделенной шкалы — но ее выделение не встроено в нас изначально, а подчинено творческой задаче, построению «искусственного» мира, связывающего живое и неживое совершенно несвойственными им способами. Любые шкалы в человеческой деятельности — поскольку она разумна — складываются динамически, по мере готовности продукта, и закрепляются в культуре как возможности, готовые инструменты. Но человеку не свойственно сидеть на всем готовом: каждый этап культурного строительства становится источником новых идей — изменения способа производства.

Пространство и время в неживой природе — две стороны одного и того же, они вообще не разделены — в каждом мгновении и в каждой точке; это называется синкретизмом. В мире живого пространство и время противопоставлены друг другу не зависящим от живого существа образом — отсюда у примитивного сознания абстрактно аналитическое представление об «априорности» пространственно-временных идей, невозможности мыслить как-то иначе. Говоря об их «врожденности», мы прямо указываем на биологический уровень, выводим за грань разума. Однако в человеческой деятельности мы не только умеем разделять пространство и время произвольным образом — но и произвольно восстанавливаем их единство, но уже не синкретически, не как полную неразличимость, а путем превращения одного в другое за счет перехода от единичных актов к их намеренному воспроизводству. Животное ничего не воспроизводит — оно делает заново. Пчела загружает карту местности закодированную «танцем» другой пчелы (подобно загрузке программы в оперативную память компьютера) — но после этого «танцовщица» перестает для нее существовать — остается только работа по программе. Человек же (поскольку он не превратился в конвейерное животное) в своем поведении намеренно воспроизводит поведение кого-то другого, а не просто совершает внешнее действие. Только у высших животных, обладающих развитой психикой, можно обнаружить зачатки

такого «подражания»; но это всего лишь предпосылки сознания — без которых, конечно, не было бы и нас. В мире живого каждая особь проходит свой курс адаптивного поведения самостоятельно, без оглядки на других, — просто потому, что последовательность стадий заложена в геноипе, а пространственная организация ареала обитания связана со способностью вида осваивать ниши определенного типа.

Общественный характер человеческой деятельности превращает ее в регулярно возобновляемый процесс, а цикличность воспроизводства меняет взаимосвязь пространства и времени: время может становиться пространством, и наоборот. Этапы развития культуры представлены ее иерархическим строением; направления дальнейшего развития зависят от выделения и способа связи уровней. Человек развивается не сам по себе, а в искусственно созданной среде, которая настраивает его вещную оболочку на следование культурным нормам — и на воспроизводство самой системы воспроизводства. Процесс индивидуального развития все меньше зависит от физиологии и географических условий, которые у человека становятся лишь временными ограничениями, преодолимыми за счет развития коллективных форм поведения и компенсирующих технологий. Если животное преимущественно реагирует на состояние окружающей среды (включая позывы собственной плоти) — человек главным образом занят организацией своего мира, освобождением его от природных случайностей, а за счет этого телесная организация и метаболизм человеческого тела (включая неорганическое) оказываются в значительной мере контролируемыми и предсказуемыми. В процессе воспроизводства культуры воспроизводится не только ее материальная оболочка, но и способность творчески трудиться, перенимая и обогащая опыт других. Единство материального и духовного производства — характерная черта собственно человеческого, разумного поведения.

Разумеется, иерархия субъекта не возникает мгновенно, в результате какой-нибудь генетической мутации; речь идет о длительном процессе становления культуры, в котором любые достижения встраиваются в способ производства и ускоряют дальнейший прогресс. Возникновению первых классовых обществ (цивилизации) предшествовали многие тысячелетия первобытно-общинного строя, охватывающего несколько биологических видов и активно преобразующего их к тому, что мы сегодня называем *homo sapiens*. Однако по сравнению с темпами эволюции в природе — и это выглядит достаточно резким скачком, который, впрочем, еще не завершен, поскольку цивилизация — лишь

предварительный этап становления разума, его движение в животных формах, — а по-настоящему разумные способы деятельности нам еще только предстоит выработать и внедрить.

Возникновение и развитие общественного разделения труда — необходимый этап развития сознания. Но для разумности этого далеко не достаточно. В цивилизованном обществе культура выглядит всего лишь «второй природой», надстройкой над обычной природностью, когда движение происходит по необычным, но все-таки законам, — так что человек оказывается не субъектом, а объектом истории. Отсюда обычное представление об образовании: имеется некоторое культурное пространство, которое надо освоить за общественно установленное время. Каждому уроку — свой срок. Кто не успевает — это его личные проблемы, и пожизненное поражение в правах. Кто слишком резвый — ищите богатого спонсора, умеющего заработать на нестандарте; если не нашлось — придется прогнуться под систему и вписываться в рынок труда, с его стихийно сложившимися структурами. В общем, все как у животных. И даже те, кто узурпировал теплые места на вершине классовой иерархии, чувствуют себя не людьми, а лишь исполняющими обязанности, подверженными всем перипетиям борьбы за рыночное существование.

Классовое общество — воплощение общественного неравенства. Здесь не бывает рядом — одно всегда над другим; не бывает вместе — только против друг друга. Сложность производственных процессов иногда перепутывает уровни, делает порядок относительным: в одном отношении будет так — а в другом иначе. Однако это никак не меняет принципа организации — эксплуатации человека человеком. Одни командуют — другие обязаны подчиняться. Поэтому поколения жестко разведены во времени — а учитель пространственно отделен от ученика иной раз даже в буквальном смысле: вещает на аудиторию с кафедры... Рыночное хозяйство вовсе не предполагает обмена эквивалентами; напротив, только неэквивалентный обмен становится источником прибыли, которая для капиталиста — единственно возможный мотив. Общественное неравенство приводит к жесткому закреплению форм воспроизводства — утрачивается их подвижность, творческий характер, свобода, — собственно разумность.

Тем не менее, не все при капитализме — капитализм. Цивилизация, по сути, и существует только в качестве питательного бульона для зародышей будущего, бесклассового общества. А возможно это в силу

самого определения деятельности как универсального опосредования: она способна принимать форму любых природных явлений. В частности, по видимости тупое существование может скрывать в себе важные элементы сознательного отношения к выстраиванию взаимоотношений с миром и самим собой. Поэтому система буржуазного образования вполне годится на роль тестовой платформы для обкатки принципов нерыночной социализации.

Но для начала обратимся к универсальному строению всякой деятельности: она всегда представлена иерархией действий, а каждое действие предполагает иерархию операций. В простейшем случае, деятельность (вызванная неким общественно значимым мотивом) есть (потенциально бесконечный) процесс воспроизводства ее объекта, субъекта и продукта, который выглядит последовательностью действий; каждое действие имеет определенную цель и явную пространственно-временную организацию: действие когда-то начинается и когда-то заканчивается (в идеале — по достижении цели). В системе буржуазного образования, в зависимости от уровня, это может выглядеть как этап (достижение некоторого образовательного статуса), как специализация (изучение определенного производства и получение соответствующего сертификата), как обучение на определенном курсе вуза или в классе общеобразовательной школы, или как единичное занятие (урок). Однако, говоря об иерархии, мы допускаем, что развертываться она может по-разному, и одно действие вовсе не обязано следовать за другим. Например, перед дружеской вечеринкой, можно одновременно готовить угощение, писать песню и объяснять гостям, как лучше добраться к месту события. Точно так же, сами действия могут быть выбраны по-разному: можно вместо самодельного пирога купить торт в магазине или заказать ресторанный стол; вместо новой песни подобрать подходящие к случаю записи; а в целом, больше времени уделить украшению дома (или собственной персоны). С другой стороны, здесь нет полного произвола: иерархия развертывается только в соответствии с ее внутренней организацией. Так, пока пирог не готов — на стол его не подать; пока песня не дописана — исполнять ее возможно лишь очень условно; если гости не доехали — праздник уже не тот.

Операцию можно понимать как свернутое действие, отработанное до автоматизма и субъективно представимое одной точкой, одним мгновением. В операции, как и в деятельности, пространство и время исчезают; но для деятельности они возможны как стороны внутреннего

движения — а по отношению к операции существуют чисто внешним образом, как фазы действия.

Человеческая деятельность в целом (воспроизводство культуры как единство материального и духовного производства) представляется иерархией частных деятельностей, которую можно разворачивать сколь угодно глубоко. Различение единичной деятельности, ее действий и операций не абсолютно и может меняться по ходу развития человечества в целом, одной из культур, или единичной личности. Как правило, это связано со сдвигом мотива на цель — свертыванием деятельности в действие в составе некоторой другой деятельности; прежние действия при этом свертываются в операции. Возможен и обратный процесс, разворачивание действия в самостоятельную деятельность, превращение ее операций в действия. В обыденной жизни такие сдвиги происходят на каждом шагу: например, картинку можно воспринимать целиком — а можно пристальнее разглядывать какие-то фрагменты; разучивая танец, мы обрабатываем отдельные движения — а потом они свертываются в операции и происходят «сами собой».

Цивилизованное общество ограничивает подобные переходы — поскольку оно опирается на заранее заданную классовую структуру, изменить которую способна лишь революция. Разумеется, капитализм далеко ушел от простоты деления на свободных и рабов в античном мире, или вписанной в метрику сословной принадлежности в феодальную эпоху. Диверсификация капитала привела к тому, что в высокоразвитых капиталистических державах внешнее противостояние наемного работника и капиталиста превращается во внутреннее противоречие каждой личности, которая в одних отношениях остается всего лишь рабочей силой, а в других — становится эксплуататором (иногда незаметно для себя). Это никак не отменяет существования классовых ограничений — но формы их проявления оказываются весьма разнообразными. Так, в производстве может оказаться невозможным легально использовать ряд технологий — поскольку они подпадают под ту или иную практику лицензирования. В образовательной системе — типичны запреты на использование материалов, защищенных так называемым «авторским правом» (которое к реальному авторству не имеет ни малейшего отношения). С другой стороны, самообразование зачастую оказывается бесполезным в плане возможности выхода на рынок труда: без официальной (то есть, подконтрольной капиталу) сертификации получить доступ к средствам производства во многих

областях практически невозможно. Формально, есть разветвленные сети курсов платного обучения чему угодно, и можно купить диплом. Это уже предполагает сегрегацию по уровню дохода и налаженности быта (от чего прямо зависит возможность выделить время на обучение). Однако поверх этой финансовой блокировки есть еще и уровни престижа (то есть, принадлежности образовательных структур группам капиталистов, контролирующих средства производства в определенных отраслях). В сфере духовного производства действует еще и прямая цензура: при любом уровне образования, негодные властям не смогут обратиться к массовой аудитории; это полностью справедливо и в отношении кажущихся вольностей интернета.

Богатые страны навязывают бедным свою систему образовательных стандартов, насквозь пропитанную классовым духом. Для будущей рабочей силы — одни стандарты, для элиты — другие. Существует общедоступная школа — но дети богачей учатся в других школах, куда пролетариям дороги нет. Существуют университеты и технические училища — но богатым это не нужно, они предпочитают «свои» вузы, которые дают не образование, а доступ в тот или иной элитный клуб. На каждом уровне — внутренние градации, (явно или неявно) выраженные в денежном эквиваленте. Хозяин нанимает персонал в соответствии со своими представлениями о престижности — и немалый вес имеют личные рекомендации. Бесплатное всеобщее образование оказывается фикцией, своего рода «линией задержки», инструментом регулирования рынка труда — поскольку выйти на него могут лишь обладатели «народных» дипломов (а в некоторых странах наем на работу лиц, не достигших 18 лет даже формально запрещен).

Спрашивается, почему нужно выстраивать всех в одну очередь по возрасту и аттестатам? Ответ: потому что это кому-то выгодно. Никакая деятельность сама по себе не предполагает линейного развертывания; упорядочение существует лишь в общих чертах — так что отдельные действия вполне могут сосуществовать друг с другом, и следовать в разном порядке. Тем более это касается циклического воспроизводства, где ранее произведенный продукт предшествует производству такого же продукта на следующем цикле. Вовсе не обязательно выучиваться чему-то сразу в полном объеме и навсегда — достаточно взять для начала самое насущное, а потом многократно возвращаться к пройденному, дополнять и развивать хорошо знакомое. В чем тогда смысл единой для всех школьной программы, формально расписывающей знания по годам

обучения? Очевидно, в утверждении самого принципа разделенности, внедрении в сознание масс идеи общественного неравенства. Заметим: богатые могут не придерживаться общих правил — на них работают свои инструкторы по индивидуально разработанным программам.

Теоретически буржуазные идеологи признают, что люди все разные. Склонности, интересы, строение памяти и темпы усвоения... Но по поводу необходимости единой унифицированной системы образования особых прений не возникает: тут все единодушны! А что в итоге? Когда очень разных людей сводят в одну учебную группу — у кого-то неизбежно возникают проблемы с успеваемостью (у них внутренние часы идут иначе); другим откровенно скучно — и они ищут развлечений на стороне. Физиологический возраст ничего не говорит о готовности усваивать тот или иной материал — это слишком индивидуально. Но учителя заставляют всех шагать в ногу — да еще подсвечивают разницу публичными опросами, контрольными, экзаменами... Успеваемость у всех на виду, ее количественно оценивают по принятой в каждой стране градации. Нетрудно догадаться, что для неокрепшей психики это может стать серьезным потрясением.

Единообразие удешевляет производство. Понятно, что капиталист не выложит лишний грошик на воспроизводство рабочей силы — ему надо выжать из работников максимум прибавочной стоимости. Вот и выкручиваются из положения ответственные инстанции, в тесных рамках бюджета. Буржуазная школа — не для того, чтобы нести в массы свет знания; иначе систему общего поэтапного обучения давно признали бы неэффективной и заменили чем-то другим: здесь не надо большого разума — достаточно простой рациональности. На выходе этого производства — не готовый работник, а полуфабрикат, заготовка, которую потом будут формовать под конкретную специальность, исходя из рыночной конъюнктуры; поэтому предметный состав образования не имеет никакого значения — а школьные программы должны быть достаточно абстрактны, чтобы изготавливаемые таким образом типовые болванки были безликими и практически неразличимыми, одинаковыми в пределах допусков. Не надо начальству ярких личностей — ему нужны послушные рабы.

Таким образом, на первый план в системе общего обязательного образования выдвигаются не учебные, а воспитательные задачи. Бедноту воспитывают трояким образом. Самое очевидное — прямая пропаганда, промывание мозгов: школьная программа даже физику и математику

преподносит в классовой обработке — что уже говорить об истории и литературе! Буржуазный идеал — чтобы у молодых даже мыслей не возникало поперек предписанного. Здесь как раз и работают образовательные стандарты: жесткая регламентация обучения вбивает в подсознание мысль о безусловной необходимости следования указаниям извне — а неравномерность усвоения учебного материала приучает воспринимать социальное неравенство как абсолютную неизбежность. Наконец, сам факт противопоставления общедоступного образования элитарному призван показать черни ее место — загнать в стадо. Вместо духовного роста — дрессировка рабочего скота.

На ранних стадиях развития капитализма фабриканты еще могли действовать крепостническими методами и никакого общественного образования для бедноты не предусматривалось. Для примитивных производственных операций вполне хватает минимальных бытовых навыков. Однако по мере повышения технологичности производства необработанное человеческое сырье приводить в рабочее состояние стало слишком накладно — и тут как нельзя кстати пришлось борьба рабочих партий (включая коммунистов) за всеобщее бесплатное образование и запрет чрезмерной эксплуатации малолетних. Поскольку же мысль партийных товарищей не выходила за рамки воспроизводства рабочей силы, а о духовности никто и не задумывался, предлагаемые реформы сводились к возрастной дифференциации: до какого-то порога чистое обучение — а потом нормирование рабочего времени на основе формальной шкалы возрастов. Это линейное построение прекрасно отвечало потребностям власть предержащих — и они (для приличия покочевряжившись) пошли на уступки; так введение всеобщего обязательного среднего образования стало великой победой «сознательного пролетариата»... А после успеха социалистической революции в России — еще и революционным завоеванием.

Коммунисты (а до них — изобретатели всевозможных утопий) мечтали о совмещении обучения с производительным трудом — но как раз в этом пункте их дороги с работодателями решительно разошлись. Начальство (что буржуазное, что социалистическое) рассуждает здраво: если кто-то продал свою рабочую силу, она ему уже не принадлежит, и распоряжаться ей будет покупатель. На вверенном ему производстве работник должен трудиться в соответствии с действующими правилами (способ производства) — не отвлекаясь на посторонние задачи (для которых, в рамках контракта, предоставлено нерабочее время — еще

одна договоренность по итогам классовых битв). Если по ходу работы требуется ввести кого-то в курс дела — для этого существуют корпоративные программы, заточенные под производственные нужды, ничего лишнего. Не связанное непосредственно с производством образование на стороне (или самообразование) работодателя, мягко выражаясь, не приветствуют — но иногда (в особо благоприятных экономических условиях) могут позволить себе оплатить «избыточное» обучение, для удержания особо ценных кадров в условиях рыночной конкуренции (чтобы «партнеры по бизнесу» не переманили). Это вполне аналогично практике колоната в конце эпохи рабовладения.

Реально совмещать работу и учебу возможно только там, где производство становится общественным не только фактически, но и организационно. Непрерывность производственного процесса требует свободы передачи производственных функций от одного работника другому, постоянной взаимной «подстраховки», готовности взять на себя доверенный другому участок. А это несовместимо с главным принципом классовой экономики — разделением труда. Профессионал работает на своем месте — и ставить его на другую работу просто невыгодно. Столь же невыгодно содержать избыточную рабочую силу по каждой позиции штатного расписания: это означает неполную загрузку персонала — а за что хозяин деньги заплатил? Если же компенсация потерь на обучение происходит за счет сверхурочных работ — это совсем другие, повышенные расценки.

Таким образом, в рыночной экономике (независимо от того, будет потребителем частник, консорциум или государство в целом) учеба и труд соединяются лишь внешним образом, на основе пространственного (отраслевого) или временного (возрастного) разделения. Знания и опыт превращены в товар, и система социализации работает по типу сферы услуг, ограничивая объем продукта размерами (пред)оплаты. Новые образовательные продукты появляются каждый год — но всегда в тех же рыночных рамках, на конкурентной основе, — а не в качестве разумных альтернатив, дополнительных возможностей духовного роста. Единый пороговый возраст для выхода на рынок труда — антидемпинговая мера, договоренность о минимальной цене.

С точки зрения мира без профессий (и без профессионального кренинизма) — общественное производство не делится на отрасли, и все его участники взаимозаменяемы. Никакого разделения труда здесь нет, все одинаково компетентны во всем, — и речь может идти лишь о

перераспределении, временной расстановке сил, которую незачем как-то особо оформлять. Соответственно, не может быть и речи о каком-либо подтверждении квалификации: никого не интересует, где и когда соответствующие навыки освоены; это вопрос личной порядочности. Материальное и духовное производство в такой экономике взаимно рефлектированы и одинаково важны: в каждый момент одна из сторон может выйти на первый план — но в другое время или в других отношениях порядок оказывается обратным. То есть, вопроса о совмещении обучения с трудом вообще не возникает; скорее, наоборот: может быть трудно отличить одно от другого.

Иерархичность деятельности делает иерархичной человеческую историю — как в отношении общества в целом, так и в индивидуальном развитии. Это не одна линия, а переплетение многих линий. Не бывает так, чтобы сначала научиться чему-то — а потом применять знания. Начать учиться можно лишь ввязавшись в дело, которое само заставит обратить внимания на самое существенное и насущное. В системе буржуазного образования это происходит внешним образом, за счет формального введения человека в требуемый контекст; при этом внешний характер мотивации приводит к подавлению собственного интереса, а формальность контекста делает знания отвлеченными и практически ни к чему непригодными (кроме столь же формальной сертификации).

Свободный человек сам решает, чему учиться и в чем участвовать. Никто не вправе ему препятствовать. Только в этом случае можно говорить о личной ответственности, о разумном отношении к делу. Социализация как производство разума носит столь же циклический характер, как и любая деятельность: мы не просто строим по чертежу — а воспроизводим себя в каждый момент, уже по-новому. К той же цели можно двигаться очень разными путями, и выбор пути определяет нашу индивидуальность, обогащает духовно. Разумеется, в силу единства мира, развертывание иерархий не случайно, и любой произвол будет согласован с объективными условиями и уровнем развития субъекта. Локально, в каждый момент и в каждом отношении, всякая иерархия представляется многоуровневой структурой, и нельзя перепрыгнуть с одного уровня на другой, не пройдя все промежуточные этапы. Но эта иерархическая структура не одна на всех — она складывается в ходе личной истории каждого, становится одной из сторон общечеловеческой культуры. Это мы и называем социализацией — превращение человека

в представителя общества в целом, когда одно неотделимо от другого. Поскольку же эта общность возникает как неповторимость становления, чисто внешне разумная социализация напоминает независимое освоение видового поведения животными — но теперь это не синкретизм, а синтез, сознательное управление собственной средой, направлениями индивидуального развития.

Кому-то покажется, что новорожденный младенец никак не может сознательно заниматься собственным обучением и воспитанием. Поэтому, — говорят буржуазные (и вульгарно-коммунистические) идеологи, — на первых порах обществу придется направлять процесс, в том числе и ограничивая, например, рецидивы антиобщественного поведения. В классовых формациях, как правило, установлен пороговый возраст, после которого резко меняется характер социализации. Сын феодала переходил из-под материнской опеки в руки наставников-мужчин; в современном капиталистическом обществе — это различие между дошкольным воспитанием (*école maternelle*) и начальной школой (*école élémentaire*). Тем самым, фактически, человек полностью сводится к животному, и его тело якобы полностью определяет его способности. Это иллюзия — или обман. Дети с самого раннего возраста (и еще до рождения) — уже члены общества; они вписаны в культурный контекст и никто (кроме совсем озверевших обывателей или буржуазных философов) не считает их животными. Развитие ребенка в диком мире подвержено всяческим случайностям — но в итоге оказывается, что у каждого свой путь, и каждый влияет на окружающих, по-своему включается в общественное производство. Здесь нет никаких формальных границ — в определенных условиях возможно все. Почему? Да потому что всякая деятельность у людей (поскольку они действуют как разумные существа) есть деятельность коллективная, и она никогда не ограничивается чьими-то телодвижениями. До чего человек не дотянется сам — за него приведут в движение другие: достаточно дать понять, что именно требуется совершить. А это понимание не столько от биологического тела, сколько от всей совокупности общественных отношений по его поводу — и таким способом еще не родившийся ребенок уже активно вмешивается в поведение многих и многих людей, и его органические отправления тут же запускают в обществе своего рода волну взаимных влияний и перестроек в деятельности. Собственно человеческая индивидуальность у ребенка большей частью существует вне его тела — и лишь в процессе социализации начинает все чаще

ассоциироваться с ним. Общество проецирует предполагаемую (то есть, существующую в качестве мотива деятельности) субъектность на подходящую совокупность тел, выстраивая их движения определенным образом. Но тем самым участники этого производства меняют и себя — и это вполне возможно трактовать как их воспроизводство в деятельности того субъекта, которого они производят!⁵⁴ Всякое различие производственных ролей существует лишь на одном из уровней иерархии, возникающих при определенном способе ее развертывания.

Капитализм объявляет одну из возможных структур первичной и закрепляет ее в правовой системе — и, соответственно, в системе образования. Ребенок изначально недееспособен — не потому, что он чего-то не может, а потому, что ему это не позволено. Полноправными членами общества при капитализме считают лишь рыночных игроков — а здесь установлен жесткий возрастной ценз, и заниматься бизнесом ребенок может лишь в обход закона. Тем самым он оказывается в полной зависимости от взрослых — и эта косвенная эксплуатация ничем не лучше рабства по найму. Характер буржуазного образования подавляет инициативу и самостоятельность, вынуждает ребенка действовать опосредованно, через положенные по его статусу инстанции (родители, органы опеки, образовательные учреждения), — или же искать лазейки для мошенничества; так воспитывают либо покорных слуг — либо будущих предпринимателей, беззастенчивых деляг.

Нет такого возраста, в котором невозможно было бы заниматься общественно полезным трудом. Разумеется, материальные возможности учитывать надо — но там, где нет технологического решения, есть решение организационное. Детский труд никоим образом не сводится к обустройству быта — детям вполне по силам заняться обустройством земель и хозяйственных сооружений, участвовать в сельхозработах и строительстве, в подготовке общественных мероприятий и т. д. Таскать тяжести и дышать ядохимикатами детям не резон — но тут и взрослым следовало бы поберечь себя. Работа у детей в значительной мере будет принимать форму игры — но и взрослым в большинстве случаев не

⁵⁴ Точно так же, после физиологической смерти система общественных отношений по поводу единичного тела не распадается, а перестраивается, сохраняется в другом материальном носителе, продолжая влиять на строение самых разных деятельностей. Так умершие продолжают жить — и действовать, иногда весьма активно, на протяжении многих лет, и даже тысячелетий.

помешало бы избавиться от рыночной утилитарности. В современном мире многие вещи сводятся к нажатию кнопок — и возможности вовлечения детей любого возраста в общественное производство неизмеримо выросли; однако формальные запреты все еще действуют — а компьютерные системы используются прежде всего для рыночных махинаций, вместо распределения управленческих функций.

Когда ребенок чувствует общественную значимость своего труда, складывается особый творческий настрой, действия осмысленны и общение по существу. И появляется возможность подсказать кому-то неожиданные ходы, или направления развития. Это не зависит от возраста.⁵⁵ Если же продукт деятельности никому не нужен — образование становится абстрактным: ребенку говорят, что он должен делать, — но не могут объяснить зачем. При совместной деятельности никакие объяснения не нужны — дух единства говорит сам за себя.

Обучение и труд только в классовом обществе противоположности. Настоящая учеба возможна лишь в труде, а творческий труд требует постоянного поиска, сознательной работы над собой. Как только обучение ограничивают какими-то сроками и объемами — оно утрачивает характер сознательной деятельности и (в лучшем случае) свертывается в действие или операцию — то есть, нуждается во внешней мотивации и типовых установках. Такое обучение может быть полезно в качестве вспомогательного этапа — но это всего лишь тренировка, натаскивание, — заучивание, а не учеба. Соответственно, ни о каком трудовом воспитании, о духовном развитии, не может быть и речи.

Упразднение формальных градаций и сроков напрямую связано с ликвидацией образовательных учреждений как таковых. Трудовое обучение встроено в деятельность, это один из ее уровней. Начинается с синкретизма, с живых примеров, которые создают общий настрой, производственный климат; на этом этапе наставником может стать кто угодно, даже не сознавая этого. Включенность в реальное производство настраивает «матчасть» субъекта, его органическое и неорганическое тело. Но воспитательное значение такое подражание приобретает только там, где производство воспринимается как часть единого культурного

⁵⁵ Из личного опыта: одному четырехлетнему ребенку (любителю читать взрослые книги) в детском саду приходилось иной раз замещать чем-то занятых воспитателей, самостоятельно придумывать занятия для всех. Точно так же, в университетском курсе общей физики выпускник физматшколы мог вместо преподавателя проводить семинары на заданную тему (и за это освобождался от зачетов и экзаменов).

процесса, как историческая необходимость: важны не навыки сами по себе, а умение усматривать всеобщность в самых простых вещах, разумность организации труда в конкретных условиях. Тогда имеет смысл говорить о совершенствовании этой организации — а при необходимости, и об изменении общественных условий. В каждом человеке как бы трудится общество в целом — человек равен миру, и никакая субординация тут немислима (включая подчинение личных интересов общественным).

Однако застаиваться в синкретизме разум не может. Даже простой обмен опытом — выводит обучение на аналитический уровень: мы не только делаем что-то, но и обращаем внимание на строение собственной деятельности. И вот здесь оказывается, что отношение к деятельности у каждого свое, и некоторые больше интересуются ее рефлексивной стороной, нежели производством как таковым. Соответственно, одним проще показать — другие могут объяснить. Это нормально, и таким путем возникает собственно духовное производство как намеренное воспроизводство способности сознательно трудиться. В бесклассовом обществе это не приводит к разделению труда, внешнему различию разных отраслей. Тем не менее, эффективность обучения заметно повышается, когда есть умелые посредники, учителя по роду занятий — и по призванию (но не по профессии!). На аналитическом уровне обучение может внешне выглядеть как система общего образования — но ее воспитательное значение прежде всего в том, чтобы подчеркнуть единство общества, доступность любой деятельности всем его членам. Все учатся у всех, каждый передает каждому то, что уяснил себе и умеет сделать столь же ясным для других.

В классовом обществе есть прототипы такого рода взаимопомощи, хотя иногда свобода принимает уродливые рыночные формы. Так, выступление на научной конференции — принципиально отличается от лекции университетского профессора: в первом случае речь о том, что (воз)можно сделать, а во втором — о том, как надо делать. Когда для решения насущной проблемы создается рабочая группа — ее участники трудятся вместе, каждый вносит посильный вклад, а не пытается закрепить за собой особую роль. Чаще всего такой коллективизм проявляется перед лицом потенциальной опасности, в сложной ситуации, — но мы, в любом случае, можем с уверенностью сказать, что в человеке это уже заложено! И когда люди научатся думать не о только сиюминутных житейских мелочах, но и о преобразовании Вселенной, —

грандиозность задачи станет хорошим поводом вытащить на свет свое человеческое предназначение, вспомнить о разуме. И тогда вместо всевозможных классовых «систем» сложится единая практика непрерывного образования и воспитания, от разумного планирования (необходимости единичного субъекта) — до целенаправленного формирования совокупности материальных тел, способной стать носителем субъективности, и настройки этой иерархии в соответствии с исторически сложившимися способами распределения труда.

Предпосылки для перехода к непрерывному образованию сегодня есть. Технологии заочного обучения и обмена опытом достигли такого уровня, когда практически любой мог бы научиться чему угодно, независимо от возраста и предварительной подготовки. Мешают рыночные барьеры — коммерческий характер обучения и попытки делать деньги даже на общедоступной информации. Но больше всего мешает классовая организация общества, колоссальные различия уровня жизни трудового населения и правящей верхушки, ограничения доступа к средствам производства, вынужденная борьба за существование — выживание вместо творчества. Человек не может почувствовать себя человеком — он остается (даже для себя) лишь рабочей силой, придатком тупой производственной машины. Буржуазная пропаганда всячески старается скрыть свободную суть разума — и выдает животные инстинкты собственника за общечеловеческие ценности. Призвание человека — творить миры; но в классовом обществе задумываться об изменении существующих порядков — преступление.

Объективное направление развития экономики — к освобождению от рыночного рабства и обобществлению производства на всех его уровнях. Столь же общественным станет и воспроизводство субъекта, единичного или коллективного, вплоть до человечества целом. Как участники этого процесса, мы сможем свободно учиться друг у друга, без каких-либо ограничений, по собственной инициативе, а не по разнарядке сверху. А это означает выход за рамки пространственно-временных представлений и возможность мыслить (и действовать) иными категориями. Мы свободны устанавливать себе сроки — но не обязаны следовать им; мы вправе ставить перед собой конкретные задачи — но не собираемся добиваться своего любой ценой. Каждый из нас сможет быть сразу везде и во все времена. Наша социализация, становление разума, не ограничивается историческими условностями и не имеет ни начала, ни конца.

Книжная премудрость

Раньше говорили: книга — источник знаний. Теперь мы понимаем, что знания не из книг, а из деятельности: если нам что-то нужно, и мы придумали, как это сделать, — оно может получиться, — и тогда мы точно знаем, что такое при каких-то условиях возможно (но не факт, что получится в следующий раз). Потом наука уточняет условия, искусство доводит до предела умение получать необходимое даже когда это не по науке, а философия оправдывает и то, и другое, — но каждый раз с маленьким прибавлением: есть и еще кое-что!

Философский подход к вопросу можно проиллюстрировать чисто лингвистическим примером. Предположим (при каких-то допущениях), книга источник знаний. Если интонационно выделен конец фразы (как это обычно бывает в нейтральной речи) — мы, вроде бы, утверждаем, что из книг можно добывать знания (возможно, наряду с еще чем-нибудь). Сместим акцент на первое слово — и смысл меняется: теперь уже речь о том, что знание добывают не откуда-то — а именно из книг. Но можно остановиться и на середине — и тогда книга оказывается лишь источником, отправным пунктом, — а знание придется разворачивать своим трудом. Все эти толкования равно приемлемы — и, вместо обсуждения истинности, «дискурс» фокусируется на уместности того или иного подхода.

Разумеется, философ не преминет заметить, что книги бывают разные — и относиться к ним тоже всяк будет по-своему; что и в каком смысле называется источником — тоже не догма. Так возникают взаимно дополнительные иерархии контекстов (внешняя) и реализаций (внутренняя) — а конкретное толкование связано со способом их «склейки», с переходом одного в другое. Было бы верхом наивности претендовать на сколько-нибудь представительную иллюстрацию этой бесконечности возможностей в одной или нескольких главах, — тем более, если учесть, что возможности не даны сразу все вместе и навсегда: они рождаются и умирают, и про каждую надо складывать особую историю.

Наша задача — предъявить несколько общих схем, и на этой основе поразмышлять о частностях, что первым придет в голову. Начнем, естественно, с универсального строения деятельности:

объект → субъект → продукт

Поскольку продукт делает кто-то из чего-то, у него всегда две стороны: материальная (вещь или совокупность вещей) — и идеальная (способ изготовления и употребления). Весь искусственно произведенный мир называется *культурой*; положение единичного объекта или субъекта в культуре характеризует его соответствующим образом — и это мы называем культурностью (например, культурные сорта растений — или культурность поведения). Точно так же мир в целом (или отношение единичного объекта к миру) мы называем *природой*, а всеобщий субъект (или отношение единичного субъекта к этой всеобщности) называется *духом*.

Объект, субъект и продукт определены только по отношению к деятельности: объект есть нечто, с чем может иметь дело субъект, — субъект есть то, что способно превращать природу в культуру. Говорить об объектах самих по себе — полная бессмыслица; точно так же, субъект вне деятельности — это пустой звук. Это не значит, что в мире ничего кроме деятельности нет: есть неживые вещи (или стороны вещей) и живые существа (или их особенности), которые непосредственно не вовлечены в деятельность; точно так же, могут быть способности, которые пока не задействованы в общественном производстве. Значит ли это, что мы не имеем к ним никакого отношения до тех пор, пока нам не пришлось с ними практически соприкоснуться? Ничего подобного. Основной принцип философии — единство мира; вещи, с которыми мы уже знакомы, связаны с теми, о которых мы пока не догадываемся, — и эта связь так или иначе влияет на строение и движение наших объектов, так что их скрытые связи в природе существуют как возможность. Включение их в деятельность делает возможность действительностью; таким образом объектность можно трактовать как продукт особого производства. Аналогично, развертывание способностей субъекта есть особая деятельность, духовное производство. В историческом плане — это становление разума, единства сознания и самосознания. Личность как единичный дух производится в индивидуальном общении, в любви. Когда же речь идет о целенаправленном производстве единичного субъекта обществом в целом, мы говорим о социализации, материальная сторона которой (освоение природы) называется обучением, а рост духовности — воспитанием.

В каждом конкретном случае в продукте деятельности на первый план выходит одна из его сторон; в частности, какие-то продукты могут рассматриваться преимущественно как (материальные или идеальные)

вещи (реализация планов культурного строительства), а другие — как орудия труда (воплощение способности преобразовывать мир). Это никоим образом не устраняет всех прочих определенностей: всякое различие соотносится с некоторым контекстом — и становится бессмысленным в каком-то другом. Для нас здесь важно, что любые уровни и стороны культуры суть *продукты* — и потому обязаны воплощаться, не утрачивая своей идеальности. В частности, для процесса приобщения к культуре, обучения и воспитания, необходима материальная база, соответствующая уровню развития культуры.

Однако воплощение воплощению рознь. Первично — синкретизм, когда способ действия не отделяется от действия как такового. Передача синкретического опыта на практике принимает форму, например, подражания (копирования действий другого) — или метода проб и ошибок (попытка воспроизвести продукт «вслепую», заново изобрести технологию. Оба способа (от субъекта и от продукта) допускают иерархическое развертывание, исследование строения деятельности, анализ и синтез, — однако на первом плане все же синкретизм, и в итоге требуется получить лишь удовлетворительное согласие с оригиналом (или замыслом). В соответствии с общей схемой, имеется и третий вид обучения (на том же, синкретическом уровне) — от объекта, без заранее поставленной цели: мы пробуем себя, прикидываем, что можно сделать из чего, — или как использовать те или иные инструменты; если в результате получается нечто полезное — значит, мы научились это делать. Поскольку в культуре типовые объекты для всех основных производств уже организованы в соответствии с характером продукта и способом производства, интуитивное манипулирование оказывается достаточно эффективным методом самообразования.

Разумеется, все то же справедливо и в отношении синкретического воспитания: подражая другим, мы осваиваем принятые в обществе нормы общения; по реакции окружающих мы судим об уместности того или иного поступка; наконец, мы пробуем разные подходы к людям, «подбираем ключик» к каждому.

Когда опыт одного синкретически передается многим, это говорит о возникновении нового культурного явления — обучения как особой общественной функции (а значит, и как особой деятельности). Заметим, что субъект обучающей деятельности вовсе не обязан сознавать себя таковым: он по-прежнему занимается знакомым делом, а что кому-то оно полезно в образовательных целях — всего лишь историческая

случайность: мастер к этому вовсе не стремился. Обучение организует общество как надличностное единство; оно создает условия для производственных контактов, в ходе которых становится возможным синкретическое обучение. На практике современный умелец достаточно быстро осознает свою встроенность в систему образования — и неизбежно подстраивает производство под нужды образования, принимает участие в подборе учеников и явно руководит порядком обучения. Уже на уровне такого наставничества исходный синкретизм распадается: образование и воспитание отделено от производства и общественного поведения как таковых; это аналитический уровень социализации. Деятельность аналитического уровня (поскольку она обособлена от других деятельностей) в свою очередь допускает как синкретическое обучение, так и аналитическую систему образования; таким образом возникают сколь угодно сложные образовательные системы, фактически воспроизводящие исторически сложившимся структуры производства и распределения.

С точки зрения материальной основы духовного производства, аналитический уровень характеризуется воплощением субъектности в вещи (и явления) нового типа — учебно-воспитательные материалы. Синкретическая форма такого материала — адаптация производства под нужды обучения; на следующем этапе возникают учебные производства, объекты, орудия и продукты которых лишь имитируют строение «настоящих» производств. Типичный пример — (обучающая) игра; но если детские игры (где игрушки работают как символические объекты для манипулирования) копируют лишь внешние формы деятельности, игры взрослых могут становиться очень абстрактными, и усмотреть в них первоначальный смысл почти невозможно — и тем не менее такие игры полезны не только для отработки навыков деятельности и координации сил в коллективе, но и для своего рода настройки на развитие (поскольку в них предполагается допустимость и возможность изменений). Поскольку игра отделена от породивших ее производств, ее становление идет собственными путями, иногда сохраняя реликтовые производственные формы, давно изжитые современной культурой.

Аналитическое образование, так же как и на уровне синкретизма, может идти либо от формы деятельности, либо от ее продукта. В первом случае мы заучиваем и доводим до автоматизма частичные операции, потом склеиваем из них «правильные» последовательности. Такое обучение направлено на обеспечение максимальной эффективности

массового, устоявшегося, стереотипного производства; типичные примеры — заводской конвейер, спорт. Другой вариант — выбрать в качестве критерия характеристики продукта и подбирать технологии под заданные параметры; другими словами, нам ставят задачу — а как мы ее будем решать, никого не интересует. Такой подход полезен для поиска новых направлений, освоения культурных ниш. В условиях жесткого графика он заметно тормозит; при наличии жестких стандартов — дает высокий процент ошибок.

Заметим, что речь не обязательно о производстве осязаемых вещей. На аналитическом уровне разработка технологий отделена от их применения — и возможны сколь угодно высокие уровни абстракции. Аналитическое производство субъекта в этом отношении ничем не отличается от материального производства, и абстрактные орудия труда уже неотличимы от предметов потребления. В конце концов, по разным углам разводят обучение и воспитание — и занимаются этим разные общественные институты по собственному усмотрению.

Но пока мы обратим внимание на еще одно свидетельство развитой аналитичности: отделение учебных материалов и средств воспитания (как продуктов особой отрасли общественного производства) от образовательной деятельности как таковой; здесь-то и появляются книги, и книжная премудрость. Письменность, конечно, возникает не для этого; ее первоначальное дело — регуляция производства, расстановка межевых знаков и дорожных столбов. Однако по мере становления цивилизации и (классового) разделения труда верхи используют письменность (поначалу полностью им подконтрольную) для фиксации «правильных» правил — и тем самым подчинения любых форм социализации интересам господствующего класса. Книжное знание (одно из воплощений субъектности) приобретает форму объекта и обезличивается; это создает иллюзию надклассовой духовности, одинаково присущей всем, кого общество причисляет к числу разумных существ, людей. Еще одна важная черта объективированного знания — преодоление пространства и времени: пока передача опыта ограничена ближайшим соседством и опирается на прямую связь поколений, книги не нужны; всплески интереса к писательству в истории связаны с периодами активного расширения, консолидации обширных территорий под одним началом; тогда же возникает потребность в приобщении к трудам предков (реальных или мифических) и передаче собственного опыта отдаленным потомкам (чаще воображаемым).

Так мы получаем полную триаду способов материализации духовных ориентиров: в продуктах труда, в технологиях, в плодах рефлексии. Все эти варианты так или иначе используются в реальных системах социализации. При этом рефлексивные формы не обязательно связаны с языком напрямую: например, произведения изобразительного искусства или музыка лишь косвенно соотносятся с речью — но они фактически расширяют сферу языковых средств, создавая особый язык, общественно закрепленные образные системы; то есть, искусство начинается там, где мы не просто рисуем или музицируем — а что-то собираемся этим сказать. Нет этого художественного языка — перед нами не искусство, а всего лишь ремесло, синкретический уровень социализации. Поэтому понятие *книга* допускает расширительное толкование, включая все способы вербализации исторического опыта и его объективации в средствах образования и воспитания.

Но есть и вторая сторона: имеющимися вещами надо еще и уметь пользоваться. Хотя опредмеченный опыт уже опосредован языком (единицами формами общения), извлечь что-либо из описаний сумеет лишь тот, кто (хотя бы в общих чертах) знаком с типовыми формами бытования культуры и может сопоставить с ними формы вещей. Усвоение знаний и культурных норм неотделимо от обучения и воспитания; в каких-то условиях оно может становиться особой деятельностью, внешней противоположностью преподаванию и воспитанию как самостоятельным деятельностям. Первое впечатление от предмета в любом случае оказывается синкретичным, и требуется серьезная работа духа, чтобы усмотреть в нем аналитические уровни, понять их язык. Этому тоже надо учиться — и воспитывать в себе культуру такого, опосредованного общения. В принципе, все продукты рефлексии ведут себя в этом отношении одинаково — но пока общество вместо универсальности разума культивирует разделение труда и классовое неравенство, существует своего рода градация «учебных пособий» по уровню доступности — и деление людей по рефлексивным предпочтениям. Так, произведения искусства ориентированы, главным образом, на непосредственное, синкретическое восприятие — и уловить особенности их образного строя способны лишь деятели (того же или смежного) искусства, да сравнительно узкий круг опытных ценителей, «критиков». Книга, как явление письменной речи предоставляет, на первый взгляд, возможность напрямую приобщиться к аналитическим структурам, данным, так сказать, «открытым текстом». Впечатление

обманчивое. Умение прочесть текст не обязательно соотносится с умением его понять. Например, носитель китайского языка способен озвучить фрагменты древнейших философских трактатов — но его восприятие искажено современной языковой практикой и ходячими стереотипами; напротив, иностранец, не говорящий по-китайски, настроен на активное восприятие, исходя не только из текста, но и с учетом знакомства с китайской историей в контексте истории и культуры других народов; такое понимание может быть значительно ближе духу оригинала. Аналогично в искусстве: можно уметь играть музыку с листа — но не уловить скрытой образности, заметить которую позволяет анализ, взгляд со стороны. Кажущаяся доступность книжной премудрости обусловлена характером разделения труда: например, европейское образование принимает стандарт формальной грамотности (умение читать, писать и считать) — а обучение искусствам и наукам вынесено в особую отрасль духовного производства и дано не всем; в каких-то сообществах, наоборот, все с детства усваивают фольклорные традиции — но читать книжки им не интересно, и такой способ социализации им мало пригоден. В экономически развитых странах вторичная («функциональная») безграмотность приобретает последнее время характер пандемии: большинство способно лишь формально прочесть не слишком сложный текст — совершенно не вникая в его содержание, и тем более не умея самостоятельно высказываться в том же духе; даже простое следование орфографии или грамматике, даже осмысленный подбор слов оказываются значительной части населения совершенно недоступными. Родной язык превращается в своего рода «пиджин» — и это оказывает серьезное влияние на взаимодействие и эволюцию языков в мировом масштабе.

Не бывает духовного роста без творческого труда. Вложить в кого-либо знание «в готовом виде» не сможет ни гениальный педагог, ни замечательная книга. Тем более это относится к процессу воспитания и самовоспитания. Книга не несет знания как такового: она всего лишь посредник, инструмент для приобщения к достижениям культуры и разнообразию культур. Обучение и воспитание возможны лишь в деятельности, в практике. В силу универсальности разума, не столь существенно, какую именно деятельность взять за основу — усвоенное в одном пригодится во многом другом. Именно практические задачи (и только они!) служат ключом к содержанию книг: текст позволяет нам удобно организовать нашу деятельность, направляет нашу рефлексию,

предоставляя внешние формы для собственно духовных движений. Нельзя понимать поэзию, не нуждаясь в поэтичности; невозможно вызубрить математику или классификацию растений, если по жизни это не требуется; нет смысла читать больших философов, пока до мудрости не дорос. Много ли пользы от банковских инструкций, если наличности едва хватает, чтобы сводить концы с концами, а счетов в банках отродясь не водилось? Учебники музыки бесполезны для тех, кому никогда не придется играть ни на каких инструментах (включая собственный голос). Не имея реального партнера, невозможно выучиться бальным танцам. Лишь в особых условиях, на фоне достаточно развитой духовности, такие абстрактные сведения способны дать толчок каким-то собственным изысканиям и найти новое, заранее не предполагавшееся применение.

Одно время были популярны всевозможные пособия по работе над книгой, по технологии самообразования. В наши дни рекламируют методики, якобы позволяющие в считанные дни овладеть любым языком, научиться в совершенстве управлять собственным телом или психическими процессами, очаровывать собеседников и делать большие деньги на бирже... Даже если отвлечься от коммерческой стороны, ни одна из этих «панацей» не касается главного, принципиального вопроса: зачем? Если не хочется жить — стоит ли бороться с болезнями? Кому с лихвой хватает одного языка — не рвется в полиглоты. Лишенному страсти к накопительству — прибыльность глубоко безразлична. Каждый раз, когда просыпается практический интерес, оказывается, что многочисленные «обучалки» — просто ненужный хлам: они учат вовсе не тому, в чем есть действительная потребность. Изучение теории изобретательства никого еще не сделало изобретателем; в лучшем случае, приложенные к теории иллюстрации дают примеры живых решений, которые настраивают нас на самостоятельное творчество. Полезных учебников много — но их приходится читать выборочно, развертывая иерархию содержания особым образом, применительно к поставленной задаче.

Поскольку дух по самой сути своей есть движение, переход от одного к другому, никакая форма фиксации духовности не может вместить духовность как таковую — это лишь намек, приглашение к творчеству. Собственно, в этом и обнаруживается ограниченность и уязвимость аналитической рефлексии как таковой: она выражает лишь уже сложившееся, дает картину на данный момент. Никаким учебным

программам не дано угнаться за развитием способа производства, или сколько-нибудь полным образом свести воедино достигнутое. Тем более это так в мире всеобщего разделения труда, когда преподавание отделено от производства, так что учитель зачастую знает предмет хуже ученика. Книги тоже устаревают. Это факт. Но разные книги устаревают по-разному. Дело в том, что развитие духовности может как отставать от экономики, так и опережать ее — а чаще и то, и другое одновременно, в разных отношениях. В каждой книге (независимо от материального носителя) есть то, что воспроизводит универсальность человеческой деятельности — и это не устареет никогда. Какая-то часть текста носит справочный характер; такие сведения долгое время не теряют актуальности — но могут потребовать новых технологий фиксации: так, столь важные в XX веке таблицы численных значений функций или аналитических формул начисто утрачивают употребительность в XXI веке, когда любую функцию мгновенно вычислит мобильный компьютер, а программы аналитических вычислений умеют быстро подсказывать полезные преобразования. Справочник на бумаге — это уже архаизм; любые энциклопедии существуют в электронном виде, что намного удобнее.

Есть в книгах и зародыши будущего. Как правило это связано со способом подачи материала, его особой организацией. Об одном и том же можно говорить по-разному; мы заранее знаем сюжет театральной пьесы или балета — но нам интересно, как это прозвучит в исполнении других актеров, и даже при одинаковом составе каждое исполнение выявляет новые грани хорошо знакомого. Так же и старая книга почти ничего не дает в чисто познавательном плане — но позволяет настроить дух на вполне определенные направления развития, дать особую перспективу, причем иногда в областях, весьма далеких от затронутых тем. Существуют уровни образования, призванные прежде всего создавать такие универсальные установки: они почти не связаны с производственной практикой, с бытом, — и влияют лишь на сферу духовности. Различные трактовки одного и того же при этом не сменяют друг друга, а становятся рядом, как взаимно дополнительные. Например, на протяжении многих столетий возникали разные методики преподавания мертвого латинского языка — и возникают до сих пор. Там, где обучение заточено под сугубо практические нужды (медицина, биология, юриспруденция), книги примитивны, по ним не изучают предмет, а «проходят» (мимо). Но есть и такие курсы, которые выражают

особый подход к языковым способностям людей — и вырабатывают единый взгляд на роль языка в жизни, заставляют сознательно относиться к языковому поведению. Такие книги можно читать вне зависимости от ранее полученных сведений. Точно так же, некоторые учебники математики или физики остаются интересными последующим поколениям, несмотря на несоответствие образовательному стандарту, далекую от современности расстановку приоритетов, вышедшую из моды нотацию: их авторы не просто излагают материал — они осмысленно организуют его, и эта организация не менее важна для нашей духовности, чем коллекция навыков и фактов. Здесь сливаются образование и самообразование — с обеих сторон творчество, открытие новых направлений... Пропитанные этим духом, люди способны шагнуть за горизонт, преодолеть апорию о его недостижимости.

В хороших книгах не только полезное — и не жвачка для тупых скотов, — в них особый образный строй, образ мышления, взгляд на мир. Независимо от того, задумана ли книга как учебное пособие или нравственное наставление, она хранит одну из граней духовности, которая никогда не уйдет, с ней человечеству жить вечно, переоткрывая с каждым поколением. Будут другие взгляды — но кому-то ближе старые, — и это не заскорузлая отсталость, а продолжение исторической линии (дух, ведь, не может не двигаться, не стремиться вперед). Ни одна из таких находок не предпочтительнее других — они нужны все вместе.

Чем дальше что-то от материального производства — тем ближе оно к производству духа. Материя может устареть — дух никогда. Изжившие себя деятельности становятся достаточно абстрактными (отвлеченными от непосредственных потребностей), чтобы служить воплощению духа как такового, формами его бытования. Внешне то же самое обретает другой мотив — и становится формой духовного производства. Это в итоге меняет и характер деятельности, еще больше освобождая ее от утилитарности. Например, парусные суда в нашем мире практически утратили экономическое значение — но они становятся прекрасной школой не только для подрастающего поколения, но и для тех, кто находит в этом ключик к мудрости преклонных лет. Выращивание на дачном участке чего-то съедобного — это базар; выращивание роз — путь к вершинам духовности. Производственные жесты — превращаются в танец; изобретение фотографии отделяет изобразительные искусства от изобразительности, а затем и фотография уходит от замораживания мгновений к выразительной многоплановости.

Точно так же, стареющие книги теряют утилитарность — но приобретают другие, более духовные функции. Разумеется, речь не просто о печатной продукции: в потоке продуктов полиграфии далеко не все несет на себе печать духовности — и может по праву называться книгой (независимо от объема). С другой стороны, книгами становятся вещи (и культурные явления), никак не связанные с языкоблудием и бумагомарательством: от книги природы — до книги жизни, или книги судеб. Ко всему, к плодам любого труда, можно подойти в контексте обучения или воспитания — и если во что-нибудь как следует вчитаться, можно что-то из этого вычитать.

В качестве объективированного духа книга иерархична — и важны все ее качества, а не только последовательность букв. Зачастую текст сам по себе вообще не играет никакой роли в образовании и воспитании: существенно оформление книги, включая и материал, и внешний вид, и организацию текста, и его взаимодействие с нетекстовыми элементами. Культура книги возникает не сразу: в древнейшие времена просто фиксировали явления языка, приравнивая к доступным материалам; дефицит носителей заставлял уничтожать тексты и перезаписывать их другими. Хрупкие папирусы и монументальные надписи ничем не отличались в этом отношении от воска и пергамента; тем не менее, орнаментальная сторона культовых текстов задействована довольно рано, а типовые размеры носителей (вкуче с развитием поэзии) заставили обратить внимание на пространственную организацию текста. Средневековая рукописная книга уже всю использует страничную организацию, устанавливается единое направление письма, широко используются лигатуры, буквицы, виньетки, красочные иллюстрации; развивается переплетное дело. Для нас такие книги не просто источник информации — это произведение искусства.

Внедрение книгопечатания не могло не сказаться на оформлении книг: единообразие шрифтов выводит украшения в специальные блоки, которые можно печатать независимо от «основного» текста; таким образом, следуя за развитием капиталистического разделения труда, усиливается разделение информационной и воспитательной функций книги. Тем не менее, первые печатные книги все еще сохраняют преемственность, и взаимодействие текста с оформлением для них весьма и весьма существенно. Подготовка промышленной революции связана с переходом к массовому производству — и полиграфия также ориентируется на большие тиражи и ценовую доступность. Понятно, что

такое удешевление не обошлось без потерь — но оно же вызвало к жизни новые, собственно полиграфические приемы структуризации текста (игра шрифтов, комбинаторика блоков, художественная верстка). Аналогичные процессы наблюдаются и в искусстве, и в науке XIX века.

Победивший и устанавливающий мировое господство капитализм ознаменован абсолютным преобладанием утилитарности в книжном деле — и классовым расслоением в полиграфии. Дешевые массовые издания — просто хлам; для «среднего класса» — книги солиднее, хорошо переплетенные, приятные на ощупь и удобные в обращении, иногда профессионально иллюстрированные. Наконец, есть элитные «подарочные» издания, которые не предполагается читать, но можно выставить на всеобщее обозрение в качестве показателя высокого статуса обладателя; книга (наряду с предметами искусства) становится способом вложения капитала — либо превращается в пустышку, декоративный элемент (интерьерные книги). Традиции оформительства частично сохраняются вплоть до конца XX века, когда новый технологический взрыв решительно заменяет бумагу экраном — и вместо осязаемой вещи мы получаем нечто виртуальное; индивидуализированное общение с такой книгой практически невозможно: это всего лишь клавиатура, мышь, сенсорные поверхности... Даже детская книга все больше ориентирована на восприятие с экрана — и восприятие книг сводится лишь к одной из модальностей, к зрению. Да, продвинутая читалка умеет прочесть текст вслух, — но это лишь языковая сторона текста, лишенная собственно книжной (вещной) организации; говорящие книги лишают читателя возможности самому угадать звучание — сделать его сугубо личным, вращать в движение духа. В итоге и производство книг предельно упрощается — и мы на новом уровне возвращаемся к седой древности: текст располагают где попало и как попало. Современные электронные книги — полное убожество: читать их еще можно — но противно. Сама суть книги выхолощена: это уже не средство обучения и воспитания, а просто балласт, способ отбить охоту духовно развиваться, творить. Разумеется, такое обеднение материи образования никак не устраивает человеческий разум — и какие-то формы компенсации возникают и будут возникать. В любом случае, утрата полноты восприятия, исчезновение овеществленных (объективированных) идей, означает гибель книги как таковой, распад иерархии образования и воспитания, вырождение вместо социализации. Не спасает никакая интерактивность:

если традиция книги предполагает активное взаимодействие с текстом (а через него и с автором, и с человечеством в целом) — современные технологии навязывают интерактивность клиенту, ограничивают круг возможностей, заставляют реагировать стереотипно — подгоняют под застывший стандарт; это способ убить личность, а не развить духовную свободу.

В условиях рынка, приемы и навыки оформления сохраняются в чисто утилитарном аспекте — как рекламные технологии. Поскольку в такой полиграфии содержательность на нуле, на первый план выходит броская аляповатость, агрессивная чрезмерность всяческих «красот»; вместо качества — глупое трюкачество. Такая продукция адресована не разумному человеку, а всего лишь социальному животному. Ей незачем долго существовать: нечего предать будущему. Соответственно, методы оформления подстраиваются по рынок — и становятся такими же однодневками: например, стандарты форматирования интернет-страниц меняются каждый несколько лет, и новые версии браузеров просто отказываются работать со старыми протоколами. Это все равно как если бы мировое начальство решило, что скульптура человечеству больше не нужна — и постановило бы разбить произведения старых мастеров; прецеденты такой политики в истории человечества хорошо известны...

Но пока хоть какие-то формы книжности в мире существуют, можно обсуждать заложенный в книгах образовательный потенциал и их воспитательную роль. Две неразрывно связанные стороны: умение писать книги — и умение ими пользоваться. Сознательность того и другого предполагает культурный контекст — встроенность в иерархию производств. Проще говоря, важно понимать, зачем мы пишем — и для чего читаем. В идеале оба эти вопроса снимаются: разумное повеление вообще не утилитарно, и оно не ради чего-то, а просто потому что нам надо поступать именно так — из каких угодно соображений. Однако современная литература продолжает подразделяться по характеру аудитории, и любая книга соединяет в себе рефлексивность (выработка отношения к миру), познавательность и художественность; любая из этих сторон может выйти на первый план у автора — и требует особого внутреннего настроя у читателя. С другой стороны, по отношению к предмету, можно выделить первичные и вторичные объективации: первое связано с активным участием в соответствующем производстве, второе — обобщает (то есть обобществляет) явления первичной литературы. Научные труды или художественные произведения —

превращаются в школьные учебники, популярные переложения или хрестоматии (обзоры). Это нормально, и для выстраивания иерархии духа все уровни одинаково необходимы; поверхностное знакомство позволяет свободно выбирать направление саморазвития и смешивать то, что совершенно несовместимо на уровне профессии. Поэтому и читатель самую серьезную литературу может использовать для общего знакомства, как импульс к самостоятельному творчеству.

Толстые книги мало кто читает от корки до корки. Чаще всего бегут по поверхности, не вникая в детали, обоснования, тонкости стиля. Поэтому и важна объективация опыта: вещь существует и после нашего с ней взаимодействия, и можно неоднократно возвращаться к ней, подходить с разных сторон. Активность чтения обогащает книгу, выявляет в ней то, чего автор не имел в виду — иногда вопреки его воле. Например, под завязку набитый формулами и расчетами учебник (или задачник) можно читать крупными блоками, обращая внимание только на общие выводы и приложения, практические применения, — то есть, по сути, на интерпретацию результатов; мы предполагаем, что автор правильно проделал выкладки и следовал верным путем — нам вовсе незначит что-то перепроверять без особой необходимости: важны не формулы, а слова по их поводу, авторское отношение к содержимому. Таким образом прочитанная книга приобретает характер презентации. публичного выступления, вводной лекции, — и наоборот, лекции часто становятся книгами, приобретая новые пласты содержательности.

По мере накопления культурного багажа, возможность глубокого освоения предмета становится чисто гипотетической. Ознакомительное чтение оказывает влияние на разнообразие книжных форм: нет смысла укладывать весь материал в формат монографии — достаточно структурированного набора текстов, посвященных частным вопросам (гипертекстовая энциклопедичность). Монографии интересны уже не в предметном плане, а в качестве опыта систематизации; но это уже другая деятельность, со своим предметом. На первый план выходят разного рода сборники, обзоры, аналитика и цитатники, — так мы охватываем круг возможностей «с птичьего полета», и можем изменить масштаб по производственной необходимости. Парадоксальным образом, наиболее полезны для творческого читателя незавершенные проекты, конспекты и черновики (в прежних собраниях сочинений ту же роль играли собрания писем): мы оказываемся в гуще событий, следуем за фокусом авторского внимания, — тогда как при чтении готовой вещи приоритеты

приходится расставлять читателю. Сборник фрагментов — материал, на который накладывается позиция читающего, — и в итоге новый уровень духовности, синтез, другая связь вещей. Никакая монография (или роман, или философский трактат) такой свободы дать не может: сказываются культурные ограничения, жесткость форм.⁵⁶ Есть разные типы организации — и в них своя иерархия. Можно выстроить целое как иерархическую структуру, с возможностью продвижения от общего плана к частным вопросам (многоуровневое оглавление); читателю в этом случае придется разрушить продуманную красоту ради иной, более практичной красоты. Для сборника фрагментов лишней работы не надо — но можно и в нем усмотреть неслучайность, общий план и локальную структурность (наподобие жидких кристаллов). Сборник афоризмов вообще не склеивается в целое и практически не меняется от перекомпоновки или (частичного) объединения с чем-то еще. Напротив, авторский сборник стихов — никакой свободы не допускает, в нем жесткая композиционная логика, — в отличие от формальных хрестоматий, располагающих произведения по случайному признаку (жанр, тема, дата). Напрашивается сравнение с физическими системами, обладающими разными типами симметрии; как и в физике, за этой внешностью стоит динамический закон, объективные тенденции развития культур. Для человека такие динамические ограничения особенно интересны: у него появляется стимул искать способы их преодоления, восстановления универсальности; в частности, любая книга бережит мысль самим фактом своей целостности — побуждает строить целое по-другому. Мы вправе разорвать книгу на цитаты, скомпоновать их по своему разумению, — и получить новый текст, особый взгляд, который тоже имеет право на существование. Это не плагиат, не пустая компилятивность, — здесь особый род творчества, который вполне соотносится с работой поэта, популяризатора науки или составителя инструкций по управлению самолетом. Гнилой дух появляется там, где такие сборки делают на продажу, не ради освоения каких-то сфер духовности — а из голой (или приукрашенной) корысти.

⁵⁶ Средневековые эпические и куртуазные поэмы сохранились лишь частично, иногда в разных вариантах; именно эта противоречивая фрагментарность (а вовсе не поздние «реконструкции») придает им прелесть. Вариативность сказки, легенды или мифа — не дают им превратиться в нечто завершенное, данное раз и навсегда; это один из истоков и движущая сила профессионального искусства. Вероятно, столь же подвижные формы возможны и в науке — и в строении культуры.

Культура никому не принадлежит — и каждый вправе подойти к ней со своей меркой. Точно так же, как язык един для всех его носителей (независимо от глубины знакомства) — и мы свободно комбинируем слова языка и языковые клише, которые могут иначе играть в интересующем нас контексте.

Тут мы вспоминаем про синкретический и аналитический уровни образования (как обучения и воспитания). Логично ожидать перехода на новый, синтетический уровень, на котором снимается разделение производства и образования: всякая деятельность оказывается одновременно и созидательной и обучающей, а учитель ничем не отличается от ученика, воспитатель от воспитуемого. Синтетическая социализация всегда оказывается совместной деятельностью, общение разных личностей, которые обмениваются своей духовностью, так что каждый духовно растет — и возникает новый уровень общности, коллективный субъект. Другая сторона того же самого — стирание различий между «главным» и «вспомогательным», между объектами или продуктами производства и учебными материалами, между картиной и этюдом. Возможно это благодаря тому, что не бывает готовой духовности — она всегда в процессе становления: чтобы чем-то поделиться — мы должны это произвести; чтобы усвоить полученное извне — нам надо это сделать своей частью, осмыслить, исходя из собственными мотивов. Точно так же, проглотить пищу недостаточно — надо ее переварить (и не всякая пища одинаково переваривается); чрезмерное увлечение познанием вполне подобно обжорству — с такими же последствиями для духовного здоровья. Образование не само по себе — оно для сознательного строительства разумного мира, культуры. Любая вещь при этом служит и сырьем, и орудием труда — единичностью природы и духа. Продукт нашего труда воспитывает общество в целом — и нас самих. Отличие этого синтеза от синкретической социализации в том, что мы уже не привязаны к единичной деятельности — мы в каждой из них используем опыт всех остальных (который таким образом становятся «учебными пособиями»); сместите фокус внимания — и роли поменяются. Но точно так же любая книга (как продукт какой-то деятельности) сочетает в себе самые разные предназначения, и служит делу образования или воспитания на каких-то уровнях общественного производства и саморазвития; в других отношениях та же вещь ведет себя иначе — мы, возможно, и книгой-то это не назовем: нам не важны источники — нужна мудрость.

Конец педагогики

На первый взгляд, идея странная. Дети тысячи лет рождались до нас, и продолжают рождаться в наши дни; задачу сделать их полноценными представителями разумного сообщества никто не отменял. То есть, предстоит ознакомить ребенка с наличными достижениями культуры — и пристрастить к культурности как таковой. Сама собой осмысленность не вырастет — и кому-то придется поучаствовать в этом производстве и, следовательно, проявить педагогические таланты (или их отсутствие). Получается, что — как бы к нему ни относиться — ремесло учителя и воспитателя обязано продолжаться и дальше, как минимум, до полного исчезновения человечества — и всего, что придет после.

Мы привыкли к такому, формальному представлению о взрослении цивилизованного человека — оно кажется совершенно естественным, природным законом, единственной возможностью. Кто-то до конца дней благодарен своим наставникам, указавшим путь добродетели и открывшим человеку глаза на его истинное призвание. Некоторым не повезло с учителями — но они все равно чему-то научились от них, отрицательным образом (как отражение света придает импульс зеркалу). Расхожее представление возводит истоки педагогики в древнейшую первобытность, рисуя картину эдакого умудренного жизнью старца, наставляющего звериную молодежь в пещере у костра... Становление человека неотделимо от технологий передачи исторического опыта.

Именно ссылки на «естественность» и «природность» указывают на слабое место подобных рассуждений — сведение развития разума к одной из его исторических форм, неправомерную экстраполяцию сегодняшнего состояния дел в прошлое и будущее.

Сама идея выделенного положения чего-то одного — продукт классовой культуры. Правящий класс стремится увековечить свое владычество — и это отражено в идеологии как вечность и неизменность законов природы и общественных установлений. Но мы хорошо знаем из истории, что в мировом масштабе классовая иерархия радикально менялась, и неоднократно; это наводит на мысль о неизбежности ухода и последней ступени цивилизации — капитализма. С другой стороны, характерные для классового общества формы социализации пришли на смену иной, доклассовой схеме обмена опытом, в которой выделение педагогической деятельности в отрасль общественного производства

еще не состоялось. Резонно допустить, что бесклассовое общество будущего также не требует никакого разделения общественных ролей — и в частности, специализированной педагогики.

Сразу подчеркнем, что вывод об исчезновении педагогики как культурного явления основан не на порочности существующих систем (общего или семейного) образования, и не на вредности идеи как таковой (как полагают некоторые ультралиберальные отрицатели в развитых капиталистических демократиях); нет, речь идет о неразрывной связи методов социализации с господствующим способом производства — только в этом контексте возможно говорить о переходе от одних форм к другим, и никакое реформаторство (и даже представление о возможном или хотя бы желательном) невозможно «из головы», без настоящей экономической необходимости и материальной базы. Поскольку же новых конструктивных элементов еще нет — прототипы будущего приходится ваять из имеющегося материала, сильно ограничивающего свободу комбинирования; возникающие педагогические монстры чаще всего нежизнеспособны — однако утопическая «педагогика на коленке» позволяет уловить за уродливыми конструкциями здоровое начало и понять, что предстоит изменить в экономике и рефлексии, чтобы от экспериментов перейти к культурному строительству.

В основании классовой экономики лежит принцип общественного разделения труда: определенные производственные роли закреплены за относительно замкнутыми группами людей; поскольку же осмысленное потребление одного всегда есть производство чего-то другого, различия в способе участия в производстве касаются и форм потребления.⁵⁷ Напротив, основная черта субъекта — универсальность деятельности, вовлечение в нее как можно более широкого круга вещей и людей, общедоступность производства и его продуктов. В классовом обществе даже бытовое разнообразие дозволяется далеко не всем, и уровень потребления правящей верхушки не сравнить с тем, что остается на долю низов. Массы кормятся объедками с барского стола — и это одностороннее движение сверху вниз воспринимается в области духа как ограничение возможностей для развития духовности подчиненных классов теми, кто узурпировал право судить о соответствии отдельных лиц якобы общепринятым нормам. Поскольку же разделение труда

⁵⁷ Разумеется, в недостаточно разумном обществе возможно и тупое, животное потребление — и уничтожение продуктов деятельности («естественная убыль»).

неизбежно распространяется и на производство субъекта, возникает слой профессиональных наставников, педагогов, каждый из которых специализируется на окультуривании нового поколения в определенной области. Система социализации в целом — регулирует доступ тех или иных общественных групп к различным культурным областям. Разумеется, первоначально это лишь обычай, традиция, устоявшаяся практика. Теория приходит потом — и далеко не сразу теоретически правильное становится общественно-культурной нормой.

С первых шагов цивилизации образование выстроено по классовому принципу: рабов достаточно дрессировать — свободных готовят по их предназначению, по месту касты или сословия в способе производства. Отсюда различие обучения и воспитания: подготовка рабочей силы — дополняется организацией коллектива; отношение к вещам — обратная сторона отношения к людям. Противоположности сходятся: рабы как класс должны знать свое место — а принадлежность сословию требует квалифицированного, предметного общения. Единство обучения и воспитания мы и называем образованием. Классовая структура общества полностью воспроизводится в иерархии типов социализации: для низших слоев общества на первый план выходит узко-профессиональное обучение (натаскивание) — а для высших эшелонов (которые от производства далеки) важнее воспитание представления о якобы «врожденном» превосходстве; между этими полюсами — лесенка «обслуживающих» сословий, которым (в разной пропорции) требуется как знание ремесла, так и управленческие амбиции.

Грубое представление о различии подходов к образованию можно получить, исходя из уровня потребления: только правящие круги могут сформировать дух как достаточно определенную единичность — и высшие эшелоны общества предпочитают индивидуальное образование, лепят себя на заказ; как правило, занимается этим специально нанятый наставник (иногда коллективный: очень богатые могут нанять команду профессионалов). Напротив, трудовые массы безлики — и долгое время их образованию вообще не уделяли внимания: пусть учатся по ходу дела. За счет принадлежности сравнительно узкому кругу, представители «средних» сословий более индивидуальны по сравнению с трудящимися массами; но для общества каждый из них — всего лишь социальный тип, и узко-групповое сознание воспроизводится в специализированных учреждениях — школах. Изначально, возможность приобщиться к школе есть далеко не у всех — но привилегированные слушатели курсов

все же не настолько высоко стоят в классовой иерархии, чтобы купить персонального наставника. Феодализм формально освобождает рабов — частично сливает с другими сословиями, или выделяет в особую касту. Теоретически, школа становится доступной для всех — но на практике большинство еще долго (кое-где вплоть до наших дней) не сможет себе позволить этой роскоши. Тем не менее, производственные требования ведут к распространению хотя бы элементарной грамотности среди низов — просто потому, что иначе они не смогут понять, что от них требуется. Так складывается четырехуровневая схема буржуазного образования: элитарное (для престижа), коммерческое (для рынка рабочей силы), массовое (обязательный минимум), стихийное (в том числе семейное и уличное). Плюс, как водится, разные комбинации — впрочем, больше у богатых, кто может побаловаться-поразвлечься.

Очевидно, на каждом из уровней педагогика своя. Что дозволено Юпитеру — противопоказано быку. Нищий с замашками миллиардера будет, в лучшем случае, смешон (но могут и побить); миллиардер с замашками нищего — выпадает из обоймы, что (помимо морального осуждения) приводит к чувствительным экономическим потерям. Соответственно, школы бывают разные — и обучение в них стоит разных денег. Народная школа в рамках обязательной программы формально бесплатна; однако устроиться на теплое место после такой школы практически невозможно. За дополнительные возможности придется доплатить. Относительно небедные дети могут посещать массовую школу ради соблюдения формальности (получить аттестат единого образца) — но основная подготовка к жизни у них в другом месте, и от назойливых педагогов откупаются родительскими взносами. Богатые вообще не нуждаются в школах такого типа: для них существуют элитарные заведения, которые школами назвать можно лишь условно — скорее, это вроде хорошего пансионата с приложением образования по индивидуальным программам. Границ для богатых не существует — и отпрыски «приличных» семей, по большей части, получают престижные американские, британские или европейские дипломы. Для них это и шанс вратиться в структуры международного бизнеса, поскольку его основные активы концентрируются в банках тех же стран.

Промежуточное положение между элитой и голытьбой занимает коммерческое образование — которое очень дифференцировано и отражает текущее строение рынка труда. Соответственно, ценные кадры

требуют более дорогого обучения, а ширпотреб обходится минимумом. Здесь та же градация заведений по уровням престижности (и цен): диплом какого-нибудь сетевого вуза котируется гораздо ниже корочек старинного университета — хотя обучают они одинаково, а качество знаний после совсем не престижных онлайн-курсов часто оказывается выше; различие в характере воспитания — которое в сугубо учебных программах полностью отсутствует, а в университетских стенах принимает форму корпоративной этики, своего рода ритуальность.

Хозяевам жизни коммерческие школы, по большей части, столь же безразличны, как и общеобразовательные. Учиться работать надо рабам; господам пристало учиться господствовать. Буржуазная пропаганда кишит пафосными примерами крутых специалистов своего дела, основавших собственные предприятия — и добившихся мировой известности (в адекватном денежном выражении). Дескать, имея пару центов в кармане, можно запросто нажить миллиарды долларов, — а кто этого не сделал, тот просто бессовестный лентяй. На самом деле совести нет как раз у тех, кто жаждет разбогатеть любой ценой, не брезгуя сколь угодно грязными махинациями. В древней Спарте мальчиков держали впроголодь, и им приходилось воровать еду у взрослых; кто попадался, того нещадно били за неумелость. Примерно тот же принцип действует в отношении начинающих миллиардеров — с той поправкой, что по-настоящему богатыми из миллионов воров становятся лишь единицы, воры в законе, признанные паханы.

Хозяева предприятий, хорошо разбирающиеся в специфике дела, безусловно были, и встречаются до сих пор. Однако такое совмещение бизнес-руководства с производственным участием больше характерно для ранних этапов развития капитализма, когда разделение труда еще не стало по-настоящему универсальным. Эпоха империализма отодвигает в тень процесс производства — и на первый план выходит движение капитала. Поэтому современный капиталист может вообще не знать, чем занимаются мелкие людишки далеко внизу: для него все это сливается в обезличенные денежные потоки — и даже считать деньги уже не требуется, ибо на то есть купленные на элитном рынке дорогие экономисты-профессионалы. В эпоху глобализации капиталиста не волнует экономика и культура отдельных стран — весь мир превращен в арену биржевых спекуляций, своего рода всепланетную игру в монополю. Разумеется, есть «исключения»: когда денег очень много, можно развлекаться высокими идеями, вкладываться в масштабные

проекты, — но не абы какие, а с прицелом на сотни процентов прибыли (или хотя бы налоговые льготы) в далекой перспективе. Не выгорит — ну и ладно; не последнее спустил в бардаке. Благодетельство помыслов просто игра — а элитное образование сводится к банальному усвоению правил игры. В каком-то смысле, это возврат к первобытности — но вместе с тем, и зародыш нового экономического порядка, когда формальная противоположность игры и работы будет снята для всех в универсальности творческого труда.

Нетрудно догадаться, что столь разной педагогике требуются столь же разные педагоги. Массовое образование требует педагогических масс, образование которых зачастую оплачивает государство — как формальный заказчик и потенциальный работодатель. В основном это специалисты-предметники, знания которых ненамного выше уровня среднего выпускника школ второй ступени. Готовить их не обязательно в академиях — достаточно педагогических училищ и техникумов (как бы они официально ни назывались). По сути, это замкнутое в себе синкретическое образование, непосредственная передача формального опыта: научился сам — помоги товарищу. Дешево и невкусно. Нечто подобное наблюдается, например, в клубных танцах: ученики через пару лет начинают вести группы начинающих, параллельно совершенствуясь у более продвинутых танцоров. В силу высокой степени унификации, такое образование весьма эффективно; однако, при наличии интереса к чему-либо определенному, выйти за рамки массовых стандартов можно лишь с помощью профессионалов другого уровня: никакие таланты здесь не помогут — и потому так популярны всякого рода конкурсы, которые, конечно, тоже не бесплатны — но дают шанс отыскать спонсора или получить грант.

Подготовка профессиональных кадров (включая профессорский состав вузов и руководство массовой школы) также может частично оплачиваться государством. Но здесь действуют жесткие квоты: места для бесплатного обучения и образовательные гранты выделяются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Бесплатные места и гранты легко становятся товаром — и, наряду с прямой продажей, существует сектор натурального обмена (система блата). Особо престижные вузы и направления — работают на чисто коммерческой основе. Сам факт доступности коммерческого образования подчеркивает принадлежность допущенного к особой касте, воздвигает общественные барьеры. Эта воспитательная функция коммерческого образования намного важнее

для буржуазной культуры, нежели собственно профессиональное обучение. Далеко не все выпускники будут работать по специальности: им важно иметь корочки, свидетельство о сословной принадлежности. Это приводит к постепенной девальвации коммерческой педагогики и реструктуризации образовательного рынка (обычные для капитализма кризисы перепроизводства). В этих условиях основная забота педагога вовсе не о качестве преподавания — а о том, чтобы удержаться на плаву, собрать достаточно слушателей курса, сохранить за собой должность, получить технологический грант. То есть, урвать где только можно, стащить что плохо лежит. Сама постановка коммерческого образования учит студентов тому же рыночному поведению, выдаваемому за единственно возможный эталон.

Наставники богачей вообще не нуждаются в педагогических экскурсах: это всего лишь бизнес, и здесь решает не профессиональная компетентность — а профессионализм иного рода: коммерческая жилка, умение выгодно подать и дорого продать, устранить конкурентов. Если на уровне коммерческого образования воры учат воровать — в элитном образовании грабители учат грабить. В феодальном мире в этом не было конкурентов у церкви — и потому наставниками богачей часто становились лица духовного звания. Позже возникли альтернативные религии, обожествляющие технологические достижения или методы манипуляции массовым сознанием; демонстративная нейтральность по отношению к традиционным верованиям — прекрасная реклама, на которую легко ведутся акулы бизнеса. Плоды мировой педагогической мысли на этом уровне без пользы: важнее умение психологически приспособиться, нащупать слабинку и убедить в выгоде капиталовложений; вот этому и учатся сливки господствующего класса, которых на каждом шагу заверяют в их избранности и праве вершить судьбы народов.

Педагогическое самосознание — итог специализации, превращения преподавания в профессию. Не случайно первая фундаментальная и всеобъемлющая педагогическая система, дидактика Яна Коменского, появляется в конце XVI века, с началом эпохи буржуазных революций. Но столь же закономерно, относится эта теория лишь к массовому образованию, а в отношении высшего («академического») образования возможны только благонравные пожелания. Наука вообще занимается лишь массовым, регулярно воспроизводимым в общественной практике. Это возможно на уровне индустриальных технологий (материального и духовного) производства — тогда как кустарное мастерство ближе к

искусству, а определение перспектив развития — из области философии. Рыночная стихия с научностью несовместима — и потому коммерческое образование лишь косвенным образом попадает в поле внимания педагогической теории, поскольку в нем есть глубинные уровни, так или иначе воспроизводящие работу массовой школы. Точно так же, ссылки на общие принципы не могут убедить сильных мира сего: им нужно осознать не общее, не общественное, а собственную исключительность. Философы древности могли сколько угодно теоретизировать о принципах государственности и качествах мудрого правителя — но когда Аристотель попытался внушить юному Александру мысль об истинно философской добродетели — философу грубо указали его место и списали с довольствия. Всячески подчеркивающий чистую субъективность своих «опытов» Монтень благополучно дожил до естественной кончины — а Томасу Мору отрубили голову. Аристократ (а потом и богатый буржуа) порой ставил наемного учителя ниже преданного лакея — при том что учительствовать иногда приходилось и обедневшим аристократам.

Теоретическая педагогика массовой школы стала последним прибежищем возрожденческого универсализма. Уже во времена Рабле было ясно, что действительно универсальная образованность не по плечу никаким гениям — и придется чем-то ограничить себя. Классический капитализм целиком и полностью стоит на массовости производства; массовый продукт не предполагает свободы творчества, он должен удовлетворять тем требованиям, которые обеспечивают максимизацию продаж. Соответственно, и массовое образование не предполагает ни всестороннего развития личности, ни глубокого знания: капиталу нужны не готовые кадры, а типовые заготовки, из которых можно сделать что угодно, приспособить к любой работе. Изготовление такой человеческой болванки требует не универсальности, а стереотипности образования: обучение при этом сводится лишь к ознакомлению с существующим кругом возможностей, а воспитание — к усвоению идеи универсальности рыночного хозяйства, сводимости любых общественных явлений к акту купли-продажи. Другими словами, задача «народной» школы — распространение универсального языка, на котором хозяева могли бы командовать работниками, а работники могли бы читать маркировку и указатели — и передавать указания другим. Конечно, до какого-то уровня достаточно матерной лексики; но когда перепутать одну х... с другой означает остановку конвейера и крупные

убытки, капиталисту выгоднее заплатить за типовое образование — разумеется, по минимуму, в куцых рамках теоретической педагогики.

Время — деньги. Деньги — снятое время. Финансовые ограничения означают ограниченность образования не только в пространстве (глубина знаний, широта охвата, высота помыслов), но и во времени. Отсюда и название: педагогика — разведение детей. Тут снова находим исчерпывающее разъяснение у Коменского, с его принципом жесткого разделения четырех возрастов — по шесть лет на каждый, — так чтобы в 24 года образование полностью заканчивалось. Этой градации уже больше четырех сотен лет — но она с минимальными изменениями дошла до наших дней! Даже названия этапов сохранены, как, например, во Франции: *école maternelle*, *école élémentaire*, *école secondaire*, *école supérieure*. Точно так же, внутри каждого возраста строгое деление на классы: образовательный процесс четко расписан по годам, и один учебный предмет никак не зависит от других. Апофеоз капитализма. Мануфактура. Конвейер.

Разумеется, в те далекие времена идея всеобщей образованности, вне зависимости от социального положения, — это прогрессивно и правильно. В эпоху глобальной победы капитализма — это закрепление классового неравенства. Когда Дидро в проекте народного университета (заказанном Екатериной II) пишет, что число хижин в 10000 раз больше числа дворцов — и потому «мы имеем десять тысяч шансов против одного за то, что гений, талант и добродетель скорее выйдут из стен хижины, нежели из стен дворца», — это поистине революционно. Когда сегодня 99% бывших школьников не помнят ровным счетом ничего из зазубренного в школе, не понимают написанного на родном языке (предпочитая воспринимать на слух) и сами не умеют писать (даже не то, чтобы выразительно, но хотя бы) без грубых ошибок, а математика в пределах семейного бюджета остается тайной за семью печатями, — это уже клиника, и обществу надо бы ампутировать базар.

Коменский (как большинство педагогов до и после него) исходил из вульгарного представления о большей восприимчивости детей, их способности усваивать огромные объемы материала в кратчайшие сроки. Поэтому, дескать, образование надо начинать рано — и заканчивать до наступления унылой взрослости, когда больше не светит ничего. В XX веке придумали псевдонаучную сказку о «сенситивных периодах» — по сути ничего не прибавляя к старинным предрассудкам. В результате педагогика становится дважды вульгарной: во-первых, она

сводит человека к животному и заменяет собственно человеческое образование дрессировкой организма; во-вторых — идея конечности человека, которого можно сформировать однажды и навсегда (до конца дней). Отсюда логически вытекает третья классовая вульгарность: детей учат взрослые (завершившие жизненное развитие) педагоги — и от их квалификации и душевных качеств зависит, каким вырастет человек, насколько его жизнь будет отвечать заложенным в детстве устоям и гармонировать с развитием культуры.

Ни то ни другое, ни третье — не вяжется с местом человека в мире, с его качественным отличием от всех живых существ — и от вещей. Однако даже те, кто чувствует ущербность педагогической традиции, не могут отрешиться от той же мертвой схемы. Например, швейцарская знаменитость, Песталоцци:

Я не могу даже на одно мгновение себе представить, чтобы истинной основой человеческой природы как таковой являлась какая-либо из сил и задатков, общих у меня с животными. [...] Я должен признать, что не моя брeнная плоть и кровь, не животная сущность человеческих желаний, а задатки моего человеческого сердца и человеческого ума, мои человеческие способности к мастерству — вот что составляют человеческую сущность моей природы, или, что то же самое, мою человеческую природу.

Казалось бы, один шаг до осознания особой миссии человека в мире и его принципиальной неограниченности (в пространстве и во времени). Но кончается все равно за упокой: «элементарное образование», оказывается, призвано

полностью подчинить притязания нашей животной природы более высоким притязаниям внутренней, божественной сущности [...], то есть по существу подчинить нашу плоть и кровь нашему духу.

Такова, видите ли, «цель благочестия и мудрости». Вместо свободы — снова господство и подчинение; вместо одной природы — столь же бессмысленная другая, и вместо истинно человеческого — «истинное природосообразное образование». Если обезьяна одевается у модных кутюрье, рассуждает о сюрреализме или играет на бирже, — это все равно обезьяна, и ее «природосообразность» — вернейший признак отсутствия разума. Снова образование сводится к приведению в соответствие — и опять противостояние ребенка и взрослого как недоделанного и завершеного. И опять мы взываем к личности педагога, дополняющей «святую материнскую заботу», которую

«природа вложила в сердце матери»... И это выдают за новое слово в педагогике? Уже Аристотель — на голову выше, поскольку счастье он связывает с деятельностью, возможностью труда, — а завершенность «не в неполном отрезке времени, а в полном» (понимая под этим *вся жизнь* человека — но где ее начало и конец?). По Аристотелю, кто может трудиться, сознательно творить мир, — придет к «добродетели» и без наставлений извне; взрослые и дети равны в труде, а учиться уму-разуму никогда не поздно. Философия двадцатипятивековой давности пока остается для нас воспоминанием о далеком будущем.

Современная «гуманистическая» педагогика (восходящая к идеям того же Песталоцци) заведомо утопична: она требует совершенного наставника, индивидуально занимающегося с каждым ребенком,⁵⁸ — но где таких взять в несовершенном обществе? и где им набраться сил на всех детей? Поэтому, по Песталоцци:

Не может возникнуть и никогда не возникнет такое состояние, которое во всем могло бы удовлетворять требованиям этой великой идеи.

До тех пор, пока социализация представляется движением сверху вниз, от высших существ к низшим, никакое распределение прогрессивных черточек по реальным школам ничего не изменит по существу. Однако стоит допустить, что все без исключения члены общества, не взирая на пол, возраст и этнические особенности, участвуют в общем труде, и каждый на своем месте нужен и незаменим, — учимся мы друг у друга, и воспитываем друг друга, — и у каждого миллионы наставников, представляющих все стороны любых идей.

Другая сторона буржуазных педагогических теорий — требование подчинения социализации рынку, который объявляют единственно возможным гарантом уважения общечеловеческих ценностей; заметим, что сам этот пропагандистский штамп уже предполагает товарное производство и товарообмен. В гуманистической педагогике лишь рекомендуют «считаться с будущим положением воспитанника» (Дистервег); нормативное образование профессионально ориентирует будущих работников, знакомит их с запросами рынка труда (а высшее образование считают сугубо профессиональным). В любом случае, воспитание оказывается в заложниках у обучения: предполагается, что

⁵⁸ Повышенное внимание к качеству образования могут позволить себе лишь очень богатые — и тем самым гуманистическая идея превращается в свою противоположность, идеологию классовой сегрегации.

всякое знание воспитывает, а воспитанность сводится к знанию культурных требований и норм. Ту же утопическую идею встречаем у Роберта Оуэна: он свято верит, что достаточно показать человеку истину, чтобы увлечь его на путь истины, — и знание о добродетели заставляет быть добродетельным. Здесь снова и снова Аристотель — впереди планеты всей: он полагает, что образование прежде всего вовлекает человека в общественно полезный труд, и «следует участвовать лишь в тех полезных занятиях, которые не обратят человека, участвующего в них, в ремесленника»; только практикуя добродетель можно стать добродетельным, а потому «для всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом воспитании должна быть общим, а не частным делом». Если приподнять это на чуть более продвинутый уровень, дело общества — создавать условия, при которых люди смогут свободно обмениваться знаниями и умениями, так что никакие педагоги им вообще не нужны. Доброжелательная атмосфера и разнообразие труда воспитывают каждого члена общества в духе глубокого уважения ко всем остальным — а следовательно, бережного отношения к продуктам труда. Легко видеть, что такое общество совершенно несовместимо с идеей собственности; вместо разделения труда, оно делает каждый труд доступным каждому — и переходит к подвижному распределению производственных ролей. В частности, поддержание и развитие такого порядка не требует каких-либо «специалистов», или «профессионалов»: каждый вправе обратиться за помощью к кому угодно — и у каждого есть чем поделиться с другими; педагогика испаряется — и способность осветить чей-то путь не требует ничего кроме разумного отношения к собственной деятельности.

Воспитанному в духе буржуазной педагогики может показаться, что подобная универсальность в принципе невозможна — поскольку во всяком деле, вроде бы, есть опытные и новички, и передача знаний и опыта неизбежно оказывается односторонней. И вполне естественным кажется преимущественное воздействие взрослого на ребенка, а не наоборот. Детям, ведь, еще многому предстоит научиться...

Однако разум не доверяет никакой естественности — он ее создает. Даже стихийная история человечества — пример разительных культурных сдвигов: то, что естественно сейчас, — не было столь же естественно в прошлом; естественность прошлого для нас — вульгарный анахронизм. При капитализме вместо полноценного человека готовят всего лишь работника — а потому больше интересуются его телом,

способностью приводить в движение орудия труда. В неклассовом, разумно устроенном обществе плоть — прежде всего носитель духа, способ его бытия. Поэтому социализация на первый план выдвигает духовное производство; в частности, воспитание становится основой образованности, а образование — синоним воспитанности. Задача не отрегулировать движение вещей по единому образцу, а привить вкус к такому (само)регулированию, умению воплощать самого себя. Этим занимаются не отдельные люди (наставники), а общество в целом: оно не воздействует на ребенка, понуждая вырабатывать те или иные качества, — оно лишь помещает его в очень богатый (универсальный) «питательный бульон», в котором постепенно «кристаллизуется» уникальный способ участия человека в общественной жизни — единичный субъект. Это не законченное образование, а лишь начало пути, возможность собирать себя из имеющегося материала на протяжении всей жизни. Нечто подобное можно наблюдать и на биологическом уровне: зародыш в утробе матери помещен в особую (защитную и питательную) среду — но развивается-то он сам, взаимодействуя не только с телом матери, но и с окружающим миром! Акт рождения вовсе не начинает развитие заново — а лишь продолжает его в ином качестве, в другой среде. Потом такие (пере)рождения будут следовать одно за другим; у людей (существ принципиально не биологических) — биологическая смерть не останавливает движение, а лишь переводит его на следующий этап, делает преимущественно духовным: человек сливается с породившей его культурой и развивается как культурный процесс. Ничто не мешает ему возродиться в иных исторических условиях в единичной личности, совсем не похожей на «оригинал», — и это духовное родство иногда можно заметить лишь со стороны, с расстояния в несколько веков. Человечество раздроблено на классы, нации, исторические персонажи; но разум един, и он пробивается через эту пестроту как всеобщая связь и внутреннее единство. Капитализм приучил всех быть против всех — осознавать себя как уникальность, отличие от других; разумное общество, наоборот, позволит каждой единичности осознать свою разумность как единство, общность, идентичность целому, способность универсальным образом представлять все человечество (или иные разумные сообщества). Прототипом этого служит классовое сознание; остается только снять экономические и духовные барьеры — и на деле создать то общее, чем мы могли бы себя ощущать.

В классовом обществе поставленная еще древними греками задача изначально общественного воспитания заведомо неразрешима — даже если свести образование к минимальным потребностям государства-полиса. Дело не только в том, что требуемая для этого экономическая база и уровень рефлексии должны обеспечить общественный характер духовного воспроизводства, — само общество в классовой культуре не существует как целостность *de facto*: оно всегда представлено иерархией классов, сословий, формальных групп. Поэтому обучение и воспитание носят не общественный, а групповой характер; принадлежность группе ограничивает направленность развития, ложится несмываемым пятном на официальную и творческую биографию: только будущие поколения смогут отделить настоящую индивидуальность от юридической, духовность от идеологических влияний, — и вывести на свет мечты и стремления, в которых автор не решался себе признаться.

В описанной выше четырехкомпонентной схеме буржуазной педагогики стихийный компонент выступает одновременно и как синкретическая основа всего последующего развития — и как частичный синтез, проекция всей совокупности наличных культурных установлений на внутригрупповое пространство, своего рода цензура, групповой отбор. Ребенок с самого начала помещен в узкие рамки непосредственного окружения (формального или неформального) — его социализация следует прежде всего групповым приоритетам, которые общественное воспитание может лишь адаптировать и корректировать. Отношения вне группы следуют единой классовой модели: вертикаль власти плюс относительная замкнутость внутренних группировок — фракций, коллективных тел (по-английски: *collective bodies*) как органов общественного тела. Буржуазный идеал органичности, гармоничного сосуществования классовых структур, — выражение недостаточной разумности классового человека, его заведомой животности.

Однако из универсальности сознательной деятельности вытекает важнейшее отличие общественных организмов от биологических: один и тот же человек (или коллектив) может принадлежать очень разным группам, и эта связь может быть изменена несколько раз на памяти одного поколения. Разумеется, в классовом обществе такая перестройка духа под новые мотивировки — процесс отнюдь не безболезненный (даже там, где новое возникает намеренно, как осуществление мечты). Но принципиальная осуществимость совмещения в одном человеке нескольких людей (как уровней личности, или параллельная жизнь)

открывает возможность преодоления органичности и перехода к совершенно иной, изначально общественной организации субъекта, допускающей свободное обращение любых иерархий, сознательный переход от одной структуры деятельности к другой. Только в человеческом обществе каждый орган может превратиться в любой другой без ущерба для целого — отсутствие этой свободы есть признак незрелости разума.

Совмещение разных общественных функций приводит к внутренней иерархичности субъекта: его поведение определяется уже не только происхождением, но прежде всего — разнообразнейшими внешними связями, личной историей; в каждом единичном поступке, и на каждом этапе жизненного пути, индивидуальная история разворачивается по-своему, выводя на вершину иерархии одну из компонент личности и подчиняя остальные ведущему мотиву. В классовом обществе эта сложность сводится к набору типовых ролей, готовых (заданных строением рынка) иерархических структур, которые не выращиваются сообразно требованиям момента, а лишь формально включаются и выключаются (при том, что переобучение и социальная реабилитация доступны далеко не всем). Когда ситуация требует большей гибкости, сугубо внешнее сочетание плохо совместимых личностных функций ведет к внутренним конфликтам; по мере развития материального и духовного производства среда становится все разнообразнее — отсюда массовость поведенческих проблем (и психических расстройств) на излете каждой культурно-исторической формации, когда формально закрепленное общественное деление уже не соответствует тенденциям развития экономики и духа.

Замыкание в рамках группы (семья, сословие, община, дворовая компания, производственный коллектив, криминальная группировка...) приводит к перекосам индивидуального развития; какими бы разными ни были его условия, это главным образом воспитание животности, а не разума, производство моральных уродов. Уродство капиталистической экономики отражено в уродливой педагогике. У принадлежащих по рождению к относительно привилегированным социальным слоям — гораздо больше шансов овладеть передовыми технологиями и проявить себя в отраслях, требующих длительного технологически насыщенного обучения; совершенно так же обстоит дело и в духовном производстве, в рефлексии: если в искусстве таланты из рабочих и крестьян иногда могут добиваться общественного признания (когда отпрыскам богачей

просто лень лишний раз поработать над собой) — наука и философия практически полностью отданы на откуп потомственной интеллигенции: даже получив высшее образование, представители низов остаются на вторых ролях.⁵⁹ В плане духовности — сколь угодно образованные интеллигенты ничуть не выше простых работяг: ни те, ни другие не способны выйти за рамки касты, посмотреть на мир другими глазами, — и следовательно, стать по-настоящему универсальными, разумными. Рыночная конкуренция — рыночная мораль: одни презирают других — и уже этим презренны.

В классовом обществе ростки бесклассовой культуры не могут обрести сколько-нибудь адекватного воплощения — и вынуждены проявлять себя в доступных на данный момент культурных формах, как скрытая возможность. В частности, групповая замкнутость, при всей неразумности, не всегда однозначно вредна: да, в большинстве случаев она лелеет историческую отсталость, подчеркивает (и оправдывает) общественное неравенство и не позволяет объединиться борцам за лучшее будущее, — но в каких-то условиях изоляция от официальной педагогики не дает возможности вытравить ростки нового мировоззрения, дать ему созреть в «тепличных» условиях до того момента, когда оно сможет открыто постоять за себя; такое высвобождение часто предполагает разрушение собственного «инкубатора» — подобно тому, как птенец разбивает скорлупу яйца.

Для нас важнее всего — существование в рамках буржуазной педагогики принципиально непедagogических форм социализации. Наряду с индустрией духовного производства — обширнейший пласт кустарщины, которая, большей частью, вообще не задумывается о принципах обучения и воспитания, а действует в русле исторической традиции — или исторической перспективы. Официальная машина обучения и воспитания в классовом обществе, по сути дела, создает еще одну иерархию групп как надстройку и альтернативу экономическим делениям; эти «параллельные миры» общими усилиями формируют внешнюю и внутреннюю духовность; в условиях всеобщего разделения труда они далеко не совпадают и могут находиться в довольно сложных

⁵⁹ Это касается и формально общедоступного образования в СССР. Поступить в престижный вуз — было очень непросто; во многих случаях родители и родственники выступали против «непрофильного» образования, и молодым приходилось буквально сбегать из семьи, чтобы заняться чем-то для души (но найти себя в новой профессии все равно почти никому не удается, поскольку подходящие места — только для своих).

отношениях друг к другу. Единство личности возможно лишь там, где ее деятельность направлена на устранение классовых различий, в борьбе за свободу (которая, как и прочие проблески будущего, в классовом обществе нередко принимает извращенные формы). Однако строение системного и группового образования совершенно одинаково — это две стороны одного и того же. Стихийная социализация начинается с синкретизма, выстраивает аналитический уровень, и это позволяет перейти к синтезу.

Типично синкретическая технология социализации — *следование*. Человек поставлен (обществом или группой) в такие условия, когда он просто не может действовать иначе, и формирующая среда с самого начала вбивает в него стойкие привычки, с которыми потом можно долго бороться — но они сохраняются как фундамент для более развитых поведенческих форм. Поскольку классовое общество вообще вырастает из семьи, синкретическое семейное влияние на современного человека никоим образом нельзя сбрасывать со счетов. Как правило, поскольку капиталистическая семья встроена в рыночную экономику, особых противоречий между общественным и семейным воспитанием не возникает: родители как продукт общественного производства передают ребенку уже заложенные в них культурные предпочтения — и тем самым семейное воспитание воспроизводит также противоположность семьи и общества, а классовый характер семейного воспитания связан с отражением классового деления в строении семьи. Некоторые («нетипичные») семьи используют относительную изолированность от массового образования для формирования передовых идеалов — которые, впрочем, почти никогда не свободны от (внешней или внутренней) буржуазности.

Довольно сложные системы синкретической социализации связаны с образованием семейных и территориальных кланов, разного рода «блатных» структур (от широкой сети знакомств до откровенного криминала). Однако стихия не останавливается на синкретизме и вырабатывает ряд аналитических форм, в какой-то мере подобных официальной педагогике. Например, следование на аналитическом уровне превращается в (намеренное или «инстинктивное») *подражание*; отличие от следования — в замене объективной необходимости субъективным предпочтением, когда источником знания или навыка становится не среда как таковая, а другой человек (что, собственно, и говорит об аналитичности, связи различных сторон действительности).

У богатых свои образцы, у бедных совсем другие, — но они всегда есть (хотя не всегда человек себе может в этом признаться). Аналитическое воспитание включает также все способы прямого воздействия группы на ее членов — от авторитарных решений до морального влияния или экономического давления.

В качестве синтетического уровня — выступает сознательная фильтрация внешних воздействий в соответствии с характером группы. Сознательно или нет, человек расставляет приоритеты, исходя из своего группового статуса: общественное положение редко бывает достаточно независимым — и большинство решений принимается в интересах «близких» (от друзей и любимых — до соратников по классовой борьбе, о которых человек может вообще не знать).

Противоположность общественного и стихийного образования снимается в *самообразовании*: с одной стороны, человек сознательно использует возможности общественных образовательных структур, — но вместе с тем он противопоставляет им индивидуальность отбора, нестандартность интерпретаций, выстраивание не всегда совместимой с культурными стандартами иерархии оценок и критериев. Очевидно, самообразование предполагает возможность реального обособления исполнителей в процессе производства — создание своего рода «микрогрупп», состоящих из одного-единственного члена; духовная связь личностей (любовь) приводит к множественности единичного субъекта: для общества он неотличим от одного или нескольких других, экономически и духовно представляет всех сразу, — и социализация (включая самообразование) затрагивает каждого из них.

Переход к неклассовой экономике (включая духовное производство) устраняет формальное разделение общественных групп и снимает противоположность единичного субъекта коллективному разуму. Такое общество уже не выделяет социализацию в особую отрасль — и можно говорить лишь об образовательной составляющей всякой деятельности, поскольку она по-настоящему разумна — и воспроизводится как общественный продукт. Производство и потребление при этом также становятся взаимно дополнительными сторонами целого, материальное и духовное производство больше не противостоят друг другу. Тем не менее, как уровни одной иерархии, все эти различия объективно возможны и субъективно необходимы — и можно, например, в каких-то условиях сопоставлять обучение и воспитание с производством и потреблением в духовной деятельности (воспроизводство субъекта).

Разумеется, такие связи возникают лишь в одном из контекстов, тогда как в бесконечности других наши нынешние понятия вообще не имеют смысла.

Возникновение педагогики связано с классовым разделением труда. Дети низших слоев общества с рождения включены в производственный процесс и для них возможна лишь синкретическая социализация. Осознание детства как особой ступени развития — первоначально воспроизводит классовую структуру общества лишь в строении господствующего класса. Высвобождение части населения из сферы обязательного труда не отменяет обязательности труда как такового — и на место деятельности встает рефлексия деятельности, ее духовная «имитация». Так возникает общественное разделение материального и духовного производства — и точно так же внутри господствующего класса возникает рефлексия по поводу его места в экономике и культуре в целом; этим и занимается педагогика на ранних этапах своего развития. В наши дни относительно высокий уровень жизни в экономически сильных странах позволяет хотя бы частично вывести большинство детей из производственной сферы — и педагогика становится массовой; однако успех не приходит сам собой — и на грани XIX и XX веков европейским трудящимся еще приходилось бороться за (хотя бы предварительное и поверхностное) приобщение всех без исключения детей к достижениям культуры. Есть страны, где даже это пока недостижимо. Тем не менее, установление (сначала национальных, а потом и) глобальных образовательных стандартов (разумеется, классово дифференцированных) ставит на повестку дня вопрос о качестве образования — имея в виду как его характер, так и достижимый уровень культурности.

Рефлексивность образования в классовом обществе отделяет его от производства как такового: вместо того, чтобы научить и воспитать, педагогика ориентирована лишь на общее ознакомление с типовыми производствами (материального и духовного профиля). За этим стоит, казалось бы естественная идея: все знать невозможно — но желательно иметь возможность выбора, широкий кругозор. Человек представляет себе, какие продукты вообще возможны — учится формулировать запросы; собственно работы мы отдаем рабам (кому самостоятельно запрашивать не положено) — а потом и автоматическим устройствам, роботам. На современном этапе выясняется, что знакомство с культурным разнообразием даже в объеме простой осведомленности

выходит за пределы человеческих возможностей. На помощь приходят роботы второго уровня, информационные системы, которые не просто расширяют неорганическое тело человека, а выводят его с уровня собственно телесных воплощений на уровень коллективного субъекта: это уже не отдельные компьютеры, а компьютерные сообщества, прототип искусственного разума!⁶⁰

Пустота абстрактного (формального) образования в наши дни становится настолько очевидной, что интерес к учебе совершенно испаряется, а воспитательное влияние школы стремится к нулю. Приходится изобретать всевозможные трюки, завлекать и развлекать, чтобы хоть ненадолго удержать внимание. Поскольку специальные знания все равно придется черпать из других источников — школьная жизнь полностью отходит от обучения и превращается в ролевую игру. Конечно, игры — необходимый этап социализации: игра внедряет в ядро личности идею общественного производства, привычку совместности и общезначимости результата; более того, модельный характер игровой ситуации — прототип того самого целенаправленного изменения природы, ради которого миру необходим разум как таковой. Однако на заложенном фундаменте надо что-то строить — а что? Здесь педагогике предложить нечего — остается только кивать на будущие возможности, предстоящее вхождение во взрослый мир (в рыночной экономике отделенный от мира детей).

Гуманистическая педагогика чувствует порочность метода — но до тех пор, пока она остается педагогикой, пока одни призваны выводить в люди других, реальной альтернативы нет. Когда Песталлоцци и его последователи призывают отбросить книги и получать знания из якобы жизненного опыта — это не соединение образования с практикой, а наоборот, сведение производства к образованию, к ролевой игре. Воспитание безответственности. Такое опошление мира ничем не лучше формальной отстраненности от него, традиционной схоластики.

Но как же быть, если грандиозные масштабы культурного наследия, накопленного за тысячи лет, действительно превышают возможности человека, и ни у кого нет ни малейшего шанса прикоснуться ко всему? Тем более такая задача не по силам для ребенка — и чем-то надо

⁶⁰ С этой точки зрения, традиционная буржуазная педагогика, по сути, играет роль информационной системы, и педагоги подобны роботам. Отсюда характер и качество массового образования.

ограничиться, и нужны грамотные наставники, чтобы подсказать возможные направления в соответствии с природными задатками и склонностями? Нельзя же просто обрушить на неокрепшее существо лавину сведений и требований — где неясно даже с чего начать.

Ответ прост: не надо сводить человека к животному, к организму, или к отдельным его частям (вроде мозга). Если биологическое тело не справляется с какими-то задачами — надо расширить его, снабдить искусственными органами, чтобы такое, хорошо оснащенное тело отвечало возложенным на человека культурным задачам. Этим, собственно, человечество и занимается на всем протяжении своей истории. Мы не умеем разглядывать атомы — но используем законы их движения в производстве и в быту. Мы не умеем проходить сквозь камень и перепрыгивать моря — но строим тоннели и мосты. Мы не умеем летать как птицы — но мы научились это делать гораздо лучше, вплоть до полетов в безвоздушном пространстве. Если традиционная педагогика зашла в тупик и не может обеспечить полноценного участия каждого человека в культурных процессах современности — надо искать другие пути социализации, ориентированные не на биологию, а на общественную координацию индивидуализированных комплексов вещей, которые мы будем считать настоящим (а не формальным) телом человека, и любое нарушение этой целостности будем лечить как болезнь.⁶¹ Соответственно, учить и воспитывать придется не какую-то зверушку — вместо этого речь о настройке расширенного организма, включающего органические и неорганические компоненты, и предполагающего их связь не за счет чисто природных качеств, а в силу определенных культурных установлений. В древности мышечное движение было основным способом приведения в движение природных вещей ради устройства культурной среды. Поэтому, скажем, спартанская молодежь упражняла главным образом тело — и долгое время Спарта оставалась образцом физического воспитания. Уже в эллинистическую эпоху это преимущество испарилось — поскольку на первый план вышло умение управляться со сложными орудиями труда; в том числе, военные технологии больше не опирались на грубую силу. С приходом нового времени, промышленная революция поставила задачу перехода

⁶¹ Заметим, что любое медицинское вмешательство заведомо выводит человека за рамки биологии, привлекая координированные действия многих людей, оснащенных совсем не природными средствами воздействия на органику.

от прямого физического воздействия к дистанционному управлению, не усиливающему рабочее усилие (подобно экзоскелету), а полностью меняющему характер рабочих движений: управлять экскаватором — совсем не то же самое, что копать большой лопатой, а использовать кузнечный пресс — не просто махать молотом. Точно так же, обучение и воспитание в наши дни — вовсе не то же самое, чем они были сотню лет назад: для современного ребенка (и особенно для подростка) куда важнее усвоить логику программирования производственных процессов и человеческого общения — а не вникать в тонкости физической реализации того и другого. Технологические цепочки индустриальной агротехники — вполне подобны заводскому конвейеру или организации городского хозяйства; одна и та же эмоция может внешне проявляться очень по-разному (а при отсутствии прямого контакта о ней можно только догадываться) — но нам и не нужно уметь ее распознавать: достаточно знать о ее существовании и ее общественной роли, чтобы планировать деятельность с учетом всех возможностей. Это не значит, что вникать в механику, биологию или психологию вовсе не интересно; однако такое углубление уже не имеет собственно образовательного характера — переходит в сферу взаимодействия человека с природой, становится моментом общественного производства. Мы не держим в голове спецификации всех узлов и деталей, формулы строения всех веществ, названия всех органов тела... Все это есть в справочниках — или допускает измерение. Пока мы занимаемся чем-то одним — набор основных сведений всегда при нас; стоит сменить род занятий — старые навыки уходят, уступают место другой конкретике. Никакая школьная программа не сможет вместить всех вариантов.

Педагогика — наука классовая. Она не просто отражает формы общественного неравенства — но и активно воспроизводит их, передает из поколения в поколение. В ее основе — принцип разделения труда, замена сотрудничества и взаимопомощи формальным объединением — конкуренцией. Говорить о смене рода деятельности в классовом обществе можно лишь условно: жесткие границы не дают людям свободно перемещаться в экономическом пространстве — и освободить дух. Баловаться такими метаморфозами могут лишь богатые. Бедняк прикован к профессии, вынужден продолжать — ради чего? Труд превращается в работу, жизнь обесмысливается. Разум умирает. Кризисы начала XX века расшатывали это крепостничество, вызывали перемещение широких масс из одной отрасли производства в другую...

Но уже в конце века капиталисты нашли способ снова распихать всех по клеткам: стандартизация и сертификация. Если раньше достаточно было продемонстрировать умение (и предъявить рекомендации) — сегодня трудоустройство невозможно без дорогостоящей корочки, и далеко не каждый может купить несколько дипломов. Поскольку же стандарты долго не живут, всегда есть возможность прорезать голытьбу на энную сумму, подорвать их личную экономику, — чтобы не слишком мнили о себе. Разумеется, в основе всего разделение на имущих и неимущих — нанимателей и наемных рабов. Только полное уничтожение классовых различий избавляет нас и от образовательного неравенства, ставит всех в одинаковые экономические условия — с самого начала, еще до рождения. И нет больше учащихся и воспитанников, нет педагогов и наставников, — а есть совместная деятельность, равно необходимая для развития всех ее участников.

Рыночный характер буржуазной педагогики — источник тысячи уродств. Для рынка все товары — на одно лицо; они различаются только себестоимостью и ценой. Профессиональные педагоги выделены в особую нишу — в рамках которой возникает широкий спектр количественных градаций. Кастовость уродует души — и этим уродам доверено производство уродов в общечеловеческом масштабе. Буржуазный педагог — всего лишь обслуживающий персонал, наемный работник, — и он прививает то же сознание выпускникам народной школы; напротив, буржуй с малолетства знает, что он буржуй, — и буржуйское дитя изначально чувствует себя выше взрослого слуги; их педагоги в первую очередь должны уметь кланяться. Кастовость — синоним ущербности; ущербное самосознание оторванного и от низов, и от верхов буржуазного интеллигента трактует замкнутость как избранность, неприкаянность как свободу, — и тешит себялюбие иллюзией привилегированности. Уровень притязаний заведомо выше реалий общественного положения; но эти соловьи согласны кормиться баснями о якобы блестящих перспективах.

Низшие слои буржуазной интеллигенции довольствуются лишь привилегией вещать сверху вниз, влиять (через систему обязательной аттестации) на общественное положение миллионов людей. Конечно, не у всех эта садистическая нотка будет определять характер деятельности. Есть те, кто искренне верит в благотворность всеобщего просвещения и стремления к высокой нравственности; однако изоляция педагогики от магистральных направлений общественного производства, подмена

образования формальной образованностью, сводит на нет благие начинания: массовая школа — не то место, где дают реальные знания и подают пример духовности, творческого отношения к миру и к себе. Раньше говорили: *ума нет — иди в пед!* Именно такие, зараженные комплексом неполноценности образовательные кадры нужны крупному капиталу для закрепления настроения безысходности в самосознании угнетенных масс — чтобы уже не хотелось мечтать, и тем более следовать за мечтой.

Элитное образование в этом плане ничем не лучше: будущих наставников и теоретиков лишь внешним образом приобщают к деятельности и нравам господ, при строгом разграничении реальных возможностей, незыблемости экономических барьеров.⁶² Не знание или умение — а знакомство. Именно этим всегда и брали классовые середнячки, которые по жизни ни нашим, ни вашим: они поддерживают как можно более широкий круг полезных знакомств — а дальше круговая порука: ты мне — я тебе. Махровая семейственность в обычае у «рафинированного» общества; их дети растут в особой, искусственной среде — в атмосфере формальной «культурности», когда безбедная жизнь многое позволяет — но разуму ничего не дает. Классовая пропаганда тычет в глаза примерами выдающихся интеллигентов — скромно умалчивая, что это всего лишь единичности, исключения из правил, — тогда как большинство «перспективных» так и остается на уровне самодовольного мещанства, не способного шагу ступить без опоры на родственные и сословные связи, сызмальства претендующего на одно из положенных по статусу теплых мест; в точности та же схема раздувает лубочный образ якобы «сделавшего себя» буржуя, из нищеты взлетевшего в миллиардеры.

Бесклассовое общество устранил разделение труда — чтобы любой член общества мог участвовать в чем угодно. Идеал может показаться совершенно недостижимым: люди очень разные — и кто-то больше подходит для такой-то деятельности, а другим она противопоказана... Но это взгляд из нашего сегодня — когда нас с детства рассаживают по культурным нишам и не заботятся об универсальности развития. Разум

⁶² Авторы многочисленных пособий по быстрому обогащению никогда не будут действительно богаты; тренеры по эффективному ведению бизнеса на практике никакого бизнеса не ведут, и не смогут — даже если предоставить шанс. Точно так же, рядовой бухгалтер лишь в редких случаях дорастет до финансового директора — но почти никогда не войдет в круг принципалов.

говорит иначе: если что-то кому-то недоступно — это не факт, а постановка общественной задачи, требование обеспечить всестороннее приобщение каждого к достижениям культуры. Надо не загонять себя в угол, не искать «подходящего» применения своим талантам, — надо сделать так, чтобы любое применение было подходящим, и свободно менять себя, чтобы свободно творить. Для разумных существ нет природных ограничений — они сами создают и обустроивают природу. Разумеется, физически разные существа (не только люди) будут по-своему участвовать в общем деле; но этим они как раз и интересны обществу (и друг другу) — и важно не потерять ни одной грани.

При таком подходе, социализация совпадает с общественно полезной деятельностью, с творчеством, трудом. Каждый изначально включен в материальное и духовное производство, и любые временные рамки теряют всякий смысл. Нет никаких границ, не нужно чего-то во что бы то ни стало добиваться, — нет различия успеха и неуспеха, удачи и неудачи. Любой результат по-своему важен — если к нему разумно относиться.

О какой педагогике тогда может идти речь? Все учатся у всех, все воспитывают всех. И только так могут прийти к самообразованию, пересозданию самих себя. Может показаться, что такая подвижность больше свойственна духовному производству — а плоть инертна. Впечатление обманчивое. Дух не существует сам по себе — он в движении материальных тел. Только изменяя характер этого движения можно духовно развиваться. Прежде всего (непосредственно) нам доступно преобразование вещной стороны культуры — а дух мы выращиваем опосредованно, через материальное действие, изменение характера движения природных тел. Самообразование, таким образом, состоит в целенаправленном изменении собственной плоти, сращивании себя с передовыми технологиями. Это главный и единственный педагогический прием. Хотите духовно расти? Трудитесь, обращайтесь внимание на то, как вы трудитесь, — и передавайте ваши открытия другим, превращайте в элементы общей культуры. Любой вклад в культурное целое вернется новыми возможностями, направлениями деятельности — а значит, и расширением внутреннего мира, выходом за горизонт. Такое отношение к окружающим, и к обществу в целом, называется в материальном производстве свободой, а в духовном производстве — любовью. Воспроизводство разума больше не нуждается в педагогике — ему достаточно любви.

Универсум университета

Школы появились очень давно. Как только знания, подобно другим продуктам деятельности, стало возможно копить и обменивать излишки на что-нибудь утилитарное, некоторым членам общества достаточно время от времени поделиться кое с кем интеллектуальным багажом, чтобы обеспечить себе относительно безбедное существование. Понятно, что подобный обмен состоится лишь там, где у продавца (не обязательно торгующего своим умом) имеется нечто, отсутствующее в массовом доступе: от известного всем — никакого дохода. Отсюда мораль: ни при каких обстоятельствах не открываться до конца — дозировать просвещение в целях сохранения стабильности рынка. А не осталось ничего за душой — принять глубокомысленный вид и давить на административный ресурс. Поскольку первоначально торговали знаниями те, кто непосредственно занят в их производстве, само это производство распадается на хаос ремесел: каждому умению — свой рыночный авторитет. Делимся лишь внутри корпорации — и эти цеховые школы глубоко синкретичны: они воспроизводят, главным образом, сами себя. Например, жречество выращивает кадры для нужд культа, а образование фараона — овладение ремеслом правителя. Деятельности разных слоев общества очень различны, в них требуются разные навыки. Таких навыков может быть много, и они выстраиваются в особые иерархические структуры, — но лишь к закату античности компоненты таких типовых наборов приобретают характер отдельных отраслей, и традиционное образование (обобщенного) ремесленника становится предметным, представляется комбинацией разных школ. Так возникают стандарты и технологии средневекового образования, все еще синкретичного — но уже отделяющего производство знаний от преподавания. Квалификация преподавателя подтверждается именами его учителей — а иногда (подобно прочим ремеслам) официальными лицензиями (хартиями), дающими исключительное право заниматься именно этой деятельностью.

Усложнение производства порождает сотни новых направлений — соответственно усложняется и образование, и в конце концов прежние сословные и цеховые ограничения начинают мешать общественному развитию. На смену синкретической экономике и рефлексии приходит аналитический принцип: новое уже не выращивают с нуля, по мере

необходимости, а конструируют под задачу, сознательно подбирая и целенаправленно соединяя готовые элементы. Из этой комбинаторики почти готова вылупиться современная наука — но аналитическое образование невозможно в условиях разобщенности школ, и требуются радикально новые решения.

В Европе прототипом и кузницей буржуазной педагогики стали средневековые университеты. Исходная идея предельно проста: вместо того, чтобы скитаться по всему континенту, по очереди обучаясь у признанных мастеров, — собрать всех знатоков (предположительно, черпнувших из первоисточника) в одном месте, и пусть каждый студент набирает собственную коллекцию курсов и учится всему сразу. Тут же, в одном месте, — дешево и сердито. Образование становится почти общедоступным — а кем быть после, всяк решает сам для себя.

Концентрация разнообразнейших духовных производств требует развитой инфраструктуры — и вокруг университетов вырастают города нового типа: не экономические единицы, запертые в кольцо стен, а культурные центры — для которых важнее открытость, свобода роста. Позже из этого вырастет и новая экономика — массовое индустриальное производство.

Разумеется, никаких волшебных палочек: знакомые нам сегодня структуры складывались постепенно, на протяжении нескольких веков. Тем не менее, в историческом плане — это качественный скачок. Поскольку совсем все объединить на практике не удастся — у каждого университета свой профиль; гуманитарное образование довольно рано расходится с естественнонаучным — хотя формальный характер это различие приобрело лишь в эпоху буржуазных революций. Культура раннего Ренессанса увлечена идеей всестороннего развития духа — глубокого овладения всей совокупностью накопленных знаний. Идея, конечно же, утопическая; в качестве реакции — распад университетов на сравнительно узко специализированные факультеты, каждый из которых подразделен на замкнутые в себе отделения и кафедры. Мечта о совмещении разнородных знаний сохнет на корню; в конце концов возникает компромиссное решение: достаточно широкое образование на младших курсах — и специализация ближе к концу. В таком виде университеты дожили до наших дней.

Логично поинтересоваться: а что дальше? Тем, кто на себе испытал существующие технологии, трудно поверить в их высшую разумность. С одной стороны, программы эклектичны и неполны — и на главные

вопросы ответа так и не дают. Другая неприятность — дамоклов меч зачетов и экзаменов, необходимость чему-то соответствовать. То есть, не грызть гранит — а рисовать на нем пошлые каракули. Причина одна: образование в классовом обществе — это вложение средств, которое призвано приносить дивиденды. Нет, конечно, некоторым студентам совершенно безразлично, чем они займутся после: финансовых проблем у них нет, теплые места в ассортименте по блатным связям, независимо от значков и корочек. Университет для них — либо положенное по статусу развлечение, либо возможность от чего-то откосить. Есть, конечно, и те, кто (при всей элитарности) по-настоящему интересуется высокой наукой и готов развлекаться ею вполне профессионально. Однако основная масса — будущая рабочая сила, резервная армия труда. Для них соответствие буржуйским критериям отбора — вопрос жизни и смерти; чем престижнее сертификат — тем конкурентоспособнее. А без бумажки — ты букашка. Даже канаву копать — просто так с улицы не возьмут; чтобы еще и жить на зарплату — не всякая должность годится. Но даже если документы в порядке — наниматься приходится не по зову сердца, а куда дают, — да и там больше мысли об удержаться на плаву, а не о приобщении к высотам духа. Пропаганда выставляет напоказ истории успеха — на каждую из которых десятки тысяч неудачников, кого из пропаганды вырезают так же, как из жизни. Сумел пробиться — по определению, талантлив; кому применения не нашлось — сплошь бездарные лодыри...

Как правило, вуз поддерживает личные контакты с несколькими приличными заведениями — и удачный выбор наставника дает иногда весомые преимущества (хотя беспородным и здесь почти не судьба). Чаще дипломников лишь используют для тупых расчетов, формально вставляют в публикации и компилируют дипломы; это бесполезно в образовательном плане — и разрушает дух. Продвинутый американский вариант: готовые шаблоны курсовых и дипломных работ, формальное заполнение анкеты с галочками в нужных местах. Но классовое образование никогда и не было озабочено созданием условий для творчества, учетом индивидуальных особенностей и личных интересов. Профессиональное обучение не для того, чтобы научиться, — это всего лишь раздача доступов к средствам производства. Если совпадает с наличием таланта — получается интересно. Совпадения редки — отсюда обывательский предрассудок об исключительности талантов (а что не бросается в глаза — того вроде как и нет). Буржуазные идеологи эту

пошлость поддерживают, объясняя общественное неравенство якобы «природными» одаренностями (но не брезгуя и феодальными сказками про голубую кровь, и поповщиной про божий дар).

Универсальное образование несовместимо с цивилизацией — ему тесно в классовых рамках, противно стоять на раздаче — с кассовым аппаратом наготове. Разделение труда — отказ от универсальности. Первые университеты возникали как средство преодоления узости кругозора — возможность приобщиться к основам, чтобы дальше идти своим путем. Раздачей лицензий занимались сословные корпорации. Студент не «приобретал специальность» (чисто рыночное выражение!), ему достаточно было прослушать курсы — не предполагая никакой завершенности, профессии в дипломе, согласно утвержденной сверху номенклатуре. Это не уже достигнутое — а готовность к достижениям.

Завершить ничего нельзя; надо постоянно совершать. Набраться разума — невозможно; надо неуклонно подбираться к нему. Мудрость не продается в красивой расфасовке, с перечнем ингредиентов мелким шрифтом. Труд — не компьютерные игры, с переходом на новый уровень после сдачи предписанных нормативов. Поэтому развитие университета как образовательного принципа следовало бы нацелить не на выдачу дипломов, а на подключение все новых образовательных направлений, на творческий подход к обучению и самообучению. Чтобы не только университет раздвигал студенческие горизонты — но и запросы студентов расширяли диапазон университетской программы, устраняли пробелы и перекосы. Технологии любой эпохи для этого недостаточны — но сегодня возможно то, чего и помыслить нельзя было сто лет назад, и универсум университета расширяется с каждым прорывом к будущему в организации труда.

Деятельность производит определенный продукт — но отнюдь не заканчивается после выхода опытного образца: чтобы сделать продукт достоянием культуры, требуется регулярное воспроизводство, создание возможности участия не только для всех живущих, но для будущих поколений. Производство, следовательно, воспроизводит и условия своего возобновления. Это не повторение достигнутого, а основа для продолжения. Вовсе не обязательно ставить продукт на поток: у общества, быть может, на данный момент потребность в единственном экземпляре; но если вдруг понадобится еще — мы готовы поднять прошлый опыт и воссоздать. Подход принципиально противоположный тенденциям классовой экономики, где погоня за сиюминутной выгодой

приводит к выдавливанию из культуры «устаревших» технологий; некоторые из них восстановить уже невозможно. Конечно, речь не о сохранении прошлого в том же экономическом качестве: например, методы охоты на мамонтов или первобытные формы земледелия вряд ли пригодятся современной экономике, обладающей более совершенными средствами удовлетворения жизненных потребностей. Но помнить и уметь воспроизвести хотя бы в качестве виртуальной модели — условие непереносимое. Тем более важно хранить технологии там, где они все еще востребованы. Так, реставрация произведений искусства предполагает не только знакомство с манерой работы старых мастеров, но и умение повторить их приемы для восстановления утраченных фрагментов;⁶³ замена одних материалов другими или обработка не в том порядке — вместо воссоздания старины производят грубый новодел; возможно, современные аналоги на чей-то взгляд ничем не хуже — но они другие, а утрата сколь угодно малого фрагмента духовности ограничивает свободу разума вообще.⁶⁴

Еще пример — старые книги. Конечно, за свою долгую историю пишущее человечество наплодило тонны словесного и графического мусора, хранить который, вроде бы, и нецелесообразно. Например, религиозная литература на 99% состоит из повторения глупых сказок и ритуальных формул — а самовосхваление действующих властей не несет ни грана разумной содержательности. Тем не менее, даже по таким источникам вдумчивый историк умеет восстановить недостающие фрагменты прошлого — и загодя не поймешь, что для чего пригодится. Следовательно, организация сбора, переформатирования, обеспечения сохранности и критического комментирования имеющихся образцов, — важнейшая задача самосознающего человечества. Информационные технологии позволяют добиться этого уже сегодня — и оцифровка фондов понемногу идет; но ресурсы чаще разбазаривают на дикую коммерцию и защиту чьих-то исключительных «прав», — ограничивая доступ, вместо равных возможностей для всех.

⁶³ На рынке компьютерных систем и программного обеспечения с обратной совместимостью вечные проблемы. По-хорошему, любая старая программа должна свободно запускаться в подходящей виртуальной среде — независимо от срока давности. Но пока — старое просто отбрасывают, и заставляют людей переходить на новое, более мощное оборудование, без которого современные программы работать не смогут.

⁶⁴ Вероятно, когда-нибудь мы научимся собирать вещи по молекулам — и руку реставратора заменит 3D-принтер; так люди смогут творчески пересоздавать самих себя.

Все это прямо относится и к образованию. Классовый подход — внедрение типовых образовательных программ, приспособленных для воспроизводства отделенных друг от друга общественных слоев, во всей их неразумной ограниченности. Соответственно, перестройка классовой иерархии сохраняет лишь те элементы социализации, которые пока остаются общественно востребованными. В эпохи революционных перемен складывается критическое или пренебрежительное отношение к прежним методам приобщения к культуре — и новые педагоги изобретают якобы «естественные» и более «эффективные» системы обучения и воспитания. Естественны эти изобретения лишь в пределах современной им искусственной среды — а эффективность измеряется исходя из полноты и своевременности восстановления существующего порядка вещей. При разумном отношении, любые формы образования уместны лишь в определенных общественно-экономических условиях; поскольку что-то из этих условий воспроизводится в ином культурном окружении, будут востребованы и прежние педагогические приемы, которые, впрочем, в изменившихся условиях придется видоизменить, привести в соответствие с новым кругом задач.

В бесклассовом обществе никому не приходится зарабатывать на жизнь: поддержание жизнеспособности органических и неорганических тел в пределах разумного минимума всем гарантировано — независимо от того, кто чем занимается; поскольку же мы уважаем любое занятие — вообще ничем не заниматься вряд ли кто сумеет. Образование в таком обществе призвано, прежде всего, ознакомить каждого желающего с кругом возможностей — а при желании углубленно изучить предмет предоставить необходимые для этого материалы и учебную среду, где можно попробовать себя, прежде чем выйти на полномасштабные производственные проекты. Легко видеть, что это воспроизводит на новом уровне все тот же идеал университета. С одним исключением: поскольку речь не идет о монетизации накопленного опыта, такое образование не нуждается ни в каких формальных границах — во времени или в пространстве. Не требуется «проходить» курс целиком — достаточно выхватить из него нечто полезное для себя, в любой последовательности, с возможностью возвращения на любой этап. Отсутствие возрастной сегрегации допускает совместное обучение в смешанных группах (от малолеток до седин), — при сохранении индивидуальности каждого, не требуя (но и не исключая) прямого контакта. По сути дела, преподавания как такового уже нет: все делятся

со всеми уникальным опытом — который таким образом перестает быть уникальным и превращается в элемент культуры, доступный для новых соискателей — или продолжающих образование. Такое образование невозможно завершить: если кому-то угодно совершенствоваться всю жизнь (безотносительно к тому, что мы в том мире будем называть жизнью) — это никого не удивляет и ни к чему не обязывает; если другой предпочтет остановиться и сменить направление — общество заранее предвкушает восторг непредсказуемых открытий. Точно так же, пространство любого предмета никак не ограничено — и может захватывать любые сферы производства и общественной жизни. Свобода возвращения к пройденному делает само различие предметных областей чистойшей условностью: отличить смену деятельности от ее расширения практически невозможно. Мы просто переходим от одного к другому, интересуемся опытом партнеров и что-то добавляем от себя. Оттенок осуждения в современной трактовке образа «вечного студента» связан с буржуазной практикой специализации (вместо социализации), когда на каждом товаре должен быть ценник (в наши дни все чаще заменяемый штрих-кодом). Есть каталог профессий — работодатель заказывает по каталогу. Профессионалу положено знать все — но только в пределах его специальности; наличие дополнительных познаний не всегда в плюс: широкое образование считается поверхностным — таковым оно и оказывается в буржуазной педагогике. Бесклассовое общество, напротив, всех делает вечными студентами — и приветствует любое расширение межпредметных связей (вместо нагромождения отраслевых границ): это прямо отвечает главной задаче разума — связыванию мира в одно целое, когда все в единстве со всем.

Конечно же, при снятии профессиональных барьеров и образовании (превращенное в самообразование) перестает существенно отличаться от всякой иной деятельности, сливается с производственной практикой. Универсально развитая экономика предполагает, что универсально развитая личность в состоянии быстро войти в курс дела и попробовать себя в любом производстве, в каких угодно ролях. Разумеется, никто не обязан окучивать необъятное: достаточно трудиться где-то по велению сердца — развивая кругозор на других уровнях индивидуальности, овладевая смежными навыками, сочетая материальное производство с духовным; в частности, попробовать себя и в роли преподавателя, наставника, популяризатора, систематизатора, — обслуживать нужды общего и углубленного образования.

Различие между сельским трудом и промышленностью уйдет в прошлое уже при капитализме; свободный труд внедряет единые принципы организации производства во всех отраслях — но известная подвижность рабочей силы возможна и в классовой экономике: один и тот же человек работает то на конвейере, то в сфере обслуживания, или же на сезонных работах (пока в экономике сохраняется сезонность как таковая)... Суть в том, чтобы дать каждому возможность расти в каждой области — от подсобника до организатора (или даже теоретика). В классовом обществе это неосуществимо сколько-нибудь универсальным образом. Однако экономические модели существуют давно: например, современное (технологически насыщенное) фермерство обычно уходит от узкой специализации, сочетая собственно сельскохозяйственный труд (полеводство, огородничество, птицеводство и животноводство...) с переработкой сырья и кустарной промышленностью (опирающейся на модернизацию традиционных процедур). Освободите типового фермера от необходимости продавать продукт (и производить на продажу), обеспечьте его сырьем, оборудованием, кормами и материалами, — и вот вам производственная ячейка бесклассового общества. Разумеется, капитализм в таком повороте дела не заинтересован — и старательно загоняет фермера в рынок, превращает трудягу в кулака, мелкого предпринимателя, эксплуатирующего не только родственников, но и десятки подсобных рабочих.

Еще пример — из области духовного производства: известно, что в искусстве один человек зачастую затрагивает различные направления и жанры, и в его творчестве они интенсивно взаимодействуют. При этом соединяются не только родственные искусства (например, стихи, проза, драма у литератора), но и очень разные: живопись, музыка, литература... Трудно быть виртуозом сразу всюду — и главным призванием обычно остается что-то одно; но для художника, хотя бы в принципе, нет формальных препятствий к смене амплуа; на деле же, коммерческое искусство стремится запереть каждого в его рыночной нише.

Принцип бесклассового образования — разнообразие и свобода. Как и в экономике, важно не произвести нечто вообще — а удовлетворить конкретную потребность конкретного человека. Если мне по рецепту нужно 100 г сливочного масла — меня не устраивает пальмовое или арахисовое, — и я не обязан покупать килограмм; если мне надо уяснить, чем пространство отличается от времени, — никакие рассуждения об относительности меня не убедят. Мне интересно петь или танцевать не

по школьным правилам — а как удобнее моему организму и настроению. На мои личные вопросы никто ответа не даст — просто потому, что никто кроме меня не сможет их себе задать. Но строить себя без подходящего материала невозможно — поэтому важно охватить как можно больше практических примеров и получить любые разъяснения там, где это близко к задуманному, и остается лишь чуточку подправить, приспособить к своему.

Обычное возражение эмпирионатуралистов: учиться надо тому, как все устроено, — а не воображать невесть что; существует естественная связь вещей, мы ее сумели обнаружить — и теперь всякий культурный человек обязан быть в курсе передового опыта. Для этого и составлены учебные программы: они должны сделать процесс выхода на средний уровень по возможности быстрым и эффективным. А потом творите...

Разумеется, вещи связаны в мире и без нашего вмешательства. Но вовсе не так, как их связываем мы. Соответственно, обнаружимо для нас лишь то, что нам интересно обнаруживать. А что не интересно — то и незачем. Но будет ли безоговорочно интересно обнаруженное кем-то в другой стране и в другую эпоху для всех, кому предписано быстренько усредниться и овладеть? Не факт. Не программы нужны — а такой образ жизни, при котором человек сам решит как ему смотреть на мир, — и за это не ставят отметок, не выдают бумагу с печатью: вопросы приходят и уходят — а ответы никогда не поздно пересмотреть.

Эффективность образования — мираж. Для чего, для кого? Нельзя стать разумным раз и навсегда — надо работать над собой всю жизнь. Как именно я переделаю для себя частицу чьей-то культуры — какая разница? Будет это сейчас или через миллион лет — все равно. Планы и сроки — пережиток первобытной недоразвитости: у человечества в целом есть насущные задачи, и придется соотносить одно производство с другим, — но человечеству не столь важно, кто конкретно доведет дело до конца — или предложит иное направление развития. Каждый поймет то, что нужно понять именно ему, — добавит к общему достижению нечто неповторимое. Единичности не взвесить ни на каких весах — статистика тут неуместна.

Буржуазная система образования заставляет культуру нарядиться позффектнее — и приводит ее к человеку как выбранную родителями невесту, выгодную партию. Бесклассовое образование — свобода встречаться со всеми, искать свою любовь, творить ее. Не имеет значения, где и когда. Образование — уровень всякой деятельности,

неотделимый от деятельности как таковой. При каких-то условиях уровни становятся этапами — но иерархию можно развертывать различными способами — и по-разному организовывать во времени. Разумному человеку доступно все — в том числе, выстраивание тела и духа таким образом, чтобы он мог считать получившееся собой. Когда буржуазные теоретики твердят о якобы ограниченности возможностей маленького ребенка — они умалчивают, что они же сами ребенка и ограничили, отождествили его с неразумной тварью, лишенной иных нужд помимо улаживания позывов плоти. Увидеть в ребенке человека — значит ввести его в круг доступных на данном этапе деятельностей, позволить активно влиять на развитие человечества — а не только примерять на себя культуру *prête-à-porter*. И тогда окажется, что недоступных ребенку отраслей, в общем-то и нет: достаточно избавиться от вьезшейся в классовую культуру привычки все мерить одним шаблоном — чтобы по-разному вовлекать разных по жизненному опыту и компонентному составу людей в общественное производство, развить необходимую для этого инфраструктуру; тогда и обучение возможно в любом возрасте и в любых условиях — выбирая методiku с учетом этих условий, а не формально, одну на всех. Дайте реке самой проложить себе русло, не загоняйте ее в заранее обустроенные каналы — но и не перекрывайте возможность при надобности использовать их. Так мы опять возвращаемся к идеалу университета: широчайшие возможности поиска — и возможность проработать тонкие детали при внимательном разглядывании.

Свободное образование совпадает с самообразованием и взаимным образованием. Каждый следует своим склонностям и интересам — а в итоге интересно всем. Остается вопрос: откуда берутся эти самые склонности и интересы? Для эмпирионатуралиста — они всего лишь зов плоти, физиологические позывы — иногда опосредованные животной психологией. Буржуазные идеологи прекрасно знают, что животных можно дрессировать, — отсюда направленность классовой педагогики: обучение дополняется воспитанием «правильных» (удобных властям) потребностей. Все та же схема условного рефлекса: учебная программа ограничивает круг допустимых вопросов и задает набор допустимых ответов — а дальше (как выражаются специалисты по искусственному интеллекту) «глубокое обучение», выработка привычки чувствовать по стандарту. Для массового производства больше ничего и не нужно. Иногда, впрочем, и такой подход дает свои плоды. Например, чтобы

приятно музицировать в своей компании — достаточно стандартной клавиатуры (или стандартно размеченной гитары) и элементарной теории музыки — а дальше все решает практика. В этом смысле музыкантом может стать каждый. Однако приобщиться к *искусству* музыки ограничиваясь типовыми заготовками нельзя: надо нащупывать ответы самому, выходить за рамки общего образования, интересоваться тем, что не вошло ни в одну программу и вряд ли войдет. Воспитанным по шаблону чаще всего и в голову не придет, что двенадцать нот на октаву — отнюдь не единственная возможность, что есть другие строи, странные и по-своему выразительные. А экономическая машина заточена под массовую музыку и почти не предоставляет технических средств для творческого поиска: инструменты конструируют одинаково, обучение «правильной» технике игра отработано до мелочей; казалось бы, в эпоху компьютеров не столь уж сложно запрограммировать сочинение и исполнение музыки в произвольных строях — но такие продукты на рынке программного обеспечения отсутствуют, и приходится волею-неволею вписываться в готовые формы (далеко не всякому музыканту по душе перспектива стать еще и продвинутым программистом). Как при таком раскладе будут рождаться нетривиальные идеи?

Классики марксизма всячески призывали совместить учебу с производительным трудом. Но если условия труда не дают простора для творчества — учиться придется только уже имеющемуся (которое тут же объявят «естественным» и априорно правильным). А тогда труд неизбежно вырождается в специальность, в профессию (даже если приставить к ней эпитет «творческая»). В итоге «университет» снова распадается на веер специализаций. Столь же дурная альтернатива — «совмещение» труда с учебой: это заранее противопоставляет одно другому, ограничивает их этой противоположенностью, — и на выходе ни труда, ни образования...

Вывод напрашивается сам собой: университет не имеет права превращаться в *образовательное* учреждение; его основная функция — *просвещение*, обеспечение свободы приобщения к культурности. Если речь всего лишь о подготовке к уже «готовой» деятельности — это отраслевой институт, ремесленное училище, техникум... Как бы его официально ни называли. Университет — готовит не только субъекта деятельности, *но и сами деятельности*: на любой вкус, в соответствии с уровнем культуры — но исходя из индивидуальности. Главная задача — распространение духа свободы, требование неограниченного доступа ко

всему объему коллективного опыта. Недостаточно собрать до кучи всевозможные учебники, справочники, экспонаты, шедевры и образцы, мультимедийные курсы, — и дать всем свободный (то есть, в любое время, на какой угодно срок, и во всех смыслах бесплатный) доступ. Хотя и эта задача до сих пор не решена — а решается, на деле, лишь явочным порядком, вопреки авторскому праву и корпоративной секретности. Важно еще, чтобы найденное тут же пробовать в деле, встроить в уже начатое, или встроиться в идущий проект. А здесь два аспекта, материальный и духовный: технологии участия в совместном труде — и общественная приемлемость такого участия.

В материальном плане, требуется не пассивно коллекционировать абстрактные сведения, а создавать конкретные рабочие места, где можно пробовать что-то по-своему — и видеть результат. На первый взгляд, задача невыполнимая: мы же не можем в одном месте производить вообще все! С другой стороны, почему бы и нет? Наше хозяйство так или иначе уже локализовано: место действия — планета Земля и ближайший космос. Если чего-то не окажется в одном месте — оно однозначно есть в другом, и достаточно знать и подсказать где именно, обеспечивая свободу перемещения. Нужно ли говорить, что человек не сводится к биологическому телу, и там, куда органика попасть никак не может, вступают в работу органы неорганического тела, всевозможные приспособления, облегчающие совместный труд, хотя бы и в очень распределенных вариантах? Один из современных прототипов — обработка результатов астрономических наблюдений астрономиями-любителями, с использованием общего массива сырых данных и специализированных программных продуктов, распространяемых по компьютерным сетям. Нет такого производства, которое не допускало бы подобную виртуализацию субъекта деятельности, когда каждый вносит свой вклад — при самых разных телесных особенностях и при любом уровне предварительной подготовки. Проблема лишь в том, чтобы общество изначально признавало эту свободу и делало все возможное для ее практического внедрения.

Неразумность рыночной экономики заведомо исключает равенство и свободу. Это означало бы ликвидацию рыночных ниш — и ненужность конкуренции, в любых формах: все готовы сотрудничать — и всякий продукт изначально для всех. Экономическая общность воспитывает разумное отношение к потреблению: каждый знает, что на данный момент наличествует, и в каком объеме; претендовать на большее было

бы неразумно — тем более в форме истерических жестов и безусловных требований (подобно диким, плохо воспитанным детям). Когда реальной возможности осуществить задуманное нет — логично заняться чем-то иным: например — устранением дефицита, практическим снятием ограничений. Как у Козьмы Пруткова:

Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?

В отличие от животных, человек участвует во многих (в пределе — вообще во всех) деятельности, и развертывает для себя их иерархию не случайно, а разумно следуя от деятельности к подготовке условий для деятельности (включая способность труда) — и не имеет никакого значения, кто чем в итоге займется. Рост внутренней иерархичности — это и есть становление человека, его индивидуальности, уникальности (а значит, тождество миру в целом).

Типичная реакция буржуазного коллектива на вторжение со стороны — отторжение, отстранение и вытеснение. Собственническое отношение к продуктам деятельности — во всем уродстве. Но если продукт вообще никому не может принадлежать — и нет самого понятия принадлежности, — приток новых сил только на пользу: даже просто подхватить тему — уже немало; а если еще и отнестись по-своему, иначе расставить акценты, — это решительно раздвигает горизонты будущего; сумеем предложить особую, неожиданную трактовку — просто подарок обществу. Даже если человек вообще ничего не сделал — все знают, что участие пошло ему на пользу; а развитие личности — самый важный общественный продукт. Обратная сторона того же самого: бережность, уважение к труду (который в бесклассовом обществе не бывает чужим). Разумный человек не будет вламываться в незнакомое дело как слон в посудную лавку: он определится со способом участия постепенно, вращает в творчество, пробуя себя так, чтобы ничему не помешать и не навредить. Это и есть принцип бесклассового обучения, неотделимого от творческого труда.

Метафора университета приобретает в таком контексте иное звучание: общее образование и предметное изучение — не только этапы образовательного процесса, но и его уровни. В каждый момент мы знакомимся с чем-то, что могло бы дополнить или изменить наши сегодняшние предпочтения. Общее образование — это не общие места: наши интересы вырастают из практики, а осматриваться по сторонам полезно, как минимум, для того, чтобы понять, чем мы, собственно, сейчас заняты, дополнить сознание самосознанием и тем самым

перевести деятельность на уровень разума. Как все это соотносится с другими общественными процессами (с историческим временем), для индивидуального развития не столь существенно: как-то оно будет соотноситься все равно — а для общества всякая личность бесценна.

Соответственно, то, что в классовом обществе принимало форму специализации, — превращается в одно из обращений иерархии, расстановку личных приоритетов в каждый момент и в каждом конкретном отношении. Когда я выращиваю цветы — я фермер; монтирую сложные механизмы — я рабочий; обустраиваю улицы — я дворник; думаю о строении вселенной — я физик; придумываю свои вселенные — я поэт... Переключение от одной деятельности к другой — обращение иерархии личности; добавление новых областей — ее рост. Все это и призвана обслуживать система образования. Пространство и время личности — лишь опосредованно соотносимы с физическим пространством и временем: это качественно разнородные явления, их нельзя сопоставлять напрямую, одно вбирает в себя другое целиком — но и обратное тоже верно. Университет каждой личности логически представлен иерархической структурой, как будто бы данной здесь и сейчас; всего лишь орган неорганического тела, способ влиять на мир и осмысленно воспринимать его. Физически это может оказаться широкой сетью вещей и общественных связей, распределенной в пространстве и времени — в масштабах экономики и рефлексии в целом.

Поскольку человек обращает внимание на собственное поведение, осознает место в обществе и культурную роль, на вершину иерархии образования может выйти не одна из «прикладных» областей, а знакомство с собой, намеренное раздвижение горизонтов, взгляд на культуру в целом, как бы со стороны. С точки зрения поверхностного буржуазного сознания — такая универсальность поверхностна, и рыночная цена ее невелика. Но в развитой иерархии вершина — не в отрыве от нижних уровней; разные уровни взаимно обусловлены, без них невозможно целое. Классовая экономика «сплющивает» иерархию, трактует ее все элементы как одноуровневые — и в этой мешанине далеко не всегда удается совместить одно с другим, и свобода расстановки приоритетов превращается в чистейший произвол. Личности для рынка — досадное излишество, препятствующее неограниченной эксплуатации человека, ставшего орудием в руках другого, органом чужого тела, отчужденным от разума. Бесклассовое общество не отрывает духовное производство от материального, и рост

духовности каждого члена общества — безусловный приоритет культуры: этому и служит воспроизводство вещей. Поэтому работа над собой, самообразование, — ничем не хуже прочих производств, и тогда широкое («ознакомительное») образование порождает лишь один из возможных «предметов» (разумеется, весьма условных и временных) — а участие в каких-либо иных деятельности по отношению к этой «профессии» станет ее расширением, ее общеобразовательным уровнем. В целостной иерархии все бывает всем, превращается во все.

В психологии человека — психические процессы и состояния суть свернутые деятельности, переход внешнего движения во внутреннее. При необходимости свернутые деятельности могут выйти на вершину иерархии, развернуться в иерархию внешних действий. В частности, одним из уровней психики становится ориентировочная деятельность, логически (но не всегда хронологически) предшествующая пониманию и исполнению.⁶⁵ В свою очередь, внутри ориентировочной деятельности можно обнаружить уровни ощущения, восприятия и представления — и каждый из них в каких-то условиях превращается в полномасштабную внешнюю деятельность, отодвигая все прочее на второй план. Легко заметить, что общее образование хорошо соотносится с психологией ориентировки, тогда как участие в общественном производстве выдвигает на вершину иерархии фазу исполнения; в единстве того и другого рождается понимание — аналог предметного образования. Психологическая аналогия подчеркивает неразрывную связь уровней образования и производственной деятельности. Разумеется, культурные процессы не сводятся к психологии — но строение *человеческой* психики в значительной мере воспроизводит строение культуры (своего рода проекция, культурно обусловленная перестройка физиологии и психики), и эти иерархии все больше уподобляются друг другу по мере повышения уровня разумности человечества в целом.

Одна из практических реализаций иерархического подхода к организации современного (пока еще классового) образования — рост вариативности, индивидуальности учебных программ, развертывание уровней и этапов в зависимости от практических интересов каждого участника образовательного процесса. Даже если поставить рыночную задачу (приобретение профессии, доступ к средствам производства) — идти к этой цели можно очень по-разному, поскольку в классовом

⁶⁵ В. В. Корень, *Иерархический подход в психологии творчества* — М., 1984

обществе стартовые условия у всех людей заведомо различны, и к одному и тому же они подойдут с разных направлений, и в разные сроки. Например, нет никакой необходимости ограничивать младшие курсы абстрактно общим образованием: первокурсник мог бы посещать спецкурсы по интересующей его тематике — и самостоятельно решать, какие общие курсы ему понадобятся для полноценного восприятия. Может показаться, что это выворачивает университетское образование наизнанку (или ставит с ног на голову)... Но задумаемся: в реальной жизни мы сначала ставим цель — потом ищем средства; то есть, сначала все-таки «голова» — а «ноги» приложатся!

В качестве основного возражения — нехватка ресурсов: количество аудиторий ограничено, их вместимость тоже, — лекции и семинары приходится разбрасывать по расписанию... Но в студенческой среде конспекты лекций всегда ходили по рукам — заполняя неизбежные для нормального (всесторонне развитого) человека дыры в посещаемости. Сегодня конспекты публикуют массовыми тиражами, распространяют по компьютерным сетям; есть также видеозаписи каких угодно курсов. Уберите рыночные барьеры, предоставьте свободный доступ всем к этому наследию — и отпадет необходимость упихивать науку в когда-то выделенные для нее (и уже тесные) помещения.

Другая сторона рыночного образования — безалаберность и лень. Если вместо приобщения к тому, что действительно интересно и нужно, требуется лишь формально проставить специальность в дипломе, как нечто уже достигнутое, — зачем напрягаться? Сдавать экзамены — совсем другая деятельность, ничего общего с образованием не имеющая. Все знают, что предоставление доступа к средствам производства и минимально терпимым бытовым условиям не зависит от образования, что здесь решает пакет сертификатов и рекомендаций (а еще больше — прихоть работодателя, в лице его кадровика). Даже те, кому хотелось бы творческого труда по избранному направлению, не станут придавать значения учебной дисциплине — явочным порядком организуют себе индивидуальный трек, с вынужденными отвлечениями на сессии и курсовые работы. Если же точно следовать абстрактно-традиционной учебной программе, времени на самосовершенствование совсем не останется. Но там, где никто не следует системе, — разваливается финансовая база, уходят ценные кадры. Значит, приходится формально контролировать количество и качество работы (порядок прохождения курсов). Бессмысленность порядка ради порядка.

Казалось бы: кто кроме коллег по работе может основательнее судить о пригодности человека к определенной деятельности? На старших курсах нынешних университетов у студентов и аспирантов есть научные руководители, — которые, вроде бы, и должны подтверждать уровень квалификации. Так почему не вести студентов с самого начала, или даже до поступления в университет? Такая практика существует в некоторых специализированных школах — и ее благотворное влияние на творческий рост трудно переоценить. Однако рынок диктует свои правила: финансирование производственного наставничества крайне ограничено, и желающим поделиться знаниями приходится бороться за гранты в условиях дикой конкуренции; те единицы из тысяч, которым удается войти в состав, конечно же, чисто физически не в состоянии пообщаться со всеми желающими — поэтому даже из официально прикрепленных они отбирают лишь «перспективную» группу, — тех, кто без материальных проблем, и есть хоть какие-то шансы найти покупателя на новенький диплом. Когда людей не делят по деньгам, когда не надо зарабатывать на жизнь, — творческое общение уже не будет дефицитом; тогда и дипломы никому не нужны.

И все же, несмотря на уродливую буржуазность, университетское образование до сих пор хранит искры изначальной универсальности. Кому-то удастся использовать уродливые формы, чтобы выцарапать из-за преград и запретов нужное и полезное, приятное и интересное. Относительный либерализм студенческой жизни допускает отступления от предписанного режима, позволяет примерить к себе широкий спектр общественных явлений, в том числе вне стен *alma mater*. Разумеется, выживают не все — побеждает социальное положение, стабильная экономика, умение схватить и присвоить; кто слишком медленно раскачивается — тем никуда и не успеть. Возможность попробовать себя в живом деле — большая редкость, но прототипы в крупных научно-промышленных центрах все-таки есть. Единство общего и предметного образования — великая сила! Есть, ведь, замечательные мастера самоучки, которым явно не хватает солидной общеобразовательной базы; бывают и прекрасно образованные, умные и знающие, — которые не в состоянии решить ни одной практической задачи. Университет как прототип иерархической экономики играет сегодня и роль хранителя духовности, одного из ее ограниченных воплощений в классовом обществе. После реставрации капитализма в бывшем СССР многие бывшие отраслевые институты (включая флагманские корпорации,

вроде бауманки, физтеха и МИФИ) быстренько переименовались в университеты — получили право максимально диверсифицировать образование, охватить отрасли, весьма далекие от первоначальной направленности; это резко повысило их публичную привлекательность, конкурентоспособность и доступ к источникам финансирования. Так извращенно-рыночным образом лишний раз подтверждена жизненность идеала универсального и тесно связанного с реальным производством образования.

А в идеале, все вообще образовательные учреждения должны когда-нибудь умереть. Непосредственная доступность каждого фрагмента культуры уже сегодня становится технологически возможной — она постепенно отвоевывает себе место в экономике, преодолевая барьеры коммерческих тайн и правовых запретов. Новые сетевые университеты (развитие заочного обучения) берут деньги не за образование (все необходимые для самообразования материалы в сети есть, хотя бы в пиратских копиях) — они продают дипломы, сертификаты, лицензии; их бизнес подогревают законы о безусловной обязательности всеобщей сертификации и лицензирования (коммерческий сговор торгашей с государством). Будет у людей возможность заниматься любимым делом безо всяких дипломов — вся эта финансово-образовательная пирамида рухнет в пыль.

Разумеется, возможность прямого доступа к культурному наследию и свободного общения с носителями культуры никоим образом не означает предпочтительности именно такого образования для всех. Бесклассовое общество не исключает индивидуального или группового опосредования — более того, непосредственность здесь уже не сводится к синкретизму, превращается в синтез всех возможных опосредований. Главное — чтобы ни одна из таких виртуальных образовательных структур не застыла в формальности, опиралась не на традиции или типовые схемы организации производства, а на жажду творчества, стремление разумно выращивать в себе разум, делиться любыми находками и радоваться открытиям других. Здесь не бывает готовых решений — есть лишь примеры и иллюстрации, а обнаружить руководящий принцип каждый должен сам, неожиданно для себя — или для всех. Самообразование невозможно вне общения; иначе это уже беспочвенные фантазии — которые, вероятно, тоже для чего-то нужны, но для чего-то другого. Участие в совместной деятельности, решение практических задач, — единственно возможная опора для духовного

роста. И учимся мы при этом не только вырабатывать продукт — но и учиться у других, и уместно помогать, не ограничивая творчества.

Виртуальные коллективы — это одновременно и виртуальные университеты. Строение такого коллектива — обнаруживает строение деятельности. Мы сводим воедино те ресурсы, которые требуются для практических задач; те, кто умеет лепить из этого общественный продукт, — показывают пример остальным, оперативно проясняя нетривиальные моменты; так рождается учебный курс как культурное единство — и после распада коллектива (переключения на другие деятельности) остается историческая память, возможность возрождения.

Труд — это общение. Тем более там, где участие в труде служит образовательным целям. Университет — не только разносторонние познания, но и разнообразие общества. В сущности, отношения между людьми и есть тот язык, на котором мы можем говорить о деятельности; дефицит общения — распад деятельности, невозможность образования. Общение не предполагает телесного контакта, пространственной или временной близости: вариантов бесконечно много, и у каждой эпохи свой оттенок. Например, чтобы танцевать парные танцы — необходима пара; придется найти школу, где есть шанс попробовать себя с реальным партнером или партнершей. Однако интеллектуальные технологии будущего смогут заменить это непосредственное общение виртуальным контактом, моделировать его на другом материале. Тем самым человек освобождается от несвободы — сохраняя в культуре обе возможности (подобно тому, как музыку можно слушать в живом исполнении или в записи — и эти варианты не заменяют, а дополняют друг друга).

Переход к универсальному образованию устраняет возрастные рамки, уничтожает абстрактные различия между школой и «высшим» образованием, а в школе — формальное деление по срокам. Тот же общий принцип: выращивать иерархию образования из практической потребности, подтягивать к личностному ядру все необходимое для дальнейшего развития. Нужное — запомнится само. Если математике учить не тупыми примерами, а на повседневных житейских задачах, — все одинаково способны, без внутреннего отторжения. Кому-то интересно глубже познакомиться с ботаникой — но разводить цветы или огородничать можно и на минимуме принципов, равно доступных каждому. Представлять себе, как могут вести себя атомы и молекулы — важнее, чем просчитать выход конкретной химической реакции. Прежде всего — разумное отношение, творчество, независимо от того, идем мы

к сознательно поставленной цели или бредом наугад. Подвести фундаментальную основу под опыт, не ради теории самой по себе, а чтобы, как минимум, не чувствовать себе обезьяной. Человеку не интересны точные количества — ему важен качественный эффект. Даже если речь о математике. Прорабатывать детали, превращая производство в стереотип, — рудимент классового прошлого. Для духа важнее общие принципы и схемы, которые можно детализировать по-разному, в зависимости от условий развертывания деятельности.

Однако не попробуешь — не узнаешь. Надо не только ввязываться во все подряд — но и подталкивать историю, хотя бы незаметно, исподволь. Деятельность без продукта — нонсенс. Не может считаться образованным человек, который не умеет довести дело до логического конца. Речь вовсе не о том, чтобы произвести нечто, не требующее дальнейшей обработки. Деятельность принципиально неограниченна, всегда можно продолжать, находить новые уровни и совершенствовать продукт. Бывает и так, что результат виден далеко не сразу — требуются десятки, сотни лет — или больше. Иногда результат вообще нельзя увидеть: он в душах людей. Поэтому на первое место выходит внутренний критерий — чувство завершенности для себя. Человек прекращает деятельность не потому что больше нечего делать — он чувствует, что лично ему пора заняться другим, независимо от величины вклада в общее дело. Застаиваться в одном — духовная смерть. Прекращение деятельности — сознательная смерть в одном теле, чтобы возродиться в другом, в ином общественном качестве.

Одна из возможностей — переход от деятельности к созданию и развитию деятельностей, к обобщению опыта и просвещению. Личность собирает элементы культуры в уникальную иерархическую структуру — и в какой-то момент пора сделать саму эту уникальность элементом культуры, сделать ее достоянием каждого — перевоплотиться в общество в целом. Вершина социализации. Как индивидуальность — человек представляет культуру; в качестве культурного явления — он и есть культура, которой предстоит встраиваться в личности многих и многих людей. А это, собственно, и есть обучение и воспитание. Но невозможно стать всеобщим, оставаясь лишь частностью, чем-то одним. Как учитель, посредник, человек соединяет очень разных людей друг с другом и с человечеством в целом. Но производство единства духа — одна из сторон восстановления единства мира, а это есть определение разума, сознательной деятельности, — универсальное опосредование.

Дух везде и у себя

Английское слово *privacy* непереводаемо на русский язык. Да и в европейских языках однокоренные ему слова означают нечто совсем иное. Конечно, противопоставление личной жизни и публичности — веяние всецело буржуазное, исходно служившее разложению общины и слову феодальной иерархии. Однако в классовых формах выражают себя не только особенности наличного общественного строя — но и тенденции развития; усматривать прототипы будущего приходится в том, что есть здесь и сейчас. В этом плане становление приватности как общекультурной доминанты оказывается весьма поучительным.

Универсальность субъекта означает вовлечение в деятельность любых сторон мира — связывание вселенной в одно целое. В этом единичный субъект ничем не отличается от духа вообще (как другой стороны материальности мира). Разумеется представление субъекта природными телами и общественными явлениями в каждом конкретном случае ограничено и частично — однако осознание этой частичности связано с возможностью выхода за ее пределы, к иным воплощениям. Вовсе не обязательно испытывать что-то на практике, чтобы чувствовать и знать: принадлежащее низшим уровням иерархии субъекта все равно будет одной из его неотъемлемых сторон. Когда мы свободны поступать как нам угодно — это означает, что мы не обязаны поступать именно так. Тем не менее, мы понимаем, что все нам по плечу, — и любые ограничения воспринимаем не только как свою ограниченность, но и как неполноценность общества, как потребность изменить мир и снять культурные барьеры.

Духовность единичного субъекта состоит в том, что возможность деятельности представлена для него деятельностью других — которую он воспринимает как свою, не отделяя себя от общества в целом. Каждый человек на земле — представитель всего человечества, и все, что доступно одному, должно быть доступно и другому. Отсюда вывод: различие внутреннего (личного) от внешнего (общественного) в таком человеке не имеет ни малейшего смысла. Соответственно, невозможны столь привычные для нас по классовому окружению позы влезть в чужую душу — и тем более как-то на нее воздействовать: зачем, если в каждом лишь то, что доступно и нам? Понятно, что свободные люди не перепутают себя с какими-то телами — которые, конечно же, с телом

человечества не совпадают; но для того мы и действуем на природу, чтобы это различие перестало играть в индивидуальной и общей истории сколько-нибудь значительную роль. Окультурирование тел в процессе социализации как раз и призвано перестроить их движение в духе всеобщего единства, как если бы сознание универсальной причастности было встроено в природу этих тел.

Значит ли это, что в бесклассовом мире единичное от всеобщего вообще не отличить? И нет никакой индивидуальности, и про личности говорить незачем, — один на всю вселенную созидающий дух... Тогда, впрочем, и дух ни к чему: мир как незыблемое совершенство, которому развиваться некуда.

Принцип единства мира не сводится к такой банальности. Исходная цельность мира — это еще не целостность: чтобы перейти к единству, надо разрушить синкретизм, развернуть иерархию — стать вселенной для бесконечности вещей и отношений между ними. Только тогда имеет смысл соединять одно с другим; неживая и живая материя делает это лишь локально, в форме случайности и необходимости. Чтобы завершить объединение, восстановить мир как снимающую (и значит, сохраняющую) всевозможные различия целостность — нужен дух как универсальная связь. Но связывать можно по-разному, идти разными путями — хотя в итоге мы придем к одному. Каждый из таких путей, в свою очередь, есть иерархия исторических линий — которую мы и называем единичным субъектом.

Да, человек равен человечеству; но человечество не может существовать иначе как через эти (равные ей) единичности — и потому особенно важно развернуть личность во всей полноте, воссоздать в ней мир целиком уникальным, только этой личности присущим способом. Несмотря на то, что каждый из нас представляет общество целиком, — мы все разные! — и это один из уровней мира, который нам тоже предстоит восстановить. Как? Подбирая себе плоть — создавая и пересоздавая себя как индивидуальность и как исторический персонаж. Это не различие внутреннего и внешнего — это различные проявления всеобщности, единства разных сторон (общественного) бытия.

Приватность в таком, категориальном понимании — признание равной значимости всех единичностей, культивирование уникальности. Мы не в составе целого — мы и есть это целое; неполнота, неразвитость единичного — отсутствие единства. Единичное столь же безгранично, как и всеобщее: любая граница — это ограничение, неполнота; люди

сохраняют приватность не потому, что между ними выстроены глухие стены, — они в полной мере свободны только там, где личное уже не нуждается в защите.

В разумно устроенном обществе всякое производство ради этого — для обеспечения возможности индивидуального развития, творчества, строительства ни на что не похожего мира; только в единстве таких личных миров возможно единства мира в целом. Соответственно, социализация, пропитывание культурой природных тел, — нужна для преодоления их природной ограниченности, придания универсальности, одухотворения. И стало быть, для обеспечения возможности остаться наедине с собой — и в этом отношении тоже уподобиться миру целиком.

Пока приходится втискивать разум в непристойно узкие одежды цивилизации — быть везде и у себя практически невозможно. Господам мало заковать рабов в (материальные или формальные) цепи — им важно лишить народ духовности, устранить стремление к свободе. Приходится все же допустить какие-то нотки сознания — иначе не будет никакой деятельности; однако жестко регламентировать проявления сознательности — вопрос принципа: как бы верхи отличались от низов, если ничего не отнять? Разработка и содержание средств тотального контроля съедает больше половины общественного продукта — ну и что? — все равно оставшееся богачи будут делить только меж собой: начальству хватит — а остальным не по рангу.

Но нельзя лишить духовности другого, не лишая духовности себя. Узурпируя и концентрируя в руках господствующего класса культурные возможности, богачи не только закабаляют народ, но и сами утрачивают свободу. Помещая в застеколье других — господа сами оказываются под колпаком, и самые интимные подробности всплывают в критические моменты, а вторжение в личную жизнь становится оружием в руках конкурентов. Интимность как таковая возникает на заре становления капитализма: это своего рода сговор, коммерческое соглашение одних против других — которое стороны не постесняются нарушить ради (иногда иллюзорного) шанса наварить бешеный процент. Приватность становится ходовым товаром, — это первое следствие того, что люди в классовом обществе не общаются как личности, а противостоят друг другу как рыночные агенты, и свобода как причастность ко всему — вырождается в свободу обмена всего на все. Вместо непосредственной общности — внешнее сопоставление; тогда и соединять единичности приходится внешним образом, через построение глобальных систем

фискальной отчетности, подминающих под себя все общественные слои. Собственность не делает свободнее — она закрепощает. Капиталист — раб капитала, который выступает по отношению к нему как безличная сила, принуждение к классовому господству. Соответственно, элитарное образование воспроизводит лишь эту предопределенность — и ничем по существу не отличается от массовой педагогики, воспитания рабов.

Мечта обывателя: скопить («заработать») большие деньги — а после жить в свое удовольствие, отгородиться от мира финансовой стеной и тупо откупаться от хищнических набегов (наездов). Как показывает исторический опыт — никого такая тактика еще не спасла: рушатся империи, распадаются семьи, гибнут надежды... Попытки вывести средства из бизнеса в корне порочны, потому что и существует капитал только в бизнесе, в отношении к другому капиталу через общую имущественную оболочку — товар; точно так же личность существует лишь в отношении других — через общность неорганического тела.

Мир меняется — его меняют. Действительное сейчас — бесполезно завтра. Поэтому живописные (но довольно редкие) примеры ухода из бизнеса — не более чем рекламный трюк; по факту речь лишь о делегировании полномочий, косвенном участии, смене вывески. Чаще всего выйти из игры не получится: настойчивые партнеры найдут убедительные аргументы (вплоть до физического устранения). То же самое в буржуазной приватности: если приходится самому обороняться от агрессоров — это уже не приватность; если делегировать оборону — остается зависимость от команды.

Как и во всем, буржуазная свобода сводится к формальности, к абстрактным правам — без малейших гарантий возможности. У кого больше прав (обычно в денежном выражении) — может не заботиться о правах других. Провозглашенная кое-где неприкосновенность личной жизни — обставлена таким набором условий и исключений, что найти законный повод для вмешательства — нет проблем. Один из вопиющих примеров — образовательная система, обязывающая всех усваивать классовые стандарты деятельности и поведения (под угрозой отлучения от значительной части культуры, экономических санкций, морального давления, остракизма). Прошедшие через эту прокрустову механику уже не представляют себе ничего другого: право одних оценивать других, необходимость продвижения по карьерной лестнице, зависимость вознаграждения от степени соответствия — все это воспринимается как само собой разумеющееся и безусловно справедливое. Попытки идти

своим путем могут сыграть на руку одним хозяйчикам против других — и тогда они выводят на историческую арену очередного признанного гения; однако чаще всего классовые формы самоутверждения насквозь трагичны: либо сломаться — либо умереть.

Но мы-то знаем, что телесная смерть — не убивает личность, что ограниченность и уязвимость плоти — не отменяет бесконечности духа. Закрепостить, унижить, подавить тела — дело нехитрое; но сам факт насилия — отрицательным образом утверждает свободу: она есть, она опасна власть предержавшим, с ней приходится бороться. Чтобы раб оставался рабом — его надо *держат* в рабстве; дорогостоящий и громоздкий репрессивный аппарат — наглядное подтверждение силы духа, его способности ускользать из любых клеток и одухотворять сколь угодно ущербные тела.⁶⁶

Очень часто личность вырастает из своей противоположности — намеренной бездуховности, стремлении быть как все. Оказывается, что серость — состояние не самое устойчивое: даже мелкие флуктуации запускают волну культурных изменений, возникают резонансы, резко меняющие общественный фон, — и приходится оправдываться: мы этого не хотели... Возможно, отзовется не здесь и не сразу — но от духовного родства не открестишься: оно чувствуется нутром.

Нутро мы обнаруживаем не внутри себя — а в наших общественных зеркалах; при капитализме одно общее зеркало разобрано на мелкие брызги — и если не туда посмотреть, можно оказаться очень кривым. Большая плоскость показывает прямым; крошечные кусочки можно склеивать под разными углами и получать персональную комнату смеха (или стену плача). И хочется сбежать от всего этого — никого не видеть и не слышать, — и чтобы в душу никто не лез...

Приватность не просто частная жизнь — это жизнь именно личная, включая не только уединение — но и возможность действовать, поступать в соответствии с личными вкусами и пристрастиями, никому не угождать и никому не подражать, — быть свободным. То есть, не знать преград в движении, быть везде. Пригвожденный к одной точке — бесконечное рабство. Уйти в себя — значит нигде не быть как дома. Элементарная механика: свободно движущееся сохраняет состояние

⁶⁶ Отсюда древние сказки про воскрешения, у которых вовсе не религиозные, а глубоко народные корни. Цикличность в природе — лишь способ выражения далеко не природной идеи: как бы ни менялся мир, что-то связывает его преходящие обличья воедино — и в каждом человеке есть что-то от этой всемирной неистребимости.

своего движения. Дух, конечно, не столь прямолинеен — но общая идея ясна. Сохраняя себя личность сохраняет огромный пласт культуры — возможность именно этого, уникального движения. Приватность нужна прежде всего обществу в целом — это не прихоть, не каприз. Только таким способом мир может снова стать единым, и единственным. Следовательно, разумно устроенное общество делает все для доступа всех и каждого и к этому достоянию культуры (которое в классовом обществе остается временным завоеванием). И в итоге снимает саму идею приватности: зачем заботиться о том, что подразумевается само собой?

В классовой действительности лишенные каких-либо благ получают их во временное пользование от узурпаторов — под высокий процент. Значит, на каждом шагу приходится объясняться и отчитываться. Силовые структуры и технические средства как-то можно обдурить: хитроумие нелегалов не уступает талантам работающих на власть. Сложнее со всевидящим оком соседей. Неформальный коллектив столь же ограничен, как и писанные уставы. Невидимые ниточки умеют связать крепче железных (или золотых) цепей. Любая отстраненность воспринимается как странность — и утраивает бдительность. Общество подменяет собой община — конечно же, представленная конкретными лица, хищная спаянность которых моделирует сплочение правящего класса перед вольницей эксплуатируемых масс. Одно к одному — и даже привычно хамское поведение становится в рамках системы средством своего рода зондирования, нащупывания полезных кнопочек, — плюс возможность держать неуживчивых в нервном тоне. Власти поощряют такого рода «коммуны» — и любые проекты, направленные на защиту приватности, обречены на провал в рамках какой угодно демократии: народ против!

Противоположность личных и групповых интересов в классовом обществе неустраима. И снова два выхода, две трагедии: покориться — или умереть. Есть убежденные коллективисты: им вполне комфортно в предписанной роли — они честно делают свое дело, их совесть чиста... Зачем напрягаться, если профессионалам виднее, кто как должен жить? Такие легко превращаются в инструмент — и личная жизнь сводится к поддержанию рабочих кондиций. И не нужно погружаться в себя: они давно схлопнулись в точку, внутри которой ничего нет — и которой внешний мир совершенно безразличен. Даже «отпускные» загулы — часть системы, способ выпустить пар — не более. Даже криминальные

наклонности — в рамках правового преискуранта, как экстремальный спорт или киноужастик.

Когда в обывателе пробуждается человек — это шок, это испуг; разительное несоответствие коллективного общественному и личному его подавляет — а спрятаться негде, пока нет еще тождества личности миру, хотя бы в доступных горизонтах культурности. Естественное (то есть, не человеческое, природное, вынужденное) решение — надеть маску, формально соблюдать и соответствовать, плыть по течению и повиноваться командам, — но в этой анонимности роли (которую с тем же успехом мог бы играть кто-то другой) достаточно пространства, чтобы выгородить уголок для чего-то нерегламентированного, из чего уже можно выращивать настоящего себя. Вариант вполне рабочий для формальных коллективов, следующих букве устава. Но культивируемые властями элементы общинности как раз и рассчитаны на вылавливание таких уходов: пришел на вечеринку — обязан веселиться! Поскольку же воспитание сращивает человека с толпой (семьей, общиной, сословием, этносом, или приятельской компанией) — оказавшийся у себя человек видит себя глазами контролирующих инстанций (неотъемлемой частью которых его делают с младенчества), и боится уже не просто наказания и презрения, а сам себя презирает и осуждает себя за попытки быть собой. Отсюда один шаг до шизоидности и шизофрении.

Своего рода коллективная защита — регламентация ношения масок, возможность убедить себя, что в интимности нет греха, если отрываться по правилам. А прирученная свобода — никому не опасна. Но тут всплывает новая беда: с одной стороны, ты, вроде бы, есть — но на самом деле ты никому не нужен, и твоя свобода не становится свободой общества в целом, внутреннее не срастается с внешним. Тебе выдали маску — но зачем? Прятать-то уже и нечего... Приходится изо всех сил цепляться за коллектив — чтобы сохранить иллюзию самости. Отсюда воспетый философствующими беллетристами ужас одиночества в толпе, когда принятые в своем кругу условности игры уже не работают, и не за что зацепиться, и будто падаешь в пропасть. Тем более страшно остаться наедине с собой — даже в рамках дозволенного. Вот и тянет одиночек в случайные компании: избавляясь от одной коллективности тут же сваливаются в другую. В наше время такие иллюзорные общности создают социальные сети, где, опять же, человек либо уходит от себя, растворяется в безликой массе, — либо прячется под разрешенной маской, — либо переживает ужас статистического одиночества.

Духовность неистребима. Она пристраивается на каждой жердочке и принимает вид чего угодно. Власть предрежащих это не радует. Чтобы взять под контроль и сферу духа — ее пытаются трансформировать, подставить на место реального общества его абстрактную идею, бога. Пожалуйста, вы можете оставаться у себя — но только в боге. Для уединения выделены специальные места (культовые сооружения) — и предписаны дозволенные формы (молитва, медитация, исповедь). Такие суррогаты интимности очень удобны классовому человеку: это как бы уменьшенная, карманная вселенная — уподобиться которой куда проще, чем бесконечному миру; тогда и внутри себя не слишком просторно — и этот душевный уют для многих притягательнее громадности разума.

Порок религиозного самоутверждения тот же, что и других мнимых масок: за ними нем реального себя — и надо регулярно подпитывать иллюзию, снова и снова убеждать себя в верховности божества, — больше которого ничего и никого нет. Приватность превращается в ритуал и, как всякий наркотик, требует увеличения доз — и ведет к кошмарной ломке, если подкрепления нет. Верующий всерьез — сходит с ума от бездуховности веры; верующий для виду — использует церковь как предлог уйти в себя, и погибает от несоизмеримости безграничного духа клетке ханжеского смирения.

Как любовь принимает в условиях полной безысходности форму ненависти — недостижимость уединения и слияния с миром (хотя бы ограниченного и иллюзорного) придает приватности отрицательную форму — превращает ее в отчужденность и самоотчуждение. Да, мне не дано чего-то достичь — ну и не надо! — я буду бравировать тем, что у меня этого нет и не может быть. Да, я ничтожество — но я сам себя делаю ничтожеством! — даже если какие-то направления личностного роста вполне доступны, меня не устраивает эта частичность — мне нужен мир целиком, и лучше духовный распад, чем бесконечность в клетке! Гипертрофированная отрицательность утверждает свободу — но уже не для меня, а вообще, в каком-то ином мире, куда мне дороги нет. Так рождается потребность выстроить фантастический мир, поместить туда все, чего не может быть, — и самому переселиться в эту мнимую реальность, воспринимая действительность как сон, театр, кино, шоу за стеклом. Современный вариант: превратить мир в компьютерную игру, в которую иногда можно вовлекаться — но при случае всегда есть шанс сбежать в свою фиктивность, до которой не дотянуться никому. Такой человек вовсе не обязательно выглядит психом, или чудачком, — он

может пунктуально следовать правилам чужой игры, оставаясь где-то очень далеко. Ему не нужно ни с кем делиться придуманным миром — и догадаться о нем возможно лишь по косвенным данным, а попасть внутрь — практически исключено.

Отрицательная приватность вполне соответствует духу классового общества: это не свобода, а всего лишь независимость — буржуазный суррогат. Уходящий в себя — уходит от человечества, и властям он не опасен: им страшнее, когда люди начинают действовать вместе — когда они любят друг друга и не любят начальство. Переселение в иллюзии лишает человека как раз того, что делает его человеком, — совокупности общественных отношений; можно сколько угодно общаться в быту и на производстве — но это за рамками духовности, это производственные отношения, а не общение. Ампутация духовности — разрушает основу индивидуальности, неорганическое тело. Иерархия культурных ролей — не иерархия личности, а нечто внешнее по отношению к ней, случайные (природные) обстоятельства.

В некоторых случаях уход от себя в себя — своего рода личностная защита, попытка сохранить хоть что-нибудь, в надежде на (хотя бы иллюзорную) возможность восстановления. Например, после смерти любимого человека — остаться вместе с ним, в его мире, — как бы продолжая совместную жизнь. Да, сама необходимость защищаться губит личность — но при удачном стечении обстоятельств небольшая отсрочка позволяет продержаться до новой любви; шанс невелик: отказ от мира — это и отказ от самого себя; быть против всех — значит, быть против себя (что человек часто осознает — и намеренно загоняет себя в трясины). Кому интересен тот, кто уже не в силах заинтересоваться никем? Расщепление такой личности иногда характеризуют как болезнь, вялотекущую шизофрению; на деле — телесная смерть (разновидность самоубийства), когда личности приходится подыскивать иные формы бытования: она остается в мире, от которого отстранился беглец, — по эту сторону барьера, среди людей.

Смягченная форма отрицательной приватности — погружение в творчество. Важно отличать это от погружения в быт — заполнения пустоты повседневной суетой, работой, публичными хлопотами и т. д. Так называемые творческие профессии создают иллюзию духовности; однако на деле это просто подчинение коллективности, утрата личности как таковой, — так что о пребывании в мире и у себя говорить не приходится. Более того, чрезмерная увлеченность и вовлеченность —

знаки вытеснения духа суетой, имитация кипучей деятельности. Точно так же, слишком много любви — вырождение в показуху, самообман. Однако если речь не об уходе от мира, а о выходе из современности, за рамки наличных возможностей, — можно видеть в этом общение с теми, кто еще не представлен телами или именами (что всегда предполагает и общение с прошлым). В этом случае может разрушаться неорганическое тело — но на фоне строительства иного, не всегда заметного со стороны. Конечно, намеренное сужение отношений с миром все еще далеко от действительной творческой свободы; но здесь, хотя бы, уже можно побыть с собой наедине — и в конце концов соединиться с миром (хотя не все тела до этого доживут). Разумеется, мы не относим сюда разного рода «непризнанных гениев»: они слишком демонстративны, озабочены поисками внимания, заиклены на конфликтах — вместо поисков единства; это разновидность бытовой суеты.

Самый легкий вариант уплыwania из мира — мечтательность или созерцательность. Как и с творческой отстраненностью, здесь две тенденции: либо зацепиться за идеал и нащупывать пути сближения — либо отказаться от надежд и плодить фантазии сами по себе. Различие первых и вторых обычно бросается в глаза: даже если окружающие не понимают и не принимают скрытого за чудачествами идеала — они чувствуют его присутствие; моральное давление на «идеалистов» значительно сильнее.

Мы так долго задержались на извращенных (классовых) формах интимности только потому, что другого нынешняя действительность почти не предлагает — а официальная пропаганда всячески настраивает население, что никакое общение с собой в принципе невозможно, и единственно надежной опорой всегда был и останется коллектив. При советской власти воспитывали «убежденных коллективистов»; под буржуями ценят активных рыночников, предприимчивых в рамках дозволенного. Ни в том, ни в другом случае — нет суверенности разума, субстанциональности субъекта, единства духа и плоти. Либо частную жизнь вообще выносят за скобки — либо сводят к границам роли, оставляя за обществом право вмешаться, если с функциональностью что-то не так (что автоматически предполагает противоположность личности классовому обществу). Социализация при этом видится только с одной стороны, как подавление телесных позывов, закрепощение духа и разграничение культурных ниш. Вместо окультуривания тел — их доместикация; вместо безграничного мира — уютное стойло. То, что

буржуа называет личной жизнью, — всего лишь отрасль общественного производства, занятость в сфере потребления — поддержание структуры рынков сбыта. Эта сфера регулируется крупным капиталом и полностью ему подконтрольна. В этих условиях громкие декларации по поводу невмешательства — из области юмора: когда все уже под колпаком — куда еще вмешиваться?

Бесклассовое общество на первый план выдвигает другую сторону социализации — снятие культурных ограничений, обеспечение свободы развития. Конечно, приобщение к культуре включает и умение вести себя культурно — но это не укрощение, а приобщение, — не введение в рамки, а расширение репертуара возможностей. В такой социализации исключено всякое насилие; но это не имеет ничего общего с анархией — нарочитой поперечностью, возможной лишь на фоне власти как особый способ ее утверждения. Свободным не нужно добиваться свободы — она уже есть как предпосылка всего остального; но свобода участия в любых движениях общественной жизни означает также и свободу неучастия, отказа от чего угодно — при доброжелательном понимании со стороны всех остальных. Такое уединение — это всегда творческий поиск, дополнение культуры тем, чего ей пока не хватает, — подобно тому, как в математике мы всегда можем расширить пространство добавлением новых измерений. Создавая возможность приобщения — мы создаем и возможности уединения, и это нужно всем, вместе и по отдельности. Напротив, ограничивая участие заранее предусмотренными ролями и функциями, суррогат общества, коллектив, не дает повода остаться наедине с собой — и лишь до определенных пределов терпит подобные «излишества». Уничтожение классов — это и отказ от коллектива, переход к общности нового типа, в которой деятельность — не просто функция, и не самовыражение, — это развертывание нашей совместной истории, в которой любой из нас представляет одну из необходимых (взаимодополнительных) линий.

Бездействие — другая сторона деятельности; поэтому воспитание вкуса к творчеству обязательно дополняется умением сделать паузу — жажда общения неотрывна от блаженной уединенности. Нет свободы отойти от дел — приостановить любые знакомства, — это принуждение к активности, столь характерное для атмосферы рыночного безумия. Советские идеологи здесь не отличаются от буржуазных: активная жизненная позиция, участие в общественной жизни, постоянная гонка, борьба, погоня за успехом... По всем каналам реклама лихорадочного

туризма и экстремальных развлечений; просто посидеть у воды или смотреть на звезды — этого недостаточно: надо обязательно разбавить все бурными телодвижениями — или хотя бы изучением чего-нибудь. Прогулка по лесу превращается в обязательное упражнение; танцы или столик в ресторане на двоих — прелюдия к сексу, и для всего есть своя компания — а не так, чтобы напиваться в одиночку... Классика, Козьма Прутков:

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

В качестве реакции — массовое пристрастие тупо листать страницы «дорожных» книжонки (которые сегодня почти вытеснены сборниками комиксов), смотреть бесконечно тупые сериалы, — а в наши дни еще и пялиться в мобильник, перескакивая с картинки на картинку, да время от времени обмениваться дежурными пошлостями с сотней «френдов».

Точно так же, как отказ от животной борьбы за существование делает человека человеком, — людям нужно вырывать себя из суеты, возвращаться к себе и немного побыть у себя (хотя в этой бесконечности нет времени). Чтобы действовать разумно — надо уметь остановиться, замереть, забыть о планах и обязательствах, — не делать вообще ничего! Даже ничегонеделание не превращать в дело, медитацию, ритуальную практику, — пункт распорядка дня. Такое пребывание у себя — не только выражение личной свободы, но и признак свободы общества в целом, когда человечество не довлеет над человеком, а состоит из людей. В какой-то мере это можно сравнить со сном — без которого трудно сохранить органическое и психическое равновесие; но если для живых тел это жизненная необходимость — дух не подчинен необходимости: для него это этап развития, возможность развернуть иерархию или перестроить ее — а значит, стать частью общей культуры и истории. Если при развертывании не сохраняется полнота связности — иерархия разваливается, и вот вам картина всеобщего отчуждения в классовом обществе.

Взгляд художника выхватывает в природе яркий образ; но просто созерцание — создает саму возможность творчества, предшествует всякой образности. Это еще не одухотворение природы, а подготовка того, чем будем одухотворять. Точно так же, любование содержит в себе возможность любви. Если проскочить этап — одухотворенности не получится: такое творчество слишком индустриально, оно не соединяет дух с природой — а «встраивает» духовность в природу, делает ее

мистически-природной, а не человеческой; здесь только интеллект, а не разум.

Когда человека отождествляют с жизнеописанием — это внешнее, формальное представление, не говорящее о личности почти ничего. Важно, что человек успел свершить, — а не то, что сделали с ним. Некоторым удается воплотиться в плодах творчества — и мы больше узнаем о художнике, писателе или ученом из его работ, чем из самых дотошных биографий. Однако большинство человеческих деяний — не отражены в сводках, и передаются они от духа к духу, как пропитывание и перевоплощение. Традиция сводит человека к персонажу, к персоне; буржуазная педагогика (в компании с правом и религией) вдальбывает в души именно такое, кадрированное представление о себе, — а потом психиатры удивляются, почему пациенты не признают формальную идентичность, чувствуют и видят себя другими. Но стать личностью можно только пройдя через самоотрицание, отказ походить на свой портрет (или, скорее, шарж); человек рвет линии, выходит из любого образа, перерастает идеалы. Только в этом — он у себя. Только этим он есть в мире как субъект, как универсальное опосредование.

Было бы странно завершить даже краткую зарисовку о приватности, о человеческой самости, не упомянув о любви. На первый взгляд — нечто противоположное уединению: любящие всегда вместе, они просто не могут быть по отдельности, сами по себе. Но мы уже говорили о бесклассовых общностях нового типа, принципиально отличных от всякой коллективности. Прототип этого в нынешнем мире — любовь. Когда мы становимся друг другом — а не соединены внешним образом. Когда пребывание у себя — это и бытие в другом (и везде). Одиночество одного непосредственно становится одиночеством другого. Отказ от себя — это сохранение себя в другом. Любовь как универсальный механизм духовного роста — позволяет оставаться человеком в самых нечеловеческих условиях, делать невозможное, переворачивать мир. Чтобы вернуться к себе — надо полюбить. Не бывает абстрактного «я», в котором можно было бы время от времени спрятаться и навести духовный марафет: человек — это то, что он любит; человек — те, кто его любит. Раздвигая свои границы — мы не только обнаруживаем что-то внутри, но и приближаемся к универсальной разумности будущего, когда каждый всегда во всем и всегда у себя, и для этого не требуется ни от чего уходить, к этому не нужно специально стремиться, и этого незачем добиваться: достаточно любить — и быть любимым.

СЧАСТЬЕ

Мы говорили о трех сторонах (уровнях) воспроизводства разума: воспроизводство тел, воспроизводство духа, воспроизводство места в культуре. Каждая из этих граней теснейшим образом связана с другими. Лишь в классовом (недостаточно разумном) обществе они часто оказываются формально разделенными и противопоставленными друг другу. Тем не менее, даже в таком, ограниченном воплощении разум сохраняет внутреннее единство — и пропитывает все стороны быта и личности, создает человека как факт истории. За счет этого, при всей пестроте общественных связей, определяющих индивидуальность, все они вместе взятые задают характерный настрой — отношение человека как представителя мира к миру вообще. Эту идею целого в единичном субъекте мы и называем *счастьем*. Учитывая, что всеобщность субъекта есть дух (деятельность мира в целом), приходим к наиболее общему определению счастья: тождественность человека миру. В каждом из нас представлен весь мир — и мы осознаем это.

Первое следствие — универсальность счастья. Недостаточно чего-то одного — нужна и достаточность плоти, и духовная полнота, и культурная определенность. Если чего-то не хватает — это несчастье; поскольку классовому человеку, обитающему в обстановке всеобщего отчуждения, постоянно чего-то не хватает — его жизнь, как правило, состоит из несчастий, каждое из которых имеет характерную окраску, соответственно тому, что именно отчуждено. На этом фоне заметить счастье бывает трудно: в его целостности не выпирает ни одна из сторон, его невозможно рассказать — потому что наши понятия по сути своей аналитичны, и каждое слово вырезает из мира маленький кусочек. Вспоминая ходячую хохму Льва Толстого насчет похожести счастливых семей и своеобразии семейных несчастий, можем сразу возразить: счастливых семей не бывает — семья отделяет человека от мира, заведомо ограничивает и плоть, и дух. Счастье лишь там, где человек никому и ничему не принадлежит: он равен миру, а не его части.

Поскольку у счастья нет определенного качества — у него нет и количества: счастье безмерно, безгранично. Нельзя быть счастливее кого-то — к счастью невозможно ничего прибавить, — и от него не убавляется, сколько ни делись. Мы уже встречались с этим в любви — но есть и другие стороны. Чтобы прикоснуться к премудрости, придется выбрать один из возможных аспектов — допуская, что где-то уместнее все расположить по-другому.

Как обычно, исходим из основного вопроса философии — о единстве мира. Мир в целом есть прежде всего нечто единственное, нерасчленимое; потом он оказывается переплетением всевозможных частных (и вселенной для каждой из них); наконец, все эта множественность снимается в определенном способе соединения (а все эти способы вместе — и есть единство мира). Проекция единства мира на единичность — следует той же схеме, которая в данном случае оказывается триадой предметной логики:

синкретизм → анализ → синтез

То есть, по отношению в нашей предметной области (воспроизводство разума), синкретическое счастье распадается на взаимодополнительные стороны и уровни — а потом эта аналитичность снимается, поскольку различия в высокоразвитой (бесклассовой) культуре несущественны. Тем самым логика выделяет одну из линий исторического развития — и для нас это все еще актуально, ибо до конца цивилизации пока далеко.

Классовая экономика выводит на первый план способ производства, строение деятельности. Вот и давайте вспомним общую схему:

объект → субъект → продукт

Конечно, разум как единство сознания и самосознания — это уровень духовности (субъекта). Но в категориальной схеме каждая из категорий представляет схему целиком — и внутри каждой из сторон субъекта возможно выделение тех же уровней — которые, разумеется, в этом контекста приобретают иной смысл. Счастье как единичное выражение целостности мира в субъекте определено тогда тройким образом:

- объективно, счастье есть *благо*;
- субъективно, счастье есть *свобода*;
- в отношении к продукту деятельности, счастье есть *идеал*.

Разумеется, слова никоим образом не исчерпывают обозначаемых ими категорий: мы просто подбираем из традиционного этического словаря интуитивно близкое, а определенность все это приобретает лишь в

составе категориальной схемы, применительно к конкретному предмету. Здесь мы занимаемся воспроизводством разумности как таковой, снова и снова возвращаясь к единству плоти и духа. В этой связи, благо может выступать с материальной стороны как *благополучие* (и мы говорим о материальных и духовных благах); в духовном плане, благо предстает *благорасположением* (положительным отношением к миру и к людям); наконец, в общекультурном аспекте, благо оказывается *благородством* (когда человек есть благо для общества, и для человечества). Точно так же, свобода деятельности есть *творчество*; свобода общения — это *любовь*; возможность самому строить жизнь называется *свободой воли*. Наши заметки касаются, главным образом, именно такой, духовной свободы. Наконец, материальная сторона идеала — его *действенность*, творческая направленность, причастность ко всему происходящему, возможность на все влиять⁶⁷; обратная сторона — *духовность*, очень личное ко всему отношение, умение во всем заметить и воплотить себя; единство плоти и духа — это и есть субъектность, универсальность, *разумность* как способность делать мир благом и свободой.

Даже столь краткое введение показывает, как многообразна идея счастья; ничего удивительного, что ее очень по-разному трактуют как мыслители всех эпох — так и обыкновенные труженики, далекие от аналитической рефлексии. Но идеология — не только этика; у каждой этической категории есть эстетические и логические грани — и потому вполне допустимо задавать себе вопросы об эстетике и логике счастья. Все это вместе и определяет характер человеческой деятельности.

Было бы глупо каждый раз начинать с чистого листа и во что бы то ни стало выводить частные суждения из всеобъемлющих схем. Мы обрисовали контекст, показали основные направления развертывания — и в дальнейшем, конечно же, будем держать все это в голове — но подходить к делу надо предметно, по существу, без неуместных, громоздких абстракций. Тем не менее, как только заходит речь об идеологических извращениях идеи счастья — их слабости помогает увидеть иерархический подход, в каждом отношении позволяющий достроить схемы до нужного уровня и применить на практике, сделать принципами критики. И наоборот, говоря об уродливых классовых формах счастья, надо всегда видеть свет — хотя бы где-то вдали.

⁶⁷ Именно эту способность Аристотель считает определяющим отличием человека от животных — и высшим счастьем.

Главное направление движения человеческой истории в целом и истории каждого человека можно было бы обозначить очень просто: стремление к счастью. Простота обманчива, поскольку счастье, как мы видели, штука очень непростая. Тем не менее, такое представление о направленности развития присутствует в сознании каждого, кто еще не настолько оскотинился, чтобы разучиться что-то чувствовать и о чем-то задумываться. Конечно, счастье в представлении обывателя — не то же самое, что счастье творца и мечтателя; однако это грани одного и того же, и важен сам факт повсеместного присутствия идеи в нашем быту. Совсем не обязательно докапываться до подробностей: это все равно что нарочно разбить вазу на мелкие кусочки — а потом склеивать ее из черепков. Выдающиеся исторические персонажи, гении и герои, — счастливейшие из смертных, — зачастую далеки от осознания сути происходящего и собственной роли: они увлечены чем-то одним — и теряют из виду целое, непосредственно доступное сознанию человека обыкновенного, не придающего значения намеренной рефлексии. Спрашивать великих о счастье — практически бесполезно: они, как правило, предпочитают отделяться отговорками, блещут остроумием или принципиальностью, — в общем, изображают из себя то, чего от них предположительно ожидают... Это нормально: человеческое счастье растворено в незаметности и неуловимости, в неуместности вопросов. Но вопросы великим задают неспроста. Кое-кому важно притормозить стремление масс к счастью — перенаправить движение в удобное для властей русло. И здесь заведомая недостаточность (неуместность) рефлексии у счастливых — удобный инструмент классовой пропаганды: выхваченную из бесконечности равно значимых черт и тенденциозно преувеличенную черточку легко подать как единственно правильный путь и смысл жизни — или же как монструозность, антигуманность (иногда и то, и другое вместе, в одной куче).

Например, предприимчивость и деловую хватку воротил бизнеса авторы многочисленных наставлений по карьерному росту и жизненной успешности преподносят как образец внутренней цельности, достойный пример для подражания. И они по-своему правы: в каждом факте есть доля факта. Но есть и миф: молчаливо предполагается, что видимость — это и есть суть; таков исходный пункт всякого эмпирионатурализма. Итог движения принимают за его предпосылку и неперемное условие. Вспоминаем Ларошфуко: повадки счастливого человека — привычка, показатель неизменной удачи, а отнюдь не ее причина. Однако в мире,

где важнее выглядеть, чем быть, — произвести впечатление, а не совершить, — достаточно имитировать силу, чтобы слыть сильным, — казаться избранным, чтобы добиться избранности. На деле, подражая форме — нельзя обрести ничего кроме формы: чем больше люди кажутся счастливыми — тем менее они счастливы. Об этом не пишут в попсовых книжонках — но об этом великие творения мировой литературы. За внешним лоском и роскошью — всегда опустошенность и вырождение.

Значит ли это, что богатые и успешные нам не пример? Напротив, надо присматриваться, и вытаскивать на свет подлинную цельность, о которой предпочитают не говорить на публику — и даже наедине с собой. Обывателя убеждают, что человек по своей природе — одинокий волк, и достаточно хорошенько настроиться на успех, чтобы заставить общество уважать крепкие мышцы и острые клыки. Да, хищнику все это нужно — однако совершенно бесполезно тому, для кого нет подходящей добычи, и ухватить, в общем-то, и нечего. Следовательно, внутреннее единство рождается лишь там, где индивидуальность соответствует общественной потребности, выражает существенное в строении (классовой) культуры. Другими словами, залог успеха — стремление стать счастливым не вообще, не только в себе и для себя, а сообразно наличным тенденциям общественного развития, что и позволяет делать возможное действительным. Вот эту правду нам и предстоит усвоить, вырастить в себе — на другой основе. Мечтать — и искать способы материализации мечты. В грязном мире приходится иногда орудовать грязными руками — и трудно не испачкаться в душе. Делать дело по возможности — но думать о главном, вычищать от мрака один уголок вселенной за другим. Интеллигентское чистоплюйство — несчастье для человека, и для человечества. Личность — это поступок. Отсиживаться по щелям — рудимент дикой природы.

И тут у нас перед глазами другие образцы — о которых вещают ораторы противоположной партии, революционные пропагандисты. Вот, например, Карл Маркс, отвечая на салонную анкету своих дочерей, заявляет, что счастье — это борьба [31, 491]. Сколько тут шума во всех сетях! Советские — цитируют в обязательном порядке: вроде как великое достоинство. Зарубежные — больше крутят пальцем у виска. Как обычно, все и правы, и предвзяты одновременно.

Достойным делом считать борьбу можно лишь в очень недостойных обстоятельствах, где люди звереют — но лишь в этом зверском облиции

им дано (хотя не всем и не во всем) оставаться людьми. См. выше о деловитости деловых. Всякая борьба — занятие для животных. Разум — ни с кем (и ни за что, и ни против чего) не борется: он просто ведет себя по-человечески, сообразно ситуации — но не по воле обстоятельств, а выстраивая сами эти обстоятельства по своей, разумной воле. Однако убежденные противники и высокооплачиваемые критики марксизма усматривают логический вывих отнюдь не здесь! — они как раз очень даже за всяческую животность, — но в дозволенных рамках, чтобы против друг друга (конкуренция — закон рынка!), а не против властей. Поскольку же Маркс покушается даже не на власть, а на саму систему всяческих властей, — иначе как психом его не назовешь. С точки зрения низов — марксово «счастье» подобно деревенским забавам стенка на стенку; для верхов — Маркс счастлив на уровне полицейского урядника, коему доставляет удовольствие одалживать граждан по физии. И то, и другое — очевидная дикость. Если этим приходится заниматься в силу обыденной безысходности — это несчастье.

Картину усугубляет ответ на предыдущий вопрос той же анкеты: своей отличительной чертой Маркс считает единство цели... Можно ли придумать нечто столь противное счастью? Замкнуться в одном — умереть как личность, умертвить в себе разум. Человек остается человеком — поскольку ему до всего есть дело, и нет никаких границ, и нужен ему весь мир целиком! Человек как субъект деятельности — это универсальное опосредование, он соединяет все со всем, приводит мир к единству и выражает собой это единство. Соответственно, целей у разума столько, сколько в мире различных отношений между вещами — а это, мягко выражаясь, очень много. А тут — единство цели... Даже если понимать как подчинение главному — все равно узковато: не может нормальный человек целиком урнуться даже в очень большое дело — ему интересно совмещать по видимости несовместимое.

Конечно, светские игры — это не философский трактат, и даже не петиция в защиту права на аборт. Делать из таких забав далеко идущие выводы было бы преждевременно. Если нет ничего другого под рукой. Но другое есть. Например, сравнивая с ответами Энгельса на ту же анкетку годом позже, — замечаем поразительную серьезность Маркса по сравнению с откровенным зубоскальством его главного компаньона. Даже если это объяснять недоразвитостью чувства юмора — оснований принять какие-то из марксовых самооценок за чистую монету у нас предостаточно. И становится как-то не по себе. Кто на полном серьезе

ценил в мужчинах силу, а в женщинах слабость,⁶⁸ — опасно буржуазен, и к теоретической работе таких допускать не надо бы... А считать главным человеческим достоинством простоту — уж совсем нехорошо! Человек обществу (и самому себе) интересен именно своей сложностью, неоднозначностью, многообразием (то есть, личностью много раз). Возможно, речь лишь о противной жеманности (как у Энгельса про женщин)... Но не по Фрейду ли оговорка?

Парадоксальным образом, Энгельс, который по любым вопросам уступает Марксу в глубине, — в салонной шутке о счастье оказался намного человечнее и глубже: его намек на вино революции (Шато-Марго 1848 года) — это не только воспоминание, но и мечта, — и это уже счастье. Не какая-то там борьба сама по себе.

Худшие опасения по поводу разумности счастья по Марксу подтверждают поздние письма — в частности письмо Зигфриду Мейеру от 30 апреля 1867 г. [31, 454]:

Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи.

Как вам? Семья (отнюдь не в юридическом смысле!) — в качестве жертвенного барана на алтарь политико-экономического опуса. Да будь он хоть тысячу раз шедевром из шедевров — это гнусно! По какому праву — барское отношение к жене и дочерям? Как можно не думать об их счастье? Да и жертвовать своим — значит, отнимать счастье у человечества. Потому что нет у разума ничего своего — в счастье человек равен всем, и представляет всех.

Разум вообще несовместим с жертвенностью. Он для того и нужен, чтобы искать способы добиться своего, ничем не поступаясь. Кто не

⁶⁸ З. И. Лилина (соратница и оппонент Ленина) несколько упрощенно, но очень выразительно характеризует зверские нравы: *сильный пожирает слабого, слабый пожирает еще более слабого*. Людоедский характер марксовых предпочтений — как на ладони. Это их области борьбы за существование. В разумно устроенном мире сами понятия силы и слабости неуместны.

умеет — недостаточно разумен. Да, сделано очень много; столько всего наворотить — это потрясает (в том числе основы). Но — кто знает? — если бы Маркс не гробил здоровье (себе и близким), он, быть может, успел бы сделать много больше. И теория была бы не так больна. Речь вовсе не о том, чтобы «повернуться спиной к мукам человечества»! — лишая себя возможности приносить пользу людям, Маркс не только поворачивается к ним спиной, но и засовывает всех в задницу. Оправдывает ли это по видимости ошеломляющий успех?

Далее, как можно отождествлять дело всей жизни с какой-то книгой, даже очень полезной и важной? Что, у революции больше нет никаких оттенков, и нельзя ей поспособствовать как-то иначе? Да и как, пардон, родоначальник диалектического материализма рисует законченность? Сочинить теорию всего — и почивать на лаврах? Так не бывает. Закончится одно — начнется другое; и конца этому нет. Почему надо (религиозно) «жертвовать» счастьем ради одного из таких, эфемерных концов — вместо того чтобы превратить само это движение в счастье? Если мы пишем книжку о любви — мы что, любить не должны?

Что по факту? Закончить Маркс так и не успел — и пришлось доделывать Энгельсу; не было бы Энгельса — доделали бы другие, как-то иначе. Тем более, что времена успели измениться — и на смену классическому капитализму пришел империализм. Изменился способ производства — и потребовалась другая теория. Ленин очень кстати подоспел. Да, конечно, марксова основа — это очень немало. Но, положи руку на сердце, — многие ли всерьез разбирали многочисленные примеры в *Капитале*, продирались сквозь давно уже не актуальную полемику? Для современного читателя — текст можно было бы сократить в несколько раз — и он только выиграл бы в простоте и прозрачности. Полагаете, рабочий конца XIX века мог реально осилить машину *Капитала*? У него элементарно не было на это ни времени, ни образования. Так для кого книга? Для своих, для интеллигентов, которые выдерут из целого что им ближе — и будут проповедовать именно этот урезанный и перекроенный «марксизм» среди широких масс. Стоит овчинка выделки?

Мы переходим к разумности постановки задачи — и выбору путей решения. Когда-то Маркс и Энгельс отказались от идеи дать полный обзор диалектического и исторического материализма в сопоставлении с идеалистическими и вульгарно-материалистическими учениями. *Немецкая идеология* так и осталась незаконченной; даже гегелевскую

философию права разобрать по косточкам не удалось — хотя стоило бы. Так почему надо было гробить себя и близких на экономический трактат, который во многих частях устаревал быстрее написания и к моменту публикации в чем-то представлял лишь исторический интерес? Откуда эта неразумная упертость? Опять же, почему текст следует обязательно оформлять в якобы стройную монографию, демонстрирующую лишь одну из возможных категориальных структур? Зачем это идиотское наукообразие, нарочитая академичность? Распустить хвост перед много о себе воображающим буржуазным критиком — это по-пролетарски? Не лучше ли ограничиться не слишком совершенными, но емкими статьями, небольшими трактатами, излагающими самую суть, без громоздких обоснований, — оставляя полемику и проработку деталей товарищам по партии, или даже не товарищам? Вспомните статью Энгельса о тактике пехоты. Вот бы что внедрить в практику рефлексии! Точечные удары по самым чувствительным местам — намного эффективнее стрельбы из пушек по воробьям. Позже нечто подобное мы увидим у Ленина. Разумеется, это тоже крайность — и нельзя великое разменивать на мелочи. Но для того и разум, чтобы найти оптимальное соотношение разных форм, с учетом развития практики революционной борьбы, немедленно реагируя на исторические подвиги и новейшие поползновения буржуазной пропаганды. А не через тридцать лет (как было с критикой позитивизма) — когда ржа уже проникнет в сознание и выгравить ее оттуда без физиологических последствий станет сложно.

Но дело, конечно, не только, и не столько в философии и политике; главное — уйти от «единства цели», оставить себе пространство для жизни, для любви, для свободы разбрасываться — или собирать камни. То есть, оставаться человеком, разумным существом, — наперекор неразумности бытия. Или иначе: быть счастливым. Делать счастливыми других. Не только трудиться — но и любить.

Осмелимся предположить, что не все так плохо — и Маркс малость отличается от хныкающих романтиков и биржевых воротил. Ничто человеческое ему не чуждо (как и отвечено в анкете); однако это человеческое — исторически ограничено, обычно для буржуазной культуры XIX века. А потому принимает формы буржуазного сознания. Осознать себя носителем новой духовности, свободной от пошлого филистерства, при всей своей гениальности, Маркс так и не сумел — хотя благодаря ему такую духовность в состоянии заметить мы (разумеется, в контексте нашего времени, с его устоями).

Сдержанный оптимизм вызывает и то, что не одни мы такие умные. Например, в вузовском учебнике по марксистской этике (за 1980 год) встречаем почти родственную нам фразу:

Итак, счастье — это *самооценка всей жизнедеятельности в ее целостности*.

Более того, обсуждение там же отдельных сторон счастья фактически повторяет вышеизложенную схематику — то есть, по крайней мере, налицо согласие по кругу имеющих отношение к делу вопросов.

В чем различие? А в том, что для нас счастье — это не выражение чего-то субъективного — а представленность мира в целом в субъекте. То есть, заведомо не субъективное — но и не объект, и не только продукт деятельности. В том-то и суть, что высшее единство, тождественность миру, снимает все внутренние различия — и счастливый человек вообще не отличается от природы или культуры: это разные выражения одного и того же. Выделяя любую из сторон, мы утрачиваем счастье.

Как же быть? Мы, ведь, не витаем вне мира как абстрактные сущности — мы существуем посредством плоти, и разделяем с ней ее историческую ограниченность. И вынуждены блюсти «единство цели», поскольку мы еще живы — и какие-то цели у нас есть. На выручку приходит самый материалистический из всех идеалистов — Гегель:

Здесь мы можем задать вопрос: имеет ли человек право ставить себе такие несвободные цели, основанные лишь на том, что субъект есть живое существо? Но не случайно, а соответствует разуму то, что человек есть живое существо, и постольку он имеет право делать свои потребности своими целями. Нет ничего унижительного в том, что мы живем, и нам не противостоит никакая высшая духовность, в которой мы могли бы существовать.

Точнее не скажешь. Конечное бытие человека не случайно — оно исторически необходимо и *соответствует разуму*. Именно поэтому, при всех своих сумасбродствах и дуростях, в ошибках, заблуждениях и даже вредительстве, — мы в чем-то следуем разуму, и можем быть счастливы. Следовательно, вопрос не в том, чтобы причаститься к некоему «счастью вообще», а в умении быть счастливыми по мелочам, оставаться разумными существами даже в собственной неразумности. Только так мы можем изменить неразумный мир, привести его к разуму. Это и есть счастье.

Снятие различий в деятельности означает тождество объекта, субъекта и продукта. Но снятие — не уничтожение, не исчезновение.

Просто одно — предполагает и все другое; это разные способы говорить одно и то же. Вроде того, как механическое движение происходит само по себе — но по-разному выглядит в разных системах отсчета; все такие представления взаимосвязаны — и от одной картины (хотя бы в принципе) возможно перейти к другой. Мы вправе говорить о счастье как угодно — пока это не отрицает никаких других возможностей. Соответственно, исходя из всеобщего строения деятельности, мы можем (объективно) быть счастливыми, или же (субъективно) чувствовать себя счастливыми, или творить счастье, делать счастливым мир (как продукт деятельности). Еще раз: это одно и то же — и только в классовом обществе одно счастье может противостоять другому. Избавляться от этого противостояния — тоже счастье (по Марксу, а не по Рокфеллеру); тем не менее, классовая борьба склонна быстро превращаться (быть превращаемой) в борьбу политическую, борьбу ради борьбы, — а это не наш идеал. Точно так же — деградация в искусство ради искусства, или в науку ради науки. Да, это тоже исторически необходимые формы счастья — однако разум нам дан для того, чтобы преодолевать необходимость, становиться свободными — в том числе, в выборе форм собственного существования.

Три стороны счастья (быть, чувствовать, делать) у цивилизованного (то есть, классового) человека обычно разделены и далеко не всегда совместимы. Отсюда бесконечные споры о приоритетах, о том, что считать настоящим счастьем — а где лишь суррогат... Сама постановка вопроса возможна только среди несчастных, и речь идет не о превосходстве одного счастья над другим — а, скорее, о том, какая беда легче. Богач утрачивает «вкус халвы» — и ему плохо; но с точки зрения бедняка — кое-кто с жиру бесится. Типичная реакция: нам бы ваши проблемы! Но сделать чужие проблемы своими — не значит избавиться от своих. Свалится на кого-то удача — а в итоге разочарование: это вовсе не то, о чем мечталось... Половина современного искусства — об этом. Бойтесь того, чего добиваются с чрезмерным усердием: это лишь инобытие уже наличествующей неполноценности.

Тут мы опять вспоминаем салонные «исповеди» — и еще раз удивляемся Энгельсу, избравшему любимым девизом «относиться ко всему легко» [32, 582]. Это, опять-таки, намного человечнее марксова девиза: все подвергать сомнению [31, 492]. Заметьте: друзья почти совпадают — но одно и то же видят с разных сторон. И это счастье, что их дружба компенсирует в каждом его недостаточность тем, чего в

избытке у другого. Собственно, для того и нужна дружба (и любая другая любовь). Далеко не всегда два кривых стеклышка дадут прямое изображение; но если такое (хотя бы в малом объеме) произошло — чудо чудное, и великий прогресс человечества (как, например, с изобретением телескопа). Так из конечных кусочков складывается бесконечность — а из нравственных уродств — высокая духовность. Относился Энгельс легко к титаническому труду по приведению в порядок марксовых рукописей? Как бы не так! А Маркс — неужели он сомневался в выборе жизненного пути? Нет, он был готов пройти через все снова и снова. Именно эта свобода от любых предопределенностей — а вовсе не догматическое следование чему угодно (даже самому себе) — основа и принцип счастья.

Мы вернулись к однобокости обычных «определений»: счастье не только субъективно, это не «самооценка» — а выражение единства мира в одной из единичных форм. Одного лишь сознания и самосознания — недостаточно; нужен разум, как единство того и другого. Более того, вовсе не обязательно это единство осознавать: достаточно вести себя как разумное существо — хотя бы и наперекор себе. Маркс становится основателем нового направления в рефлексии не там, где он путается в «общепринятых» значениях слов и повторяет античные вульгарности; нет, мы его знаем как Маркса во многом благодаря тому, чего он сам о себе не знал — но что стало его личным выражением целостности мира и достоянием единого (пока только в возможности) человечества. Александр Великий для нас — вовсе не величие империи, и не припадки безумия; нам важна цельность отношения к миру — которую любой из нас может воссоздать в себе даже в пространстве коммунальной кухни. В конце концов, любая религия увлекает человека перспективой стать равным миру — представленному в боге точно так же, как он мог бы быть представлен в нас; искренне верующий христианин несет бога в себе — и он⁶⁹ счастлив в своем убожестве.

Так или иначе, наши конечные воплощения примеряют всех на себя и судят по себе. Когда надо делать дело — приходится делать дело, вместо увлекательных мечтаний о том, как оно могло бы быть, если бы... Но остаемся мы людьми лишь в той мере, в которой мы все еще способны увлекаться и мечтать — равно как и отодвигать мечты в сторону ради куска какой-нибудь насущности. Пусть мы никогда не

⁶⁹ Как человек, так и бог.

позволим себе притормозить, расслабиться, пустить все на самотек, — но мы знаем, что мы *можем* это сделать! — и это уже немало. Будущее увидит в нас именно эту возможность — а не лихорадочную суету. Можно ценить уют и тишину, цепляться за сколь угодно эфемерное благополучие, — но при этом будет зудеть внутри: а что как придется проявлять себя — идти на смерть? Несбывшееся — не несбыточное; поэтому и мещанское счастье — счастье, поскольку в нем зародыш всего остального. Только там, где нет перспективы, где прошлое и будущее склеиваются в нечто сиюминутно-плоское, не остается даже надежды на счастье. К счастью, такое случается не со всеми, и не навек: да, дикая паника, озверение в бою, усталость и депрессия, безумие азарта — наши нередкие спутники; но проходит время — и оказывается, что есть душевные движения поважнее, которые нечеловеческие условия бытия вытравить до конца не могут. Хотя бы потому, что человек не сам по себе — он среди людей, которые на каждом шагу делают его выразителем их чаяний, телом многих надежд.

По поводу тел — излюбленная тема толкователей счастья всех времен. Героические личности — у всех на виду. Отдать жизнь за счастье прогрессивного человечества — идеал романтической молодежи начала девятнадцатого века — и революционных романтиков начала двадцатого. Отрицательным образом, тот же идеал утверждают и французские материалисты (Гольбах, Гельвеций): сведение мотивов человеческой деятельности к голой корысти — яркая критика уже готового стать мировой системой капитализма. Байрон воевал за свободу Греции; в реально выбившей оттуда турок России — ссылали и вешали декабристов... Советские пацаны норовили сбежать на фронт; про Гастелло и Матросова (плюс десятки прочих образцов) в послевоенные годы напоминали где надо и не надо. Дело дошло до полного идиотизма (в лице писателя Л. Леонова):

Если бы человеку суждено было только одно — телом остановить пулю, то и для этого стоило бы родиться на свет.

Героизацию пушечного мяса осталось дополнить героизацией рабочего скота — и на этот счет тоже имелась пропагандистская струя...

Религиозные корни апологии мученичества — полная очевидность. Секуляризованную религию такого рода мы находим еще у Гегеля:

Единичная личность есть во всяком случае, нечто подчиненное, которое должно посвятить себя нравственному целому. Поэтому, если государство требует жизни, то индивидуум должен отдать ее...

На место бога, или государства, — здесь можно подставить любую абстрактную идею; суть не меняется. Сама возможность трактовать отношения личности и общества как господство и подчинение — характерная особенность классового мышления. Но чего ради мы должны кем-то владеть и кому-то служить? И то, и другое — отрицание свободы, огромное несчастье. Человек — не раб своих идей; они его инструменты, органы культурного тела, которые прекрасно работают в подходящей среде — но неуместны в другой, и разум свободен использовать все, что считает нужным.

Герой и фанатик — понятия противоположные. Исторически, большинство героев вовсе не рвутся на плаху — у них другие интересы. Более того, великие всячески пытаются откосить от мученичества, держат нос по ветру, а при малейшей опасности бросают все — и в бега. Только если заклинит со всех сторон, и бежать некуда, — приходится держать удар. Может какой-нибудь штрафбатовец искать обходные пути, куда пули не залетают? Вряд ли. Вот и приходится принимать пулю всем сердцем, не помышляя о славе и наградах. Джордано Бруно тоже не повезло... Таких героев — полным-полно, на каждом шагу. Они ищут счастья (хотя бы малюсенького) — а в несчастном обществе это карается смертью. Остается только процитировать из того же учебника:

Самопожертвование может быть одним из вынужденных способов самоутверждения личности. Если страдания и смерть в тяжелых обстоятельствах и были свободно избраны героем, это не означает, что они включались им в «проект счастья», ибо счастье приносит не только нравственный характер целей деятельности, но и объективное достижение этих целей. Хотя героическая личность черпает моральную удовлетворенность в сознании выполненного долга и терзалась бы мучительными угрызениями совести, если смалодушничала бы в обстоятельствах, которые требовали самопожертвования, хотя она познала «счастье битвы», ее гибель представляет собой несчастье.

Спасибо тов. Согомонову за грамотные разъяснения. Приятно, когда есть, с кем согласиться. Наша позиция (если и) отличается (, то) лишь постановкой в исторический контекст: это отнюдь не абстрактная этика вообще — это этика классового общества (включая советское). Когда человек свободен — ему незачем самоутверждаться. С другой стороны, если обитатели свободного мира решают прекратить существование некоего белкового тела — для них это вовсе не жертва, а банальное расходование материалов для общественного производства нужного обществу (а значит и каждой личности) продукта. Человек не привязан

к органическому телу — у него куда более обширное неорганическое, по которому его, собственно, и узнают. Соответственно, биологическое тело — не принадлежит личности; это общественное достояние — все члены общества могут свободно (то есть, разумно) распоряжаться им, и для этого не надо формальных (правовых, моральных и т. д.) оснований.

Тут мы снова вспоминаем Гегеля: в его (буржуазном) сознании дух намертво впаян в живое тело — но это, разумеется, не природное, а общественное (внешнее по отношению к субъекту) единство; поэтому распоряжение телом становится предметом философии права — и в частности, приходится как-то квалифицировать право физического лица на преднамеренное уничтожение тела, самоубийство.

Ответ будет гласить: я как этот индивидуум не являюсь хозяином моей жизни, ибо целостный охват деятельности, жизнь, не есть нечто внешнее по отношению личности, которая сама непосредственно представляет собою эту целостность. Если поэтому говорят о праве, которое личность имеет на свою жизнь, то это — противоречие, ибо это означало бы, что лицо имеет право на себя. Но оно этого не имеет, ибо оно не стоит выше себя и не может само себя судить.

Чуете классовый посыл? Судить имеют право только вышестоящие инстанции! Хозяева. А кто не хозяин — тот и не вправе. В контексте борьбы с субъективным идеализмом — это решительный шаг вперед, отказ от безусловной «суверенности» личности — ее замыкания в себе и превращения в абстрактную пустышку. Личность — только в обществе, она определена через общество и развивается вместе с ним. Но кто сказал, что одно всегда выше, а другое, соответственно, ниже? Само понятие вертикали исторично — и даже в классовой истории были очень разные варианты. Не говоря уже о том, что порядок устанавливать можно в разных отношениях — и тогда одни и те же субъекты оказываются в разных позициях, в зависимости от контекста (вспомним о долгах аристократов, и заложенных имениях). Гегель изменяет (им же утвержденному) принципу историзма, постепенного развертывания и преобразования категорий. Когда он (справедливо) указывает, что самоубийство «может рассматриваться как несчастье, так как к нему приводит душевный разлад», он упускает из виду, что и душевный разлад есть выражение общественной необходимости, и своего рода требование отдать жизнь в интересах надличностной (но не безличной!) власти. Такое самоубийство — несчастье, прямая постановка вопроса о разумности властей, о правомерности их устранения. Но, в отличие от

«дурной храбрости» (Гегель!) любителей экстрима, — самоубийство несчастных есть непосредственным образом и *освобождение* личности от любителей вершить судьбы, и тем самым не только величайшее счастье — но и дорожный знак на пути всего человечества к разумному, счастливому миру, где нет ни господства, ни подчинения, — и никакого разлада, — ни в обществе, ни в душе.

Гегель не был бы Гегелем, если бы не обратил внимания и на возможность частичного самоубийства — нанесение ущерба здоровью. Здесь он придерживается той же линии: человеку выдали тело как инвентарь для осуществления общественных функций — и каждый обязан рачительно относиться к этому (общественному) имуществу. Намеренное повреждение или нецелевое использование — не просто халатность, это бунт, который нормальное государство обязано пресечь, для общего блага. Однако и государство не должно портить тела без особой нужды — отсюда бурные обсуждения системы наказаний и роли исправительных учреждений (вспомним хотя бы Достоевского!); эхо этих дискуссий докатилось до наших дней.

Общественная собственность на средства производства — прямое продолжение гегелевской философии права. Это Маркс и собирался показать публике в молодые годы — но не успел, — увлекся экономикой (которая, как известно, всему голова). Органические тела — самое ходовое средство производства на протяжении всей человеческой истории — и от этого мы не ушли даже сегодня, в эпоху искусственного интеллекта. Следовательно, обобществление тел есть железный закон победившего социализма (который в марксовы времена называли коммунизмом, общинностью). Последствия этого шага заходят очень далеко. Например — уничтожение семьи как формы производства и социализации органических тел. Очень решительная тов. Лилина рубит сплеча:

Мы должны изъять детей из-под грубого влияния семьи. Мы должны их взять на учет, скажем прямо — национализировать. С первых же дней их жизни они будут находиться под благотворным влиянием коммунистических детских садов и школ. Здесь они воспримут азбуку коммунизма. Здесь они вырастут настоящими коммунистами. Заставить мать отдать нам, советскому государству, ребенка — вот практическая наша задача.

К сожалению, дело забуксовало. Не хватило ни денег — ни желания тех, кто деньгами при советах распоряжался. Несчастливые дети по-прежнему

растут в противопоставленных обществу семьях — и значит, заведомо не могут обрести ту самую цельность личности, без которой немислимо счастье. Но мы уже мечтаем о временах, когда всякая вообще собственность (личная или общественная) станет анахронизмом — когда у детей вообще не будет родителей, и наоборот, — и никто никому не принадлежит. В частности, ни одно органическое тело не может поступать в частное распоряжение, использоваться одной-единственной личностью. Напротив, каждое тело одновременно выполняет очень разные общественные функции — и в различных обращениях этой иерархии представляет разные личности. Тогда все, что оказывается благом для одной личности, непосредственно будет благом и для другой. Это относится и к разного рода физиологическим перестройкам — включая рождение и смерть.

Может показаться, что фантастика чересчур смела. Но обратимся к фактам нынешнего, буржуазного бытия. Официально приписанный к биологическому телу человек — не только организм, но и совокупность общественных отношений, первоначально выстроенных вокруг этого, органического тела, — однако постепенно захватывающих все более широкий круг других, органических и неорганических тел, — вплоть до того, что факт наличия исходной биомассы уже не столь важен для дела. Эта небиологичность общения встроена в наш язык: например, автор книги что-то нам *говорит* — независимо от того, сколько веков назад истлел связанный с его именем комочек живой плоти. Любое имя — указывает не на животное; оно представляет огромный пласт культуры, внутренне согласованное движение (и развитие) которого мы и называем личностью. Идентификация тел по номеру паспорта — нечто вроде маркировки товаров на складе, наклеивания штрих-кодов. Имя по паспорту — имеет не больше отношения к реальной личности, чем этикетка на бутылке к вкусу вина. В особых экономических условиях такая связь может искусственно поддерживаться и мы имеем дело с классовой, капиталистической личностью — результатом застаивания в одном из возможных обращений иерархии, в котором по-прежнему преобладает неорганическая составляющая — но представителем целого оказывается тело, имя по паспорту, условный код.

В этой связи резонно предположить, что повреждение или гибель органического тела ничем принципиально не отличаются от отчуждения каких-то компонент неорганического тела — что в условиях рынка приобретает, например, форму купли-продажи, становится сделкой.

Если, допустим, кто-то продает единственное пальто — участие этой персоны в производстве и общественной жизни под вопросом, — хотя органическое тело все еще при нем, и потеря внешнего, вещного органа не сразу отразится на работоспособности этой органики. Но с точки зрения личности в целом — это уже утрата здоровья (в том числе психического, если, скажем, пропала любимая книга — или умерла домашняя кошка). Для человека это не меньшее (а иногда и большее) несчастье, чем какая-нибудь инфекция.

На другом полюсе — мультимиллиардер, который жертвует энную сумму на благотворительность — и считает себя героем; как ни странно, он в этом вполне разумен — поскольку утрата части капитала для него столь же болезненна, как сломанная рука или нога. Биологическое тело при капитализме — лишь один из активов, далеко не самый активный. Когда Флорбер гробит все состояние, чтобы спасти от долговой ямы племянницу, и остаток жизни проводит в нищете, — это, с точки зрения капиталистической культуры, не меньшее геройство, чем лечь грудью на амбразуру. Как говорится, лучший способ помочь людям — помочь человеку.

Выходит, жизнь и состояние (по-французски говорят: *état* — это и капитал, и общественное положение, вместе взятые) — для классового человека одно и то же; органическое вместе с неорганическим — вот его тело. Но разве редкость — совместное распоряжение капиталом? Чем это отличается от, скажем, вступления в некий формальный коллектив (например, завербоваться в армию — или полететь в космос), когда личность подчиняет свою физиологию задачам сообщества? Таким образом, прототипы целиком общественного распоряжения телами — имеются уже сейчас, и таких примеров будет больше по мере соединения личностей в единую сеть на основе новейших компьютерных технологий. Бесклассовое будущее рождается на наших глазах (хотя наши органические тела вряд ли до него доживут).

В этом смысле счастье одного — есть счастье всех. В каких бы формах это не проявлялось. Звучит жестоко, кощунственно: когда богат наслаждается жизнью за счет миллионов ограбленных и убитых — это и их счастье. Но задумайтесь над другой стороной парадокса: радость бедняка — высшее наслаждение для власть предержащих! Старинная идея государства как опоры всеобщего блага — не просто классовая пропаганда; в этом есть и разумное зерно — которое пока не может воплотиться в более разумные формы.

Разгадать загадку можно, если вспомнить определение счастья как состояние единства с миром — во всех возможных отношениях. В том, что разъединяет богача и бедняка, — нет счастья ни для того, ни для другого. Поэтому и быть, и чувствовать себя счастливым в этом отношении никто не может. Выветривается счастье; и остается для богача — угар увеселений, лихорадочные попытки отвлечься от несчастья, убедить себя, что все в порядке... Для бедняка — горечь ущербности, озлобленность, юродство, нарочитое хамство. Но даже сама эта взаимодополнительность несчастья — знак скрытой общности, возможности единства. В своем несчастье богач учит бедняка тому, как можно было бы быть счастливым; и наоборот, несчастья бедняка становятся школой возможного счастья для господ. Только поэтому представители господствующих классов способны время от времени искренне сочувствовать угнетенному большинству — и бороться за счастье народа (даже не сознавая того). Только поэтому представители низов могут отличаться благородством и становиться по-настоящему культурными людьми.

Значит ли это, что можно простить любую дикость (что наверху, что в низах) ради искры разумности? никоим образом. Наоборот, сопоставление разумного содержания с неразумной формой — требует устранения изживших себя форм, перехода к иной культурности. Конечно, разбазаривать народное добро разумный человек не будет. Но если для построения бесклассового общества нужны решительные революционные меры, вплоть до физического уничтожения каких-то тел, — это в интересах общества в целом, включая тех, кто использовал эти тела неразумно, не по назначению. В частности, иногда разумно поступиться и собой. Когда гниющая плоть грозит испоганить еще здоровое, гуманность состоит в том, чтобы отсечь заразу, остановить болезнь. Никакие соображения абстрактной морали не в счет. Для разума нет ни абсолютно необходимого, ни абсолютно недопустимого.

Стремление к счастью часто объявляют единственным смыслом человеческой жизни. Отчасти это верно — но как одна из возможных сторон. Скорее, следовало бы сказать иначе: если человек живет осмысленно — он в этом счастлив (но может быть счастлив и в другом). Как уже отмечалось, счастье снимает внутренние различия в деятельности — и сама идея смысла становится излишней. То есть, когда мы счастливы — нам незачем докапываться до смысла. Точно так же и в любой из сторон счастья: если мы любим — мы не ищем повода и

причин, это ни для чего, — и нам безразлично, что из этого выйдет. Теми же словами — о разумности как таковой.

Говорить о смысле жизни тем более затруднительно, что само понятие жизни — указывает на нечто природное, к чему человек никак не сводится. Деятельность человека начинается задолго до частичных и временных воплощений — и продолжается после распада тел. Организм остается собой несмотря на то, что его клетки отмирают, заменяются другими; точно так же дух не рождается и не умирает со сменой тел. Человек — не природное, а общественное движение, явление культуры. Как бы ни прожили любую из предоставленных нам жизней, это наш, незаменимый вклад в целостность мира — и это немало, ибо здесь, в сфере универсальности, не бывает никаких количеств — и все равны.

Общественная сущность человека сказывается и в том, что не бывает абсолютно несчастных людей: это означало бы — превратиться в животное, перестать быть человеком. Даже классовый человек живет не только своей жизнью — но и жизнями всех остальных; он представляет человечество в целом — и разум вообще. Человек знает о счастье — и это дает ему надежду на счастье, которая сама по себе делает человека счастливым. Поэтому в сколь угодно тяжких условиях, когда жизнь кажется невыносимой, нам все-таки трудно уходить из жизни. Мы чувствуем себя носителями чего-то безмерно великого — и нам жалко это потерять. Это один из ликов счастья. Конечно, после одной единичности будет другая — и никто не умирает целиком. Но вот именно этой, мимолетной и эфемерной плоти уже не будет — и счастье превращается в грусть. Так поэт вдруг понимает, что стихи уже не в нем, что они живут особой, свободной жизнью — и надо прощаться с одной из рассказанных историй, чтобы рассказывать другие. Иногда только по этой невыразимой грусти мы догадываемся, что были счастливы.

Вероятно, когда человек поставит под всеобъемлющий разумный контроль собственное рождение и смерть, он будет чувствовать иначе, забудет о расставаниях. Его счастье изначально будет счастьем многих людей — и переход от одного существования к другому станет простым и логичным, вызовет глубокое удовлетворение. Но пока мы рождаемся в муках, на муки, — и уходим через страдание, — и нам трудно принять идею счастливой смерти. У нас единственная возможность осуществить духовное бессмертие — оставлять себя. Во всем. Что останется — тем и будем счастливы. Не останется ничего — значит, нас и не было, и не о чем грустить!

СОДЕРЖАНИЕ

КОРНИ И КРЫЛЬЯ (вместо предисловия).....	3
ГРАНИ ВОСПРОИЗВОДСТВА	15
МАТЕРИЯ РАЗУМА	27
Труд и творчество.....	39
Индустрия духа.....	53
Быт	65
Единство плоти.....	77
Семья и брак.....	89
Разум как здоровье	106
Искусственный разум.....	118
О чистоте	131
О смещении и слиянии.....	149
Утилизация тел	159
Общественные формы.....	172
РАЗУМ И ЛЮБОВЬ	187
История любви.....	199
Любовь изнутри.....	239
Зов плоти	262
Дружба.....	281
Любовь как история	313
Личность.....	343
ВЗРОСЛЕНИЕ РАЗУМНОСТИ	365
Ненормативная нормальность.....	377
Уроки и сроки	391
Книжная премудрость.....	407
Конец педагогики	423
Универсум университета	448
Дух везде и у себя.....	468
СЧАСТЬЕ	481

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА ✦ I ✦